

ЕВГЕНИИ
ПЕРМЯК

Евг. Пермяк.

2



ЕВГЕНИЙ ПЕРМЯК

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ



ЕВГЕНИЙ ПЕРМЯК

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ВТОРОЙ



ГОРБАТЫЙ
МЕДВЕДЬ

© Пермяк Е. Горбатый медведь. М., «Советский писатель», 1971.

П 70302—076
М158(03)—78

© Средне-Уральское книжное издательство, 1978



ОРБАТЫЙ
МЕДВЕДЬ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Первая глава

I

Рано начинаются зимние сумерки в затемненной сырой квартире с двумя маленькими окошками, которые выходят на тесный двор высокого дома. Скучно сидеть в полумраке восьмилетнему Маврику и смотреть на стрелки будильника. Еще целых два круга нужно пройти большой стрелке, и только тогда вернется мама, если ее, конечно, не задержат в магазине Зингера, где она служит кассиршей. С мамой придет свет керосиновой лампы и тепло круглой печи, остывшей за день.

Маврик мог бы и сам растопить печь и зажечь лампу. Спички так и просятся:

— Возьми нас... Не бойся. Чиркни!

— Нет, нет, — отвечает им Маврик, не открывая рта. — Я дал маме честное слово не прикасаться к вам. И, пожалуйста, не поддразнивайте меня. Разве вы не знаете, что обмануть маму — это самое страшное из всех самых страшных преступлений. За это мало тюрьмы...

Спички получают по заслугам. Маврик закрывает их блюдцем. Пусть сидят в темноте и не смеют попадаться на глаза. Один их вид наводит на всякие размышления. А Маврик был и останется порядочным человеком на всю жизнь.

Но и порядочному человеку, выучившему все уроки, невесело коротать время с мышами. Опять хлопнула мышеловка. И опять пришлось вздрогнуть. Маврик не трус, он просто немножко нервный. В прошлом году он испугался громкого пароходного свистка и стал после этого заикаться. Мышеловка тоже хлопает слишком сильно.

Нужно посмотреть, кто попался. И Маврик лезет под кровать. Попалась очень скромная, тихая мышка. Не бьется, не бегаёт, не старается улизнуть. Среди таких мышей и встречаются заколдованные феи, добрые волшебницы. А вдруг это не простая мышь? Стоит только ее пожалеть, и жалость снимет с нее злые чары. Пока этого еще не случилось, но может случиться. Выпущенная мышь превратится в красавицу и скажет:

— Спасибо, Маврик. Проси что захочешь, и я все сделаю для тебя.

И Маврик скажет ей:

— Пожалуйста, сделайте так, чтобы я сейчас же очутился в Мильвенском заводе, в дедушкином доме, где светло горят лампы и топят печи, где не нужно смотреть на часы и сидеть одному в темной комнате.

— Только-то и всего, — скажет волшебница, — а я думала, ты попросишь лошадку пони, а то и две... Одну себе, а другую для Санчика. Вдвоем куда интереснее скакать по улицам Мильвенского завода...

Скажет так и тут же исчезнет, а Маврик окажется в дедушкином доме, и на дворе будут тоненько ржать две маленькие лошадки пони. Феи любят нежадных и поэтому дают им и то, что они не смеют у них попросить, но очень хотят.

Фея даже может сделать так, что на дедушкином дворе, за старым сараем, появится пруд. По пруду фея может пустить и пароход. Ей что?.. Махнула волшебной палочкой и сказала: «Будь пароход!» И будет пароход. Небольшой. С тремя каютами. Для мамы с папой одна. Для тети Кати с бабушкой другая. И для Маврика с Санчиком. Хотя они могут обойтись и без каюты. Потому что им некогда будет в ней сидеть. Нужно вертеть рулевое колесо, подбрасывать в котел дрова, давать свистки, отдавать чалки, приставать к пристаням.

Фея может сделать и так, что на пруду появятся две пристани. Тоже маленькие, но побольше кровати. И с крышей. И с флагами. Одна пристань будет называться Банная — на том берегу возле бани, а другая на этом, возле сарая, — Сарайная. Или лучше — Сарайск. Город Сарайск. Вот и ездят туда и обратно... Какое это счастье!

Размечтавшийся мальчик открывает мышеловку и осторожно выпускает из нее серую пленницу. Мышь не торопится убегать в свою норку. Она оглядывается на

Маврика, раздумывает о чем-то... И вот-вот, кажется, начнет превращаться в фею, но мышка не превращается, а исчезает...

На свете очень редко встречаются добрые феи. Из них, Маврик знает только одну, да и та не фея, а тетя Катя.

Тетечка Катечка, а почему бы тебе не стать хоть на немножечко, хоть на одну минуточку феей? За эту минуточку ты бы успела взмахнуть волшебной палочкой и вернуть к себе своего Маврика.

Милая тетечка Катечка, ты не знаешь, как трудно сидеть без лампы и ждать, когда мама вернется от Зингера и затопит печь. Милая тетечка и милая бабушка, мне плохо, мне холодно, а мамы все нет и нет...

Крупные слезы заливают глаза Маврика. От слез ему становится еще холоднее, и больше нет никакой возможности терпеть, он должен написать письмо тете Кате и упросить взять его к себе, в Мильвенский завод, в теплый дедушкин дом...

II

В тот вечер Маврику не удалось написать письмо своей тетке. Помешали слезы, которые никак не хотели переставать литься из его глаз, да и мама вернулась раньше, чем всегда. Загорелась под потолком лампа, и затрещали в печи дрова. Мама принесла очень свежие сосиски, которые так любил Маврик. Она получила прибавку. Рубль. Рубль — это воз дров. Пусть небольшой, но все же воз.

Мама не забыла купить и любимые царьградские яблоки. Она все, что могла, делала для Маврика. И Маврик знал, что мама любит его. И он любил ее, хотя все реже и реже сидел у нее на коленях. Наверно, вырос. А может быть, теперь маме нужно любить не одного Маврика, потому что появился папа. Второй папа. Первый умер. Его почти не помнит Маврик. Ему тогда было три с половиной года.

Первый папа похоронен на старом кладбище против тюрьмы, где сидят «политические». На папином кресте написано: «Андрей Иванович Толлин». Маврик тоже Толлин. Тетя Катя ни под каким видом не советовала ему менять фамилию. И второй папа ничуть не обиделся

на это. И кроме того, тетя Катя сказала, что быть мешанином города Перми Маврикием Андреевичем Толлиным лучше, чем сыном крестьянина деревни Омутихи Маврикием Герасимовичем Непреловым.

Мещанин — это мещанин, да еще такого города. А крестьянин — это совсем другое. Хотя его новый папа совсем не похож на крестьянина и не носит лаптей, но все равно... Мама стала теперь Непреловой. Для нее перестать быть Толлиной ничего не значит, потому что это тоже не ее фамилия, а папина. У мамы настоящая родовая фамилия Зашейна, как у бабушки и у тети Кати.

Но зачем на это обращать внимание. Мама со всякой фамилией остается мамой. Правда, не очень приятно объяснять в школе, почему он Толлин, а не Непрелов. Но что же делать. Он же сам согласился на нового папу и венчался вместе с ним и мамой в церкви на Слудке. И священник не запретил Маврику ходить вокруг аналая, когда мама была папиной невестой, а папа — ее женихом. Значит, Маврик тоже повенчанный со своим новым отцом. Они втроем праздновали свадьбу, и Маврик пил шипучее вино, разбавленное лимонадом. Оно шипело и щекотало в носу. Папа в этот день подарил Маврику волшебный фонарь, которым можно показывать на стене туманные картины. Очень хороший фонарь, только мало картин. Шесть стекол. Осталось пять. Одно разбилось.

Папа и теперь каждый раз, как только получит жалованье, покупает ему подарки. Хотя и не такие, как волшебный фонарь, но тоже интересные. Он и сегодня принес подарок. Электрический фонарик с кнопкой. Стоит нажать эту кнопку, и под увеличительным стеклом, на боку фонарика, зажигается лампочка. Маврик был очень рад.

— Теперь я не буду сидеть в темноте.

Но папа сказал, что батарейки хватает только на два часа, если фонарик держать все время зажженным.

— Как мало, — удивился Маврик.

— Что же делать, — сказал папа и пообещал в следующее жалованье купить еще две батарейки.

Не попросить ли Маврику денег у тети Кати?

Нет. Он этого не сделает. Тете Кате нужно написать не о батарейках, а совсем о другом. Да и много ли изменится в его жизни, если у него будет двадцать или

тридцать батареек? От этого будет, конечно, светлее в комнате, но не там, не внутри, где душа, где сердце, где спрятано самое главное, о чем нельзя рассказать ни папе, ни маме, и никому, кроме тетечки Катечки и бабушки.

В комнате стало очень тепло, и мама была так ласкова, а царьградские яблоки оказались еще вкуснее, чем они были всегда, но письмо в Мильвенский завод не выходило из головы Маврика. Оно и не могло выйти, потому что мама опять задала Маврику тот же вопрос. Она сказала:

— А не веселее ли будет тебе, если мы купим на Черном рынке маленького братца или маленькую сестричку?..

Мама всегда советовалась с Мавриком, и Маврик всегда отвечал то, что ей хотелось. Теперь ей хотелось мальчика или девочку. И Маврик не мог запретить ей хотеть этого. И если бы он сказал «нет», то мама все равно бы добилась от него «да». И он ответил:

— Да.

Мама была очень рада. Папа пообещал, не дожидаясь жалованья, завтра же купить еще три батарейки и постараться разыскать к волшебному фонарю новые стекла с новыми картинками.

Маврик молчал и краснел. Мама и папа, наверно, думали, что он краснеет от удовольствия. А он краснел от стыда. Ему было очень стыдно говорить неправду и еще стыднее слушать ее. Покупка братика или сестрицы на Черном рынке, где будто бы купили и его, это неправда. Но в нее приходилось верить. Делать вид, что веришь. Нельзя же сказать матери, что она... Что она сочиняет. Этого сказать невозможно, но невозможно и прикидываться дурачком, хотя бы в угоду матери. Это значит — тоже лгать.

Если бы у него были деньги, он завтра же послал бы длинную-предлинную телеграмму в Мильвенский завод. И может быть, он это сделает. Его первый папа когда-то служил на почте, и у него там остался товарищ, Телеграфист. Этот телеграфист всегда здоровается с Мавриком и рассказывает ему о папе. Может быть, он pošлет телеграмму без денег или в долг?

Нет. Об этом узнает мама. Телеграфист может рассказать ей. Только письмо. Прошито нитками и запечатанное сургучом...

Маврик уснул рано. Электрический фонарик лежал у него под подушкой. Мальчик улыбался во сне, и мать была очень рада, что ее сын так сладко спит. Теперь никто не мешал поговорить и помечтать вслух.

— Ты знаешь, Люба, — сказал Мавриковой маме его отчим, — бумаги уже находятся на подписи. Наверно, на той неделе я буду чиновником, и тебя никто не посмеет упрекнуть за меня...

Герасиму Петровичу очень хотелось получить первый чин — коллежского регистратора — и надеть чиновничью форму. Хотя он и не останется служить в пермском окружном суде, где сейчас числится переписчиком, но, став чиновником, он перестанет называться крестьянином, что так важно для счастья Любочки и его счастья.

Ради этого он покинул Мильвенский завод, где мог занять очень хорошее место доверенного товарищества «Пиво и воды» и получать не двадцать три, а семьдесят рублей при готовой квартире с отоплением и освещением за счет фирмы. Но все равно бы все говорили, что писаная красотка Любочка выскочила замуж за мужика из Омутихи. И ей нечего было на это ответить. А теперь, извините, она чиновница, жена коллежского регистратора.

— Я так счастлива, Герочка, я так счастлива, милый мой, — говорила и плакала Любовь Матвеевна на плече мужа, который станет ее гордостью на той неделе, и она заложит в городской ломбард плюшевую шубу на лисьем меху, и тогда хватит денег, чтобы заказать настоящую диагональную форму коллежского регистратора.

Все равно скоро весна, и ей ничуть не трудно бегать в драповой жакетке от Сенной площади, где они живут, до Зингерского магазина на Черном рынке. А потом ему прибавят жалованье... А летом не нужно будет покупать дрова и платить за обучение Маврика в школе Ломовой.

— Все будет хорошо, — шептала, засыпая, Любовь Матвеевна. И Герасим Петрович верил этому.

Розовый свет трехлинейного ночника озарял уснувших надеждами. Каждый лелеял свои желания, и они очень часто сбывались во сне. Этот бескорыстный об-

манщик не жалел красок, рисуя спящим людям и то, что наяву не могло выдумать самое пылкое воображение.

Герасим Петрович видел себя фермером. Фермер — это новое слово, которое появилось несколько лет тому назад. Ферма Герасима Петровича снилась ему не столь большой. Тридцать коров. Дом в три комнаты. Хорошие лошади. Пролетка на резиновых шинах. Небольшое, но и не маленькое рубленое помещение молочного завода, где будут стоять ведерный сепаратор, бочка для взбивания сливок и пресс. Пресс прессует фунтовые кружки сливочного масла, а на кружках рельефное изображение породистой коровы и надпись: «ФЕРМА БР. НЕПРЕЛОВЫХ». Его брат — Сидор Непрелов, умный и хозяйственный, но малограмотный мужик, — тоже войдет в компанию. И вообще вся деревня Омутиха будет кормиться, и хорошо кормиться, возле фермы. Кто сбивать масло, кто работать на молочном заводе, кто ходить за скотом. Но до этого нужно заработать и скопить деньги. Все начинается с них. И служба в суде началась с денег. Продается и покупается все, даже место судейского переписчика.

Герасим Петрович не собирается сделать хуже для своих однодеревенцев-омутихинцев. Он хочет, чтобы они ходили в сапогах, а не в лаптях, пахали плугами, а не сохами и благодарили своего благодетеля — коллежского регистратора в отставке, фермера Непрелова.

Лучшего сна нельзя и желать. Однако же если бы этот фермерский сон вместе с Герасимом Петровичем могла видеть и Любовь Матвеевна, то им, наверно, пришлось бы скоро проснуться. Любовь Матвеевна ни при каких обстоятельствах не будет жить в деревне. Потому что «это ужасно и невыносимо и, одним словом, кошмар».

Любовь Матвеевна видит себя женой доверенного фирмы «Пиво и воды». Квартира на втором этаже. Варшавские кровати с никелированными шипами. Ковры на полу и на стене. Большой столовый стол с двенадцатью венскими стульями. Четверги или пятницы, когда собираются гости. Преферанс и лото. Пельмени. Шуба на беличьем меху. Оренбургская шаль, которая легко продается в обручальное кольцо, и смиренная воронья лошадь. Как у Дудаковых в Мильве.

И это она отчетливо видит во сне. Видит и знает,

что этот сон станет явью. Любовь Матвеевна не позволит себя обманывать даже сном. Она видит только то, что будет или по крайней мере может быть.

А мещанин города Перми Маврикий Андреевич Толлин по малолетству позволяет снам властвовать над собой и показывать невозможное.

Невозможное заключалось в том, что тетя Катя вела, ломая лед на Каме, крейсер «Варяг» и командовала: «Наверх вы, товарищи, все по местам...» И все подымались наверх. Палили из пушек. Льдины рушились, и крейсер подходил уже к Перми, чтобы, забрав Маврика, двинуться обратно в Мильву, но в последнюю минуту «Варяг» насккивает на огромную льдину... «Шумит и гремит и грохочет кругом...» Маврик просыпается.

Начинается утро. Обыкновенное зимнее утро, когда заглушают будильник, когда гасят ночник с розовым стеклянным абажурчиком, зажигают лампу, потому что на улице еще темно, разогревают вчерашний ужин или просто пьют чай с почерствевшим за ночь хлебом.

Маврик, закрывшись с головой одеялом, оплакивает гибель тети Кати вместе с крейсером. Но сон постепенно оставляет мальчика, а с ним проходит и страх...

IV

Маврик мог бы и не просыпаться так рано. В школе Ломовой занятия начинаются в девять часов утра. А до школы — пять минут. Но Маврика нужно накормить, а потом погасить лампу. Ему этого делать тоже не разрешено. И Маврику приходится уходить из дому на полтора часа раньше, когда уходят его родители. Ничего не поделаешь — они тоже не виноваты.

Маврик обычно заходит в Богородскую церковь. Там тепло, и его знает церковный сторож. Но что делать в церкви? Смотреть на иконы? Он уже насмотрелся на них. Замаливать грехи?.. Какие?

Иногда Маврик заходит в булочную. Булочная открывается очень рано. Но в булочной можно постоять недолго. Там обязательно спросят: «Что тебе?» Не ответишь же: «Мне ничего, я просто так».

Утром необыкновенно трудно проболтаться час. Раньше он заходил к сапожнику Ивану Макаровичу, который с удовольствием разговаривал с ним. Но мама запретила заходить к нему, потому что у сапожника он

может набраться скверных слов, хотя у Ивана Макаровича были только хорошие слова. Он любил Маврика. Он называл его «барашей-кудряшей». Он рассказывал ему множество интересных историй. Почему же нельзя дружить с сапожником, у которого нет детей, а он любит их? Почему?

Но мама все равно потребовала, чтобы Маврик дал ей честное слово не заходить больше к Ивану Макаровичу, и заходить стало некуда.

Другое дело после школы. Можно пойти в городской музей. Правда, он там бывал раз сорок и знает все от чуел зверей до двухголового ребенка, заспиртованного в банке. Но все равно, когда некуда деваться, можно пойти и в музей. Там его знают...

Иногда он проводит время у бабушки. У мамы первого папы. Но бабушка живет в богадельне, и не одна. В ее комнате еще шесть других чьих-то бабушек. Там нужно сидеть на одном месте и разговаривать шепотом. А это очень трудно. Да и бабушка начинает расспрашивать, как он живет, что делает, любит ли его новый отец, тепло ли в квартире, почему его мама давно не была в богадельне... На эти вопросы ему не очень легко отвечать. Если Маврик скажет правду, то получится, что он жалуется на свою маму, а ничего не говорить тоже нельзя. Бабушка требует рассказывать все.

— Я же твоя родная бабушка, — говорит она, — ты ничего не должен скрывать от меня. Если что, я сумею постоять за тебя...

А как «постоять»? Обидеть его маму? Накричать на нее? Она и без того как «белка в колесе». И это она не выдумывает. Ей нелегко.

Если бабушка на самом деле хочет «постоять» за него, так пусть приходит после школы и посидит с ним хоть полчасика. А бабушка этого не делает. Но и ее нельзя обвинять. Наверно, ей неприятно видеть вместе с мамой другого папу... Да и папе, наверно, тоже не хочется встречаться с бабушкой, которая ему никто, а «одни только напоминания». Хватит ему и того, что Маврикий Андреевич Толлин напоминает и лицом и фамилией первого папу, а тут еще «старая свекровка Толлиниха». Так ее называет Маврикова мама.

Вот и приходится заходить в богадельню к бабушке очень редко, когда совсем некуда деться.

Если бы Маврик учился в обыкновенной школе, то

у него были бы обыкновенные товарищи. Как он. И Маврик мог бы приходить к ним, а они к нему. И было бы хорошо. Но в школе у Александры Ивановны Ломовой учатся мальчики, которых привозят и увозят на лошадях или приводят и уводят горничные. Не всех, но многих. А те, которые ходят сами, все равно не кассиршины дети. У них папы не служат переписчиками в судах. У них папы господа или купцы, а мамы купчихи или барыни... И все они живут в своих больших домах или в квартирах, где много комнат, и туда нельзя приходить, как к сапожнику.

Впрочем, Маврика однажды пригласил к себе школьный товарищ Володя Морин, но потом перестал приглашать. Перестал приглашать потому, что Володя побывал в квартире у Маврика. Побывал и увидел, что у Маврика, вместо столика для учения уроков, стоит ящик из-под зингеровской машины, покрытый клеенкой. Увидел, что стульев только три и все разные, а комнат — одна. Увидел и рассказал об этом всем остальным в первом классе. И все заметно переменились. Правда, Александра Ивановна Ломова разговаривала с классом и сказала, что «бедность не порок», но все же от этого Маврик не стал богаче, а несчастнее стал. Его при всех назвала бедным сама Александра Ивановна... А быть бедным среди богатых еще хуже, чем сидеть одному в темноте.

Однако в классе находились мальчики, которые не обращали внимания на богатство. Например, Геня Шаньгин. Геня был паровозом. Он самый большой в классе. Его оставили на второй год. Он умел свистеть и шипеть, как настоящий паровоз. И когда в переменку играли в поезд, Геня Шаньгин подымал пары, подавал свисток, и все мальчики становились вагонами друг за дружкой, держась за ремни. Геня начинал шипеть, потом двигать локтями, как паровозными рычагами... Поезд шумно и весело двигался по классу, потом по большой комнате...

Маврик сначала был почтовым вагоном, а теперь его сделали простым товарным — и он мог прицепляться только к хвосту поезда. Самым последним.

Плохо быть простым товарным вагоном в хвосте поезда. Можно оторваться на крутых поворотах и полететь кувырком и больно удариться о печь. Но быть никем еще хуже.

Спасибо Гене Шаньгину за то, что он разрешает Маврику быть в его поезде хотя и последним, но — вагоном...

V

Если бы Маврик знал, что ему так плохо будет в Перми зимой, разве бы он поехал сюда? Ему нужно было сказать всего лишь одно слово — «нет», и тетя Катя и бабушка ни за что не отпустили бы его из милой Мильвы.

Но Пермь манила его. Он любил приезжать в этот белый город. Белый город начинался дымным Мотовилихинским заводом. Мотовилиха чем-то походила на шумный Мильвенский завод. За Мотовилихой сразу же начиналась Пермь. В городе Маврика ждал жареный миндаль в «фунтиках», вафли трубочками, горячие жареные пирожки, фонтан в театральном саду, извозчики, у которых лошади так хорошо выколачивают копытами «ток-ток-ток».

Да разве можно с чем-нибудь сравнить Пермь летом. Что может быть лучше, чем стоять в набережном саду, который почему-то называется Козьим загонем, хотя там нет никаких коз. Стоять в Козьем загоне и любоваться пароходами. Сколько их тут... Любимовские, казенские, кашинские, русинские... А буксирных? А барж? А плотов? Про лодки нечего и говорить. На них можно и не смотреть.

Маврик многое увидел, узнал и понял в Перми. Но мог ли он увидеть больше и понять лучше увиденное, чем он мог?

И помехой этому были не только его малые годы, но и глаза, которые могли увидеть окружающее и понимать его так, как видели и понимали мама, папа, тетя Катя и две бабушки.

Недавно бабушка Пелагея Ефимовна Толлина внушала внуку:

— Кому как написано на веку, тот так и живет. К примеру: булочник торгует булками, мужики сеют рожь, судьи судят, рабочие работают, губернатор губернаторствует, школьники учатся, нищие просят милостыню, а царь царствует над всеми. Понял?

— Понял!

И бабушка опять начинает наставлять

— Всякому свое, и все от бога. И никто ничто не может изменить, потому что от бога не до порога и без него даже и волос не упадет ни с чьей головы. Ясно? — Ясно.

Да и как может быть не ясно, когда он это же, только сказанное другими словами, слышал от первой бабушки. От главной.

Значит, так устроена жизнь не только в Мильвенском заводе, но и в Перми. Коли Агафуровым написано на веку быть хозяевами большого магазина — они и торгуют. А батюшкам в Богородской церкви написано отпевать покойников и крестить ребят — они и отпевают и крестят. Всякому свое. И было бы смешно, если бы губернатор стал играть вдруг на шарманке и предлагать билетик на счастье или отпевать покойников, а шарманщик — ездить в карете. Не может и он, Маврик, стать вагоном-салоном или хотя бы багажным, если ему написано на веку быть товарным вагоном и прицепляться в хвост поезда. И этого нельзя изменить.

Мало ли истин, на которые можно и нужно положиться. И полагались. Терпели, обманывались и молились.

Кто же мог сказать Маврику, что богатые люди богаты потому, что бедны другие, что они обворовывают их. Этому не поверил бы Маврик, даже если бы так сказал ему и сам Иван Макарович, который очень много знает. Больше учительницы в школе Ломовой. Маврик обязательно бы удивился и спросил: если они воры, то почему же не сидят в тюрьме?

Кто мог разъяснить Маврику, что эта кража состоит в том, что одни нанимаются на работу, а другие нанимают их. Одни работают, а другие наживаются на их работе, недоплачивая им за нее.

Кажется, просто, но этого бы не понял и его отчим Герасим Петрович Непрелов. Ему, как и миллионам других, не могло прийти в голову, что через семь лет рухнет это царство купцов, фабрикантов, чиновников и жандармов. И его превосходительство господин губернатор, упоминание имени которого приводит в трепет, будет — никто.

Многие ли знали, что «политические», которые сидят в тюрьме напротив кладбища, которых иногда проводят по улицам в кандалах, — хорошие люди? Люди, которые хотят счастья для всех — и для тех, кто никогда не

слыхал об этом счастье. А они борются, жертвуют свободой, а иногда и жизнью во имя жизни других. И Мавриковой жизни.

Маленький Маврик, ты ничего не знаешь. Ты даже не знаешь, что сапожник Иван Макарович, которого ты любишь и который любит тебя, вовсе не сапожник. Не такой простой была жизнь, какой она представлялась многим людям. Не так легко стало распознавать людей.

Дорого бы дали в полиции за этого сапожника, ставшего видным революционером, выросшего из рядового, ничем не приметного слесаря-механика талантливым вожаком, замеченным Владимиром Ильичем Лениным, связанным с виднейшим большевиком Яковом Михайловичем Свердловым.

Если бы знали отец и мать Маврика, как предан он Ивану Макаровичу и как бездетный вдовец любит мальчика. Если бы они знали, какое счастье для Маврика поселиться в большой пламенной душе отличного человека и стойкого борца. Если бы знал Маврик, как много будет значить в его жизни Иван Макарович.

А пока...

А пока Пермь живет своей жизнью нужды и благополучия. Идет тысяча девятьсот десятый год, когда, кажется, утихомирилось все и забылись недавние волнения. Волнения тысяча девятьсот пятого года. Он ушел навсегда, и как будто ничто не возвратит теперь эти опасные для империи месяцы.

Так думала, так заставляла себя думать благополучная, богатая, верноподданная, чиновная, купеческая, епархиальная, губернаторская, чернорыночная Пермь.

VI

Когда пришло письмо, прошитое нитками, с печатью из хлебного мякиша вместо сургуча, Екатерина Матвеевна Зашеина, оставив все, распечатывая конверт, дрожащим голосом сказала:

— Мамочка, от Маврушечки письмо, — и принялась читать вслух: — «Дорогие родители, тетя Катя и бабушка!..»

Этих слов было достаточно, чтобы высокая полная женщина, с умным лицом, в очках, которые ей придавали особую солидность, прослезилась вместе с малень-

кой старушкой, сидевшей на низенькой кровати, покрытой лоскутным сатиновым одеялом. У нее сами собой вывалились слова:

— Конечно, родители! Кто же мы ему?

Написав без единой ошибки первую строку, уместив буквы в линейки листка, вырванного из тетради, далее Маврик уже не заботился о грамматике и каллиграфии. До них ли ему, когда нужно было рассказать самое главное. О том, как «плохо ему живецца», как поздно приходит мать, как ему «нечего делать в Богородцкой церкви»...

Теперь уже тетушка и бабушка не плакали, а рыдали:

— И за что это все, за что...

Маврик знал, как тетя Катя боится, чтобы он не простудился, и особенно выразительно написал про холод в квартире: «а вечеромъ холодно здесь и зуббы нипиристають чакадь одинъ объ другой».

Платок был мокр. Екатерина Матвеевна утиралась кухонным полотенцем.

— Что же это, что это, мамочка...

Буквы письма вылезали из строк, прыгали, скакали, будто им тоже было холодно и от них отскакивали палочки и крючки.

И так три страницы. На одной оставила след слеза, растворившая слово «прииздйя».

Екатерине Матвеевне стало трудно дышать. Она подошла к русской печи и открыла дверцу трубы, затем снова принялась читать. Маврик умолял: «Не дожидайся когда пройдетъ лѣтъ на Каме, а прииздйя на делижанцовых лошадях».

И далее:

«Буду ждаты тибя днем и ночью».

И наконец подпись: «Учен. 1-го класса Маврикий Толлинъ».

Валерьяновых капель оказалось недостаточно. Пришлось нюхать нашатырный спирт.

На «бессовестную из бессовестных Любку», то есть на мать Маврика, был исторгнут весь запас ругательств, которыми располагала оскорбленная тетушка. Просолонив слезами полотенце, Екатерина Матвеевна, причитая, жаловалась Мавриковой бабушке:

— Я же как в воду глядела, что так и будет. И как только мы отпустили его? О чем мы только думали?

Отчим не отец, и родная мать при втором муже немногим лучше мачехи.

Далее шли «преисподние», и «тартарары», и еще мнее приятные пожелания.

За окном разыгралась метель, усиливая впечатление после прочитанного письма и сгущая краски. Екатерина Матвеевна, видящая теперь Пермь сквозь письмо Маврика, рисовала себе, как он в пургу бродит по занесенным снегом улицам города и ждет, когда закроется распроклятый Зингерский магазин, ни дна ему и ни покрышки и всем, кто там служит. А здесь такая благодать.

Дума побивает думу. Один план за другим строит Екатерина Матвеевна и не может придумать ничего путного. Она не может даже потребовать в письме, чтобы в корне изменить жизнь Маврика. Тогда «ей и ему» будет известно, что ребенок жаловался своей тете Кате, и от этого Маврушеньке будет еще хуже.

Но утро, которое не только в сказках бывает мудрее вечера, подсказало полное решение. Утром пришло второе письмо из Перми. От Пелагеи Ефимовны Толлиной. И она посоветовала «принанять старушонку, которая бы могла доглядывать за Маврикием и сидеть с ним часок утром до школы и часа четыре вечером после уроков».

Как бы все оказалось легко и просто! Нужны были какие-то пять рублей, и мальчик будет не один, а потом она перевезет его сюда, в Мильву.

Через неделю в Пермь пришло обдуманное, хорошо взвешенное письмо и перевод на двадцать пять рублей.

«Дорогая Любочка, — писала Екатерина Матвеевна, — мы знаем из письма Пелагеи Ефимовны, как тебе трудно, поэтому просим тебя...»

Далее подробно указывалось, какой должна быть нанятая старушка, что должна делать она по уходу за Мавриком и все до мелочи на двух четырехстраничных листах. Но в конце письма Екатерина Матвеевна не удержалась и приписала: «Если же ты, Любовь, эти деньги измотаешь на другое, тогда запомни раз и навсегда, что не получишь от меня никогда ни одной копейки, ни одного лоскутка, и я вымолю у бога кару на твою голову...»

И наконец, Екатерина Матвеевна звывала к Герасиму Петровичу, как человеку рассудительному, непью-

щему и некурящему, исполнить ее просьбу относительно единственного племянника и самого дорогого в жизни существа — Мавруши.

Старуха была нанята. Лампа зажигалась засветло. Купили три воза дров. Топили дважды, и стало тепло. Но веселее от этого не стало Маврику. Докучливая и исполнительная старуха Панфиловна, у которой пахло изо рта чем-то тухлым, ревностно выполняла свои обязанности. Она провожала Маврика до школы, как требовала Екатерина Матвеевна, встречала его и вела за руку. И это было унижительно для мальчика, лишенного самостоятельности. Панфиловна держала его дома, потому что в ее годы были затруднительны прогулки на берег Камы, куда рвался Маврик, чтобы посмотреть, не посинел ли, не собирается ли тронуться лед. Это было всего важнее в его жизни.

Сказки Панфиловна рассказывала плохие. Про жадных попов, про кровавых царей Злодеянов, Живодеров, Костоглодов. К тому же она часто дремала. И наконец это стало невыносимо. Старуха не облегчила, а затруднила жизнь Маврика.

— Мама, — сказал он, — я не хочу, чтобы приходила Панфиловна. Вечером теперь стало светло, и не нужно зажигать лампу.

Все оказалось разумным и правильным. Лисья шуба вернулась из ломбарда и была защита от моли в мешок. Появилась черная шерстяная юбка, а затем и фотографические карточки, где папа, мама и Маврик в новом пальтишке стоят у каменной ограды испанского замка. Папа в форме и в фуражке с чиновничьей кокардой. Мама в черной юбке и в модном жакете, взятом у знакомых для примерки, и в нарядных туфлях на высоких каблуках.

Очень красивая фотографическая карточка. Никто не догадается, каких трудов и забот стоит этот снимок, появившийся для того, чтобы обмануть родных и знакомых запечатленной на нем беспечной улыбкой Любви Матвеевны, независимым взглядом Герасима Петровича и восторженным личиком Маврика, ожидающего, что из аппарата вылетит обещанный франтоватым фотографом скворец. Скворец! Не какая-то другая птица, а та, с которой приходит весна. Милая, добрая царица Весна-Красна из очень хорошей из всех хороших сказок бабушки Толлинихи.

VII

И бабушкина сказка сбывалась...

Царевна Весна-Красна шла и шла в своем солнечном платье. И это платье было столь широко, что нет на свете меры измерить его ширину. А уж долго-то оно так, что и досужий язык ретивого красная — малая верста в нескончаемой длине жаркого царевниного подола, протянувшегося далеко за Казань, до теплых морей за лазоревые Крымские горы. И пока его край, отороченный кружевом, сплетенным из золотых лучей, сметает последние снега с древних киевских земель, пока расковыривает ото льда преславный Дон и священный Днепр, Весна-Красна ступает на камские берега, держит путь на Север, через Пермь в мильвенские верхнекамские леса, в соленые Строгановские земли и дальше на Вишеру, Колву, где стоит старая Чердынь — бабка всех городов и селений малохоженого, мелкокопаного, плохознаемого, лесного, гористого царства скрытых руд, невиданных самоцветов, ненайденной черной огненной воды, неслыханных кладов, позапрятанных на дне самого ветхого из всех морей — Пермского моря...

Весна-Красна в этом году рано накрыла своим жарким голубым подолом холодную пермскую землю. Если бы не ночные заморозки, то посиневший камский лед треснул бы, тронулся и пошел бы шелестеть, скрежещать, жаловаться на раннее таяние.

Тетя Катя снилась теперь Маврику каждую ночь. Каждую ночь она увозила его на пароходе в Мильвенский завод, но всегда что-нибудь случалось, и он просыпался. То слишком громко свистел пароход и спугивал сон вместе с тетей Катей... То возвращался неверный месяц март и замораживал пароход... То просто-напросто бессердечный будильник заглушал тети Катин голос и возвращал Маврика из солнечного сна в серое утро...

А сегодня тетя Катя снилась так, что Маврик слышал ее голос и боялся открыть глаза. Вдруг сон опять улетит и останутся только ночничок с розовым стеклянным абажурчиком да насмешливый, недобрый будильник с двумя громкими колокольчиками. Как будто мало ему одного, чтобы прозвенеть людям: «Хватит спать».

Маврик слышал, как тетя Катя говорила:

— Уже десятый час, и цветику-самоцветику пора открыть свои голубые глазоньки.

Но Маврик не мог поверить. Сны вытворяжали всякое. Когда же знакомая рука, от которой пахло как ни от какой другой, потрепала его по щеке, он решил открыть один глаз. Только один, чтобы другим удержать сон.

— Дочка моя,— услышал он,— голубок мой...

Это была она, и он завизжал от радости, обнял ее и заикаясь стал спрашивать:

— Ты не во сне? Ты не во сне, тетечка Катечка?

— Да что ты, да что ты, проснись, моя худышечка... Боже мой, какие у тебя остренькие лопатки... И ребрышки можно пересчитать... Я ведь еще вчера приехала... С первым. Ты уже спал. Не хотела будить тебя...

Екатерина Матвеевна тут же, в постели, дала Маврику теплого молока, мягкую плюшечку и только потом стала помогать ему одеваться.

Маврику так много нужно было рассказать, и ему никто не мешал. Мама и папа давно уже ушли на службу. На будильнике половина десятого. И он говорит об отметках, перескакивает на электрический фонарик, потом начинает рассказывать о Панфиловне, спрашивать о Санчике заикаясь и снова рассказывать.

Рассказывая, Маврик то и дело трогает тетю Катю, проверяет на всякий случай, не во сне ли она и не исчезнет ли так же, как вчера, как прежде, как исчезала она много раз.

Екатерина Матвеевна не знает этого и очень боится за «умственное состояние» племянника. Мало ли «тронутых и блаженненьких» в раннем возрасте, особенно из впечатлительных детей, мозги которых потрясаются самыми непредвиденными обстоятельствами.

С Мавриком ничего подобного не случилось. Он просто измучился и начал заикаться, и немножечко больше, чем раньше. Но скоро она его увезет, и мальчик снова окажется в хорошей обстановке. От заикания не останется следа. А теперь нужно как можно скорее пойти в город по магазинам, чтобы он знал, как она любит его, и что ей не жаль для него ничего, и она готова истратить все десять рублей, которые отложены только для прихотей Маврика.

Прихотей оказалось не столь много. Нужно было купить фунт мягкой вишневой пастилы беззубому сторожу Богородской церкви. Затем побольше колбасных обрезков, чтобы «чайные» и «рябчиковые» съесть без

хлеба самому, а остальными досыта накормить ласковую собачонку из соседнего двора и мышей. Наверно, все-таки одна из них, та, что смело приходила к нему на стол, когда он учил уроки, не простая мышь. Фея не фея, но какая-нибудь добрая девочка, заколдованная мачехой или кем-нибудь еще.

И наконец, нужно было купить жареного миндаля и батареек. Тетя Катя, как и мама, также боится спичек, свечек, огня. И ей будет удобно обходить перед сном с фонариком все уголки дома и проверять, не забрался ли кто и на все ли крючки заперто все.

Как он повзрослел за эту зиму. Не прибавив в росте и одного вершка, к огорчению Екатерины Матвеевны, Маврик очень часто рассуждал не по годам и задумывался над тем, что не должно беспокоить его на девятом году жизни.

Когда жареного миндаля было куплено два фунта, потому что его не найдешь и днем с огнем в Мильве, Маврик очень серьезно спросил:

— А останутся ли у нас, тетя Катя, деньги на билеты? — И наставительно, точь-в-точь как это делала бабушка Толлиниха, сказал: — Их нынче надо тратить с умом. Золотые корабли к нам не приплывут.

Тетя Катя испуганно посмотрела на Маврика, глубоко вздохнула и ответила:

— Это верно, Маврушечка, но нельзя же отказывать себе в самом необходимом, — и попросила татарина-лавочника взвесить еще фунт жареного миндаля на дорогу.

Дорога уже была предreshена. Они поедут послезавтра. В экономной одноместной каюте второго класса на пароходе с негромким свистком. Как хорошо, что они поедут во втором классе, а не в общей дамской каюте третьего класса, где нет никаких дам и полно теток в вязаных жакетках, которые всю дорогу тискают Маврика, сажают на колени, нахваливают его кудри и целуют толстыми мокрыми губами, не имея на это никакого права.

Пассажиру второго класса не нужно просить разрешения у толстого капитана побыть немножечко на верхней палубе и потом благодарить его, вежливо шаркая ножкой. Во втором классе можно попросить в каюту телячьих ножи, поджаренные с сухарными крошками и с зеленым горошком, вкуснее которых никогда и ничего

не едал Маврик. Разве только пельмени. Но это домашняя, а не пароходная еда.

Как знает тетя Катя все его желания! Какая начнется теперь у него жизнь! Вернется все — и велосипед, и лужок за сараем, по которому можно плавать на самодельном пароходе из старых ящиков и досок. Хорошо бы купить щенка и достать настоящий спасательный круг.

Маврик прикидывается к тете Кате и громко, не обращая внимания на лавочника, на покупателей, признается ей в своей любви:

— Я люблю тебя со всю Пермь, со всю Мотовилиху, со всю землю и со все небо... А «им» тоже хорошо будет жить без меня, с другим мальчиком или с другой девочкой.

Екатерине Матвеевне, солидной женщине в очках с золотой оправой, никак не годилось давать волю слезам в бакалейной лавке, а они текли.

VIII

Все уже было готово к отъезду, нужно было только сходить к бабушке Пелагее Ефимовне Толлиной. Маврик вчера побывал на папиной могилке, и тетя Катя велела обложить ее новым дерном. Это сделали тут же, при ней и при Маврике, а потом отслужили панихиду. Мама хотя и знала, что нужно следить за могилкой, служить панихиды, насыпать зерен и крошек птицам, но ей было некогда. А у тети Кати было время. Она не забывала первого папу Маврика и привезла три крашенных яйца. Одно из них она положила на могилу и сказала папе, как живому:

— Здравствуйте, милый Андрей Иванович!

Маврику тоже нужно было поздороваться с папой и положить второе яйцо на могилку, а третье положить на другую, на дяди Володину могилу. Он тоже умер скоропостижно и преждевременно. И тоже от скоротечной чахотки, поэтому Маврику нужно беречь свое горло и завязывать его шарфом, даже в теплую погоду.

Побывал Маврик и у тети Дуни на собачьем дворе. Пришлось прикупить колбасных обрезков для собак, которые сидят в клетках, потому что их еще не нашли хозяева.

Зашли проститься и к сапожнику, Ивану Макаровичу Бархатову, в подвал с крутой лестницей, и тетя

Катя очень боялась оступиться. Но все равно она спустилась туда, потому что «безнравственно забывать старых друзей». Маврик хотя и не знал, что значит это слово, но понимал, что поступать «безнравственно» — это плохо. Почти бессовестно.

Сапожник Иван Макарович подарил на прощание Маврику маленький молоток и привинтил резинки на каблуки его новых башмачков.

Тетя Катя преподнесла Ивану Макаровичу штоф с водкой и сказала:

— Спасибо вам, Иван Макарович, за все, за все, — и поклонилась ему.

— Что вы, зачем же это, — стал отказываться заметно смутившийся Иван Макарович. — Я же не за это любил и люблю вашего мальчика... Мне, конечно, трудно объяснить вам, но вообще-то спасибо, поскольку это от чистой души. Когда-нибудь я сумею отблагодарить вас... И вообще... — не досказал Иван Макарович и смущенно улыбнулся.

А что он мог досказать ей? Что она произвела на него очень хорошее впечатление. Что по счастливой случайности он знает о ней куда больше, чем рассказывал Маврик. Что ее мильвенский сосед Артемий Кулемин познакомился с ним в ссылке. Что, рассказывая о своем заводе, говорил и о Зашейных. А теперь, когда было решено создавать подпольную типографию нового типа в Мильвенском заводе, то этот же Кулемин, которому было поручено подыскать помещение для типографии, указал на зашейнский дом как на самый подходящий во всех отношениях.

Ничего из этого не мог сказать Иван Макарович. И он ограничился тем, что узнал о дне отъезда, названии парохода, на котором она отправится с Мавриком. Этого было вполне достаточно, чтобы с ней познакомился организатор задумываемой в Мильве типографии, который поедет на том же пароходе и «случайно» разговорится о сдаче квартиры.

— Желаю вам, Екатерина Матвеевна, и вашему племяннику всяческого благополучия в Мильве. Я слышал, что это очень хороший и тихий завод.

— Да, да, — подтвердила Екатерина Матвеевна и протянула Ивану Макаровичу руку в черной плетеной перчатке. — Желаю и вам благополучия в вашей работе. Прощайся, Маврушечка, с Иваном Макаровичем.

Иван Макарович поцеловал своего барашу в голову и, не заметя того, прослезился.

А бабушка Толлина не прослезилась, прощаясь с Мавриком. Она только благословляла и наставляла внука. Тетя Катя подарила бабушке черную косынку. А бабушка ничего не подарила ей. И Маврику тоже ничего.

Как оказалось, Пелагея Ефимовна не сумеет прийти на пристань, чтобы проводить Маврика. Она сказала:

— Во-первых, дальние проводы — лишние слезы, а во-вторых, умер купец Кунгуров и меня звали читать. За это дадут никак не меньше трешницы. При моем положении, Катенька, три рубля — большой капитал.

— Конечно, конечно, — согласилась тетя Катя и велела Маврику поцеловать бабушку.

Потом бабушка взяла толстую книгу — псалтырь, — напечатанную церковными буквами, по которой она будет читать у купца Кунгурова, и сказала:

— Я провожу вас до уголка.

На углу бабушка в последний раз поцеловала Маврика и пошла от живого внука к мертвому купцу, чтобы обогатить новыми рублями свою пуховую копилку-подушку, завещанную Маврику, которого она видит в последний раз. И это прощальное свидание с ним, с единственным человеком, которым она хоть как-то продолжится и останется жить на земле после своей смерти, и есть самое дорогое и самое яркое в этом ее последнем году. И никто, и даже тот, кого она называла «всемогущим, всезнающим и живущим в ней», не подсказал ей:

«Вернись и проводи с сыном твоего сына все эти часы и насладись ими, потому что впереди у тебя одиночество богадельни, а за ним вечное безмолвие и забвение. Остановись, многогрешная, в скаредности своей и запечатлись в его памяти доброй улыбкой и не рассказанной тобою сказкой про обманную злодейку Суету-Сует и прекрасную княжну Щедроту-Щедрот...»

IX

До отвала парохода оставалось более четырех часов, а делать в Перми уже нечего. Можно бы зайти в городской музей и показать тете Кате двухголового ребенка, заспиртованного в банке, но это невозможно. Она тогда не будет есть два дня. Тетя Катя может лишиться

ся аппетита, если ей показать лягушку. И не живую, а нарисованную на картинке.

Можно бы отправиться за богадельню на пустырь. Там гастролируют цирки, балаганы, показывают чудеса заезжие фокусники, факиры, властелины черной и белой магии... Там же продается владельцем прогоревшего балагана маленькая лошадка пони, которая называется загадочным и прекрасным именем Арлекин. Арлекин позволял погладить себя Маврику, и он мог на нем прокатиться за три копейки два круга. Теперь пони не нужен хозяину, потому что нужны деньги на проезд в Самару, и он продает смиренного и ласкового Арлекина.

Неплохо было бы и прокатиться на Арлекине. Но зачем? Зачем еще раз расставаться, еще раз обнимать шею, гладить исхудавшие бока и шептать: «Прощай на всю жизнь, прощай, моя маленькая лошадка, тебя, наверно, купят для богатого мальчика, пусть он любит тебя не меньше, чем я».

Не горюй, Маврик, придет время, и у тебя появится рыжий конек Огонек. Не такой маленький, как Арлекин, зато настоящий, быстроногий, неутомимый сибирский конь, и ты изведешь радость верховой езды по бескрайним степям Кулунды.

У тебя все еще впереди — и обманчивые радости, и счастливые несчастья.

В нелюбимой квартире на Сенной площади делать тоже было нечего, и тетя Катя сказала, что лучше посидеть на пристани, где свежий воздух, чем слоняться по улицам. На пристани могли разрешить занять каюту раньше времени.

Так и сделали. На бирже наняли извозчика. Извозчик забрал вещи. Их было немного. Мавриковы костюмы с кружевными воротниками, белье, волшебный фонарь и книжки. Простынь не оказалось, а одеяло совсем вытерлось. А подушки никто не возит в Мильвенский завод, когда там столько пера и пуха продают на базаре. Подушки лучше продать в Перми, а в Мильве купить новые.

Тетя Катя ни за что не захотела садиться в пролетку, пока не вылез извозчик и не подержал лошадь за узду. Лошадь может дернуть, когда одна нога находится в пролетке, а другая на земле. Но лошадь не дернула. И вообще она, оказывается, не трогалась без громкого «но-но» и кнута. После «но-но» и кнута она бежала

тоже «так себе» по Красноуфимской улице на Черный рынок, где магазин Зингера.

— Так рано? — спросила мать.

— Да что же тянуть, Любочка, — ответила тетя Катя.

В магазине было много покупателей. Мама то и дело получала деньги за иголки, за нитки, за машинное масло во флакончике с картинкой, на которой румяная боярышня сидела за ножной машиной и шила в большой букве «З».

Маме не хотелось на прощание расстраивать сына, и она старалась говорить очень весело...

— Я осенью приеду... А лето пролетит незаметно...

Маврик знал, что мама приедет в августе или в сентябре, потому что его братцу или сестрице лучше и дешевле появляться на свет в Мильве, чем в Перми.

Поговорить в суতোлке при посторонних людях так и не удалось. Да и не о чем говорить, когда все переговорено. Нужно скорее, пока еще у сына сухие глаза, отдать ему большую коробку с вафлями, пирожным и с десятью катушками прочных ниток для змейков.

— Слушайся тетю Катю. Она тебя любит больше всех.

Маврик получил коробку. Мама поцеловала его и тут же, повернувшись лицом к полкам магазина, громко сказала:

— Теперь идите. Можете опоздать...

Тетя Катя повернула Маврика к двери, и вскоре лошадь снова зацокала своими копытами по булыжнику Торговой улицы. Маврик не плакал, но и не радовался.

Очень хорошо, что он уезжает в свой Мильвенский завод, но было бы лучше, если бы мама не оставалась, а ехала бы вместе с ними в каюте второго класса, а папа мог бы пожить в Перми, если ему нельзя пока не служить в суде.

Маврик прижался к тете Кате и заикаясь сказал:

— Хорошо бы, когда мы приедем в Мильву, послать маме какую-нибудь посылку... Она их очень любит...

Губы Маврика дрожали, как и голос. Заметив это, тетя Катя пообещала послать очень большую посылку и указала на курносого мопсика, которого какая-то барынька вела на цепочке, а он лаял и на столбы...

— Смотри, какая отвратительная пустолайка. Разве такую куплю я тебе, как только приедем домой.

На пристани боцман сказал:

— Четвертак невелики деньги, зато загодя будете чин чином сидеть в своей каютке.

Тетя Катя с радостью согласилась, и они очутились в беленькой, пахнувшей краской каюте. Теперь можно было пробежаться по палубе, ощупать спасательные круги, познакомиться с официантом, который принесет телячьи ножки, или запереть багаж в каюте и отправиться на берег, где множество лавчонок, ларьков, лотков, где торгуют пирогами, пирожками, жареным мясом, копченой рыбой, вяленой воблой, кислыми щами, овсяной бражкой, тыквенными семечками, живыми раками, печеными яйцами, красным топленым молоком... Где торговки кричат, зазывают, ссорятся из-за покупателей, сбивают цену, обсчитывают, где мазурики шарят по карманам, шарманщики предлагают купить на счастье билетик, который вынимает из ящика общипанный попугай, где свистят полицейские и забирают воришек, где кишмя кишит народ, куда бы ни за что не пошла тетя Катя, если б не надо было ей отвлечь Маврика.

— Батюшки-матушки, как это мы забыли с тобой купить пеклеванного хлеба и вчерашней «четырешки» для чаек.

И они идут через пристань по мосткам, навстречу потоку крючников-грузчиков с большими кулями. То и дело слышится «эй, поберегись». С грохотом катятся тачки с ящиками, с тележными колесами... Пахнет весенней рекой, смолой, воблой. Множество запахов. Тьма людей. Славно журчит под мостками Кама, а на берегу еще веселей.

Екатерина Матвеевна покупает свежий пеклеванный хлеб, потом вчерашнюю «четырешку», вместо четырех копеек за фунт — по три. Тетя Катя не жадная, а бсрежливая. Чайкам все равно. Чайки не разбирают, вчерашний или сегодняшний хлеб им бросают.

Думая о чайках, Маврик безразлично смотрел, как взвешивается хлеб, как расплачивается тетя Катя.

— Хорошо бы, — мечтательно сказал он, — наловить чаек корзины две, увезти с собой в Мильвенский завод... Прикармливать каждый день, и развелись бы у нас в Мильве чайки.

Екатерина Матвеевна хотела было одобрить затею, но послышался голос:

— А я тоже еду в Мильвенский завод...

Маврик и Екатерина Матвеевна оглянулись. Перед ними стоял темноволосый мальчик с огромными черными глазами.

— Ты кто? — спросил Маврик.

— Я Иль!

— Такое имя?

— Да. Так зовет меня папа, а мама — Ильюшей. А тебя как зовут?

— Мавриком. А на каком пароходе ты едешь, Иль?

— На том же, что и ты.

— А в каком классе?

— Мама, я и Фаня во втором, а папа в третьем.

— А почему он в третьем?

— Так ему больше нравится.

Мальчик производил хорошее впечатление на Екатерину Матвеевну. На нем была хотя и старенькая, но чистая, тщательно заштопанная куртка. Смугловатое лицо, уши, нос тоже были безупречно чисты, и густая шевелюра, отливающая на солнышке, кажется, тоже была вполне в приличном состоянии. Кроме этого, он едет во втором классе. И самое главное, мальчик поможет Маврику скоротать время до отвала парохода. Екатерина Матвеевна сказала:

— Сейчас мы выйдем из толчеи и начнем знакомиться...

И они втроем направились к Козьему загону. Черноглазый веселый Ильюша понравился Маврику, а Маврик — ему. Они сдружились и выяснили все, не сделав и ста шагов. В этом возрасте люди не требуют многих подробностей. Маврик будет учиться во втором классе, и он во втором. Маврику было трудно жить в Перми. И ему было нелегко. Разве этого недостаточно?

Но Екатерине Матвеевне хотелось знать больше, и она спросила:

— Кто твой папа, Ильюша?

— Мой папа штемпельщик. Он умеет делать очень хорошие штемпеля и печати. Вот посмотрите.

В доказательство мальчик вынул из кармана куртки небольшой штемпель, подышал на него, затем отпечатал им на своей руке — «Илья Киришбаум».

— Какая прелесть, — похвалила Екатерина Матве-

евна прочитанный оттиск. — Только зачем же ручку-то пачкать?

— А на чем же я мог показать?

Видя, что довод неотразим, Ильюша лизнул напечатанное на руке и стер рукавом, доказывая этим, что только так, а не иначе он мог поступить.

— А кто твоя мама, Ильюша?

— Она теперь просто мама. Нас же двое у нее. Фаня еще ничего, а меня приходится воспитывать. А вообще-то мама наборщик первой руки. Но что ей платили? Жалкие гроши. Папа тоже зарабатывал мало у своего хозяина. Зато хозяин неплохо зарабатывал на папе.

Екатерина Матвеевна внимательно слушала, отлично понимая, чьи слова повторяет маленький говорун.

— И вы решили переехать в Мильву?

— Не в Екатеринбург же нам ехать? — снова серьезно принялся рассуждать мальчик. — В Екатеринбурге штемпельщиков больше, чем клопов в ночлежном доме. А в Мильве папа будет один. Ну, пусть два. Типография Халдеева тоже пробует делать штемпеля и печати, но это же не печати, а сырые блины.

Выговорившись и расположив к себе Екатерину Матвеевну, Ильюша попросил разрешения побегать с Мавриком по Козьему загону.

— Я буду козлом, а ты будешь меня загонять.

Маврик с радостью согласился. Что еще лучше можно было придумать до первого свистка? Козлом Ильюша оказался преотличнейшим. Он бегал на четвереньках, подымался и кричал «ме-с-ке-ке». Требовал афиш, заявляя, что афиши его самый вкусный обед.

Сидя на лавочке Козьего загона, Екатерина Матвеевна любовалась двумя кудрявыми головками, мечущимися по большому, безлюдному в эту пору дня набережному саду. Сентиментальная и в меру мечтательная Екатерина Матвеевна думала о встрече Маврика с Ильюшей, в котором тоже так рано проглянул взрослый человек.

Как знать, куда поведет эта встреча у хлебной палатки племянника и так запросто зашагнувшего в ее сердце чужого мальчика.

XI

Отец Ильюши, Григорий Савельевич Киршбаум, и был тем организатором подпольной типографии, которого Иван Макарович Бархатов всячески стремился по-

селить в зашеинском доме. По замыслу Ивана Макаровича и Киришабаума, знакомство должно было состояться на пароходе. Анна Семеновна Киришабаум должна была разговариваться с Екатериной Матвеевнoй, но все oказалось проще, естественнее и быстрее.

Киришабаум не знал в лицо Екатерину Матвеевну, но узнал ее по приметам. Очки в золотой оправе. Черная кружевная косынка. Степенна в походе, взгляде и разговоре. Родимое пятно на подбородке. И наконец, самая безошибочная примета — кудрявый, голубоглазый мальчик в бархатном костюмчике с белым кружевным воротником. И когда Киришабаум увидел Маврика на мостках вместе с его теткой, он сказал сыну:

— Иль, не лучше ли, чем сидеть на багаже, познакомиться с этим мальчиком? Вам же вместе ехать...

И тогда Ильюша пошел за Мавриком и его теткой. А теперь они возвращались втроем. Екатерина Матвеевна вела за руки по шумным мосткам oboих мальчиков.

— А это, тетя Катя, моя мама, мой папа и моя сестра, — сказал Ильюша, подводя Екатерину Матвеевну к своей семье, сидящей на багаже.

— Илья, ты с ума сошел, — оговорил его отец, — может быть, госпожа, которую ты так невежливо называешь тетей Катей, и не желает знакомиться с нами...

— Ну как вы можете так, — смущенно сказала Екатерина Матвеевна, протягивая руку. — Здравствуйте, Анна Семеновна, здравствуйте, Григорий Савельевич...

Киришабаум оживился, пожал плечами и весело сказал:

— Как? Этот маленький чертенок уже предал своих родителей?..

— Так нельзя, — остановила его Екатерина Матвеевна. — Так нельзя называть младенца, Григорий Савельевич... — Не договорив, она услышала знакомый голос:

— Бараша-кудряша!

Маврик оглянулся. Ну конечно, это он, сапожник Иван Макарович Бархатов.

— Как вы любезны, — сказала ему Екатерина Матвеевна.

А он:

— Как на шиле сидел все это время. Дай, думаю, сбегать на пристань. Невелико время полчаса, а помнить не один год будешь.

Иван Макарович Бархатов на пристани оставался недолго. Ему нужно было, чтобы Киршбаум увидел его разговаривавшим с Зашеиной и Мавриком, Бархатов нарочно громко называл Екатерину Матвеевну, а Киршбаум, проходя в это время на пароход, тоже громко сообщал своей жене:

— Теперь я вижу, что не только ты считаешь меня пентюхом, но и другие...

Бархатов понял, что его опасения были напрасны. Он мог бы и не приходить на пристань. Ему очень хотелось сказать Маврику об Ильюше: «Какой хороший у тебя новый знакомый», но большая конспирация не терпит и малых промахов. Поэтому Киршбаум и Бархатов на прощание даже не обменялись взглядами.

Иван Макарович не стал дожидаться второго свистка.

— Прости, мой дружок, тороплюсь. Не забывай меня...

— Никогда. Никогда, — ответил Маврик и протянул руки к шее Бархатова.

— До свидания, Екатерина Матвеевна, — сказал Бархатов и поцеловал ей руку.

«Бывают же и среди сапожников обходительные люди, — подумала она. — Конечно, может быть, он зашел по пути. Но все равно нужно быть благодарной ему. Хоть один человек да проводил Маврика. Пусть не до третьего свистка, но проводил».

— Маврик обязательно вам напишет, Иван Макарович... Дай бог вам всего хорошего...

И они расстались.

Маврик в кармане своей куртки обнаружил надувного чертика и пачку с множеством картин для волшебного фонаря.

— Ты смотри, тетя Катя, — радовался мальчик, — папа не сумел разыскать их, а он разыскал...

Это были картинки к сказкам «Конек-Горбунок», «Про братца Иванушку и про сестрицу Аленушку» и особый пакетик с картинками к рассказу Л. Н. Толстого «Бог правду видит, да не скоро скажет».

— Как это хорошо, как это хорошо с его стороны, — твердила Екатерина Матвеевна и в первый раз в жизни подумала, что за такого человека она, может быть, и могла бы выйти замуж. Правда, у него не очень чистые руки... Они, кажется, в дратвенном вару... Но зато сам он чистый и, безусловно, честный человек.

Третий свисток засвистел скорее, чем думал Маврик. Пароход постоял еще с полминуточки, потом убрали сходни.

Послышалась команда:

— Отдать носовую, — и зашумели плицы колес.

Потом отдали кормовой канат с большой петлей. Петля шлепнулась в воду и стала ползти на пароход.

Пароход шел против быстрого течения все еще прибывавшей воды вверх по Каме.

Маврик смотрит на похорошевшую и ожившую в мае Пермь, жалеет и не жалеет ее. Пусть смутно, все же он начинает представлять, что есть две Перми. Пермь богатых и Пермь бедных.

Ему еще много надо прожить, чтобы понять, как устроена жизнь и почему у одних есть все, а у других ничего или очень мало, хотя и теперь он задумывается об этом, глядя на оборванных людей, сидящих внизу на корме парохода между канатами и клеткой с живыми цыплятами. На корме едут и дети. Они с удовольствием съели бы всю «четырешку», потому что едят черный хлеб с солью. Значит, он, и тетя Катя, и мама с папой живут лучше их. А они едут даже не в третьем, а в четвертом классе, где общие нары и железный пол.

— Милый мой, не нужно думать обо всем этом. Тебе еще рано морщить лобик. Пусть все остается за кормой парохода, — сказала тетя Катя и махнула рукой на берег. — Пойдем лучше на нос и будем смотреть вперед.

Попадают встречные буксиры, плоты и баржи. Разглядывать их тоже интересно, а Пермь все равно стоит перед глазами, хотя она и далеко за кормой парохода, за многими поворотами реки.

Конечно, нужно смотреть вперед, но не оглядываться тоже невозможно. Потому что человек не пароход. У него ничего не остается за кормой, все сохраняется в нем и с ним. В нем и с ним хорошее и плохое. И ничего нельзя выгрузить, оставить на какой-либо из пристаней и забыть, потому что он человек, а не пароход. Но...

Но все-таки нужно смотреть вперед.

I

От Камской пристани до Мильвенского завода не так далеко, но и не близко. Екатерина Матвеевна перед отъездом сговорила с кузнецом Яковом Кумыниным, чтобы он подал свою смирную Буланиху, а потом послала ему телеграмму, какого числа и во сколько придет пароход. Она могла бы нанять крестьянскую лошадь и не платить Кумынину за прогон на пристань и обратно, да еще поденщину за потерянный на заводе день. Однако же Яков Евсеевич повезет не трянув, захватит одеяла и подушку для Маврика, постелет в коробок хорошего сена, прихватит на случай ненастной погоды большую старую столовую клеенку.

Киршбаумы наняли крестьянских лошадей. Они еле разместились со своим багажом на двух телегах. Ильяша, вчера допоздна просидевший со своим новым товарищем на палубе, теперь сладко спал подле матери. Маврика, тоже сонного, уложили в коробок, где он, укрытый теплым стеганым одеялом, проспал всю дорогу до Мертвой горы, с которой открывался вид на Мильву.

Очень не хотелось будить его на горе, но это было ему обещано, а не сдержать обещанное невозможно. Правдивость и в мелочах для Екатерины Матвеевны была святая святых. «Как я могу требовать с ребенка того, что не выполняю сама».

На вершине горы Буланихе было сказано «тпру», и она, довольная, остановилась, а Екатерина Матвеевна сказала:

— Мавреночек, я сдержала свое обещание, но, если не хочешь, можешь не просыпаться. Мы потом сходим с тобой на Мертвую гору, когда пойдем навещать дедушку.

Маврик восторженно широко раскрыл глаза, сбросил одеяло, выпрыгнул из коробка и громко крикнул:

— Мильва!.. Мильва!..

Ему хотелось крикнуть что-то еще, может быть, «милая» или «здравствуй», но не хватило воздуха. Он задохнулся, увидев огромный пруд, освещенный солнцем, разноцветные дымы заводских труб, дома и улицы, начинающие зеленеть деревья и все, что называлось таким дорогим словом «Мильва» и даже «Мильвочка».

Редкий человек, приезжая в Мильву, знающий ее или видящий впервые, не останавливается на этой горе и не любит панорамой Мильвенского казенного завода.

Мильвенский завод вполне можно назвать собирательно-типичным. Он как бы собрал в себе все характерное для заводских населенных пунктов Урала. Побывавший в Мильве житель Тагила, Невьянска, Туринска, Златоуста, Кушвы и других подобных им найдет много родного, схожего, своего, начиная от пруда, плотины, архитектуры домов и улиц и кончая бытовым укладом. Все большие и малые при заводские уральские поселки не города и не села, но их собратья.

В центре Мильвы плавят сталь, прокатывают и коуют железо, сооружают котлы, корпуса судов, а по улицам бредут стада коров и овец, в конюшнях ржут лошади, на дворах гогочут гуси, квохчут куры и хрюкают свиньи. У Мильвы свой запах. Она пахнет и фабричным дымом, и прелой, унавоженной землей огородов. И тот же Яков Евсеевич Кумынин на заводе кузнец, а дома сельский житель. У него богатый огород, корова, буланая лошадь, две овцы, свинья, гуси и куры, а он ни мужик, ни крестьянин, а мастеровой человек, как большинство жителей Мильвы, которых «кормит завод-батюшка, а подкармливает земля-матушка».

Для Маврика пока еще непонятны эти особенности и подробности жизни родного завода. Ему сейчас важнее всего увидеть дедушкин дом, а он не может его найти среди множества домов, сгрудившихся в низине.

— Да вон же он, вон, — говорит Яков Евсеевич, — с красной железной крышей, куда я указываю пальцем, подле тополей.

Теперь можно ехать.

Чем ближе к центру, тем больше и чернее деревянные дома. Каменные начнутся в самом центре. Их не так много, и все они двухэтажные, но есть один трехэтажный дом — это дом Чураковых. В нижнем этаже чураковский магазин, а в двух верхних живет нотариус Шульгин с женой и с дочерью. Большой дом и у провизора Мерцаева. У него своя аптека и сын Игорь. Он старше Маврика на два года. У него настоящие сабли и ружья. Игорь не водится с Мавриком. Ему неинтересно. Может быть, теперь он обратит на него внимание? Ведь Маврик ученик второго класса.

А вот дом старого уважаемого мастера Матушкина. Скромный такой дом, с приветливыми окнами и добрым крылечком. Дома, как и собаки, похожи на своих хозяев. У гостеприимного и сердечного человека никогда не бывает злой и кусачей собаки. Они просто не уживутся вместе в одном доме. Жадный, скаредный хозяин не может держать ласкового пуделя, как не может любить бездельничающая пустая дама умную собаку. У нее болонка-пустолайка. Обо всем этом так хорошо рассказывал Маврику милый Иван Макарович, на которого очень походит улыбающийся кулеминский деревянный дом с резными наличниками. Так и кажется, что его строил Иван Макарович.

За чопорным домом Чураковых Буланиха сама свернет влево, на Большой Кривуль, и Маврик знает это. На углу Большого Кривуля и Ходовой улицы — дедушкин, похожий на бабушку, дом.

— Ба-буш-ка-а-а!.. Я приеха-а-ал!

Маврик закричал так громко, что о возвращении Маврика узнали все соседи и, конечно, Санчик, проснувшийся с солнышком. Оказывается, он сидел на воротах, чтобы первым увидеть Маврика и броситься к нему навстречу.

— Санчик!

— Маврик!

Мальчики обнялись.

Из окна хмурого кирпичного краснобаевского дома послышался веселый женский голос:

— Вызвали Маврикия Андреевича?.. С приездом, Екатерина Матвеевна! Здравствуйте...

— Здравствуйте, — ответил Маврик, наскоро раскланявшись, и стремглав побежал вместе с Санчиком к бабушке.

Какое счастливое, солнечное утро. Как пахнет распускающимися тополями, как хорошо в объятиях своей бабушки, при которой не нужно думать, как себя вести, что можно и что нельзя говорить.

— Бабушка... Я приехал, бабушка... Навсегда. На всю жизнь!

— Дитятко мое, — обнимает его старушка. — Мой маленький Матвей Романович, зашеинская кровушка, дедушкина кудрявая головушка, бабушкины глаза... Дождалась, дожила!

— И я дожил, бабушка... Где велосипед?..

Мальчики с Ходовой улицы еще не знают, как следует им отнестись к новичку в плюшевом костюмчике с белым кружевным воротником. Принять ли его в свою ватагу или начать дразнить, как поповского сына Левку, и придумать обидное прозвище. «Неженка», «Полосатик», — Маврик приехал в полосатых чулках. «Зашейная жужелица», — по дедушке он — Зашейн. «Поганый гриб», — у Зашейных в пустующем огороде растет уйма шампиньонов, которые в Мильве считаются несъедобными, погаными грибами. Можно прозвать и просто «Поганкой». Должно же у него быть какое-то прозвище, как у всех. Ну а если зашейнский внук окажется «ничего себе» и разуется, как они, не начнет воображать из себя «городского», то можно прозвать как-нибудь получше.

Маврику и Санчику, нашедших друг друга, не было дела до мальчишечьего сбора на улице. Им нужно скорее по одному разику прокатиться на велосипеде, проверить, цела ли елочная коллекция, побывать в старой бане, слазить на сеновал, заглянуть в погреб, заново покрытый, как все строения, железом, потому что поросшие зеленым мхом тесовые крыши сгнили и стали теперь еще не распиленными дровами. Вот бы в Перме все эти доски!

Кажется, не хватит дня, чтобы все проверить и осмотреть. А проверить нужно еще очень много. Маврик должен знать, вывелись ли скворчата, или скворчиха все еще сидит в скворечнице и высиживает их. Очень важно решить, что можно сделать с грудой старого кирпича. Не соорудить ли из него кафедральный собор или пермскую тюрьму. Если тюрьму, то можно по очереди одному быть арестантом, а другому стражником. Очень серьезная пора.

Санчик согласен на все. Он моложе Маврика на один год и чувствует себя при нем. Он знает, что хотя старший товарищ никогда не обидит его, но все же он старший. И ему нужно быть капитаном, а Санчику помощником. А если они вздумают играть в церковь, то Санчик не может стать священником, а всего лишь дьяконом. Но в церковь лучше играть зимой, а сейчас, летом, играй хоть во что. В охоту на тигров. В шарманщиков. В бродяг, которые в бочке переплывают Байкал. Бочка

есть, а Байкалом может быть двор или лужок за сараем. Но лучше всего играть в пароход. Веревки для чалок много. Старая труба от железной печки ничуть не хуже пароходной, а большая кованая четырехрогая «кошка», которой достают упавшие в колодец ведра, — самый настоящий якорь. Котлом может стать медный ведерный самовар. Он также валяется.

— Давай, Санчик!

— Давай...

Нелегко сделать хороший пароход, но можно, если не пожалеть сил, и не бояться испачкаться. Корму и нос лучше всего выложить из старого кирпича, а первый и второй классы сделать из ящиков, палубу из досок, а мачту... Мачта найдется — был бы пароход.

И вот уже за сараем на лужке закладывается пароход. Приличный пароход, но не такой, каким он мог бы быть, если бы мышь оказалась феей. А она не оказалась ею. Зато пришел другой волшебник, который может сделать все.

— Здорово, пароходчики!

— Здравствуйте, Терентий Николаевич!

— А корма-то кося, и нос с изъяном, — говорит он и поднимает Маврика своими сильными руками, чтобы лучше рассмотреть его.

Терентий Николаевич Лосев теперь на пенсии. У него старый-престарый дом на Лесной улице. К пенсии ему приходится прирабатывать где придется. Для Екатерины Матвеевны он незаменимый мастер на все руки. Подновить ли сруб погреба, наколоть ли дров, починить забор, подмести двор, вставить стекло в раму — все может сделать Терентий Николаевич в зашеинском доме, где нет ни одного мужчины.

Терентия Николаевича знают и любят в Мильве как человека доброго, честного, отзывчивого. Человека, которому можно довериться. Не выдаст. Политические убеждения Лосева были крайне ограничены, хотя и определены. Он не раз говорил в своем кругу:

— Царю нужно дать коленом не потому, что он дурак, а потому, что царь.

Терентий Николаевич твердо знал, что эту жизнь нужно сломать. Что новая жизнь должна быть без дармоедов. А какой именно она должна быть, Лосев не представлял и считал, что этого не знает никто. Как можно знать о том, чего нет?

Екатерина Матвеевна дорожит Терентием Николаевичем. И он дорожит хорошим к нему отношением. Сегодня у него особые поручения.

— Тереша, дорогой, — попросила его Екатерина Матвеевна, — Мавруше нужно не дать заскучать без матери... И я, Терешенька, все согласна сделать для племянника, лишь бы отвлечь его...

— Катенька! Катерина Матвеевна, не толкуй ты мне, пожалуйста, зря. Зачем-то же струмент при мне. Неужели я сам не знаю, что понадобится собачью будку сколачивать. Щеночек-то у меня уж совсем подрастает. Через неделю можно брать, — говорит и смеется веселый Терентий Николаевич, размахивая огромными ручищами.

— За это спасибо тебе, Терентий Николаевич. Щеночек пусть растет, а пока нужно строить пароход.

— Что ж, можно и пароход. Старых досок достаточно. И краска от ремонта, — он делает ударение на первом слоге, на «ре», — осталась. Только я покурю для разгона, чтобы в голове не шумело...

В ответ на это Екатерина Матвеевна сдержанно наливает в граненый стакан «разгонное».

Они понимают друг друга.

— Теперь можно хоть пруд прудить, хоть мосты мостить, — говорит Лосев, закусив выпитое куском рыбного пирога.

А потом, оказавшись за старым сараем, Терентий Николаевич незаметно для мальчишек, а может быть, и для самого себя входит в игру.

— Ненадежно, господа судовые мастера. На этакой посудине и утонуть недолго, а уж на мель сесть — как пить дать. И палуба низка, и в каюте двум котам не разойтись.

Маврик не спорил. Он знал, что Терентий Николаевич говорит плохо о начатом пароходе не для того, чтобы посмеяться, а чтобы сделать лучше.

Так и случилось.

Терентий Николаевич вбил пять кольев, обшил их досками, и получился почти настоящий нос парохода. С него уже можно бросать настоящую чалку и отдавать якорь.

Ямка за ямкой — четыре ямы, четыре столба. Опять доски. Доски с боков, доски сверху.

Тетя Катя зовет обедать, но до обеда ли, когда про-

резаются окна и вставляются настоящие старые рамы со стеклами, забытые в каретнике.

— Шабаш! — командует Терентий Николаевич. — Свисток на обед. — И он свистит куда громче и «настоящее» Гени Шаньгина.

В кухне накрыт стол. Деревянные ложки, общая чашка, а в чашке уха. Все по-настоящему. Кормят, как плотников, которые рубили новую баню, когда Маврик был маленьким.

— Пожалуйста, рабочие люди, садитесь за стол, — приглашает тетя Катя и отрезает по большому ломтю ржаного хлеба каждому.

Маврик не знает, что все это делается для того, чтобы он ел. Ел с аппетитом и здоровел. И Маврик ест. Он решительно откусывает от ломтя черный хлеб, зачерпывает за Терентием Николаевичем полную ложку ухи, дует на нее, а потом проглатывает и счастливо улыбается, переглядываясь с тетей Катей. Она не ест. За этим столом на кухне могут есть только рабочие люди. И они едят. Уписав уху, принимаются за гречневую кашу с маслом. Тоже из общей чашки и теми же деревянными ложками.

После обеда Терентий Николаевич набивает махоркой свернутую из белой бумаги сигарку и долго курит ее, а потом, видя нетерпение Маврика, говорит:

— Шут с ней... Пошли на пароход...

И все с шумом и криком бегут за Терентием Николаевичем.

III

Терентий Николаевич увлекся строительством парохода не меньше ребят. Наверно, в его шестьдесят с лишним лет проснулось недоигранное детство, а может быть, в нем «взыграла» оборванная болезнью работа в судовом цехе.

Терентий Николаевич понимал, что пароход без дыма все равно что собака без голоса.

— Катенька! Ты не бойся, дорогая моя, — увещевал он. — Ну какой же может быть пожар, если в старый самовар накласть угольев, поверх их навалить сосновых шишек, а лучше ладану. Дымить будет так, что и ты залюбуешься.

Екатерина Матвеевна колебалась — можно ли играть

церковным ладаном, которого осталось с фунт после похорон Матвея Романовича.

— Так не в кабаке же он будет дымить, Катенька, — продолжал убеждать ее Терентий Лосев, — в божье же небо дым от него пойдет. И Матвею Романовичу оттуль будет видно, как хорошо живет-ся-играется его внучоночку.

Это решило исход дела. Ладан был выдан, и пароход задымил сизым, пахнувшим церковью дымом.

Маврик и Санчик завизжали от восторга. На заборе появился босой розовощекий мальчик. Это был Толя Краснобаев. Маврик сразу же узнал его и зазвал к себе.

— Хочешь быть рулевым? Ты умеешь править?

— Нет, — застенчиво признался Толя, — я лучше пока побуду матросом.

Следом за Толей на заборе показался его брат Сеня. Он был старше Толи, но ниже его ростом, зато коренастее и крепче. Тетя Катя называла его «очень самостоятельным мальчиком», которому можно доверять, и предложила заведовать «котлом» и подсыпать в самовар, то есть в котел, уголь и ладан.

Сеня, довольный этим, серьезно мотнул головой, понимая, какая ответственность возлагается на него.

Не хватало матросов. Маврик вышел через калитку и сказал ребятам, приникшим к щелям уличного забора:

— Нужны матросы, пассажиры и грузчики.

Ребята переглянулись. Смелые на улице, не все из них набрались храбрости появиться на зашеинском дворе, где они никогда не бывали. Выручил Толя:

— Маврик, ты иди и свисти, а я выберу, кому кем быть.

Засвистел свисток.

— Отдать носовую, — скомандовал Маврик.

И носовую начали выбирать.

— Руль налево. Отдать кормовую. Полный вперед.

И пошел белый, крашеный известью пароход с черной трубой на всех парах. Замахали руками на «берегу». Направо-налево поворачивает Санчик рулевое колесо. Ходит капитан Маврикий Андреевич по палубе и смотрит в маленький тети Катин бинокль, велит то с того, то с другого бока махать встречным судам белым флагом, сделанным из носового платка, раздувает во всю мочь Сеня котел-самовар, и валит сизый дым из трубы с красной полосочкой...

Маврик не может сдержаться себя... Прыгает в «воду» с верхней палубы и сначала «плывет», а потом бежит по зеленой «воде»-мураве к тетечке Катечке, целует ее, целует Терентия Николаевича и благодарит за пароход, за свисток, за дым, за красную полосочку на трубе и за все, за все...

Умиленная Екатерина Матвеевна приглашает всю команду, всех матросов, всех грузчиков и пассажиров на обратном пути из Рыбинска остановиться в старинном городе Сарайске, где будет выдано угощение.

Растроганный Терентий Николаевич не выдерживает... Он вышибает ладонью пробку из шкалика, выпивает его через горлышко и, притопывая, поет:

И-эх! Пароход плывет по Каме,
Баржа семечки грызет.
Мил уехал напокамест,
Он обратно приплывет.

И пока под тесовым обломом сарая готовится немудреное угощение, пароход успевает сходить в Рыбинск и вернуться обратно. Терентий Николаевич тем временем сколотил на скорую руку пристанские сходни.

Маврик смотрит в бинокль и объявляет всем:

— Скоро Сарайск!

И все оживляются:

— Вон, вон... Я тоже вижу! — кричит Санчик. — Полна пристань народу...

Как хорошо бы сюда Ильюшу и молчаливую девочку Фаню. Уж она-то бы могла стать пассажиркой первого класса... Вы представляете на ней темную, оставшуюся от траура вуаль... В руках у нее черный страховый веер... Длинные черные, тоже тети Катины, плетеные перчатки... И все наперебой:

— Барышня... Позвольте мне снести на берег вещи...

— Нет, ваша светлость, позвольте уж мне... Я за даром... Мне не нужны никакие чаевые...

А она, не глядя ни на кого, отвечает:

— Ах, зачем же... У меня только лакированная шляпная картонка и ридикуль песочного цвета. Могу и сама...

Но Фани нет. Первый класс есть, а в нем некому ехать. Как же мог Маврик столько дней не вспомнить о своих новых друзьях... И только теперь, когда так

торжественно пароход причаливает к Сарайску, он вспомнил о них. Как это нехорошо и, наверное, безнравственно.

IV

Киришбаумы нашли временное пристанище в Гольянихе. Так по имени старой деревни, слившейся с Мильвой, назывались концы Замильвья, где тосковал Ильюша, требующий и ночью сквозь сон отвезти его на Ходовую улицу. Но Киришбаумам было не до встреч Маврика и Ильюши. Не состоялись более важные встречи. Киришбаум, конечно, мог бы в поисках квартиры забрести в дом Артемия Кулемина. Мог бы через него встретиться со своим питерским другом Тихомировым, сосланным в Мильву. Здесь, в благополучной Мильве, слежка не так строга, как в Перми. Тихомиров мог бы с главой подполья, стариком Матушкиным, оказаться на весенней охоте и встретиться с Киришбаумом в лесу, на болоте. Однако Киришбаум свято хранит истину, преподанную ему Иваном Макаровичем: «Никогда не думай, что ты самый хитрый».

Рисковать было нельзя. И даже то, что казалось верным, но недостаточно мотивированным, не могло быть предпринято Григорием Савельевичем. Уже давно известно, что большие дела чаще всего проваливаются на мелочах.

Во всех случаях Киришбаум должен был побывать у пристава. Без его разрешения он не мог открыть своего заведения. И он, не теряя времени, отправился к приставу.

Пристав Вишневецкий был в самом хорошем расположении духа. Вчера он получил от губернатора благодарственное письмо за преуспевание.

Какие изумительные слова! Можно без конца читать и перечитывать их и находить новое. «Искусство мягкого умиротворения». Именно «мягкого»... Именно «умиротворения»... И одновременно: «твердости», черт побери... и «непреклонности в управлении». Какое изящество слога.

Счастливый пристав расхаживал по своему кабинету, заново меблированному купцом Чураковым заказной вятской мебелью из карельской березы, любуясь новым мундиром, сшитым другим дельцом, владельцем мага-

зина готового платья, и радуясь солнечному дню, обещающему веселый пикник в ознаменование губернаторского письма.

— Адъютант! — крикнул пристав. — Кто ко мне?

«Адъютантом» на этот раз был неуклюжий, толстый дежурный, урядник Ериков. Он вошел и, стараясь казаться молодцеватым, каким он не был и в давние молодые годы, доложил:

— Имею честь, ваше благородие... господин из Варшавы.

— Проси.

Григорий Савельевич Киршбаум еще не знал, как себя вести с приставом. Взять ли на себя роль гонимого судьбой и желающего устроить свою жизнь, или воспользоваться испытанной маской неунывающего местечкового искателя грошового счастья. Но, увидев блистательного Вишневецкого, а до этого услышав его грассирующий голос, Киршбаум сразу же нашел нужный тон. Почтительно поклонившись и задержав голову склоненной, затем, дождавшись приглашения сесть, он сказал:

— Я и не думал, ваше высокое благородие, что сумею так легко и просто представиться вам. Я действительно из Варшавы, хотя и приехал из Перми. Моя одежда не позволяет мне назваться тем, кто я есть. А я есть предприниматель, хотя и мелкий. Но если вашему высокому благородию будет угодно отнестись ко мне так же благосклонно, как ко всем другим, кто живет в Мильвенском заводе и кто приезжает в него, то ваш покорный слуга может стать на твердые ноги.

— К вашим услугам, — ответил Вишневецкий, памятуя слова из губернаторского письма об «искусстве мягкого умиротворения». — Чем я могу быть вам полезен?.. Пожалуйста... «Ю-Ю», короткая курка, длинный мундштук.

Поблагодарив за предложенную дорогую папиросу «Ю-Ю» и отказавшись от нее, Киршбаум коротко рассказал о себе, начиная с Варшавы, где он родился, где бедность не позволила ему закончить пятого класса гимназии, после чего он вынужден был искать счастья в Петербурге. Не забыв обронить очень важную подробность о своем деде — «никалаевском солдате», потомкам которого разрешалось проживать беспрепятственно во всех городах Российской империи, Киршбаум подтвердил все это предъявленным паспортом.

— Так какой черт, досточтимый Григорий Савельевич, — удивился Вишневецкий, читая паспорт, — заставил вас покинуть столицу и приехать в Мильву?

— Нужда, ваше высокое благородие, но я услышал, что есть на свете счастливая Мильва. Мильва, где царит благополучие, где каждый имеет свой кусок хлеба, Мильва, где тихая, но процветающая жизнь, где есть женская гимназия и где будет строиться электрический синематограф «Прогресс», где имеется свое любительское драматическое общество, где казенный, императорский, а не какой-то другой завод, где нет беспорядков и, конечно, не может быть погромов и где нет, но может быть мастерская штемпелей и печатей «Киршбаум и сын». А в скобках — «из Варшавы». Теперь скажите мне, ваше высокое благородие, назвали бы вы меня ослом и даже хуже, если б я не бросил все, не продал кое-что на дорогу и не приехал сюда?

— И преотлично сделали, — одобрил пристав, — в таком, по сути дела, городе Мильвенске нужна такая мастерская. «Киршбаум и сын», да еще «из Варшавы» — превосходная вывеска. Положим, господин Халдеев пробует делать печати, но это же ужас... Полубуйтесь...

Вишневецкий показал круглую аляповатую печать. И Киршбаум сказал:

— Если бы я не относился с уважением к господину Халдееву, то эту печать я бы назвал сырым блином, — и спросил: — А не будет ли недоволен господин Халдеев, что я в некотором роде...

— Он будет благодарен вам, господин Киршбаум. Он вынужденно занимается штемпелями, потому что ими не занимается никто. Благословляю! — Пристав простер руки, снисходительно улыбнулся и поблагодарил за удовольствие, доставленное остроумнейшим разговором. — Надеюсь, что внук почтеннейшего солдата его величества государя императора Николая Первого вольно или невольно не доставит излишних хлопот полиции.

— Я уже это сделал, ваше высокое благородие... И не могу поручиться, что не сделаю еще... В губернии — губернатор, а здесь — вы. К кому же я приду, если госпожа судьба снова не захочет улыбнуться вашему почорному слуге.

После ухода Киршбаума Вишневецкий принялся выстукивать пальцами по столу и напевать вполголоса:

«Эх, тумба-тумба-тумба, Мадрид и Лиссабон», а затем решил запросить Пермь, а пока установить проверочный надзор за приезжим, оказавшимся слишком безупречным и на редкость благонадежным, что должно вызвать неминуемую настороженность всякого пристава, и особенно — замечаемого самим губернатором.

А Киршбаум, великолепно понимая, что это так и будет или примерно так, зная, что слова пристава не могут соответствовать его мыслям, примет все меры, чтобы облегчить полиции проверку.

V

Дом прокатчика Самовольникова, где нашли временное пристанище Киршбаумы, представлял собой типичное жилище мильвенского рабочего. Это изба-пятистенка, которую называют домом, как и горницу предпочитают именовать залом. В зале-то и разместились Киршбаумы, платя рубль в неделю за постой, чему Самовольниковы, как видно, были очень рады. Недавно построившись, эта рабочая семья дорожила каждой копейкой. Ефиму Петровичу Самовольникову и особенно его жене Дарье хотелось, чтобы приезжие пожили у них подольше. Им продавались молоко, первые овощи, а самое главное — для них выпекался хлеб, что тоже давало лишнюю копейку старательной хозяйке Дарье Сергеевне.

Узнавая ближе Самовольниковых, Киршбаум задумывался, как много нужно сделать, чтобы вывести хорошего человека Ефима Самовольникова из круга его интересов, огороженных временной оградой в одну жердь. И по эту сторону ограды обожествляется все, начиная с огородных грядок и кончая маленькой, чем-то похожей на козу коровкой. Здесь все приносило радость. И появившийся на окне горшок с геранью, и подаренная на новоселье рябая молодая курица.

Далекая от этого уклада жизни, Анна Семеновна говорила Киршбауму:

— А все-таки я верю, что такие, как Самовольниковы, однажды открыв глаза, увидят, как ничтожно то, чему они молятся, и, проснувшись, окажутся в наших рялах. А сколько таких? Усыпленных. Ослепленных. Замороченных.

— Да, конечно, — согласился с женой Киршбаум,

желая узнать, была ли она у Матушкиных. — Как твои зубы? — спросил он иносказательно.

— Я думаю, они будут болеть не менее недели, — так же иносказательно ответила Анна Семеновна, потому что разговор происходил при Фане, девочке думающей и понимающей более, чем хотелось ее родителям.

Зубы у Анны Семеновны заболели вскоре после ее приезда. Зубная боль была единственным поводом для встречи с Матушкиными.

Старик Емельян Кузьмич Матушкин в свое время ходил в знатных колдунах по выплавке инструментальных сталей. Хорошо зарабатывая, он позаботился о детях. Сын выучился на инженера по строительству железных дорог. Одна дочь, Елена, — учительница. Вторая, Варвара, — зубной врач. К ней-то и нужно попасть Анне Семеновне. Попасть умно. Не просто завязала щеку и — «Здрасте, Варвара Емельяновна, я из Перми, партийная кличка «Елена», давайте знакомиться».

Так не могла явиться осторожная подпольщица, жена дважды осторожного Григория Савельевича. И она, «маясь зубами», дождалась, когда сочувственная хозяйка Дарья Сергеевна сказала:

— К доктору бы тебе, девка, надо.

А та, держась за щеку:

— А разве они у вас есть?

— Вот те на.

Этого-то и надо было Анне Семеновне.

— Сведи, Дарья Сергеевна. Куда же я одна в чужом городе?

И вскоре Анна Семеновна «мотивированно», так сказать, не по собственной инициативе, а по рекомендации хозяйки квартиры, была доставлена к Варваре Емельяновне.

— А я вас еще вчера ждала, товарищ Елена, — сказала Матушкина, разглядывая Анну Семеновну, когда закрылась обитая белой клеенкой дверь зубо врачебного кабинета.

Так началось знакомство и установилась связь Киршбаумов с мильвенским подпольем. Зубо врачебный кабинет соединялся второй дверью с жилыми комнатами Матушкиных. Анна Семеновна получила возможность встретиться с «самим».

«Сам» походил на кого угодно, только не на подпольщика, да еще большевика. Его можно было принять

за церковного старосту, волостного старшину, лабазника, за удачливого земского деятеля, вышедшего на покой, и назвать болваном всякого, кто бы заподозрил в этом бородатом, розовошеком, пузатом старике внутреннего врага Российской империи.

В те дни, когда Анна Семеновна лечила «затянувшееся воспаление надкостницы», встречаясь с подпольщиками, новоявленный предприниматель штемпельщик Киршбаум налаживал коммерческие знакомства, избегая ходить по тем улицам, где жили люди, которые будут создавать вместе с ним подпольную типографию.

Между тем в полицию поступали самые приятные для Киршбаума сведения, чему он способствовал на каждом шагу, помогая не очень хорошо маскирующимся агентам. Одному из них он пообещал выбить зубы, если он еще раз посмеет сказать при нем хотя бы одно плохое слово о господине Вишневецком Ростиславе Робертовиче, который непременно будет вице-губернатором. Потому что господин Вишневецкий Ростислав Робертович не просто большой ум, но и большое сердце настоящего русского дворянина, умеющее чувствовать и барина, и мужика, и даже такого, как бездомный штемпельщик Киршбаум. Такие губернаторы, и только такие, как господин Вишневецкий, нужны русскому и всякому народу великой империи.

Пристав Вишневецкий трижды перечитывал донесение, которое прочило ему пост вице-губернатора.

— Хватит искать чертей в кадилънице, у нас есть поважнее дела, — сказал пристав самому помощнику по негласному надзору и принялся распекал его за «нераскушенный орешек», за Валерия Всеволодовича Тихомирова, высланного из Петербурга в Мильву. — Уже полгода, и ни одного дельного донесения, ни одной зацепки.

Помощник пристава по негласному надзору молчал, опустил голову. Иного ему и не оставалось.

Тихомиров — юрист по образованию, столбовой дворянин по происхождению, опасный, но неуличный внутренний враг империи — жил в доме своего отца, генерал-лейтенанта в отставке, тоже подозреваемого в неверности государю, жил, не давая полиции даже самых малейших поводов для подозрения его в причастности к политической деятельности. И даже сам отец протоиерей, бывавший в доме у генерала Тихомирова,

отзывался об его сыне Валерии как о человеке, «пострадавшем по обычному доносу завистников его уму и простоте, свойственной настоящим сынам высшего сословия». А между тем Валерий Всеволодович уже дважды «пломбировал» здоровый зуб в те же дни и часы, когда Анна Киршбаум лечила «затянувшееся воспаление надкостницы» в зубоврачебном кабинете Варвары Емельяновны Матушкиной.

Впрочем, у Валерия Всеволодовича были основания посещать Матушкиных не только по зубным недугам, но и недугам сердечным. Младшая дочь Матушкина, Елена, называлась досужими языками невестой Тихомирова задолго до того, как он понял, что любит ее и что только она будет его женой.

VI

А рабочая Мильва жила своей трудовой жизнью по заводскому свистку. Первый свисток — просыпайся, второй — беги на завод, третий — начинай работу.

Ходовая улица и Большой Кривуль, на углу которых стоит приземистый двухэтажный зашеинский дом, особенно шумны в этот утренний час. Здесь сливаются людские потоки со всех улиц по эту сторону пруда и текут шумной лавиной к главной проходной.

Екатерина Матвеевна прикрывает окна, чтобы гулкое топанье ног по звонким деревянным тротуарам и голоса рабочих не разбудили Маврика. Но стекла окон не предохраняют от шумного говора, и Маврик слышит сквозь сон это с детства привычное оживление.

Жить Маврик будет по свистку, как все, и если он просыпается теперь в восемь часов, то только потому, чтобы не огорчать тетю Катю.

Уже около восьми. Санчик сидит во дворе на рундуке наружной лестницы, и краснобаевские ребята тоже давно проснулись. Они ждут Маврика у себя на дворе. Наконец открывается окно.

Санчика Екатерина Матвеевна про себя считает «мальчиком для аппетита». Вместе с ним Маврик ест все и самое простое, а самое простое — самое полезное для организма, поэтому экономной Екатерине Матвеевне ничуть не обременителен лишний рот, лишь бы единственный и бесценный племянничек проглотил лишний кусок. И как только Маврик перестает есть, Санчик делает то же самое. Видя это, тетя Катя говорит:

— Так что же ты, Мавруша, хочешь, чтобы товарищ вышел голодным из-за стола, ведь он же никогда ни на одну крошечку не съест больше тебя.

И Маврику ради Санчика приходится есть.

Вот и сегодня, наскоро умывшись и помолившись «раз-два-три», Маврик отбывает самую трудную утреннюю повинность еды.

С завтраком покончено. Маврик вскакивает. Санчик бежит вслед за ним, дожевывая хрустящую хлебную корочку. На дворе ждет, виляя хвостом, счастливый Мальчик. Щенку выносятся вымоченный в молоке хлеб, и день начинается.

В пароход играть уже не хочется. Как он ни хорош, но надоело ездить в Рыбинск и обратно. На одном и том же месте. Манит улица. Ее-то и боится Екатерина Матвеевна. Боится, но знает, что рано или поздно Маврику придется открыть туда ворота.

Она недавно разрешила ему перелезть через три изгороди и ходить через два огорода к Толе и Сене Краснобаевым. У Краснобаевых совсем другая жизнь. Засаженный, а не пустующий огород. Красная комолая «не бодучая» корова. Куры, которых можно кормить. Но куда интереснее лазить по закоулкам большого сарая и собирать яйца. Еще интереснее спускаться в подвал краснобаевского дома. Там почти завод. Там множество инструментов, которыми разрешается работать. Не всеми, но некоторыми.

Толя и Сеня Краснобаевы много умеют делать сами. Ружья. Свистульки. Мечи и щиты. Ветряные мельницы с хвостом, которые поворачиваются против ветра. У Маврика такой нет, но будет. Она уже начата, и Сеня поможет доделать ее, а потом, наверно завтра, Маврику и Санчику помогут сделать щиты и мечи. Тогда они могут быть приняты в славную дружину храбрых воинов.

Медленно вытесывается из сухой липовой доски лезвие меча. Тяжеловат для Маврика непослушный маленький топор. Боязно иметь с ним дело. Можно оказаться и без пальца или посечь ногу.

— А ты не бойся его, не бойся, — наставляет Сеня Маврика. — Пусть он тебя боится. Вот так, вот так...

И Маврик тешет «вот так... вот так...». Мало-помалу топор оказывается легче, удары точнее, щепки ровнее.

Как мало еще сделано, а уже свисток на обед. И снова шумные, хотя и меньшие потоки текут по улице. Не

все рабочие обедают дома, а только те, что близко живут.

Отец краснобаевских ребят Африкан Тимофеевич и его брат Игнатий Тимофеевич обедают дома. Они живут очень большой неразделенной семьей. За стол садятся человек двенадцать. Игнатию Тимофеевичу давно хочется жить самостоятельно. Но этого сделать нельзя, пока жив старик Тимофей Краснобаев. Игнатий ненавидит старый кирпичный дом с «голубятней» наверху, как он называет мезонин. Краснобаевские ребята не любят своего дядю Игнатия и скрывают это от всех и от Маврика.

У Маврика нет дружеских отношений с Игнатием Тимофеевичем Краснобаевым. Это не то что Артемий Гаврилович Кулемин — ясный, солнечный, мягкий, как июнь. Игнатий Тимофеевич Краснобаев похож на март. Когда как. В нем нет устойчивой теплоты даже к племянникам.

В Мильве встречаются люди, похожие на этот месяц март, которым хотя и можно верить, но не во всем.

Вот и сейчас Маврик не знает, как понять Игнатия Тимофеевича, когда он, приглашая к столу, говорит: — Садись обедать, жених, рядом с невестой.

Невеста — это Соня Краснобаева. Ей семь лет. Она подходит в невесты и нравится Маврику больше всех краснобаевских дочерей. И он уже подарил ей клоуна, который, если нажимать ему деревяшечку в животе, начинает бить в медные тарелки, прикрепленные на гвоздики к его рукам. И вообще-то говоря, на Соне можно жениться. Она очень серьезная девочка. И тетя Катя любит ее и гладит по голове. Но зачем Игнатию Тимофеевичу понадобилось говорить об этом при всех. Ведь еще же ничего не решено. Разве бы так сказал умный Артемий Гаврилович Кулемин?

— Спасибо, Игнатий Тимофеевич, нас ждут дома, — отказывается от обеда Маврик. Он, может быть, и остался бы, но ведь Краснобаев не пригласил Санчика.

Плохо, когда человек — март.

VII

Настойчиво отвлекая Маврика, Екатерина Матвеевна делала все от нее зависящее. Нужно красить — крась. Вот тебе кисть и краска. Хочешь засадить свой огород —

пожалуйста. Терентий Николаевич вскопает тебе грядки на задерневшей земле заброшенного огорода. Правится тебе играть в Зингерский магазин — изволь. Чем не магазин старый каретник. Покупателей сколько угодно. Санчикова сестра. Краснобаевские сестры.

Екатерина Матвеевна сама придумывает игры, только бы как можно дольше удержать Маврика дома, хотя она и понимает, что улицы Маврику не избежать. Поэтому приходится брать Маврика на базар и ходить с ним по родне. Родни много, а знакомых того больше. Разная это родня и разные знакомые.

Побывали они у дяди Леши. У него три девочки: Клава, Маруся и Надя. Старшая старше Маврика на год, а младшая на год моложе. Но интересно ли мальчишке играть с девчонками в куклы, в классы, прыгать через веревочку.

У тети Сани и у тети Лары другое дело. Там хотя и тоже три девочки, три двоюродные сестрички, с которыми не очень интересно играть, зато есть надежда, с ними отпустят купаться.

Так и случилось. Это было настоящее счастье. Маврика отпросили у тети Кати на пруд. Старшая дочь тети Лары, Аля, сказала:

— Странно... Ему почти девять лет, а он еще не купался на пруду. Там купаются и пятилетние.

А вторая, толстая Танечка, добавила:

— Песок же на берегу нашей улицы, и ни одной ямки. Ровное-преровное дно.

Тетя Саня, старшая из сестер Зашеиных, поддержала внушек:

— В самом деле, Катенька, за всю жизнь не слыхивали, чтобы кто-нибудь из ребятишек тонул в этом месте.

Лицо Маврика было таким просящим... В глазах его стояла такая мольба, а девочки давали такие клятвы, что тетя Катя сказала:

— Только недолго.

Этот день навсегда останется в памяти Маврика. Они бежали по широкой Песчаной улице, спускающейся к пруду. Пруд был как зеркало, и только у берега, где барахталась ребятня, вода кипела и сверкала, залитая солнцем.

Нелегко в первый раз зайти в воду и окунуться. Маврик купался впервые. Девочки раздели его, потому что

он был мальчик. А сами они остались в рубашках. В них они и будут купаться. Потому что они девочки.

К Маврику не пришло еще чувство стыда, а девочкам уже внушили его.

— Иди, иди, не бойся, — зазывали его в воду Аля и Таня.

И он зашел по колено.

— Теперь присядь...

— Присядь еще раз... Зажми нос. Окупись!

С чем можно сравнить эту радость первого купания, снившегося ему в Перми? Ласковые объятия теплой воды. Визг. Брызги. Плотное, ровное песчаное дно. Неужели все это сейчас кончится и его заставят одеваться?

Напрасные опасения. Аля и Таня ведут его глубже. По пояс. По грудь. И когда он упирается, Аля берет его на руки, затем кладет на воду животом и, поддерживая снизу, говорит:

— Плыви, я держу тебя... Не бойся.

Маврик болтает ногами, гребет руками. Он никогда не думал, что это у него получится. Ноги и руки делают сами все, что нужно.

Легко плыть, когда тебя поддерживают. А попробуй поплыть один, без Алиных рук, сразу же опустишься на дно. Маврик и не знает, что Аля давно убрала из-под него руки и он плывет сам по себе. Плывет, как щенок, оказавшийся впервые в воде. Его поздравляют. Его называют молодцом.

— И это правда, Аля?

— Ну как же не правда, Маврик? Попробуй еще!

Аля снова заносит его в воду, снова кладет на свои руки. Он плывет! Он плывет! Этому ни за что не поверит тетя Катя, а он плывет.

Пора выходить из воды. Он уже накупался. А ему хочется и еще и еще убеждаться в чуде, которое совершилось сегодня. Он не только человек, но и рыба...

Маврику, живущему в мире волшебных сказок, слышанных от бабушек, читанных матерью и теткой, хочется сказать пруду что-то очень хорошее, а слов нет. Он ищет их, торопливо надевая штанишки, приветливо улыбаясь огромному зеркалу воды. Застегивая ворот рубашки, он придумывает, что бы ему, такому громадному, сказать. И наконец шепчет самые простые слова:

— Спасибо тебе, милый пруд, за мое первое купание!

Сколько раз придется ему в это лето благодарить

за все первое. Лес — за первые найденные им грибы, луга — за первые ягоды. Речку Омутиху — за первую пойманную в ней рыбку. Топор и нож — за первое удилще. Лук — за первую попавшую в цель стрелу.

В детстве почти все происходит впервые, но многое из этого первого бывает и последним, единственным, неповторимым. Дважды нельзя поймать первую рыбку, и тем более невозможно повторить ни один из дней своего детства. Но разве может это понять мальчик в восемь лет, да и надо ли ему понимать в это счастливое лето, что жизнь несправедливо быстротечна, что каждый день должен быть прожит хорошо и разумно.

VIII

Случилось невероятное. Маврик получил разрешение ходить купаться и бегать босиком. Однако же были строгие ограничения. Купаться только у берега Песчаной улицы, где мелко, и заходить в воду только по грудь и не выше ни вершка. В чем было дано клятвенное обещание Маврика, Санчика и поручителя — Сени Краснобаева. Хотя и без того можно было надеяться на одного Маврика. У него «твердое дедушкино слово», а кроме этого, он всегда был «порядочным человеком».

Началась настоящая жизнь. Белых воротничков не было и в помине. Ноги скоро привыкли к колкой земле и «большим» камешкам. Теперь ни одно из приготовленных для Маврика прозвищ не могло пристать к нему. Разве он «неженка» или «полосатый чулок», когда он бос. Он и не «поганый гриб», а такой же, как все. Кое-кто из ребят еще пытается придумать ему кличку, но кличка не пристаёт. Кроме одной — «зашеинский внук». Так его называют взрослые. Он часто слышит за спиной, как одна старуха говорит другой: «Это идет зашеинский внук». Иногда его так и называют в глаза. Здороваются с ним незнакомые люди и говорят:

— А ну-ка, покажись, каков ты, зашеинский внук...

В Перми никто не обращал на него внимания, когда он проходил по улицам. А здесь редкий не оглядывается на него, не останавливается.

— Ну-козь, давай поздороваемся, — вдруг задерживают Маврика и начинают расспрашивать, что и как.

Говорят с ним на далеких улицах. Откуда о нём

знают? Почему называют по имени — Катенькой и Любонькой — его тетку и его маму? Почему имя Матвей Романович произносится с уважением?

— Потому, — отвечает бабушка, — что дед твой не порознь с народом жизнь прожил, не как другие прочие мастера.

Маврик слышал о дедушке немало, но многое не понимал. Дедушку он помнил седым, кудрявым. Он сажал Маврика на колени, ласкал его, угощал сладкими пирогами, приносил маковые конфеты. Помнит он, как дедушка без конца щепал лучину для растопки печи. Пучки лучины сохранились и теперь на чердаке дома. Помнит он похороны. Помнит, что их перенесли на воскресенье, потому что заводское начальство боялось, что многие рабочие не выйдут на работу, чтобы проводить старика Зашеина на кладбище. И в самом деле, на похороны пришло много народу. Гроб пришлось выносить на улицу, чтобы не устраивать давки и дать подойти к покойнику всем, кто хочет.

Знает Маврик, что после дедушки остался наградной кафтан с золотыми полосками на вороте и на рукавах. Это «царский жалованный кафтан». Им очень гордились бабушка и тетя Катя, но Терентий Николаевич называл этот кафтан «пылью в глаза».

Нужно же когда-то узнать, кто такой был дедушка, если из-за него так много людей знают Маврика.

И ему снова рассказывают о дедушке тетя Катя, Терентий Николаевич, бабушка, и снова многое Маврик не может понять, и ему говорят:

— Подрастешь — поймешь все.

Третья глава

I

Зашеинский дом принадлежал к тем старым строениям, которые возводили на Урале и в Приуралье удачливые мастера, счастливые старатели, ведуны доменного и сталеплавильного дела и все те, кто нашел свой фарт в ремесле, знал свое дело лучше, чем самого себя, и поднялся в верхний слой перваков. От них во многом зависел успех заводского дела: добычи руд, выплавки чугунов и сталей и всего, чем славен этот старый и молодой край.

Нелегко выбиться в перваки, не всегда этому помогают золотые хваткие руки, умная голова, долгие годы тяжелого труда. Выходили в первый ряд и наушники, прижимщики, обмерщики, обвесчики и прочие плуты, любящие ездить на чужой шее и по спинам товарищей карабкаться к достатку и сытости, к своему домику не на три окна с одной трубой, как у всех, а о двух этажах с пятью-шестью горницами, теплыми голландками, с резными наличниками под железной крышей, крашеной стойким суриком, и с «паратыным» крыльцом на улицу. Ну а уж сараюшки, погребушки, белая банька, крытый колодец — само собой. Без теплой конюшни, без хорошего коровника тоже нельзя. Не Питер, не Москва, не другой какой город, где рабочий народ живет по чужим «фатерам» или в заводских казармах и пьет жидкое покупное молоко, ходит на базар за капустой, за огурцами и прочей «овощью». «Картошь» и та у них не своя, на чужом возу привезенная. А здесь разве так?

В стародавние времена было заведено на Урале и Каме жить рабочему человеку в своей избе, а при избе — огород и двор. А при дворе — коровенка, свинья, курица, а если есть чем кормить, то и гусь с уткой не будут лишними. Лес рядом. А в лесу — дрова, грибы, ягоды. Были бы руки. Покос от завода дается каждому, особенно если ты коренной рабочий человек.

Не от широкой же души, не от барских щедрот казна наделяла рабочих покосами, нарезали им большие огороды, помогали обзавестись своим домишечком. Все это делалось с дальним приглядом. Лишь бы кол вбил рабочий, поставил бы хоть совсем плевую избушечку-малушечку, а потом ему и куренка купить захочется, боровка завести... А когда «свое да мое» разъест ноздри, тогда из него хоть веревки вей, хоть рогожи тки. Рвать и метать начнет, из сил выбиваться, вечера прихватывать, чтобы лишнюю копейку добыть, лишнюю хохлатку на двор пустить, в перваки выйти, полной чашей зажить. А полная чаша — живой пример. На одной и той же улице мастеровые живут, у которых и на кенгуровом меху шубы случаются, и своя полукровка в конюшне ржет.

Тянись. Замахивайся хоть на каменный дом с мощным двором. Пожалуйста. От завода ты никуда не денешься. И все твое благополучие в нем. Значит, тру-

дись, добивайся, чтобы твои руки дороже стоили. Ловчись, ищи, придумывай, находи. От этого хоть казне, хоть хозяину только прибыль. И если ты меньшим жаром больше скуешь или через свою придумку в один и тот же день скорее сделаешь — больше получишь. Нет спора — казна и хозяева не знают сытости, но не жалеют рубля, коли твоя смекалка чеканит им сотни, а то и тысячи золотых.

К таким-то рабочим людям, чья голова и чьи руки ценились большим рублем, принадлежал дедушка Маврика — судовой мастер Матвей Романович Зашеин.

Зашейны на этой земле живут незапамятно давно.

Всякое случалось в их роду. Есть слух о том, что фамилия Зашейны пошла от ихнего дальнего родича, подвешенного, как смутьяна, на заводской плотине за шею. Этому не хотят верить Зашейны.

Зашейных знают в Мильве как людей, у которых лоб и спины не бывали сухими. Чужого хлеба они не ели, а своим делились. Ни старик Роман, ни сын его Матвей выморщенной копейкой не жили, не мздоимствовали, хотя и могли бы. Под Романом хаживало до двух десятков судовых рабочих, а под началом Матвея Романовича до ста их работало. И кто может сказать хоть про самый малый побор. Красненькая, скажем, за прием на работу или свиная туша. Брали мастера и по четвертному билету. Корову со двора сводили, только прими в цех. От мастера зависело все. Он царь и бог. Захочет — возьмет, захочет — выгонит. Случались и такие, что брали от каждого десятый заработанный рубль. И платили. Платили и молчали. Да и как не молчать. Лучше десятую долю отдать, чем все потерять.

Честным трудом Роман Зашеин не нажил себе каменных палат. В трехоконной избе прожил свой век. И ту еле-еле срубил. Земля много сил взяла. Ему дали заболоченный пустырь. Никто не брал эту лягушиную топь. А Роман Зашеин взял. От завода близко. И если рассудить, то всякое болото можно засыпать. И засыпал. Чуть не на себе песок, гальку, камни возил. И смекалка помогла. Спусковой колодец вырыл. Вся вода ушла.

Знатное место получилось. На этом-то месте и стоит теперь большой зашейнский дом, который ставил Матвей Романович. Он поудачливее отца был. Грамоте знал и думать не боялся. Не только молот, но и циркуль умел

в руках держать. Чертежу верил, инженеров, техников уважал, а свой разум тоже в сапог не прятал. Любил говорить:

— Коли ваша честь меня мастером держит, так дозвольте уж мне не быть чем ши хлебают.

Перед тем как заложить новый корпус судна, он не только сам, но и со всеми подначальными держал совет. Говорил, как лучше, как спорей. И чужой голос умел слушать, если даже это был последний клепаль. День-два потеряют на счетах-подсчетах, а выгадают не одну неделю. Пароход же строится. И если даже баржа, так ведь и ей при скором рождении долгую жизнь нужно дать.

За это и любили Матвея Романовича. Не «ором» брал, а толковым внушением. Поблажки не давал, но и обидеть не позволял своего товарища.

И завод не обижал Матвея Романовича. Тоже не от доброй души, а по расчету. Матвеем Романовичу было на что честно свой дом поднять, надворные постройки поставить, дочерям грамоту дать, хоть и не столь великую, но достаточную для того, чтобы шляпки уметь носить и руки в перчатки от загара прятать. И больше того — Матвей Романович сумел впрок рубли положить для средней дочери, для Катеньки, оставшейся в девичестве при отце с матерью.

Но чем же все-таки прославился Матвей Романович? Почему одни называли его спасителем завода, а другие — обманутым соглашателем, но все равно — почитали все. За что?

Вот как это было.

II

Казенный Мильвенский завод редкий год сводил концы с концами. Старики частый «прогар» завода объясняли тем, что «казна, она и есть казна и мало кому до нее дела». И в этом была какая-то правда. Казенный, как бы никому не принадлежащий завод находился в руках лиц, которых не беспокоила его судьба. Это были «пришлые господа». Приезжали они сюда чаще всего с единственной целью — «отбыть» здесь пять-десять лет, нажить деньги и вернуться в большие города.

«Черными беззаказными» годами начинался новый, двадцатый век. Пошли разговоры о закрытии завода.

Главной причиной этого была высокая стоимость судов, мостов, машин и котлов, изготавливаемых в Мильве. Предприимчивые заводчики подставили ногу казенным заводам, где давала себя знать старина.

Оказалось, что «казенный», ничейный завод дымит не сам по себе. И от того, будет он дымить или нет, зависит жизнь каждого живущего в Мильве. Куда деться? Где применить руки? Кому продавать товары? На что жить писцу? Чем кормиться мужикам из окрестных деревень, прирабатывающим на заготовке и возке дров?

Но все эти люди «вокруг да около». Теряли работу тысячи коренных рабочих, для которых завод хотя и был добровольной каторгой, но неизбывной каторгой, кормившей их.

А теперь!

Что теперь? Голод? Смерть?

В каждом доме просыпались и ложились, спрашивали друг друга: что будет с нами? Думали все. Каждый предлагал свое.

Одни говорили, что нужно поднять бунт и свернуть шею заживевшим начальникам. Другие надеялись, что казенная Мильва перейдет в частные руки и тогда сами собой слетят безрукие, безмозглые заводские чиновники, неделями не бывающие в цехах, получающие даровые денежки, умеющие кутить да пить и ни уха ни рыла не понимающие в заводском деле. А хозяин-заводчик будет знать, кого миловать, кого жаловать. Поразгонит лишних смотрителей-надзирателей-прихлебателей. Уполовинит конторских дармоедов и будет мерить человека рублем. Даешь пользу — робь, нет — закрой дверь с той стороны. И от этого дешевле станет баржа, мост, котел и всякая прочая машина, изготавливаемая на Мильвенском заводе.

Находились головы, которые предлагали подать царю всенародное прошение о передаче завода на выкуп рабочему люду. Рабочий люд наведет свои порядки, поставит своих доверенных начальников, будет работать из последних сил, а не даст закрыть свой завод. И что стоит теперь рубль, будет стоить полтину. А ежели это так, то наступят опять «красные годы» и от заказов не будет отбоя.

Иначе думал корпусной мастер Матвей Романович Зашеин.

— Мужики, — говорил Матвей Романович, сидючи на толстом бревне, заменявшем скамью, возле ворот своего дома, — можно и забастовать. Можно обусть управителя завода и цеховых начальников в лапти и поводить их по улицам. Можно. Можно кое-кого и в печь на тачке свезти или в пруд сбросить. Можно. А что потом?

Старики и средних лет рабочие молчат. Кто сидит, кто стоит подле бревна, на котором Матвей Романович покуривает коротенькую трубочку.

— Потом, как после последнего бунта, приведут к медведю и начнут пороть. А потом кандалы, Сибирь, каторга! Ну, это так-сяк. Кто-то должен ради других отдавать свою голову. И я бы, может, не пожалел ее. Поносил на плечах, и хватит, но какова польза? Заказы придут? Или казна побоится закрыть наш завод? Обрадуется бунту казна. Может быть, только и ждет этого. Скажет, сами ушли с завода и гуляйте себе, бунтовщики. Не мы завод закрыли, а вы ему конец принесли. Так или нет?

— Так, Матвей Романович, — слышатся тихие голоса старых рабочих.

Зашеин снова неторопливо делится думаным-передуманым, в чем он убежден и от чего не отопрется и на кресте, если бы его вздумали распять!

— Ежели б нам плату сбавили, чтобы прибыли выжать, нажиться заводчику, — тогда так. А ведь наш-то завод не заводчиков, а казнин. Управителю, кроме медали, ничего за прибыль не дадут. Да и не до медали ему теперь. Он хоть и его превосходительство, а живет заводом. Тоже подумывает, куда мотануть, когда Мильва кончится. В губернаторы-то его могут и не взять.

Молчат старики. Молчат рабочие средних лет. Каждый думает о своем домке, о своей коровке, а то и лошадке. Не бросишь это все, не подашься по белу свету работу искать. Две кадушки соленых груздей и те жалко. Не говоря уж о капусте в подполе, о запасе картошки на зиму... А Буренушка-матушка?

Не сразу старик Зашеин открывает свои планы. Исподволь растолковывает слушателям, от чего зависит цена моста, котла, железного листа. И все понимают, что плата за труд рабочего, и только эта плата, решает, чему и что стоит.

— И ежели,— говорит медленно Зашеин, чтобы пережевалось каждое его слово,— плата рабочему поменьшает, поменьшает и цена на мост, на судовой корпус и на все прочее. А ежели цена поменьшает — у кого тогда будут заказы? — спрашивает он и отвечает: — У того, кто дешевле просит. Будь то глиняный горшок, будь то железный котел — всегда берут тот, что лучше и к тому же дешевле. Вот и смекайте... Судите, рядите, думайте...

— Так как же так, Матвей Романых,— спрашивают Зашеина,— в Москве, в Питере за прибавку бунтуют мастеровые, а ты за убавку ратуешь?

И Зашеин отвечает:

— А я ни за что не ратую. Я говорю то, что есть. Одно из двух. Либо спасать его, нашего батюшку, и не дать закрыть, либо похоронить его, когда он еще может жить и дышать...

Такие разговоры велись не раз и не два. Сказанное Зашеиным десятку-другому рабочих пересказалось сотням и тысячам рабочих. Кто-то говорил, что Зашеин — баринов прихвостень, что по его подсказке он тянет рабочий народ в нужду, но этого никто не мог подтвердить. Зашеина знали как честного человека, болеющего не только за себя. Такой никогда никому что не надо лизать не будет. Но большинство сходилось на том, что лучше с петлей на шее жить, но — жить, впроголодь есть, но — есть, чем заживо в гроб ложиться и обрекать себя на смерть вслед за своим заводом.

«Свой», «наш», «кровный», «нами строенный», «нами поднятый» и многие другие слова теперь говорились всеми по отношению к «окаянному», «каторжному», «ненасытному» казенному заводу. И каким бы он ни был, кому бы он ни принадлежал, а позволить закрыть его было нельзя. И все кончилось тем, что к Матвею Романовичу пришли выборные и сказали:

— Просим тебя, Матвей Романович, идти от всех нас к управителю. Тебе верим, тебя знаем. Нашего пятака ты не упустишь. Будем работать по семь гривен за рубль, чтобы только сохранить завод.

Зашеин уперся. Ему боязно было говорить от имени всех. Кто знает, как потом повернется все это. Он уже слышал, как один из пришлых мастеров называл его «предателем».

— Один я не пойду,— отказался Зашеин.— Пусть

хоть от каждого цеха по одному. При всех буду говорить с управителем. И со всеми ответ нести.

Так и было сделано.

III

Хорошо выгладила Екатерина Семеновна Зашеина своему послу чесучовую, в цвет глазам, вышитую синими васильками молодую рубаху. Тесна она ему была в вороте, а теперь, на восьмом десятке, опять в самый акkurat.

Хороший «спиджак» надел Зашеин. Из тонкого сукна. И сапоги надел лаковые. Тоже в недавние годы были малы, а теперь и с портянками не тесны. Калоши надел Матвей Романович. Хоть и жаркий день был, а дом господский. Чтобы не занести в него ни песка, ни пыли, и опять же уважение.

И другие ходоки к барину приоделись кто как мог. Своего не нашлось — соседи дали. Жизнь решается. Быть или не быть кормильцу-почльцу. Как голову репейным духовитым маслом не смазать, чтобы волосья блестели!

— Пошли, мужики, — сказал Зашеин. И послы тронулись.

Хлеб-соль, покрытый белым тюлем от пыли и всяких мух, несли по очереди.

Путь долог. Надо пройти на виду у всех и без всяких таких непредвиденных и прочих случайностей. Через каждые две-три сажени — охранители из цехов. Боялись не только полиции, но и своих, которые звали не хлеб-соль нести управителю, на расплату его вести.

Обошлось все по-хорошему. Вышли на Баринову набережную. Там особый заслон. Кто за дровяными поленищами, кто по дворам.

Подошли к управительскому крыльцу. Доложили лакею-придвернику, что ходоки ото всех цехов желают видеть его высокое превосходительство.

Допустит ли? Дома ли? Не выйдет ли вместо себя кого-нибудь из своих прихлебателей?

Напрасны волнения. Управитель больше часа ждет ходоков. Полиция в Мильве хоть и была из ротозейского сословия, а такое гласное дело она не знать не могла. Да и заводские наушники опередили приставов и урядников.

Лакей вышел и сказал:

— Барин милости просит пожаловать!

Вошли в дом старики. Управитель вышел к ним за просто. Поблагодарил за хлеб-соль. Полюбовался блюдом. Прочитал на полотенце: «Хлѣбъ-соль ешь, а правду рѣжь» — и крикнул в соседнюю комнату:

— Матильда Ивановна! Где ты там?.. Почтенные люди пожаловали.

И вышла на зов дородная барыня, не меньше шести пудов живого веса, с тремя подбородками, вся в кудрях и шелках. Заморских кровей иноходь. Идет, как шаланда плывет, только юбки шуршат да грудь отлогой волной покачивается, а в руках поднос. А на подносе графин с рюмками.

— Благодарю вас, господа,— говорит и кланяется барыня,— не откажите и мне честь оказать.

На подносе одиннадцать рюмок. До одной пересчитал Матвей Романович. Десять для ходоков, одиннадцатую для себя. Значит, ждал, значит, знал и одежду не зря надел не свою, а миловенскую. Рубаха с косым воротом, шелковый витой пояс с кистями, только штаны свои, с красными полосами по швам.

Лакей разлил водку по рюмкам.

Турчанино-Турчаковский редкого из ходоков не назвал по имени и по отчеству, угощая. Защенна-то он знал, да и других помнил, остальных лакей подсказывал.

Выпили по единой. Закусили королевской селедочкой, красной икрой, белой осетринкой — и:

— Милости прошу не таить, чему я обязан таким посещением?

Сказал так управляющий, усадил ходоков и велел выйти лакею за дверь, а супругу, поблагодарив за честь, тоже деликатно выпроводил из большой гостевой комнаты. Не бабье дело слушать, о чем послы будут разговаривать с управителем.

— Слушаю,— обратился опять Турчанино-Турчаковский.

Все посмотрели на Матвея Романовича, и он начал так:

— Ваше высокопревосходительство господин барин Андрей Константинович. Дело простое. Хотим завод спасти. А спасти его можно, по нашему разумению, только ежели мы сумеем побить ценой тех, кто нас в

трубу хочет выпустить, по миру пустить, последний кусок отнять.

Управляющий кивнул в знак сочувствия и тут же спросил:

— А как можно, сударь мой Матвей Романович, спасти завод, когда нет никакой возможности удешевить наши изделия?

— Есть,— перебил управляющего Зашеин,— есть, прошу покорно прощения, ваше высокопревосходительство господин барин Андрей Константинович. Что ты нам скажешь на то, ежели мы вместо каждого рубля семь гривен будем получать? Кто десятку зарабатывал, тому ты семь целковых будешь платить, ваше превосходительство господин барин Андрей Константинович.

— Ежели б да кабы, тогда бы и на крыше росли рыжики,— ответил управляющий.— Если б можно было платить семьдесят копеек вместо рубля, то мы бы повышибли из седла к такой-сякой... всех наших погубителей.

— Так и повышиби, ваше превосходительство Андрей Константинович, к такой-сякой и этой самой.

Послы негромко, но дружно захохотали.

— Я-то бы вышиб,— сказал молодцевато управляющий, щелкнув пальцами и причмокнув языком,— только боюсь в лапти переобуваться, в смоле быть измазанным, в пуху вываленным, а то и в пруду утопленным. Пожить хочу. Пусть отставным барабанщиком, да не обесчещенным.

Зорко смотрели ходки за выражением лица своего управителя, чутко вслушивались в каждое слово.

— Да как же это может случиться, ваше высокопревосходительство, коли мы сами об этом толковать начали?

— Так-то оно так, Матвей, друг мой, Романович, да ведь вас-то только десятеро,— сказал, опустив голову, управляющий,— а на заводе тысячи человек. Они-то что?

— То же, что и мы,— сказал Зашеин.

— Ой ли?

— Так что же ты, ваше превосходительство господин барин, неужели ты думаешь, что мы сами от себя? Когда во всех цехах все обговорено, растолковано и как следно быть...

— А чем я могу подтвердить это?.. Ведь на высо-

чайшее же надо писать, что рабочие сами, осознав за благо сохранение своего завода, просят снизить плату, тридцать копеек на рубле?

Тут не выдержал маляр Иван Денисов и громко крикнул:

— Ежели надо, все подпишутся! До единого.

— Это другое дело, господин Денисов. Тогда и мне будет не боязно, что я ввожу в заблуждение его императорское величество, и вы не в ответе. Рабочий народ что море. Сегодня тишь, гладь и божья благодать, а завтра — бунт. И на нашем пруду большие волны слушались. Не так ли, господа?

Послы опустили головы.

Не одних дураков назначали управляющими казенных заводов. Андрей Константинович Турчанино-Турчаковский был из того поколения заводских воротил, которые умели, когда было надо, надевать рубаху с косым воротом, находить нужные слова, оказывать честь тем, кто сам лез в кабалу.

— Подумаю, господа. Ночь спать не буду... Все взвешу, прикину, высчитаю... Я и сам, господа, готов подписать вместе с вами прошение и отдать свои тридцать копеек с каждого рубля... И отдам, лишь бы дымила всякая труба нашего богатыря и красавца...

Говоря так, его превосходительство господин барин Андрей Константинович расчувствовался, любуясь собственными слезами и словами.

— Сам поеду к государю императору... На колени стану... И не подымусь, пока его императорское величество не скажет «быть по сему» и не соизволит приказать не умолкать заводскому свистку, не утихать цеховому шуму...

IV

Не глуп был Турчанино-Турчаковский — знал, что делал.

Прошла неделя, а потом другая. Стали поговаривать, что зря, видно, собирали подписи, зря надеялись на казну. И когда рабочие готовы были махнуть рукой и ждать неизбежного конца, к дому Матвея Романовича подкатила карета управляющего.

— Его превосходительство просит вашу честь, господин Зашеин, не отказать в милости приехать к

нему,—сказал прибывший лукавый писец, служивший при с а м о м, при его квартире.

Лошади были посланы и за остальными девятью ходами. Матвея Романовича везли на полных рысях, и кучер кричал: «Эй, поберегись!», хотя никого и не было на дороге в этот воскресный день.

Послы от цехов снова собрались в большой гостевой комнате господского дома. Тишина. Молчание. Сердца готовы выскочить от ожидания. Что-то скажет он... Зачем-то медлит... И все смотрят на бездвижную высокую двустворчатую белую дверь с золотой резной окантовкой по краям филенок.

Слышно, как считает секунды двухаршинный маятник старинных часов, стоящих на полу. А секунды длинные, как зимние ночи. Яркий день за окном и тот не светел.

Послы стоят. Ждут. Молчат.

И наконец бесшумно открывается дверь. В дверь проходит с а м. Он в форме, при шпаге, при орденах и медалях. К чему бы это?

— Здравствуйте, господа.

— Здравствуйте, ваше высокопревосходительство.

— Прошу садиться!

Никто не смеет сесть.

— Прошу,—повторяет Турчанино-Турчаковский.

Матвей Романович садится, за ним садятся и остальные. Два лакея накрывают большой стол. Появляется закуска. Как это понимать? Золотит ли управитель горькую пилюлю, которую он приготовил им, или выдерживает характер и тянет, чтобы больше выжать. Может быть, мало тридцати копеек и он хочет сорок?

Лакей спрашивает:

— Что будет приказано подать из питья?

Турчаковский отвечает:

— Их спроси,—и указывает на пришедших, и главным образом на Зашейна.

— А нам ничего не надобно, ваше высокопревосходительство... Мы и так премного благодарим, господин барин Андрей Константинович, за честь.

Турчаковский не может скрыть улыбки:

— Вам-то не надо, да мне-то надо. В тот раз я вас пойл, теперь ваша очередь поднести. Неужели даже полштофа не принесли? Нет? Тогда,—обращается Турчаковский к лакею,—неси четвертную бутылку и собери

с каждого положенную долю, кроме меня. Теперь мне не от чего такую ораву водкой потчевать.

Четвертная бутылка принесена. Названы деньги, которые нужно выложить. Платит Матвей Романович — Потом разберем, мужики, с кого сколь...

Водка разлита по большим орленным бокалам. Управляющий берет свой. Подымается. Подымаются и остальные.

— За его императорское величество! — провозглашает Турчаковский и опрокидывает бокал.

Это же делают и остальные.

— Закуска моя, — объявляет управляющий. — Прощу. На нее ты мне, Матвей Романович, оставил деньги. Не совсем обанкротил, не в окончательных дураках оставил своего управляющего.

Лакей наливает повторно, а ответа нет. И когда выпивается второй бокал, Турчаковский говорит с упрямством Зашеину:

— И как только я мог, Матвей Романович, клюнуть на твоего червя и попасться тебе на крючок. Как я мог согласиться с платой семидесяти копеек вместо рубля! Когда государь император узнал обо всем этом, моя жизнь оказалась на волоске. «Как возможно, — было сказано его величеством, — как возможно отнимать у моих верноподданных тридцать копеек с рубля... На что они будут жить? Положим, — говорит его величество, — у них свои коровы, свой картофель, грибки, капуста и прочие разносолы, но ведь нужно же покупать и чай, и сахар, и белый хлеб... И как этого не понимает Дурчанино-Дурчаковский, которого я всегда считал человеком, любящим мой народ, моих верных мильвенцев». Ну, тут, разумеется, министры стали доказывать свое. Стали говорить об убыточности и неизбежности закрытия завода. Тогда его величество изволил сказать: «Велю платить семьдесят пять копеек с рубля, и не одного гроша меньше».

У «посла» от сортопрокатного цеха тряслась борода, сводило ноги. Боявшийся вымолвить слово, кашлянуть, громко вздохнуть, он завопил так, что было слышно за открытыми окнами:

— Неужели ж это правда, золотой ты наш Андрей Константинович!..

Турчаковский сказал на это:

— Как же не правда... Хотя мне и не выпала честь

слушать, как государь император всемилостивейше и любезнейше назвал меня Дурчанино-Дурчаковским и я обо всем этом знаю из писем от третьих лиц, но вот же бумаги... Завод будет жить. Завод получает большие заказы...

Управляющий полез во внутренний карман вицмундира и положил на стол хрустящие бумаги. Читать их не стали. Не та грамота у «послов». Многие из них завсхлипывали, а старик ходок от сортопрокатного цеха, не помня себя от радости, забыв о том, что разделяет его и его высокопревосходительство, бросился к нему и обнял своего обманщика:

— Благодетель ты наш, батюшка...

И «благодетель» не устранился от объятий и дал пролить на своей увешанной медалями груди горячие слезы радости старому прокатчику.

В приливе самолюбования Турчаковский гладил согбенную спину умиленного старика и твердил:

— Все будет хорошо, господа... Все будет хорошо.

Послам хотелось на улицу, к своим, чтобы скорее обрадовать их, но порядок требовал досидеть за столом, выпить за своего радетеля-благодетеля. Да и Турчаковскому нужно было что-то сказать еще. И он сказал:

— Кто может не подчиниться воле государя императора? Кто может убавить пожалованный им пятак?.. Но из пятаков, господа рабочие представители, за год набегает многие тысячи, которые не позволят заводу избавиться от убытков. И нет у нас никакого другого выхода, господа, чтобы не послушавшись нашего государя, получая семьдесят пять копеек за рубль, не вводить в убытки завод, кроме одного-единственного способа.

— Какого, ваше высокопревосходительство? Говори,— попросил тот же посол Груздев от сортопрокатного цеха.

Турчаковский не сразу набрался сил ответить. Он глубоко вздохнул. Опустил голову.

— Один у нас теперь выход. Удлинить рабочий день.

— На сколько? — спросил настороженно и односложно Зашеин.

— На полчаса, господа... На тридцать минут...

Послы переглянулись, и Матвей Романович сказал за всех:

— Надо это все обсказать народу...

— Вот вы и обскажите, господа, а я как все. Пятак ли сбавить упросить государя императора?.. А это опять не одна неделя. Или добавить тридцать минут, не считая субботы...

Народу было «обсказано», и народ, получивший обратно неожиданный пятак, согласился работать пять дней в неделю на полчаса больше.

Завод вышел из кризиса и вместо убытка мог давать прибыль.

V

Начались цеховые благодарственные молебны. Служился и большой молебен в соборе. Отец протоиерей в сослужении мильвенских иереев восславили бога и царя, а равно и «неусыпно пекущегося о благе рабочего люда раба божьего Андрея». В проповеди отец протоиерей возвестил:

— Господь бог осенил разум мастерового простолюдина Матвея Зашейна и вложил в уста его мудрые спасительные слова, оберегшие от затухания фабричные горны и возрадовавшие сердца всех от млада до стара, коих призвал мудрый старец Матвей пренебречь тремя сребрениками из десяти и тем сохранить семь, которые не дадут угаснуть дедовским очагам, опустеть домам, обреченным на глад и разорение...

Складно говорил отец протоиерей. Слезы сами собой катились по щекам Матвея Романовича, увлажняли его коротко стриженные седые усы и малую, знакомую теперь всем мильвенцам, сивую бороденку.

Жарко молилась бабушка еще не родившегося Маврика — Екатерина Семеновна, гордясь своим мужем-спасителем не перед господом, а перед честным рабочим людом.

Теперь редкий встречный не снимал шапки перед Матвеем Романовичем. И купцы, что проглотили аршин, отчего у них негнулась спина, не сгибалась шея, и те здоровались за руку с мастеровым Зашейным и благодарили его за спасительство, называли по имени и отчеству да еще добавляли лестные слова «ваша честь», «ваша милость».

В Петербурге стало известно о письме царю Турчаковского, которое не писалось и не посылалось.

Стало также известно и о мудром ответе царя, знающем так хорошо уклад мельников, о которых он даже не слышал. За подобный обман управляющего не только не попросили написать объяснения, а наоборот, считая обман заслугой, вознаградили обманщика. Было решено образовать новый горно-железодельный Мельниковский округ из шести таких же убыточных заводов, рудников, копей, лесных дач и прочих казенных промышленных заведений, которые найдет способными существовать далее назначаемый управляющий округом преуспевающий Турчанино-Турчаковский.

— Ты мог бы подняться и выше, Андре,— уверяла мужа счастливая Матильда после прочтения приятнейшей телеграммы из Петербурга.

— Нужно быть довольным и малым,— отвечал ей не веривший еще фортуне Турчанино-Турчаковский, который теперь будет получать из убавленного рабочим четвертака и прибавленного получаса утроенное содержание, не считая прочего. Это почти столько же, а может быть, и больше того, что получает губернатор.

Вскоре по Мильве прошел слух о пожаловании царскими кафтанами рабочих послов, а судового мастера Матвея сына Романова, oprичь того, серебряной медалью.

Сам управитель подкатил к зашеинскому дому, а с ним и другие господа начальники. И многие видели, многие слышали, а уж узнали-то все на всех улицах, как его превосходительство просил:

— Прошу принять меня, прославленный мастер Матвей Романович. Я хочу поздравить вас с высокой честью и поднести вам золотые именные часы с золотой цепью...

Он мог бы не через окно зашеинского дома сказать все эти медовые, загодя заготовленные, понятные простому народу слова. Но Турчаковскому нужно было, чтобы его слушали толпящиеся и пересказали другим — каков он, его превосходительство, как он прост и обходителен с тем, кто заслуживает того.

Нет, не дурак был Андрей Константинович Турчанино-Турчаковский. Он понимал, что его власть сильна не одними штрафами да розгами, но и пряником. Читал газеты управляющий, и не только те, на страницах которых была тишь да гладь, но и те, где «спасителя» Зашейна называли «слепым соглашателем из чистых

побуждений, наносящим урон общему делу борьбы с самодержавием».

Этих газет, как, впрочем, и других, не читали в Мильве по недостатку грамотности и по избытку равнодушия к тому, что делается за пределами своего завода и своего двора. Свой завод и свой двор были в безопасности. Пришли заказы. Ни у кого не отобрали номера, кроме пришлых и тех из коренных мильвенцев, кто не захотел подписать цеховые прошения получать семьдесят копеек вместо рубля. Им сказали:

— Не смеем неволить и убавлять самовольно сдельщину и поденщину...

А потом, когда, лишившиеся работы, они письменно признали свои заблуждения, им снова выдали заводские номера. И снова Турчанино-Турчаковский показал себя добрым и чутким к рабочему люду.

Матвей Романович Зашеин не надевал жалованный царский кафтан. Медаль он тоже не носил, а только чистил ее мелом, когда она мутнела. Не носил и часов. Глаза не видели стрелок, да и как-то ему, не купцу, не барину, было стыдно ходить при золотых часах, хоть бы и жалованных. Пусть уж достанутся они внуку Маврикию, появившемуся вскоре на свет самой большой наградой за всю его долгую жизнь. А кроме всего прочего, в часах и в медали, как и в кафтане, была какая-то неловкость. Наградили как бы за то, что жить стали хуже. Однако же, сознавая это, Матвей Романович не мог согласиться с лечившим его от бессонницы доктором Родионовым, что мильвенцы принесли не пользу, а вред общепролетарским интересам.

На это Зашеин с отцовской поучительностью ответил доктору:

— Оно, может, и так, Виктор Иванович... Только ты вглубь гляди. Мы ведь не бездомная пролетария, а коренной рабочий класс, который не должен забывать о своих кровных интересах.

Услышав эти слова, Родионов понял, как бесполезно спорить с Матвеем Романовичем, как трудно да и невозможно сломать формировавшийся десятилетиями самобытный внутренний мир старика. Он много слышал и даже читал, но все это, подчиненное доморощенному идеалу благополучия рабочего, начиналось с двора, покоса, живности. И как можно доказать Зашеину, что «бездомная пролетария» есть Главная и великая сила

времени, когда рабочие помоложе его, ходившие на воскресные чтения в кружок «Исток», тоже считали, что революция уравнивает всех рабочих и распределит имущество по справедливости, на каждую душу населения?

Темнота была сильнее света. Мелкособственническое начало казалось очень многим незыблемой основой жизни при всяком ее переустройстве.

Однако, при всем этом, Зашейн не по подсказке, а по собственной воле пошел к управляющему просить возвращения четвертака и убавления на полчаса рабочего времени после того, когда завод стал получать выгодные заказы и давать хорошие прибыли.

Матвей Романович надел свой темно-зеленый кафтан с золотым позументом по вороту и рукавам. Пристегнул медаль и появился в доме управляющего.

Разговор был прямой и короткий.

— Ропщут в цехах, Андрей Константинович. Сегодня ропот, а завтра бунт, ваше высокопревосходительство. Когда нужно было, рабочие люди пустились сами своей платой, а теперь заказы и прибыли. Нужно вернуть рабочим, ваше высокопревосходительство, даденное ими временно.

Турчаковскому было известно, как ведет себя доктор Родионов. Начав с воскресных чтений, с политического просвещения, теперь он почти в каждом цехе имеет своих агитаторов. Агитаторов, которым многое уже понятно и которые легко находят общий язык с товарищами по цеху. То и дело в стране вспыхивали забастовки. Не миновали их и уральские заводы. Но ни с того ни с сего увеличить заработок было «неполитично», это могли истолковать как боязнь волнений, как задабривание рабочих. А власть должна быть твердой.

— Не за чашкой чая решаются такие дела. Отдать деньги легче, чем их взять, — сказал управляющий. — Да и как я сам по себе ни с того ни с сего начну хлопоты?

Матвей Романович ушел ни с чем, а затем пришел на завод, где он по старости лет теперь не работал даже почетным наставником, рассказал о своем посещении управляющего.

Это вызвало шумное негодование. Возмущались и самые кроткие, привыкшие безропотно гнуть свою спину. Ответ управляющего оскорблял их.

Началась забастовка. Началась она стихийно, молниеносно и нарастающе гневно.

Перепуганный Турчаковский готов был тотчас пойти на попятную, но это теперь наверняка означало бы крах его репутации. И он снова солгал, что все зависит от высшего начальства, перед которым он будет хлопотать и сегодня же начнет добиваться справедливости. Схитрив таким образом, он просил рабочих вернуться в свои цехи.

Но ему не верили. Забастовка разгоралась. В Мильве появилась конная сотня. Прибыл батальон солдат. Затем еще рота. Стало известно о приезде вице-губернатора в сопровождении свиты и жандармов.

При наличии в Мильве войск Турчаковский мог, день-другой затянув, сделать вид, что ему великими трудами удалось добиться уступок у большого начальства, и, охладив пыл забастовщиков, найти золотую середину и остаться снова «хорошим баринном».

Мильва, при изменении границ губерний и заводских округов, административно переходила в подчинение от одного губернатора к другому. На этот раз Мильвенский завод имел дело с новичком.

Ретивый, ищущий славы, фанфаронствующий вице-губернатор, не умудренный тонкостями одурачивания народа, не дав устать и вымотаться забастовщикам, не посеяв среди них сомнений, не заслав в их среду подогревающих панику провокаторов, грубо подавил забастовку.

Чувствуя себя здесь главным начальником, не посоветовавшись с изощреннейшей лисой Турчанино-Турчаковским, разгусарившийся вице-губернатор, делая глупость за глупостью, под угрозой нагаек загнал рабочих на завод и громогласно приказал арестованных зачинщиков привести к медведю.

VI

«Привести к медведю» — это было крайним и жестоким наказанием, которое было введено давным-давно. Так давно, что поросло преданием и стало легендой.

В те далекие времена, когда казенной Мильвой правил выходец из чужедальных земель по фамилии Бугберг, прозванный Бугаем, появился веселой души мастер из коренных пермяков — Северьянко. Этот самый

Северьянко, прожив десять лет в вятской земле, перенял там умение живой резьбы и мог липовый чурак заставить жить щукой, голубем, тетеревом и кем он захочет. Хоть Миколой-угодником, хоть языческим идолом. Потому что в те годы хотя и крестили всех поголовно, а все же старики язычники не забывали своих богов и тайно заказывали Северьяну небольших идолов для домашнего обихода и для ношения в охотничьем мешке. Русские лесовики тоже не брезговали коми-пермяцкими божками, особенно идучи на большого зверя. Помогали они или не помогали, а места много не занимали, особенно карманные божки-вершки. Их и на гайтане рядом с крестом носить было не маетно. Делал Северьянко и таких. Но главная работа Северьяна была церковной. Резал он запрестольных Христов, сидящих на троне, и стоячих Николаев-можаев. Попам в этих краях приходилось вышибать клин клином. Ежели уж крещеным идолопоклонникам трудно верить в плоского рисованного на иконе бога и они не могут обходиться без деревянных богов, то пусть уж молятся не кому-то, а резному из дерева Христу, раскрашенному красками.

Этими-то запрестольными, то есть находящимися в глубине алтаря за престолом, резными и раскрашенными изображениями Христа и прославился Северьянко, получив право вольного, неприкосновенного и повсеместного проживания.

Христов он создавал вдумчиво и терпеливо, не на одно лицо, а похожими на облик людей того рода-племени, которое молилось новому богу тем охотнее, чем больше в нем было родных черт. Случались поэтому скуластые, узкоглазые, черноволосые, темнокожие или, наоборот, бледнолицые, с белыми волосами Христы-олнодеревенцы.

Конечно, легенда и есть легенда, и никто не поручится, какую именно резьбу нам оставил в наследство Северьян. Да это и не столь важно. Важно то, что легенды не лгут о пермских деревянных богах, которые теперь, спустя много лет, составили собрание деревянной церковной скульптуры мирового звучания. И всякий побывавший в Пермской художественной галерее удивится изумительной тонкости резьбы православных идолов, увидит в их лицах и коми-пермяков, и мансийцев, и всех первоначальников этих храмов, обращенных в христианство.

Наверно, среди этих фигур есть и Северьянова церковная резьба. Но не о ней сейчас разговор. По старомильвенским преданиям известно, что управитель Бугай, прознав об этом мастере, зазвал его к себе, чтобы заставить вырезать разные и всякие фигуры для украшения господского парка. Северьян, истомившийся на церковной скукоте, лихо взялся за живое дело и нарезал барину и лесных леших с дудками, и девиц-водяниц с рыбьими хвостами, лосей, волков и царя пермских лесов, большущего веселого медведя.

Медведь шел по резной деревянной траве, по знакомым цветам и нес на своем горбу дуплянку, полную медовых сот.

Внимание к медведю некоторые из мильвенских старожилов объясняют и тем, что завод в старые годы назывался Медвеже-Мильвенским заводом. Назывался он так потому, что одна из пяти рек, полнящих заводской пруд, называется Медвежкой.

Залюбовался Бугай медведем. Жалко стало ему редкую диковину ставить в свой парк. Поведет еще на дожде клеенного из многих липовых плах зверя. А в доме где же держать такую махину? И приказал Бугай отформовать медведя и форму залить чугуном. До этого же повелел Северьяну смешливую медвежью морду обработать поцарственней и позлей.

Говорят, что это не по душе пришлось Северьяну. Не хотелось ему портить дурашливого проказника. Но как можно ослушаться барина? И он устроил медвежью морду, сделав ее чем-то похожей на управительскую.

А когда медведь был отлит, Бугаю показалось неудобным, что этот царственный зверь несет на своем горбу какую-то дуплянку с медом. Дуплянка была заменена литой медной позолоченной короной о десяти зубцах. И когда корона была привернута на горб медведю, то захотелось, чтобы медведь шел не по бессмысленной траве и глупым цветам, а попирали бы своими лапами какое-то покоренное им чудовище или идолище.

Северьянко понял, куда клонит Бугай, и не захотел резать под ноги медведю чудище, оскорблявшее его народ, а равно братские по языку и крови народы, прозванные в те годы обидным словом «чудь». Резцы в котомку, топор за пояс — и был таков.

Нашелся другой мастер. Из прислужливых. Мона-

стырский чеканщик. Вычеканил он из красной листовой меди шкуру семиголового чудища.

Чеканную шкуру чудища приказано было положить на большой гранитный камень. Камень нашли за Камой и доставили двумястами лошадей, а затем установили на плотине как основание памятника Медвеже-Мильвенскому заводу.

Торжества открытия памятника начались поркой пойманного Северьяна и двух якорных мастеров, не исполняющих уроков.

С тех пор наказания плетью, розгами, кончавшиеся часто смертью, происходили у подножия памятника. «Привести к медведю» — означало выпороть гласно и всенародно. К медведю приводили пойманных беглых, нерадивых, смутьянов, бунтовщиков, недовольных малой платой, и всех, кого находил нужным пороть очередной мильвенский управитель.

На этот раз к медведю привели организаторов забастовки во главе с доктором Родионовым. Среди них были Санчиков отец Василий Иванович Денисов, Терентий Николаевич Лосев, тогда еще совсем молодые Кулемин и Краснобаев. Был тут уважаемый в Мильве мастер Емельян Кузьмич Матушкин...

VII

На плотине расправы с рабочими происходили и потому, что туда легко было закрыть доступ людям. Достаточно было поставить по взводу солдат в ее устьях.

Были пригнаны зрители — «посписочные» рабочие, отобранные мастерами и начальниками цехов. Предстоящие события были продуманы до скрупулезности.

Вице-губернатор и жандармские чины стояли на дощатом, ночью сколоченном помосте. Заводские чины во главе с Турчанино-Турчаковским находились поодаль, по другую сторону медведя. Этим показывалось, что заводское начальство и управляющий не имеют отношения к расправе, а находятся в разряде «посписочных», вызванных сюда прибывшими губернскими властями.

Перед медведем поставлены десять широких скамей, или кобылин, с ремнями, которыми привязываются подлежащие порке. Под кобылинами аккуратно

разложены ивовые прутья. Десятеро привозных здоровенных и уже подпоясанных мужиков в бордовых рубахах находились у вице-губернаторских подмостей, рядом с барабанщиками, которые будут заглушать крики наказываемых.

Вызванные из цехов рабочие толпились за шеренгами солдат. И когда все было готово, о чем доложил жандармский офицер вице-губернатору, им был дан знак чиновнику, чтобы тот прочитал приказ о наказании. Кому, и за что, и сколько ударов. Но в это время толпа зашевелилась и послышалось:

— Пропустите меня... Пропустите!

И все увидели невысокого старика с знакомой бородкой, с седой и все еще кудрявой головой, в царском жалованном кафтане. Послышались голоса:

— Это Зашеин...

— Это Матвей Романович... Пропустите его...

— Пропустите его к вице-губернатору.

И Зашеина пропустили. Он подошел к подмостям и громко сказал:

— Ваше высокое вице-губернаторство... Меня не арестовали по недосмотру. А надо бы... Я ведь эту кашу заварил, мне ее и разваривать первому. Начините с меня!

Матвей Романович снял жалованный царский кафтан и, при безмолвии всех, подстелил его на крайнюю скамью-кобылину.

— Что это значит? — недоумевал вице-губернатор. — Кто этот старик? — спрашивал он визгливо у свиты.

— Я Зашеин, ваша милость. Матвей Зашеин, тот самый, который позвал рабочих попуститься на время четвертаком и получасовой прибавкой, а теперь они, — указал он на стоящих со скрученными назад руками забастовщиков, — рассчитываются за это. Дайте рассчитаться и мне. Порите меня! — обратился он к мужикам в бордовых рубахах. — Более порите, чтобы до гроба помнил старый дурак и в могиле вспоминал, как верить господам на слово.

В эти минуты напряженного безмолвия заметно побледнели лица и некоторых солдат. Неизвестный старик напоминал своим обликом кому-то отца, кому-то деда или просто однодеревенца, готового постоять за мир, за добрых людей.

Кто знает, какие слова мог еще сказать Зашеин, если

бы его не прервал ставший рядом с ним перед вице-губернаторскими подмостками управляющий Турчанино-Турчаковский.

— Ваше превосходительство,— обратился он к вице-губернатору.— Не находясь физически в рядах забастовщиков, я внутренне был с ними.

И, как бы признавая виновность, он опустил голову и, тотчас вскинув ее, как бы утверждая этим свою правоту, продолжил:

— Ваше превосходительство! А что, собственно говоря, произошло? За что должны лечь на эти унижающие человеческое достоинство скамьи люди, которые требовали вернуть принадлежащее им?.. Жертвенно и добровольно отданное ими во имя спасения своего родного завода до лучших времен. И эти времена пришли. Но деньги не были возвращены.

Турчанино-Турчаковский чувствовал оживление за своей спиной и принялся говорить так, будто не кто-то, а он возглавлял забастовку:

— В задержке возвращения наших денег повинна трудно и медленно проходимая лестница, состоящая из чиновников, не всегда ревностных в своем служении государю императору и его верноподданным. И я буду требовать расследования этой непростительной задержки.

— Вы оправдываете бунт? — властно спросил вице-губернатор.

— Бунт? — сказал удивленно, разводя руками, управляющий.— Разве были допущены какие-то нарушения? Разве кто-то оскорбил хотя бы словом кого-то из должностных лиц? Разве были предъявлены какие-то недобропорядочные требования? Люди просили то, что им высочайше возвращено. Прошу вас, досточтимые господа, прочитать только что полученную из Петербурга депешу.

Слушающие рабочие оживились.

Турчанино-Турчаковский с некоторой небрежностью победителя подал вице-губернатору телеграмму, и тот, прочитав, сказал примирительно:

— Поздравляю вас, Андрей Константинович! Поздравляю вас всех,— обратился он к присутствующим.

— Кажется,— снова стал говорить управляющий,— теперь уже не может состояться то, во имя чего нам было приказано явиться сюда.

Вице-губернатор ответил односложно:

— Да!

— Тогда кто же развяжет руки безвинно арестованным? — громко, чтобы слышали все, спросил Турчаковский.

— Освободить приведенных! — приказал вице-губернатор.

Мужики в бордовых рубахах кинулись развязывать руки арестованным.

Но на этом не закончилось фиглярство Турчанино-Турчаковского, он доводил до логического конца необходимую ему комедию.

— Ваше превосходительство, мы не требовали войск. Они пришли не по нашему зову. Благоразумная и верноподданная Мильва всегда умела решать свои споры без вмешательства оружия. Я прошу дать приказ ротам немедленно покинуть мирные улицы.

И приказ был дан. Трубаچی затрубили сборы. Части наскоро построились и затем оставили Мильву. Другое дело, что все они разместятся в ближайших селах и будут пока проводить учения, но на улицах их нет.

Плотина пустела. Матвей Романович возвращался в кумачовой рубаше с расстегнутым воротом. Кафтан он оставил на кобылине. Его услужливо принесет ему заводской подлипала. А теперь Зашеин идет со своими дружками. Ему кланяются, говорят добрые слова, называют «родным Романычем», его благодарят женщины. Рабочие зовут его пройтись по улицам, показаться народу. Нельзя. Дома убивается по нем Екатерина Семеновна, и ей надо сказать: «Вот я, Катя. Целехонек и без единого рубца».

Турчанино-Турчаковский тоже шел пешком на Бариную набережную.

Искуснейшего комедианта провожали уважаемые рабочие, всем сердцем верившие барину, постоявшему за простой народ.

Одним из последних уходил Терентий Николаевич Лосев. Ему захотелось сплести памятную корзинку из лозы, приготовленной для порки. Отбирая наиболее гибкие прутья, он сказал увозившим скамьи-кобылины, указывая на медведя:

— Гляньте, ребята, а он ухмыляется, горбатый зубастик. К чему бы и над кем?

Добрая душа, Матвей Романович Зашеин искренне верил, что это он своим появлением изменил ход дела

у памятника. И как было бы горько старику узнать правду и увидеть себя маленькой пешечкой, случайно появившейся в чужой игре.

Хорошим человеком был до конца дней Мавриков дед Матвей Романович Зашеин. Добрая память сохранилась о нем в Мильве и во времена Маврикова детства, и в наши годы. Похороненный на Мертвой горе, Матвей Романович жив миллионами хороших, чистосердечно заблуждающихся тружеников, обманывающих себя и других в местах, далеких от Мильвы и нашей страны.

В этом отношении прошлое Мильвы не для всех вчерашний день...

Четвертая глава

I

«Уметь! Помогать! Добывать! Зарабатывать!» — эти четыре слова вполне бы могли стать самым кратким и самым исчерпывающим девизом мильвенской детворы, за исключением разве только тех мальчиков и девочек, которых насмешливо называли «благородными».

Маврик был «не поймешь кто». До «благородных» он не дотягивал, а «простым» тоже не назовешь. Но теперь его, разутого, почерневшего, с исцарапанными и пораненными руками, можно считать «своим», хотя у него не было никаких обязанностей и он с утра до вечера мог делать все, что ему захочется. Так не могли располагать собой остальные, кроме разве Санчика.

У Санчика нет домашних обязанностей, потому что нет дома. Денисовы живут в избушке-малушке у богатого дяди Миши. Дядя Миша — маляр. Он ходит и красит по богатым домам. Ему везде доступ, везде вера. Не обманет, не украдет, потому что он не просто маляр, но и староста кладбищенской церкви. А его старший брат — Василий, Санчиков отец, — хотя и почище маляр, красивший не крыши да окна, не кресты да ограды на кладбище, что может делать всякий подмастерье, а мастер первой статьи, которому доверяли самые чистые работы по окраске судов, но жить теперь ему не на что. Ревматизм ног и рук заставил покинуть завод и выйти на семирублевую пенсию. И если бы не мать его жены, не бабка Митяиха, то пропасть бы Санчиковой семье с голоду. Сестры еще не подросли. За стирку Санчико-

вой матери платили мало, да и редко нанимали. Старшую сестру Санчика, Евгению, не отпускали мыть полы в богатые дома, хотя и звали. Она была очень красива и могла выйти замуж за жениха с домом. А полойку, которая ходит по чужим домам, кто же возьмет замуж. Поэтому Женя училась шить, а пока метала петли настоящим швеям. По копейке за две маленькие петли. За большие платили дороже. Но много ли петель вымечешь за день? И вся надежда семьи была на сухую, подслеповатую, с тяжелыми веками бабу Митяиху. У нее случались деньги, и она кормила неплохо денисовскую семью, особенно в воскресенье и в понедельник. А иногда собранных ею кусков хватало и до среды. Митяиха была соборной нищенкой, и ей полагалось хорошее место на паперти. У самых дверей, где могли стоять только старые нищие, которые христардничали много лет и выжидали своей очереди в притворе, а остальные — не настоящие нищие, а просто так, побирušки, когда придет нужда, — не имели постоянного места и канючили где придется. На нижних ступеньках паперти, а в большие праздники, когда все ступеньки были заняты, им приходилось стоять поодаль от храма, на площади.

Бабушка Митяиха имела право ходить по всем домам Мильвы. Таких было всего лишь пять нищих. А остальные могли просить милостыню только на своих улицах, которые были разделены очень строго. Улиц в Мильве хотя и много, но нищих еще больше. Поэтому некоторым доставалась не вся улица, а половина. На одной стороне улицы дома были одного нищего, а на другой — другого. И если кто вздумал бы перебежать дорогу, его могли проклясть, а кроме того, и поколотить. А Митяиху никто не мог тронуть. Она из перваков. Почти как мастер в цехе. Санчикова бабушка состоит в первом пятке. И ей, как и всякому из этого пятка, все остальные нищие платят каждое воскресенье «долю». Можно деньгами. Можно кусками.

Санчик гордится своей бабушкой. С уважением к Митяихе относится и Маврик. Хоть и нищая, а из главных. Поэтому ее внуку-любимцу, Санчику, живется лучше всех в семье. Бабушка может припросить и ситцевый остаточек у купца для рубашки Санчику, и самые сладенькие кусочки она бережет для него. Но теперь они не так нужны Санчику. Ему отдано много

рубашек и штанишек, из которых вырос Маврик. Они Санчику тоже малы, но Женя их умеет расставлять, надшивать, припускать. И у Санчика теперь есть что надевать.

Сеня и Толя Краснобаевы, как, впрочем, и другие жившие в своих домах, выполняли многие обязанности. Мели двор, чистили у коровы и у лошади, натаскивали из колодца в огородные кадки воду для поливки, кололи и таскали дрова для русской печи... Делали все, что было под силу, а иногда и не под силу для мальчиков в восемь-десять лет. В эти годы они должны были уметь помогать взрослым. Уметь помогать было не одной лишь обязательной обязанностью, но и гордостью мальчишек.

— Мой-то уж всё́м мужик,—говаривали матери про своих сыновей.—Девятый только пошел, а он уж рыбой семью кормит.

Это значит — мальчик просыпается ранним утром и бежит на плотину пруда за ершами, окунями, плотвой. «Надергает» такой три десятка рыбешек — вот тебе и рыбный пирог. Глядишь, опять прибыток — лишняя копейка дома.

Сходить на луга, собрать там кисленки, как называли мильвенцы щавель, принести пяток стаканов «клубеники», наискать в лесу на «жареху» маслеников, «синявок», принести полмешка еловых и сосновых шишек для «разжижки» самовара, наловить зеленой кобылки отцу для ловли хорошей рыбы — тоже считалось обязанностью детворы, — уметь помогать, добывать, зарабатывать.

Если девочка в девять лет не умела мыть посуду, подметать пол, помогать матери управляться на кухне, она поражала сверстниц. Страшно прослыть «неумехой», «бездельницей», «белоручкой».

Мавриковой «невесте» Сонечке Краснобаевой семь лет, а она уже показывает своему «жениху», что с ней он не пропадет. Кормит кур. Собирает снесенные ими яйца. Пропалывает «легкие» гряды, ходит за водой с маленькими ведерками на крашеном коромысле, моет по субботам рундучок у «паратьнего» крылечка, отворяет калитку вернувшейся с пастбища корове... Мало ли дел, которыми она гордится и прославляет себя на восьмом году жизни. Не шутка же, в самом деле, считаться невестой такого кудрявого, такого хорошенького, звонкоголосого мальчика.

С тех пор, когда милый, добрый Артемий Гаврилович Кулемин побывал с Мавриком на Гольянихе, где жили Киршбаумы, прошло не так много времени, но Ильюше казалось, что это было давно, и очень давно. Да и Маврик терял счет дням и надежду на скорую встречу с Илем. Едва ли Кулемину опять понадобится идти к Самовольниковым. В тот раз он относил им на новоселье обещанного пушистого сибирского котенка. Правда, пока Маврик рассказывал Илю о том, что произошло, а Иль жаловался, как скучно ему, Григорий Савельевич разговорился с Кулеминым, и оказалось, что Артемий Гаврилович может много сделать в свободное время для оборудования штемпельной мастерской. Григорий Савельевич очень просил Кулемина побывать у него. И он обещал. Обещал, но не шел. Может быть, не шел потому, что Григорий Савельевич обещал заплатить не так много.

Мальчикам, как, впрочем, и хозяевам квартиры Самовольниковым, даже и в голову не приходило, что за встреча происходила на Гольянихе. Осторожный Киршбаум наводил потом справки о Кулемине, кто он такой и можно ли ему доверить точную работу.

О Кулемине все отзывались очень хорошо, и даже сам пристав Вишневецкий сказал, что это честнейший человек и отличный мастер.

После такой рекомендации Киршбауму можно встречаться с Кулеминым и поручать работу по металлу для штемпельной мастерской. А время шло. Отец успокаивал Иля, что теперь остается всего лишь две недели и будет закончено переоборудование низа флигеля под штемпельную мастерскую и закончится ремонт верхнего этажа, где будет их квартира. Легко сказать — две недели. Это четырнадцать дней. Четырнадцать утр. Четырнадцать вечеров. Разве так много в лете дней, чтобы расшвыриваться таким счастливым временем, которое он может провести с Мавриком и Санчиком! И есть еще какие-то краснобаевские мальчишки.

Вскоре был закончен долгожданный ремонт. Во флигель пробит вход с улицы. Над входом большая вывеска. А на вывеске золотыми буквами написано: «ШТЕМПЕЛЯ И ПЕЧАТИ». А ниже мелкими буквами «Киршбаум и К^о». То есть — и компания. Потому что

это было предприятие не одного лишь Киршбаума, но и тех, кто точил ручки для штемпелей и печатей, тех, кто выполнял граверные работы, тех, кто поставлял штемпельную мастику, и тех, кто под маркой компаньонов будет на законном основании, не прячась от полиции, работать в подпольной типографии.

Заказы пока не выполнялись, а лишь принимались Анной Семеновной. Сам Киршбаум и кое-кто из К^о уехали в Пермь за шрифтами, сырой резиной и оборудованием.

Наступал сенокос. Бабушка Маврика настояла, чтобы внук пожил на кумынинском покосе два-три денька. Поучился грести сено. Екатерина Семеновна, любя и холя внука, не хотела, чтобы он вырос квелым цветком. Кумынины согласились взять Маврика и Санчика грести сено, поэтому нужно было спешить. Их ждали.

У Кумынинных нашлись маленькие грабельки. Маленькие грабельки вместе с большими и острыми косами положили на телегу. На телеге поехали младшие девочки с матерью, а остальные пошли пешком.

Покос неблизко. Версты четыре. Но идти туда было очень весело. А на покосе оказалось еще веселее. Они будут спать в балагане, как все. Яков Евсеевич сразу же занялся балаганом, и все принялись помогать ему.

Сначала поставили «домиком» ивовые прутья, а потом стали покрывать их скошенной травой. Тепло, и дождь не промочит.

Если б так можно было жить всегда...

Что за прелесть ночь на покосе! Светлая, теплая ночь, пахнет сеном, пахнет дымом костра. И чай на покосе, заваренный в закопченном чайнике, совсем не такой, как в самоваре. И хлеб не тот. И все не то.

Хорошо бы научиться косить, но не продаются маленькие косы. Грести тоже интересно, хотя и мешают ягоды. Приходится собирать. Не пропадать же им. Клубники здесь — море. Разве можно сравнить ее с мелкой лесной земляникой, которая кислит и пощипывает язык.

Время покоса — это веселый праздник в Мильве. Приходится останавливать на неделю, а иногда и на десять дней завод, кроме горячих цехов. Сено нужно всем. Коровы же... лошади. Чем их кормить? Траву нужно скосить вовремя. В хорошую погоду. Траве нуж-

но не дать перерасти и полечь. Сено нужно убрать, как только оно подсохнет в рядках. А вдруг дождь... Намокнет, почернеет сено и может сгнить.

Косят почти всю ночь. Те, кто не справляются сами, нанимают пришлых. Их много приезжает в Мильву. Со своими косами. Со своими песнями.

Белая ночь не зажигает звезд. Хорошо косить в белую ночь, а еще лучше спать и слышать сквозь сон ширканье кос и ржание лошадей. Спать и видеть сны о том, как Толя Краснобаев помог сделать из кровельного железа маленькие косы. И как этими косами накосили хорошее сено для пони Арлекина...

Не думай, Маврик, о нем даже во сне. Пусть тебе лучше снится козел из замилъвенской пожарной. Его тоже можно запрячь в маленькую тележку и возить на ней сено или ездить вдвоем с Санчиком в гости. К рогам козла нетрудно прицепить вожжи. Куда потянешь вожжу, туда и он повернет. Но козел провоняет весь двор да еще вздумает бодаться. Нет, не нужно, не нужно видеть, чего не может быть. Спи, Маврик, спи. Завтра ты попробуешь прокатиться на Буланихе верхом. Это твердо. А пони, козлы, северные собаки — это почти как та пермская серенькая мышка, которая не оказалась волшебницей.

Спи! У лета впереди еще сорок пять дней. Сколько купаний будет за эти дни. Сколько теплых вечеров. Сколько новых знакомых. Новых игр. А потом грибы. Потом привезут арбузы, яблоки, виноград. А потом ты можешь помогать солить капусту. Ее купят не менее чем сто кочанов, а огурцов тысячу штук. Потом поспеет калега, которую в Перми почему-то называют брюквой. Старая Кумыниха напарит тебе и Санчику целую корчагу вкусных паренок из калеги. Это не Пермь. Здесь своя русская печь, и она может, что ты захочешь, напечь, нажарить, напарить, сварить...

Спи. Тебя любит тетя Катя, любит бабушка, любит и мама. Теперь у тебя все будет хорошо. Пятнадцатого августа ты пойдешь в школу. Во второй класс, вместе с Толей Краснобаевым. Санчик пойдет в первый класс. В школе тебя не заставят быть товарным вагоном. От тебя там никто не отвернется. Зимой тебе никогда не будет холодно. Дрова уже куплены, да еще и прошлогодних осталось четыре сажени. А потом придет рождество. Терентий Николаевич опять принесет пу-

шистую елку. А за месяц до елки ты с тетей Катей будешь золотить орехи, клеить цепи, приводить в порядок елочную коллекцию, подвязывать оборвавшиеся ниточки.

А бабушка Екатерина Семеновна в долгие зимние вечера будет рассказывать про старину такое, какое не услышишь ни от кого. Про первые бунты. Про то, как Мильва горела. Как Мавриков прадед Роман пудовую щуку в пруду поймал. Мало ли у бабушки нерассказанных былей-небылей. Зимние вечера тоже хороши.

А до этого придет екатеринин день. Тети Катины и бабушкины именины. И все соберутся, и будет очень весело.

Спи! Впереди еще сорок пять летних дней. Завтра всего только второе июля.

Спи!

И Маврик спит, убаюканный тети Катиными словами, которые мысленно повторял сам себе.

Сорок пять дней — это немало, но мелькнули и они. Позади остался милый покос, ставший еще милее. Побывал Маврик и в лесу с Терентием Николаевичем и научился отличать поганки от хороших грибов. Хотя и не все, но многие. Уж главные-то мильвенские грибы — грузди и рыжики — он никогда не спутает ни с какими другими.

Лето в Мильвенском заводе кончается раньше, чем думал Маврик. Лето кончается в сердитый ильин день. Двадцать первого июля. Этот недобрый пророк с красивым и таким близким именем Илья еще накануне, как пьяный возчик, начал кататься по небу на своей громовой колеснице, и люди крестились на гром, на молнию. Маврик тоже два раза перекрестился. Как все, так и он. Но полюбить этого пророка он не мог. И за что его можно полюбить, когда в его именины горбатый медведь опускает в пруд свою чугунную лапу. И вода от этого становится холодной. И больше уже нельзя купаться. А если нельзя купаться, значит, настоящее лето кончилось.

Какое же лето без купания. Это начало осени. Ветер с деревьев рвет листья. Они еще не желтые, но все равно ветер срывает их. Правда, и ветер нужен. Нужен для змейков. Маврик с Санчиком запускают змейки, которые научились делать сами. Змейки взлетают очень высоко. Очень интересно пускать к ним по нитке телеграммы. Они в одну минуту долетают до змейков. Но разве пускание змейков можно сравнить с купа-

нием? С беганием босиком. С жарой. На пруду злые волны. Ни одной лодки. Только буксир «Ермак» таскает туда и сюда деревянные баржи. Рыба, наверное, и та попряталась на дно.

Правда, и осенью тоже бывает кое-что интересное. На Соборной площади строят тесовые лавки арбузники. Сколько угодно бобов и репы. Подешевели яблоки. На огурцы уже никто не смотрит. Их солят, и все. Но без пальтишка не выйдешь. А у Санчика не было пальто. Только шуба. В шубе еще ходить рано. Пришлось отдать ему старый дедушкин пиджак, чтобы сшили пальтишко. Шили долго, но получилось настоящее пермское пальто с хлястиком и на клетчатой подкладке. Бабушка Митяня выпросила ее в какой-то лавке.

Плохое время года осень. Ее никогда не полюбит Маврик. Но в эту осень был очень хороший день. Маврик встретил такую девочку, каких нельзя встретить и на картинках в самых дорогих детских книжках. Он не знал этой девочки, а она знала его. Она первая подошла к нему и назвала по имени.

Вот как это было...

III

Маврик любовался красной рябиной, которая росла напротив краснобаевского дома в господском палисаднике. Эту рябину можно было уже есть. Дать ей только немножко подвянуть на погребке, и она «посластееет». Так уж делали Сеня и Толя в прошлом году. Они же говорили, что рябина слаще меда после первого заморозка, но тогда ее не остается. Съедают птицы.

Пока размышлял Маврик о рябине, пока он придумывал, на что можно выменять у кучерского сына Левки рябину, послышался тоненький, тоньше птичьего, голос:

— Здравствуй, Маврик!

Маврик оглянулся. Перед ним стояла очень приятная и очень маленькая седая женщина, а с ней девочка. Обе они были в осенних пальто из одинаковой серой, мышиного цвета, материи. И обе они улыбались. И обе походили на волшебниц.

— Маврик, разве ты не узнал меня?

— Нет,— ответил Маврик.

— Маврик, разве ты не помнишь елку в общественном собрании?

— Помню. Я хорошо помню, как я там был.

— Тогда ты должен помнить девочку, которой ты привязал к косе блестящую ниточку из золотого дождя с елки.

Маврик старался вспомнить и не мог.

— Нет, я не помню...

— А я помню,— сказала девочка.— И буду помнить всегда.

— И я буду помнить,— сказала нестарая старушка.— Это было очень мило с твоей стороны.

— Пожалуйста, приходи к нам,— пригласила девочка.— Меня зовут Лера. А это моя бабушка.

Маврик шаркнул ногой и раскланялся, как учили его в школе Александры Ивановны Ломовой. Он не протянул первым руку. Этому тоже обучили его.

— Ну, право же, ты настоящий кавалер,— сказала бабушка девочки, назвавшейся Лерой.

Далее у Маврика не хватило небольшого запаса вежливости, полученного у Александры Ивановны Ломовой и порастерянного в Мильве, и он спросил:

— А где вы живете?

— Твоя тетя скажет тебе, когда ты назовешь ей нашу фамилию — Тихомировы.

— Генералы?

— Положим, не все, а только Лерочкин дедушка.

— Спасибо,— поблагодарил совсем тихо Маврик и еще тише сказал: — Я, может быть, приду... Я, наверно, приду,— добавил он, глядя на такое красивое, на такое нарисованное, на такое сказочное, почти волшебное личико Леры.

— У тебя с тех пор немножечко потемнели волосы.— Лера потрогала его кудри, улыбнулась и сказала: — Приходи. У меня два брата. У них есть ослик...

Это решило все. Ослик — это почти пони.

— Обязательно приду... Обязательно, Л-л-лера,— слегка заикаясь, назвал он впервые это имя, которое стало теперь самым красивым из всех имен.

Бабушка и внучка простились с Мавриком и пошли дальше. Маврик остался под рябиной в господском палисаднике. А из окна краснобаевского дома смотрели два печальных глаза Сонечки Краснобаевой, которой вчера исполнилось ровно восемь лет, и Маврик был у нее на именинах и подарил ей фарфорового кукленка-ребенка в маленькой ванночке, куда можно наливать воду и мыть младенца.

Это было вчера. Он сидел рядом с ней за столом, и Сониная мама говорила про них:

— Ах, какая парочка, барашек да ярочка...

А сегодня?.. Сегодня совсем другое. Его гладит по голове генеральская внучка. Он шаркает ножкой. Кланяется. Он говорит ей: «Обязательно приду...» Что же это?..

— Сонька, о чем ты? — спрашивает ее мать.

— Ни о чем... Просто так.

Сониная мать сажает на колени свою дочурку. Обещает завтра же ей купить школьную сумку, букварь, тетради, карандаши... И что-то еще...

Но что ей школьная сумка? Разве можно утешить девочку цветными карандашами? Сонечка плачет. Мать решает про себя: «Наверно, не выпалась прошлой ночью» — и убаюкивает свою маленькую любимицу, зная, что сон высушит ее слезы. А Сонечка долго не уснет, она всего лишь притворится спящей и будет думать...

IV

— Ты обязательно, ты обязательно, Мавруша, должен нанести визит Тихомировым, если тебя приглашала сама генеральша, — говорила Екатерина Матвеевна, радуясь, что племянник будет принят в таком благородном и таком закрытом почти для всех доме.

Был доволен и Маврик, хотя и не знал, что такое визит и почему его надо нанести, а не просто принести или поднести, как подарок, как букет.

Вскоре выяснилось, что визит — это значит сходить на недолочко в гости, а почему визит «наносят», как наносят оскорбление, синяки, удары, тетя Катя тоже не знала.

Но раз наносят, значит, наносят, и Маврик его с радостью нанесет.

Затем стало известно, что таким господам, как Тихомировы, визит нельзя наносить пешком, потому что они дворяне.

В слове «дворяне» Маврику слышалось нечто унижительное. Когда ученик получал двойку, то ему говорили, что из него вырастет «дворянин с метлой». Когда хотели унижить собаку, ее называли «чистокровной дворянкой». Почему же тетя Катя слово «дворяне» произносит с таким уважением? Наверно, так надо.

Маврику было сказано, что в воскресенье утром его повезет наносить визит Яков Евсеевич Кумынин. По-

тому что возьмет он недорого и у него появилась новая тележка с крыльями от грязи и с кожаным сиденьем.

Подготовка к визиту началась в субботу. Тетей Катей был сшит новый костюм, накрахмалены обшлага и воротник, куплен пышный голубой бант с крупным белым горохом, подровнены у парикмахера кудри, а затем вымыты в двух водах и надушены одеколоном «Саддо-Якко».

Утром было не до Санчика, и он не явился к чаю. Тетя Катя несколько раз перевязывала бант и переспрашивала племянника, как и кого зовут из Тихомировых. Маврик твердо заучил тихомировские имена и пообещал, что им не будет сказано ни одного лишнего слова, что в гостях он будет не более получаса.

Ровно в десять Яков Евсеевич подал лошадь. И как следовало ожидать, сбежались ребята. Их всех занимало, что это значит? Кто и куда едет? И все узнали, что Маврик едет в генеральский дом. Узнала об этом и Сонечка Краснобаева.

Ах, бедняжечка!

Маврик вылетел из ворот и хотел было впрыгнуть в тележку, но что-то помешало ему. Что-то остановило его. И он понял, что молчащим ребятам нужно объяснить, почему он сегодня так одет и почему он должен ехать на лошади.

Когда было сказано все, Маврик заметил, что это не произвело никакого впечатления на ребят. Они молча выслушали его и молча проводили. Маврик не мог понять, что произошло и почему им, кажется, не очень приятно, что у него такой счастливый день.

Яков Евсеевич тоже молча сидел на козлах, поторапливая вожжами Буланиху, будто ему тоже было не очень приятно. Но разве Маврик виноват, что у него такие знакомые и к ним нельзя появляться просто так?

Дверь открыла горничная, и Маврик выпалил ей:

— Маврикий Толлин. Прошу доложить.— Все, как было велено.

— Да зачем же докладывать, мы тебя и без доклада вторую неделю ждем.

Послышалось голоса. Среди них он различил тонюсенький голосок Леры. Маврика провели в гостиную, генеральша поправила смявшийся бант. Появились все. Маврик представлялся, назывался с реверансом. Все ему очень понравилось, и так было жаль, что генерал не

носил эполеты, а был просто в тужурочке и даже без галстука, как Иван Макарович Бархатов. Валерий Всеволодович тоже оказался какой-то не такой. Он даже не походил на серьезного человека. Шутил и смеялся. Показывал фокусы. Р-раз — и полная коробка спичек. Р-раз — и она пустая. Он очень удивился, что Маврик такой чинный, такой важный. И еще более удивился, чуть даже не свалился со стула, когда узнал, что Маврик приехал с визитом на лошади. Маврик сам виноват в этом. Вернее, не он, а его длинный язык.

Маврику показалось, что никто не заметил и не заметит, если он не скажет сам, что под окнами его ждет лошадь. А ему хотелось, чтобы все знали об этом. И, конечно, Лера. Поэтому Маврик подошел к окну и, приподнявшись на носки своих новеньких желтых башмаков, заглянул на улицу.

— Ты что, мой дружок? — спросила его Лерина бабушка, Варвара Николаевна.

Маврик ради этого вопроса и заглядывал в окно. И он небрежно, как бы между прочим, ответил:

— Хотел проверить, не ушла ли лошадь, на которой я приехал.

Вот тут-то Валерий Всеволодович и покатился со смеху, чуть не упав со стула. Почему-то улыбнулась и Лера. Не смеялась только бабушка, Варвара Николаевна. Она очень серьезно спросила:

— А если и ушла твоя лошадь, что тогда?

— Ничего тогда, но все-таки, — ответил Маврик, не зная, что нужно было сказать.

— Вот что, — сказала тогда Варвара Николаевна, — спустись и скажи уважаемому Якову Евсеевичу Кумынину, что ты просишь его не затруднять себя и не мокнуть под дождем, потому что ты останешься у нас на весь день. И попроси извинения за то, что ты заставил его ждать...

— Хорошо. Я сейчас.

— Нет, нет... Мамочка, разве можно посылать гостя? Я сбегаю сам. — Тут Валерий Всеволодович быстро выбежал, и было слышно, как он мчался по лестнице.

Маврик чувствовал, что что-то не так. Что-то было неправильное не только в его приезде на лошади, но и в ожидании Якова Евсеевича под дождем. И это подтвердилось, когда Валерий Всеволодович вернулся с Кумыниным и, проводя его в комнаты, сказал:

— А я не знал, что ты мокнешь на улице. Давай по одной. У меня к тебе охотничье дело...

— Давай. Я всегда рад стараться,— ответил по-свойски Яков Евсеевич.

— Прошу извинить меня, Маврик,— раскланялся, хитро-прехитро улыбаясь, Валерий Всеволодович и увел, обняв, Кумынина к себе.

Варвара Николаевна внимательно следила за Мавриком. По его лицу пробегала то обида, то стыд, то признание чего-то, и наконец он, обратившись к Варваре Николаевне, сказал:

— Тетя Катя сделала это из уважения к вам. Ведь вы же дворяне...

Варвара Николаевна обмерла. Она открыла рот, потом бросилась к Маврику. Ей стало так неприятно, что не тщеславие заставило его приехать на лошади Кумынина, а уважение к Тихомировым вынудило Екатерину Матвеевну прибегнуть к этому параду.

— Нет, не я и не Валерий,— начала говорить она,— преподали тебе урок хорошего тона, а твоя прямота, правдивый мальчик, заставляет нас об очень многом подумать.— И затем, обращаясь ко всем, она продолжала: — Извозчик — это извозчик. И если Якова Кумынина унижает его приватное извозничье занятие, то кто мешает ему не жадничать и заниматься только его прямым делом? Ведь он же кузнец. А если ему нужны легкие рубли, то нечего обижаться, что ему приходится сидеть на облучке. Ведь если бы Маврик приехал просто на извозчике, то никому бы не пришло в голову упрекать мальчика за то, что тот его ждет.

С этого часа у Маврика появился новый друг — Варвара Николаевна Тихомирова. Как знать, может быть, когда-нибудь он будет называть ее бабушкой. Милой бабушкой.

V

Потом Лера играла на рояле. И, наверно, хорошо играла. Но Маврик не очень любил музыку, кроме разве гармошки. Та пела, плакала, смеялась. А рояль что-то хотел произнести, но не мог выговорить, потому что у него не было голоса, а только струны...

На ослике прокатиться тоже было нельзя. Шел дождь. Да и у осла была слишком большая голова, слишком длинные уши и очень неприятный рев. Пришлось вернуться в дом.

Решили поиграть в короли. Как раз было четверо: Маврик, Лера и ее два брата, Викторин и Владислав. У Тихомировых все имена начинались на букву «В». И только Лерина мама была на другую букву. Ее звали Матридия. Она бывает именинницей в один день с тетей Катей. В этом есть тоже что-то предсказательное. И вообще, от судьбы не уйдешь. Не беда, что Лера немножечко выше Маврика. Но когда они сидят рядом, это незаметно.

Теперь Маврик знал их всех. И они были очень хорошие люди. Хорошие, но другие. У них можно бывать. И он будет бывать у них. Но у них он никогда, наверное, не станет своим человеком. У них даже за столом нужно вести себя не как у всех.

Неужели все-таки он принадлежит к тем, про которых говорят «не поймешь кто» и «ни то ни се»? Это плохо. А все же Тихомировым нужно дать понять, что он тоже не из простых. Поэтому Маврик решил сказать Варваре Николаевне, чтобы слышали все:

— А ведь я мещанин города Перми.

— И очень хорошо,— сказала Варвара Николаевна и, кажется, обрадовалась услышанному. А Валерий Всеволодович снова хохотал. Ему, кажется, достаточно показать палец, и он будет смеяться. Но, просмеявшись, он сказал:

— А я думаю, что ты из рода князей Барклай де Толли и не знаешь этого,— и снова улыбнулся.

Тут Маврик вспомнил, что бабушка Толлиних сказала ему однажды, что придет время и Маврик узнает, какую знаменитую фамилию носит он. И кажется, бабушка назвала слово «Барклай».

— Может быть,— ответил Маврик Валерию Всеволодовичу.— Бабушка тоже говорила что-то такое... Но мне все равно.

Шутка Валерия Всеволодовича приняла неожиданный поворот. Провожая Маврика до дома, он повторил ему совершенно серьезно, что его фамилия имеет прямое отношение к фамилии Барклая де Толли. Только он не досказал, какое именно отношение. Не договаривала об этом и пермская бабушка. Тихомиров предположил, что фамилия Маврика пошла от прозвища крепостных, принадлежавших Барклаю де Толли,— Толлины. Толлины мужики. Толлины крестьяне. И эту неожиданно пришедшую в голову версию Валерий Всеволодович, не пройдя

и ста шагов, провожая Маврика, стал считать абсолютной и неоспоримой. По принадлежности тем или иным господам возникали многие крестьянские фамилии. Например, в Прикамье уйма крестьянских фамилий Строгановы. Эту версию он считал безусловной и потому, что фамилия Маврика с двумя буквами «эл» не могла быть фамилией русского происхождения, тогда бы она звучала просто Толин, а не Толлин.

Вернувшись домой, Маврик стал расспрашивать про князя Барклая де Толли. Екатерина Матвеевна долго вспоминала, где она слышала это имя. И вспомнила только вечером. А вспомнив, нашла потрепанную книжку, которая называлась «1812 год». В книжке был портрет Барклая де Толли.

Может быть, Маврику стоит подумать еще, кем ему быть, когда он подрастет. Стать фельдмаршалом и скакать на коне вовсе не так плохо. Конечно, это опасно. Могут убить, и тетю Катю некому будет поить и кормить, но ведь Лере-то будет очень приятно, когда она узнает, что Маврик решил стать полководцем.

Но это пока нетвердо. А сейчас нужно спать.

Во сне прилетала милая, желтогрудая, с белыми щечками птичка. Это большая синица. Здесь ее ласково называют кузей... кузькой... кузнецом.

Кузя сел на спинку кровати, отряхнулся и спросил голосом Ильюши Киршбаума:

— И когда только ты перестанешь забивать себе голову всякой чепухой? И вообще, лучше бы ты не ходил к Тихомировым.

Но это теперь уже невозможно. И не потому, что первая детская привязанность к Лере будет манить его к Тихомировым. Каждый из них по-своему интересен и приятен.

VI

Не так много знал о Тихомировых Маврик. Несколько больше знали о них взрослые люди, но знали скорее по догадкам. Тихомировы не выносили на люди того, что касалось только их. Даже внутри семьи не было принято посвящать одного в дела, не имеющие отношения к другому. Это бабушкина школа.

Бабушка, Варвара Николаевна, отдав дань исканиям путей к счастью народа, перечитала все доступ-

ное ей от утопистов до революционных демократов, решила для себя, что высокие общественные основы начинаются с высоких нравственных начал человека. Насаждать благородное, воспитывать в человеке хорошее и есть главнейшая из целей переустройства общества.

Наивная убежденность бабушки переделать мир только проповедями и личным примером служения добру не вызывала возражения окружающих, но и не стяжала поклонников. Варвару Николаевну безоговорочно любили такой, какая она есть. Любили внуки, любили дети, обожал муж.

Всеволод Владимирович Тихомиров в свое время сочувствовал ранним народникам. Жизнь на Омутихинской мельнице, приносящей только убытки, можно назвать своеобразными народническими попытками общения с народом.

Однако Всеволоду Владимировичу очень скоро стала ясна несостоятельность народнических иллюзий. И он, став на путь либерала-одиночки, либерала-просветителя, решил для себя, что знания, образованность изнутри взорвут общественные противоречия и, естественно, изменят жизнь. А как именно, он тоже не представлял, как и Терентий Николаевич Лосев.

Эти два несоизмеримых по знаниям человека, находясь на несравнимых уровнях, все же были похожи друг на друга, как похожи два подобных треугольника, если даже один из них грандиозен, а второй очень мал.

Старик Тихомиров принадлежал к тем военным, для которых профессия была случайной, много знал и очень много читал. Например, главные труды Маркса и Энгельса, как, впрочем, Канта и Гегеля, им были прочитаны в оригинале. Для него немецкий был вторым языком. Он восхищался Марксом, преклонялся перед Энгельсом, и тем не менее написанное ими было для него лишь одной из тех точек зрения, которая может и восторжествовать, но, конечно, не в России, а там, где уже не едят из общей чашки, не моются в курных банях и не кичатся лаптями, предпочитая их кожаной обуви. Всеволод Владимирович любил Россию и русский народ, но не верил, не мог поверить, как бы этого ни хотел, что его страна выйдет в первый ряд. В это не мог верить не один он, но многие, очень многие хорошие и по-своему передовые люди, верные сыны своей бесконечно дорогой отчизны.

Дети Тихомировых, воспитанные в духе неприязни к самодержавию, нашли свои способы борьбы с ним. Старший, Владимир, отец Леры и ее братьев, оказавшись народовольцем, был приговорен к каторге. Убедившись, что каторги, пропал без вести.

Неизвестно, каким путем пошел бы второй сын, Валерий, если бы не счастливая встреча с механиком по дизелям. Студента Тихомирова поразили простота и ясность суждений нового знакомого о вещах сложных и явлениях, казавшихся неразрешимыми. Знакомство с механиком продолжилось дружбой. Они сблизились настолько, что Валерий Тихомиров получил возможность познакомиться с Владимиром Ильичем Лениным.

Совсем не таким представлял Тихомиров Владимира Ильича. Это было удивительное излучение простоты и ясности. Это был человек, заставляющий мыслить, видеть, понимать.

Прошло не так много дней, и Валерий Тихомиров решил для себя, что на свете есть и могут быть только две партии. Это партия поработенных и партия поработителей. А остальные, как бы они ни назывались и какими бы они ни притворялись, не имеют самостоятельного значения. Они либо сопутствуют, либо прислуживают.

Для Тихомирова стало так бесспорно, так ясно, что партия поработенных, партия большевиков, партия Ленина не просто союз единомышленников, а рожденный самой жизнью авангард нового общества. Нового общества, также не придуманного кем-то, а такого же неизбежного, какими были феодализм, капитализм...

Теперь марксизм для Тихомирова предстал наукой о законах развития общества. Быть марксистом, состоять в одной партии с Владимиром Ильичем — это значит помогать рождению нового общественного строя, готовить людей к встрече большой весны, ускорять ее приход. Большевик — это не искатель, а проводник найденного, открытого, увиденного в грядущем.

Стоит ли ради этого жить, а если понадобится, то и отдать жизнь? Для Тихомирова на этот вопрос один ответ. И он отвечает, став не только большевиком, но и профессиональным революционером, таким же, как и его друг, механик по дизелям, которого мы уже знаем как сапожника Ивана Макаровича Бархатова.

Если бы знал об этом пристав Вишневецкий. Какой бы чин, какую бы медаль-размедаль получил он! Поду-

мать только, сапожник и генеральский сын, столбовой дворянин. Такие разные, такие далекие друг от друга люди, как благостный, бородатый, пузатый старик Матушкин, заядлый рыболов Артемий Кулемин, предприимчивый штемпельщик Киршбаум, такая тихая и такая жалостливая Варвара Емельяновна, стремящаяся вылечить и безнадежный зуб, работают вместе с Тихомировым и Бархатовым в глубоком подполье, представляя собою пусть малое зерно пока еще немногочисленной партии, которая вскоре поведет за собой миллионы тружеников.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Первая глава

I

Пятнадцатого августа кончилось школьное лето. В земском складе — бойкая торговля учебниками, сумками, ручками, карандашами, школьной бумагой, из которой ученики сами шивают тетради — это дешевле.

Маврик тоже готовится к учебному году. У него хороший ранец, а в ранце — книги, пенал, коробка для завтрака, бутылочка для молока. Там же и электрический фонарик, подаренный папой в Перми. А вдруг пригодится фонарик. Его можно показать мальчикам во втором классе. Интересно же им, как горит маленькая электрическая лампочка.

В первый школьный день Маврик встал рано. Поминутно смотрел на часы, чтобы не опоздать. Ждал Санчика — он идет в первый класс и уже знает все буквы и немножко читает по складам. В ненастные дни Маврик был его учителем.

На улицах Мильвы ватаги школьников. Им тоже еще рано в школу, и у них есть время поколотить ребят из соседней школы на Купеческой улице или быть побитыми «купчатами».

Чинно проходят по улице ученики в фуражках городского училища со значками «ГУ», их дразнят «гуся украл». Их недолюбливают сверстники, у которых после трех классов начальной школы кончилось образование. А эти «гуся» будут учиться еще четыре года и выучатся на табельщиков, чертежников, конторщиков, разметчиков. Хоть и не выйдут в господа, а все-таки не свой брат, не мастеровая молодежь.

Маврику хочется пройти мимо женской гимназии. Ему может встретиться Лера. Она гимназистка первого класса, и неплохо с ней поздороваться и показать, какой у него ранец.

— Давай, Санчик, пойдем в школу через Купеческую улицу,— предлагает Маврик.

— Давай,— как всегда, отвечает согласный на все Санчик.

И они идут.

На Санчике старая Маврикова курточка. Он в сапогах. И большинству мильвенских школьников покупают сапоги. Не по ноге. С запасом. Чтобы хватило «на всю школу», то есть на все три года обучения.

Толе Краснобаеву тоже купили новые сапоги. Он их начистил ваксой. Здорово блестят.

Санчик и Маврик шли медленно. Лера не встретилась. Решили вернуться. Потом снова вернуться. И наконец Санчик сказал:

— Вон она. Я отбегу...

Лера шла в синем форменном платье, в белом фартуке, с белым бантом в косе и несла большой букет цветов.

— Здравствуй, Маврик. Какой ты нарядный.

Лера одобрительно отозвалась о его синем бархатном костюме, расправила под ремнями ранца белый воротник и преподнесла из букета, а потом продела в петлицу куртки большую садовую ромашку и приветливо сказала:

— А эту вторую твоему товарищу, который почему-то стесняется.

— Спасибо, Лера... А я нарочно пошел по этой улице, чтобы увидеть... Чтобы посмотреть,— слегка заикнулся Маврик,— как идут гимназистки в гимназию. Добро пожаловать! — сказал он ей, не зная, что говорят в таких случаях, и убежал.

Санчик и Маврик появились у ворот своей школы. Ворота еще не открылись, а возле них уже гудел рой ребят. Знакомых оказалось мало.

— Здравствуйте! — поклонился всем Маврик.— Я тоже буду учиться в этой школе.

В ответ раздался хохот. Затем для первого знакомства была выдернута из петлицы ромашка, подаренная Лерой, а затем получен первый синяк. За что? Что сделал он?

— Отдайте! — крикнул Маврик.

— Отдайте,— повторил подоспевший Толя Краснобаев.

Этого было вполне достаточно, чтобы начать потасовку.

— Задаешься? — спросили Толю.— Значит, тоже хочешь? Получай.

И Толя получил хороший тумак, затем второй, третий, а когда он дал сдачи, его свалили с ног и били сумками. Маврик лежал ничком в крапиве, его белый воротник был вымазан чернилами. Чернила школьники приносили с собой в пузырьчках, привязанных на веревочках к поясу.

Тут подоспел на помощь брату Сеня. При виде сильного, коренастого третьеклассника драчуны бросились врассыпную.

— Погодите,— сказал Толя, вытирая кровь, сочащуюся из разбитого носа.— Узнаете, как ни за что бить.

Открылась калитка. Гурьба школьников, сбивая один другого, кинулась на школьный двор. Маленький тесный дворик едва уместил сто с лишним школьников трех классов кладбищенской церковноприходской школы.

Потом открылись двери школы. Снова давка. Школьники разбрелись по своим классам. Первоклассники еще не знали, кому с кем сидеть.

Ученик второго класса Маврикий Толлин вошел последним. Он тоже не знал, куда ему сесть. Измазанный, с синяками на лице, в обрызганном чернилами кружевном воротнике, держа в руках ранец, ремни которого были оторваны, он стал возле печи.

Вошла учительница Манефа Мокеевна. Полная. Приземистая. Стареющая, с сердитым лицом.

Все встали. И она, не сказав школьникам «здравствуйте, дети» или просто «здравствуйте», как это делали все учителя в школе Ломовой, обратилась к Маврику:

— Ну что ты стоишь, как казанская сирота?

Класс громко и пронзительно захохотал. Класс хотел прозвища Маврику, и оно нашлось. «Казанская сирота». Ха-ха! В самый раз.

— Я не знаю, куда мне можно сесть,— поклонился Маврик и добавил еще раз, поклонившись: — Здравствуйте, Манефа Мокеевна.— Ее имя он знал еще летом. И знал, что она злая, потому что ее никто не взял замуж.

Это обескуражило Манефу Мокеевну. Мальчик, стоя-

щий покорно у печи, не желая, преподавал ей урок вежливости.

Манефа Мокеевна никогда не любила школы, детей и самой профессии учителя. Но нужно было что-то делать в жизни, кем-то быть. И она, сестра урядника, где-то и чему-то подучившись, стала учительницей, вымещая на детях свою злобу за неудавшуюся жизнь. Ей, может быть, и следует посочувствовать и по-человечески пожалеть ее, но все же лицам, ведающим назначением учителей, не следовало бы позволять преподавать в школе ей, позорящей святую профессию.

— Хорош, хваленый груздь,— сказала Манефа, осматривая Маврика.— Еще за парту не сел, а уж в синяках и царапинах. Где ты так измазаться успел? Кто тебя?

С задних парт Маврик увидел поднятые кулаки. В его ушах еще слышались слова: «Наябедничай только, ябеда-беда, не так причешем».

Манефа ждала, что Маврик назовет своих обидчиков и те добавят ему после школы, и она повторила:

— Кто же? Говори! Они посидят у меня без обеда.

— Никто,— ответил Маврик.— Я сам.

— Значит, трусишь говорить правду своей учительнице, Мартын Зашеин?

В классе снова раздался угодливый хохот.

— Я... я... я не Мартын и не Зашеин,— волнуясь возразил Маврик.— Я ученик второго класса Маврикий Толлин.

Теперь хохотала и сама учительница. Ее живот подпрыгивал. Она закашлялась от смеха. Бледный Маврик не знал, как вести себя далее. Но тут Манефа Мокеевна поняла, что ее поведение находится за чертой допустимого, и она, силясь улыбнуться, положила на плечо Маврику свою широкую короткопалую руку и сказала:

— Иди, я посажу тебя, кружевной ангелок, на первую парту.

II

Для первого дня, проведенного в школе, Маврику достаточно было и трех прозвищ, подсказанных учительницей: «казанская сирота», «хваленый груздь» и «кружевной ангелок». Кроме них у него появились и другие: «зашей, продай вшей», «Маврикий-зайкий», «хохлатый коротыш». Но уроки еще не кончились. Пришел кладбищенский батюшка, отец Михаил. Законоучитель.

Все встали. Молча поклонились. Потом повернулись к иконе Кирилла и Мефодия — первоучителей славянских. Толя Краснобаев прочел молитву «Царю небесный». Отец Михаил благословил рукой класс и сказал:

— Да благословен будет год нынешний, как год минувший.— Затем спросил:— Не забывали ли повторять преподанные молитвы, молились ли по утрам, перед обедом, после обеда и перед сном?

— Да-а-а,— гудел класс, отвечая на каждый вопрос.— Не забывали... Повторяли... Молились...

— Это хорошо, дети мои. Верю, а потом проверю. А теперь расскажу вам о боге.

Отец Михаил расчесал пятерней свою сивую с желтизной бороду, провел руками по голове, высморкался в красный клетчатый платок и начал:

— Бог есть дух — всемогущий, вездесущий, всезнающий...

Маврик, позабыв о своих обидах, смотрел в беззубый рот своего законоучителя и думал: зачем ему нужно понятное рассказывать непонятно? Это же самое он слышал еще в первом классе от нарядного, красивого священника в блестящей темно-лиловой рясе с бородой, как на иконе у Иисуса Христа, и с такими же большими синими глазами. Его звали отец Иннокентий, и он служил хотя только раннюю обедню, но в кафедральном соборе. От него пахло не как от этого, не вчерашними щами из старой капусты, а церковью и причащением. Маврику очень хотелось подсказать отцу Михаилу, как нужно говорить о боге, и он сказал вслух:

— Бог все знает, все видит, и от него ничего нельзя скрыть.

— Именно, отрок мой,— подтвердил законоучитель и погладил Маврика по голове.

Поощренному Маврику захотелось сказать о боге еще больше, и его голос зазвенел:

— Люди только думают, что можно обмануть бога, спрятать от него свои грехи, а как их спрячешь, когда с неба все видно и бог все помнит, все терпит, а потом, как придет конец его терпению, его милостям, он как возьмет камень да как трахнет им по голове грешника...

— Это, положим, все так,— остановил Маврика законоучитель,— но зачем трещать-то тебе, трещотка. Трещоток тоже не милует господь...

Маврик осекся, побледнел. Отец Михаил смягчил свои слова и сказал:

— На первый раз бог прощает трещоток и выскочек, но если они и впредь не будут трещать, перебивать и выскакивать.

В классе прошел шумок. Послышался шепоток: «трещотка», «выскачка».

Маврик получил еще два новых прозвища, на этот раз данные ему священником. А он не Манефа-урядничиха, а отец Михаил, который не боится и самого протоиерея, потому что у него двоюродный брат архиерей. И если бы отец Михаил не гулял на свадьбах, на похоронах и на крестинах, если бы его не уводила пьяного под ручку кладбищенская просвирня, тогда бы его сделали протоиереем. Об этом знают школьники. Им известно, что он «плюет на всех с большой колокольни» и не боится опаздывать к обедне и служить ее «на скорую руку», так что и псаломщик за ним не успевает.

Маврик страшился возненавидеть отца Михаила, но не мог заставить себя считать его порядочным человеком. Об этом, как и обо всем, что произошло сегодня в школе, он рассказал тете Кате и бабушке.

Обе они плакали. Прикладывали серебряные полтинники к синякам на лице Маврика, чтобы они скорее прошли. А потом стали советоваться, как быть дальше.

Снова выручил Терентий Николаевич. Он сказал так:

— Катенька, Катерина Матвеевна, одно из двух. Ежели вы хотите пускать парня по барчуковой стезе, тогда нанимайте ему домовую учительницу, как у господ. А ежели он будет жить, как все, тогда стригите его под первый номер, обувайте его в сапоги, наденьте на него «обнакновенную одежду», и он не будет белым голубем в стае сизарей.

Примерно так же сказал тихий и разумный сосед Артемий Кулемин. Он хотя как бунтовщик и был «приведен к медведю» после пятого года, хотя и побывал в Сибири, но вернулся оттуда неузнаваемым.

Никто не знает, что ему тоже, как и Тихомирову, посчастливилось встретить того же доброго друга. Страна огромна, да дороги не столь часты. Вот и встречаются люди. До последних дней держат связь старые друзья. Хитра почтовая цензура, но на всякую хитрость пахотятся уловки.

Артемий Гаврилович Кулемин диктует письма жене,

а она посылает их в Пермь прачке ночлежного дома Сухаревой. А Сухаревой Иван Макарович диктует письма, которые до того скучны и безрадостны, что всякий чиновник, читающий их, не доходит и до пятой строки. А Кулемин, Киршбаум и Матушкин по три, по четыре раза перечитывают их, не оставляя непонятым ни одного иносказания Бархатова о работе мильвенского подполья.

Кулемин давно признан умным и хорошим советчиком не только на своей улице, но и на заводе.

— Екатерина Матвеевна,— сказал он,— если по душам, то скажу так: Манефа-урядничиха стоит хорошей пеньковой петли. Зря она родилась, простите на слове, бабой. Ей бы в самый раз быть палачом. Порола бы с оттяжкой и с удовольствием. Конец она свой найдет. А пока что надо ладить.

— Уж не на поклон ли идти к этой...— не договорила Екатерина Матвеевна, не найдя нужного слова.

— На поклон не на поклон,— сказал Кулемин, добродушно улыбаясь, опуская свои умные серые глаза,— а кость бросить надо. Сшейте ей что-нибудь в знак благодарности...

— За что?

— За материнскую заботу о вашем племяннике... За-травит ведь,— сказал Кулемин и перевел разговор на другое.

Очень обидно было Екатерине Матвеевне идти к Манефе, но в словах и в глазах Кулемина была правда. «Надо бросить кость».

Сапоги Маврику были куплены в сапожном ряду. Скроить, сшить «обнакновенную одевку» из чертовой кожи и для медлительной Екатерины Матвеевны было делом дня. Что же касается Манефы, ей было сказано так:

— Манефа Мокеевна, вы были разборчивой невестой, и я была разборчивой невестой. Вы не захотели выходить замуж, и я не захотела. Вам трудно живется, и мне нелегко.

И неожиданно для Екатерины Матвеевны Манефа прослезилась.

— Не хотела я обижать вашего мальчика,— вдруг перешла она сразу к делу, поняв, зачем пришла к ней эта степенная, всеми уважаемая Екатерина Зашейна,— да сатана во мне верх берет.

— Это и со мной случается,— покривила душой Екатерина Матвеевна.— Не надо поддаваться ему, Манефа Мокеевна. Не надо, ну да не мне вас учить...

Екатерина Матвеевна без обиняков стала говорить о плохом осеннем пальто Манефы, о малом жаловании в церковноприходских школах и о том, что Маврик неусидчив и плохо пишет, что ему нужно терпеливо внушить, как важно научиться выводить буквы. А так как научить этому Маврика нелегко, поэтому Екатерина Матвеевна решила сшить терпеливейшей из терпеливых учительниц Манефе Мокеевне модное и солидное пальто, сукно которого давно уже куплено.

— Я стеснялась предложить это вам, Манефа Мокеевна, летом... Я не знала, какая вы простая и сердечная женщина... А теперь я вижу...

— И я ведь не знала, какая вы, Катенька,— сказала Манефа, проверяя по лицу Зашеиной, не оскорбляет ли ее употребление слова «Катенька» вместо полного имени с отчеством.

Но Екатерина Матвеевна постаралась не обратить внимания на укорочение имени. Для Маврика она готова была поступиться и не этим.

Был рассмотрен фасон, затем снята мерка и...

III

И положение Маврика в школе круто переменялось. Урядничиха не обладала и малой долей такта. Она велела классу встать, а затем объявила, указывая на Маврика:

— Кто это? Это внук Матвея Романовича Зашеина, которого знают и помнят ваши отцы и ваши деды за его добрые дела. И если кто-то из вас тронет хоть пальцем, или не нарочно толкнет, или обзовет его разными словами, потом пусть пеняет на себя. Сядьте. А ты, Байкалов, выйди к доске и повтори.

Манефа Мокеевна, взяв за плечо Байкалова, помогла ему выйти из-за парты. Помогла так, что драчливый ученик готов был взвыть от боли. Короткие сильные пальцы Манефы могли бы, сжавшись, покалечить плечо Байкалова. Но нажим был в половину силы. Хотя и этого было достаточно, чтобы Байкалов понял, что его может ожидать, если он снова посмеет ударить Толлина.

— Повтори, что я сказала, Байкалов!

И Байкалов стал повторять:

— Кто это? Это внук Матвея Романовича Зашеина, которого... которого...

— Которого знают и помнят,— властно подсказала Манефа,— ваши отцы и ваши деды...

Байкалов повторял подсказываемое. И только после того, как он заучил из слова в слово предупреждение учительницы, ему было позволено сесть за парту.

— А сейчас выньте тетрадки и пишите то, что я вам велю.

Началась диктовка. Байкалов не мог поднять руки.

— Сохнет, что ли, рука Байкалов? Или боится писать?

— Не знаю,— ответил Байкалов.

— Ну, коли не знаешь, возьми книжки, пойдй домой и спроси у отца, что случилось с твоей рукой. Завтра тоже не приходи! Марш! А вы пишете... «Осень...» Знак восклицания... «Осыпается... весь... наш... бедный...» Слово «бедный» пишется через букву «ять»... «весь... наш... бедный... сад». Точка.

Байкалов покинул притихший класс. Было слышно, как скрипели перья. Маврик, стриженный наголо, в шагреновых сапогах, в топорщащейся новой «одежке» из чертовой кожи, писал с трудом, пропуская буквы. Перо не слушалось. Руки дрожали. Ему стыдно было поднять глаза.

Что теперь будет с ним? Что будет теперь?

А было плохо. Совсем плохо.

Маврика никто больше не трогал. Но никто и не разговаривал с ним. Ему уступали дорогу. Подчеркнуто сторонились, чтобы «случаем» не задеть, не толкнуть его.

«Уж лучше бы били,— думал он.— Уж лучше бы и она давала новые прозвища, чем так защищать».

Маврик страшился, что так будет всегда, но этого не случилось. И самые драчливые, самые злопамятные ребята разглядели Маврика, и прозвища «трещотка», «болтушка», а потом и «Маврикий-врикий», оставаясь справедливыми, перестали звучать оскорбительно, а вскоре забылись, хотя Маврик по-прежнему болтал, трещал и врал. Но как «врал»... Даже Митька Байкалов как-то сказал:

— Соври еще раз, пожалуйста, про что-нибудь.— И в слове «соври» не чувствовалось обидного. «Соврать» для Митьки Байкалова в данном случае означало — «придумать», «сочинить».

Для Маврика ничего не стоило рассказать, как одна плохая телеграмма шла по проволоке и заблудилась, потому что было темно, а проволок на столбах было очень много, поэтому плохая телеграмма не дошла, куда она была послана, и сыщики не сумели поймать разбойника, который был не разбойник, а молодой капитан парохода, нарядившийся разбойником, чтобы спасти свою невесту Валерию, украденную кровожадным купцом Кашеевым.

Серьезный мальчик Коля Сперанский и тот стал приглашать к себе Маврика, чтобы послушать его неистощимое «вранье». И сила этого «вранья» оказывалась такой, что на тесном школьном дворе под моросящим дождиком оставалась чуть ли не половина класса, чтобы послушать, почему чирик не улетел в теплые края, или о волшебном карандаше, который оказался в руках одного мальчика, и мальчик не знал, что это волшебный карандаш и что все написанное и нарисованное этим карандашом «случается взаправду».

Тетка, две бабушки, и особенно пермская бабушка Толлиниха, да и дед Матвей Романович порассказали достаточно сказок, былей-небылей, страшных и счастливых историй, чтобы развить воображение Маврика. И теперь он иногда пересказывал, видоизменяя слышанное, однако же способность выдумывать была столь очевидна, что и злая Манефа находила в Толлине «сочинительный дар».

IV

Из Перми пришла телеграмма, и Екатерина Матвеевна сказала:

— Завтра, Мавруша, они приедут.

Маврик радовался предстоящей встрече с матерью. Радовался и опасался:

— А где я теперь, тетя Катя, буду жить?

Этот вопрос давно беспокоил Маврика, и было видно, что мальчик спросил не просто так и не между прочим. Он знал, что для папы и мамы прибран нижний этаж. Там теперь очень чисто. Стены оклеены «веселенькими обоями из не очень дешевых», поставлена мебель. Столы, стулья, шкафы, большая кровать. Кровать Маврика осталась наверху. Екатерина Матвеевна и сама не знала, где будет жить Маврик, и уклончиво ответила:

— И тут и там...

«Лучше бы тут, а не там»,— сказал про себя Маврик и не стал больше спрашивать, понимая, что сын должен жить с матерью, но все же на всякий случай заметил:

— Лучше бы не стеснять маму... Она же будет болеть после маленького.

Екатерина Матвеевна покраснела, но сделала вид, что не расслышала этих слов. Улица, семьи, в которых бывал Маврик, простота нравов во многое посвятили Маврика. Его уже поздно было переубеждать. Да и незачем. Поняла это и мать Маврика при встрече с ним. Он робко подошел к ней, не спуская глаз с ее большого живота, и тихо, почти шепотом, сказал, целуя ее:

— Здравствуй, мамочка... Ты сядь, тебе трудно стоять,— и заплакал.

Слезы потекли сами собой, а почему они потекли — Маврик не знал. Может быть, ему было обидно видеть такой мать. Может быть, его страшила боль, которую мать должна перенести. Об этом он тоже знал, не стремясь узнавать. Слышал. А может быть, у него, единственного сына своей матери, родилась ревность к неродившемуся. Не зря же, утешенный подарками, приведенными из Перми, он сказал час спустя:

— Лучше, если ты купишь девочку...

Он, употребляя слово «купишь» вместо слова «родишь», которое было у него на языке, как бы показывал матери, что он умеет «выбирать хорошие слова и не булькает, не подумавши, первое, что приходит в голову, как это делает Митяиха». Умению выбирать слова учила его тетя Катя, и старания не пропали даром.

Свидание с матерью было недолгим. Умудренная житейским опытом, бабушка мягко, но приказательно сказала дочери:

— Внуку надо переехать к старшей тетке на Песчаную. И ему там будет лучше, и тебе, Любовь, легче выздороветь.

Смышленому мальчишке вполне достаточно было этих слов. Оказаться у тети Лары, проводить время с Ильюшей в штемпельной мастерской, помогать солить капусту, есть хрустящие кочерыжки, спать на новом месте... Да мало ли радостей сулит длительное гощение у тети Лары!

Через несколько дней Маврик узнал, что у него появилась сестричка, которую назовут Ириной в честь

деревенской бабушки из Омутихи, которую еще не знал Маврик.

Все обошлось хорошо. Мама очень скоро поправилась. Маврику показали сестру. Она, кричащая, какая-то слишком розовая, не произвела на Маврика приятного впечатления. Но ее нужно было любить, и Маврик пообещал любить ее, как только она начнет ходить.

Маврик снова жил с тетей Катей на втором этаже. Тетя Катя рассудила очень разумно:

— Ириночка будет будить ночью Маврика... Да и тебе, Любочка, удобнее без него. Не где-то же он, а в одном доме.

Лучшего Маврик и не хотел, но иначе рассуждал его отчим:

— Дорогая Екатерина Матвеевна, я очень ценю вашу заботу о нас, но пользоваться бесплатно вашей квартирой не позволяет мне совесть. Квартира дает вам обеспечение. А платить за нее столько, сколько она стоит, я не в состоянии.

— Герасим Петрович, да что вы, да бог с вами,— принялась уговаривать Екатерина Матвеевна.

Но это было напрасно. Самолюбивый Непрелов, привыкший жить только на заработанное им, знающий цену деньгам, не захотел прожить в наследственном доме Екатерины Матвеевны и одной зимы. Ему предлагалась вместе с должностью конторщика мильвенского пивного склада компании Болдыревых и квартира. Не воспользоваться этим Герасим Петрович не мог. Доверенный склада, обожавший честного, исполнительного и энергичного Непрелова, был очень плох. Открывались виды занять его место. Жена доверенного фирмы прямо сказала матери Маврика:

— Мой Иван Иванович едва ли доживет и до рождения. Смерть не перехитришь, Любочка. И ему очень хочется, чтобы твой Герасим Петрович зарекомендовал себя и чтобы Иван Иванович при жизни мог передать ему ключи и должность.

Даровая квартира от фирмы Болдырева представляла собою огромную мрачную комнату со сводчатым потолком. Здесь когда-то было питейное заведение. Сохранились еще высокие и глубокие полки, отделявшие питейный зал от кухни.

— Это та же пермская Сенная площадь,— ужасалась квартирой Екатерина Матвеевна.— Только этот

склеп и саженью дров не натопишь. Неужели, Люба, ты и Маврика потянешь за собой в такую трушобу?

Любовь Матвеевна не сказала сестре, что кроме Маврика у нее есть грудной ребенок, которому тоже нужны тепло и свет. Она знала, что к этому ребенку Екатерина безразлична. У нее только Маврик один свет в глазу, ее не рожденный ею сын.

— Что скажут другие, если я оставлю Маврикия у тебя, Катя? Каких собак повешают на меня мильвенские бабы, да и не одни бабы...

«Что скажут другие» — самые страшные и самые ненавистные слова для Маврика опять оказываются сильнее всех слов. «Что скажут другие» было сказано, когда его увозили в Пермь. И теперь эти слова уводят его из дедушкиного дома. А кто эти «другие»? Какое им дело до него с тетей Катей и бабушкой?

Плохо начиналась зима. Был только один радостный день — день рождения Маврика, когда ему исполнилось девять лет, да и этот день был последним. И он переехал в большой «склеп». Но и это еще не так страшно. Тебя Катя сказала:

— Пусть все думают, что ты живешь там, а жить будешь тут. Ночуешь ночку-другую у матери — и ко мне. А потом видно будет.

И он жил и там и тут. Но неприятности, как оказалось, «что твои грузди, не живут в одиночку». На десятом году жизни Маврик попал в историю, о которой заговорила вся Мильва.

Все началось с волшебного фонаря...

V

В школе стало известно, что у Толлина есть волшебный фонарь. И этим фонарем он ребятам со своей улицы показывает картины, а его дружок — Илька Киршбаум — читает по книжке или рассказывает о том, что показывается. А Санчик Денисов подает Маврику стекла с картинками, и получается «ух как здорово» и «до чего хорошо».

Всех ребят своего класса Маврик не мог позвать домой и показать им туманные картины. А видеть их хотелось всем. Всем трем классам. И ребята упростили Манефу Мокеевну показать картины в школе. Она согласилась. И был назначен «вечер туманных картин».

Маврик и Санчик торжественно принесли волшебный фонарь, натянули экран — простыню с красными каемками. Появился и Ильюша. Несмотря на то что это был «земский» школьник, которого полагалось отлупцевать, его встретили приветливо и даже почтительно.

— Сказка о сестрице Аленушке и о братце Иванушке, — объявил чистый голос Ильюши.

На белой простыне появилась первая картина. Аленушка ведет своего братца по лугу, на котором цветут цветы, зеленеют травы и голубеет небо.

Ребята замерли. Они, кажется, перестали дышать. Потом вырвался восторженный вздох. Затем кому-то захотелось ощупать простыню, на которой такая красочная, такая яркая картина. Теплая ли она, эта картинка... Не зальет ли красками белое полотно... Не прожжет ли, наконец, простыню яркий свет, бьющий из белой трубки с увеличительными стеклами волшебного фонаря.

Когда простыню пощупал один, понадобилось второму, третьему... И, наконец, всем... Потому что мальчики впервые видели экран и волшебный фонарь. И он был для них волшебным без преувеличений. В те годы он и не мог быть другим. Первый кинематограф «Прогресс» еще только строился в Мильве. А слово «телевизор» пока еще не произносил никто. Ни в Мильве, ни в России, нигде на земном шаре. Не было этого слова.

Когда простыню-экран все пощупали, Ильюша принялся читать дальше, а Маврик показывать картину за картиной, а Санчик исправно подавать ему один диaposитив за другим. У них было все срепетировано очень хорошо.

Школьники боялись, что скоро кончится сказка и кончится все.

Нет, потом была другая, третья... А потом Ильюша громко объявил, став перед простыней-экраном, освещенным лучом волшебного фонаря:

— А теперь мы вам покажем «Бог правду видит, да не скоро скажет», рассказ графа Льва Николаевича Толстого.

Сказав так, он сел за столик около экрана, чтобы свет падал на книжку, принялся с выражением читать рассказ, а Маврик показывать картины, подаренные ему Иваном Макаровичем.

Рассказ и картины произвели огромное впечатление даже на Манефу. Пришлось показывать дважды. Второй раз Ильюша не читал рассказ. Его знали. Смотрели только картины.

Чуть ли не весь класс проводил Маврика до дома. Проводили до дома благодарные зрители и «земского» Ильюшку Қиршбаума. Гость же. И потом, так хорошо читал.

Ничто не предвещало беды. Наоборот, в земской школе стали просить Ильюшу, чтобы он привел своего товарища Толлина и показал им картины. К Маврику пришли ходоки из земской школы. И тетя Қатя сказала:

— Конечно, конечно... Чем же хуже ребята из земской школы. Дружнее будете жить.

«Вечер туманных картин» в земской школе прошел с большим успехом. Туда школьники привели своих младших братишек и сестер. В земской школе — большой и широкий коридор. Сидели на полу. Учительницам принесли стулья. Здесь Ильюша показал себя еще лучше. Он был в своей школе. У него была слушательницей его учительница Елена Емельяновна Матушкина.

Все школьники благодарили Маврика, и Санчика, и Ильюшу. Учительница Елена Емельяновна сказала:

— Вон какой ты, оказывается, просветитель... Хорошо бы показать эти картины и в девичьей школе.

Маврик был очень рад. Там учатся девочки Краснобаевы. Но все повернулось неожиданно плохо...

Стало известно, что скончался Лев Николаевич Толстой. И все заговорили об этом. И заговорили по-разному. Одни говорили, что умер великий человек и великий писатель русской земли, а другие... Другие, например отец Михаил, говорили очень плохо.

Он собрал всех учеников церковноприходской школы в одном самом большом первом классе. Никогда такого не бывало. Никогда не видали таким и отца Михаила. От него пахло не одной лишь селедкой, но и винцом. Всклокоченная борода, потемневший сизый нос, злые глаза не предвещали ничего хорошего. Он впервые появился в классе без нагрудного креста. В первый класс пришли и стали у стен все три учительницы школы.

Отец Михаил расчесал пятерней, как он это делал всегда, свою бороду и объявил классу:

— Смертью грешника на захолустной станции кончил свои дни отлученный от церкви, втоптавший в грязь свою сословную честь граф Толстой. Забвение имени его! Смерть творениям его, писомым по наущению сатаны и приспешников ада.

Распалая себя, отец Михаил стал рассказывать о тлетворной жизни очернившего свой графский титул чернокнижного лиходея, обмакивающего свое перо в зловонный сосуд, пополняемый богоотвратным Люцифером кровью отцеубийц и повешенных цареотступников.

Не жалея хулящих слов, перемежая свою речь выражениями, вгоняющими в краску учительниц, робеющих у стены, отец Михаил обрисовал жизнь отлученного от церкви и проклятого самим богом, черту подобного графа, не постеснялся заявить, что блудница Каренина Анна была писана им с одной из потаскух, которых было великое множество в его имении, под Тулой, где на сто верст вокруг посохли деревья, померла каждая седьмая тварь и перестали гнеститься птицы, множиться звери и метать икру рыбы.

Выпитый с утра шкалик водки во многом способствовал измышлениям отца Михаила, очернявшего память великого писателя России. Источа свою злобу, законоучитель перешел к теме, имеющей отношение к данной школе:

— Находятся и в нашей приходской школе отроки, а равно и пограбляющие им наставники, которые, пребывая в тумане ослепления своего, может быть и не ведая того, туманят себе и другим головы туманными картинами... Толлин! — выкрикнул отец Михаил. — Выдь к доске и покайся!

Испуганный Маврик исполнил приказание.

— Ну что же ты молчишь, господин Толлин? Показывал мерзопакостные картины?

— Йя... йя, — начал заикаться Маврик, — я показывал хо-хо-хорошие картины. Про Аленушку, про...

— А про невинного... который якобы заточен был в темницу по лживому доносу. Мог ли ошибиться суд праведный, суд помазанника божиего царя-батюшки? Ну что же ты молчишь?

— Не знаю, — ответил Маврик. — Наверно, мог ошибиться. Мой дедушка тоже невинно сидел шесть дней.

Отец Михаил задышал чаще. Жилы на его висках падулись. Он закашлялся.

— Вот как? Невинно? Откуда тебе это знать?

— Бабушка говорит, и тетя Катя, и все. Хоть кого в Мильве спросите.

— Значит, ты не признаешь вины своей перед богом и перед сверстниками,— сказал, указывая на притихших учеников, отец Михаил.— И не каешься в том, что ты показывал богоотступническое...

— Отец Михаил,— стал защищаться Маврик,— если бы вы посмотрели и прослушали «Бог правду видит...», вы бы сами сказали, какой это хороший рассказ. Всем, всем ребятам понравились эти картины. Они почти что священные...

— На колени! — не крикнул, а заорал отец Михаил.

У Маврика начали было сгибаться колени, но в эту минуту он вспомнил, как тетя Катя внушала ему и другим: «Если ты не уважаешь себя, за что же тебя будут уважать другие». И его ноги сами собой распрямились.

— За что же, батюшка? — взмолился Маврик.— За что же, отец Михаил?

— На колени! — взревел священник и больно схватил за ухо, чтобы пригнуть к полу неслуха.

Маврик и не собирался укусить руку отца Михаила. Он это сделал помимо своей воли, так же как Мальчик укусил, хотя и не больно, руку Маврика, когда он потянул свою добрую собачонку за ухо.

Отец Михаил отдернул укушенную руку и тотчас же, размахнувшись, ударил Маврика по скуле и сбил его с ног. Упавший затрясся, заскулил по-щенячьи. Он плакал не столько от боли, сколько от обиды, от несправедливости, от беззащитности.

Кто-то всхлипнул в классе. Это был Санчик. Плач повторился в другом конце. С учительницей первого класса стало плохо. Ее вывели. Отец Михаил опешил. Он хотел было поднять Толлина. Но водка и самолюбие не позволили этого сделать. И он схватил Толлина за шиворот.

— Еретический выродок! Змееныш! — крикнул он и пнул под зад Маврика, так что тот своим лбом открыл дверь и очутился за нею.

Более ста мальчиков опустили головы.

Отец Михаил понял, что произошло непоправимое. Он попытался смягчить, объяснить, что его гнев — гнев небес, но, видя, что никто не верит этому и все против него, снова перешел на крик и проклятия, но и страх

оказался бессилён. Школьники не подымали глаз на своего законоучителя.

— Встать!

Они встали.

— Поднять морды!

Они подняли головы, но глаза их были опущены.

— Воды! — приказал отец Михаил.

Манефа принесла воду в жестяной кружке.

— Худо мне, дети мои, — схитрил отец Михаил и вышел из класса.

Занятий в этот день в церковноприходской школе не было.

VI

Ошеломленный Маврик, выплакавшись на груди школьной сторожихи, не вернулся домой на Купеческую улицу. Не пришел он и к тетке. Начались розыски. Его нашли в доме Кулеминых. Маврик боялся, что за укус руки священника его не простят ни мать, ни тетя Катя, ни бабушка. А все оказалось совсем не так.

Екатерина Матвеевна, осыпая поцелуями найденного племянника, орошая его слезами, называла кладбищенского попа неслыханными до этого Мавриком словами.

— Я доберусь до этого упыря с Мертвой горы. Я выведу на чистую воду этого дударинского демона. Будет он у меня старым расстригой Мишкой. Не примет земля его подлые кости. Станет он ползать после своей окаянной смерти безглазым могильным змеем, изъеденным вечной паршой и бородавками.

Такой тети Кати никогда не видел племянник. Не узнавали ее и Кулемины. Всегда строгая, расчетливая в словах, она готова была осуществить свои угрозы: выдрать до волоска сивую гриву кладбищенского попа, вытащить его из алтаря за грязные полы богохульственной рясы и всенародно назвать его тем, кто он есть.

— И его не защитит никакой суд, — говорила она. — Ни мирской, ни духовный. Тишка Дударин — живое доказательство незамолимого греха распутного попа, вогнавшего свою жену в могилу.

Разволновавшись, Екатерина Матвеевна с трудом сдерживала себя. Ей хотелось, чтобы племянника осмотрел доктор Комаров, что было важно во всех отношениях.

— Прошу вас, Артемий Гаврилович,— сказала Екатерина Матвеевна.— Пусть ваш Никиша пригласит доктора Комарова и расскажет ему, что произошло сегодня в школе.

Доктор Комаров приехал в тот же вечер. Потрясенный случившимся, он, почитатель Толстого, поставивший силами миловенского общества любителей драматического искусства пьесу Льва Николаевича «Плоды просвещения» и замышляющий поставить «Власть тьмы», готов был, еще едучи к Зашенным, преувеличить увечье мальчика вплоть до того, чтобы положить его в заводской госпиталь.

Осмотрев Маврика, Комаров нашел повреждение хрящей правого уха и, ощупывая скулу, хотел найти, но не нашел раздробленные кости.

— Я не могу определить всего в домашних условиях,— сказал он.— Это я сделаю завтра в приемном покое.

Маврику были прописаны обезболивающая мазь и покой. Уходя, доктор сказал, что сегодня же фельдшерница забинтует ему голову, а завтра он придет за пострадавшим свою лошадь. От платы за визит Комаров категорически отказался:

— Что вы, что вы, уважаемая... За этот удар расплатятся другие, и, уверяю вас, дорогая моя, это им будет дорого стоить. Очень дорого,— повторил он, уходя.

Маврик счастливый вниманием к нему, с удовольствием выслушивал соболезнования соседей, родных и школьников, навестивших его в этот вечер. А утром была подана лошадь, и он, забинтованный, ехал медленно с тетей Катей через всю Мильву в приемный покой заводской больницы. И все останавливались, разводили руками, а некоторые даже крестились.

Еще вчера, не зная того, Маврик стал героем Мильвы.

Более ста мальчиков рассказали о том, что было в школе, более чем в ста семьях. Этого было вполне достаточно, чтобы знали все двести-триста семей, а затем и все семьи о необыкновенном событии.

В Мильве не выходила газета, и молва заменяла ее. Заменяла, приукрашивая, добавляя, расцветчивая. Кладбищенского попа не любили и без того. И если до этого говорили приглушенно о его пьянстве, разгуле и всего лишь намекали на его связь с просвирней Дудариной,

то теперь об этом рассказывали у каждого уличного колодца.

Осложнял дело и дурачок Тишенька Дударин. Этот «божий человек» бегал по улицам Мильвы босым и в морозы. Бегал и бормотал или выкрикивал «пророческие слова». Теперь его «пророчества» откровенно лгали. Он поносил безвинного зашеинского внука, называя его «учеником дьявола», что явно противоречило здравому смыслу даже самых темных верующих старух.

«Блаженный» впервые получил оплеуху от неизвестного. А в окно отца Михаила был брошен горшок с нечистотами. Горшок выбил стекла двойных рам и разбился, ударившись об изразцовую печь, обрызгав дорогие обои и «озловонив чертог иерея», как писал в жалобе приставу Вишневецкому отец Михаил.

Но пристав не только не учинил розыска, но и посоветовал отцу Михаилу «не дразнить гусей» и отсидеться дома. Вишневецкий понимал, как может обернуться «школьное происшествие», и для предосторожности поставил переодетого полицейского к поповскому дому. Сегодня горшок с нечистотами, а завтра «красный петух». Спалют отца Михаила, и концы в воду. Бывало и такое в тихой Мильве.

На всякий случай, в целях возможных запросов из губернии, было заведено дело, названное «Неблаговидное происшествие в школе кладбищенского прихода Мильвенского завода». Дело начиналось с показания Манефы Мокеевны, не обелявшей законоучителя, продолжалось донесениями полицейских агентов по тайному надзору. Сюда же было подшито заявление отца Михаила о горшке с нечистотами.

Маленькое дело, заведенное «на всякий случай» и «для предосторожности», росло с каждым днем. К нему были присоединены письма известных и неизвестных лиц, посланные в газеты и перехваченные почтой. Известные и неизвестные лица требовали мирского и духовного правосудия над попом, порочащим великую православную церковь. О Толстом не говорилось ни слова, хотя так недвусмысленно во имя защиты его памяти писались эти письма известными и неизвестными лицами, якобы защищающими и оберегающими религию от «растленных пастырей».

Пристав понимал, что всех писем не перехватить почте. Какие-то из них могут быть посланы и не из

Мильвы. Особенно опасался он юридически образованного Валерия Тихомирова. Поэтому дело «о неблагоприятном происшествии...» велось с особой тщательностью. Пристав должен знать все. И если что — «Не извольте беспокоиться. Все до последней бумажечки подшито и пронумеровано».

Матушкин собрал своих, чтобы обсудить, как воспользоваться для пропаганды случаем в церковноприходской школе. Валерий Всеволодович должен был информировать об этом партийную печать и подготовить заметки для легальных либеральных газет, на страницах которых прозвучит сенсацией избиение законоучителем ребенка.

Тихомирову также было поручено встретиться с протоиереем Калужниковым и попросить его о невозможном. Об извинении кладбищенского попа перед оскорбленными школьниками и, конечно, перед Маврикием Толлиным.

— Подобное извинение не подобает священнослужителю, — заявил протоиерей Тихомиров. — Это унижительно.

Ожидавший примерно такого ответа, Валерий Всеволодович сказал:

— Сожалею и опасаясь — не пришлось бы вместо отца Михаила отцу протоиерею приносить более широкое раскаяние с соборного амвона. Госпожа Зашеина сильнее, чем вы думаете. За нею общественное мнение. Тысячи людей. А за вами? — спросил Тихомиров, вставая и раскланиваясь. — Имею честь. Я выполнил свой долг. Предупредил.

Встревоженный Калужников остался сам не свой. Он знал, что в Мильве теперь будет известно всем о посещении Тихомирова и об отказе протоиерея признать виновность кладбищенского попа и заставить его повиниться. Протоиерей не ошибся. Его презирали не только в рабочих семьях, но и в близких ему домах, где он бывал запросто.

Разговоры разговорами, пересуды пересудами — произошло нечто худшее для священнослужителя. Воскресную позднюю обедню в соборе обычно служил сам протоиерей. Торжественность службы, отличный звонкоголосый хор, показ невест, парад холостяков, возможность блеснуть обновкой, обменяться взглядами, наконец, замолить грехи, накопленные за неделю, и просто желание

поглазеть собирали немало народу. А на этот раз дьякон произнес вступительные слова литургии в полупустом храме.

Отец протоиерей, облаченный в нарядную ризу, сразу понял, в чем дело. Все же он надеялся, что к середине службы подойдут обычно запаздывающие господа. Этого не случилось. Наоборот, стали уходить некоторые из тех, кто пришел, хотя никто их не уговаривал покинуть храм и вообще этот своеобразный бойкот воскресной обедни не был организован. Люди стихийно, не сговариваясь, пришли к одному и тому же выводу: «Коли протопоп таков, так не пойду, и все».

В этих словах или в других выражался протест, но церковь была пуста. Отец протоиерей, бледный, с трясущейся бородой, наскоро дослуживал обедню. Хор необыкновенно громко и как-то жутковато громко звучал в безлюдном храме.

Тихомиров и сам не предполагал, как скажется его посещение протоиерея. Этого никто не ожидал.

Артемий Кулемин, рассказывая об этом Екатерине Матвеевне, вселял в нее силы и уверенность:

— Вы не одна, Екатерина Матвеевна.

И этому верила Екатерина Матвеевна. Она знала, что сказанное Кулеминым — это чистая правда. Все сочувствовали ей, встречая ее. Все желали расплаты с кладбищенским иродом.

— Не позволяйте смягчаться обиде в своем сердце, Екатерина Матвеевна, — сказал Емельян Матушкин, встретив ее на базаре. — Он достоин отмщения. И каким бы это отмщение ни было, его признают правильным.

Екатерина Матвеевна и без того боялась смягчения сердца, поэтому решила действовать безотлагательно.

Отчим Маврика хотя и находил поведение отца Михаила непристойным, все же искал смягчающие вину обстоятельства, считая, что заживут синяки и обиды. Герасим Петрович боялся, что скандал, который может поднять Екатерина Матвеевна, падет тенью и на него, поскольку Маврик им усыновлен, станет известен хозяину фирмы, и тогда прощай место доверенного пивного склада. Кто знает, как посмотрит господин Болдырев. А Екатерине Матвеевне нет ни до кого дела, когда речь идет о защите справедливости. И что бы ни грозило ей, она скажет правду во всеуслышание.

Отец Михаил не выходил из дому три дня. Сказался больным. Екатерина Матвеевна ежедневно появлялась в кладбищенской церкви, чтобы объясниться с попом. Но служил другой священник, из собора. Откладывать встречу не хотелось. Екатерина Матвеевна боялась, что пройдет неделя-другая и все забудется, да и она порастеряет припасенные и продуманные слова.

— Пойду к нему домой,— сказала она и пригласила с собой соседку Краснобаеву и мать Санчика.

Отец Михаил, ничего не зная, сидел дома без подрысника, в полосатых штанах, в сатиновой рубаше, в меховых котлах на босу ногу и покуривал трубку, ожидая возвращения просвирни Дударинной, посланной за псаломщиком и церковным старостой, опасавшимися появляться в поповском доме. Теперь, после горшка, после оплеухи, полученной «блаженным» Тишенькой, можно было ожидать и не такое.

И когда отец Михаил услышал на кухне голос просвирни «проходите, проходите», он решил, что это пришли избегавшие его псаломщик и староста, которых следовало проучить за вероломство и трусость.

Несдержанный на слова, начал он еще у себя в комнате громкое и сложное ругательство, которому позавидовал бы и камский грузчик, закончил брань, появляясь на кухне в чем был. То есть в полосатых штанах, в котлах на босу ногу и с трубкой в зубах.

— Аг-га... Пришли, сволочи! — крикнул он в ярости пришедшим к нему Екатерине Матвеевне, Краснобаевой и Санчиковой матери.

Женщины попятились. Екатерина Матвеевна взвизгнула и закрыла лицо руками. Ни одной из них никогда в жизни не приходилось видеть попа в штанах, да еще с трубкой в зубах. Появление священнослужителя перед прихожанами, и особенно перед прихожанками, в таком виде было делом неслыханным. Это не менее других понял отец Михаил, остолбеневший и потерявший дар речи. Зато Екатерина Матвеевна обрела его.

Отняв руки от своего лица, но не открывая глаз, она иступленно перекрестилась, затем простерла руки к небу и проникновенно начала проклятие:

— Именем бога! Именем пресвятой троицы — отца, сына и святого духа — я, непорочная дева Екатерина,

расстригаю тебя, распутный поп! Трижды анафема тебе отныне и во веки веков... Анафема!

— Анафема!.. Анафема! — повторяли громко Краснобаева и Денисова, наэкзальтированные певучим голосом и словами проклятия.

Не открывая глаз, Екатерина Матвеевна повернулась к двери. Поспешно ушли вслед за ней Краснобаева и Денисова. Около ворот их ожидали человек до двадцати сочувствующих и любопытных.

— Ну как? Ну что там он?

На Зашенной не было, что называется, лица. И все заметили это. Бледная, взволнованная, не видя никого, она прошла мимо толпившихся, не слыша их вопросов. Зато Денисова и Краснобаева рассказали все. Не забылись полосатые штаны, трубка, брань и, конечно, злополучное обращение: «Ага... Пришли, сволочи».

Одни всплескивали руками. Другие крестились и повторяли: «Анафема ему, расстриге». Для них он уже был расстрижен и лишен сана. Проклятие благочестивейшей девственницы Екатерины Зашенной от имени бога-отца, сына и святого духа, которое теперь неизбежно повторится сотнями уст, предreshит все. Неграмотные и забитые женщины знали силу слов и силу молвы.

Отец Михаил не сразу пришел в себя. Очухавшись, он бросил в просвирню Дударину подвернувшейся под руку крынкой, схватил ее за волосы и обрушил весь остальной запас брани, приготовленный для псаломщика и старосты.

— Как же ты, мокрохвостая дьяволица, не дала знать, кто пришел ко мне?..

Просвирня отбивалась как могла, она тоже не затрудняла себя выбором слов и не боялась давать волю рукам.

Их разняли подоспевшие староста и псаломщик, знавшие о происшедшем. Они подобрали с пола черепки, подмели ключья сивых и черных волос.

— Отец Михаил, да уймите же, ради Христа, свой гнев... Все перемелется,— неуверенно гундосил псаломщик.

Староста тоже искал слова, смягчающие сердца, но сказанное Зашенной звенело в ушах попа, сидящего с трясущейся бородой на лавке кухни, и просвирни, плачущей под образами в разорванной кофте.

Положим, и отец Михаил и Ангелина Дударина знали цену «анафеме», и проклятия не были страшны для них, но худая молва... Две свидетельницы, из которых одна была как-то обижена отцом Михаилом в церкви, теперь вырастали в серьезную угрозу.

Наутро добрая половина Мильвы знала о новой выходке кладбищенского попа. А еще через день появилась листовка, отпечатанная на гектографе, с заголовком, каллиграфически выведенным пером «рондо»: «Видит ли бог правду?» В листовке говорилось о бесправии детей, о глумлении над прихожанками, об изуверском разгуле черных сил, о попустительстве властей и полиции, об осквернении памяти великого сына России — бессмертного Льва Николаевича Толстого. Листовка заканчивалась призывом:

«Проснитесь, честные люди! Скажите свое слово! Да здравствует правда! Да здравствует разум!»

Листовка, отпечатанная в малом количестве, рассчитанная на таких, как доктор Комаров, не получила большой огласки.

Зато через два дня вышла другая листовка, отпечатанная типографским способом. Она была разбросана до первого свистка в устьях улиц, примыкавших к проходным завода. Листовка начиналась, как церковная проповедь:

«Ей, Господи царю, услышь правду свою!»

И далее она, переключаясь с первой, гектографической листовкой, спрашивала бога:

«Ужли ж Ты, царь царей, владыка владык, не видишь надругания служителей Твоих и допускаешь избиение чад Твоих и горение в храмах, воздвигнутых Тебе, иудинных свечей, насылаемых сребролюбивыми блудодеями, наживающимися на пресвятом имени Твоем».

В холодном поту пристав Вишневецкий вчитывался в строки перехваченных листовок.

«Кто автор? Где отпечатаны они?» И снова «кто?» и снова «где»? стучит в головах поднятой на ноги тайной и явной полиции. Он должен знать, «кто» и «где» до того, как придет запрос из губернии. А белая листовка в затейливой рамочке издевательски молитвенно, строка за строкой спрашивает:

«Ежли всякая власть от Тебя, Господи, то неужли ж и эта власть жиреющих на вере в Тебя, стяжающих

в темноте неведения Твоего, устрашающих возмездием Твоим, тоже дана Тобой, Всеблагий молчащий Господь? За что же, Господи? За непосильное труждение от зари до зари, за безропотное примирение с тяготами, штрафами и поборами? За что, Господи? За темноту душ и умов, молящихся Тебе? За редьку и квас, вкушаемые не только в посты Твои? За гнев и порабощение законом Твоим, Господи?..»

И управляющий заводом Андрей Константинович Турчаковский не мог сдержатъ волнения и отмахнуться от воскресшего призрака тысяча девятьсот пятого года. Уж он-то, образованный человек, знающий силу словесной стилистики, понимал, какое воздействие на простой народ произведет этот крик души, так понятный дремлющим, колеблющимся душам мильвенцев.

И он не ошибался. Листовка не столько читалась, сколько пересказывалась. И каждый пересказывал ее по-своему, соответственно своим взглядам и убеждениям. Листовка пересказывалась и в церквях. Правда, там замалчивали ее последние строки, ради которых писалась и печаталась листовка. А последние строки выглядели ультиматумом:

«Ей, Господи царю, не будь глух к вызывающим Тебе, отверзи уста Свои, возри на землю Твою. Смиловись, не понуждай глас народа громоподобно призвать к низвержению царствующего от имени Твоего, не дай поднять гневную руку на прислужников и палачей его, казнящих и тиранящих, обиравших и гнетущих, унижающих и темнящих во славу Твою».

И наконец, последняя строка жирным, крупным шрифтом:

«Твою ли, Господи? И — славу ли?»

— Протоиерея... Немедленно протоиерея... Лошадь за ним! — приказал лакею Андрей Константинович и отправился в соседнюю комнату, где на стене висел массивный, сделанный из орехового дерева, с двумя белыми блестящими колокольчиками и с черной изящной ручкой телефон фирмы «Эриксон». Теперь в Мильве установлено почти сорок телефонных аппаратов, и один из них — у отца протоиерея. Хотя он и является лицом, к заводу не имеющим прямого отношения, но завод имел отношение ко всем. И управляющий округом управлял не одними заводскими цехами. Это была главная власть, которой так или иначе подчинялись все.

К телефону подошла матушка и ответила Турчаковскому, что отец протоиерей находится у Зашеиных по делу отца Михаила.

— Поймите, дочь моя Екатерина Матвеевна,— разъяснял протоиерей Зашеиной,— духовные лица, как и светские лица, дома пребывают в мирском одеянии.

— Я понимаю это, отец протоиерей, и не виню его за то, что он появился в таком виде и с курительной трубкой во рту. Пусть курит. Это его грех. Но брань, оскверняющая родившую его и всякую рождавшую в том числе...— не договорила Екатерина Матвеевна, переводя глаза на икону богородицы, висевшую среди других в переднем углу большой комнаты дома Зашеиных, где был принят протоиерей,— эта брань незамолима для священника, каким он перестал быть.

— Екатерина Матвеевна, не вас же он бранил,— увещевал проникновенным голосом протоиерей Калужников.— Он бранил избегавших его псаломщика и старосту.

— Я допускаю... Я верю вашим словам, отец протоиерей... Но разве псаломщик и староста не служили церкви? И если бы они были даже арестантами или каторжниками, то и в этом случае мог ли он тогда, еще нося сан священника, произнести эти слова? Нет прощения расстриге. Нет... нет... И не уговаривайте меня. Меня нельзя уговорить.

— Екатерина Матвеевна, отца Михаила никто не расстригал, и никто не лишал его сана иерея, и притом благочинного.

— Бог расстриг его! — Екатерина Матвеевна перекрестилась.— Бог отнял его сан.

Тут протоиерей попробовал перейти в наступление.

— Мирянка Зашеина! Ты слуга божия, а не служительница его! — заговорил он приподнято.— Бог не облакал тебя, женщину, властью расторжения рукоположенного во иереи отца Михаила! Это грех, женщина, и за него может быть наложено церковное наказание.

— Господин Калужников,— Екатерина Матвеевна поднялась,— вы гость в моем доме и сказались другом этого дома, войдя в него. Бог не женщину облакал своей властью, а девственницу, не знавшую, в отличие

от рукоположенных, плотского греха. Это — первое. А второе — не я, а всевышний моими устами предал анафеме распутного попа-двоеженца, прижившего при живой благочестивой матушке Евгении Константиновне умопомраченного сына. И третье, и самое последнее... — Тут Екатерина Матвеевна повернулась лицом к иконам и снова перекрестилась. — Разрази меня господь, если лгу, что ты вложил в уста мои анафему предавшему тебя попу Мишке с Мертвой горы. Покарай меня смертью без святого причастия, если я не твоим именем, бог-отец, бог-сын, бог — дух святой, расстригла распутника, торгаша, пьяницу, избивающего младенцев.

Протоиерей Калужников видел на своем веку фанатический экстаз моления, он знал разрывающих на себе одежды кающихся женщин, ему ведомы были леденящие кровь моления «общающихся с богом праведниц». Сейчас он увидел большее. Он чувствовал себя маленьким седеньким старичком, чем-то похожим на домового, рядом с этой святой своим человеческим величием.

Отца протоиерея зазнобило.

— Четвертого не назову, — сказала повернувшись, Екатерина Матвеевна, — но если кладбищенский расстрига хотя бы одной ногой ступит на церковный амвон или того хуже — посмеет войти в алтарь, бог вложит в мою руку перо и перу даст слова, которые будут прочитаны в Санкт-Петербурге. Будут!

Калужников понимал, что это говорилось не для красного словца. Он знал, что юридически образованнейший Валерий Всеволодович, волшебник слова, предлагая защиту Маврика, изъявлял желание написать прошение в Петербург. И Екатерина Матвеевна могла прибегнуть к этому. Не зная, как вести себя далее, протоиерей услышал спасительные слова:

— От его превосходительства за отцом протопопом.

Это говорил в кухне за тесовой перегородкой кучер Турчаковского.

— Я здесь, Аким, я сейчас, — отозвался Калужников и хотел было, прощаясь, благословить, как всегда, Зашеину и дать ей поцеловать руку, но Екатерина Матвеевна постаралась не заметить этого.

— Бог вас простит, отец протоиерей. Молитесь. И не защищайте впредь низложенных богохульников. Поклон матушке Любви Захарьевне... Маврик, где ты? — на-

правились в другую комнату Зашеина, не желая проводить до дверей протоиерея.

Его трясло в управительской карете.

IX

Управляющий принимал протоиерея в домашнем кабинете, оклеенном золотыми тисненными обоями. Терпеливо выслушав рассказ возмущенного Калужникова о посещении Зашеиной, Турчаковский спросил:

— И к каким же выводам пришли вы, отче?

— Вывод один — привести к покорности возгордившуюся и непомерно возомнившую о себе Зашеину.

— А каким способом, премудрейший отче? — с игровой иронией спросил Турчаковский.

— У церкви много способов, Андрей Константинович. Проповедь. Принуждение к покаянию. Увещевание и, наконец, угроза наложения епитимьи, а то и отлучения...

— Уг-гуу! — пробасил, откашлявшись, управляющий. — А не угодно ли отцу-отлучителю, милостивейшему увещевателю прочесть сию социал-демоническую энциклику некоего проповедника, «глаголом жгущего сердца», а потом уже избрать способ принуждения к покаянию непорочной дочери «спасителя» Мильвенского завода Матвея Родионовича Зашеина, пожалованного медалью и кафтаном его величества. Читайте, отче!

Турчаковский положил перед протоиереем листовку и принялся расхаживать по ковру кабинета, позванивая маленькими шпорами, привинченными к каблукам его тупоносых башмаков.

— Читайте, читайте! — повторил управляющий. — Вникайте в слог, в искусство словосочетания незаурядного риторика, натеревшего открывать сердца куда более успешно, нежели приставленные к этому бесчинствующие благочинные.

Дзинь, дзинь, дзинь — малиново позвякивали серебряные шпоры. Ходит из угла в угол в расстегнутом мундире, с заложенными за спину руками начавший сесть и грузнеть, но все еще энергичный управляющий Мильвенскими заводами. Их теперь шесть. Они процветают под началом заботливого управляющего округом его высокопревосходительства и кавалера орденов Турчанино-Турчаковского, лично принятого и обласканного всемилостивейшим государем императором Николаем Александровичем. :

По ковру ходил, позвякивая стальными колесиками шпор, сановник отечественной промышленности, получивший право непосредственного обращения на высочайшее имя. И в этом заводском округе не было лица выше его.

Руки протоиерея Калужникова, дочитывавшего второй раз листовку, тряслись. Очки то и дело сползали по скользкому, вспотевшему розовому носу.

— Так что же это, почтеннейший Андрей Константинович? — испросил упавшим голосом протоиерей.

— Я вам хочу задать, всепочтеннейший — Алексей Владимирович, этот вопрос, а затем спросить вас: кем благословлено это похабное, невежественное возмущение умов, связанное со смертью графа Льва Николаевича Толстого?

— Указание из епархии, Андрей Константинович... С благословения преосвященного. Письменного, почтеннейший Андрей Константинович...

— Преосвященный благословил священнослужителей приходить в школы «под турахом» после водочного излияния? Епархиальный архиерей указал появляться без нагрудного креста и в затрапезном подряснике? — говорил все громче и громче управляющий. — Епископ повелел бить внуков уважаемых и благочестивых мирян, а затем пинком под зад вышвыривать из класса?.. Доводить до потери чувств учительниц? Сеять смуту в цехах доверенных мне заводов? Это приказал преосвященный?

Калужников опустил голову.

— Отвечайте же, отец протоиерей, — потребовал Андрей Константинович.

— Отец Михаил поставлен мною на поклоны. На сорок сороков покаянных поклонов...

— И только-то? Хорошо наказание прелюбодею, осквернившему церковь. Вы бы еще, Алексей Владимирович, посоветовали церковному старосте после каждого сорока поклонов этого тупого болвана подносить ему кварту церковнославянского вина да подостлать подушечку, чтобы расстрига не разбил свой чугунный лоб от усердного моления.

— Он не расстрига, — мягко заметил Калужников. — Он двоюродный брат преосвященного.

— Ах вот как? — сказал и зло усмехнулся Турчаковский. — Прошу принять мои сожаления обоим братьям,

а равно и вам, отец мильвенских приходов. Не хотите ли хереса? Херес весьма способствует просветлению мышления. Нет? Как угодно.

Турчаковский залпом выпил стакан хереса.

— Теперь поговорим келейно и государственно, отец протоиерей, как за карточным столом. Ход мой! — объявил Турчаковский, садясь в кресло перед своим столом напротив Калужникова. — Не задумывались ли вы над тем, что наш обожаемый монарх, имея неограниченную власть над верноподданными, почел за благо обеспечить неприкосновенность личности графа Толстого? Почему? Не из боязни ли? Ни в коей мере. Мудрость руководила императором, благоразумное нежелание будить в народе смятение.

— Но граф отлучен от церкви, — вставил свое замечание протоиерей.

— От церкви, — поправил Турчаковский, — а не от империи.

«Не все ли равно», — хотел сказать Калужников, но управляющий предупредил его:

— В этом есть свои тонкости. И эти тонкости нужно понять священникам. Отец Никандр и отец Александр Троицкий, да и остальные мильвенские попы провели в школах и училищах моего округа мягкое собеседование. Мягкое! А этот расстриженный просвирнин боров... как он повел себя?

— Да не расстрижен же он, Андрей Константинович. Странно же, право, слышать от вас такие слова, — упорствовал Калужников.

— Расстрижен. Низложен. Растоптан. И не Зашеиной, а тысячами верующих и безверных жителей Мильвы. Послушайте, что говорят в цехах, в благородном собрании, в церквях... Не защищать, а добить безмозглого кабана. На сало... На мыло... На благо веры, царя и отечества. Милейший и первосвященнейший... Не одну сталь приставлен я плавить здесь да клепать мосты и шаланды. К сожалению, мне приходится укреплять нравственность и религию, чем должны были заниматься вы и присные с вами. Неужели вы, образованный человек, не понимаете, — снова поднялся Турчаковский и принялся расхаживать по кабинету, — что эта до фанатизма религиозная Зашеина, до глубины души потрясенная богохульством этого ослейшего из ослов, может стать своего рода мильвенской Жанной д'Арк и,

воружившись крестом, как мечом наголо... вот так,— показал Турчаковский, подняв руку над головой,— пове- сти христолюбивую толпу, чтобы тем же именем бога- отца, сына и святого духа разметать логово еретика Мишки с Мертвой горы. А он — еретик... Этого не опро- вергнет и святейший правительствующий синод... И не- известно, отче протопопе, кто примкнет к этой христо- любивой толпе и чем окончится возмущение умов, нача- тое маленьким инцидентом в церковноприходской шко- ле. Вы забыли о бунтах. Я не уверен, сколько и каких горшков может влететь в окна вашего дома, если вы возьмете на себя роль адвоката хулиателя нравственно- сти и осквернителя веры. Читайте и перечитывайте ли- стовку... Вот эту строку... Вот эти слова: «Не дай, Гос- поди, поднять гневную руку на прислужников и пала- чей...» Не самообольщайтесь силой своей проповеди и угрозой отлучения... Не забывайте, что треть рабочих Мильвенского завода умеют довольно бегло читать. И в эти дни чудовищно возрос интерес к чтению книг Тол- стого. Либеральная интеллигенция Мильвы раздала все толстовские произведения вашей пастве. Не удивляй- тесь, Алексей Владимирович, если сегодня, с наступле- нием темноты, объединяемые «Союзом Михаила-архан- гела» предупредят возможные волнения рабочих и сте- пенно выбьют стекла в доме кощунственно носящего имя вышеназванного архангела, а затем — при блиста- тельном бездействии полиции — заставят вашего соуче- ника по семинарии признать низложение его девствующей Зашеиной и поклясться не переступить порога кладбищенского храма. Бить не будут, но рясу прика- жут снять и разойдутся с пением «Спаси, господи, люди твоя и благослови достояния твоя...».

— Откуда вам известно это, Андрей Константино- вич? — взмолился Калужников.

— Мне все известно,— сказал Турчаковский.— Я управляю, а не при сем присутствую. Мудрость управ- ления состоит и в том, чтобы опережать возможные события, убавлять давление в котле и выпускать из него излишние пары. Лучше пожертвовать одним растлен- ным дураком и оградить этим от возможных эксцессов мужей благоразумных и верных своему служению оте- честву. Выпьете хересу, дорогой и глубокоуважаемый Алексей Владимирович?

— Пожалуй, — ответил совсем тихо Калужников.

Пока Турчаковский разливал оставшееся в бутылке, у протоиерея возник новый вопрос:

— А что скажет на это губернатор?

Турчаковский небрежно заметил:

— Мой друг еще в первых классах корпуса был сметливым малым и подавал хорошие надежды, в которых я пока не разуверился. За ваше благоразумие, отец протоиерей,— сказал он, чокаясь с ним, и перевел разговор: — Давненько мы с вами не сражались в пре-феранс.— А потом будто бы так, между прочим, спросил о достраивающейся часовне у проходной.

— Если бы рабочие завода,— сказал Калужников,— были так же усердны в завершении строения, как они усердны в ночных самоуправствах, то бы Михайловская часовня была освящена в михайлов день, восьмого ноября...

— Михайловская... в михайлов день? — переспросил Турчаковский, будто не понимая, что значат эти слова.— А почему она Михайловская и почему нужно открыть в михайлов день? Кто ее так назвал?

Протоиерей разъяснил:

— Главного жертвователя купца Чуракова зовут Михаилом. Михаилом Максимовичем.

— И что же из этого?

— Как что, Андрей Константинович? За пожертвованные Михаилом Максимовичем деньги он хочет увековечить свое имя — Михаил.

— Уг-гу... Увековечить... За деньги... Не кажется ли вам, отче, что Михайловская часовня и самое имя Михаил не будут популярны в этом году? Не станет ли Михайловская часовня перекликаться вольно или невольно с кладбищенским Михаилом?..

— Что вы, Андрей Константинович. Он-то при чем тут?

— При чем, ни при чем, однако же на каждый роток не накинешь... подрысник. Часовня, как и вера, нужна не одному богу, но и заводу. Не поискать ли другое, более известное и уважаемое в Мильве имя? Мало ли их в святцах и на языке у рабочих?

Протоиерей решил, что речь идет о покойном Зашеине.

— Оно конечно... Богу служи, а о людях думай.

Часовня могла быть названа Матвеевской... Именем евангелиста Матвея. Памятное и уважаемое в заводе имя...

— Вот видите,—сказал Турчаковский, испытующе глядя своими пронизывающими темными глазками в большие, начинающие светлеть от старости глаза Калужникова.—Херес—отличное просветляющее вино. Велю прислать вам полдюжины бутылок. Допивайте, отец протоиерей, не оставляйте в стакане зла. И я допью, чтобы начать новую.

— Куда же, зачем же, Андрей Константинович,—учтиво противясь, сказал Калужников.

— Превосходное имя—Матвей... Матвеевская часовня. Часовня, связанная с почтеннейшим корпусным мастером, рабочим Зашейным. Какой козырной удар по листовкам... И какая могла бы получиться глубокая проповедь, в которой слегка, без педалирования, проповедник вспомнит человека, носившего имя евангелиста. Однако же, отче, не много ли мужских имен даем мы храмам и часовням?.. На Гольянихе церковь... Никольская... замильвенская—Петра и Павла, на кладбище—Ильинская... Опять святой мужского пола...

— Зато на Рыдае—Благовещенский храм...

— Это верно, отец протоиерей, но, насколько я понимаю, главным героем в благовещении был благовестник Гавриил. Не так ли?.. Часовню, мне кажется, неплохо бы назвать именем святой женщины... девственницы...

— Екатерининской?—спросил протоиерей, поняв, куда клонит речь Турчаковский.

А тот, будто сделав открытие:

— Екатерининской... именем преподобной Екатерины...

— Не преподобной, а великомученицы. Не темните, Андрей Константинович...

— Позвольте, отец протоиерей, это вы, а не я назвал первым это звучнейшее из имен... Екатерининская часовня! Огромная икона великомученицы во весь рост, написанная умным и тонким иконописцем.

— Великомученицу писать в очках или без? И если в очках—то в золотой оправе или в простой металлической?

Глаза Турчаковского сверкнули зло и угрожающе.

— Не кощунствуйте, отче.

— Да до кощунства ли мне! Пас. Откроемся. Ход ваш.

— Так-то лучше,— все так же повелительно продолжал Турчаковский.— Насколько мне позволяют мои знания, святые, как и носящие их имена, не были лишены ушей, лбов, носов, ртов,— отчеканивал управляющий,— равно и всего прочего, присущего людям, например, величавого сложения, покатоности плеч, цвета волос и глаз... И почему одной из достойнейших, носящих имя великомученицы, не повторить по божьему промыслу ее черты? — спросил в упор Турчаковский.

— Это требование?

— Праздное размышление между первой и второй бутылкой. Где слыхано, чтобы какой-то заводской чиновник требовал у главы многих приходов, как называть часовни, и наставлял в тайнах иконописи?

Турчаковский посмотрел на каминные часы с амурами, потом на карманные золотые, зевнул и сказал:

— Как я задержал вас, отец протоиерей.

А тот, понимая, что его выпроваживают, вынужден был ответить согласием Турчаковскому ранее, чем этого требовали приличие и сан.

— Екатерининская так Екатерининская... А что сказать Чуракову?..

— Сказать, что его преосвященству епархиальному архиерею, а равно его высокопревосходительству управляющему Мильвенским заводским округом лучше знать, как следует называть заводские часовни. А если ему этого покажется недостаточно, то верните ему пожертвованное и попросите от моего имени убираться к... мадам Чураковой из при заводских лавок, которые будут сданы безвозмездно заводской потребительской кооперации. Прошу вас еще по единой свежееоткупоренного, отец протоиерей.

— Господи владыко... Я ли это? — спросил себя Калужников и опустил на впалую грудь отяжелевшую голову.

Вторая глава

I

В церковноприходскую школу Маврик не вернулся, хотя и мог бы. Новый молодой законоучитель из Никольской церкви, заменивший кладбищенского попа, не

советовал Екатерине Матвеевне переводить мальчика среди года в другую школу, но Зашейна на это сказала:

— Там у вас и стены будут плохим напоминанием для него.

Было решено перевести Маврикия в земскую школу на Купеческую улицу. Там его встретили приветливо и шумно. Всем во втором классе хотелось сидеть с Толлиным на одной парте. Второгодник Юрий Вишневецкий, сын пристава, объявил:

— Он должен сидеть со мной. Мои уланы не дадут его никому в обиду.

Но учительница Елена Емельяновна Матушкина, сестра зубного врача Матушкиной, сказала, что новичка лучше посадить с его товарищем Ильей Киршбаумом.

— Как вы думаете, ребята? — спросила она класс. И класс ответил:

— Да! Да!

Обиженные ученики церковноприходской школы, считавшие теперь Толлина «своим в дым и в доску», поклялись избивать «земских» на каждом углу. Юрка Вишневецкий в ответ на это обещал пятерку своих верных уланов вооружить настоящими пиками с железными наконечниками. Однако же знающая душу детей Елена Емельяновна предложила иное:

— Давайте играть в мир. Это куда интереснее.

И действительно, эта игра неплохо началась и хорошо продолжилась. А началась она так.

К указке был привязан белый носовой платок. Это флаг перемирия. И с этим флагом ученики второго класса подошли к церковноприходской школе. Флаг нес Юрий Вишневецкий. Если сыну пристава хочется быть впереди, то пусть он будет впереди хороших дел, решила для себя умная учительница.

Парламентаром был назначен Илья Киршбаум. Оч, как друг Толлина, был тоже «своим в дым и в доску», и его нельзя было тронуть пальцем. Илья, наученный учительницей, замыкавшей шествие второго класса, начал переговоры.

— Храбрая и славная армия стрелков! — обратился он. — Мы признаем и уважаем вашу силу!

Это понравилось выбежавшим из двора школьникам, и они торжествовали.

— Заслабило, значит... Пришли! — крикнул Митька Байкалов.

— Нет,— сказал Илья, храбро выставляя ногу вперед.— Мы не слабые, мы дружные и предлагаем мир.

Елена Емельяновна сидела на другой стороне улицы, на скамеечке, и не вмешивалась, надеясь, что ребята помирятся без ее помощи. Но мальчишечья воинственность мешала миру. Задиристый Митька Байкалов подзуживал «наддать земским», но, увидев Елену Емельяновну, а затем услышав за своей спиной голос Манефы Мокеевны, примирительно спросил:

— А кто будет платить дань?

Стороны стихли. В самом деле — кто будет платить дань? Какой же мир без дани, следовательно, без победы. А дань платить никому не хотелось. Она оскорбляла честь класса, честь школы.

На выручку пришла Матушкина. Перейдя улицу, она сказала:

— Это правильный и очень серьезный военный вопрос.

И снова всем это понравилось. Понравилось и Митьке Байкалову. Значит, он не дурак, не оболтус, не тупица, как называет его Манефа-урядничиха, которая тоже готова была подыграть в мирных переговорах. И она сказала:

— Пусть от каждого класса выйдет по одному богатырю и поборются. Кто кого положит на обе лопатки, тот и победитель. Тому и получать дань.

— Правильно, правильно, Манефа Мокеевна! — заорали ребята из приходской школы.

Ученики же земской школы обратили взгляды на свою учительницу. Что скажет она? А она, к удивлению всех, сказала:

— Очень разумные условия. Лучше обойтись без большого кровопролития, без убитых и без раненых солдат и решить спор богатырской силой. Кто выступит богатырем от храброй армии нагорных стрелков? Кто?

Вытолкнули Байкалова, и он, счастливый, предвкушая неминуемую победу, сбросил ватную куртку, затянул потуже ремень и крикнул:

— Выходи, боец-богатырь! Пятерых уложу!

Желающих в земской школе сразиться с верзилой-второгодником Байкаловым не находилось. И тогда Елена Емельяновна посмотрела на Маврика Толлина. И все заметили этот взгляд. Заметил его и Маврик. А потом она тихо, почти шепотом, спросила его:

— Уж не боишься ли ты, Барклай?

Это решило все. Маврик сделал шаг вперед. Классы обеих школ замерли. Детские сердчишки застучали. «Вы что, Елена Емельяновна?!» — чуть было не крикнула Манефа, но сдержалась, решив вмешаться в последнюю минуту.

Толлин сделал второй шаг, затем третий, четвертый. И вот маленький розовощекий Маврик и загорелый рослый Митька сошлись. Кулачки «земских» школьников сжались. Они ни в коем случае не допустят, чтобы Митька поборол их Толлина, хотя бы осторожно, хотя бы «совсем не больно» подмял его под себя.

— Здравствуй, Митя,— протянул свою руку Маврик.

— Здравствуй,— ответил Митька Байкалов и обхватил Маврика своими не по годам сильными руками. Он обнял его так крепко и закружил в своих объятиях так быстро и его лицо было таким добрым и смеющимся, что всем стал ясен исход поединка.

— У-ра! — закричали «земские» школьники.

— У-ра! — повторяли «церковноприходские» и побежали навстречу друг другу «брататься на заединщину».

Манефа Мокеевна тоже пошла навстречу Елене Емельяновне:

— Хорошо-то как... Теперь никто никому не будет платить дань.

Елена Емельяновна сказала:

— Вы нынче к нам на елку... А мы к вам на елку. И у нас будет не по одной, а по две веселые елки. Хорошо жить в мире. Не правда ли?

И школьники закричали в ответ:

— Правда!.. Правда!..

В разных школах одной и той же Мильвы был разный дух. И этот дух всегда зависел от учителя и всегда будет зависеть от него.

Разошлись с песней:

Соловей, соловей-пташечка, канарсечка жалобно поет...

У каждого времени свой цвет и свои песни.

II

За стенами школы текла далекая от нее и неразрывно связанная с нею жизнь, размеренная заводскими свистками, получками два раза в месяц и праздничными гулянками.

События, вызванные смертью Толстого, улеглись. Листовки забывались, домашние хлопоты, заботы о корове, квашне, обеде, тяготы будничной жизни рабочих семей главенствовали над остальным. Ранние глубокие снега, затем и морозы, сковавшие реки, приглушили и без того тихую жизнь Мильвы, отрезанную зимой заснеженными полями, густыми хвойными лесами, тянувшимися на многие версты. Только узенькая кривая дорога с еловыми ветками-вехами оставалась единственным путем сообщения, по которому раз в день, а то и через день пробегала кошевка «дележанца» к дальней железнодорожной станции.

Началась зима. Длинная, белая, с короткими днями, с неизменной стужей — мильвенская зима. Уж коли надел в октябре валенки, можешь не снимать их до конца марта. Оттепель — редкая гостья в Мильве. Да и та чуть растопит верхний слой снега на солнечной стороне улиц, погостит час-два и снова «клящая стынь-стужа» здесь, в верховьях Камы.

Полиция так и не доискалась, кем была выпущена досадная листовка. Киршбаум остался вне подозрения. В его мастерской было так мало шрифтов, что их не всегда хватало для штемпелей с большим текстом, заказываемых заводом. И ни один из имеющихся у Киршбаума шрифтов при сличении с листовкой не был схож и отдаленно.

Розыски полиции привели в типографию Халдеева, где оказались шрифты, схожие со шрифтом листовки. И более того, при тщательном сличении обнаружили дефекты букв листовки, совпадающие с дефектами этих же букв в бланках и объявлениях, набранных и отпечатанных в халдеевской типографии. Но типография работала только днем. В тесноте, где один рабочий мешал другому, невозможно было набрать и тем более отпечатать довольно пространную листовку. Это абсолютно исключалось опрошенным Халдеевым, как и приставом, у которого были «проверенные глаза» в типографии. Вечером типография закрывалась самим Халдеевым. На ночь в ней оставался только слепой старик Мартыныч, прозванный Дизелем за то, что был главным «двигателем», приводившим в движение большую афишную машину, вращая рукоять ее приводного колеса. Не мог же слепец, исполнявший обязанности и сторожа типографии, набрать и напечатать листовку ночью. Это по-

дозреение подняло бы на смех и усердного пристава в глазах его помощников.

Шрифты не были и украдены из типографии. При третьем скрупулезном сличении самим Халдеевым многие из дефектных литер набора листовки оказались на месте в ячейках наборных касс. Этого, правда, не сказал приставу владелец типографии Халдеев, потому что ему выгоднее было придерживаться версии похищения шрифта и выглядеть пострадавшим.

Киришаум, Тихомиров, Кулемин, Матушкины и другие из глубокого подполья тоже терялись в догадках. Им было небезынтересно и небезразлично знать, кто еще работает рядом с ними.

И наконец все перестали, что называется, ломать голову. Не унимался Валерий Всеволодович Тихомиров, не желавший оставить тайну возникновения листовки неразгаданной. Она интересовала его и профессионально. Но главным образом хотелось знать: кто рядом? Не провокатор ли новейшей формации? Ожидать было можно всего. И он прибег к таким рассуждениям...

Листовку набирал профессиональный наборщик. Это видно по множеству деталей набора. Отступы, применение дефисов и длинных тире. Автором же листовки был человек, имеющий отношение к текстам духовного содержания. Им, конечно, не мог быть кто-то из духовенства и даже необычный для своей среды отец Петр, преподававший в школе, где учился Маврикий Толлин. Но автором не мог быть и светский человек, которому не должны быть известны особенности словесного изыска, свойственного только лицам, учившимся в духовных учебных заведениях, изучавшим риторику и упражнявшимся в ней.

Однако же автор, владея этим, был человеком малообразованным, потому что им допущены погрешности, изобличающие незнание синтаксиса, при всей стилистической изощренности. Кроме этого, автором был старый, во всяком случае пожилой человек. Это видно из всего строя листовки, некоторой эпической ее повествовательности и некоторой напевности, не свойственной молодым людям.

Рассуждая так, Валерий Всеволодович приходит к убеждению, что написавший листовку не марксист и вообще не читавший серьезных политических книг, но чувствующий классовым нутром направление удара.

Следовательно, во всех случаях это рабочий или имевший отношение к заводам, потому что за каждой строкой стоит не нечто умозрительное, а пережитое, прочувствованное.

И далее — автор листовки мог быть и ее наборщиком, потому что некоторое выделение фраз нельзя было предусмотреть рукописным оригиналом и могло, и неминуемо могло, возникнуть, когда наборщик набирает «из головы» и сам создает текст своего набора. Об этом говорилось в университете на лекциях по криминалистике.

Так, распутывая узелок за узелком, исключая одно, опираясь на другое, сидя над листовкой в комнате мезонина тихомировского дома, Валерий Всеволодович приходит к заключению, что набор был сделан либо в темноте на ощупь, было...

Либо слепым. Несколько букв, перевернутых вниз головой, несколько букв из других гарнитур того же кегля. Этого никак не мог не заметить и не устранить зрячий, просматривающий, пусть даже при малой освещенности, первый оттиск. Хотя бы при свете спички, где-то в темном уголке, в чулане всякий зрячий, ведущий набор в темноте, обязательно должен был проверить набранное, чтобы не выпускать листовки с изъянами.

Значит, ее набирал человек, не имевший возможности прочитать оттиска.

Валерий Всеволодович спускается к отцу и спрашивает, не знает ли он, когда ослеп халдеевский Дизель Мартыныч и кем он работал прежде.

Всеволод Владимирович отрывается от чтения и, вспоминая, говорит.

— Кажется, он работал в синодальной типографии... И ослеп после какого-то отравления... А почему тебя это заинтересовало, Валерий?

Этот ответ обрадовал Валерия Всеволодовича, и он вдруг стал походить на мальчишку, на Маврика, решившего трудную задачу. Он едва не захлебывался от восторга.

— Папа! Эту листовку составил, набрал и отпечатал слепой Мартыныч... Папа, у революции больше друзей, чем мы думаем. Их много. Их очень много, папа. И не все из них знают, что они друзья! Зашейна, не сознавая того, борясь за правду, оказалась не по ту сторону баррикад, а по эту. Правда всегда объективна, папа.

И правда маленького Маврика, пострадавшего за рассказ Толстого. И пусть эта правда не осознана этими людьми, но подсказана им объективной оценкой жизни. Меньшевики видят меньше, чем слепой Мартыныч. Революция близка, папа. Ее ключи пробиваются всюду, и даже в Мильве, пораженной страшной из общественных болезней — мещанством и обывательщиной. Революция близка, верь мне, папа!

Всеволод Владимирович молчит, задумавшись в своем кресле. На какую революцию можно надеяться, если вот уже три года не может он уговорить образованных, более или менее просвещенных людей создать в Мильве свою мужскую политехническую прогимназию... Когда ему не удастся уговорить омутихинских мужиков взять на артельных, кооперативных началах, без уплаты за аренду его мельницу. Когда он еле-еле сумел добиться создания в деревянной, часто горящей Мильве дружины добровольного пожарного общества.

Не находя отклика у отца, Валерий Всеволодович прибег к перу и обратился к тому многоликому и неизвестному, которого мы в обиходе называем «читатель».

Тихомиров и не предполагал, что мильвенская листовка подскажет ему большой разговор в партийной печати о том, какие резервы революционного подполья таятся в народе. Такими людьми бывают малодушные, не рискующие открыться другим и вынужденные скрывать свои убеждения, боясь быть отверженными в своем кругу. Например, отец Петр — законоучитель из земской школы — левый из левых. Но он, священник, не может сказать и невиннейшим либералом. А учитель рисования из женской гимназии Аркадий Викентьевич Грачев? Явный большевик по своим взглядам, но сторонящийся своих единомышленников. Разве он не резерв революции? Мало ли таких среди рабочих, замыкающихся в себе, боящихся сделать несчастной семью, обездолить детей, лишив их себя — поильца и кормильца престарелых родителей.

Статья «Скрытые резервы», рождавшаяся так неожиданно и для самого автора, касалась множества лиц, которых, организационно не вовлекая в подполье, можно было заставить действовать, как действовал Мартыныч. Тихомирову очень хотелось привести в своей статье пример с листовкой. Но это было невозможно. Это сразу навело бы на след, и был бы обнаружен не

только Мартыныч, но и автор статьи «Скрытые резервы». Валерий Всеволодович нашел аналогичные, придуманные, но реально возможные случаи, и статья вскоре была опубликована. Она, как и большинство из публикуемого Тихомировым под различнейшими псевдонимами, вызвала живой отклик. Откликнулся на этот раз человек, в котором никак нельзя было заподозрить читателя большевистских газет. Это был владелец двух аптек и мыловаренного заведения — провизор Мерцаев.

III

Аверкий Мерцаев в бытность аптекарским учеником мечтал стать факиром. Эта мечта не сбылась, но с нею он не расстался, и в зрелые годы он, отрастив длинную черную бороду, принимал все меры, чтобы походить на восточного мудреца, каких он встречал на страницах иллюстрированных бульварных романов. Факирство свое он применил всего лишь в фальсификации корня жизни, в приготовлении бурды из трав, продавая это тайно, помимо своей аптеки, стяжая не только деньги, но и славу тибетского целителя.

Второе увлечение, точнее говоря, мания Аверкия Трофимовича Мерцаева состояла в том, что бедняга мнил себя прирожденным сыщиком, прозорливцем и открывателем чужих тайн, чем он занимался с разным успехом. По этому поводу доктор Комаров острил, утверждая, что жгучий брюнет факир, женатый на черноволосейшей из всех черноволосых женщин, так и не знает до сих пор, почему его единственный сын Игорь оказался рыжим.

Прочитав статью «Скрытые резервы», доморощенный сыщик-любитель почувствовал в статье знакомые тихомировские интонации и словесные обороты. Где-то здесь нужно сказать, что чтение запрещенной литературы доставляло Мерцаеву особое удовольствие. Не принадлежа даже отдаленно к прогрессивно настроенным, он интересовался чуждым, непонятным революционным миром. В нем было что-то таинственно-факирское. Скрытые организации. Спрятанные типографии. Люди, живущие двойной жизнью. Убегающие с каторги. Неуличенные царетступники. И вдруг он находит, открывает, разоблачает, и все спрашивают:

— Аверкий Трофимович, как же это вы могли? Это же непостижимо?..

А он:

— Это все пустяки, господа, пустяки... Я открыл истину просто так, между делами, изобретая новое лекарство от дурных запахов рта...

Это была мечта. Сон. Честолюбивые фантазии. А теперь — явь! Он готов положить на плаху свою голову, ручаться всем движимым и недвижимым. Он открыл революционера.

«Аг-га! Наконец-то поймут, кем я рожден».

Долго горит свет в кабинете Мерцаева. На тридцати страницах собственноручно перебеливается тайный трактат о том, как была обнаружена подлинная личность господина Тихомирова В. В. И этот трактат будет переслан не куда-то, а самому губернатору, потому что невежественная полиция и недостаточно образованные жандармские чины не могут понять неуловимых тонкостей опознавания словесного почерка.

Мерцаев ничего не имел против Валерия Всеволодовича. И более того, к нему он был расположен и любил беседовать с ним. Но личные симпатии личными симпатиями, а дело делом. Разве Аверкий Трофимович плохо относится к прекрасным животным — лосям? Он восхищается ими, но, идучи на охоту и встречаясь с лосем... убивает его.

Отправив губернатору пакет за пятью печатями, Мерцаев, как истинный охотник, решил «проверить зверя», желая еще более убедиться в неоспоримости своего изумительного открытия. И он, встретившись с Валерием Всеволодовичем, показал ему статью «Скрытые резервы» и сказал, испытующе глядя в его глаза своими факирскими глазами:

— Такое словесное совершенство и такая риторическая неоспоримость, что я, читая эту статью, почувствовал себя скрытым резервом революционного подполья.

Валерий Всеволодович сумел сдержать себя и заставить свои глаза, что называется, не моргнуть.

— О чем вы, право, опять?.. И как это, право, вы можете в такую погоду читать какие-то скучные листки?

Это было сказано с таким естественным безразличием, что провизор почувствовал себя заблуждающимся дураком, как уже косвенно называли его в губернии. Но так он чувствовал себя недолго.

Тихомиров же, как никогда, понял, что его участь предрешена. Его распознали. Он рассказал об этом старику Матушкину. Медлить было нельзя. На другой же день дочь Матушкина Варвара Емельяновна уехала в Пермь, чтобы узнать, как должен поступать теперь Тихомиров.

В тот день, когда Варвара Емельяновна Матушкина разговаривала с Бархатовым, пермский губернатор хохотал до кашля, читая трактат Мерцаева, удивляясь, как идиот в таком изумительно чистом виде, без признаков хотя бы первобытного разума, может вести аптечное дело, не путая сальные свечи с каплями датского короля.

Губернатор необыкновенно был доволен своим остроумием, считая себя самым умным человеком в губернии. Да и его подчиненные не могли позволить, чтобы какой-то мильвенский аптекарь поучал их, как нужно раскрывать врагов империи.

IV

В церковноприходской школе, как думали, Маврикий учился плохо потому, что там была отвратительная Манефа-урядничиха, но плохо учился он и в земской школе, где преподавала милейшая из милейших — Елена Емельяновна Матушкина, ожидавшая места словесницы в женской гимназии.

Герасим Петрович Непрелов объяснял неуспеваемость пасынка его избалованностью, изнеженностью, потворством Екатерины Матвеевны и вообще его обреченностью вырасти шалопаем-бездельником и почему-то «петрушкой». Отвратительный почерк Маврика был гарантией, что из него не получится даже делопроизводителя и конечно уж счетовода, бухгалтера, которые должны выводить циферки, как печатные.

У Герасима Петровича был отличный почерк, и только по одному его почерку можно было безошибочно предположить, что это человек отличного делового склада ума, — хотя он и не везде ладит с орфографией, зато его слова не расходятся с делом, а если и расходятся, то в лучшую сторону. Именно так и оценивал глава фирмы «Пиво и воды» Иван Сергеевич Болдырев своего конторщика, успешно заменяющего больного доверенного мильвенского склада.

Екатерина Матвеевна считала, что на плохом учении Маврика сказались пережитые им потрясения.

Терентий Николаевич сказал:

— С годами все образуется...

Григорий Савельевич Киршбаум находил, что к Маврику нужен особый подход.

Елена Емельяновна терялась в догадках — как может плохо учиться способный и даже одаренный мальчик?

На уроках Маврик слушал только интересовавшее его, а когда начиналось повторение пройденного или таблица умножения вразбивку, Маврик уплывал на каком-нибудь волшебном корабле или на спине гуся-лебедя в далекие страны или думал о том, как хорошо было бы достать маленьких веселых человечков с карандаш ростом или чуть побольше. Лучше поменьше. Они могут ездить на курице. Это очень смешно.

— Над чем ты смеешься, Толлин? — слышится добрый голос Елены Емельяновны.

— Ни над чем, — вскакивая, отвечает Маврик и старается больше не думать о постороннем. Но постороннее само лезет в голову. Сам по себе приходит екатеринин день — тети Катины и бабушкины именины. Очень трудно не думать о них, когда соберутся все. Все-все! Три тети Лариных дочери. Три дяди Лешиных девочки. Придет Санчик с Ильюшей. Краснобаевых едва ли разрешат приглашать. Все не усядутся за столом. Их можно позвать в другой раз. Запросто. Без рыбных пирогов в желе. Но что подарить тете Кате и бабушке? Бабушке можно подарить рисунок, а вот тете Кате?..

— Маврик! — говорит, положив руку на его плечо, севшая рядом с ним на парту Елена Емельяновна. — Урок давно уже кончился. И все ушли. О чем ты думаешь сейчас, мой дружок?

— Я?.. Обо всем. Хорошо бы... Хорошо бы, Елена Емельяновна, если бы не было зимы, — выдумывает он, — если бы в школе можно было учиться ночью. Во сне. Когда спишь. Спишь и учишься во сне. Семью семь — сорок семь.

— Сорок девять, — поправляет учительница.

— Все равно, — соглашается Маврик. — И время бы ночью не пропадало на разные сны, и днем бы не нужно его терять...

Елена Емельяновна крепко прижимает к себе Мав-

рика. Если у нее будет сын, то пусть будет такой. Двоечник. Фантазер. Выдумщик. Но только такой.

— А ведь я вас тоже люблю, Елена Емельяновна, — прикидывается к ней Маврик. — Не больше, чем тетю Катю, но и не очень меньше. На дважды два — четыре. А может быть, и на одиножды один... На один!.. И вообще, — добавляет он, — Валерий Всеволодович Тихомиров для вас хорошая пара. Только его могут посадить в тюрьму... Но что же делать... Мой дедушка тоже сидел шесть дней.

У Елены Емельяновны холодеют руки, немеет язык. И она спрашивает:

— Ты знаешь, сколько тебе лет, Маврик?

— Мне? Я только на два года моложе Леры Тихомировой.

— А она-то тут при чем?

— Просто так, — неопределенно ответил Маврик и принялся укладывать в ранец свои книги, тетради, карандаши.

Елена Емельяновна долго еще сидела в классе после того, как ушел самый плохой и самый любимый ученик Маврикий Толлин.

V

Екатеринин день в Мильве был шумным, пьяным, пляшущим, плачущим, провожальным днем горьких разлук любящих сердец и тягостных расставаний друзей. Это был последний день рекрутского набора, день призыва на тяжелую бесправную службу в армию муштры, жестокого произвола, мордобоя.

С утра плачут в екатеринин день осипшие еще вчера тальянки, двухрядки, венки и дедовские семиладки с колокольчиками. Ватагами ходят по заводским улицам новобранцы-«некруты» с товарищами, молоденькими женами, родней, соседями и просто досужими провожателями.

Через двойные рамы окон слышит Маврик истошные песни, женские причитания и пьяные выкрики. Уходит в солдаты младший брат Артемия Гавриловича Кулемина — Павел. Жалко. Хороший молодой токарь. Приветливый. Молчаливый. Хотел жениться на старшей Санчиковой сестре — Жене. Ждал екатеринино дня. Надеялся, что не возьмут. Тогда была бы свадьба.

И могли бы его не взять. Завод подавал какие-то «тихие» списки на «тороватых» мастеров из молодых. Их не брали. Находили непригодными к военной службе. И Павла, как «быстрого и точного» токаря, тоже хотели оставить, да не оставили. Нашлись почище. С деньгами. Сумели дать. А у кого есть деньги, тот все купит. И цеховое начальство, и волостную власть.

Жалко. Очень жалко. Прощай, Женечка Денисова. Она обещает ждать. Какое там «ждать»! Пусть уж одна молодость гибнет, а не две.

Рекрутский набор принимался как неизбежное зло, как неминуемая болезнь. Уж коли суждено переболеть в детстве корью, или скарлатиной, или быть лицу изъеденным оспой — никуда не денешься, как и от солдатчины. Царствовали изречения утешительного самообмана: «От судьбы не уйдешь», «Кому что написано на веку...» и так далее — добрая сотня пословиц, присловиц, поговорок, канонизированных «мудрыми».

Сегодня Маврик не пошел в школу. Предстояло много интересного с утра и до позднего вечера. Тетя Катя за себя и за прихварывающую бабушку отстояла обедню, получила первые поздравления «с днем ангела, с катерининым днем» и вернулась домой принимать «поздравителей» и визитеров.

Перебывало до десятка нищих, и, конечно, Санчикова бабка Митяиха, получившая кроме специально для нее испеченного небольшого изюмного пирога двугривенный. Просто нищим, из непривилегированных, давалось по две новенькие, блестящие, наменянные в казначействе копейки. Копейку за здоровье одной Екатерины и копейку — другой. Если же нищий или нищенка, благодаря за подаяние, упоминали имя покойного Матвея — давалась еще копейка.

Побывала блаженненькая Марфенька-дурочка, пропевшая в юродивом пританцовывании озорной стих:

Катя, Катя, Катерина,
Нарисована картина
Не чернилом, не пером,
Из лоханки помелом.

Так как Марфенька-дурочка не понимала неучтливо-го смысла стиха и пела как прославление имениннице, то ей тоже были даны две новенькие копеечки, и особо — кусок горячего пирога.

Юродивых, блаженных, обиженных богом дурачков в Мильве числилось до двух, а то и более дюжин. Такое количество «нетунайных людей» было заметным излишеством и для многонаселенного Мильвенского завода. Для него хватило бы вполне и одной дюжины. Правда, не все из блаженных, юродивых и обиженных разумом заслуживали находиться в этом разряде. Примыкали к ним и бездельники, юродствующие во имя тайного поклонения зеленому змию, были и не знавшие от рождения стыда девы, лишенные познания первородного греха и непрестанно ищущие познания его в наказание за родительские грехи.

Умные люди умели растолковывать и находить веле-речивые объяснения для каждого душевнобольного или притворяющегося им хитреца.

Тишенька Дударин не притворялся дурачком. Он был им. Но все же дурачком «себе на уме». Выкрикивая «вещие» слова, услышанные от других, а то и подсказанные другими, он привлекал к себе внимание и значился в разряде юродивых уже потому, что его способность бегать босым по снегу в морозные дни поражала и самого доктора Комарова, не находившего этому объяснения.

В зашеинском доме и вообще в чьих бы то ни было домах Тишенька никогда не бывал и милостыни не собирал. А сегодня он, босой и продрогший, выглядящий более, чем всегда, долговязым, долгоногим, прибежал к Екатерине Матвеевне и принес на посеребренной тарелке очень большую, не менее полутора-двух фунтов, румяную просфору. Войдя на кухню, он принялся бормотать:

— Во весь роток свистит свисток... Обедать пора! Обедать пора! А великомученица-то... великомученица-то с небес сошла, в часовенку зашла... Слава тебе, восподи-восподь, слава тебе... Изыди, архангел Михаил, тут мой каменный домик, моя кирпичная келейка... Изыди, изыди! — прокричал он и подал просфору.

Не взять просфору от блаженненького Екатерина Матвеевна не могла, как не могла и принять ее, испеченную Дударихой, в доме, где теперь открыто жил ушедший на покой бывший кладбищенский ненавистный поп Михаил.

— Спасибо. Поставь на стол,— сказала она Тишеньке и, не зная, чем отблагодарить его, вспомнив о старых

подшитых валенках Матвея Романовича, лежавших в кладовке, сказала: — Подожди, я сейчас отблагодарю тебя!

Тишенька увидел через дверь Маврика и снова принялся «пророчествовать»:

— Иван-дудак в гробу сопрел... Непрелый Герасим на пиво сел...

— Хватит, Тишенька,— остановила его Екатерина Матвеевна.— Не от бога эти слова, а от злых языков. Это тебе от Матвея Романовича,— сказала она и подала подшитые валенки.

Тишенька тут же обулся в них и забормотал:

— Ногам тепло... голове холодно,— и убежал.

Через минуту он мчался босым по Большому Кривую и, размахивая валенками, кричал:

— Турчака-дурчака в валенки обувай... Архангела не обуешь...

Просфору бабушка Екатерина Семеновна отдала старому нищему, прибавив к ней медный пятак, и наказала ему:

— Молись о смягчении кары грешной душе Михаила.

— Буду, матушка, буду,— понимающе ответил старик, опуская в кошель тяжелую милостыню.

В этот день была получена и другая просфора, посланная протоиереем Калужниковым с соборным дьяконом, поздравившим обеих Екатерину и пригласившим их на открытие часовни, имеющее быть после свистка на обед. Им же было вручено «Житие великомученицы Екатерины», отпечатанное тем же шрифтом, что и листовка, которую все еще помнили в Мильве.

— Поучительное житие, доподлинно и специально перепечатанное для мирян в типографии господина Халдеева,— сообщил дьякон, не преминувший и не смеющий отказать себе в откушении рыбного пирога, а равно испитии двух чарочек в честь двух именинниц и третьей для усиления голоса, который понадобится ему сегодня на молебне открытия Екатерининской часовни при многочисленном стечении почитателей великомученицы и носящих имя ее.

Все шилось слишком белыми нитками, и это беспокоило Екатерину Матвеевну, не искавшую славы, и особенно такой. В этом было что-то нарушающее основы веры и оскорбляющее великомученицу и носящую ее имя Екатерину Матвеевну. Но ведь она-то здесь ни при

чем, и ей не следует ходить на открытие часовни, чтобы не дать пищу молве.

Это же подтвердил и Терентий Николаевич, появившийся испить свою чару и подарить низенькую скамеечку, на которой хорошо сидеть у топящейся печи.

И забежавший в обед Артемий Гаврилович Кулемин тоже одобрил решение Екатерины Матвеевны.

— И хорошо, что не пошли туда,— сказал он,— тем более что икона весьма и очень похожа на вашу фотографическую карточку ранней молодости. Конечно,— постарался смягчить он,— все девичьи лица имеют схожесть, и чего не надо искать, того нечего и выискивать. Но ведь могут найтись люди... И все же кто бы что бы ни говорил, а я скажу, что и отцу протоиерею приходится нынче кадить подумавши.

Большого он сказать не мог. Но и этого вполне хватило, чтобы впервые за всю жизнь Екатерина Матвеевна усомнилась в святости икон. Не всех, разумеется, а некоторых...

VI

Не мудрствующие лукаво миловенские старухи и старики, не умеющие молчать и там, где нужно бы, находили открытие Екатерининской часовни справедливым откупом за надругание треклятого попа Мишки, без обиняков называли часовню в день ее открытия Зашеинской.

Первым из гостей появился Иля Киршбаум. Санчик не в счет. Он пришел прямо из школы. Иля торжественно внес коробку и еще более торжественно прочитал стихи собственного сочинения:

Тетя Катя, дорогая,
Папа, мама, Фаня, я..
С этим днем Вас поздравляем
И желаем Вам счастья.

Если стихи идут от всего сердца, и неправильное ударение украшает их. Затем Иля поднес коробку и попросил ее тут же раскрыть. В ней оказался набор штемпелей с именем, отчеством и фамилией именинницы. Это были штемпеля для пакетов с обратным адресом, штемпеля разных размеров для писем и неизвестно для чего. Штемпель для поздравлений, круглая домовая

печать. Штемпельная подушечка и флакон со штемпельной краской.

Штемпеля произвели огромное впечатление на Маврика, и они тут же были обновлены на листках тетрадей, на кромке скатерти, на обоях и на обложке восьмистраничной книжечки «Житие великомученицы Екатерины». Штемпеля будут поставлены в честь тети Кати на руки всем, кто пожелает из гостей, и обязательно трем тетя Лариным девочкам и трем девочкам дяди Леши.

Себя три друга уже проштемпелевали круглыми печатями на груди и «экслибрисами» на руках. Получилось очень красиво. Как у моряков.

Собаке Мальчику, обросшему с осени длинной зимней шерстью, не представлялось возможным поставить штемпель, поэтому пришлось ограничиться подмалевыванием ему носика штемпельной краской. Однако же собака, не понимая оказанной ей чести, облизала свой нос, и от этого ее розовый язык, к общему ликованию друзей, стал темно-фиолетовым.

Какая прелесть!

Девочки появились засветло, не по трое, а сразу шестером. В кухне слышались визг, чмоканье, поздравления. Затем они, нарядные, разруганные морозом, вошли в комнату и выразили единодушное желание проштемпелеваться.

— Что за вопрос? Какой тут может быть разговор, — заявила старшая дочь тети Лары, гимназистка Алевтина. — Разве мы можем остаться непростемпелеванными?

Она, как самая взрослая, а следовательно и самая умная, попросила Маврика в честь тети Кати поставить ей круглую печать на коленную чашечку, что было и сделано.

— Там-то уж, под чулком, не сотрется и не смоется, — радовался Иля, поддержанный Санчиком.

Правда, тот и другой не знали, как отнесется к этим штемпелям своих дочерей тетя Лара и как им придется смывать эти штемпеля горькими слезами... А пока все хорошо. Аля затевает очень интересную игру. В этой игре Маврик превращается в «некрута». Его почему-то опоясывают полотенцем. Нахлобучивают треух. Лихо. Набекрень. Аля запевает:

Последний нынешний денечек
Гуляю с вами я, друзья.

И все девочки подхватывают:

А завтра рано, чуть светочек,
Заплачет вся моя семья.

Заплачут братья, мои сестры,
Заплачет мать и мой отец...

И все начинают плакать и причитать:

— Сыночек ты наш ненаглядный...

— Да куда же тебя угоняют...

— Да как же мы тут без тебя...

Игра разгорается. Громко, с модуляциями рыданий в голосе старшие девочки Кляша и Аля поют:

Еще заплачет дорогая,
С которой шел я под венец...

И плачет, входя в роль, младшая девочка дяди Леши. Плачет настоящими слезами и называет Маврика другим, всем знакомым и близким именем:

— Павлик, мой Павлик, Павлушечка, как же я, как буду жить одна без тебя...

— Успокойся, Женечка Денисова, успокойся,— подыгрывает Аля.— Мало ли женихов в Мильвенском заводе...

— Нет, нет, нет...— кричит Надя, оказавшаяся Женей, Санчиковой сестрой.— Никогда и ни за кого я не пойду замуж.— Она вся в слезах просит:— Обними ты меня, Павлушенька, в этот последний нынешний денечек.

И Павлик-Маврик обнимает Надю. У него блестят глаза. Он сдерживается, чтобы не заплакать. А Санчик не может сдержаться. Слишком близка игра. Она повторяет то, что происходило дома так недавно. Надя, изображающая Женю, виснет на шее Маврика. Голосит. Визжит.

— Поиграйте во что-нибудь другое,— просит бабушка Екатерина Семеновна.

Как бы не так... Ее голоса никто не слышит. Потому что уже «коляска к дому подкатила, колеса о землю стучат», и староста стучит в окошко. «Готовьте сына своего»,— говорит строкой песни повелительный голос Али. А хор ей отвечает новыми строками:

Крестьянский сын давно готовый,
Семья вся замертво лежит...

И «замертво» лежат на ковре Таня, Клаша, Маруся и обе Нади. И Санчик, притворяясь рыдающим, рыдает на самом деле, валяясь на ковре.

— Фельдшера! Фельдшера! — кричит Ильюша и, повязавшись салфеткой, становится доктором Комаровым. — Я доктор Комаров. Скажите «а». А-а! — требует он и начинает приводить в чувство «замертво лежащую семью...».

— Теперь «Уж я золото хороню, хороню...» — предлагает бабушка новую игру, видя, что «Последний нынешний денечек» завел слишком далеко детей, живущих единой жизнью с взрослыми даже в своих играх.

Потом «хоронили золото», «сеяли ленок», играли в «Бояре молодые, да мы к вам пришли».

Наступил вечер. Стали подходить взрослые гости. Детям остается съесть именинные пироги, выпить сладкие чай с вареньем, печеньем, конфетами, а затем расходиться по домам.

Взрослые долго еще будут праздновать екатеринин день, обмениваться новостями, рассказывать о новой часовне, вспоминать о старых обидах и наконец тоже разойдутся. А завтра...

«А завтра рано, чуть светочек», новобранцы с тяжелыми головами побредут с котомками жиденскими цепочками по двадцать человек за санями через родные покосы, деревенские поля узкой дорожкой на далекую станцию, где им скомандуют:

— В две шеренги становись!

И начнется действительная служба, которая продолжится войной с Германией, названной впоследствии первой империалистической. Для многих, сложивших свои головы на этой войне, слова «Последний нынешний денечек гуляю с вами я, друзья» будут не только лишь песенными строками.

Завтра же утром начнется военная биография одного из полководцев Красной Армии — Павла Гавриловича Кулемина. Но до того, как он станет им, должно пройти много лет и еще больше произойти событий.

А пока плачут гармоники на мильвенских улицах, плачет на душных полотах в маленькой избушке бедная Санчикова сестра — Женечка Денисова, разлученная со своим Павликом.

Штемпельная мастерская «Киршбаум и К°» процветала. Заказов оказалось куда больше, чем предполагал, чем хотел Григорий Савельевич и чем нужно было для его главной работы.

Григорий Киршбаум, имевший дело с подпольной печатью, убедился, что неизбежная громоздкость типографий и при малых размерах оборудования приводит нередко к провалу.

И в самом деле, как доказывал он товарищам в Перми и Екатеринбурге, всякая, даже маленькая типография должна иметь кроме шрифтовых ящиков-касс печатную машину. Пусть самую небольшую, но все равно требующую места. И если печатается всего лишь тысяча листовок,—это тук бумаги, который нужно внести, а затем вынести, что всегда нелегко.

Подпольную литературу трудно перебрасывать на далекие расстояния. Это связано с риском и жертвами. Другое дело, если вся «типография» может быть спрятана в голенище сапога, в переплете книжки, за подкладкой дамской сумочки и где угодно, вплоть до пирога, в который ее можно запечь.

Киршбаум доказывал, что листовки должны печататься на месте их распространения и при этом простейшим способом. А для этого нужно централизованно изготавливать каучуковые штемпеля-стереотипы, которые легко пересылать, перевозить, переносить в самые отдаленные уголки страны. И даже самая маленькая подпольная группа, и даже один человек могут в лесу, в квартире, в купе вагона печатать листовку. Для этого необходимы всего лишь лоскуток сукна, пропитанный штемпельной краской, бумага и доска наподобие пресс-папье, на которую наклеивается штемпель-стереотип. А если применить простейший рычаг или пресс, то можно сравнительно быстро сделать многие сотни оттисков.

Григорий Киршбаум утверждал, что прокламация может быть очень маленькой по размеру и краткой по тексту. Кто мешает произвести множество штемпелей-призывов: «Долой самодержавие!», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», «Боритесь за восьмичасовой рабочий день!» И такие штемпеля можно ставить на театральных афишах, на листах книг, выдаваемых в библиотеках, на кромках тканей, продаваемых в магази-

нах, на конвертах писем, на стенах домов и всюду, где представляется возможность подпольщику сделать отпечаток и остаться неуловимым.

Созданная уральцами штемпельная мастерская в Мильве была подчинена Казани. Придерживались проверенного принципа — дальше спрячешь, ближе найдешь, лучше сохранишь.

Казанские товарищи установили хорошую связь. Коммивояжер-экспедитор, обслуживающий земский писчебумажный склад в Мильве, поставлял некоторые мелочи для мастерской Киршбаума. Мало ли новинок в мире штемпелей и печатей? Почему не удружить приятному человеку Киршбауму и не заработать на нем лишнюю десятку? Так говорил он, объясняя свое посещение штемпельной мастерской. Экспедитор, будучи человеком оборотистым, всегда что-нибудь увозил из Мильвы. Теперь он увозил все то, что в предыдущий приезд было заказано Григорию Савельевичу.

Киршбаумы и не представляли, что они будут так довольны своей работой. Сбылось задуманное. Они отсюда, из далекой Мильвы, затерявшейся в лесах Верхней Камы, рассказывают людям, живущим в Казани, в Самаре, в Нижнем Новгороде, в Саратове, в Царицыне, о самом главном, о том, как добыть счастье для всех людей.

Казань будет пересылать штемпеля и в южные города России. И там, где-нибудь в Феодосии, в Симферополе, будет печататься и читаться рожденное на Песчаной улице.

Штемпелей изготовлялось все больше и больше. Этим занималась Анна Семеновна. Пока дети были в школе, она набирала одну полоску, не превышающую размера листка школьной тетради. Сделав набор, она приступала к изготовлению прочной каолиновой матрицы, тотчас же разбирая набранную страничку брошюры, чтобы на случай неожиданного, хотя и никак не ожидаемого обыска расплющить ладонью сырую матрицу.

И когда каолиновая матрица-форма затвердевала, можно было изготовлять самые штемпеля. Для этого нужно на подогретую матрицу положить лист сырой резины, затем зажать этот лист также нагретой крышкой пресса, вдавливающей резину в форму-матрицу, а затем ждать, когда сырая резина, «испекшись», станет штемпелем. Этот процесс вулканизации, хотя и не такой

сложный, но и не такой скорый, был перенесен к Артемию Гавриловичу Кулемину, освоившему нехитрую науку в течение нескольких дней. Но и кулеминская баня тоже оказалась не очень подходящим местом для изготовления резиновых стереотипов. По предложению Валерия Всеволодовича вулканизация была перенесена в надежнейшее место, на тихомировскую мельницу, куда был нанят сторожем слепой Дизель Мартыныч. Ему было сподручнее жить на заброшенной мельнице, ловить рыбу, что делал он не хуже зрячих, и получать от «енерала» Тихомирова десять рублей в месяц за то, что он живет на мельнице и кормит старого пса Голиафа, которому тоже нечего было сторожить, кроме висячего замка на дверях старого дома, служившего Тихомировым летом дачей и пустующего зимой.

Наняв Мартыныча и дав ему обжиться, Валерий Всеволодович познакомил его с человеком, имени которого слепой не знал, называя его просто Мастером. Тихомиров сказал Мартынычу:

— Всякий, у кого есть свои тайны, умеет уважать чужие секреты.

— Это верно,— ответил Дизель, не допытываясь, о каких тайнах идет речь.

Когда же Валерий Всеволодович очень прозрачно намекнул, что тысячи и сотни тысяч листков, зовущих к правде, значат больше, чем одна, даже такая хорошая прокламация, которую ему довелось читать минувшей осенью и автора которой никогда и никто не найдет, Мартыныч на это ответил:

— Не худо ты, Всеволодыч, в темноте видишь. До тебя и слепому далеко.— А затем сказал прямо: — Помогу, чем только могу.

И как-то заскрипел снег. К лунке, где ловил рыбу Мартыныч, подошел человек, пожелал счастливого улова и принялся бить пешней свою лунку, затем как бы между прочим сказал:

— А я ведь тоже мастер из-подо льда окуней таскать...

Дизель понял, кто этот «мастер», и сказал:

— Коли мастер, так поучи.

Артемия Гавриловича Кулемина знали в Мильве как «ушибленного рыбой», как человека, для которого «и семь верст не околица ради десятка ершей, и мороз не препона отъявленному рыбаку». Поэтому ловля рыбы

на Омутихинском пруду и появление в его избушке Мартыныча ни у кого не могли вызвать подозрения.

Три вулканизационных пресса по частям были перевезены в рыболовном ящике с полозьями, куда обычно мильвенцы складывали припасы, снасти, еду, а затем сидели на этом ящике подле лунки, пробитой во льду. В этом ящике будет увозить Артемий Кулемин на мельницу и каолиновые матрицы, а оттуда привозить отвулканизированные стереотипы листовок, прокламаций, страниц будущих подпольных книжек.

Слепой ученик оказался на редкость переимчивым и обогнал своего учителя в умении «чувствовать нажим пресса» и в способности определять по запаху начало и конец вулканизации.

Киришбаум не верил удаче. Не верил тому, что есть. Уж очень как-то несерьезно и у всех на виду. Он искал сложностей, а они были в простоте. В хитрейшей простоте. Разве не этими словами следует назвать упаковку очередной партии стереотипов, уложенных в бадейку и залитых топленным маслом, которое в Мильве значительно дешевле, чем в Казани. И всем, даже самому глупому полицейскому, ясно, зачем мелкий делец земского склада увозит из Мильвы разные разности вплоть до мильвенской плотвы, засоленной под сосьвинскую селедку.

Кажущаяся простота конспирации достигалась большой изобретательностью, напряженными поисками многих товарищей, и его в том числе. Киришбаум был счастлив. Началось из ничего и так недавно, а сделано уже так много. Мартыныч тоже был по-своему счастлив. Читая и перечитывая на ощупь стереотипы, он прозревал. Оставаясь слепым, начинал видеть мир, залитый счастливым светом. И если он сумеет прессовать эти резиновые пластинки всего лишь одну зиму, один месяц, а потом его арестуют, то все равно он скажет, что не зря прожил жизнь. Он помогал революции, которая будет и которая не может не быть.

VIII

К елке готовились сдержанно. День ото дня хуже и хуже чувствовала себя бабушка Екатерина Семеновна Зашейна. Маврик подолгу просиживал возле ее постели.

На последней неделе перед рождеством, когда Терентий Николаевич привез и поставил в снег за окном большую пушистую пихту и бабушке стало гораздо лучше, она, усадив Маврика рядом с собой на низенькой кровати, доверительно и спокойно сказала:

— Пора уж, Маврушенька, мне к дедушке собираться.

— Почему же пора, бабушка? — спросил Маврик. — Тебе же еще только семьдесят девять лет. И ты обещала пожить с нами еще четыре года, до дедушкиных до восьмидесяти трех годов.

— Так-то оно так, голубок, да не получается. К себе дедушка требует. Сегодня опять во сне приходил. Исхудалый такой, в неглаженной рубаше и ласковехонько так сказал: «Стосковался я, Катенька, без тебя, давай начинай подсобирываться».

— А ты что сказала ему, бабушка?

— А что я? За всю жизнь твоему дедушке поперечного слова не говаривала и тут не сказала. «Только, говорю, до весны-то уж не так долго ждать, Матвей. И Терентию, говорю, на Мертвой горе талую землю легче копать... А меня, говорю, по теплой поре больше народа проводит...»

— А он что, бабушка?

— А что он? Он как и ты... Что в голову войдет — вынь да положь. Не отступится. На хорошем у нас месте старая баня стояла, а ему вступило в голову передвигать ее... Я и пять перечесть не успела, а баня пошла-поехала на новое место. А зачем, спрашивается, ей на новом месте быть? Аршином дальше, аршином ближе — не все ли равно? Характер... Или жду-пожду твоего дедушку чай пить. Самовар на столе, шаньги горячие стынут, а деда нет. Потом является. Весь в глине, в песке. «Где, — спрашиваю, — ты, Матвей, в каком болоте себя увозил?» А он довольный такой, радостный: «Я, Катенька, до свету стал, новый колодец начал рыть». — «Зачем, говорю, Матвей, нам новый колодец? Этот-то, говорю, чем плох?» А он мне: «Вкуснее воду ищу». И вся недолга. Что вступит в голову твоему дедушке, — повторяет старушка, — колом не выбьешь.

— Это плохо, бабушка, — сокрушается Маврик.

— Хорошо ли, плохо ли, только ты таким же расти. Пять колодцев вырыл твой дедушка, а хорошую, вкусную воду нашел. И ты ищи ее. Не останавливайся, — на-

ставляет Екатерина Семеновна внука и гладит своей сморщенной, исхудалой рукой.

Маврик не может согласиться с требованиями дедушки, ему хочется внушить бабушке, чтобы она отложила свой уход, искренне веря, что это зависит только от нее. И он убеждает:

— Ну право же, бабушка, ну чего же хорошего сидеть с дедушкой на облачке? Насидишься еще. Разве хуже тебе пить чай с горячими талабанками, рассказывать сказки, ходить к обедне? Тетя Катя купила двух уток, большого гуся и будет к рождеству запекать окорок. Знаешь, какие будут вкусные корочки...

— Да как не знать, Маврушенька... Только отъела уж я их. Три зуба осталось. И главное, рубаха там у него неглаженная...

— Ну неужели же, бабушка, надо умирать ради рубахи,— не соглашается внук.— Неужели там ему некому ее выгладить? Сколько там хороших знакомых, мильвенских покойников...

— Не в одной рубахе дело, Маврушенька. Рубаха что? Зовет он. Зовет меня...

Долго разговаривает Маврик со своей бабушкой, прося ее не покидать их, потому что тогда совсем пусто будет в доме.

Говорят они серьезно, рассудительно, будто речь идет не о конце жизни, не об уходе навсегда, а о поездке в Пермь или в другой город и будто эту поездку можно отменить или перенести. Тем не менее бабушка соглашается подождать до весны. Ей значительно лучше.

Довольный своей победой, Маврик возвращается к елочным игрушкам, клейке цепей, золочению орехов. Завтра елка будет внесена и установлена посредине большой комнаты. Через час она отойдет после мороза, согреется, и ее можно будет начать украшать. Три друга ждут этого завтра, которое называется сочельником.

Но сочельник наступил не таким, как его представляли Маврик, Санчик, Иля. Дедушка Матвей Романович оказался настойчивее своего внука.

В сочельник вечером бабушку соборовали при стечении всей родни. Горели свечи. Соборовал отец Петр, самый уважаемый священник в Мильве.

Бабушка сидела на кровати со свечой в руках, в

длинном белом, похожем на саван платье. Она уже была готова отойти.

— У мамочки начали чернеть ногти,— предупредила сестру Екатерина Матвеевна.— Не уходи, Люба.

После соборования остались только свои да Марфенька-дурочка. Все тихо расселись в большой комнате, где у стенки стояла новая крашенная крестовина для елки.

— Ну вот,— сказала Екатерина Семеновна,— посидим перед дорогой. С сухими глазами простимся. Слушайся папочку,— обратилась она к Маврику,— слушайся, как родного отца. А вы, Герасим Петрович,— перевела она взгляд на Непрелова,— не отличайте детей. Не дайте моим и дедовским косточкам почернеть против вас.

Герасим Петрович наклонил голову и тихо пообещал:

— Не дам, Екатерина Семеновна. Обещаю при всех.

— Ну и бог благословит тебя за это, Герасим Петрович. А ты, Катенька,— обратилась Екатерина Семеновна к дочери,— за дом не держись. Зачем он тебе одной? Стены не память. Бревна, они есть бревна. Дерево. Но и кому ни попади тоже не продавай. Чтобы мне ли, Матвею ли Романовичу в день своего ангела не известно было в этом доме побывать.

— Ну зачем ты об этом, мамочка? — остановила старушку Екатерина Матвеевна.

— Обо всем надо не забыть. Вон уже сколько часов,— кивнула в угол, откуда послышался бой часов.— Долю выделишь Мавруше на учение, как было сказано его дедушкой. И зачем только кудри ему состригли,— сказала она, привлекая к себе стриженую голову внука.— Не ссорьтесь, дочери, без меня. А дорогого поминального обеда не надо затевать. А водочки-то купи. Без нее какие поминки. Да ведь и рождество... Люба, глянь в окно, зажглась ли первая сочельничья звезда.

— Много звезд, мамочка,— ответила Любовь Матвеевна.— Яркие звезды.

— Значит, родился уж,— кротко улыбаясь, сказала старушка.— Дождалась. Открой, Катя, миску со святой водой. И положи меня на кровать. Не ссорьтесь тут без меня! — еще раз попросила Екатерина Семеновна, обращаясь ко всем, и махнула на прощание слабеющей рукой.

Как никогда горько Екатерина Матвеевна осознавала свое женское одиночество, и почему-то сейчас она подумала об Иване Макаровиче Бархатове. И ей стало стыдно. Как могла она в такую минуту думать о нем?

Неторопливая смерть кротко смежала покорные старые веки Екатерины Семеновны. Дочери, чтобы не омрачить тихого ухода матери, сдерживали рыдания. Плач начался тотчас, как Марфенька-дурочка сказала, укаывая на миску с водой, стоящую на столе:

— Глядите, глядите, кунается в воде ее душенька...

Маврик этого не видел и не мог видеть, потому что он был простой, обыкновенный, а не блаженный. Марфенька же видела, как душа Екатерины Семеновны, трижды окунувшись в святой воде миски и этим смыв с себя все земное, подлетела к портрету Матвея Романовича и коснулась его лица, после чего Матвей Романович улыбнулся душе. Этого Маврик тоже не мог видеть по той же причине. Но что это было именно так, мальчик не сомневался.

IX

В эту зиму не было елки у Маврика. А та, что доставил Терентий Николаевич, пошла на похоронную хвою. Обрубленные сучья пихты были разбросаны вместе с другими привезенными из леса от зашеинского дома до кладбищенских ворот.

Траур по бабушке не позволил Маврику побывать и на других елках. Ему не запрещали этого, но ему было понятно и так, что в этом году неприлично скакать и петь по крайней мере сорок дней после смерти бабушки, которые он проживет у тети Кати.

Тетя Катя очень часто плакала по бабушке, и Маврику приходилось каждый раз утешать ее:

— Неужели ты, тетя Катя, не понимаешь, что ей там будет лучше с дедушкой? О чем же ты?

— Лучше-то лучше,— соглашалась тетя Катя,— но дома тоже неплохо было мамочке.

Это настораживало мальчика. В бога, в загробную жизнь он верил твердо и непреложно. Для него было ясно все, кроме разве одного, о чем он стеснялся спросить. А ему очень хотелось знать, в чем ходит бог-отец, когда он не в раю, а у себя дома. Неужели он, так же как отец Михаил, как отец протоиерей, тоже ходит в этих... в брюках. Это ужасно. Санчик говорит:

— Наверно, да. А в чем же ему ходить у себя дома? Ильюша сказал:

— Откуда я знаю? Если хочешь, спрошу у папы или у отца Петра. Уж он-то знает.

— Нет, нет, нет,— запротестовал Маврик.— Дай слово, что ни у кого не будешь об этом спрашивать!

Преследуемый неотвязной мыслью, не любивший неответченных вопросов, Маврик задал тете Кате обходной вопрос:

— Тетечка Катечка, как ты думаешь, что носят под низом архиерей, владыки... И вообще святые?

Екатерина Матвеевна не нашлась, как ответить племяннику. И она сказала, поразмыслив:

— У них под низом кружева, кружева, кружева и такой рюш с тюлевыми оборками.

Маврик больше не задавал тете Кате подобных вопросов. Он понял, что она этого не знает и сама.

Тягостно тянулись сорок дней большого траура, но не успели они кончиться, как пришло известие о смерти бабушки Толлиной. Начался второй траур, хотя и не такой строгий.

Хоронить ее никто не поехал. Письмо из богадельни пришло после того, как она была похоронена. Да и кто мог поехать? У мамы на руках маленькая Ириша, у тети Кати свое горе. Да и зимой из отрезанной Мильвы не так-то просто, а главное, недешево было поехать в Пермь.

В письме сообщалось, что оставшееся имущество после Пелагеи Ефимовны Толлиной передано монастырю, взявшему на себя расходы по похоронам. А о том, что в бабушкиной подушке были зашиты для Маврика деньги и эти деньги выпорола из подушки старуха Шептаева, кровать которой была напротив бабушкиной, об этом никто не знал.

По бабушке Толлиной тоже было заказано сорокадневное моление. Бабушка ведь... Хоть и строгая, но мать Маврикова отца.

Нехорошая была эта зима. Траурная. Снег и тот лежал какой-то черный. Говорят, что переменился ветер и дул из Замильвья, от этого садилось много сажки из заводских труб.

Была этой зимой еще одна смерть. Умер Иван Иванович Дудаков. Маврику тоже пришлось быть на его похоронах, потому что Иван Иванович всегда угощал

Маврика конфетами «Снежок». Отчим и мать Маврика также любили Ивана Ивановича и плакали у его гроба. Но в этих слезах кроме горя было что-то другое... А что, Маврик не хотел догадываться. Нельзя сказать, что ему было стыдно за мать, но как-то все-таки было неудобно, когда сразу же после похорон пришла телеграмма от хозяина фирмы «Пиво и воды». Болдырев сожалел о смерти честнейшего человека Ивана Ивановича Дудакова и в этой же телеграмме назначил, согласно воле покойного, на его место господина Непрелова.

Жена Ивана Ивановича, как ни просили ее Мавриковы папа и мама, не хотела оставаться в старой квартире и сразу же после похорон начала продавать вещи, которые ей были не нужны. За некоторые вещи, например за буфет, за диван и за столы, она назначила дорого, и Любовь Матвеевна просила убавить цену.

— Зато, Любочка,—убеждала ее овдовевшая Дудакова,—все это в рассрочку на год, а то и на два. Торопить не буду.

Маврику эта торговля тоже не понравилась. Еще вчера она рыдала на кладбище, а сегодня не забывает спросить два рубля за портрет царя в золотой раме.

— Как он тут хорош,—говорит она, любуясь царем.—И ни за что бы не рассталась с ним. Но куда он, такой большой, в моей маленькой квартирке?

Герасиму Петровичу тоже не нужен портрет, но как он может сказать, что ему не нужен царь.

— Если бы за рубль,—говорит он.—Предстоят такие расходы... У нас ведь нет и посуды.

— Хорошо,—торгуется Дудакова,—пусть будет не по-вашему и не по-моему. Полтора рубля.

Герасим Петрович со вздохом соглашается. Царь остается. Он будет висеть тут целых шесть лет. Полтора рубля—это деньги. Правда, рама хорошая, но как можно в эту раму вставить другой портрет или другую картину взамен царя?

Дудакова через день освободила квартиру. Пришли Васильевна Кумыниха, Санчикова мать и вымыли комнаты горячей водой с карболовой кислотой, чтобы не пахло покойным Иваном Ивановичем и ладаном. Запах карболовой кислоты убивает все запахи.

Длинная и узкая, как пенал, квартира стала квартирой нового доверенного Герасима Петровича Непрелова. Маврик там тоже получил хороший уголок с пись-

менным столиком и полкой для книг. В квартире тепло и светло, но квартира чужая. Кухня в доме у тети Кати и та ближе, роднее, дороже.

Герасим Петрович, став доверенным, не мог ходить в форменной судейской тужурке,— хотя к ней теперь и были пришиты другие пуговицы, но все равно. Теперь он не конторщик. Он будет получать семьдесят пять рублей в месяц при готовой квартире, при готовых дровах и освещении за счет фирмы, да еще особо по копейке с каждого проданного ведра пива и по три копейки с каждого ведра игристых фруктовых вод. Воды идут плохо. Их пьют только благородные и попы. А остальные предпочитают пиво. Вода — это газ, и ничего больше. А пиво — это и сытость. Оно хлебное.

Герасим Петрович теперь вполне может одеться в кредит у Куропаткина. Будет чем заплатить. И они с мамой идут покупают одежды, а ту, что нет в магазине, например длинный сюртук для визитов и для общественного собрания, можно заказать. Куропаткин шьет даже рясы, подрясники и форменное платье. У него пять швейных мастерских. Заказывай все, что хочешь, если ты кредитоспособный заказчик.

У Непреловых началась хорошая, счастливая пора жизни. Можно было бы объявить «среды» или «четверги», когда будут приходить гости, но год траурный. Придется повременить, хотя тетя Катя и говорит:

— Пожалуйста, Герасим Петрович, пожалуйста. Вы теперь лицо коммерческое, а мамочка вам не родная мать, и вас никто не осудит.

Но Герасим Петрович — человек учтивый и осторожный, ему не хотелось быть в чем-либо неприятным Екатерине Матвеевне — безупречной во всех отношениях, разумеется, кроме воспитания Маврика, которого она любит непростительно и пагубно «чересчур»...

Третья глава

I

Скрытая, кропотливая работа петербургских ищек, неустанное изучение дел сосланных большевиков, проверка и перепроверка круга их знакомств, разведывательная работа среди эмигрантов за границей позволили в уединенной тишине кабинетов политического сыска

столицы, куда стекается множество сведений, на первый взгляд и не имеющих никакого отношения к слежке, распознать некоторые новые следы. И один из них вел в Мильвенский завод, на Купеческую улицу, в дом Тихомировых.

Валерий Всеволодович Тихомиров, заподозренный в причастности к Пятой конференции Российской социал-демократической партии, происходившей два года тому назад, но не уличенный даже косвенно, был выслан из Петербурга в Мильву на срок, определенный ничего не определяющими словами «впредь до выяснения».

«Выяснения» показали, что находящийся под гласным надзором Тихомиров ведет себя безупречно, подозрительных знакомств не заводит, суждения имеет либеральные, но не представляющие большей опасности, чем суждения того же доктора Комарова и других господ, болтающих иногда о прибавке жалованья учителям и об открытии больниц для простого народа.

Донесения мильвенского пристава Вишневецкого подтверждались надежнейшими сообщениями двух тайных агентов, о существовании и работе которых в Мильве не знал пристав, так как они были подчинены непосредственно губернскому жандармскому управлению и проверяли деятельность даже самого господина Вишневецкого.

Оба агента добросовестнейше перечисляли всех знакомых Тихомирова, включая Ильюшу и Маврика, бывавших в тихомировском доме и любимых молодой женой Тихомирова — Еленой Емельяновной, урожденной Матушкиной. О мальчиках упоминалось в донесениях не по глупости агентов, а по прямому указанию наезжающего в Мильву резидента из губернии, сказавшего, что «и собака может быть связным коварных подрывников устоев империи». Поэтому, видимо, с тихомировской собаки Пальмы, одержимой весенними радостями и бегавшей по улицам, был снят ошейник. И если уж в собачьем ошейнике искалось крамольное, то почему бы не предположить, что смысленый Ильюша Киришабаум и обиженный кладбищенским попом Маврикий Толлин, принятые во многих домах, не могли быть использованы как связные, о чем мальчикам не обязательно знать. Отдай дяде имярек конверт с деньгами, да смотри не потеряй, не показывай, еще вытащат. Вот и тайная связь, когда связной не посвящается в тайну.

Окруженный редкостным вниманием двойного и даже тройного сыска (отец протоиерей тоже косвенно интересовался Валерием Всеволодовичем), Тихомиров аттестовался с самой хорошей стороны. И все шло к тому, что будут сняты ограничения в передвижении Тихомирова по империи и снова будет разрешено проживание в столичных городах, но Вишневецкий получил краткий приказ об усилении надзора за Тихомировым. А затем подробное разъяснение, в котором говорилось, какие вопросы и как нужно задать Тихомирову и о чем нужно сообщить в течение ближайшей недели.

Ревностный пристав отправился к Тихомирову.

II

— Христос воскресе, господа... Христос воскресе, ваше превосходительство! Христос воскресе, Варвара Николаевна! Христос воскресе, Валерий Всеволодович,— поздравил Вишневецкий всех и каждого по очереди из Тихомировых, произнося слова пасхального приветствия, как «здравия желаю».

Его провели, предложили сесть, а затем Валерий Всеволодович спросил, в чем он провинился и за что наказывает его Ростислав Робертович столь редким посещением.

— Я и сегодня не решился бы навестить вас, Валерий Всеволодович, если бы, во-первых, не особые обстоятельства и, во-вторых, не христианский и дворянский долг нанести праздничный визит.

— Полагаю, мы начнем разговор с «в-третьих». Рябиновой или шустовского с колоколом? — спросил Валерий Всеволодович, когда отец и мать, извинившись, удалились в соседнюю комнату, где нужно было продолжить с отцом протоиереем Калужниковым разговор об открытии мужской прогимназии.

— Я однолюб. Остаюсь верен все той же рябиновой.

— И я! — сказал Валерий Всеволодович, откупорив высокую коническую бутылку рябиновой.— Воистину воскресе, Ростислав Робертович.

Выпили стоя, не чокаясь.

— Шустов прославит себя в веках не коньяком, а, уверяю вас, рябиновой.

— И я такого же мнения, Ростислав Робертович! Мне иногда приходит в голову не где-то, а в нашем ря-

биновом краю создать хотя бы небольшое предприятие северных вин... Малиновых... рябиновых... черемуховых... можжевеловых... смородиновых... брусничных и... и даже березовых. И не смейтесь! — предупредил Валерий Всеволодович. — В этом есть национальный шарм, и я уверяю вас, Ростислав Робертович, не прошло бы и пяти лет, как прибыли фирмы «Северные вина» стали бы измещаться сотнями тысяч рублей.

— Вы серьезно, Валерий Всеволодович?

— Пока нет... Но если Чураков, Куропаткин и овдовевшая пароходчица Соскина согласятся образовать акционерное общество, я бы не задумываясь отдал ему все свои силы.

— И поселились бы здесь? В Мильве? А столица?

— Кто же мешает бывать там раз или два в году. Было бы на что. Но я человек реальный. Не мечтая о журавле в небе, я предпочту ограничиться небольшой молочной фермой в пойме Омутихи. Неподалеку от нашей мельницы, а может быть, и на месте ее.

— И давно вы одержимы этим, Валерий Всеволодович?

— С тех пор как женился. Впрочем, во мне давно, хоть я и не знал, живет предприниматель. В самом деле какой-то Киршбаум приезжает в Мильву с тремя засаженными трешницами, ему оказывают кредит портные, сапожники, часовые мастера, а он менее чем через год становится предпринимателем-буржуа, который угрожает вытеснить, а затем съесть малоприбыльную типографию вместе с господином Халдеевым. Почему же безвестный делец из Варшавы может стать обеспеченным человеком, а я, столбовой дворянин, внесенный в третью бархатную книгу, должен зависеть от подачек своего отца, обуреваемого либеральными прожеками создания политехнической гимназии, как будто Мильве мало городского училища и технического?

Пристав недоумевал:

— Что с вами произошло, Валерий Всеволодович?

— Ничего. Просто-напросто я недавно встретил на Омутихе обстоятельного человека. Герасима Петровича Непрелова. Нового доверенного пивного склада. Очаровательнейшая личность и великолепный охотник. К сожалению, непьющ.

— И что же он?

— Он поразил меня. Оказывается, для начала до-

статочно тридцати хороших холмогорских коров... Лучше тагилок, чтобы открыть молочную ферму. Масло кружочками. Масло брусками. Масло с кислинкой. Масло со слезинкой. А затем сыр, а-ля голландский, а-ля швейцарский, а-ля — черт знает какой. Свой дом на опушке с видом на цветущий луг. Своя небольшая псарня... И конечно, пруд. Пруд тоже не безубыточный и... И десять... пусть пять тысяч годового дохода, и ты... И ты граф Омутихинский, герцог Примильвенский, кум королю, государев крестник.

— А идеи?

— Какие идеи?

— Возвышенные идеи общественного переустройства?

— А-а-а... — будто вспомнив, рассмеялся Тихомиров. — Идеи под старость. В папином возрасте, когда уже не нужно заботиться о хлебе насущном и о том, чем его намазывать, чтобы он не застревал в горле. Не правда ли, Ростислав Робертович?

— А я думал, что сегодня обрадую вас, Валерий Всеволодович.

— Хотели предложить несколько тысяч в кредит?

— Нет, что вы. Я хотел порадовать вас ожидаемым в скором времени снятием с меня попечения по надзору за вами и разрешением проживания вам, где только вы пожелаете, — нагло лгал Вишневецкий Тихомирову.

— Увы и ах! — сказал, разводя руками, Тихомиров. — Разрешение проживать, где я пожелаю, пригодилось бы мне при деньгах. Петербург — это деньги. Москва — деньги. Лондон — тем более, а Париж — это деньги в квадрате, в кубе, в сто двадцать четвертой степени. Пейте, Ростислав Робертович, и спуститесь на землю. Зачем нам с вами свобода, которой мы не можем воспользоваться? Мы сосланы с вами в Мильву не кем-то, а обстоятельствами... Обстоятельствами имущественного состояния... Еще год тому назад я хотел удрать за границу...

— Разве это так просто, Валерий Всеволодович?

— Это очень просто.

— Каким же образом?

— Самым обыкновенным. Выходите вы из дому. С ружьем. С собакой. Все думают, что вы отправились на охоту. А вы отправились во Францию. И идете все прямо, прямо на запад.

— А паспорт?

— У вас же ружье, Ростислав Робертович. Вы же всегда можете с его помощью попросить встречного одолжить вам на время его паспорт, пообещать по миновании надобности выслать его ценным заказным... Наконец, Ростислав Робертович, ваш урядник за сто рублей вам выкрадет отличный паспорт. Сто рублей — это пять коров. И в конце концов, могли бы и вы, как дворянин дворянину, оказать паспортную услугу так, что вас никто бы не мог уличить при самом пристрастном разбирательстве дела.

— И мог бы. И могу! Я никогда не был трусом. Я был и остался уланом.

— Знаю. Я же вижу сквозь этот надетый теми же обстоятельствами имущественной несостоятельности полицейский мундир вашу добрую душу. Попроси я сейчас у вас что угодно — и я получу. Но мне не надо. Не надо. Здесь есть хотя бы свой стол, за которым я могу сидеть, и своя бутылка, из которой я могу наливать... А там? Что ждет меня там? Благородное нищенство? Скитания? А во имя чего? Я не утопист. И если в России произойдут какие-то реформы, то не ранее чем при наших внуках. Наливайте, пожалуйста, без церемоний, Ростислав Робертович...

— Я уже опьянен вашими речами, — сказал пристав. — Зачем вы мне говорите все это? Не играем ли мы в прятки, дорогой Валерий Всеволодович?

— Наверно. Людям трудно говорить правду в лицо. Ну как скажу, например, я вам — лицу официальному, что не вы за мною должны следить, а я за вами. Вы же не можете простить личных обид, нанесенных вам в полку, и разжалования вас в рядовые? Вы же отлично понимаете, оставаясь наедине с самим собой, что при иных обстоятельствах вы могли бы занимать пост товарища министра. Но этого не случилось. А отчего, Ростислав Робертович?

— Я не знаю, — сказал ошарашенный пристав. Он из всех сил хотел не верить Тихомирову, но не мог. Не мог, потому что все факты и агентура, не знавшая о разговоре пристава с Тихомировым, опровергали подозрения о побеге Тихомирова. Недавно Тихомиров более двух часов провел у Герасима Петровича Непрелова, совещаясь с ним, как лучше и как дешевле прикупить десятин шестьдесят-семьдесят земельных угодий,

прилегающих к мельнице на Омутихе. Тихомиров заботился и о деньгах. Он предлагал купцу Чуракову приобрести у него редчайшую коллекцию старинных пистолетов, которую начал собирать его дед, а отец подарил ему. Он побывал у нотариуса Шульгина и спрашивал его о ценах на землю и о возможных рассрочках платежей. Наконец, он из библиотеки города взял все книги, имеющие отношение к маслу, молоку, коровам. К тому же было перехвачено письмо, адресованное в Петербург книготорговцу Шаликову, с просьбой сообщить, какие книги он может достать о коровах, масле, молоке и обо всем, связанном с этим. И то, в чем теперь был совершенно убежден пристав, и в малой доле не поколебало жандармское управление. Но...

Но необычная история провала Тихомирова стоит того, чтобы мы знали о ней подробнее.

III

Нелегальная политическая литература, обнаруженная властями, обычно уничтожалась, кроме тех немногих экземпляров, которые нужны были как улики для следствия и как материал для выяснения авторов.

Среди таких неопознанных авторов листовок, статей, брошюр был некто, прозванный в политическом сыске «ядовитый златоуст», «неуязвимый трубадур». Написанное им проверщиками текстов узнавалось довольно быстро. Он не только не стремился изменять манеру своего письма, что делали иногда другие, а, наоборот, будто бравировал своей простотой, выразительностью фраз, выбором точнейших и острейших слов. По мнению большинства, этот «ядовитый златоуст» находился за границей. Политический анализ утверждал, что этот большевик близко знает Ленина.

Другие деятели столичной охраны утверждали, что «неуязвимый трубадур» очень даже уязвим, потому что эта ядовитая змея живет в Казани или поблизости от нее. К этому прилагались доказательства — листовки, отпечатанные штемпельным способом, явно написанные тем же лицом, кого в сыском деле считают эмигрантом.

За штемпельными мастерскими Казани началась слежка. Следили за штемпельщиками и в Самаре, Саратове, Царицыне, Харькове. Если б знал Григорий Киришбаум, сколько хлопот причиняют жандармам его штемпеля!

Обнаруженные в Одесском порту штемпельные листочки, а затем и один из штемпелей, изготовленный на Омутихинской мельнице Мартынычем, дали повод предположить, что поиски нужно перенести в Турцию. «Трубадура» стали искать в Константинополе. Обещали награды частным сыщикам. Успехов не было. А «ядовитый златоуст» день ото дня становился опаснее. Написанное им пересказывалось, перечитывалось, запоминалось, ходило в списках. Это была лаконичная, пламенная, неотразимая пропаганда, производившая впечатление и на тех, кто, служа царю, поддавался сомнениям.

Дело росло и запутывалось. Оно, наверно, запуталось бы окончательно, если бы не пришел предательский пакет из канцелярии его императорского величества.

Оказалось, провизор Аверкий Трофимович Мерцаев, оскорбленный тем, что губернатор не соизволил заметить его трактат о Тихомирове, и верящий в свой гений сыщика, пожаловался, как принято было выражаться, на высочайшее.

Образованные и высокопоставленные жандармы Санкт-Петербурга не только прочли со вниманием еще раз собственноручно перебеленный провизорский трактат, но и все, что можно было добыть из написанного Валерием Всеволодовичем. В частности, был прочитан его студенческий реферат «Защита и обвинение», подшитый к следственному делу.

Подозрения подтвердились, утверждения не требовали дальнейших доказательств. Литературный почерк, манера письма, авторский стиль выдали с головой Валерия Всеволодовича.

Теперь все ясно. Нетерпеливый следователь торопит арест Тихомирова. С каким блеском будет предъявлено арестованному обвинение. С какой неоспоримостью он докажет, как бессмысленно отрицать лексическую схожесть текстов... Затем суд... Каторга... Награждение следователя... Благодарность провинциальному аптекарю...

Все это так бы и было, если бы подобные дела решал только следователь. «Борзые» и «легалые» повыше решили, что торопиться с арестом не следует, так как всякому ясно, что Тихомиров не один. Через кого-то и кому-то им пересылались рукописи листовок и брошюр.

А через кого? Кто и где его сообщники? В Казани? В Одессе? В Самаре? В Москве? Это же необходимо узнать, нужно усиленно и умно следить.

Однако слежка не дала никаких результатов. И даже напротив — осложнила дело. В печати более не появлялась ни одна тихомировская статья. Ни одна листовка. Как отрезало.

Неужели его кто-то предупредил? Кто-то выдал тайну? Такое случалось в жандармских кругах. Все, что сколько-нибудь стоит, может быть продано.

А Тихомирова вторично насторожил тот же Мерцаев. Если в первый раз его разговор о статье «Скрытые резервы» можно было объяснить простым совпадением, излишней мнительностью Тихомирова, тем более что потом было все тихо и благополучно, то теперь этого сказать было нельзя.

Мерцаев, получив через губернского чиновника, побывавшего в Мильве, секретную благодарность из Петербурга, поделился этой радостью с женой. Правда, он попросил ее поклясться перед иконой до того, как он сообщил ей, что его наконец-то удостоили чести быть тайным сыщиком империи. Жена Мерцаева не выдала этой тайны жене доктора Комарова просто так. Она заставила Конкордию Павловну тоже поклясться перед иконой и только после этого сообщила, что Тихомиров кандидат на каторгу.

Конкордия Павловна, принадлежа к независимым, передовым, прогрессивным и еще каким-то, не стала заставлять Валерия Всеволодовича клясться перед иконой. Она рассказала все и посоветовала бежать.

Матушкин и Кулемин сообщили через Бархатова о положении дел. А Бархатов тем временем получил решение о переброске Тихомирова за границу. Оставлять далее его в России — значило потерять талантливого пропагандиста, заметного партийного публициста. При переезде за границу партия сохраняла своего верного трибуна. Теперь оставалось только осуществить побег.

Выполнение решения было поручено Ивану Макаровичу Бархатову, благополучная сапожная мастерская которого доживала последние дни. Туда повадились подозрительные клиенты. Зоркий Иван Макарович, имевший дело с петербургскими мастерами слежки, стал жаловаться шпикам на малые доходы и большие расходы. Готовясь к отъезду в Мильву, он говорил, что

Пермь — дорогой город и что он отправится искать свое сапожное счастье в тихие места.

Мастерская была закрыта. Явка перенесена. Иван Макарович для отвода глаз ездил в Чусовую, в Пашию, в Кушву, но нигде пока не приглядел для себя места.

Наконец прошел камский лед, и можно было отправляться в Мильву.

IV

Еще вчера, перед отъездом в Мильву, казалось, что все обстоит очень хорошо. Филеры оставили Ивана Макаровича, а сегодня, на пристани, он почувствовал на себе чужие глаза.

Иван Макарович не знал, что жандармам известно о готовящемся побеге Тихомирова. Хотя донесения об этом были расплывчаты и в них не указывалось подробностей и фамилии связного, все же было сказано, что некто поедет в Мильвенский завод с первым пароходом.

Спрашивается, можно ли было пренебречь сапожником Бархатовым, числившимся в подозрительных, когда он купил билет до Мильвенской пристани?

На пароходе к нему пристал молодчик, сказавшийся приказчиком из Ирбита, которого якобы прогнал приревновавший к своей жене хозяин магазина. Поэтому прогнанному ничего не остается, как искать нового хозяина, а пока он не найдется — выпивать и закусывать.

Спешащий признаться в неблагоприятных поступках приказчик не мог не вызвать подозрения Ивана Макаровича, и он, желая проверить, что это за «приказчик», не отказался пообедать с ним на пароходе.

— А вы куда, ваша честь, изволите ехать? — спросил приказчик.

— Не знаю, — ответил Иван Макарович. — Может быть, сойду в Чермозе, а может быть, проеду в Чердын. А вы?

Приказчик не ждал такого вопроса. И он сказал:

— Я тоже не знаю.

— Значит, нам по пути? Вы ищете магазин, а я ищу, где можно будет открыть мастерскую по мелкому сапожному ремонту. Говорят, что в Пожве на этот счет рай.

— Ну, коли рай, — сказал деланно заплетающимся языком приказчик, — поедем вместе. Я приплачу к билету, и вся недолга.

— А докуда у вас взят билет, уважаемый?

Приказчик сделал вид, что не расслышал вопроса. Тогда Иван Макарович повторил его, и приказчик ответил:

— А я спяна и не посмотрел. Сказал — вверх по Каме — и подал деньги. Где захочу, там и сойду. Понравится место — и сойду.

Подозрения оправдывались. Они оправдывались тем более, что приказчик и ночью появлялся на палубе, не пропуская ни одной пристани. Значит, не пропустит и Мильвы. И Бархатов не ошибся. Камская пристань Мильвы была утром. Приказчик появился на палубе и сделал вид, что не заметил Бархатова. А Бархатов был уверен, что он тоже сойдет вместе с ним. Но этого не случилось. В его задачу не входило следовать по пятам за Бархатовым. Вместо него на пристани сошел другой. Вот он-то и пойдет по следу Бархатова. А приказчику всего-навсего нужно было проверить, не проспал ли, не проглядел ли агент, приставленный к Бархатову.

Молодой и подающий надежды следователь жандармского управления Сажenceв, хотя неуклюже, но небесполезно притворявшийся приказчиком, теперь был окончательно убежден, что Бархатов едет для встречи с Тихомировым и везет ему все необходимое для побега. И он почти не ошибался, если не считать, что Иван Макарович Бархатов, прошедший хорошую школу подполья, не вез при себе ничего. Это было бы слишком опрометчиво для него. Теперь, после встречи с приказчиком, Бархатов еще раз убедился, как правильно поступили он и его товарищи, отправляя в Мильву двоих. Второй никак не мог быть заподозрен, и его не посмели бы даже обыскать.

Но и следователь не так прост и легкомыслен. Он не оставит на попечение агента преследуемого Бархатова, он застанет его на месте преступления в доме Тихомировых и тотчас допросит с уликами в руках. Поэтому он сойдет с парохода двумя-тремя верстами выше. За поворотом реки. Капитан парохода не сумеет отказать ему остановить пароход и высадить чиновника особых поручений при губернаторе (у него есть и такие документы) на лодке, у первой деревни. А там староста деревни предоставит ему лошадь.

Игра стоит свеч. Семь-десять лишних верст — не околота.

Несколько часов тому назад, ранним утром, на Камской пристани Мильвы сошло человек пятнадцать. Среди них — две барыньки в шляпках с полинявшими колленкоровыми цветами, торговец, рабочий, крестьянин, студент, чиновник, монах с опечатанной красной сургучной печатью кружкой, подвыпивший полицейский, пильщик с продольной пилой, подслеповатенький старичок с перевязанной щекой, кто-то еще и Бархатов.

Теперь у Бархатова — единственный вопрос: следят ли за ним и кто следит?

Приехавших на пристани окружили мужики в лаптях, мильвенские рабочие, промышляющие между сменами извозом. Все они предлагали свои услуги:

— Домчим-доведем, ястребком порхнем!

— Тише-то едешь, дальше будешь, — убеждал крестьянин с кнутом, в синем зипуне. — На простой-то телеге способнее. Полтинник с двоих.

— Ежели позволите? — обратился к Ивану Макаровичу старичок с перевязанной щекой. — В складчину составлю компанию. Одному-то дорого.

Бархатов решил идти пешком. Если кто-то следит за ним, то он тоже будет вынужден идти пешком и этим обнаружит себя. Пешему можно свернуть, остановиться, сделать крюк по лесу, по берегу речки и затеряться.

— Да зачем же в такое утро ехать на лошади? Тут же рукой подать.

— Совершенно справедливо, ваше степенство, — поддержал Бархатова подвыпивший пообносившийся полицейский. — И пообдует на горе. А если не пообдует, можно добавить. При мне сороковочка. Р-раз — и с добрым утром. Пошли, — предложил он. — За мной как за каменной стеной.

— Да уж с вами беспокоиться нечего, — отозвался улыбаясь Бархатов, — не ограбят.

— Пила окаянная тяжела, — пожаловался пильщик, — а то бы я тоже пешочком.

— А у меня багаж легкий, — опять заговорил старичок с перевязанной щекой. — Пожалуй, и я пешком. А полтинник внучаткам на пряники. Мне ведь еще за Мильву верст двадцать пять.

Теперь Бархатову хотелось знать, кто из них идет впервые в Мильву, и он спросил:

— А кто будет проводником? Кому известна дорога?

— Я,— откликнулся студент.— Знаю кратчайшее направление.

— Вы здешний? — спросил Бархатов студента.

— Почти,— ответил он.— Я бывал здесь на каникулах. И теперь возвращаюсь сюда, как в родные палестины.

— Ясно,— сказал Бархатов.— Тогда ведите короткой тропой.

Багаж давно не брившегося студента состоял из одного заплечного мешка и связки книг.

— Тронулись, господа! — скомандовал он и принялся объяснять, как гид: — Сейчас нам предстоит одолеть пять или шесть петель чудесной горной дороги, которая вознаградит нас изумительным ландшафтом. С этого крутого берега мы увидим неоглядные камские просторы... Вон, видите,— указал студент на черную палочку, торчащую на кромке высокого глинистого берега,— долгоногий монах уже наслаждается зрелищем.

Бархатов шел последним, оценивая каждого из приставших к нему спутников. Всякий преследуемый в каждом встречном и тем более следующим за ним видит преследователя.

Кто же из них следит за ним?

Может быть, словоохотливый студент с полинявшими от времени петлицами тужурки? Таких подсылают. Но студент приехал ночью на другом пароходе, проспав до рассвета на пристани. Его, пожалуй, нужно исключить.

А полицейский? Едва ли. Слишком уж откровенный прием слежки. А впрочем, бывает и так.

Мог им быть и странный пыльщик, отправившийся на поиски работы без напарника. Это ненормально. Однако пыльщику можно бы и не сокрушаться, найдет ли он второго, а сказать мимоходом, что второй его ожидает в Мильве. И тем не менее пыльщика тоже нельзя исключить из подозреваемых, потому что слежка за последние годы усложняет свои методы. Не следует исключать из поля зрения и старичка, похожего на заштатного архивариуса.

Пока поднимались в гору, все молчали. Поднявшись же, заговорили.

— А я,— объявил пыльщик,— сразу же на базар. Сегодня пятница. К обеду на площади будет черным-

черно. Понаедут из дальних деревень. А в субботу еще того гуще. Была бы пила, а к пиле руки найдутся.

— Это уж так точно,—сказал полицейский.— А я к сыну. Не ждет. А внук ждет. Семь лет мальчику. И такой, такой, я вам скажу, отчаянный мальчугашечка... одним словом, арестант-забастовщик, золотая рота... А из себя ангелок. В дочь.

— Любите внука? — спросил Бархатов.

— А кто их не любит, ваше степенство! Агнцы же они. Агнцы господни,—сказал полицейский и перекрестился на монаха, стоящего поодаль на кромке берега.— Теперь-то уж я по чистой в отставку вышел. Столько лет отбарабанил, ваше степенство. Нелегка была моя служба в полиции, ох нелегка. Пристав, бывало, чаиликеры распивает, а ты мерзни, дежурь, карауль... А разве их укараулишь всех, когда неизвестно, что в голове у родной дочери. Хоть бы и вас, ваше степенство, взять. Как я могу знать, что там делается,—полицейский ткнул пальцем в свою грудь,—когда я сам за себя ручаться не могу?

— И давно вы так? — спросил с сочувственной иронией студент, предлагая всем и полицейскому тоненькие, собственной набивки папиросы.

— Недавно, господин студент,—ответил, закуривая, полицейский.— После угона брата.

— А куда его угнали? — снова спросил студент.

— Туда,—ответил полицейский, указывая на солнце, поднявшееся над лесом.

— А кто был ваш брат? — спросил Иван Макарович.

— Хороший человек. В Лысьве литейщиком работал.

— Бывает,—послышался болезненный голос старичка.— Всякое бывает. Нынче никого не милуют.

Наступило неловкое молчание. Бархатову стало жаль полицейского, у которого вдруг навернулась слеза. «Бывает, всякое бывает»,—повторилось в голове Ивана Макаровича.

— И вас за это отставили?

— Да нет,—сказал полицейский.— Годы вышли. Кому нужен старый пес? Поживу сколько-то у дочери, а потом, может быть, и...—Он посмотрел снова на монаха и неопределенно сказал: — Махну куда глаза глядят. Может, в тихую обитель грехи замаливать.

— М-да, худо быть в больших годах,—прошамкал

старичок и обратился к студенту: — А вы к кому изволите в Мильву?

— К Тихомирову. Слыхали такую фамилию?

— Это к какому же такому Тихомирову? Из купцов? — спросил старичок.

— Совершенно верно, — сказал, расхохотавшись, студент. — У его отца лабаз со щепными товарами, ворванью, смолой и дегтем, а у сына скупка и продажа носильных вещей. Значит, вы не из Мильвы, если вам не известны Тихомировы.

— Я лет двадцать не был там.

— Все равно. А вы тоже впервые? — спросил студент Бархатова.

— Да-а, — сказал он. — Там у меня ни родных, ни знакомых, если не считать одного девятилетнего школьника. К нему-то я и заеду, а потом уже займусь своими делами.

Далее Бархатов подробно развил старую версию о желании открыть мастерскую мелкого ремонта обуви, объяснил, почему он решил оставить Пермь, и не преминул рассказать о своих дальнейших намерениях, так как он теперь был уверен, что один, а то и двое из слушающих его хотят знать подробнее:

— Если в Мильве нашего брата достаточно, поеду попытать счастья в Пожву, в Чердынь, а то и дальше...

VI

Все слушали Бархатова с одинаковым интересом, и ни один ничем не выдал себя, только старичок спросил:

— А что же вы без инструмента?

— Мой инструмент — молоток да шило. Они при мне. Если угодно, подлатаю на ходу.

Солнце стремительно подымалось. Студент предложил трогаться. Все поднялись.

— Ой! — тихо простонал Иван Макарович. — Опять, кажется, правая нога.

— Что такое? — забеспокоился студент.

— Может, водочкой натереть? — предложил полицейский.

— Да нет. Пройдет. Часок посидишь, и проходит. Что-то вроде ревматизма. Идите, — попросил Бархатов. — Не сидеть же вам тут со мной. Случается, и два часа мучит, а потом как рукой снимет.

Бархатов придумал эту новую проверку, чтобы выяснить, кто с ним останется.

Студент сказал, что по жаре ему будет трудно идти, затем, попросив извинения, посоветовал Бархатову не экономить полтинник и воспользоваться попутной лошастью.

— А мне беспрерывно надо быть на базаре,— сказал пильщик.

— И я по жаре не хожу,— объяснил свой уход полицейский.

— Что и говорить, что и говорить — у каждого свое дело,— сказал сочувственно старичок.— А мне торопиться некуда. Вы меня на пристани не бросили,— обратился он к Бархатову,— и я вас не брошу.

«Неужели он?» — подумал Бархатов.

Нелюдимый молодой монах с жиденькой бородкой тоже поплелся за ушедшими, постукивая о сухую дорогу посохом.

Иван Макарович, не просидев и полчаса, сказал старику про ногу:

— Опять как новенькая. Я готов.

И они пошли. Старичок ничем не проявлял своего интереса к Ивану Макаровичу. Они шли молча, и только на мосту, нагнав монаха, любующегося резвящейся рыбой, старичок заметил:

— Опять он тут? И что ему нужно от нас?

— А что ему может быть нужно от нас? — насторожился Иван Макарович.— Мы сами по себе. Он сам по себе.

— Это безусловно, и тем не менее меня всегда берет сомнение, ежели не отстает незнакомый человек, хоть бы и монах.

Тогда Бархатов попробовал прощупать старичка прямее:

— А меня не берет сомнение, ежели,— повторил он его слова,— от меня не отстает незнакомый человек. Хоть бы вы. Я же не знаю вашего имени, фамилии, ни кто вы.

— А я не таюсь от вас,— ответил, заметно смутившись, старичок.— Могу не толи что себя назвать, и паспорт... Вот он, пожалуйста.

— Да что я, проверщик какой? Я же к слову... Вы о монахе, а я о вас. Привык, знаете ли, хорошо думать о людях...

В это время они проходили по мосту. Перегнувшись через перила, монах бросал рыбам сухарики и тихо напевал:

Афон-гора, гора святая...

За мостом начались заводские покосы, медленный подъем. Бархатов и старик снова пошли молча. Поднявшись на гору и увидев Мильву, старичок спросил:

— А нельзя у ваших знакомых часок-другой обси- деться с дороги?

Бархатов решительно отказал:

— Я и сам не знаю, могу ли воспользоваться их гос- теприимством. И к тому же я прежде отправляюсь на базар, а потом уже к Зашеиным...

— К кому-с?

— К Зашеиным,— повторил Бархатов.— Ходовая улица, дом девять...

— Адрес мне ни к чему Я же так просто спросил.

— И я просто,— сказал Бархатов.— Н-ну... простим- ся тут... Бывайте...

— Куда же вы?

— Хочу зайти с устатку.— Иван Макарович указал на окраинную пивную с вывеской «Пиво и воды това- рищества Болдыревых».

— И я, пожалуй...

— Не советую. Берегите деньги внукам на пряники.

— И то,— согласился старичок, но не отставал от Бархатова. Дождался его у пивной.

По улице прошел монах с кружкой. Он шел, пыля по дороге.

— Опять роковая встреча,— сказал, выходя из пив- ной, Бархатов.— И вы и он. Пошли тогда на базар.

И старичок поплелся за Бархатовым, а монах, гун- дося себе под нос все ту же «Афон-гору, гору святую», прошел мимо, никого не видя, не обращая внимания на дома, на встречных, на широкую Купеческую улицу.

На базаре в торговом ряду Бархатов добросовестно стал заходить в сапожные лавки, приценяться, спраши- вать, как идет сапожный товар, много ли мастерских по чинке обуви, принимая все меры, чтобы измотать ста- ричка, затеряться, а потом решить, как себя вести дальше.

Было ясно, что ему не придется воспользоваться ни одним из адресов мильвенских подпольщиков. У него

не вылетит пломба, и он не пойдет к зубному врачу Матушкиной. Не будет рисковать он появлением в штемпельной мастерской Киршбаума, где в базарные дни бывает множество разного народа. Нельзя рисковать. За ним следят.

VII

— А к нам кто-то приехал,— сообщила Екатерина Матвеевна вернувшемуся из школы Маврику. Он вторую неделю жил у тетки.

— Кто?

— Угадай!

Маврик вбежал в большую комнату и увидел сидящего за столом мужчину в темном пиджаке с коротко стриженной русой бородкой и остановился, не узнав своего пермского друга, сапожника Ивана Макаровича. Но когда он улыбнулся, Маврик взвизгнул и бросился к Бархатову.

— Как вы здесь очутились, Иван Макарович?

— Соскучился по тебе. Ты же приглашал...

— Нет, я серьезно...

— И я серьезно. Ты вырос, бараша. Ну, рассказывай, как живешь? — спросил Иван Макарович, усадив Маврика к себе на колени. — Кое-что о тебе я уже слышал и даже читал в «Губернских ведомостях». Молодец. И не могло быть иначе. Я же знал, с кем вожу дружбу.

Пока так говорил Бархатов, лаская мальчика, Екатерина Матвеевна думала о Герасиме Петровиче и опять невольно сравнивала его с этим чужим человеком, которому доставляет неподдельную радость встреча с ее племянником.

х

А Маврик думал, как было бы хорошо, если бы Иван Макарович поселился в тети Катин дом. Сначала бы так просто... А потом бы тетя Катя узнала, какой он хороший, как скучно жить одному, и, может быть, согласилась стать его женой? А уж он-то захочет. Маврику стоит только попросить его, и он захочет.

А почему бы им не стать мужем и женой? Ведь его второй папа, Герасим Петрович, ничуть не лучше Ивана Макаровича и женился на такой красивой его маме. И дом бы тогда не надо продавать. Зачем же продавать дом, когда в нем есть мужчина? Иван Макарович от-

крыл бы в нижнем этаже хорошую сапожную мастерскую. Вскопал бы заброшенный огород. Купили бы курицу с цыплятами. Цыплятки бы выросли и стали бы большими курицами. Можно бы и лошадь купить. Небольшую такую лошадку. Хотя и не пони, но не такую дурацкую махину, как Воронко у папы. На него и не сядешь. А когда бы Маврик подрос, то сказал бы маме, что он хочет жить с тетей Катей. И мама с папой посопротивлялись бы, посопротивлялись день или два, а потом бы сказали, что, если так лучше для Маврика, они согласны. Тогда бы и у них была своя семья. И у Маврика с тетей Катей и с Иваном Макаровичем была бы своя семья.

Иван Макарович Бархатов думал примерно так же, как и Маврик. Здесь все наводило его на мысли о тихом счастье. И пустующий дом, и глаза Екатерины Матвеевны, теплящиеся кротким зеленоватым светом, излучающие этот свет помимо ее воли — ведь и цветок расточает аромат, потому что природой дано ему пахнуть и этим заставлять замечать себя.

Это внимание к нему Екатерина Матвеевна объясняет себе как заслуженную плату за добрые чувства к Маврику, а сама разглядывает его тонкий прямой нос, сломанные, как у ее отца, как у Маврика, брови, не начавшую еще лысеть круглую голову, очень идущую к его розовому лицу, умеренно светлую, умеренно темную бородку и мягкие пушистые усы. Он не выше, но и не ниже ее ростом. Никакого живота. Грудь сильная, широкая. Курит умеренно. Башмаки чистые. Не блестят, как у заводских щеголей, но и без пыли. Речь плавная. Слов много. Начитан. Мог бы, наверно, занимать место ничуть не худшее, чем Герасим Петрович. И так рано потерял жену. Хочется помочь ему. И если он устроится в Мильве, то она непременно познакомит его с молодой вдовой Фанечкой Красильниковой. И как знать, может быть, она понравится ему. А уж он-то ей — без всякого сомнения. И она с удовольствием станет его женой.

Иван Макарович не спускает со своих коленей Маврика, и он не чувствует себя маленьким, которого гладят как ребенка, а, наоборот, считает, что на коленях сидеть удобнее, чем рядом, хочет ласки сильных мужских рук, и ему даже приятно молчать. Не все же скажешь. И не все нужно говорить.

Белая скатерть. Румяные пирожки. Чай со сливками. Безукоризненная чистота. Чистота во всем. Чистота стен, протертых стекол окон, блестящего пола. Чистота ее голоса, глаз, слов и мыслей. Главное, мыслей. Разве и не в этом счастье человека? Она же ничего-ничегошеньки не знает. Иван Макарович мог бы явиться в Мильвенский завод и назваться слесарем-лекальщиком-механиком, а затем показать, что может он делать, какое родовое наследство мастера приняли из отцовских рук его руки. И он не посрамил бы эти стены зашеинского дома, и она гордилась бы им. Но зачем думать об этом Ивану Макаровичу, когда в любой день его могут арестовать, а затем отправить по той же дорожке в каторжные края, в кандалные места, где он уже был дважды.

Еще два дня тому назад, перед отъездом в Мильву, все казалось благополучно, а вчера, в Перми, на пристани, Иван Макарович почувствовал за своей спиной чужие глаза.

VIII

Молодой и подающий надежды следователь жандармского управления Сажenceв, опередив Бархатова и появившись у пристава Вишневецкого, сказал, что теперь он сам будет вести наблюдение за тихомировским домом, а для этой цели просил немедленно поселить его в доме купца Куропаткина, в одной из комнат второго этажа, из окон которой виден тихомировский дом.

Купец Куропаткин не стал спрашивать, «зачем и для чего» в его дом пришел неизвестный, ответил Вишневецкому любезным согласием и предоставил свой кабинет с телефоном.

Агенты тайной службы слонялись возле дома сами по себе. В соседних дворах тоже были «глаза», которые могли заметить всякого, перелезшего через тихомировский забор.

Напряжение сыщиков достигало высшего накала. Кто-то да придет к Тихомирову сегодня или завтра. И если связным не окажется подозреваемый Бархатов, то попадется другой, может быть еще и не приехавший сегодня в Мильву, но придет завтра и никуда не денется.

Ждать долго не пришлось. У тихомировского крыль-

ца появился небритый студент с книгами. Он вошел в дом и не вышел из него. У ищеек стучали от радости зубы. Но пристав разочаровал. Студент приехал не к сыну, а к отцу Тихомирову, который пригласил его преподавать историю в предполагаемой прогимназии. Об этом хорошо знал Вишневецкий по переписке генерала Тихомирова и Павлика Кривоногова (так называли студента в тихомировской семье).

Напрасным было бы подозревать и старую Миленыху, которая ежедневно приносила Тихомировым молоко. Вне подозрения был и почтальон. И уж тем более нельзя было заподозрить пыльного монаха в старой скуфье, заходившего в магазины и в дома, что побогаче, за медяками на построение храма. Он зашел и не мог не зайти в заметный старинный дом Тихомировых. И, зайдя, пробыл там не более чем в других домах и вышел, неодобрительно махнув рукой,—видимо, пожертвование не оказалось щедрым или вовсе его не было. Монах поплелся, пыля, в магазин колониальных товаров.

Терентия Николаевича Лосева, ходившего к Тихомировым колоть дрова, подметать двор, как он это делал во многих домах, тоже никак нельзя было принять за связного. Тем более этого сделать было нельзя, что Терентий Лосев, не заходя в дом, разговаривал с Валерием Всеволодовичем через открытое окно. И тот попросил Лосева передать Маврику, что завтра состоится обещанная рыбная ловля спиннингом.

Беспечное лицо Тихомирова, появившегося на улице, поражало следователя. Он не мог быть таким, ожидая связного. А вдруг Тихомиров не знает ничего о связном и узнает только после встречи с ним, когда тот привезет ему документы?

Валерий Всеволодович вышел из дому, насвистывая, и направился в галантерейный магазин, где продавались и рыболовные принадлежности. Один из тайных агентов последовал за ним.

В магазине были куплены два десятка различных блесен и два небольших спиннинговых удилища.

— Начался жор,—сообщил он приказчику.— И завтра от меня и от моих маленьких друзей не уйдут изголовавшиеся за зиму щуки.

Теперь оставалось выяснить, куда пойдет он завтра ловить шук. Может быть, эта ловля всего лишь повод

для встречи с тем, кто приехал? Это не исключено. Нужно следить.

И пока пристав обсуждал, как будет осуществлено наблюдение, в дом Зашеинных пришел Шитиков — местный агент страхового общества «Саламандра». Он принялся убеждать Екатерину Матвеевну, что ей гораздо выгоднее перестраховать свой дом от огня в обществе «Саламандра», более надежном, нежели страховое общество «Россия».

Екатерина Матвеевна, желая как можно скорее выпроводить прилипчивого Шитикова, сказала:

— Ну что это вы, право, в базарный день, и к тому же у Маврика гость из Перми.

А Шитиков и не думал уходить, потому что гость-то и нужен был ему.

— Может быть, вы, почтеннейший гость, убедите Екатерину Матвеевну и подтвердите, как много в вашем губернском городе на уважаемых домах прибито вот этих самых бланочков,— сказал он, предъявляя жестяную красочную вывесочку страхового общества «Саламандра», а затем, как бы кстати, спросил: — Надолго ли, прошу прощения, прибыли в наши края и не интересуетесь, случайно, штучными ружьями фирмы Петрова, в коей я имею честь состоять представителем? Есть такие ружья, что в Перми можно взять за них и втрое, а уж вдвое-то — гарантирую.

— Спасибо,— ответил Иван Макарович, глядя в шустренькие заискивающие глазки.— Я ведь проездом. Уезжаю сегодня с ночным в Чердынь.

— В Чердынь? Да что же там делать? Зачем же в Чердынь?

Бархатов ответил:

— Если вы принимаете во мне такое участие, то извольте. В Чердыни есть работа по сапожной части. Я ведь сапожник.

— Сапожник? А не похоже, совсем не похоже. Вы больше на образованного смахиваете.

— Да ведь мало ли кто на кого смахивает, да не бывает им. Имею честь. Мне еще надо позаботиться о лошади на пристань. Часиков в шесть я выеду, чтобы не запоздать.

— Счастливого вам. Желаю здравствовать, Екатерина Матвеевна. Надеюсь в дальнейшем уговорить... До свиданья.

Агент «Саламандры» узнал все, что ему нужно было узнать, и с Бархатова было снято подозрение. Если он, не побывав ни в одном из «учетных» домов, едет в Чердынь, значит, он действительно ищет работу и за ним напрасно следили.

Вскоре в доме Зашеинных появился Терентий Николаевич Лосев и передал Маврику приглашение Валерия Всеволодовича на рыбную ловлю.

— Ну вот, бараша,— обрадовался не менее Маврика Бархатов,— теперь дело в шляпе. Готовь большой кошель для улова.

После Лосева пришел Артемий Гаврилович Кулемин и попросил у Екатерины Матвеевны дать ему заместо якорька железную «кошку», на которую «ах как хорошо ставить лодку посреди пруда».

Артемий Гаврилович очень сожалел, что ему не придется порыбачить на Омутихинском прудке, куда завтра отправляется Тихомиров с мальчиками. Кулемин превосходно вел свою роль. Он будто только сейчас, заметив своего друга Ивана Макаровича Бархатова, смутившись, сказал:

— Не сердайте, пожалуйста, на серость,— поклонился он,— не разглядел. Вы, главное, против солнышка. Будем знакомы. Кулемин. Артемий. Ихний, то есть Екатерины Матвеевны, сосед.

Любуясь товарищем, Иван Макарович назвал по фамилии и спросил о рыбалке, и Кулемин принялся отвечать:

— На Омутихинском прудке прехорошая рыба берет. И, главное, недалеко. Выйдешь на Старомощенную улицу и все большаком, большаком до шестой версты. А от столба шестой версты такая красотеющая дорожка через ивнячок да тальничек, что и не заметишь, как дойдешь до лесной вышки. Под вышкой, как полагается, перекур, а от нее старая мельница как на ладошке виднеется. Не поверите— вот такие леши случаются... Жаль, что молодой Тихомиров едет туда,— сказал, вздохнув, Кулемин.— Я с утра знал, что хорошего ждать нечего. Монаха встретил. В аккурат он из тихомировского дома вышел... Верная неудача. Хоть бы поп, а то монах, да еще с кружкой...

Тут они распростились.

Так Иван Макарович узнал все, что ему было необходимо.

Около шести часов вечера Яков Евсеевич Кумынин подал свою Буланиху, запряженную в ходок с коробком.

Иван Макарович Бархатов трогательно прощался с Мавриком:

— Бараша-кудряша, теперь мы, наверно, увидимся не скоро, но ты знай, что мы с тобой обязательно увидимся.

— Иначе не может быть. И лучше бы, если скорей, — призналась Екатерина Матвеевна. — Он так любит вас.

— Да ведь не любовь управляет людьми. Человек предполагает, а обстоятельства располагают... Мы обязательно увидимся, Екатерина Матвеевна.

Бархатов говорил так, будто он уезжал не в Чердынь, а куда-то очень далеко и надолго.

Екатерина Матвеевна, не сдержав слез, объяснила это тем, что ее всегда трогает любовь к Маврику. И для того, кто его любит, ей ничего не жаль, даже... Даже своего здоровья, которое тоже нужно для Маврика.

Буланиха ленивой рысцой протащила ходок по Купеческой улице, и следователь видел из окна куропаткинского дома уезжающего на пристань Бархатова.

— Значит, не он? Так кто же?

Нелегко, ой как нелегко сидеть в комнате с закрытыми шпорами, когда на улице такой розовый вечер... А в Перми? В Перми уже открылся загородный сад, и там столько шляпок, столько шаловливых глазок...

— Ну где же ты, проклятый связной? Когда же можно будет наконец сказать: «Вы арестованы!» Затем обыск. Предварительный допрос. И все. Пропади ты пропадом, Мильва.

Появляйся же ты скорее, безмозглый осел...

Иван Макарович, рассчитавшись с Кумыниным, отправился на пристань. Осмотревшись там, он решил побродить по берегу. А потом, убедившись, что за ним никто не смотрит, зашел в лесок, а затем исчез.

Ивану Макаровичу не нужны дороги. Он не сбивался с пути, убегая с каторги, а тут-то уж никак нельзя заблудиться.

Всю ночь не смыкал глаз следователь. Ночь — наиболее вероятное время для встречи подпольщиков. Но ни одна душа не постучалась в тихомировский дом и не задержалась возле него. И только утром появились два мальчика.

— Мы пришли, Валерий Всеволодович! Вставайте! — крикнул в окно Маврик.

— А я тоже в сапогах! Мне тоже купили сапоги, — сообщал Илья.

— Тише вы... Разбудите бабушку, — предупредил через окно старший племянник Валерия Всеволодовича. — Мы сейчас.

Ждать пришлось недолго. Сначала появился с удильщиком в чехле Викторин, а за ним его дядя.

— Это тебе, Маврикий, а это тебе, Илья, — Валерий Всеволодович подал мальчикам удильща в таких же клетчатых чехлах, как и у Викторина. — Рассматривать будете потом. Хорошо ли вы одеты? — Он осмотрел их и сказал: — Преотлично. Теперь за мной.

И они пошли. Следователь знал, что Тихомиров никуда не уйдет от тех, кто будет следовать за ним. Хотя ему и казалась в данном случае слежка излишней. В самом деле — зачем следить за ним так открыто? Не пойдет же он вместе с мальчиками на встречу с кем-то и тем более не побежит за границу в этом легоньком брезентовом плаще, в старой фуражке и в охотничьих сапогах. Но все же приставу нужно было позвонить. И он позвонил.

— Не извольте беспокоиться, — ответил Вишневецкий. — Они отправились на мельницу. Мне сообщили. Куда же им еще... Их будут сопровождать двое вооруженных рыбаков. Можете ложиться спать.

— Да что вы?.. Как можно? — сказал Саженцев и повесил телефонную трубку.

Связной мог прийти и в отсутствие Тихомирова. Главное — терпение и спокойствие. Может быть, Тихомиров нарочно придумал рыбалку, чтобы отвлечь внимание от своего дома? Не выйдет, милостивый государь, не выйдет!

Миновав концы Мильвы и выйдя на мощный булыжник большак, Валерий Всеволодович заметил, что за ними идут двое с удильщиками. Он скомандовал:

— Спиннингисты, привал!

Мальчики, усевшись на плащ, перебивая один другого, говорили о щуках. Маврик не верил, что на крючок с блесной можно поймать щуку без всякой приманки. А Викторин уже ловил щук на блесну и обстоятельно рассказывал, как хищница щука принимает блестящую блесну за рыбку и хватает ее.

Валерия Всеволодовича занимали другие щуки. Они остановились и тоже решили сделать привал.

Тихомиров и мальчики двинулись дальше. Поднялись и двое идущих позади.

— А не лучше ли нам,— предложил Валерий Всеволодович,— спрямить путь и пойти через этот луг?

Все согласились. Лугом куда интереснее идти, чем по булыге.

Идущие позади тоже свернули на луг. Это уже было слишком. Валерий Всеволодович предложил новый привал, хотя в этом не было никакой надобности. И ребята снова сели на разостланный плащ. Когда же остановились и те, двое, Тихомиров направился к ним.

— Судари,— обратился он,— нельзя ли хотя бы немного отстать? Это роняет меня в глазах племянника. Он уже все понимает. Ведь я же не арестант.

Один из рыбаков, оказавшийся наиболее наглым, ответил на это:

— Вы сами по себе, мы сами по себе. Для нас нет запрета ходить, где мы желаем.

— Хорошо. Вам никто не может запретить этого. Как никто не может запретить и мне письменно заявить губернатору, что вы слишком грубые... «р-рыбаки». Возвращайтесь!

Гонор сразу покинул обоих. Они остались сидеть. Тихомиров с мальчиками вернулся на большак. Их более не преследовали. Но не прошло и получаса, как слышался конский топот. Кто бы это мог быть?

Это был пристав Вишневецкий!

— Ба-а! Валерий Всеволодович! В такой компании! Куда же?

— В Женеву. В Швейцарию, милейший Ростислав Робертович,— негодуя ответил Тихомиров.

Вишневецкий расхохотался так раскатисто, что его серый рысак, пугливо оглянувшись, зашевелил ушами.

— В таком случае садитесь... Вам предстоит длинный путь.— И, снова раскатисто смеясь, принялся рассыпаться в комплиментах:— В Мильве нет более остроумного человека, нежели вы... А как ферма? Как покупка новых земель?

— А я тогда шутил. А теперь не до шуток. Сегодня я покидаю вас, любезный Ростислав Робертович.

Вишневецкий хотел еще раз расхохотаться, но не получилось. И он повторил:

— Садитесь же...

— Да нам же осталось двести-триста шагов...

— Все равно. Мне будет приятно доставить на мельницу такую милую компанию.

— Ну что же... Садитесь, ребята...

Мальчики влезли в пролетку. Кто сидя, кто стоя добрались до мельницы.

Х

Омутихинский пруд был молчалив и угрюм, как и лицо старика Мартыныча — Дизеля. Он сказал свое ни к кому не относящееся «добро пожаловать» и сообщил:

— Шук ныне порядочно перезимовало. И все они ушли в вершину пруда.

Приехавшие открыли дом. В него еще не входили после минувшей осени. Пахло мышами и мочальными матрацами.

— Благодарю вас за любезную доставку,— сказал Тихомиров, протягивая руку Вишневецкому.

А он:

— Напрасно вы хотите выпроводить меня так скоро и лишитесь зрелища ловли шук.

— Как вам будет угодно, Ростислав Робертович... Побудьте здесь, в этой компании, а я пройдусь по камышам и посмотрю, где посуше, чтобы не утопить моих молодых людей.— Он посмотрел на мальчиков и сказал, уходя, племяннику:— Викторин, не забудь отдать Голиафу кости.

— Я с вами, я с вами...— забеспокоился Вишневецкий.— Что же я буду тут делать, в этом слишком серьезном обществе? Я не отстану от вас.

На это Валерий Всеволодович едва заметно улыбнулся и сказал:

— Вы тоже очень настойчивый рыбак... Извольте, пойдем вместе, если вы не боитесь увязнуть. Не сердитесь. Я предупреждал вас.

И они пошли вдоль камыша к вершине пруда. Мельница осталась далеко позади. Болотная птица чувствовала здесь себя в безопасности. Мильва рядом, всего верст пять-шесть по прямой, а тут таежная глушь.

— Вон, видите,— указал на селезня Тихомиров,— попробуйте его из пистолета.

— Да я же выехал налегке. Промять Серого. При мне ничего, кроме перочинного ножа.

— Как же это вы? А из чего же вы будете стрелять мне в спину, когда я побегу в Женеву?

— Да что это, право, далась вам сегодня эта Женева! Сказали бы хоть уж, в Париж.

— Там меня никто не ждет!

— А в Женеве?

— Ждут.

Шутка чем-то походила на правду, но и не походила на нее чрезмерной прямотой.

Когда Тихомиров и Вишневецкий дошли до тихой заводи, то увидели в камышах на берегу двух удильщиков. Они, не обращая внимания на подошедших, следили за поплавками.

— Как ловится, господа? Доброе утро.

— Хуже нельзя,— ответил один из них, в котором Тихомиров не сразу узнал монаха, приходившего к нему.— Можно сматывать удочки! Зачем же время терять!

Другой рыбак, которым был Иван Макарович Бархатов, спросил:

— А вы с господином полицмейстером тоже, никак, рыбного счастья решили попытаться?

— Да нет,— ответил Тихомиров,— господин пристав не рыбак. Он просто любит наблюдать за рыбаками. Не правда ли, Ростислав Робертович?

— О чем вы, милейший Валерий Всеволодович?

— Все о том же... Впрочем, хватит об этом. Кажется, уже подали лошадей...

— Д-да! Они ждут давно.

Вишневецкий побледнел:

— То есть как? Каких лошадей? Зачем?

— Я же вам сказал о своем отъезде в Женеву...

— Это как же?

— Так же, как я говорил прежде... Все прямо... прямо и прямо...

К Тихомирову в это время подошли Иван Макарович и его товарищ. Иван Макарович сказал:

— Господин полицмейстер, я надеюсь, что вы будете благоразумны и кинете в воду пистолет, рукоятка которого торчит у вас из правого кармана. Вы один, а нас не трое...

— Мне очень прискорбно,— сказал Тихомиров,— но я же предупреждал. Бросайте ваш пистолет в воду. Бросайте же!..

Вишневецкий выполнил требование, но пистолет был брошен слишком близко у берега. Иван Макарович достал его из воды и бросил вглубь.

— Теперь второй,— попросил Тихомиров,— тот маленький браунинг, который вы всегда носите при себе.

— Извольте, Валерий Всеволодович. Извольте!— сказал Вишневецкий, на лице которого проступили белые пятна.

Второй пистолет, булькнув, исчез под водой.

— Еще два слова,— предупредил Бархатов.— Папаша Валерия Всеволодовича не знает обо всем этом. И если вы, господин полицмейстер, позволите себе преследовать генерала Тихомирова... Не обессудьте, коли и вас не оставят без внимания. Это — одно. А второе — мальчикам не нужно сообщать о нашем разговоре. И вообще... Ушел и ушел Валерий Всеволодович... Затерялся в лесу, и вся недолга...

А мальчики не нуждались в сообщении пристава. Все происходило на их глазах. Они, посидев в одиночестве несколько минут, решили отправиться лесом к вершине пруда. Туда, где предполагался лов. На опушке леса их остановил незнакомый. В сапогах и с ружьем.

— Туда нельзя,— страшным шепотом сказал он.— Ложитесь и не шевелитесь.

И мальчики пролежали все это время в ельнике. Маврик увидел Ивана Макаровича и узнал его. Не все было понятно, что говорил он приставу, но все же слышно. Мальчики слышали, как Бархатов сказал:

— Теперь садитесь на бережок. Здесь сухо. Вам нужно просидеть тут не менее двух часов, чтобы потом благополучно и невредимо вернуться домой. Не забудьте, что нас не трое... А место здесь глухое.

Тем временем Валерий Всеволодович уходил со вторым высоким мужчиной в лес вдоль берега Омутихи. Иван Макарович шел последним. Он не шел, а как бы пятился, не сводя глаз с пристава.

Пристав сидел, опустив голову. Он думал не о том, что из его рук выскользнул Тихомиров и еще двое. Он думал о том, что теперь будет с ним.

Но кто может узнать, как это все было. Ведь не пойдут же доносить на него те, кто, наверно, сейчас не выпускает его из поля зрения. Он придумает невероятное, которому поверят все, и его превосходительство господин губернатор.

Послышался отдаленный голос, затем конский топот. Это была не одна лошадь и не одна телега.

Пристав не подымал головы. За ним зорко следили глаза токаря из Гольянихи, которого не знал ни Маврик, ни Илья, ни тем более Викторин. За ним следили глаза Артемия Кулемина, еще вчера, до полуночи, встретившего на шестой версте Бархатова и «монаха». У Кулемина был хороший полицейский пятизарядный «смит-вессон». Он бил не так далеко, зато верно. Киршбаум и старик Емельян Кузьмич Матушкин находились по ту сторону Омутихи с дробовиками. Матушкин был очень доволен, что его предусмотрительная охота не оказалась напрасной предосторожностью.

Ищи теперь ветра в поле.

Доброй вам дороги, дорогие товарищи. Емельян Кузьмич Матушкин сегодня был счастлив дважды. Спасся от неминуемой каторги хороший товарищ, стойкий подпольщик, активный деятель партии. А кроме того — муж его дочери. Отец его внуков. От этого тоже никуда не уйдешь — всегда будут дороги дети и милы внуки.

Наверно, придет время, доживет Матушкин до счастливой поры, когда тоненький родной голосок будет называть его дедом.

XI

Снова пришла весна, да не столь красна, какой она снилась, какой виделась.

Потрясение за потрясением. Нелегким открытием для Маврика было событие на Омутихинском пруду. Такой хороший, такой близкий, почти родной Иван Макарович, за которого ему так хотелось выдать замуж тетю Катю и жить с ним в дедушкином доме, оказался политическим. И это нужно скрывать ото всех и от тети Кати. Ильюша и Санчик не видали Ивана Макаровича, когда он приходил к Маврику. И они не знают, что Маврик знаком с ним. И об этом знакомстве им ничего не будет сказано. Зачем? Ильяка может разболтать дома, а Григорий Савельевич в хороших отношениях с приставом. Нужно молчать.

То, что политическим оказался Валерий Всеволодович, это не так удивительно. Про него и раньше рассказывали всякое. Но все же... Дворянин — и вдруг... Видимо, и среди дворян встречаются разные люди.

А уехавшая будто бы в Казань Елена Емельяновна Матушкина, значит, тоже... Она же теперь его жена. Не мог же политический Валерий Всеволодович жениться на неполитической Елене Емельяновне, Ильюша говорит, что не мог. И Маврик тоже считает, что не мог.

Но кто скажет, кто объяснит, кого можно спросить, почему политическими бывают такие хорошие люди? И не просто хорошие, а самые лучшие из тех, кого знает Маврик. Артемий Гаврилович Кулемин хотя и перестал, но был все же политическим, только никому не говорит этого, как не говорил никому Иван Макарович. И кто скажет и кто докажет теперь, что быть политическим — это позор и ужас?

А позор ли? Ужас ли? Неужели Иван Макарович может желать для людей плохое, а пристав Вишневецкий — хорошее? Ведь он хотел посадить в тюрьму Валерия Всеволодовича и следил за ним, как собака Пальма за утками.

Тесно в голове Маврика. Ему иногда очень трудно дышать, а поговорить не с кем. Разве только с Артемием Гавриловичем, да и то... Можно ли довериться ему во всем?

Дни стоят ясные, а кругом тучи. Вчера к тете Кате приезжал помощник пристава. А сегодня тетя Катя ушла в полицию. Уходя, она сказала:

— Маврушенька, как мы неосторожны с тобой. Иван Макарович оказался вовсе не тем человеком, за которого мы его принимали.

— А каким? — тревожно спросил Маврик.

— Когда узнаю, скажу. Я, наверно, скоро вернусь из полиции. Жаль, что сам пристав уехал в Пермь. Он вежливее. Побудь дома.

И ушла. Но Маврик не стал сидеть дома. Он побежал к Артемию Гавриловичу. И Артемий Гаврилович сказал:

— Поймали одного из тех, с кем скрывался Валерий Всеволодович. Его заставляют сознаться, что он Бархатов.

— Какой Бархатов? — дрожащим голосом спросил Маврик.

— Да тот, что был у тебя в гостях. И твою тетю Катю пригласили в полицию, чтобы она узнала его.

— И она... она, вы думаете, Артемий Гаврилович, узнает его? — спросил Маврик, трепеща всем телом.

— Не знаю,—уклонился от прямого ответа Кулемин.— Но если это он, то как она может не узнать? Не узнает она, заставят узнать тебя.

— А вы думаете, меня тоже...

— Уверен!

Маврик умолк, теребя листки герани, росшей на подоконнике дома Кулеминых.

— Иван Макарович так изменился за этот год, и я не узнал его, когда он приехал к нам,—заговорил снова Маврик.— А теперь он, наверно, еще больше изменился, и я, наверно, совсем-совсем не узнаю его.

Кулемин вдруг схватил Маврика и посадил его к себе на колени. Точно так же, как это делал Иван Макарович.

— Тебе нельзя не узнать его,—наставительно сказал Маврику Кулемин.— Не узнаешь ты, узнает Саламандра.

— Какая саламандра?

— Страховой агент Шитиков, который заходил к вам, когда у вас был Бархатов. Узнавай... узнавай... Его теперь так и так ты не спасешь.

Тетя Катя вернулась из полиции радостная.

— Ты знаешь—это не он. Это совсем другой человек.

Но Маврик был уверен, что это был он и тетя Катя не захотела его узнать, и Маврик решил спросить ее подробнее, но за окнами послышались голоса:

— Барклай! Ты нам нужен!

Это был Юрка Вишневецкий со своими уланами.

— Зачем? —спросил Маврик через окно.

— Выйди. Ты нужен,—позвали они.

— Иди-иди, Мавруша... Они хотят, чтобы ты узнал его, но ты не узнаешь в нем Ивана Макаровича...

Маврик вышел на улицу. Его потянули за руки. Юрка сразу же объявил:

— Поймали каторжника, а он не хочет говорить, что это он. А ты узнаешь его? Пойдем.

И Маврика привели.

— Вот он, Толлин. Барклай.

— А-а-а! Здравствуйте, мой маленький друг...—сказал помощник пристава и протянул руку.— Одну минутку.— Он позвонил настольным колокольчиком с крестяной ручкой.

В ответ на звонок полицейский ввел мужчину со свя-

занными руками, с синяками на лице. Рукав его пиджака был наполовину оторван.

— Узнаешь? — спросил помощник пристава.

— Нет, — ответил Маврик.

— Как же нет? Ты всмотришься. Разве это не сапожник Иван Макарович Бархатов?

— Нет, — обрадованно повторил Маврик.

— Не может быть, это он.

— Если не верите, можете спросить Саламандру...

— Какую саламандру?

— Того, что страхует дома от пожара...

— А-а-а... Шитикова. Непременно, непременно, как только вернется. Он, кажется, был у вас, когда приезжал к тебе твой друг сапожник. Где же он?

— В Чердыни, — твердо ответил Маврик. — Его тогда отвез на пристань Яков Евсеевич Кумынин. Можете спросить, если не верите.

— Нет, зачем же — я верю...

Когда увели арестованного и помощник пристава остался вдвоем с Мавриком, был задан новый вопрос:

— Тебе нравится твой сапожник?

— Очень, — ответил Маврик.

— Он хороший человек?

— Да, — не задумываясь, ответил Маврик.

— Я так же думаю, — сказал помощник пристава. — Я очень доволен, что Бархатов хороший человек. Беги, мой друг. Играй.

И Маврик убежал, твердо зная, что теперь он тоже такой же политический, как Иван Макарович, как Валерий Всеволодович.

Неделю спустя пришла открытка из Чердыни от Ивана Макаровича. Он писал: «Дорогой бараша-кудряша, в Чердыни тоже не повезло, и я поехал на Волгу. Найду же где-нибудь городок, где можно будет открыть сапожную мастерскую...» Далее он передавал поклон Екатерине Матвеевне и сожалел, что она перекармливает отличного песика Мальчика, который может зажиреть и превратиться в ленивую дворняжку.

Как Иван Макарович оказался в Чердыни и зачем — Маврик не мог и представить. Может быть, открытку написал кто-то другой? Это вернее всего.

Посоветовавшись с тетей Катей и с Артемием Гавриловичем, он снес открытку в полицию и передал самому Вишневецкому, вернувшемуся из Перми.

Этот вертлявый враль счастливо вывернулся, рассказав, как на Омутихинском пруду он был избит, связан и обезоружен. Ему поверили. Его благодарили.

— Вот,—сказал Маврик,—про Ивана Макаровича говорят, что он будто бы убежал с Валерием Всеволодовичем за границу. А он вовсе не убегал. Читайте, пожалуйста, Ростислав Робертович.

Вишневецкий прочитал открытку. Поблагодарил Маврика. А потом, оставшись один, он постарался поверить, что человек, бежавший с Тихомировым, не был Бархатовым, а всего лишь походил на него приметами, имевшимися в деле. И очень хорошо, что бежавшие не пойманы. Вишневецкому не хочется, чтобы они попались... А если попадутся, тогда, пожалуй, ему придется скрываться самому. Ведь он же обманул губернатора.

Между тем Бархатов и Тихомиров благополучно переправились за границу. Об этом уведомила сестру Елена Емельяновна, прислав ей из Праги каталоги зубо-врачебных принадлежностей, читая которые умеючи можно было узнать не так уж мало.

Бархатов недолго проживет за границей. Он вернется в Россию под новой фамилией, как только будет добыт хороший паспорт и отрастет борода, достаточная для того, чтобы выглядеть солидным человеком из коммерческого мира.

А о Валерии Всеволодовиче сообщали газеты. Он дал о себе знать первой же появившейся статьей. Его по статье узнали близкие ему люди, узнали и те, кто называл его «неуязвимый трубадур». Теперь это прозвище охраны получило особое звучание.

ХII

Для успокоившегося Маврика весна могла стать хорошей. Иван Макарович во всех случаях на свободе. Тетя Катя сумела объяснить приставу, как произошло знакомство с Бархатовым и почему он привязался к ее племяннику. Она также, ссылаясь на открытку, поколебала пристава в причастности Бархатова к политике.

— Если бы он был таким,—сказала она,—зачем бы ему так открыто писать о себе нам? Ведь мы-то ему никто, как и он для нас чужой человек.

И пристав окончательно поверил, что за Бархатова он тогда в вершине пруда принял другого человека.

Весна могла стать хорошей, а лето еще лучше. Герасим Петрович предложил пасынку пожить в Омутихе. Туда же будут по субботам наезжать отец и мать с маленькой Иришей, которой тоже нужен воздух. И Маврик ждал переезда в деревню. Она его манила и потому, что в одной версте, на мельнице, будут жить Тихомировы, и он может хоть каждый день встречаться с Викториним, Владиком и видеть Леру. Все складывалось очень хорошо, да нескладно сложилось. Новая учительница, заменившая Елену Емельяновну, заявила матери Маврика, Любви Матвеевне:

— У меня, госпожа Непрелова, нет времени возить-ся с вашим ленивым сыном и тянуть его за уши, лишь бы перевести в третий класс. Он будет оставлен на второй год.

Любовь Матвеевна, вернувшись из школы, накричала на Маврика. Отчим на этот раз во всеуслышание назвал его «петрушкой» и лодырем. Мать плакала и обещала запереть опозорившего семью Маврика на все лето в квартире и, как арестанту, разрешать ему выходить один раз в день во двор. Любовь Матвеевна на-помнила Маврику и об Иване Макаровиче:

— Еще тогда, в Перми, я запрещаю тебе видаться с этим сапожником... А ты... ты обманул мать. Ты хочешь прямо из школы в «золотые роты». Если тебя в девять лет вызывают в полицию, так в десять ты будешь сидеть против старого кладбища,— намекала она на пермскую тюрьму.

Маврик выплакал все слезы. Он сидел, забившись в угол темной комнаты на сундуке, где спала Васильевна Кумыниха, когда она жила у Непреловых.

Казалось, что в жизни у Маврика уже не будет ничего хорошего. Он «петрушка», он лодырь. Его дорога в «золотые роты».

Как жить теперь, тетя Катя? Почему ты не приходишь? Или ты тоже сердись на второгодника, который опозорил и тебя?

Нет, ты торопиться, Маврик. Твоя тетя Катя не сидит сложа руки. Она уже побывала в школе и пообещала, что к осени ее племянник будет знать все необходимое для перехода в третий класс. И в школе сказали, что переход в третий класс Толлина будет решен в первых числах августа.

Но и это еще не все, что произошло и о чем не знал

Маврик. У него нашелся друг, куда более сильный и влиятельный. Друг, которому Мавриков папа должен был сказать:

— Здравствуйте, ваше превосходительство... Милости прошу. Проходите, чем обязаны?

Этого друга Маврика папа не мог не назвать вашим превосходительством, потому что жена генерала тоже «превосходительство». И когда Варвара Николаевна Тихомирова пришла к Непреловым, она сказала:

— Ничего особенного, Герасим Петрович и Любовь Матвеевна, не произошло. Маврикий и не мог не остаться на второй год. Такой уж он у вас... фантазер и мечтатель... Моя невестка Елена знала эти особенности мальчика и занималась с ним и с другими после уроков, а новенькая учительница не захотела или не сумела поступать так...

Герасим Петрович не смел сесть при генеральше. Годы солдатчины вбили ему в голову и последующие годы не выбили из нее страх перед «превосходительствами», независимо от того, при лампадах «они» или без них. И он говорил только «так точно» и «как изволи-те». Маврику жаль было папу, и он стыдился за него.

Варвара Николаевна сказала:

— И незачем ему переходить в третий класс этой школы, осенью открывается прогимназия с подготовительным классом. И если вы, Герасим Петрович, не будете против, то ваш сын, уверяю вас, выдержит экзамен в подготовительный класс на круглые пятерки.

— Как изво... как вам будет угодно, ваше превосходительство,— ответил Герасим Петрович.

— Да,— подтвердила Любовь Матвеевна.— Это самое лучшее. Маврик, где ты?

Но Маврик не появлялся.

— Он придет сегодня же ко мне, и я поговорю с ним очень серьезно и очень строго,— сказала, уходя, Варвара Николаевна.

ХIII

Маврик вскоре отправился к Тихомировым.

Лера встретила его молча, но сочувственно. Ее глаза не оправдывали второгодника, но в них не было презрения к нему. Она провела его к бабушке.

— Вот что, государь мой Маврикий Толлин,— нача-

ла Варвара Николаевна, усадив Маврика в креслице против себя.— Ты уже достаточно взрослый и мужественный человек, и у тебя найдутся силы, чтобы взять себя в руки. Нужна таблица умножения или не нужна, я не буду выяснять, как это делала Лена, твоя учительница Елена Емельяновна. Я также не буду убеждать тебя, почему всякий человек... всякий человек,— повторила она,— должен... я говорю, должен и обязан уметь хорошо читать, грамотно писать. Моим детям и моим внукам мне этого никогда не приходилось доказывать. Не буду доказывать и тебе. Ты должен, ты обязан, а когда вырастешь, узнаешь, почему ты должен и обязан. А теперь... Теперь тебе нужно отдохнуть. Две недели. Ни о чем не думать. Переехать в деревню. Бывать у нас на мельнице. Кататься с внуками на Бяшке, которому не нужна никакая таблица умножения, потому что он осел. А через две недели ты каждый вторник и каждый четверг утром будешь приходить ко мне. Я не буду с тобой заниматься. Я буду тебя спрашивать и задавать тебе уроки. А теперь... Танечка,— обратилась она к горничной,— проводите гимназиста Толлина и не расспрашивайте его ни о чем, чтобы он не растерял то, что я ему сейчас положила в голову.

Маврик побежал к тете Кате. Вбежав, он сказал: — Я поступаю в подготовительный класс, и мне нужно не через две недели, а сейчас... сию же минуту садиться за уроки! Таблица умножения, тетя Катя, это же чепуха... И если я научился бить из рогатки без промаха в копейку, так уж читать-то... писать-то... и считать...— не договорил он, потому что ему не хватало воздуха, сел за свой столик и начал с самого начала: «Осень! Осыпается весь наш бедный сад. Листья пожелтелые по ветру летят...»

Ни Санчик, ни Ильюша, ни тетя Катя с этого дня не могли оторвать его от чтения, письма и счета. Он подымался и садился за стол в восемь утра и прекращал свои занятия, когда свисток звал на обед.

Это было трудно. Это было невозможно трудно. Часы издевались над ним. Их маятник качался так же, а стрелки шли медленнее. Иногда они словно примерзали к циферблату. А он читал.

Доброе солнце не щадило его. Оно заглядывало в окошко, смеялось и манило на улицу. А он закрывал шторой окно и твердил:

— Шестью шесть — тридцать шесть. Шестью семь — сорок два...

Собака Мальчик, к которой так был внимателен он, не платила ему тем же, жалобно подскуливая и тоскуя о своем добром хозяине, мешала писать. А он писал, не пропуская букв, не позволяя им выскакивать за тесные линейчки строк.

Санчик, с которым он вырос, которому он помогал учиться в первом классе на круглые пятерки, тоже находил возможным для себя громко вздыхать за окном, и, вместо того чтобы увести Мальчика, он принимался уговаривать его не лаять и этим тоже мешал. И пусть. Маврик все равно выучит и те стихотворения, которые не задавались в школе и которые не нужно было заучивать наизусть.

Уж коли брать, так брать себя в руки...

А тетя Катя? Есть ли на земле кто-то ближе ее?.. Может быть, и будет, но пока нет... Так и она входит в большую комнату и советует сделать маленький перерыв, выйти во двор или пристаёт с выдуманными делами. А он, заткнув уши, решает труднейшие примеры на все четыре действия.

И только один человек из всех, один приходит и спрашивает — не изменил ли он своему слову, не поддался ли он чему-нибудь?.. А потом садится вместе с ним и начинает учить то, что он знает, и то, что ему уже не надо учить. Но ему это надо, потому что нужно для его друга.

— Ах, Иль, как хорошо, что мы с тобой встретились тогда в Перми, в Козьем загоне. Козел теперь я. Загоняй меня, загоняй...

Маврик обнимает товарища, потом просит его побыть злющей Манефой, а сам остается учеником.

И тот скрипучим голосом Манефы вызывает его и спрашивает сердито, придирчиво... То — сколько будет восемью семь... То велит вычесть в уме из девяноста трех шестьдесят девять, а сам смотрит на маятник часов и проверяет, быстрее ли стал считать Маврик. И снова задает трудное-претрудное и замечает каждую, даже самую маленькую, ошибку, которую бы, наверно, пропустила и Манефа, потому что настоящая дружба не признает поблажек.

Так было до отъезда в Омутиху, но и в Омутихе слышен громкий свисток завода, и никакое журчание

речки, никакие пескари, ни крупные налимы, за которыми успешнее охотиться утром, с вилкой, насаженной на палку... ничто не могло заставить взявшего себя в руки, достаточно взрослого и мужественного человека изменить самому себе.

И когда Лера, которая может его заставить сделать все, даже переплыть огромный Мильвенский пруд, пришла в деревню Омутиху и сказала: «Тебя ждут на мельнице, я приехала за тобой на Бяшке»,—Маврик ответил:

— Сейчас засвистит, Лера... А до свистка нельзя.

И свисток засвистел.

— Поехали, Лера. Теперь я могу...

И они ехали в маленькой тележке. Ленивый ослик прытко бежал на мельницу, его, как и Буланиху, возвращающуюся домой, тоже не нужно было понукать.

Как чудесны летом омутихинские поля, как сладко пахнет травами! Как хорошо, что не Викторин и не Владик приехали за ним, а она. Она, сказавшая ему дорогой, как взрослая взрослому:

— Я уважаю вас, Толлин. Вас нельзя не уважать...

Ой как приятно слышать от Леры эти слова. Какой гордостью закипает его сердце! И он готов любоваться собой. Но в это время они проезжают мимо того места, где Иван Макарович разоружал пристава Вишневецкого. И Маврику вдруг становится стыдно за себя. Что сделал он? Какой подвиг им совершен? Что произошло? Ничего особенного — просто-напросто ленивый ученик Толлин нагнал своего успевающего сверстника Киршбаума. Только и всего.

Походить на Ивана Макаровича Бархатова не так-то легко и просто...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Первая глава

1

В Мильве открылся и успешно работал кинематограф, названный «Прогресс». Для тех, кто впервые видел на экране движущихся людей, волнующееся море, шведимые ветром листья деревьев, бегающих животных и все, что стало большой ожившей фотографией,

этот электротئاتр оказался волшебным без преувеличений.

Хозяева «Прогресса» Шишигины, заботясь о наживе, доставая новейшие картины, и не представляли, как они расширяли познания мильвенцев, добрая половина из которых не читала и не писала. Экран «Прогресса» стал окном, пусть не таким широким, но все же окном в большой мир. И многие, смотревшие в это окно, впервые в жизни спросили себя: «А так ли мы живем?» Шишигины не поверили бы, если бы кто-то им сказал, что «Прогресс» ускоряет приближение их конца, что они продают не билеты на право входа в кинематограф, а торгуют опасными для них познаниями. И что даже такие безвинные картины, как «Ямщик, не гони лошадей», как «У камина», которые, казалось бы, должны вызывать сочувствие к неразделенной или угасшей любви, будят другие чувства. Чувства ненависти к богатым бездельникам, которым некуда спешить и некого любить, которые сидят одиноко в роскоши и грустят, что печально догорает камин.

В жизни мильвенской детворы «Прогресс» стал самым заманчивым развлечением, и увиденное там переходило в жизнь, в игры, повторялось в школах, училищах. Появился таинственный Зигомар — сотни «зигомаров» появляются в школах. Показали картину о неуловимой Соньке Золотой Ручке — на стенах в женской гимназии возникают отпечатки «золотой руки».

Учредитель гимназии Всеволод Владимирович Тихомиров, считающий политехническое образование обязательным, старался дать как можно больше знаний своим питомцам. Хотя и бесспорно, что всего не узнать и не изучить, но стремиться знать и уметь как можно больше необходимо каждому. Это и стало основой созданной им гимназии.

Наиболее любознательным было рассказано о кинематографе все, что знал о нем Всеволод Владимирович. И этого оказалось достаточно, чтобы Маврикий Толлин загорелся желанием создавать свои картины. И если у него нет аппарата, которым снимаются эти картины, если даже обычный фотографический аппарат является предметом недостижимых мечтаний, то почему бы не вообразить, не представить, какие картины он мог бы снять и показать. Первая картина называлась бы «Приготовительный класс». В ней бы он с удовольствием по-

смеялся над собой и над другими. Можно бы показать, как он, маленький хвастунишка, выскакивает после каждого экзамена и показывает матери пальцами рук — пять. Как на другой день после экзаменов, когда еще стояла жара, он поспешил обновить свою первую гимназическую шинель. Как глупо он появился в ней на улице, желая, чтобы все знали, что теперь он гимназист.

Ильюша щеголял тогда в форменной фуражке, которую тоже мог бы не надевать до начала учебного года.

Если б у Маврика был даже обыкновенный фотографический аппарат, то и им бы можно было наснимать множество снимков и составить из них интересные альбомы, страницы которых навсегда бы сохранили то, что пришло и ушло. Ушло навсегда.

Каким бы волнующим мог стать альбом о старом и новом доме.

И Маврик, вместо того чтобы учить уроки, воспользовавшись тем, что дома никого нет, принимается листать в своем воображении несуществующий фотографический альбом...

На первом снимке сидит тетя Катя у печки, на низенькой скамеечке, которую ей подарил Терентий Николаевич. Сидит и думает о старом доме. На снимке хотя и нельзя показать мыслей, но можно дать подпись: «Кому продать дом?»

На другом снимке отчим Маврика уговаривает тетю Катю продать дом фирме «Пиво и воды», потому что дом стоит на бойком месте и в дни получек рабочие обязательно забегают выпить пива.

Тетя Катя не может решиться. Она помнит, что наказывала бабушка, умирая. Нельзя такой известный в Мильве дом продать под «распивочную и на вынос».

Открывается новая страница альбома. На новой странице появляется Всеволод Владимирович Тихомиров. Он говорит, что, конечно, богач Болдырев может заплатить за дом дороже, чем гимназия... Но ведь кроме денег есть еще и добрая слава, добрая память и многое другое.

Тут отчим Маврика говорит, что фирма «Пиво и воды» согласна набавить за дом еще тысячу рублей... И тетя Катя уже колеблется. Но...

Но страница перевертывается, и на ней гимназист

Маврикий Толлин. У него совершенно серьезное лицо и совершенно нахмуренные брови. Он говорит:

— Папа, неужели ты не помнишь, как просила бабушка, умирая, чтобы ей с дедушкой было не стыдно зайти в свой дом, когда тетя Катя продаст его?

На лице Всеволода Владимировича появляется хорошая, как всегда, улыбка. Глаза его блестят еще больше, чем стекла очков. Он хочет обнять Маврика. А Маврик произносит такие слова, которые, как острый топор, разрубают все. Он говорит:

— Неужели дедушка с бабушкой могут войти в свой дом, где находится пивная?

Тетя Катя вздрагивает. Вздрагивает и папа. Не вздрагивает только Маврикий Толлин. Он гордо стоит, как князь Серебряный перед Малютой Скуратовым.

Наверно, все это не так хорошо получилось бы на снимках, но все равно что-то получилось бы... Во всяком случае, можно бы снять, как тетя Катя решает продать дом под гимназию и в знак этого подает свою руку Всеволоду Владимировичу, а Маврикий Толлин торжественно разнимает руки. И это крепче купчей крепости, которая составляется нотариусом Шульгиным.

А потом новые страницы. Новые снимки.

Плачет тетя Катя. Крепитесь, но тоже не может сдерживать себя гимназист Толлин в летней фуражке с белым чехлом, в летней блузе с блестящими форменными пуговицами, подпоясанный ремнем с пряжкой, на которой три буквы — ММГ.

Ломается крыша старого дома. На чердаке все еще лежат пучки лучины, которые нащепал дедушка.

Выдираются гвозди старого пола. Скатываются бревна стен.

И все... Все соседи. Все мальчики жалеют старый дом.

Грустно стоит на дворе за сараем старый пароход. Ломают и его. Затем на месте парохода роют яму и гасят в ней известь.

Прощай пароход. Прощай дом. Но...

Но приходит Всеволод Владимирович и говорит:

— О чем же вы, Екатерина Матвеевна?.. Разве ломают, а не перестраивают ваш дом? Разве пропадет хоть одна половинка кирпича, разве хорошие, старые сухие бревна не станут досками, рамами нового дома, новой гимназии?

И слезы сохнут на тети Катином лице. И тетя Катя улыбается. И есть чему. Потому что на других снимках видно, как подымаются стены новой гимназии, как поднялась она, белая, оштукатуренная, трехэтажная, с красивым куполом на углу, с лепными украшениями, с балконом на одном фасаде и с четырьмя колоннами на другом, где главный и самый парадный вход.

Снимок отрывного календаря. На календаре уже 1 августа, и в доме работают маляры. Как жаль, что на снимках нельзя показывать краски. Ничего, и так видно, каким красным стал старый дом.

Память и воображение Маврика листают страницу за страницей альбома, который мог бы быть... А на страницах новые снимки. Некоторые из них тоже шевелятся, как в «Прогрессе», а иногда и разговаривают.

Множество народа. Пришли почти все родители. Господа и простые. Торжества открытия. А потом, пятнадцатого августа...

Опять листок из календаря.

Маврик и его товарищи входят в новое здание. Светлые классы. Широкие коридоры. Не верится, что здесь когда-то стоял дом, где жил Маврик, где болел корью, где лежала в гробу бабушка... Зачем вспоминать об этом? Теперь стоит здесь дом для всех, для многих. Если б знал об этом Иван Макарович!

II

Кажется, это было давным-давно, а в общем-то совсем недавно. Эти годы минули, как месяцы летних каникул. Тетя Катя поселилась в маленькой квартирке на тихой улице в Замильеве. Если бы не Киршбаумы, она бы жила у сестры во флигеле.

Жизнь тети Кати теперь совсем одинокая. Маврик не так часто бывает у нее. Он подрос. А когда закончит гимназию и уедет в Томск, вместе с Ильюшей Киршбаумом в технологический институт, тетя останется совсем одна-одинешенька.

Родня, да и посторонние люди от души советуют ей выйти замуж. Женихи есть. Целых три. Один служит на почте. Второй — лесничий. Тоже вдовец. И третий, самый настырный, Даниил Феоктистович Судьбин. Одна фамилия что стоит. Не зря Екатерине Матвеевне сказали, что от Судьбина, как от судьбы, не уйдешь.

У Даниила Феокистовича свое дело. Мастерская, и даже две. Товар всегда в спросе. Он гробовщик. Единственный на всю Мильву. Остальные пробовали было зашибать копейку на смертях своих ближних, да Судьбин не дал ходу никому. Сам на смертях жил — покойников обирал.

Екатерина Матвеевна на предложение Судьбина ответила мягко и необидно:

— Не подхожу я вам, Даниил Феокистович, а чем — позвольте не объяснять.

И все опять сказали, что, значит, такова судьба. Значит, это все предначертано свыше.

Но кем предначертано? Неужели есть кто-то, который предначертывает судьбы? Как же у него хватает времени предначертать каждому свою судьбу, если только в одной Мильве столько тысяч судеб? Для этого же нужна огромная контора, куда больше, чем заводская.

Может быть, этим занимаются ангелы?

Может быть. Но как они пишут судьбы? Неужели как вздумается, так и пишут? Наверно, так. Если бы это было иначе, то как бы первый ученик Санчик Денисов мог, окончив три класса школы, не попасть хотя бы в городское училище, а пошел рассыльным на завод? Почему? Неужели тому, кто писал его судьбу, захотелось такого способного мальчика лишить образования и заставлять разносить бумажки?

А почему балбесу Игорю Мерцаеву судьба пожелала дать велосипед? И не один велосипед, но и ружья, настоящие сабли, электрический свет в доме и настоящую охотничью собаку? И это считается справедливым? И за это нужно благодарить судьбу?

Конечно, Игорь должен благодарить судьбу, но Санчику-то за что ее благодарить? За три рубля, которые он выбегивает в месяц, носясь по улицам? Или за то, что еще бабушка Митяиха не слегла и добывает на паперти копеечки и куски?

Маврикию Толлину хотя и грех жаловаться на судьбу, но и благодарить ее не за что. Он сыт, одет, учится, переходит в третий класс гимназии, так это же благодаря деньгам, а не судьбе. Конечно, можно говорить, что и деньги даются судьбой. Значит, вор, который их ворует, вовсе не виноват, что он вор, а виновата судьба, предписавшая ему быть вором? Зачем же его, а не судьбу наказывают тюрьмой?

На это никто и никогда не ответит, как никто не ответил, почему бог, начиная с Адама и Евы, все испытывает и испытывает людей, придумывая им всякие соблазнительные ловушки, а потом без конца наказывает и пугает людей. Разве нельзя было сразу предначертать им хорошую судьбу и уберечь от греха? Зачем понадобилось ему выращивать яблоки познания добра и зла?

Это и безбожно и бесчеловечно.

Нужно же как-то и когда-то выяснить, есть ли судьба. А если судьбы нет и ее придумывают, чтобы оправдать то, что не может быть оправдано, значит, нет и того, кто пишет судьбы?

Впрочем, что об этом рассуждать, когда и без того так много невыясненного. А с кем выяснять? Не все можно спросить у тети Кати. Да и не на все способна она ответить.

Екатерина Матвеевна все свободное время шила. Заказчики были из больших господ. Зашейнская работа, ее ручной шов ценились хорошим рублем.

Ежегодно, раза два, а то и три, Екатерина Матвеевна уезжала. То в Саровскую пустынь на богомолье, то в Белогорский монастырь под Кунгуром. А то просто так — в города, посмотреть новые фасоны платьев. Иногда брала с собой Маврика.

Маврику очень хотелось в поездках встретить Ивана Макаровича, и однажды ему показалось, что он видел его в меблированных комнатах, где они жили в Сарапуле.

Однако тетя Катя сказала, что Маврик ошибается, что виной этому шоколадное мороженое, потому что всякий шоколад, и в том числе в мороженом виде, возбуждает воображение. Успокаивая племянника, Екатерина Матвеевна говорила, что Иван Макарович Бархатов жив, здоров и чувствует себя очень хорошо. А как и откуда она знает об этом — просила не любопытничать.

Это очень странно. У нее от Маврика завелись секреты. Она, кажется, не договаривает что-то при нем о боге. Но разве можно провести Маврикия? Он стал замечать, что у тети Кати портятся отношения с богом, хотя она и ездит по монастырям.

Скорей бы уж вырасти Маврику и узнать все, а то живешь неизвестно кем. И не маленький, и не большой.

Кругом идут такие серьезные разговоры. Все рассуждают, размышляют, а ты ничего не можешь понять. Взять того же доктора Комарова... Он при всех говорит, что тишина, мир и покой сохраняются только в таких городках, как Мильва, в большом свете давно уже пахнет порохом. Комаров предсказывает неминуемую войну.

Вот и сейчас в кругу своих друзей и знакомых Николай Никодимович Комаров говорит о войне. Все слушают его, и никто не верит в войну.

В войну не верят никогда, во всяком случае до того, пока она не начнется.

III

— Ах, господа, господа, хотим мы или не хотим, хотят или не хотят императоры, короли, президенты, парламенты и министры, но война неизбежна. Миром уже давно не управляют коронованные, помазанные и возведенные на престолы особы...— Сказав так, доктор Комаров подошел к роялю, сел за него и, слегка фальшивя, извлек аккорды, предшествующие известным куплетам Мефистофеля, затем довольно приятно пропел:

На земле весь мир людской
Чтит один кумир священный,
Тот кумир телец златой...

Считая это неоспоримым доказательством, он снова обратился к гостям:

— И этот телец, господа, в наше время не нечто отвлеченно-аллегорическое, а совершенно зримый и абсолютно воинственный золотой бронированный бык, чем-то отдаленно похожий на нашего чугунного медведя, хочет владеть миром или хотя бы переделать его по-новому... И ему подчинено все. Правительства и армии. Суша и море. Смерть и жизнь народов.

Подтверждая сказанное, Николай Никодимович Комаров снова прибег к роялю и запел, видоизменяя канонические строки куплетов Мефистофеля:

Люди гибнут за металл,
Люди гибнут за металл,
Утверждая капитал,
И немецкий, и английский,
И французский, и российский.
Сатана там правит бал,
Правит бал...

— И так далее,— сказал он, оставляя рояль и возвращаясь к столу, за которым сидели мильвенские «тузы коммерции», в том числе Чураков, Куропаткин, и помельче, инженеры завода и его смотритель... Здесь сидели члены общества драматического искусства, в частности тетка Маврика Лариса Ивановна, исполняющая роли пожилых героинь, Григорий Савельевич Киршбаум, играющий всех — от лакеев до Бориса Годунова, и некий Всесвятский, свободный художник, по совместительству душеприказчик, пишущий деловые, сутяжные, любовные и другие письма по весьма сходным ценам, принятый, как уже было сказано, в сверхлиберальной квартире Комарова, потому что двери ее были открыты для доподлинных талантов. А Всесвятский был талантом, потрясавшим партер, балкон и галерею общественного собрания. Находился там и пристав Вишневецкий, не стеснявшийся, да и не смеявший стеснять свободомыслие опиравшегося на неоспоримые факты, независимого в своих суждениях, не связанного ни с какими партиями доктора Комарова.

— Германия,— говорил он,— опередив Англию в промышленном отношении, чувствуя тем не менее себя ущемленной, ищет сбыта своим товарам, хочет привилегированного положения, стремясь низвести Англию и Францию... А те, в свою очередь, не пожалеют пороха, чтобы подорвать германское могущество. Война неминуема, господа. Я читаю газеты всех направлений, господа, и в том числе любопытнейшие из газет, которые мне любезно предоставляет Аверкий Трофимович Мерцаев. Хотя эти газеты господ большевиков и находящиеся под их влиянием явно тенденциозны, тем не менее... тем не менее...— Тут, сделав паузу, доктор обратился к приставу: — Прошу пропустить это мимо ушей, Ростислав Робертович. Скажу со всей медицинской объективностью — в них преобладает объективная правда.

Комаров знающе и снисходительно улыбнулся. На его круглом бритом лице, какие бывают у театральных комиков-толстяков, появилось нечто долженствующее означать гадательное глубокомыслие. Знаток и провидец по иностранным делам не должен оставлять неотвеченными и те вопросы, на которые он не мог ответить. Но на этот раз Комаров ничего не выдумывал.

— Наша великая держава, может быть, и хотела бы оставаться самой по себе, но мы зависимы...

— Мы? — спросил Вишневецкий. — Мы — и вдруг зависимы? Каким образом, Николай Никодимович? От кого?

— Экономически, батенька мой, — ответил доктор, — от французских промышленников и от английских. И они втянут. Они непременно втянут нас в войну с Германией... Да и наши капиталисты не очень довольны, — сказал он, покосившись на Чуракова, — не очень довольны немецкой конкуренцией.

— Это уж точно, — подтвердил Чураков, будто и он, владеющий двумя-тремястами тысяч, мог относиться к разряду тех капиталистов, которые влияли на состав правительства, на заключение военных союзов и поговаривали о царе куда более решительном и близком им, нежели царствующий ныне Николай Второй. — На что, к примеру говоря, — продолжал Чураков, — взять простецкую машинку — мясорубку. Наша тяжелее, дороже и хуже. А ихняя — германская — легче, крепше, дешевле и лучше. Их и берут. А куда наши деньги идут? В Германию. И я, скажу начистоту, недоволен этим, хотя и вынужден торговать немецкой конкуренцией.

Комариха, как называли за глаза сухощавую, не смуглую, а скорее черную и очень некрасивую жену доктора — Конкордию Павловну, приказала подавать грог.

Разговоры о войне, союзниках и противниках заменились застольной Бетховена. Пел тот же доктор Комаров. К нему присоединилась жена. Ее лицо, позволяющее играть без грима страшнейшую из чертенок, вдруг озарилось и стало приятным. Ее низкий голос заполнил все:

Выпьем, ей-богу, еще...
Бетси нам грогу нальет.
Бездельник, кто с нами не пьет.

И все потянулись к грогу. Глядя на преобразенное лицо демонической чаровницы, можно было поверить слухам о том, что нотариус Шульгин влюблен в Конкордию.

Шульгин появился в дверях из соседней комнаты, где он, протонерей Калужников, Шульгина и Герасим Петрович Непрелов играли в карты.

Певицу попросили на бис, и та, не жеманясь, с радостью исполнила под аккомпанемент мужа хабанеру с кастаньетами. И всем стало весело.

Обширный круг лиц, различных по своему положению в обществе, объединяемый Комаровым, был едва ли не единственным собранием в Мильве, где можно обменяться хотя и не столь новыми, но все же новостями, где безнаказанно разрешено говорить куда свободнее, чем во всякой другой компании, потому что этот круг лиц не представлял из себя единомышленников или кружка, объединяемого общими идеями.

Нет. Это был легальный клуб болтунов, как справедливо охарактеризовал его губернатор после ознакомления с агентурным делом, озаглавленным «Комаровские вечера в Мильве».

Пристав и постоянный агент в Мильве по кличке «Аполлон», о существовании которого не знал Вишневецкий, регулярно доносили об этих «комаровских вечерах», но значения донесениям не придавалось. Это поразило пристава Вишневецкого. И ему иногда казалось, что доктор Комаров не просто независимый либерал вольнодумец, а «некто», имеющий особые и свыше разрешенные права на «свободомыслие и вольнословие»; без каковых тоже нельзя обойтись в управлении губернией.

IV

Минуло то время, когда Григорий Киршбаум, как, впрочем, и Герасим Петрович Непрелов, жил безвестно и учтивейше раскланивался первым чуть ли не с каждым встречным.

У Григория Савельевича так хорошо идут дела и он так искусно играет роль преуспевающего предпринимателя, что Анна Семеновна иногда, спохватываясь, спрашивает себя: да уж в подполье ли они?

Киршбаум одевается в Перми у лучших портных, и куропаткинские закройщики срисовывают фасоны пиджаков, визиток, пальто и жилеток, которые носит господин Киршбаум. Он пока еще колеблется, купить ли ему типографию Халдеева или, вернувшись в Пермь, открыть большое штемпельное предприятие на всю губернию.

Григорий Савельевич, кроме всего прочего, и артист драматического общества, печатающийся в афишах под псевдонимом Грегуар Вишнедрев, потому что его фамилия в переводе означает — вишневое дерево, а кроме

этого артистическая фамилия Вишнедрев приятно перекликается с фамилией пристава.

Григорию Савельевичу теперь приходится бывать в Перми, Петербурге, Москве, Казани. У него же закупки и поставки. Киришбаум кроме заказных изготавливает и готовые штампы. Наборами. В очень красивых полированных коробках. Каждая из коробок имеет свое название: «коммерческие штампы» или «канцелярский набор», и в таком наборе тридцать или более наиболее употребляемых штампов, например: «Управляющий», «Доверенный», «Бухгалтер», «Счетовод», «Канторщик», «Делопроизводитель», «Входящий №...», «Исходящий №...», «В дело №...», «Срочно», «Оплачено», «В кредит до... дня... месяца... 191... года», «Остерегайтесь подделок», «Всегда к вашим услугам...» И тому подобные штампы, включая передвижной штамп с числом, месяцем и годом. И пусть в коробке с надписью «Универсальные штампы Киришбаум и К^о» есть и такие, что не нужны всякому, зато каждый из них стоит вдвое дешевле заказного. А кроме этого, в наборе есть и то, что бы не пришлось в голову заказать.

У всех, кажется, успешно идут дела. И все потому, что завод дымит на полную силу всеми трубами.

Бойко торгуют магазины. Чураков похвастается еще не купленным автомобилем. В Мильве ни у кого не было автомобиля. Куропаткин еле успевает считать наличные деньги.

На складе «Пиво и воды» тоже дела идут хорошо. Сбылись сны Любови Матвеевны Непреловой. И дохи и шубы. И дрожки и ружья. И гости и в гости — нет свободного вечера. Герасим Петрович на «ты» с самим приставом, и чиновники из казначейства, из управления завода для него никакие не господа, а просто так — для препровождения времени.

Слухи ходят, что доверенный фирмы «Пиво и воды» не прочь сам завести свое дело и будто бы уже рубятся бревна для дома и помещений молочной фермы «Бр. Непреловы».

— Нет, нет, — уверяет Герасим Петрович, — разговоров больше, чем бревен. Мне еще служить да копить, копить да служить...

Это верно только отчасти. У Герасима Петровича уже есть кое-что. Хозяин фирмы Болдырев награждает Герасима Петровича особо за его безупречную честность.

Хозяева куда лучше полиции умеют проверять пользуующихся их доверием.

Дочка Ириночка уже отлично разговаривает и радуется Герасиму Петровича. Жаль только, что кроме нее не родился мальчик, из которого можно было бы воспитать человека с твердым характером и, конечно, с красивым почерком. Из Маврикия никогда и ничего путевого не получится. Лодырь, фантазер и «петрушка». Хорошо, если он станет хотя бы таким балаганщиком, как Всесвятский.

V

Не очень много знал о Всесвятском Герасим Петрович, да и не интересовался этим неизвестно откуда, неизвестно зачем приехавшим искателем приключений, а не помешало бы знать о нем больше, чем знали все.

Всесвятский и подобные ему провокаторы, непосредственно подчиненные губернии, не знавшие один о другом, встречались с наезжающими жандармскими чинами в штатском. И у каждого из них было свое место встречи.

С первых же шагов Всесвятский показал себя честнейшим, тщательнейшим и осторожным. Он сумел дать точную характеристику всех лиц, бывающих у доктора Комарова, и в том числе господина Вишневецкого, которого он безбоязненно и нелিপцприятно называл «человеком, печально ограниченным своей самонадеянностью». С чем были вполне согласны в губернии.

У Емельяна Кузьмича Матушкина был пусть не полный список шпигов и провокаторов, но все же и в нем числились почти тридцать человек, работавших в цехах, в конторах, служивших по вольному найму.

Но в этом списке не было свободного художника и артиста комаровской труппы Антонина Всесвятского. Он хотя и болтался в различных слоях населения, но никогда не заводил политических разговоров, и его можно было отнести к ищущим удачу через богатую невесту прожигателям жизни, каких было немало в Российской империи. Зоркий Матушкин махнул на Всесвятского рукой, особенно после появления в Мильве овдовевшей паромоводчицы Соскиной.

Проверяя всех, в ком можно было найти что-то подозрительное, Всесвятский распознал многих своих

коллег, например, провизора Мерцаева, Шитникова из страхового общества «Саламандра», приказчика Козлова из магазина готового платья Куропаткина, с которым тоже встречался приезжавший «начальник» из Перми. Заподозрен был Всесвятским и Артемий Кулемин. И он решил проверить, так ли это.

Раскрыть себе подобных Всесвятскому было необходимо для того, чтобы знать, кто следит и за ним. Ведь не будет же он вечно томиться в Мильве. Представится же случай поймать жар-птицу и улететь на ее крыльях за границу.

Проверяя, не агент ли Кулемин, время от времени наблюдая за ним, Всесвятский заметил его частые прогулки на Омутиху. Пусть он действительно подвержен страсти рыболова. Но почему не проверить? И однажды — это было ранней весной, когда в Мильве появился жандармский чин в штатском, — встретился Кулемин, отправляющийся на рыбную ловлю. В эти недели вообще никакая рыба не ловилась. Это показалось Всесвятскому подозрительным. Не на встречу ли с приезжим из Перми отправляется Артемий Кулемин? Раздумывать некогда. Нужно проверить. Всесвятский окольным путем на извозчике опережает Кулемина и ждет его на пруду, затанувшись в камышах.

Всесвятский не ошибся. Вскоре на мельничном пруду появился Кулемин. Он шел неторопливо, не озираясь, никого не ожидая. Дойдя до кромки камышей, Кулемин остановился. Закурил.

Засевший в камышах Всесвятский не дышит. Теперь Кулемин явно кого-то ждет. Слушает тишину. Никто не приходит. Но придет. Всесвятский убежден в этом. Ему тоже приходилось бывать на таких загородных встречах.

Сумерки готовы смениться темнотой.

Чу! Шаги. Это он!

Нет, не он, а какой-то старик. Старик с посошком. Он точно идет на Кулемина. Они здороваются. Что-то говорят. Обмениваются какими-то свертками. Вскоре расходятся.

Возвращаясь в Мильву пешком, Всесвятский решил, что не станет писать никакого донесения. Если неизвестный старик является посредником между приехавшим из губернии начальником и Кулеминым, Всесвятский должен скрыть эту тайну. Если же это что-то

иное, то невыгодно наводить на след других. Уж лучше пусть это будет его открытием, которое может принести ему свободу.

С волками можно жить только по волчьим законам. Всесвятский может продать чужую тайну, но в обман на что-то. Во всяком случае, не за понюшку табаку. Хватит с него и комаровской компании, каждого из которой он добросовестно изучает. Но заниматься этим всегда и служить жандармам, которые, завербовав его своим агентом, избавили от каторги, — милль пардон.

Рассуждая так, он вышел на плотину, освещенную дуговыми фонарями. Вечер все еще наступал рано.

Всесвятский и не заметил, как его обогнал мальчик в старой шубейке. Это был Санчик. Он бежал сам по себе, Всесвятский шел сам по себе. Никакого отношения они друг к другу не имели. У каждого из них свой мир и, конечно, своя судьба. Так думает большинство незнакомых людей, живя в одном мире, в одной судьбе.

В данном случае Санчик Денисов имел случайное отношение к Антонину Всесвятскому. Он в числе других писем, направляемых в казначейство, нес небольшую клетчатую секретку, которую миллионерша Соскина, вручая гривенник Санчику, попросила передать лично артисту Всесвятскому. Артист Всесвятский жил неподалеку от Санчика, а мать Санчика стирала Соскиной тонкие вещи и нередко посылала к ней сына, чтобы занести выстиранное, за что Санчику всегда перепадала беленькая денежка. Исполнительный и серьезный Санчик заслуживал доверия куда большего, нежели приживалка, горничная, кучер, кухаркин сын и тем более почта.

На плотине холодно. Санчик бежит вприпрыжку, отворачивая от ветра, дующего с пруда, свое сухонькое личико. Он, как и всякий, думает о своем. А думает он о том счастливом дне, когда его примут в судовой цех нагревать заклепки. Тогда он будет получать больше, чем выплачивают отцу по инвалидности. Он из первой же полочки купит матери валенки, отцу пачку гильз «Катык» и коробку настоящего турецкого табака, а старшей сестре Жене маленький флакончик духов. Потому что скоро вернется младший унтер-офицер Павел Кулемин. И нужно, чтобы от Женечки пахло, как от настоящей барышни.

Теперь уже не так долго осталось ждать до свадьбы. И тогда у него появится человек, которого можно называть старшим братом. И старший брат поступит в оружейный цех, выучит Санчика тонкой работе, и тогда Денисовы заживут как люди, с обедом и ужином, с белым хлебом по утрам и с жареными пирожками по воскресеньям. И это будет большой радостью, а пока дует пронизывающий ветер.

Встречные не обращают внимания на Санчика. Они не знают, что это бежит обездоленное детство академика и депутата Верховного Совета Союза ССР Александра Васильевича Денисова... Знай бы об этом тот же Всеволод Владимирович Тихомиров, Санчик навёрняка был бы принят в гимназию. А если бы Всеволод Владимирович знал, что Санчик спасет от неминуемой гибели внука Тихомирова — Викторина, то за Санчика не только вносилась бы плата за обучение, он был бы обеспечен всем — от одежды и до питания, от учебников и до карманных денег на мелкие расходы. Но тогда бы... Тогда бы, наверно, и вернее всего, Санчик не стал академиком и депутатом Верховного Совета, как не станут ими те из его сверстников, которые сидят за хорошими партами в теплых классах мильвенской мужской гимназии.

Беги, Санчик, беги. До казначейства уже совсем недалеко. Там тепло, и ты сразу согреешься, а потом помчишься домой. У твоей бабушки сегодня была богатая милостыня. Она принесла множество кусков, и среди них огромный кусище изюмного пирога из белой хорошей муки.

Беги, милый дружок, беги. Путь твой никогда не будет легким, как у всех таких же, как ты. Зато этому пути позавидуют многие в мире и не поверят, каким ты рос, как начиналась твоя трудовая жизнь.

Беги! Скоро лето. А пирог с изюмом такой вкусный, такой мягкий. И бабушка тебя так ждет...

Наверно, не все согласны, что мы делаем такие скачки, перемещаясь в одной и той же главе на сорок-пятьдесят лет туда и обратно. В самом деле; допустимо ли так нарушать единство времени, места и развития действия? Но как быть, коли роман кончится задолго до того, когда Санчик Денисов станет известным ученым. Добросовестно ли скрывать его блистательную будущность от читателя? Не интереснее ли будет сле-

дить за жизнью этого робкого, незаметного мальчика, зная, какого человека вырастит из него Советская власть, которая тоже еще впереди...

VI

Тетя Катя нынче решила съездить в Елабугу. Там живет ее знакомая по школе кройки и шитья. Она вышла замуж за немолодого, но обеспеченного человека и теперь каждый год приглашает Екатерину Матвеевну побывать в Елабуге, поговорить о жизни. Екатерина Матвеевна, отказываясь в прежние годы от приглашения поехать к Ложечкиным, нынче собиралась туда с удовольствием. Наверно, наскучалась за зиму. А Елабуга — это люди, пароход, Кама. Маврик тоже поехал бы с теткой, да тянет Омутиха, тихомировская мельница. И... И многое другое, что, может быть, не следует называть пока и про себя.

Илья с Фаней, может быть, уедут на лето к тетке в Варшаву. С Санчиком приходится встречаться реже. Он весь день на заводе. Новые друзья тоже кто куда. Омутиха — это все-таки не худшее, что можно придумать, хотя там теперь и нет Викторина Тихомирова, а только Владик. Викторин учится в корпусе. Он кадет. Он станет морским офицером.

У Маврика в таблице одна пятерка. Две четверки. Остальные тройки. Что делать. Не может же он всю жизнь держать себя в руках. Хорошо, что нет двоек.

Теперь нужно надеяться только на себя.

Мать не была обрадована табелем, а отчим тем более, хотя и ничего не сказал о тройках и, лишь слегка улыбнувшись, посоветовал Маврику:

— Я думаю, Андреич, нужно ехать завтра же с утра в Омутиху.

Маврик мотнул головой. Ему хотелось уехать как можно скорее. Он мог бы и сегодня.

Утром кучер запряг лошадь. Не Воронка, конечно. А смирного Карька, на котором любила ездить мать. Маврику впервые доверялась лошадь. Хоть как-то все-таки был замечен его переход в третий класс гимназии.

— Не гони, — предупредил Герасим Петрович. — Поезжай не трактом, а лесной дорогой. Не трясет, и лошади мягче бежать.

— Я знаю.

— Не вздумай распрягать лошадь сам,— предупредила Любовь Матвеевна.

— Не беспокойся, Люба,— сказал Герасим Петрович.— Андреичу нужно подрасти, чтобы снять хомут. Распряжет Сидор.

Любовь Матвеевна ничего не сказала на это. Она молча страдала за своего сына. Ей так хотелось, чтобы Маврик укреплял ее семью, а Маврик не мог этого делать, хотя и всячески старался. Наоборот, он как бы разрушал семью, вносил в нее разлад даже своим присутствием. И Любовь Матвеевна, любя своего сына, старалась при его отчине быть холоднее и строже.

Надо понять и Любовь Матвеевну. Не может же она винить мужа за то, что Маврик прямая противоположность отчиму и отчим не может за это любить пасынка. Поэтому он, наверно и не желая, роняет усмешечки или хоть чем-нибудь да кольнет пасынка. То невысоким ростом. То называя его «Андреич», подчеркивая этим, что он не Герасимович. В Омутихе его тоже станут называть «Андреич». Ну и пусть. Не всегда же так будет.

Легко бежит Карько по мягкой пыльной дороге через покосы. Нужно же полюбоваться, посмотреть, не произошло ли что за зиму в этом знакомом лесу. Все-таки нет для Маврика лучше примильвенских хвойных лесов. Они темны, зато молчаливы. Не то, что болтливый лиственный лес. В нем каждая осина, береза и в тихую погоду не держат на привязи тысячи своих зеленых языков.

И если на свете где-то водятся лешие и ведьмы, то только в лиственных колдовских лесах. В сосновых, еловых, пихтовых и уж конечно в кедровых нечего делать нечисти. Гадюка или жаба и те не найдут приют в хвойном лесу. А ветер и в бурю не ревет здесь на все голоса, а гудит ровным шумом. Ш-ш-ш — шумит милый примильвенский, пахнувший смолой, грибами, сухой здоровостью, а не гнилой мокростью лес.

Если он, Маврикий Толлин, когда-нибудь научится сочинять стихотворения, то лучшие и самые длинные будут про лес. Он и сейчас пробует:

Мой милый, милый хвойный лес!

Тебя я вижу снова...

Но дальше-то что... Нужна же рифма к слову «лес», а он ничего не может придумать, кроме «влез». Это хорошая рифма... Но как ею воспользоваться? Не скажешь

же «В тебя я снова влез»... Как только мог Александр Сергеевич Пушкин написать столько стихов и все в рифму!

— Но-но, Карий... Не подслушивай, может быть, в самом деле я «трещотка», «выскачка», «петрушка», «балбес»...

Маврик вспоминает все прозвища, которые ему давались, и наконец кричит:

Мой милый, добрый хвойный лес,
В меня давно, с рожденья влез
Один пристра-престрашный бес,
И я, «петрушка» и «балбес»,
Люблю тебя, мой хвойный лес!

Прокричав стихи, Маврик услышал:

Люблю и я тебя, поэт, —
Признался лес ему в ответ.

Маврик оглянулся на голос и увидел Всесвятского. Они были знакомы.

— Как вы очутились здесь, Антонин Александрович?

— Живу на даче. Снял избенку в Омутихе. Бываю наездом. Воздух нужен и мне. А ты к своим?

— Да, — ответил Маврик, — у меня тут дядя.

— Чудесно... прелестно... изумительно! — шумно радовался Всесвятский. — Теперь мне будет с кем совершать прогулки на тихомировскую мельницу... Ты знаком с Мартынычем? Это потрясающий старик...

Всесвятский без усталости болтал. И Маврику, как, впрочем, и всем остальным, в том числе Мартынычу, и в голову не приходила истинная цель появления здесь этого весельчака и балагура.

VII

В деревне Омутихе одна улица. Дома крыты соломой и только два или три тесом. Все омутихинцы ходят в лаптях. И только те, что посправнее, по праздникам надевают сапоги.

Непреловы, судя по всему, относились к справным. Изба у них под тесовой крышей. Три лошади. Три коровы. Десятка полтора овец. Свиньи. Куры. Две пасеки. На одной держат пчел, а другая — просто лес. И не ма-

ленький. Заблудиться нельзя, но не просвечивает с одного края на другой. А ходят в лаптях. Старший брат Герасима Петровича Сидор говорит про лапти:

— А в них привычнее и сподручнее.

..Может быть, скупы? Да нет. Не более, чем другие.

Пашут деревянной сохой с железным лемехом. Мильва рядом. И Мильва делает хорошие недорогие плуги. Немногим дороже сохи. Суждение то же:

— Сохой-то сподручнее и привычнее.

Дед, бабка, старший сын с женой, трое взрослых детей живут в одной комнате избы. Она же и кухня, и столовая, и спальня, а иногда и помещение для телят и ягнят.

Почему бы не пристроить еще хотя бы одну комнату? Лес рядом. Летом после сева и до покоса выдается свободное время. Свободного времени достаточно зимой. Что же мешает? У Сидора Петровича сильные руки. Наконец, в своей деревне есть свои дешевые плотники.

Н-нет! Деды так жили, и мы проживем.

Младший сын Тиша, очень красивый, любознательный мальчик, зазвал Маврика поискать налимов и половить мелкую рыбешку. Эта увлекательная рыбная ловля походила на охоту. Рыбак с удочкой или сетью зависит «от счастья». Что попадет, то и вытащит. А тут все зависит от ловкости, меткости, быстроты удара столовой вилкой, насаженной на длинный черенок. Это уже почти острога.

Налимы умеют не только прятаться, но и, оставаясь на виду, притворяться суком коряги, стать неразличимыми от ила и находить сотни способов защитного притворства.

Налимы учат Маврика вниманию, неторопливости, зоркости. Они и не знают, что преподают своему врагу спасительное умение избегать опасности. Впереди жизнь, в которой понадобится и налимыя сметка.

Научившись ступать по реке бесшумно, подымая и погружая в нее свои ноги, мальчики подозревают каждое корневище, донное растение, песчаную извилинку — не налим ли это. И только тщательное обследование дна приносит им радость улова.

Вчера вечером приехали отец и мать. Маврику приятно будет показать, что и он на что-то способен. У него пять налимов, у Тиши только три. Ну так он же моложе на год, хотя выше ростом чуть ли не на голову.

Отец и мать еще спят. Они встанут поздно. Дядя Сидор, бездельничая в воскресенье, заводит разговор с племянником:

— Андреич, ты человек ученый и должен знать, как живут мужики в других царствах. В Дермании там, в Америке, скажем.

— По-разному,— отвечает Маврик,— как и у нас. Одни богато, другие бедно.

— Не в том вопрос, Андреич... Я хочу знать, как они живут,— деревнями или на отрубях?

Маврик не знал, что такое отруба. Он и не слышал о провалившейся столыпинской реформе размежевания и расселения крестьянства по хуторам и отрубам. А Сидор Петрович, будучи крестьянином, не только знал об отрубях, но и хотел, пусть запоздало, выйти из своей Омутихи и поселиться отдельно.

— А что скажешь ты, Андреич, если, к слову доведясь, я построюсь на своей, вон на той дальней пасеке? — И он указал на сколок леса.

— А зачем? Зачем, дядя Сидор? Разве со всеми вместе жить хуже?

— Да не хуже, но способнее, когда все твое при тебе. И поле, и пашня, и выпас, и пар. Огородил свое — и сам себе царь.

Разговор продолжился за столом в избе, когда были поданы пойманные старшим сыном Сергеем золотые широкие карасики, жаренные в сметане, и налимыя печень, запеченная в тесте. Налимы же пойдут в обеденный пирог.

Герасим Петрович, уйдя из деревни, не расстался с ней. Он будто делал большой обходный крюк, чтобы вернуться сюда в новом качестве фермера. В городской одежке, на модной застежке, со старым скопидомским нутром.

Теперь он не скрывал от жены своих золотых снов. Любовь Матвеевна теперь во всем зависела от него. Герасим Петрович увлеченно рисовал картину хутора-фермы, где будут добросовестно трудиться добросовестно оплачиваемые омутихинцы.

— Разве хуже будет им,— убеждал он,— если они станут работать в большом, прибыльном, хотя и чужом, хозяйстве и получать дохода на едока больше, чем они получают теперь?

Все выходило стройно и доказательно. Коровник на

тридцать, на сорок, а то и на пятьдесят голов. За ними будут ходить три бабы, а не тридцать.

— Скажи, дешевле будет молоко?

— Дешевше, Герася.

— Или возьми ты, Сидор, тот же курятник. Пятьсот, тысяча кур — и при них одна-две работницы. Подсчитай, сколько яиц дадут за год пятьсот кур. Самых плохих. И ты увидишь, что работница получит больше вдвое, а яйцо обойдется дешевле вчетверо по меньшей мере. Это, — слегка волнуясь, доказывал увлеченно Герасим Петрович, — при холодном, неосвященном курятнике.

— А чем же ты осветишь его? — удивленно спросил Сидор.

— Фукалкой. Шишигины могут свой «Прогресс» осветить, а мы нет? Электричеством можно и молотить, а уж корма-то готовить, соломорезку вертеть, сливки сбивать — это уж преобязательно. Можно и паровой джизок завести.

Герасим Петрович знал, что ему было нужно и что было безусловно возможно, до последнего бревнышка. В нем жил недюжинный предприниматель, созревающий капиталист земледелия. Ему кажется, что затеваемая им ферма благодетельствует других. И эти другие будут вдвое, а то и втрое обеспечены лучше на его ферме, чем в своем хозяйстве. И если при этом он получит львиную долю, то ведь не за счет кого-то, а только вследствие того, что сумел разумно поставить хозяйство и земля дает ему то, что она до этого не давала. И он честными, чистыми руками будет загребать большие доходы, эксплуатируя не людей, а свое умение ставить дело.

Так он обманывал самого себя. Ему очень хотелось выглядеть благодетелем, а не загребушим мироедом хотя бы в своих глазах...

VIII

Дядя Сидор предложил Маврику лошадь и сам затянул подпруги седла. Маврик с плетня влез на смиренного коня, оперся носками ног на укороченные стремяна и отправился на мельницу.

Кавалериста встретили не без добродушной иронии: — Не взмылил ли ты своего Буцефала?

— Да что вы, Варвара Николаевна, я рысью-то еще не умею ездить. Да у него, кажется, и нет рыси.

Лошадь Маврик отдал слепому Мартынычу, и тот увел ее попасться.

Как и ожидал Маврик, он встретил Фаню Киршбаум, теперь поражающую своей красотой, и разборчивую Варвару Николаевну. В девушке было прекрасно все. Какой-то необыкновенно мягко-смугловатый цвет лица, длинные косы, завивающиеся в жгут, тонкий нос, ослепительно сверкающие маленькие белые зубы и большие глаза. На нее нельзя смотреть долго, как на яркий свет. На яркий, но холодный. Другое дело Лера. В ней все живет и дышит лесом, полем, речкой, ландышами, утром, сказкой... Наверно, не случайно Варвара Николаевна на самом видном месте в своей комнате повесила картину в тонкой рамке, где красовалась девушка с распущенными волосами, похожая на Леру, а под картиной надпись — «Лесная сказка».

Да, она лесная сказка... А Манечка Камышина и Сима Пряничникова просто так — никто, пряничные гимназистки, посыпанные сахарным песком с ванилью.

Конечно, здесь же Шумилин Геня. Пятиклассник. Удивительный художник. Он даже мелом может так нарисовать, что жаль стирать рисунок с классной доски. Теперь он рисует Фаню. Во весь рост. Картина будет два аршина высотой и шириною чуть не полтора. Наверно, Фаня на картине получится еще прекраснее. Уж он-то постарается пририсовать и то, чего в ней нет, да и не будет.

Влюблен. Ну что ж, пора. Ему пятнадцать лет. Еще не полные. Но месяц можно не считать.

Явился и Мерцаев Игорь. Его прозвали в Мильве «строганы голяшки, тесаны носки». Потому что он не как все, а в крагах. Игорь говорит, что краги необходимы для езды на велосипеде. Врет. Он просто хочет выделяться. Скажите, зачем ему часы с подцепком, на котором двадцать три брелока? Хватило бы одного. Пусть двух. Нет, ему нужно, чтобы все разглядывали их, а он рассказывал. Это итальянская монетка. А это маленький Будда с секретной крышкой. Сюда кладется яд.

И все:

— Зачем? Зачем кладется яд? Ну, Игорь...

А он:

— Ну право, стоит ли мне объяснять, зачем бывает нужен людям яд?

И так минут на двадцать пять, пока не переберутся все брелоки. А если этого не хватит, то у него окажется что-нибудь другое. Кольцо из цепи Фридриха Барбароссы. Платок Шалапина. Перо из шляпы Виардо, цена которому сто двадцать пять рублей. Игорь Маврику никто.

Другое дело Воля...

Воля Пламенев... Высокий... Меднолицый. Стройный. Сильный. Он самый старший. Ему шестнадцать лет. Отличный голос. Он поет:

Фонтан любви, фонтан живой,
Принес я в дар тебе две розы.

Лера аккомпанирует ему. Опускает глаза. Щеки ее горят. Она волнуется. Неужели боится ошибиться и перепутать клавиши? Нет, тут что-то другое. А что?

Ее глаза сияют, когда она разговаривает с Пламеневым. Сияют так же, как тогда, под господской рябиной, при встрече с Мавриком. Неужели она его... Нет, этого не может быть.

Лера, заметив, что Маврик пристально смотрит на нее, говорит ему:

— А тебя сегодня ждет сюрприз.

— Скоро?

— Минуты через три. Сюрприз сейчас приводит себя в порядок.

Но не проходит и минуты, вбегает Ильюша.

— Так это ты сюрприз?

— Нет, Мавр, я не сюрприз. Я только лишь гонец сюрприза. Внимание, внимание... Раз, два, три... Открой-тесь, двери!

Двери, выходящие на террасу, открываются. Появляется в морской форме кадёт Викторин Тихомиров. Он ослепительно великолепен.

Мгновение — все замерли. Еще мгновение — и крики, шум, объятия. Все оживлены. Какая неожиданная встреча! Какой сюрприз! Маша Камышина на правах самой близкой подруги Леры, знавшая Викторина совсем маленьким, обнимает его и целует. Маврику удается пожать всего лишь мизинец Викторина. Он в этом доме всегда оказывается в смешном положении.

Освободившись от объятий друзей, Викторин подходит к Фанечке Киршбаум. Кажется, в этом нет ничего особенного. Фаня — давняя подруга Леры. Фаня часто бывала у Тихомировых, и ее никто не выделял. Однако же сегодня она и Викторин встречаются будто впервые. Взаимно восхищаясь, робеют один перед другим.

— Здравствуйте, Фаня,— говорит Викторин, а в словах слышится признание...

— Здравствуйте, Викторин,— отвечает Фаня, и в этих словах все слышат: «И вы мне очень нравитесь».

— Все ясно, Мавр,— шепнул Ильяша своему другу.— Все они хотят выглядеть на пять лет вперед. Фанька тоже изображает из себя княжну Мери. А мы пойдем на пруд. Там Владька с артистом Всесвятским выслеживают выдру.

Маврик отказался. Он не собирается опережать время, но и не хочет поступиться тем, что Лера разбудила в нем так рано. Зачем ей это было нужно? Может быть, ей хотелось маленького пажика? Так он не паж и не маленький, хотя и невысокий... Ему почти тринадцать лет. Им прочитан весь Лермонтов. Весь Пушкин. «Евгения Онегина» он перечитывал уже три раза. И кажется, нечто похожее происходит здесь, на мельнице. Он сегодня слышал, как она сказала:

— Воля, вас я ждала все утро...

— Лерочка, а я не спал всю ночь...

Чего же больше? Что же еще он должен узнавать? Оставаться здесь? Нет, ни за что на свете. Ах, Лера, как ты несправедлива! И Маврик решил вернуться в Омуту:

— Мне очень ненадолго дядя разрешил взять лошадь. Потому что он на ней сегодня собирается пахать пары.

— В воскресенье? — спросила, понимающе улыбаясь, Лера.

— Мне нужно ехать. Всего хорошего,— раскланялся Маврик и пошел к лошади.

Он ее повел в поводу. Догадливый Воля понял, что Маврик не сможет сесть на лошадь без помощи и стесняется попросить, чтобы его подсадили, подбежал к нему и крикнул:

— Барклай, я тебя подсажу.

Маврик не успел отказаться от этой обидной услуги, как оказался в седле.

Этого оскорбления при Лере он никогда не простит Пламеневу.

И чтобы хоть как-то оправдаться, Маврик спешился, будто бы затем, чтобы подтянуть подпругу. А потом, не зная как, он вставил ногу в стремя, не зная почему, его нога вдруг сделалась длинней. Вскарабкавшись в седло, не оглянувшись, он дернул поводьями. Лошадь побежала рысью, и он усидел в седле.

О, мы еще с тобой поспорим, удачливый соперник...

IX

Пока мальчики и девочки играли во взрослых, Антонин Всесвятский играл в юнца, который вдруг проснулся в нем и потянул на речку ловить раков, выскрывать норы зверей, спать у костра и просто подышать хорошим воздухом.

По-прежнему никто не задумывался, зачем Всесвятский стал бывать на тихомировской мельнице. Кулемин ничуть не удивился, увидев его здесь.

Всесвятский пел, читал монологи, изображал знакомых. Был очень прост, приятен, неназойлив, стеснялся оставаться к чаю и наконец исчез. Ему здесь больше было делать нечего. Он раскрыл секрет Омутихинской мельницы и установил следы, ведущие на Песчаную улицу в штемпельную мастерскую Кишбаума... Всесвятский понимал, что Дизель, Кулемин и Кишбаум не одни. Но достаточно пока и этих трех. И если он получит надежные гарантии на освобождение от принудительной обязанности шпионить и доносить, то не потребуется и половины года, как по этим трем концам он распутает все остальное. И тогда прощай навеки Мильвенский завод и здравствуй миллион! О Натали, я жду тебя в Париже!

Наконец-то есть основания спросить, что нужно для свободы. И он спросил у чиновника, приехавшего за доносениями мильвенских агентов:

— Что должен сделать я для своего освобождения? Какая заслуга может избавить меня от этой нелегкой и не столь почетной службы?

Приехавшим был на этот раз некогда молодой, подававший надежды следователь Саженцев, упустивший Тихомирова и все еще выслуживающийся за эту оплошность перед начальством. Искушающий свою вину не

отличался мягкостью. Например, агента Шитикова он бил по щекам за то, что тот солгал в донесении на купца Каширина, приписав ему то, чего не было, ради добавочного вознаграждения.

Саженцев ответил Всесвятскому со всей издевательской определенностью:

— Из ведомства, которое я имею честь представлять, можно уйти только на каторгу или на виселицу.

Это было вполне достаточным ответом, чтобы отрезать Всесвятскому всякие надежды на свободу. Но Саженцеву показалось сказанного мало. И он спросил:

— Аполлон, тебя еще никогда не драли вот такой витой эластичной проволочной плетью, которая легко умещается в кармане и оставляет длительные воспоминания на спине?

— Нет,— ответил, наклонив голову, Всесвятский.— И смею надеяться, я этого не заслужу.

— То-то же,— пригрозил Саженцев, пряча складную плетть в карман пиджака.— Теперь распишись, хотя ты и не заслужил этих денег. Но нужно же на что-то существовать.

Всесвятский расписался. И ему была вручена ровно половина суммы, значащейся в расписке. Он получил пятнадцать рублей.

— Твой начальник ожидает большего, нежели эти сочинения о комаровских бездельниках,— напомнил Саженцев, прощаясь, не подавая руки своему подчиненному.

Если б Саженцев знал в эти минуты, что уходит из его рук, он пал бы на колени перед Аполлоном, рыдал бы слезами раскаяния, только дай в его руки эту лазейку в мильвенское подполье. Ведь это же прощение за побег Тихомирова, это же чины, награды, деньги, повышение по службе...

Шутка ли, Саженцев раскрыл крамольное производство штемпелей, типографию, разведальное большевистское подполье, обезвредил от внутренних врагов императорский Мильвенский завод... Сам губернатор благодарит его. Линия карьеры круто, как соколиный взлет, взмывает вверх.

О бессердечная фортуна сыскной собаки, ты была готова улыбнуться, держа на кончике языка предательство... Что стоило Саженцеву солгать, пообещав Всесвятскому свободу, зачем понадобилось ему угрожать склад-

ной патентованной плетью, ведь Аполлон готов был уже выболтать тайну, чтобы начать торг и откупиться головами Кулемина, Киршбаума, Мартыныча... А что теперь? Теперь прощай жандармская удача.

Х

Если обида сумела удлинить ноги Маврику, то можно себе представить, как был потрясен Всесвятский тупым среди тупых, подлецим среди подлых Саженцевым. С ним рассчитается Всесвятский. Петербург и губернатор будут знать, каков он гусь и как довел он полезнейшего агента Аполлона до измены и побега. За это по-жандармски рассчитаются с жандармом Саженцевым. И если Всесвятский кое-что приврет в своем письме, которое он бросит в почтовый ящик одного из городов,— поверят и лжи.

В озлобленной душе Антонина Всесвятского побег был предreshен до того, как наслаждающийся его бесправием Саженцев простился с ним. Нагретый разум стремительно и безупречно нарисовал картину побега из Мильвы до мельчайших штрихов и предельной ясности.

В течение нескольких минут нашлось и созрело все то, что искалось так долго.

Придя в себя, дав охладиться воображению, Всесвятский взвесил, перепроверил все и начал действовать.

Ему нетрудно было изобразить отчаяние, сыграть роль колеблющегося самоубийцы, придумать самое невероятное и заставить поверить в невозможное.

Соврать было не так трудно, и не так много было надо, чтобы Наталья Соскина ему поверила.

— Я проиграл себя в карты коварной женщине,— признался он, рыдая.— Сто тысяч, или я ей принадлежу.

— Хоть двести,— бросилась к нему на шею Соскина.— Хоть триста, но не ты...

— Нет, Натали. Ни то и ни другое. Беден, но горд твой Антонин. Есть лучше выход. Их два: пуля или побег.

— Побег! Со мной. Куда угодно, хоть на край земли...

— Когда?

— Хоть завтра, хоть сейчас...

Соскина даже не поинтересовалась, как, при каких

обстоятельствах, какой коварной женщине мог проиграть себя в карты Антонин. Ей и не нужно было выяснять этого и, чего доброго, выясняя, уличить Всесвятского во лжи. Ей нужен был он. Ей был нужен и побег. Побег от гласности, от сплетен, от кривых усмешек. Правда, при ее деньгах она может пренебречь всем этим, но если даже Санчику Денисову не удастся скрыть в своих глазах презрение к ней, то что же говорить об остальных.

Молва — ничто, но власть ее сильна. Соскина уже слышала, как ночью, когда она проезжала по плотине, чей-то голос пропел: «У красавца Антонина есть богатая перина...» Можно не обращать внимания на всякую чепуху, но лучше ее не слышать. И чего ради сидеть в Мильве, когда мир так велик. И не солить же деньги. Если она всего лишь на половину получаемых ею за год процентов сумела построить двухэтажную богадельню и подарить ее заводу, то почему же ей не позаботиться о себе?

Он исчезает первым. Затем уезжает она. В Нижний. А потом в вояж. И все.

Всесвятскому было предложено сто тысяч.

— Зачем же столько? Достаточно и половины.

— Это очень понравилось не переставшей проверять своего возлюбленного Соскиной. И она предложила взять хотя бы семьдесят пять.

— Мало ли что может случиться, Антонин...

— Нет уж, Натали, я с детства привык с уважением относиться к деньгам. Впрочем, ты их кладешь, как в банк.

Наутро тысячи были в его кармане. Он мог свистнуть извозчика... И, будто бы отправляясь в деревню Омутиху или на комаровские дачи, оставить Мильву, не забирая жалкий свой багаж, кроме разве некоторых мелочей, и... прощай проклятое ярмо, прощай постылая работа. Но что-то удерживает Всесвятского. Что-то он еще должен сделать здесь. Может быть, проститься с Григорием Киршбаумом? Кажется, это так и есть. И он идет к нему.

Григорий Савельевич проводит Всесвятского к себе наверх. Они же в давних хороших отношениях. Всесвятскому хочется быть откровенным, но разве это возможно? Ему хочется сказать, что он... спас Киршбаума. А разве он — спас?

Он всего лишь не предал.

Но что-то нужно сказать. И он говорит:

— Ты знаешь, Грегор, люди не всегда могут быть откровенны, как им хотелось бы. Ты не думай обо мне лучше, чем следует, но и не думай хуже, чем надо. Я пришел проститься.

— Ты уезжаешь? Надолго?

— Навсегда. И больше мне не задавай вопросов. А слушай, что я скажу.— И он стал говорить, будто диктуя в классе.— Не допускай к себе близко Шитикова из «Саламандры», провизора Мерцаева и приказчика Козлова из магазина Куропаткина. Да хранит тебя бог. О моем отъезде ты ничего не слышал от меня. Так лучше для нас обоих. Прости меня и за то, в чем я не виновен перед тобой, но мог бы быть виновным.

Последние слова были произнесены с такой слезливой сентиментальностью, что Всесвятский на минуту поверил в свою искренность и свое благородство. И ему показалось, что этому благородству, и не чему-то другому обязан Киршбаум и другие, оставшиеся на свободе.

В этот день Антонин Всесвятский покинул Мильву. Искать его начали только спустя неделю.

Лови ветер в поле.

Об исчезнувшем Всесвятском в кружке Комарова говорили как о незаурядном революционере, бежавшем с каторги и скрывавшемся в Мильве. Пристав Вишневецкий хотя и молчал, но, кажется, был такого же мнения.

Вторая глава

I

Деревня, где скучал Маврикий,
Была медвежьим уголком,
По праздникам — хмельные крики,
По будням — каша с молоком.

Этими строками начинался роман в стихах, еще не получивший названия. Его автор, уединившись на дальней пасеке, не был уверен, что главный герой романа будет называться Маврикием. Он придумает другое имя, но пока оно не находится. В святцах есть близкое имя Кантидий, но оно слишком неизвестно. Ничего, найдется,

когда напишется все, а теперь с черновых листков нужно переписать в тетрадь те строки, которые уже сочинились.

И Маврикий переписывал:

Мой дядя самых честных правил:
Своим хозяйством строго правил,
Гречиху сеял, лен и рожь,
Не брал чужого, но — не трожь
Его мочальное богатство...
Он почитал за святотатство
Есть свежий хлеб, коль черствый есть.
За что хвала ему и честь.

Переписав, а затем перечитав эти строки, сочинитель радовался, что у него уже начало получаться не хуже, а местами лучше, чем у Александра Сергеевича, которого он полюбил во втором классе гимназии окончательно и на всю жизнь.

Теперь нужно найти в ворохе бумаг листок о ферме «мон пер». Вот он:

А брат его, от вас не скрою,
Совсем был на другую стать.
Хотел он ферму здесь построить
И фермером молочным стать.
Но, боже мой, какая скука
Сидеть на ферме день и ночь,
Картошку есть с зеленым луком,
Не быть в «Прогрессе» и не мочь
Ее увидеть хоть глазком,
Убечь отсюда хоть ползком,
Хоть тараканом, хоть ужом.
Ужо тебе «мон пер». Ужо!

Здорово! И главное, французские слова тоже есть. Без них какой же роман в стихах. Не зря у него нынче четверка по французскому языку. Теперь нужно дописать что-то еще о полях, о лесах, о том, как герой романа, взмылив коня, появляется на мельнице, которая может быть и не мельницей, а старинным замком. А потом сразу переходить к этому листку:

На скакуне он прискакал
И там Огнева увидал.
Он пел романсы, танцевал,
Своим хвалился длинным ростом,
И восхищал легко и просто
Дворянку столбовую Веру,

Которая совсем не в меру
Влюблялась чуть не каждый день,
Забыв о верности, о долге,
И вызывала кривотолки
Среди окрестных деревень.

Маврикий опять перечитывает переписанные строки. Ему не верится, что это он сам мог написать такие стихи, которые заставляют даже его утирать слезы, а уж она-то поймет и оценит, как жестоко было с ее стороны обращать внимание только на рост и на голос. А что рост? Какую роль он играет? Пушкин тоже был маленького роста.

Дальше, дальше... Его, наверно, ждут уже к обеду. Пусть ждут. Ему не до похлебок. В нем горит огонь возмездия. Он ему бросает вызов.

Не торопись, рука. Не искривляйтесь, строки. Разве ты забыл, что служенье муз не терпит суеты?

Пишитесь же ровнее, строфы:

Перчаткой новой шерстяною
Был сделан вызов. Трус молчит,
И за плотинной водяною
Бойтся он скрестить мечи...
Но секундант, моряк бывалый,
Стыдит Огнева, Иля тоже,
Такой хороший, славный малый,
Назвал его... какой-то рожей...
Огнев трясется и немеет.
Бойтся схватки, но не смеет
Признаться в трусости при Вере,
И он, в себя совсем не веря,
Кляня злосчастную судьбину,
Поплелся тихо за плотину.

В первом замысле своего романа Маврикий Толлин на поединке за мельницей хотел убить Огнева, но потом передумал. Униженный и обиженный Пламеневым, выплакав из-за него столько горьких слез первой мальчишечьей ревности, он все же не мог так жестоко поступить с ним. Его сердце не могло выработать так много зла, а нравственность — допустить лишение жизни одним человеком другого человека, хотя бы и на бумаге. Да и кроме этого, если дуэль будет со смертельным исходом, то нужно дописывать очень много строк. Должна же появиться полиция. Затем суд. Затем пермская тюрьма. И героем получится не он, а Огнев. Не лучше ли, показав свое превосходство, сжалиться над ним, затем наказать его изгнанием?

Так и было сделано:

За мельницей мечи скрестились,
Маврикий выбил меч Огнева.
И тот сдался ему на милость:
— Прости! Позволь сказать два слова...
Мне не помог мой длинный рост...—
Маврикий страшен был, но прост.
И он сказал: — Несчастный, встаньте!
Я объясню вам откровенно.
От Веры навсегда отстаньте
И уезжайте непременно
Куда угодно — мал ли свет,—
А к ней тебе дороги нет.—
Бежал Огнев быстрее лани,
Мелькали только его длани.

И далее — прямое объяснение в своих чувствах, заполняющих всю его душу, всего его:

О Вера-Лера, я люблю!
Твой взор невиданный ловлю.
И ночь не в ночь, и день не в день,
Брожу, как сумрачная тень.
Пусть я иссохну, как скелет,
В мои почти тринадцать лет.

Рыдания душат Маврика, слезы заливают последние строки романа в стихах. И пусть. Даже лучше. Все равно он не будет больше переписывать. Завтра его двоюродный брат Тиша Непрелов отнесет ей эти листы, и она, потрясенная, придет и скажет, как тогда:

— Я уважаю вас, Толлин. Вас нельзя не уважать. Только этого и хочет он. Даже, может быть, меньше. А то что же получается? Отец и дядя Сидор, да и все Непреловы, относятся к нему с усмешечкой. Мать тоже любит его, как какого-то неполноценного. Викторин в своей морской форме вообще ко всем сухопутным относится свысока, и Маврик при нем как один из свиты. Санчик хотя и моложе Маврика на год, но завод сделал его старше чуть ли не на два года. Они не поссорились, а отдалились. Илья тоже находит, что Маврик ведет себя неправильно, а он правильно.

Родиться бы ему лучше в обыкновенной кулеминской семье, и работать бы на заводе, и не знать бы Викторина, Леры и вообще... И вообще, эта милая, хорошая гимназия ведет его куда-то не туда.

Варвара Николаевна Тихомирова пришла в Омутиху, чтобы поговорить с матерью Маврика. И, встретившись, она сказала:

— У впечатлительных и одаренных мальчиков иногда бывает ранняя влюбчивость. Она проходит, как и всякое возрастное заболевание, и проходит тем скорее, чем заботливее и внимательнее лечат ее.

Затем она рассказала очень мягко, с доброй улыбкой о том, как Маврик вспылал нежными чувствами к ее внучке, и умолчала о романе в стихах, боясь навлечь гнев вспыльчивой матери.

— Я и сама замечаю, что мой сын сам не свой. Бродит по лесам, прячется от людей. Бормочет во сне. Исхудал. Провалились щеки. Неужели он... Но ему не исполнилось и тринадцати. Тринадцать будет в октябре.

На это рассудительная Варвара Николаевна сказала:

— Природа, нередко бывая торопливой, опережает возраст. В этом я не вижу ничего опасного. Мальчику нужно помочь. Хорошо, если б он съездил куда-нибудь. Отвлечся. Ему нужны новые впечатления. А потом уроки... школьные мастерские, и он вернется в свою колею.

У Любови Матвеевны ум был быстрый. Она, еще не распростившись с генеральшей, решила, что Маврикий поедет в Елабугу и вернется оттуда с теткой.

Вечером она, приласкав сына, сказала ему:

— А не поехать ли тебе в Елабугу за теткой?

— Одному? — спросил Маврик.

— Ты же перешел в третий класс. Неужели тебе в провозные нужна какая-нибудь Панфиловна, — вспомнила она старуху, которую нанимали для него в Перми.

— А когда?

— Да хотя бы завтра. Твоя тетка так будет рада.

Любовь Матвеевна иногда ревновала сына к сестре. Она знала, что Маврик свою тетю Катю любит больше матери. Но она также знала, что, выйдя второй раз замуж, она приблизила Маврика к тетке.

Вот и сейчас, видя, как обрадовался он, Любовь Матвеевна, глубоко вздохнув, прижала к своей груди сына и, целуя его кудри, искала слова успокоения. Они нашлись. И она поняла, что бог, или судьба, или еще

какая-то сила вознаграждает Маврикия любовью тетки за отнятое у него.

Как хорошо, когда находятся успокаивающие объяснения.

III

Солнце еще не село за берег Камы, когда протяжный свисток «Анны Степановны Любимовой» известил Елабугу о намерении пристать. Маврик уже разглядел в бинокль свою тетю Катю. Она стояла рядом с какой-то женщиной. Наверно, это и была та самая Валентина Ивановна, которая училась когда-то с тетей Катей кройке и шитью, а теперь она жена старика, который стоит позади нее.

Пароход сделал круг, чтобы, причаливая к пристани, стать носом против течения. Опять все толпятся. Кто-то кому-то кричит: «Здравствуй, Сережа!» Маврику ни до кого нет дела, он видит только свою тетю Катю в нежно-кремовой плетеной косынке, в новых очках с нарядной золотой оправой. Как они ей идут. И вообще лицо тети Кати становится все лучше и просветленнее. Другого слова и не подберешь. Потому что слов не так много, как раньше казалось Маврику.

Валентина Ивановна Ложечкина жила хорошо. Видимо, салотопня и свечной завод давали не такой уж маленький доход. Кирпичный двухэтажный дом. Семь комнат, а живут вдвоем. Кухарка, горничная, конюх. Он же кучер и дворник. Никаких коров, кур, свиней нет. Зато пять лошадей, и все беговые, призовые лошади.

Старик Ложечкин произвел на Маврика в общем-то неплохое впечатление. Сам старый, а глаза молодые, совсем как у Санчика Денисова. Но больше, чем Ложечкин, Маврику понравился Чародей. Этого коня и нельзя было назвать другим именем. Он, чаруя, останавливает каждого. Черный, блестящий. Стройный, тонконогий. Шелковистая грива. Пугливые, темные, с синеватыми белками глаза. За этого коня, как узнал Маврик, посылный от знаменитых елабужских богачей Стахеевых предлагал столько, сколько и во сне не приснится. Но Иван Прохорович ни за что не продаст своего Чародея, особенно Стахеевым, которые разорили множество купцов, таких, как Ложечкин.

Иван Прохорович назывался громким словом «заводчик». У него было два завода: свечной и салотопенный.

Свечной завод представлял из себя сарай с окнами. В нем работали двое стариков и один парнишка. Салотопенный завод находился за городом. Потому что, как сказала тетя Катя, от него идут плохие запахи. На этом заводе вытапливают из кишок, из различных отходов и даже из «дохлятины» сало для свечей. Работают два незаменимых мастера, потерявшие обоняние.

Елабуга город веселый. Но такой он только летом. В Елабуге есть что-то от Перми и что-то от Мильвы. Наверно, деревянные дома. Но у Елабуги свое лицо. Это уездный город-купец. Во всяком случае, таков его центр.

Главная фамилия в городе — Стахеевы. И это не просто фамилия, а второе слово после слова Елабуга. Стахеевы здесь имеют ко всему отношение. Они сильнее губернатора. Они почти царствующий дом: Стахеевы могут сделать все. Поднять человека, осыпать его милостями. А могут и разорить, уничтожить, стереть с лица земли.

— У них столько капиталов,— сказал за ужином Иван Прохорович своему племяннику,— сколько их нет во всей Елабуге. И если продать Елабугу со всеми ее домами, церквями, лавками, то все равно денег выручишь меньше, чем у Стахеевых.

Оказывается, купцы тоже не одинаковы, как и крестьяне. Однако же у всех у них самое главное — мое. Мои мочальные гужи. Моя пасека. Моя салотопня. Мой Чародей. Моя выгода.

Утром на другой день приезда Маврика, когда у Ивана Прохоровича был его приказчик, было сказано:

— Свечи попридержи, а все годное на сало скупай сколько возможно. Не бойся переплатить копейку. Из Казани идет слух, что начинается мобилизация, и все будет в спросе.

Подробности о войне Маврик узнал вечером. На улицах Елабуги было особенно много народу. Говорили, что сыр-бор загорелся от гимназиста по фамилии Принцип, который убил наследника австрийского престола Франца-Фердинанда в городе Сараево.

Как это неожиданно для Маврика. Во-первых, гимназист, во-вторых, город Сараево, почти что пристань Сарайск на старом зашеинском дворе. Наверно, в Мильве тоже знают о войне.

Маврик не ошибался. В Мильве уже бежал по улицам босой Тишенька Дударин и пророчествовал: «Мы

их шапками закидаем, а ихнего кайзера валенком пришибем».

Так же примерно говорили и в Елабуге. И говорили не юродивые, а солидные люди. Какой-то и чего-то попечитель специально приходил к Ивану Прохоровичу, чтобы рассказать о войне:

— Наша доблестная армия управится с ними до желтых листьев. Насквозь их пройдут.

Солдаты, проходя строем по улице, пели переименованную песню. Вместо турецкого царя запевала, выкрикивая, называл царя германского:

Пишет, пишет царь германский,
Пишет русскому царю:
«Побежду я всю Европу,
Сам в Расею жить пойду».

В конце песни нахальный царь, имя которого было теперь у всех на устах, получал по заслугам. И это очень радовало мальчишек. Радовало и Маврика.

Спустя еще день из Казани пришли самые свежие газеты. От Елабуги до Казани триста тридцать верст речного пути. Елабуга живет вчерашними новостями. Новости подтверждали, что война будет короткой, что неприятель будет наказан. Воинственные мужские кличи раздавались и ночью, но вскоре вплелись плачущие, причитающие женские голоса.

Началась всеобщая мобилизация.

— Не забрали бы на войну Герасима Петровича,— сказала за обедом тетя Катя и тут же успокоила себя: — Наверно, таких, как он, не будут брать.

И Маврик думал так же. Какой же может быть солдат из его второго отца, когда он ходит в накидке с бронзовой цепочкой и бронзовыми головами львов? Артемия Гавриловича Кулемина тоже не могут мобилизовать. Он же в оружейном цехе, а ружья будут нужны.

На пристанях стоял рев. Плакали и гармошки, делая вид, что они играют веселое. Наступил какой-то сплошной екатеринин день летом. Мобилизованных отправляли на баржах. Это дешевле и удобнее, чем на пароходах. Гнали в Казань и пешим строем. Особенно из деревень.

Война с первых же дней коснулась всех. По-разному, но всех. И если в первые дни она была как гром

среди ясного неба, то уже на вторую неделю с ней примирились, как с чем-то неотвратимым и не зависящим от того, кто бы и как бы в Елабуге к ней ни относился. Изменить ничего было нельзя. И даже сам царь не мог бы сейчас заставить замолчать пушки, начавшие смертельную огневую перебранку. В войну вступили Франция и Англия.

Пожар разгорался нарастающе и неугасимо, но его пламя было далеко от Елабуги. За Москвой, за Смоленском, за Варшавой.

На другой день племянник и его тетка возвращались в Мильву. Екатерина Матвеевна подолгу просиживала в каюте, не показываясь на палубе. Тягостной была эта поездка. Пароход против течения шел медленнее. Все говорили только о войне и победе. Опять встретилась баржа с мобилизованными. Ее тянул дымивший черным дымом буксирный пароход.

Опять на палубе появились пассажиры с платками для приветствия мобилизованных. У одного был даже трехцветный флаг. Они будут махать барже и выкрикивать воинственные напутствия. Пароход опять даст, поравнявшись с баржей, короткие вдохновляющие свистки. Помощник капитана обязательно скажет в рупор: «Возвращайтесь с победой».

Пожилая женщина, похожая на сельскую учительницу, стоявшая на палубе неподалеку от Маврика, тихо сказала:

— Все ли вернутся они к своим семьям? А если и вернутся, то, может быть, без руки или без ноги. Война только на картинках да в песнях удала...

Маврик решил рассмотреть мобилизованных. Он приложил к глазам бинокль и стал разглядывать едущих на барже. Это были люди в лаптях, в сапогах, с котомками, с дорожными сундучками, в плохой одежде. Все равно бросать. Дадут казенную. В бинокль было отлично видно и выражение лиц. Баржа быстро пробегала в поле зрения бинокля, и Маврик вел его за баржей. И когда он разглядывал сидевших на корме, он увидел так отчетливо два таких близких и знакомых лица, что бинокль выпал из его рук и он очень громко закричал:

— Папа! Папочка...

Пронзительный крик услышали находившиеся на палубе и в каютах, окна которых были открыты.

— Папа... Папа... Это я... Это Маврик... Григорий Савельевич!.. Это я...

Но разве из-за шума колес и воды Герасим Петрович и Григорий Савельевич Киршбаум могли услышать крики Маврика?

Около Маврика столпились женщины. Они спрашивали, что случилось, что произошло. Появилась и Екатерина Матвеевна.

— Маврушенька, что с тобой?

— Мама опять одна! — выкрикнул он. — Ильюшиного папу тоже забрали на войну.

Он мог бы добавить, что на этой же барже везли Павлика Кулемина, снова отнятого у Жени, так долго ждавшей свое вероломное счастье. Но Павлик сидел за канатами, и его не было видно.

Третья глава

I

Не только елабужским подвыпившим стратегам и мильвенским вершителям судеб из комаровского кружка, но и многим, очень многим, может быть, подавляющему большинству населяющих Российскую империю, казалось, что война будет короткой. И уж во всяком случае до белых мух должны были вернуться героями под родные крыши угнанные в армию на отмщение оскорбленной державы.

Искусственно вспененная волна патриотизма пошумела недолго. Народ скоро почувствовал, что дело обстоит сложнее и проще. Не все и не всё могли понять, когда эту войну называли новым разделом мира. Но находились люди в той же Мильве, как из своих, руководимых глубоким подпольем, так и из приезжих, растолковывавшие, что идет борьба за прибыли, за сбыт товаров Германией, Англией и Францией. Русские капиталисты тоже мечтали урвать в этой войне кусок пирога, желая проникнуть в Турцию, а через Турцию на Ближний Восток.

И без того сложный узел нарочито запутывался правящими кругами. Нелегко было мильвенским подпольщикам разъяснять, казалось бы такой ясный теперь, лозунг превращения империалистической войны в войну гражданскую, то есть в революцию, свергающую

классы, начавшие и поддерживающие войну. Трудно было объяснить таким, как мастер Игнатий Краснобаев, людям не из темных, что большевики не против своего отечества, а против обмана народа. Чтобы понять и принять эти неоспоримые азы, для некоторых требовались не дни, не недели и не месяцы, а годы. А пропаганда затруднялась день ото дня. Большевики лишались своих изданий, разгонялись даже культурно-просветительные общества, большевиков арестовывали при первом подозрении.

Мильвенских большевиков пока еще не коснулась ни одна репрессия. Новые строгие предосторожности конспирации, введенные Матушкиным, все же не позволяли успокаиваться. Всякое могло случиться. Особенно нужно было теперь оберегать подпольное производство штемпелей.

Анна Семеновна, Кулемин, Мартыныч и Терептий Николаевич Лосев хотя и с трудом, но справлялись с делами. В Казань по-прежнему отправлялись стереотипы листовок. Нередко Казань заказывала листки, похожие по внешности и обрамлению на патриотические обращения обществ, благотворительных комитетов, объявлений воинских начальников или торговых фирм. Такие листки, начинаясь крупными буквами: «За веру, царя и отечество...», или: «Всем женам нижних чинов...», или «Дешевая распродажа!», продолжались обычным шрифтом, рассказывая правду о войне. Эти листки не сразу бросались в глаза полиции, зато, попав в хорошие руки, береглись, передавались и оценивались по заслугам.

А обыватели, далекие от политики, жили своей жизнью, своими чаяниями, но и они не хотели войны. Не хотела ее, конечно, и Любовь Матвеевна Непрелова. Она все еще верила, что, проснувшись однажды, услышит, что война кончилась. А она и не думала заканчиваться. Минула осень, пришла зима, наступал новый, 1915 год.

— Тебе, Маврикий, как мужчине, первому произносить тост, — сказала мать тринадцатилетнему сыну.

Тост был кратким:

— Пусть кончится война в этом году.

— Пусть кончится она к весне, — поправила, вздыхая, мать, не очень веря, что это возможно.

Ильяша тоже оказался единственным мужчиной в

семье, и это понимала даже Фаня. Григорий Савельевич был контужен. Его перевели с передовой в военную прифронтовую типографию. Анна Семеновна с трудом содержала семью. Ильюша частенько приходил обедать к Екатерине Матвеевне. Якобы за компанию с Мавриком. На самом же деле Иль, как он говорил сам, обладал аппетитом значительно большим, чем бывало на столе еды. Фаня тоже, под благовидным предлогом, что Лерочка невыносимо одинока, по нескольку дней подряд жила у Тихомировых. Фаню любили там, хотя и не хотели, чтобы она, так рано, так ослепительно расцветающая красавица, помешала Викторину закончить образование. Он в каждом письме спрашивал бабушку о Фане, и по его письмам было видно, что Фаня не просто его знакомая. Хотя Викторин теперь выглядел рядом с Фаней юнцом, однако же он заметно возмужал.

— Если суждено,—говорила внучке Лере Варвара Николаевна,—то я никогда не стану на их пути.

Главенствовали в Мильве и были на виду и жили в достатке люди, подобные тем пассажирам верхней палубы парохода, которые махали мобилизованным платками и салфетками, требуя победы. Махали салфетками, чокались рюмками, поражали противника словесными канонадами и мильвенские патриоты. Комаровы. Шульгины. Мерцаевы. Чураковы. Не говоря уже о высшем круге, собиравшемся в доме Турчанино-Турчаковского.

Деятельные и бездельничающие дамы устраивали кружечные сборы в пользу раненых с прикалыванием жетонов — гербов союзных держав, организовывали лотереи, довольно веселые вечера, балы-маскарады с теми же целями облегчения участи пострадавших от войны солдат.

В корону на спине горбатого медведя, как в корзину, были воткнуты союзные флаги с центральным из них трехцветным флагом Российской империи. Это было весьма многозначительно. И доктор Комаров сказал по этому поводу спич:

— Господа! Медведь — это не только фабричная марка завода и герб Пермской губернии, в нем хочется мне видеть гораздо большее... Это русская сила. Пусть темная... Пусть в некотором роде дикая, лесная и даже, позволю себе, звериная сила... И в этом ее преимуще-

ство. Она идет напролом... Она, сокрушая все на своем пути, не думая о ранах и не замечая потери крови, проносит победные знамена.

Этот спич, приукрашиваясь, пересказывался другими на вечеринках, именинах, просто в веселых компаниях, и в конце концов горбатый чугунный медведь получил новое звучание, и пристав Вишневецкий установил на плотине возле монумента полосатую полицейскую будку и почетный пост, а всякому полицейскому чину, проходящему мимо медведя, было приказано отдавать честь.

— Как это мило, смело и мудро! — восторгалась нововведением пристава в кругу своих друзей сама Турчанино-Турчаковская.

Медведь шел и нес победные флаги, а война шла сама по себе... Одни складывали свои головы, вторые боролись с нуждой и лишениями, принесенными войной, а третьи наживались на войне. И этих третьих было не так-то уж мало. Ими были не только капиталисты-магнаты высочайшего, стахеевского ранга. Они, эти наживщики на войне, не ограничивались и средневатенькими тысячниками чураково-куропаткинского разряда... Война обогащала всякого хищника, от перекупщика дорожающих спичек, папирос, сальных свечей до прижимистого Сидора Петровича Непрелова, откупившегося от мобилизации малой пасекой и наживающегося теперь на каждой малости, без которой не сядешь за стол. И те, для кого моление являлось не одним только служением всевышнему, но и хлебом насущным, тоже умножили свои доходы умножением молящихся за убиенных и тем более за сохранение жизней дорогих сынов, отцов, братьев, мужей.

Любовь Матвеевна никогда не была богомольной, а теперь она каждое воскресенье, каждый праздник подает особый листок о здравии раба божьего Герасима, хотя он и не находится на фронте.

Герасим Петрович, назначенный старшим писарем в артиллерийскую батарею, жил в Воронеже. Почерк, оказывается, всюду великая сила. Писарь, особенно старший, — это не солдат. Он очень хорошо выглядел на фотографическом снимке. Ему шла военная форма. Он не терял надежды побывать в Мильве, аккуратно писал Маврику наставительные письма.

Маврик старался не получать троек. Не ладилось

только с латинским языком, который преподавал «Аппендикс», или, попросту говоря, «Слепая кишка» — так был назван протоиерей Калужников за то, что его, а не учредителя гимназии Всеволода Владимировича Тихомирова утвердили директором гимназии, ставшей казенной. Причиной этому был не только его сын, живший за границей и выступавший там против войны, но и он сам.

Всеволод Владимирович мечтал создать новую универсальную политехническую гимназию, из которой бы выходили не просто хорошо образованные люди, но и умеющие что-то делать, способные к труду. Поэтому подвальный этаж нового здания был приспособлен под мастерские. С переменным успехом работали столярная, токарная по дереву, сапожная и переплетная мастерские.

Всеволоду Владимировичу очень хотелось купить близкие к гимназии дома и, расширив их, создать там хорошие, светлые мастерские. Но в деньгах было отказано. В учебном округе нашли эту затею ненужной и посоветовали генералу Тихомирову вспомнить свою специальность и передавать питомцам военные знания. Всеволод Владимирович согласился стать командиром гимназических рот, считая, что военные знания при любых обстоятельствах и поворотах жизни не будут лишними.

Мастерские были сохранены на правах необязательных. Но и при этом Всеволод Владимирович не терял надежды. Ему никто не может помешать купить дом у Краснобаевых и переоборудовать его в первоклассные мастерские. Для этого нужны деньги. Те, что были, он вложил в строительство гимназии. На это никто не обратил внимания. Генерала считали богатым. Если уж гимназии строит, значит, есть на что свою охотку тешить. Игнатий Краснобаев искал путей к разделу с братом Африканом Тимофеевичем. Продажа дома была нужна обоим братьям Краснобаевым. Поэтому Тихомиров решил продать Омутихинскую мельницу. Ее когда-то, неизвестно зачем, ставил здесь давний тихомировский предок, один из строителей Мильвёнского завода. Эта мельница никогда и никому не давала прибылей, а теперь, когда она остановлена, и вовсе... Расстаться с ней — и вся недолга. Зато какие хорошие будут мастерские, какой доброй памятью они останутся

для лучших времен, когда в обучении умственный и физический труд будут неразделимы.

Маврик обучался в столярном классе, куда пришел хороший учитель, добрый человек, пленный чех Ян.

Работа в мастерских по часу два раза в неделю, два раза по часу военные занятия укорачивали длинную зиму. К весне Маврик был командиром отделения первоклассников. Им тоже в оружейном цехе были сделаны деревянные винтовки по росту. И первоклассники любили своего строгого, но справедливого командира и становились во фронт, когда встречали его в школе. Если же они с ним встречались на улице, то, как положено, отдавали честь, прикладывая руку к козырьку фуражки.

Ильюше приходилось помогать матери в мастерской. Он не захотел стать вторым командиром отделения первоклассников и не мог работать в столярном классе.

II

Патриотическая взволнованность первых недель войны давно сменилась недовольством. О войне задумывались и критиковали войну далекие от политики люди. Санчикова мать, встретившись с Екатериной Матвеевной на улице, говорила:

— А чего ради война? За что люди должны складывать свои головы? Зачем простой народ должен терпеть нужду?

Екатерина Матвеевна молчала. Она не знала ответа на эти простые слова, хотя и были всеобъясняющие слова с первого дня войны: за веру, царя и отечество. Но теперь и эти слова требовали настойчиво объяснения.

Молчаливая, тихая женщина Елена Степановна Кулемина и та за чаем спросила Екатерину Матвеевну:

— А зачем вере нужно столько крови? Чего не хватало отечеству, Екатерина Матвеевна? Чего? Земли, руды, леса или скота? Зачем понадобилось царю губить свой народ?

Пока не многие могли ответить на этот вопрос. А те кто пробовал отвечать и помочь простым людям разобраться в том, кто заинтересован в войне и кому она понадобилась, брались на заметку, а затем снимались

с учета завода и отправлялись на фронт. Но в Мильве появлялись люди, которых нельзя уже было отправить на фронт, потому что они прибыли с фронта, оставив там свою ногу, руку, или, получив другое увечье, не могли возвращаться в окопы. Этим людям, и особенно тем из них, у кого красовались на груди георгиевские кресты, невозможно было грубо заткнуть рты. И они рассказывали правду, которой не было в газетах и, конечно, не было в «вечерних телеграммах», печатавшихся небольшими листками в начавшей процветать типографии Халдеева.

Правдивые вести привез и старший унтер-офицер Григорий Киршбаум, служивший теперь в военной типографии штаба армии.

В кружке доктора Комарова, куда пригласили осведомленного наборщика, узнали, что дела на фронте все не так хороши, как хотелось бы. Осторожный Киршбаум, зная, с кем он имеет дело, зная, что в кругу этих лиц слушают уши специального назначения, не высказывал своих суждений, а лишь говорил то, что есть, и этого вполне было достаточно, чтобы гораздо более широкие круги, нежели комаровский кружок, знали правду.

Приехавший также на побывку старший писарь Непрелов более сдержанно, но не менее определенно подтверждал, что война будет затяжной, что, к его великому сожалению, среди солдат, еще не побывавших на театре военных действий, находящихся в городах глубокого тыла, встречаются недовольные и дезертиры.

— Не все, к великому огорчению,— говорил Непрелов в той же комаровской гостиной,— теперь верят в победу нашей армии.

— А вы-то, Герасим Петрович, верите? — спросили в один голос Чураков и Шульгин.

— Какое это имеет значение, господа? — ответил Непрелов.— Я надеюсь. А что еще может делать маленький человек?

Дома маленький человек рассуждал, как большой. Он предупреждал жену:

— Любочка, деньги становятся дешевле и дешевле. Они, если так же плохо пойдут дела, подешевеют совсем и ничего не будут стоить. Что будет с нашими накоплениями, Любочка?

На этот вопрос ответил толково и доказательно старший брат Непрелова. Узнав о приезде Герасима Петровича, он тотчас же примчался из Омутихи. Малограмотный Сидор Петрович, как оказалось, хорошо разбирается и в денежных и в военных делах. Говорил он степенно и убежденно.

— Как толичко спички заместо копейки за коробок вздорожали на грош и за них стали спрашивать по три копейки за два коробка, я сразу тогда почуял, что бумажные деньги дымят-горят, и тут же поразменял все свои «гумаги» на «рыжики». Золото, Герася, всегда золото, а гумага, она хоть и орленая и гербленая, а все же гумага. Твоей Любви Матвеевне тоже было присоветовано все, что лежит в казне на сохранении, взять да в золото перегнуть и замуровать понадежнее в стене.

— А проценты? Кто за деньги, которые лежат дома, будет давать восемь копеек за рубль? Если купить облигации, так еще больше,—заспорила Любовь Матвеевна.

А Сидор Петрович опять свое:

— Пушай хоть двадцать копеек каждый год на рубль належивает, да полтинник слеживает. Ты хоть по спичкам бери, хоть по муке, хоть по телегам.

— Ты прав. Я только что говорил Любе, что нужно как можно разумнее распорядиться нашими накоплениями. А можно ли, как ты думаешь,—спросил Герасим Петрович,—получить с книжки золотом?

— Чиновники всяко могут. Зря ты их, что ли, поил-кормил. Только и золото, скажу я тебе, Герася, тоже по-разному тянет,—предупредил Сидор Петрович.—Да и какой прок из него, коли оно мертвяком в земле закопано. Не складнее ли, Герася, его не загонять в землю, а перегонять в ее.

Герасим Петрович не сразу понял, что хочет сказать этим брат. А брат, такой всегда тихий, нерешительный, что называется—боявшийся и тележного скрипу, вдруг осмелел, прозрел и стал замахиваться не по лаптям. Он решил купить тихомировскую мельницу, со всеми ее пахотными землями и лесными угодьями.

— А что же зевать, ежели енерал ее за полцены отдаст и деньги не сразу.

От этих слов Герасима Петровича слегка зазнобило. Приобрести тихомировские земли с прудом, с готовым домом, с мельницей, которую не столь сложно

пустить, могло стать таким невообразимым счастьем и началом свершения самого сокровенного. И как бы ни кончилась война, земля никогда не упадет в цене. И если на ней нет ни кола ни двора, если в нее не брошено ни ржаного зерна, ни льняного семечка, то все равно и трава, будь она лебедой или пыреем, дает прибыток, как в пруду рыба, как в лесу деревья.

Если бы это было возможно!

Это было возможно. Сны Герасима Петровича переходили в явь.

III

Зная, что рано или поздно Тихомиров купит под кузницу и слесарные мастерские старый краснобаевский дом, Игнатий откупился от многосемейного брата Африкана Тимофеевича, и тот переехал на дальнюю улицу, где дома куда дешевле. Теперь Игнатий мог заломить бесстыдную цену.

Игнатий Краснобаев не ошибся. Всеволод Владимирович Тихомиров не терял все это время надежды купить под учебные мастерские краснобаевский дом. Краснобаев в свою очередь приглядел большой дом с огородом и ягодниками на углу Песчаной улицы и пруда. Из окон хороший вид, под окнами своя моторка, а уж про весельную лодку нечего и говорить. Дом продавали солдатики, ставшие теперь вдовами.

Но война войной, смерти смертями, а живые должны жить.

Жалко Игнатию Краснобаеву братьев Филимоновых, убитых на Карпатах. Жаль ему и молодых овдовевших жен. И как-то стыдно покупать их дом. Но что можно сделать — если не купит он, купит другой... Живые должны жить.

Памятуя эту истину, братья Непреловы пришли к Всеволоду Владимировичу относительно мельницы.

Сидор Петрович хотя и был в сапогах, а не в лаптях, все же не посмел сесть при «енерале» и, стоя, сбивал цену:

— Восподин енерал, восподин барин, мельница только одно звание, а по сути — она дрова, да и те прелые.

С этим согласился Всеволод Владимирович и сбавил еще.

Молчавший покорнейше и почтеннейше Герасим Петрович, так как мельница покупалась не им, а братом, все же нашел возможным напомнить о зашеинском доме:

— Когда моя свояченица Екатерина Матвеевна продавала для гимназии наследственный дом, она не попросила за него настоящей цены, которую ей давали...

Всеволод Владимирович сбросил еще. И наконец было решено — половину наличными и половину векселями с погашением на три года.

Тихомиров был доволен, что на той же неделе начнется переоборудование дома под мастерские — и мастерские в безвестной Мильве, перейдя на страницы книги «Практический политехнизм», которую пишет и допишет Всеволод Владимирович, станут примером для множества других мастерских. И это было радостью и целью жизни Всеволода Владимировича.

Когда у нотариуса было завершено все, Сидор Петрович сказал брату:

— Герасим, пожалуй, мне уж негоже из сапогов в лапти переобуваться...

Сидор Петрович, числившийся в «справных», теперь вышел в «богатеющие мужики». И так было всюду. Война разоряла одних и обогащала других. Сидор Петрович сразу же навел порядки на мельнице, начав с того, что ее жернова завертелись через неделю после покупки. И то, что было названо им «прелыми дровами», стало давать братьям Непреловым первые доходы.

У Герасима Петровича не хватило бы денег на покупку Омутихинской мельницы, но ему теперь был открыт широкий кредит. После запрета продажи спиртных напитков спрос и цены на пиво необыкновенно возросли. Пивные склады в Мильве были опечатаны полицией. Складами заведовала теперь Любовь Матвеевна. Ее заведование заключалось в поддержании порядка и охране печатей. При появлении в Мильве на побывку Герасима Петровича пристав Вишневецкий посоветовал проверить, не прокисло ли пиво, а затем сказал прямее:

— Зачем погибать тому, что может жить, веселить и приносить радости...

Ростислав Робертович не предлагал красть пиво. На это не пошел бы честнейший Герасим Петрович. Нужно было взять из склада несколько бочек, развезти их по

надежнейшим и уважаемейшим адресам, затем опечатать снова склад и, в случае надобности, повторить эту простейшую операцию.

Герасим Петрович добросовестнейше перевел за пиво главе фирмы Болдыреву все до копейки с надбавкой на общий рост цен и падение рубля. Тщательнейше были подсчитаны проценты с оборота приставу, а остатки, составлявшие семь-восемь рублей из каждых десяти, пошли на покупку тихомировской мельницы.

Невольный свидетель происходящего, Маврик молча носил в себе стыд за отчима. В спешной покупке и торопливом обживании тихомировской мельницы было что-то неприличное. И особенно неприглядно выглядела суетливость захватывания дядей не купленных им вещей, не принадлежащего ему имущества, вроде брошенных Всеволодом Владимировичем хомутов, дуг, кадок, старой мебели, чугунов, ржавого шомпольного ружья, бельевой корзины, рваной сети, охотничьих лыж, стожка прошлогоднего сена, куля с овсом, шарабана со сломанными рессорами, линялого байкового одеяла и прочего из разряда негодных вещей. Все они рассматривались, оценивались и прятались. «Вдруг да енерал спохватится и спросит — а где мои старинные енеральские сапоги?..» И это так походило на мышиную возню, на бессмысленное растаскивание по норам и того, что никому не могло пригодиться.

Старый осел Бяшка тоже пошел в придачу вместе с даровым имуществом. Сидор Петрович долго думал, как поступить с ослом. Держать просто так, как он жил у Тихомировых, было невозможно. Это противоречило всему строю мыслей Сидора Петровича. Все должно давать прибыль. И он продал осла на мясо.

Прощай, Бяша! До тебя ли теперь...

Отчим Маврикия беспокоился о скорейшем пуске мельницы, чтобы она давала гарницы зерна за помоя. Его волновал и луг, который никогда не косили Тихомировы, оставляя траву для любования ею, для сохранения полевых цветов и полевой клубники. Какие могут быть тут цветы, когда луг должен дать два добрых стога сена. И если продать это сено поближе к весне, то можно взять за него и вдвое.

Мельница и луг — это еще что... Герасима Петровича беспокоили дикие утки, гнездившиеся в камышах тихомировского пруда. Он внашл непонятливому пасынку:

— И утята теперь тоже наши. Они хотя и дикие, а вывелись на моем... на нашем,— поправился он,— пруду. И так жаль, что из-за распроклятой войны осенью я их не сумею подстрелить и они улетят... А то и хуже. Забредет сюда кто-то чужой и перестреляет наших уток...

Маврик молчит и думает, что на свете нет силы, которая может расколдовать людей, которые стали мышами.

В этом возрасте Маврик предпочитал делиться своими мыслями с товарищами. Но не все можно было сказать и самым близким друзьям. И только тетя Катя, единственная тетя Катя может понять его. Он снова стал часто бывать у тетки в Замильеве. Она просила не обращать внимания на странности отчима и обещала поехать с ним в Верхотурье.

Это неизвестное Верхотурье, куда они поедут неизвестно зачем — не то на богомолье в монастырь, не то полюбоваться красотами старого города и Урала,— занимало воображение Маврика.

В самом деле, скорей бы уже уехать в это Верхотурье, за Уральский хребет, в Азию, чтобы не видеть, что делается здесь, и не осуждать...

IV

Пермь — узел речных и железнодорожных путей. Здесь перевал грузов, прибывших из горнозаводского Урала, Сибири, Монголии, Корен, Китая. Здесь перегруз товаров, прибывших с Волги, Нижней и Верхней Камы, отправляемых в Азию.

Прежде Маврику казалось, что Азия где-то там, далеко, а она, оказывается, совсем рядом. Несколько часов езды на поезде — и ты в Азии. Пермская губерния — европейско-азиатская. Об этом он знает из учебника географии. Но учебник — одно. Это карта. А увидеть своими глазами, ступить на землю Азии своими ногами — это совсем другое.

По приезде в Пермь Екатерина Матвеевна хотела побывать с племянником в памятных местах. Но поезд отходит через два часа, а следующий пойдет только завтра. Посоветовавшись, они решили побывать в городе на обратном пути.

Билеты куплены. На станции Гороблагодатская у них будет пересадка на Верхотурье. А теперь остается более

часа, и можно сходить хотя бы в Козий загон, купить по старой памяти маленький пятикопеечный фунтик жареного миндаля, вафлю трубочкой, хотя это теперь и не так интересно. Куда интереснее побывать там, где давным-давно и совсем недавно два маленьких мальчика — Ильяша и Маврик — играли в козла и загонщика. Жива ли та скамейка, где сидела и любовалась ими тетя Катя?

Знакомые и родные места во все годы жизни зовут к себе человека. Какая-то мелочь, деталь, скамья, калитка, камень или что-то самое неожиданное вдруг возвращает в прошлое, и оно, переживаясь, воскресает хотя бы на минуту.

Подымаясь в гору от вокзала Пермь-1, Маврикий Толлин на исходе своих тринадцати лет шел довольно солидно под руку со своей теткой, разглядывая встречаемых, среди которых так много попадалось прапорщиков. Этот первый офицерский чин военного времени давался всякому, кто был способен окончить краткосрочную школу прапорщиков, и теперь их, щеголявших золотыми погонами с одной звездочкой, встречалось чуть ли не более, чем безруких, безногих калек в солдатских шинелях.

По булыжной мостовой гроыхали ломовые телеги, проносились извозчицьи лошади, развозя все тех же прапорщиков, катили за собой и перед собой легкие двуколки доставщики мелкой клади, гарцевали конные полицейские, тащились с поклажей на спине прирабатывающие пристанские грузчики... И в этом пестром, разномастном потоке, стекавшем с горы и медленно втекавшем в гору набережной, Маврик увидел маленького серенького конька, запряженного в синюю тележку, нагруженную бочонками. Сердце Маврика сжалось. Крохотная лошадка так походила на того самого пони Арлекина, снившегося так часто, запомнившегося до каждого пятнышка, и особенно памятными были одна над другой две звездочки на его лбу. Маврик хотел и боялся поверить встрече с Арлекином. Не помня себя, он бросился наперерез мостовой, лавируя между ломовиками и телегами.

— Куда ты? Что с тобой? — слышался позади него теткин голос.

А он уже у конька. На его лбу те же самые звездочки. Тот же цвет грустных глаз и те же длинные белые ресницы.

— Арлекин! Неужели это ты, Арлекин! Как ты исхудал! Какие печальные у тебя глаза.

Удивляя прохожих, возниц и старика в белом фартуке, который шел рядом с синей тележкой и в руках которого были вожжи, опрятный гимназист в белой фуражке и в белой рубашке обнимает посреди мостовой маленькую лошадку, а лошадка, будто узнав его, тоненько, радостно ржет, помахивает хвостом и обмазывает слюной хорошую чистую рубашку с форменными пуговицами.

— Что случилось, Мавруша? — спрашивает Екатерина Матвеевна, с трудом перейдя дорогу.

Маврик мог сказать всего лишь:

— Это Арлекин... На нем я катался в детстве... Почему же ты такой несчастный, заброшенный конь? — спросил он коня, задавая тем самым этот вопрос старику в белом фартуке.

— Так ведь уж старый он, господин молодой человек, — тихо ответил старик. — Когда я купил его, ему уже было порядочно годков.

Хотелось выяснить все, узнать больше, и старика попросили съехать с проезжей части ближе к тротуару.

— Пожалуйста, пожалуйста, — попросила Екатерина Матвеевна старика, — расскажите как можно больше о вашей лошадке.

Рассказ был недолог. В год отъезда Маврика из Перми старик, продающий вразвоз пареные груши, устал катать свою тележку и купил Арлекина, которого он теперь называет Сермяжкой, и развозит по улицам Перми садовые пареные дули, груши и грушевый квас.

— И ежели угодно испробовать, милости прошу, для знакомства.

Старик нацедил из бочонка, заткнутого деревянной затычкой, в кружечку грушевого кваса. Маврик выпил и поблагодарил. А серенький Арлекин, ставший теперь Сермяжкой, стоял понуря голову, не замечая, как с его отвисшей нижней губы стекала тоненькая струечка слюны.

Разговаривать со стариком далее было трудно. Маврик подал ему рубль и попросил купить Арлекину сахару.

— Он очень тогда любил сахар...
— Так кто не любит его, — сказал старик, пряча рубль за пазуху в холщовый кисет, висевший на том же

засаленном гайтане, что и медный старообрядческий нателный крест.

— Но-но! — дернув вожжами, понукнул Арлекина старик.

Конь понуро тронулся.

Маврик отвернулся. Ему было тягостно смотреть на уходившего маленького конька, который вызывал множество сравнений, и каждое из них оказывалось печальным.

V

На вокзале все покупают в дорогу газеты и журналы. Маврикий купил для солидности «Ниву», «Синий журнал» и «Биржевые ведомости».

Рассматривая в вагоне «Ниву», Маврик увидел вложенный между страницами розовый листок. Заголовок листка довольно крупными буквами спрашивал: «НУЖНА ЛИ РАБОЧИМ ВОЙНА?» — а ниже помельче отвечалось: «Нет, эта война не нужна ни рабочим, ни солдатам, ни крестьянам и никому из тех, кто живет своим честным трудом, не нажибаясь за счет труда других людей...»

В это время вошел кондуктор. Маврик перевернул лист журнала и закрыл им листовку. А то, что это была листовка, Маврик не сомневался. Листовок он хотя и никогда не видел, но знал их по описаниям.

Оттиск на этой листовке походил на штемпельный, и Маврик невольно вспомнил Ильюшу и штемпельную мастерскую Киришбаума. Он вспомнил об этом не потому, что знал или догадывался о происхождении этой листовки. Всякий штемпель напоминал ему Ильюшу.

Как был бы удивлен Маврик, узнав, кем сделан большой штемпель, оттиснутый на этом рыхлом, легко впитывающем краску розовом листке. Да и не менее удивился бы Ильюша, узнав, что это дело рук Артемия Гавриловича Кулемина и Мартыныча — Дизеля. Он еще до покупки Непреловым мельницы ушел в сторожа церкви. Живет при ней в сводчатой, глухой, с одним окном комнатке. В длинные ночи, запирая кованые двери храма, Мартыныч продолжил, хотя и в меньших размерах, свою работу по вулканизации подпольных каучуковых штемпелей — стереотипов. В церковь, стоящую при большой дороге, приходили всякие и разные молящиеся. И те,

кто приносил матрицы формы для стереотипов, и те, кто уносил готовые стереотипы.

Наведывался сюда и мастер оружейного цеха Артемий Кулемин. Было бы странно, если бы рыбак забыл рыбака, своего давнего друга Мартыныча.

Об этом Маврикий узнает значительно позднее. А теперь он хотел как можно скорее прочитать розовую листовку. В листовке очень ясно говорилось, почему эта война нужна богачам, в скобках называвшимся незнакомым словом «буржуазия», и какие прибыли она им приносит. Некто, подписавший ее инициалами, подписал не двумя, как обычно, буквами, и не тремя, как тоже иногда подписывают, а пятью — РСДРП, призывал разъяснять всем труженикам, что такое война и почему она ненавистна народу.

Маврик хотел сохранить листовку, но, вспомнив, что за это арестовали токаря Шамшурина из механического цеха, модельщика Пермякова, решил избавиться от нее. Это было просто. Но Маврику было жаль расставаться с листком, в котором говорилось то, что никто не смел сказать, и он снова решил перечитать напечатанное, а затем бросить в окно, чтобы она была прочитана еще кем-то. Листовку подхватил и умчал ветер, а он принялся смотреть в окно. Чем дальше от Перми, тем интереснее и красивее становилась дорога.

Старая Горнозаводская дорога, полудугой соединяющая Пермь с Екатеринбургом, может быть без преувеличения названа стальной нитью богатейшего ожерелья, нанизавшей на себя многие десятки больших и малых заводов. Начиная с прославленного Мотовилихинского завода, Чусовского, Лысьвенского, затем Бисертского, Кушвинского, Баранчинских заводов и далее, где дорога круто поворачивает к югу, заводы встречаются чаще, дымы гуще. Лайские, Тагильские, Невьянский, и нет им числа до самого Екатеринбурга. И все они, стоящие близ Горнозаводской железной дороги, плавят железные и медные руды, варят сталь, прокатывают железо, производят тысячи различнейших металлических изделий от болта до машин, от проволоки до мостов и котлов, составляющих гордость края.

И в каждом из заводов, что бы он ни производил — прокатывал рельсы или клепал фермы мостов, отливал колеса или отковывал валы, — Маврикий видит свою Мильву. Что из того, что у одних вместо железных кир-

пичные трубы или у цехов иные крыши,— в каждом из них найдешь Мильву. И Маврику кажется, что они, все эти заводы, отдали Мильве кто фасон труб, кто голос свистка, кто фасад цеха, кто рисунок ограды — и из всего этого составилась Мильвенский завод, похожий сам на себя и на все заводы Урала.

Хорошо думается, когда идет поезд и открывается все новое и новое за окном. Недалеко уже до станции Европейская. За станцией Европейская стоит столб, и на столбе написано с одной стороны «Европа», а с другой — «Азия». Горы уже круче. Поезд идет медленнее. Паровоз очень часто, шумно дышит, выбрасывая из трубы дым и пар.

Скорей бы уж. Самое трудное в жизни — ждать. А ждать приходится все и всегда. Прихода поезда, парохода, звонка на перемену. Рыбу, когда она изволит проглотить крючок. Войну, когда она кончится.

Поезд останавливается. За окном станция Европейская. Поезд стоит здесь недолго. На этом краю Европы, так же как и в Мильве, пахнет полем и лесом. Растет иван-чай и, конечно, кислица. Не прозевать бы столб. Не прозевать бы границу двух частей света. Приходится то и дело высовываться в окно и смотреть вперед, чтобы увидеть столб. И вот, кажется, он. Да, это он. И уже различима надпись — «Европа».

Поезд оказывается таким предупредительным, таким вежливым, замедляя ход до самого тихого. И вот паровоз уже идет по Азии, а вагон, в котором стоят у окна Маврик и его тетка, все еще находится в Европе.

— Ну почему же ты так волнуешься, Мавруша, ведь там же за столбом все равно та же наша русская земля...

— Нет, нет,— заикается Маврик,— там Азия...

Маврик не замечает, что за ним наблюдают, им любуются два добрых глаза незнакомого пассажира в сером пыльнике, с русой бородой. Этот человек сел на станции Пашня.

Но Маврику не до пассажиров. Ему нужно найти хоть какое-то отличие азиатской земли от европейской, чтобы на уроке географии, по которой у него почти всегда пятерки и которую преподает удивительная Тамара Афанасьевна, рассказать, как он путешествовал в Азию.

И так обидно, что в Азии те же ели и сосны, та же трава, такие же увалы и горы и такой же иван-чай.

И зачем только и кому понадобилось ставить этот столб и разделять единую землю на Европу и Азию?

VI

Поезд прибыл на станцию Гороблагодатская. Здесь сошло немало пассажиров. Потому что многим предстоит пересадка на ветку, которая идет через Верхотурье в Надеждинский завод, название которого написано почти на всех рельсах уральских железных дорог.

Сошел с поезда и пассажир с бородой, в светлом пыльнике. Он прошел в буфет. Екатерина Матвеевна тоже предложила подкрепиться. Багаж сдали в камеру хранения. До поезда в Верхотурье часа четыре, нужно куда-то убить время. Не сходить ли после обеда на знаменитую гору Благодать? На ее вершине памятник человеку, который открыл эту гору и которого за это сожгли его сородичи-язычники, потому что гора была священной. Она притягивала все железное. И на ней молились идолопоклонники. И это не сказка, а историческая быль, рассказанная той же Тамарой Афанасьевной. И ей будет приятно, если ее ученик Толлин пополнит коллекцию минералов. А здесь их должно быть много.

Сказав тетке о своих намерениях, Маврикий отправился к горе. К ней ведет ветка дороги. С первых же шагов на насыпи дороги попадаются редкие камни. Из них состоит то, что железнодорожники называют балластом — материалом для подсыпки верхней части насыпей. Гранит нельзя спутать с известняком, а уж с малахитом-то или яшмой — тем более. Маврик знал по той коллекции, какая есть в гимназии, до двадцати различных пород камней. А тут попадаются и неизвестные. Он их берет и кладет в узелок, завязанный из носового платка. Трудно поверить, но тут попадаются и обломки горного хрусталя. И никто не запрещает брать это. А в Мильве каждый такой камешек с радостью возьмут в свои коллекции товарищи. Среди них тоже есть мышата. Им мало общей школьной коллекции — они хотят свои.

Разговаривая с самим собой, он и не заметил, что идущий за ним бородатый пассажир в пыльнике тоже собирает камешки.

— Вот это находка! — услышал Маврик позади себя приятный голос. — Кварц с крупичками золота. Полюбуйтесь, молодой человек.

— Вот бы мне найти такой, — сказал со всей непосредственностью Маврик.

— Зачем же находить, коли я уже нашел! — Сказав так, незнакомец преподнес камень.

— Нет, я не могу взять. В нем же золотые крупички.

— Да полно, полно. Их тут на два гроша с полушкой. Берите.

Прежде чем взять, Маврик сказал:

— Вы знаете, я ведь не для себя собираю камни, а для мильвенской гимназии. Для коллекции Тамары Афанасьевны.

— Тем более нужно взять. Особенно мне приятно, что моя находка и это все пойдет для такой хорошей гимназии.

— А откуда вы знаете о ней?

— Из газет. Я много читаю. Эту гимназию, кажется, создал некто Тихомиров?

— Не некто, — поправил Маврик, — а очень передовой и благородный человек, хотя и... Но директором сделали другого.

— Наверно, еще более хорошего и еще более передового человека?

— Нет... директором назначили Аппендикса. Что в переводе с латинского означает — слепая кишка. Он протоиерей.

— Значит, неважный человек, коли его прозвали «Слепой кишкой», — хоть и протоиерей.

— Ерундовый, — подтвердил Маврик. — Может быть, я этим оскорбляю ваши религиозные чувства? — вдруг спохватился Маврик. — Может быть, вы едете на богомолье в Верхотурье?

— Да нет, — с легкой усмешечкой ответил незнакомый. — Я отмолился лет в четырнадцать... А вы?

— А я? — задумался Маврик. — Я, кажется, еще нет... А почему вы любопытничаете?.. Об этом же нельзя разговаривать с первым встреч... ну, в общем, с незнакомым человеком. За безбожие могут исключить... Или еще хуже. Причислить к политическим.

— Да-а... это ужасно.

— Хотя... хотя я не из трусливых. Я уже всякое повидал на своем веку.

Маврик вдруг сделался солидным. На лице его изобразилась таинственность. Ему даже почему-то захотелось сказать: «Какая жалость, забыл в шинели папиросы». Но это было бы уже чересчур. И он ограничился тем, что почти шепотом сообщил незнакомцу:

— Вы не думайте, в Мильве тоже случаются разные происшествия, ничуть не менее страшные, чем на этой горе. Хотите со мной на эту гору, я расскажу про нее одну страшную историю.

— С превеликим удовольствием...— согласился человек с приятным лицом.— Я безумно люблю всякие истории.

Они не торопясь подымались на гору Благодать по деревянной лестнице, которая зигзагами вела от площадки к площадке. Когда же они поднялись к чугунному памятнику, который представлял из себя вазу с пылающим в ней тоже чугунным огнем, то Маврик сказал:

— Этот памятник хотя и попроще нашего горбатого медведя с короной на спине, но лучше...

— Чем?

— Тем, что этот памятник прославляет что-то хорошее и возвышает, а не придавливает и не устрашает... В нем хотя и не настоящее пламя, но оно все равно как бы горит и не затухает...

— Ты прав, бараша-кудряша, горит и не затухает...

Маврик вздрогнул:

— Как вы назвали меня сейчас?.. Как вы назвали, повторите...

— Как всегда,— тихо ответил Иван Макарович Бархатов.— Бараша-кудряша.

VII

Как много нужно было Маврикию сказать Ивану Макаровичу и еще больше услышать от него. Только Иван Макарович мог прямо ответить на те вопросы, которые все остальные обходили молчанием или ограничивались туманными полуктовыми.

За час-полтора, проведенные на горе, Маврикию открылось куда больше, чем за все эти годы недомолвок, намеков и догадок. Бархатов понимал, что сейчас он сеет зерна в хорошую почву. И пусть не все из этих зерен дадут скорые всходы, но не пропадут в его душе, не засоренной никакими мельницами, салотопнями, ни

особым его положением гимназиста по сравнению с другими юнцами, выросшими в рабочих семьях, где нужда, нехватки, недоедания оказывались хорошими учителями суровой школы жизни.

Маврик, ничего не утаивая, ничего не боясь, говорил с Иваном Макаровичем еще более откровенно, чем с Ильей, Санчиком и уж конечно с такими, как Коля Сперанский, как Митя Байкалов.

Правда, и Артемий Гаврилович Кулемин говорил, что жизнь будет не всегда такой, а какой именно — умалчивал.

И столяр школьной мастерской Ян-чех на примере доски показывал, что люди делятся по слоям, а не по тому, как их хотят расчертить и распилить. И наконец, Емельян Кузьмич Матушкин, учивший ребят в ближнем лесу ставить петли на зайцев, обещал какую-то большую «весну-красну». Не ту, что приходит каждый год... А какую, он тоже недоговаривал. А теперь Иваном Макаровичем все недосказанное было собрано воедино и разъяснено. Будто он взял и дорисовал недорисованное, в котором было много непонятного, которое нужно было соединить какими-то линиями, чтобы все остальное ожило разумной и понятной картиной.

Было ясно, кто и почему начал войну и во что она превратится. Стало бесспорным, что судьбы люди создают себе сами, как и своих богов. Стало понятно, почему богаты одни и бедны другие. Выяснилось, наконец, почему несправедлив и жесток царь и почему он не может быть иным, даже если бы и хотел. Было сказано, почему друзей называют врагами, и наоборот — почему поработителей, хищников, кровопийц, узаконенных грабителей стараются показать хорошими, добрыми и чуть ли не посланными самим богом.

Как много оставит Маврикий здесь, на вершине горы. Еще больше отшелушится потом, когда он, раздумывая, примется настойчиво открывать крепко запертое царем, церковью, богатеями. Связку волшебных ключей подарил Бархатов своему любимцу. Теперь скоро. Теперь очень скоро жестокая война обернется против тех, кто хотел нажиться на ней.

С горы открывается вид на котлован рудника. Работает множество рудокопов и возчиков. Они в синих, красных, желтых, белых рубахах. Лошади вороные, карие, пегие, гнедые, рыжие, сивые, запряженные в тележ-

ки, спускаются и поднимаются по уступам котлована, доставляя добытую железную руду. Бархатов, указывая на эту кишашую пестроту, говорит медленно, терпеливо, убежденно:

— И всё руки да лошадь. Ни одной машины. Дело не только в том, что народ возьмет это себе... Народ должен переустроить все от основания. Создать машины, которые добывают руду, которые дробят ее, сортируют и отвозят на доменные печи. Должно быть много машин. Всяких машин. Машины будут пахать и копать. Рубить и ковать. Строгать и пилить. Машины должны будут делать все, что делают сейчас руки. Строить, изобретать, конструировать машины — будет всенародным делом. И будет очень хорошо, если ты, — сказал совсем ласково Иван Макарович, — придумаешь хоть одну из них.

Потом он посмотрел на часы. Потом кивнул на Кушву.

Кушва — большой заводской поселок Гороблагодатского рудника и металлургического завода. Деревянные дома и серые тесовые крыши.

— Тоже как в Мильве, — сказал Бархатов, — живут своими дворами. И в каждом дворе свои заботы и свои задачи. Ничего, ничего. Ни один двор не уйдет от решения общей задачи. И ты это скоро тоже поймешь, Кудрикий. А теперь тебе время на станцию. — Он протянул руку. — Ты, пожалуй, не сообщай, что встретил меня. Екатерине Матвеевне лучше, я думаю, меньше знать. И для меня спокойнее. Ну а на тебя-то я, товарищ Толлин, надеюсь, как на себя. Если, как ты говоришь, в те годы умел язык за зубами держать и никому не сказал, что узнал меня на Омутихинском пруду, то теперь-то уж и колом слова из тебя не вышибешь. Так, что ли?

— Так, Иван Макарович. Только вы все равно обнимите меня, как прежде... И я обниму вас на прощание...

И они обнялись там же, у чаши памятника Степану Чумпину. У чаши, в которой горел хотя и чугунный, но огонь.

— Мне туда, — указал Иван Макарович на синеющую за рудником гору. — Адреса постоянного пока еще нет. Так что писать мне, Маврикий свет Андреевич, некуда. А твой адрес я знаю. Пока...

Бархатов направился по склону горы. Маврикий стал спускаться по лестнице. Вскоре Бархатов скрылся в кустах. Как жаль, что встреча была короткой, но нуж-

но быть благодарным и за это. Они могли и не встретиться.

Не спешит торопливый Маврикий, шагая по шпалам ветки на станцию. Боится растерять услышанное...

VIII

Где-то в этих местах начинаются красоты Северного Урала. Было на что посмотреть Маврику. В Мильве отроги, увалы, а здесь встречаются большие скалы. Лес тут строже, выше и деревья крепче стоят на своих разлапистых ногах. Очень много кедров и много белок. Их можно увидеть из окна вагона.

Верхотурье предстало не таким, как представлялось. Это очень маленький деревянный городок. Куда ни помотри, виден конец улицы. Главное здесь — монастырь. В монастыре всё из камня. Храмы, службы, дома для приезжих, ворота и стены.

— При монастыре половина города живет, монастырем и кормится,— рассказывал Екатерине Матвеевне Петр Тихонович Мальвин.

Петр Тихонович тоже кормится монастырем. Возит богомольцев с вокзала в монастырь. Некоторые по рекомендации останавливаются у него. Маврик с теткой приехали по рекомендации, поэтому Мальвин и подал им лошадь, а тетя Катя до этого посылала ему телеграмму. Мальвин, как и Яков Евсеевич Кумынин, прирабатывает конем. Извозом. А вообще-то он мастер — гнет сани, делает коромысла, обода для тележных колес.

Дом у Петра Тихоновича — комната и кухня. Можно сказать — изба, но, конечно, с городской начинкой. Кровать с никелированными шишками. На окнах тюль. За тюлем герань и столетники. Посреди горницы комод с зеркалом. На комоде свинка-копилка, соломенная шкатулочка и каслинского литья конь.

Хозяйка была рада гостям.

— Одни мы живем,— сказала она.— Был сын, да угнали на позиции. Теперь-то его, слава богу, ранили. Живым придет наш Сереженька, хоть и без ноги... Без ноги не без головы,— рассудительно добавила она.

Судя по всему, Петра Тихоновича нельзя было отнести к людям верующим. К монастырю и к монахам относился он явно плохо. О Симеоне Праведном, на

поклонение мощам которого в Верхотурье съезжается множество богомольцев, Петр Тихонович говорил так:

— У нас на Урале два святых — Стефан Великопермский и Симеон Праведный. Стефан из высокого роду-племени, в больших церковных чинах, а наш Симеон из простых. Стефан в церкви знаменит, а этого нашего и в народе знают. За своего считают. Он вроде как бы портным был. По домам ходил шил. А денег не брал. Шьет-шьет — нашьет ворох всякого-разного, какую-то малость недоделает, и нет его. Исчезал. Святый очень любил рыбку ловить. Поэтому на иконе рисуют на берегу речки с ведерком и удищем... Ну а потом... потом нетленные мощи обнаружили, — сообщает Петр Тихонович. — Насколько они тленны, насколько нетленны — сказать не могу. Не видел. А те, кто поближе это всё знает, по-разному говорят.

Екатерина Матвеевна отворачивается к окну. Ей не хочется слушать о мощах. Маврик замечает это. Она не верит в святость мощей. Это ясно. Но зачем же она ехала сюда, зачем она идет на моления в монастырь? Неужели для того, чтобы ближе увидеть, лучше понять и разувериться во всем этом? Невероятно! Не может быть.

Нет, это так и есть.

— У монастыря какой-то торговый, ярмарочный дух, — делилась она своими впечатлениями за обедом. — Торгуют всем и берут за все. Церковные службы неприлично торопливы... Монахи слишком толсты. Видимо, они очень мало постятся.

К наблюдениям Екатерины Матвеевны Петр Тихонович добавлял свое:

— Наш монастырь — это фирма. Притом жадная и безжалостная торговая фирма. Возьмите вы, к примеру, Екатерина Матвеевна, целительное масло из лампы Симеона Праведного. Сколько продается этого масла? Многие тысячи флаконов. Бочками привозят его. Работает целый маслоразливочный цех. При чем тут лампада?

И перед глазами Екатерины Матвеевны предстали вчера виденные полки, уставленные флаконами с целительным маслом. Невольно ей вспомнились флаконы с зингеровским швейным маслом. На тех и других этикетки. На одной рекламируется русская красавица, шьющая на машине «Зингер». На другой — Симеон Праведный. Он, молитвенно сложив руки на груди, стоит на берегу реки, подле него ведерко и удище. В данном

случае это не икона, а именно этикетка на флаконе с целительным маслом, которое до разлива называлось обычным деревянным маслом. Теперь оно возросло раз в десять-пятнадцать в цене, оказавшись в фирменной монастырской посуде.

Екатерина Матвеевна не боится впасть в ересь, называя подлость подлостью. А это подлость, как и торговля землей, и опять же целительной, из могилы Симеона Праведного. По логике, за многие годы богомольцы превратили бы эту могилу в огромный котлован, если бы каждый из них уносил только по горсточке земли. Некоторые норовят захватить по пять и по десять горстей. У каждого из них дома родня, соседи. Говорят, земелька помогает от золотухи, от ревматизма и опухолей. И торгующим землей ничего не остается, как ночью, когда богомольцы засыпают, доставлять землю в телегах-грабарках.

— Привозят хороший желтенький песочек, — рассказывает Петр Тихонович. — Примерно пятак за горсть. Теперь, в войну, само собой надбавка. Вот и посчитайте, какие рубли берутся за воз самого обыкновенного песка.

IX

Прежде Маврик ничего не скрывал от своей тетки, а теперь оказалось, что не все можно спрашивать у нее и не все рассказывать ей. Ну как, например, расскажешь ей про то, что он слышал от своего нового знакомого на берегу Туры.

Быстрая холодная Тура текла в каменистых берегах. Дно ее было тоже каменным. На купание нечего и рассчитывать. Однажды на одном из прибрежных камней Маврик встретил удильщика, которого почему-то сразу же назвал для себя «монашенком». Он был в каком-то маленьком подрясничке и в скуфейке. Ему, видимо, очень хотелось познакомиться с Мавриком, и он первым начал разговор:

— А я в монахи не пойду. Я, как подрасту, в живописцы убегу. У меня страсть как ловко краски играют. А ты из мира?..

— Из мира, — ответил Маврик.

— Мамынька у меня тоже мирская была. А тятка, говорят, из чернецов. Хочешь, уды! На! А я потом наужусь.

«Монашенок» подал Маврику немудрое удилишко,

насадил червя, посоветовал не давать ершам «загланывать», крючок до хвоста. И Маврик принялся таскать ершей, а разговорчивый «монашенок» рассказывать о себе. Видимо, ему было нужно поделиться с кем-то.

Как оказалось, мальчик был одинок и жил в «куфне» при иконописне. Его взяли туда учеником, как сироту. «Мирские» ребята с ним не водятся и «прозывают» его «скуфейкиной милостью» и «Адамкой Матреновичем». И это ему очень обидно. А в монастыре ребят нет, потому что все чернецы холостые начисто.

— И ежели есть у которых зазнобы, то тайные,— сообщил по секрету «монашенок»,— и ребят они топят в Туре или душат подушками, а потом закапывают в лесу. А у меня мамынька хорошая была. Не утопила — сама утопилась.

Как обо всем этом расскажешь тетке? Для чего? Зачем? Чтобы огорчить ее и признаться ей, что вот уже три дня, как он перестал верить в бога?

«Монашенок», не думая, не желая, очищал душу Маврика от последних сомнений и от последних страхов быть наказанным за безбожие.

Однако же от бога нельзя было отойти втихомолку, как от кладбищенского отца Михаила. Не стал кланяться — и все. Нужны были какие-то действия, поступки или хотя бы заявление о своем отрицании бога. Но нелепо же заявлять об отрицании тому, в существование которого ты не веришь. Это значит утверждать отрицаемое, признавать его существующим, объявляя ему о его несуществовании.

Как все не просто. Но все равно нужно смело и прямо заявить не кому-то, а самому себе, что все кончено. И Маврикий отправился в главный храм. Он пустовал в часы трапезы. Тихо, пусто и прохладно под сводами. Только послушник обирает с подсвечников огарки.

Кому и что нужно сказать? Всем! Всем этим ликам святых, составивших иконостас. Маврик направился к амвону и, не дойдя нескольких шагов до его ступеней, объявил почти вслух:

— Я не верю в вас, потому что вы только иконы, и больше ничего...

Оставаться далее в храме было незачем. Сказано все. Да и как-то мрачнее стало вдруг. Может быть, послушник, обирая огарки, погасил последние... А может быть, нахмурились святые?

— Нет, нет! Хватит тебе напридумывать, трус,— сказал, тоже почти вслух, сам себе Маврик и пошел, топая гулко по плитам пола, к выходу.

Уходя, он все же немного, совсем немного, буквально чуть-чуть, побаивался, не бросит ли кто ему вдогонку камнем. Нет. Обошлось благополучно.

Выйдя к Туре через монастырские ворота, Маврик стыдил себя. Если он мог подумать о камне, брошенном ему в спину богом, значит, он еще не окончательно расстался с ним.

Думая об этом, он не заметил, как оказался за городом, там, где Тура делает излучину и где скальные образования берега причудливо красивы. В этой излучине за скальными образованиями Маврик увидел двоих, идущих под руку. В мужчине он сразу и безошибочно узнал Ивана Макаровича Бархатова. А тетю Катю ему не нужно было узнавать. Ее никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя было принять за другую.

Маврик присел от неожиданности. Потом спрятался за камень. Потом, когда сердце стало биться как всегда, он понял, что не имеет права знать о тети Катиной тайне. И он никогда не подаст вида, что ему она известна и что он несказанно рад. Однако же эту радость он должен носить в себе, как счастливый, но нелегкий и чем-то обидный камень.

Как все непросто...

Х

Кроме «монашенка» нашлись и другие верхотурские ребята. Начались лесные походы, ловля большой рыбы, охота на диких уток, петлями из конского волоса... Мало ли увлекательного в окрестностях Верхотурья! Маврик всячески старался освобождать от себя тетю Катю. И она то уезжала в Меркушино, где спасался, постился и укрощал свою плоть Симеон Праведный, то ездила в другие места, где Маврику тоже могло быть скучно и неинтересно. А Маврик радовался, что к тете Кате пришла хотя и поздняя, но чистая и очень возвышенная любовь. Ему давно уже наскучило в Верхотурье и хотелось в Мильву. Но нетерпеливый племянник даже не напоминал об этом тетке, — наоборот, удерживал ее здесь, находя воздух полезным и продукты дешевыми.

Иногда он читал в глазах тети Кати: «Извини меня,

Маврушечка, но я не могу, я не имею права тебе сказать всего, потому что это не 'только моя тайна». Маврик тогда старался не глядеть на нее, чтобы она не прочитала в его глазах того, что не нужно ей знать.

Но пришло время, когда Екатерина Матвеевна, вздохнув, сказала:

— Пора уж...

Этого только и ждал Маврик, хотя и сказал для приличия, что можно бы денечек пожить еще.

Думая, как всегда, о Мильвенском заводе, радуясь встрече с ним после разлуки, возвращающиеся домой не знали, что там произошло большое несчастье.

Как ни далека Казань от Мильвенского завода, а все же след привел на Песчаную улицу в штемпельную мастерскую.

Анну Семеновну арестовали и отправили в Пермь. Кулемин был уверен, что следующая очередь его или Терентия Николаевича Лосева. Однако вместо них арестовали наборщика из типографии Халдеева. Наборщик некогда работал штемпельщиком и числился в подозрительных. Это дало возможность подпольщикам сделать заключение, что жандармы не имеют точных сведений о производстве подпольных штемпелей.

Терентия Николаевича Лосева никто не считал революционером. Поэтому он, не настораживая шпиков, мог появляться в квартире Кирибаумов и как-то помогать Ильюше и Фане.

Нестерпимо тяжелое положение детей, разлученных с матерью, становилось все хуже и хуже. Удар обрушивался за ударом. Оказавшись без средств к существованию, если не считать скудных сбережений, оставленных матерью, Ильюша и Фаня не могли содержать, оплачивать квартиру, где они жили. На первое время можно было продать кое-что из имущества для самых необходимых расходов, а что потом?

— Ты должен поступить на завод, Иль,— очень серьезно и решительно сказал Санчик Денисов.— В соседнем цехе есть очень простая и денежная работа. А Фаня пусть доучивается.

Санчик не подумал, что учиться в гимназии—это значит платить за обучение. И платить не так мало. Но не в одной плате было дело.

Возникла новая трудность. После ареста Анны Семеновны всплыло то, что до этого спало в бумагах.

Немногие, в том числе пристав Вишневецкий, знали, что Григорий Савельевич Киршбаум и Анна Семеновна Петухова не состоят в церковном браке. И никто не упрекал их за это. Наоборот, было что-то высокое, стоящее над предрассудками, когда не обряд, а любовь венчала эту на редкость дружную пару. А теперь?

А теперь все обернулось против арестованной. Если она пренебрегала религией отцов, если она поступилась таинством брака, то что ей стоило стать немецкой шпионкой? Этой «логики» придерживался не один провизор Мерцаев, но и нотариус Шульгин, и купец первой гильдии Чураков, и, конечно, протоиерей Калужников.

Когда все это стало известно в женской гимназии, то там нашлись девочки, которые называли Фаню внебрачной, незаконнорожденной и еще более худшим словом. Появиться в гимназии теперь стало трудно. В глазах каждой девочки она будет читать и то, что в них не написано. Это страшно.

Но у Фани оказались друзья, о которых она не знала. Подпольщики не могли открыто вмешаться в ее судьбу, но у них была возможность действовать скрытно. И это сделали Матушкины. Они, состоявшие в родстве с Тихомировыми, обратились к Варваре Николаевне.

И вскоре во флигеле на Песчаной улице появились бабушка и внучка Тихомировы.

— Фанюша, — сказала Варвара Николаевна, — ты поживешь у нас, пока не оправдают твою маму.

Лера назвала Фаню милой сестричкой, что нужно было правильно понять и не пытаться объяснять.

Покровительство Варвары Николаевны много значило в женской гимназии. Обидеть Фаню теперь — значило обидеть уважаемую и почтенную женщину. Как-никак генеральша.

Позаботились и об Ильюше. Для него нашелся хороший опекун — Самовольников. Тот самый Ефим Петрович Самовольников, у которого шесть лет тому назад по приезде из Перми жили Киршбаумы. Кулемин в разговоре с Ефимом Петровичем сказал:

— Ты, Ефим, не бойся. Мальчишка тебе не будет в тягость. На свете есть люди, которые не дадут пропасть Ильюшке.

С устройством на завод теперь было просто. Брали всех. Лишь бы руки. Ильюшу приняли в снарядный цех. Там тоже нашлись опекуны. Кулемин делал все, что мог,

не разглашая и ничем не показывая своей заботы о сыне арестованной Анны Семеновны.

Конечно, Кулемину очень хотелось определить Илью в семью Маврика. Но этого сделать было нельзя. Любовь Матвеевна ни при каких обстоятельствах не согласилась бы пустить к себе мальчика из опасной семьи.

Ждать, когда вернется Екатерина Матвеевна, и насыщать ей заботу об Илье Артемий Гаврилович тоже не находил удобным, хотя и знал, что по приезде она делает все возможное. Так и случилось. Она, как перед богом, мысленно поклялась перед Иваном Макаровичем заботиться об Ильюше.

Маврик вернулся из Верхотурья, когда квартира Киршбаума была пустой. Ильюша уже работал на заводе. Маврик встретил своего друга вечером у проходной. Они обнялись, стараясь изо всех сил сдержать слезы.

— А как же теперь гимназия? — спросил Маврик. — Ты ушел из гимназии?

— Нет, — ответил Ильюша. — Я хотел уйти, но мне этого не дал сделать Аппендикс. Он сказал, что я отчислен им из гимназии как неблагонадежный... Словом, меня выгнали.

Маврик сжал кулаки.

— Иль, ты можешь мне не верить! Но мне сказал один человек, которому нельзя не верить. Верь не мне, а ему. Скоро все это кончится! Верь!

Ильюша верил вместе с Мавриком. Ждал. Надеялся. А время шло, и ничего пока не изменялось. Пришла осень. Осень сменилась зимой, и все оставалось по-прежнему.

Но все равно они ждали, они верили, они знали, что конец близок.

Наступало то, что не могло не наступить. Сбывалось предсказанное Лениным, сказывались результаты большой разъяснительной работы большевиков в армии. Солдат прозревал. Война лишалась важнейшего и обязательного условия, без которого она не могла продолжаться. Война лишалась подчинения солдата, покорности армий. Без этого ничего не стоили роды и виды оружия, гениальные стратегические планы и даже самое страшное принуждение оружием продолжать военные действия, не говоря уже о призывах от имени бога и тем более — царя.

У правительств не было идей, не было целей, которые хотя бы ложно могли воодушевить, а затем подчинить солдата, чувствующего себя так подло и так бесстыдно обманутым.

А у таких, как Григорий Киришбаум, Павлик Кулемин, у тысяч большевиков, мобилизованных в армию и отправленных в окопы, были ясные, бесспорные взгляды на войну. Истина, сказанная двум-трем солдатам, становилась достоянием роты, батальона, полка...

Малочисленная, но уже великая ленинская партия делала все, чтобы империалистическая война была готова превратиться в гражданскую.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Первая глава

I

Февраль, будто ошалев, пуржил круглые сутки, подымая на миловенских улицах легкий снег, подсыпал новый так обильно, что вся земля выглядела подобием дна белого снежного бушующего океана.

Люди давно, с незапамятных времен, ищут в явлениях природы таинственные предзнаменования, и они обычно оправдываются, потому что в большой жизни, как и в малой Мильве, всегда что-нибудь случается. Поражение на фронте. Увечье на заводе. Пожар дома. Нехватка муки. И даже новое подорожание сахара можно будет объяснить тем, что «не зря, бабоньки, так пуржило-кружило».

Любовь Матвеевна Непрелова тоже с тревогой смотрела на ошалевший снег. Она не предполагала, не догадывалась, что значит это все, а точно знала о происшедшем, хотя и не полностью верила услышанному. Когда же она увидела, что казавшийся неистощимым снегопад вдруг оборвался, будто какая-то сила, какой-то нож отрезали его, и над Замильвьем как-то особенно, оранжево-красно запылало рано всходившее теперь солнце, — в этом она, не лишенная предрассудков, нашла подтверждение услышанному от почтового чиновника. Он сообщил ей первой потрясающее телеграфное известие, перехваченное им.

— Значит, правда, — сказала она, расчесывая волосы

перед окном и разглядывая красное солнце. Решила предупредить сына.

Маврикий проснулся, разбуженный ярким светом, и хотел порадоваться вслух концу метелей, но мать подала ему знак:

— Погоди, не вставай. Я должна сказать тебе очень важное и предупредить тебя под большим секретом не говорить об этом никому.

— Что такое, мама? Что случилось? — приподнялся Маврик.

— Я это говорю тебе потому, чтобы ты, услышав от других, не вздумал сожалеть или радоваться, потому что еще неизвестно, что нужно делать и как себя нам вести,— наказывала она сыну, закалывая последние шпильки в прическу.

— Ну говори же, мама... Я обещаю...

Любовь Матвеевна помедлила несколько секунд, ища интонацию и самые слова, чтобы по ним сын не определил ее отношения к сказанному.

— Ты знаешь, Маврикий, нашего царя, то есть нашего бывшего царя, Николая Александровича Романова не стало.

— Его убили?

— Ну что ты, право! Откуда у тебя такие предположения? Царь отрекся от престола и добровольно передал его своему брату Михаилу. Но и Михаил Александрович тоже не захотел быть царем. Пристав об этом еще не знает. Он только что, расфуфыренный и веселый, промчался мимо в своих новых санках с медвежьей полостью.

— При чем тут, мама, медвежья полость и пристав? Царя арестовали и посадили в тюрьму!

— В тюрьму? Царя? — Любовь Матвеевна даже изменилась в лице.— За что?

— За войну! За убитых и раненых! За каторжную работу на заводе. За Анну Семеновну... За ее детей... За это мало тюрьмы. За это нужно заковывать...

Маврик не мог себя сдерживать. Зерна, брошенные в его душу Иваном Макаровичем, стремительно пошли в рост. Бледная мать, с побелевшими, дрожащими губами, силилась и не могла прикрикнуть на сына. А он, выпрыгнув из-под одеяла, не думая одеваться, подбежал к царскому портрету, купленному вместе с другими вещами у Дудаковой, спросил:

— Отрекся, вампир? Струсил?

— Маврикий! — остановила его мать и стащила со стула, когда он хотел снять портрет царя. — Василий Васильевич, может быть, еще ошибается. Может быть, он неправильно прочитал телеграмму, и нас причислят к политическим, арестуют и посадят в тюрьму. Ты что?

Маврик отошел от портрета не потому, что усомнился в свержении царя, ему было жаль испуганную мать, со слезами на глазах умолявшую не губить себя и ее.

— Ради меня, ради твоей маленькой сестры, которая, как дочь Анны Семеновны, может быть выброшенной на произвол судьбы, ты ни с кем не будешь говорить в гимназии о царе... Ты ничем не покажешь, как ты относишься к этому, если кто-то будет заводить с тобой разговор, особенно Юрка Вишневецкий, который все передает своему отцу. Поклянись перед иконами, — потребовала мать.

Маврик, быстро одеваясь, заявил:

— Клясться не буду. Мое честное слово сильнее клятв. Я не буду ни о чем говорить. А тебе бы уж лучше молчать, мама...

— А может быть, тебе в такой смутный день не стоит ходить в гимназию?

— Да, мама... Я, пожалуй, пропущу сегодня день. Диктовок нет. География, закон божий, русский и пение... По ним я не отстаю. Схожу к тете Кате, а потом в земскую библиотеку.

— И очень хорошо...

На улице стояла тишина. Ничто не подтверждало вестей о свержении царя. Проходя через плотину, Маврик невольно задержал свой взгляд на медведе. Он по-прежнему шел по гранитной глыбе, попирая крамольное чудище, держа на своем горбу позолоченную корону, которая блестела больше, чем всегда, в лучах солнца.

Возле медведя, у полосатой полицейской будки, как всегда, стоял важничающий постовой.

Неужели все останется по-прежнему?

Нет, этого не может быть.

II

Монарх больше не правит страной. Самодержавие свергнуто. В Петрограде и в Москве уже созданы Советы рабочих и солдатских депутатов. На зданиях красные флаги, а здесь, в царстве горбатого медведя, сегодня

арестовали семерых рабочих за то, что они возмущали спокойствие и призывали к свержению царя.

Мильвенским властям от губернатора пришла телеграмма, требующая не проявлять робости, не обращать внимания на слухи, которые идут из столицы. И все следовали этому указанию, кроме Турчанино-Турчаковского, который лучше других понимал, какие события произошли в стране и как нелегко будет даже ему, искуснейшему мастеру лавирования. Не забежать ли вперед? Не предупредить ли кое-кого, например, старика Тихомирова, что царь свергнут? Что ни говори, Тихомиров — отец известнейшего революционера, скрывающегося за границей. Да и сам «женераль» достаточно красен... Не худо позвонить и доктору Комарову. Этот разблаговестит сотням болтунов. И все скажут, что не кто-то, а Турчанино-Турчаковский первым сообщил по телефону радостную весть.

Он так и делает. Подходит к телефону. Крутит рукоятку и говорит:

— Центральная... Прошу соединить и отойти потом от коммутатора... Кварту Тихомирова...

От коммутатора, конечно, телефонистка не отходит и подслушивает то, чего не хочет Турчаковский оставлять в секрете.

Утро в гимназии, как всегда, началось с молитвы в большом, но теперь тесном зале. Дежурные классов после введения военного обучения командовали: «Взвод, становись!» и «За мной, шагом марш!»

В зал входили сначала младшие классы, становясь впереди, начиная с первого, затем старшекласники.

Маврик, как и обещал матери, о царе в гимназии не говорил ни с кем. И, кажется, никто не начинал этого разговора. Наверное, со многими из них был предупредительный родительский разговор.

На молитве, как всегда, перед образами, висевшими в правом переднем углу, появился тощий, долговязый шестиклассник-второгодник Сухариков. Ему очень шла его фамилия. Он, сын сельского торговца из дальней волости, знающий хорошо молитвенные распевы, был назначен кем-то вроде регента.

Ударив, как всегда, о косточку левой руки камертоном, затем для «блезиру» послушав его, Сухариков приподнял руки, а затем, взмахнув ими, начал первым, и все подхватили тягучую молитву «Царю небесный».

Когда она была пропета, дирижер снова ударил камертоном о косточку руки, и снова зазвучала вторая молитва. И когда были пропеты все пять молитв, надлежало сделать полуоборот направо и повернуться к портрету Николая Второго.

— Полуоборот направо! — скомандовал Сухариков. И все повернулись.

Но вдруг послышался звонкий голос вбегающего в зал Всеволода Владимировича:

— Отставить! — А затем: — Полуоборот налево! — И совсем тихо: — Стоять вольно, господа...

Его глаза блеснули. Блеснули, как тогда, на открытии гимназии. Маврик заметил это. Всеволод Владимирович волновался.

— Внимание, господа, внимание, — начал он. — Царь, ныне бывший царь, отрекся от престола в пользу своего брата Михаила. Но отрекся и Михаил. Монархия в России низложена...

— Позвольте, позвольте, досточтимейший Всеволод Владимирович, — послышался голос стремительно появившегося протоиерея Калужникова. — Меня, как исполняющего обязанности директора гимназии, об этом не уведомляли. И я запрещаю в стенах вверенной мне гимназии...

— Слушаюсь! — совсем по-солдатски сказал Всеволод Владимирович и, не выслушав Калужникова, вышел из актового зала, не закрыв за собою дверь.

— Петь «Боже, царя храни»? — спросил Сухариков.

— Петь! — приказал Калужников. — Петь!

Сухарикову из задних рядов строили рожи, угрожали, но этот псалмопевец из торгового звания, видимо, готов был, а может быть, и рад был пострадать за царя.

— Полуоборот направо! — уже не пискливо, а визгливо, как-то по-синичьи скомандовал он.

Повернулись не все, но большинство. И вдруг совершенно несвойственно для священнослужителя была подана повторная команда протоиереем:

— Полуоборот направо!

Кто-то еще сделал поворот. Но многие не подчинились команде. Калужников почему-то обратил внимание не на кого-то, а на Толлина. Может быть, потому, что тот стоял ближе к протоиерею.

— Толлин, почему ты не повернулся?

Маврик хотел было сказать «не я один», но в этом

была какая-то трусость, какое-то прятание за других. К тому же вдруг вспомнился кладбищенский поп Михаил и толстовские дни. Протоиерей в эту минуту чем-то напоминал кладбищенского попа. Маврик не мог более сдерживаться. И он сказал:

— Отец Михаил... извините, отец протоиерей, я не могу прославлять царя, которого... которого низложили.

По рядам пробежал шепот. Потом наступило молчание. Протоиерей, собрав бороду в кулак, сказал:

— Кто не желает петь гимн, тот может покинуть зал.

Воля Пламенев, Коля Сперанский, Геня Шумилин, Митя Байкалов вышли из рядов первыми. Затем еще пять-шесть человек. Затем большая группа из тех, кто колебался и стоял повернувшись к портрету царя. Остальные запели «Боже, царя храни», но запели глухо, боязливо, а некоторые только открывали рот.

Все ждали, что начнется исключение из гимназии. Сегодня же. Сейчас же. Но этого не случилось. Протоиерей уехал. В шестом классе не было урока латинского языка. Зато в актовом зале было происшествие, которое заставило протоиерея возвратиться в гимназию.

Кто-то запустил чернильницей-«непроливашкой» в портрет царя. Чернильница, угодив выше головы царя, разбила стекло, и темно-фиолетовые чернила растеклись по портрету. Актный зал было приказано закрыть, а портрет снять.

Никого не боявшийся семиклассник Бржицкий, выгнанный из трех гимназий и еле принятый в мильвенскую гимназию, сделав невиннейшее лицо, беспокойно спросил Калужникова:

— Отец протоиерей, а кому же мы завтра будем петь «Боже, царя храни»?

Калужников ничего не ответил, потому что управляющий заводским округом Турчанино-Турчаковский сообщил ему по телефону:

— Государь император изволил временно сойти с престола, поэтому формируется Временное правительство из достойных, мудрых и благонадежных,— подчеркнул он,— государственных мужей.

III

А спустя день, один лишь день, Мильву нельзя было узнать. На домах, над воротами домов рабочих — красные флаги. Флаги у проходных завода и входа в гимна-

зию. Большой флаг на здании управления завода и поменьше — на доме управляющего завода Турчаковского.

Люди, встречаясь, обнимаются, а иногда целуются, как на пасхе, и поздравляют друг друга с великим праздником.

Доктор Комаров одним из первых появился с красным бантом на шубе. И в гриву его лошади тоже были вплетены две красные ленты.

В окне магазина «Готовое платье» Куропаткина большое объявление о приеме заказов на знамена любых партий, организаций и обществ без ограничения, с вышивкой различных эмблем, знаков и девизов. Ниже сообщалось, что в продаже имеются готовые красные флаги, а также красная материя различного качества и со скидкой.

Маврик ходит по улицам и удивляется, как все и все очень скоро поняли. Еще несколько дней тому назад его мать запретила касаться царского портрета, а потом сама сожгла его вместе с рамой в русской печке, приговаривая:

— Ты разлучил меня с мужем... Ты принес дороговизну... Вот и гори за это, рыжий...

Еще позавчера протоиерей готов был исключить всех, кто не захотел петь «Боже, царя храни», а сегодня про-свищенское полудурье Тишенька Дударин бегаёт босой, в красной опояске и глумится над Николаем Вторым, выкрикивая:

Колька-Миколка,
В холке иголка,
Шьет, смердит,
Колесом вертит.

Типография Халдеева, такого рьяного царебожателя, ходившего каждый царский день в собор и вывешивавшего не один, а целых три царских флага на своей типографии, теперь тоже с красным флагом. Теперь тоже печатает со скидкой объявления и афиши политического содержания. И на улицах Мильвы пестреет множество больших объявлений о выборе в рабочий Совет депутатов, в солдатский Совет депутатов. И они, не успев повисеть, заклеиваются решениями объединенного Совета рабочих и солдатских депутатов.

Еще вчера «политических» почти не было в Мильве и только некоторые подозревались в «политиканстве», а теперь их оказалось так много, что даже трудно пред-

ставить, сколько их. И все они носят разные названия. Большевики. Меньшевики. Максималисты. Анархисты. Трудовики. Кадеты. Левые эсеры. Правые эсеры. И особые союзы. Союз металлистов. Союз фронтовиков. Союз потребительских обществ. Союз приказчиков... Возник даже союз нищих. Им-то зачем особый союз? Оказывается, нужен. В среде нищих тоже произошел переворот. Была свергнута верхушка привилегированных нищих, в которую до последнего времени входила бабка Санчика — Митяиха. Это сделали солдаты-калеки, вернувшиеся с фронта и пополнившие ряды нищих.

Если у всех союзы, то, может быть, нужен союз учащихся? Всех учащихся гимназии, городского училища и технического.

В голове такая карусель, что Маврикий пока даже приблизительно не может разобраться в случившемся. И Артемию Гавриловичу не до него. Он и Матушкин весь день в Совете депутатов. Кулемин в один из вечеров едва выбрал час, чтобы сообщить Ильюше Киришау о матери. Ее ждали со дня на день. Уже вернулись трое милыенских заключенных.

Илья надеялся, что мать придет вместе с отцом, который, по его глубокому убеждению, не пропал без вести, а скрывался все это время.

В гимназии кто в лес, кто по дрова.

Коля Сперанский называет себя социал-демократом. Его брат объявил себя левым эсером. Димка Булочкин, сын колбасника, и Генька Турчаковский, внук управляющего, создают лигу юных кадетов. Юрка Вишневецкий уже создал «союз альпийских стрелков». Волька Пламенев объявил себя большевиком. А Митька Байкалов ищет программу анархистов-синдикалистов, произнося вместо синдикалисты — скандалисты. Наверно, это и привлекает его. А Казька Бржицкий уже заявил всем, что он убежденный анархист, и в доказательство этого ходит без ремня, с расстегнутым воротом. Он обещает явиться в гимназию, как только станет теплее, без рубахи. Наверно, явится. И это очень глупо. Кроме того, что он дубина, ничего не будет доказано.

Правильно, что на стене в раздевалке под словом «Долой» нарисован отросток слепой кишки. Но зачем пририсована рука с ножом, срезающая этот отросток? Это же не горнозаводская больница, а гимназия. Разве нельзя прийти сказать: «Господин протоиерей...» — или

лучше официальнее: «Господин Калужников, мы надеемся, что вы, чувствуя себя ненужным отростком, отречетесь от должности и передадите ее Всеволоду Владимировичу Тихомирову, не дожидаясь Учредительного собрания».

Вообще, не применяя никаких ножей, правильнее всего заставлять отречься, как это сделали с Николаем Вторым.

Сейчас даже в первых классах гимназии и в простых школах все играют в свержение царя. Уговорят мальчишку стать царем. Посадят его в кресло. Наденут на него корону. Начнут ему кланяться. А он сидит на троне в короне и кричит, кого расстрелять, кого повесить, кому голову отрубить... А его упрашивают. Не казни. Не руби. Не вешай. Поют ему «Боже, царя храни...». А он ни в какую. Потом вдруг лопаются терпение у ребят. Запевают: «Отречемся от старого мира...» И начинают требовать у царя: «Отрекайся... отрекайся...» А он упирается. Тогда раздается клич: «Вставай, подымайся, рабочий народ» — и начинается свержение.

Второклассника, сына смотрителя завода, свергали до синяков. Его в буквальном смысле сбрасывали с престола, а престол стоял на довольно высокой кафедре. Будь бы Маврик в их возрасте, наверно бы и он играл так же. Но ему пятнадцатый год. В эти годы нужны настоящие свержения. Пусть мало значит гимназия в большой жизни, но и она требует изменения. Для чего же тогда революция, если все останется так, как было при царе, вплоть до утренних молитв, на которые по-прежнему звонок призывал в актовый зал.

Как нужна встреча с Иваном Макаровичем. Хотя бы на час. Даже на пятнадцать минут, чтобы спросить — что ломать, а что оставить? И не один он хочет знать об этом. Все в какой-то неопределенности. И сама революция похожа на большую руку, на громадную ручищу, которая замахнулась и остановилась в замахе. Замерла. Как будто ее какая-то сила заговорила, заколдовала... Обессилила.

IV

Не посоветоваться ли с Ильей? У него на заводе как-то все яснее. И Маврик мог бы работать там вместе с Илем и Санчиком. Маврик не очень уверен — нужна ли ему гимназия, где нет технических предметов. Мастер-

ские не в счет. Стоит ли терять столько времени на изучение того, что никогда не пригодится? Например — закон божий. А его все еще преподают. А нужна ли ему история, которая не история, а рассказы о доблестях царей и королей, а не народов. Об этом говорят и сами учителя. И вообще — по дедушке и по всему своему древнему зашеинскому роду он принадлежит к рабочему классу...

Маврик пугается своих мыслей. Ему не дадут бросить гимназию и не пустят работать на завод. Пусть пока все идет, как шло, а потом будет видно. А сегодня он пропустит учебный день и сходит поговорить с Ильюшей.

В проходной Маврик сказал волшебное слово:

— Я внук Матвея Романовича Зашейна, мне нужно в цеха посоветоваться о забастовке.

Его пропустили. И вообще теперь в завод пропускали легче, нежели раньше. Маврик решил прежде пройтись по цехам, а потом отправиться к Ильюше.

Совсем недавно Мильвенский завод восхищал его и все было новым и удивительным. А теперь он, повидавший, хотя и не так близко, другие заводы, зная по картинкам иностранных журналов и рекламным изданиям, как там, как у них, слышав не раз суждения приезжих инженеров, знакомых рабочих и мастеров о том, что Мильвенский завод стар и отстал, мог судить о недостатках своего завода. Пусть незрело, поверхностно, а иногда и наивно, все же верно по целеустремленности.

На шихтном дворе человек пятнадцать чернорабочих били чугуновой бабой железный лом для мартеновских печей. Они хрипло пели: «А ну, тянем-потянем...» Чугунная баба медленно ползла кверху по направляющим бороздам копра, потом срывалась и производила ничтожную работу.

Пятнадцать чернорабочих. Пятнадцать поденщин. Во что же обходится только одна разбивка железного лома? И без подсчетов видно, как безжалостно расходуется сила человеческих рук.

А судовой цех, где работал его дед Матвей Романович, по-прежнему крыт небом. Это площадка, на которой все делают только руки. Тяжелыми большими ножницами руки подрезают железные листы корпуса судна. Руки сверлят по краям листов отверстия для заклепок. Руки молотом расклепывают заклепки, соединяя лист с листом. Руки рубают зубилом заусеницы.

Так строили суда и в прошлом столетии.

В листопрокатном цехе железную болванку в лист превращает прокатный стан. Но и тут главную работу производят руки, сующие длинными клещами в промежутки валов раскаленное железо, прокатывая его взад и вперед утомительно и долго до тех пор, пока оно не станет листом.

Жара. Пот льется не градом, а ручьем. Взмokли просолонелые рубахи. На ногах рабочих лапти, потому что в них устойчивее стоять, да и не напасешься сапог. Огромных усилий стоит прокат листа, но и при этом лист не всегда идет в дело. То он слоист. То губит его окалина. То середина листа оказывается толще краев, так как прокатные валы, на глазок остужаемые, не всегда сохраняя свою цилиндричность, губят и лист и труд рабочего.

Маврик не замечает бега стрелок часов. Он внимательно смотрит, как рука движет суппорт токарного станка, как бьется синяя стружка и как потом, сопровождаемый бранью, корпус трехдюймового снаряда летит в брак.

Печальная картина!

— Откуда же быть на фронте снарядам,— говорит никому и всем токарь,—если ось бьет, и все хлябает, все ходит ходуном, и летят резцы.

Токарный станок очень стар. Его станина в зазубринах и вмятинах. Наверно, этот станок не был молодым и в те годы, когда дед этого токаря стал к нему учеником.

— Какое же наследство нам оставил царь? — спрашивает всех и никого молодой токарь.— Наверно, сидит он у себя в Царском Селе и пьет романею, а ты тут и ловчись, и страдай за то, что он прожег, прогулял наши новые станки.

Заправляется новая заготовка для нового стакана снаряда, Маврик идет дальше, в конец снарядного цеха, где Ильюша точит медные пояски-кольца для трехдюймовых, самых требуемых фронтом, оружейных снарядов. Маврикий хорошо подгадал. К обеду. До свистка пять минут. Он смотрит издали на своего друга. У него тоже старый станок, но работа проста, и дело спорится. И это радует Маврика.

Свисток. Ремни станков переводятся на холостые шкивы. Затихает гул.

— Здравствуй, товарищ Киршбаум.

— Здорово, товарищ Толлин...

Как взрослые, так и они.

— Ну как?

— Жду маму. Артемий Гаврилович говорит, что она все еще в Перми.

— Наверняка уже скоро приедет Анна Семеновна,— уверенно говорит Маврик. Ильяша верит его взволнованному голосу.

— Хорошо бы, Мавр. Спасибо тебе. А ты зачем здесь?

— Посоветоваться насчет забастовки. Нужно бастовать.

— Кому?

— Нам. Гимназистам.

— А за что?

— Согласились бы только бастовать, а за что — найдется.

Илья уселся возле станка на ящик. Подставил такой же своему товарищу. Постлал на него газету, чтобы тот не испачкал шинель. Затем достал бутылку с молоком и два ломтя ржаного хлеба.

— А хозяйка у меня очень хорошая,— сказал он.— Я, конечно, плачу за все и помогаю ей как могу. А бастовать, не зная за что, лишь бы бастовать,— это езда на пароходе за старым сараем по зеленому лугу.

— Как ты можешь сравнивать забастовку с игрой?

— Могу. Я ведь работаю на заводе. И мне отсюда виднее гимназия.

— Кирш! — услышался голос на весь цех.— Иль! Где же ты? Мы собрались.

— Сейчас, сейчас,— отозвался Ильяша.— Вечером я зайду, а теперь у нас разговор. Хотим создавать Союз рабочей молодежи... Извини.

И Ильяша, которого теперь называют Кирш, ушел в своем замасленном гимназическом кительке с обтянутыми серой материей пуговицами, будто светлых форменных нужно стыдиться и прятать их.

Что-то разделяет их теперь. И вообще здесь, за оградой завода, другая жизнь, чем там. А бастовать все равно нужно. Илья Киршбаум неправ, что не за что бастовать. Разве нельзя бастовать за то, чтобы он, Илья Киршбаум, был восстановлен в гимназии, чтобы Аппендикс принес ему свои извинения?

Вся Мильва, все слои ее населения признали свержение самодержавия правильным и бесспорным. Оно было ненавистно всем, за исключением разве горстки беспросветно и безнадежно темных людей, верящих в возвращение царя. Даже такие невежественные господа, как купец Чураков, и те видели в падении монархии расчистку путей к процветанию.

В комаровском кружке досужие и сытые люди по-прежнему между сменой блюд или пятой и шестой рюмками решали судьбы отечества и его правительства.

— А я скажу вам, милостивые государи,— говорил, повязавшись салфеткой по-господски, Чураков,— у нас будет «президент» на манер французского, который станет как бы выборным царем на три или там четыре года. И в случае неподходящести этого правителя,— продолжал купчина, размахивая вилкой,— его не надо свергать. Переизбрал, как волостного старшину,— и никакой амбиции.

Другому мильвенскому тузишке, Куропаткину, президент представлялся человеком с деньгами.

— И не сомневаюсь, господа,— присоединился Куропаткин к предыдущему стратегу,— у президента капитала будет никак не меньше двух-трех десятков миллионов в устойчивых деньгах. Иначе как можно ему доверить империю? Такой воровать не будет, потому что своих денег невпроворот...

Доктору Комарову президент виделся человеком образованным. И он на ужине, посвященном заре революции, в том же зале, где он предсказывал войну и пел куплеты о капитале, просвещал своих гостей:

— Да не оставит нас мудрость... Да не покинет благоразумие в нашем предвидении. Лицо, как бы оно ни называлось, которое станет во главе нового правительства, во-первых, будет человеком просвещеннейшим, не только лишь читающим, но и сочиняющим книги по экономике и политике. Я вижу его многосторонне эрудированным и осведомленным, вобравшим в себя самое главное и передовое...

Говоря так, доктор Николай Никодимович Комаров не исключал себя на посту главы правительства.

— Да, да, да,— еле слышно подтверждал Турчанино-Турчаковский, спустившийся теперь до комаровских

ужин. — Демократия. Ничего не поделаешь. Приходится.

Еле слышно соглашаясь с Комаровым, про себя Турчаковский знал, что президентом изберут подставное лицо, которое провозгласит императора. Не обязательно из дома Романовых. Мало ли хороших родов в России? А может быть, императора предложат немцы. Тоже неплохо. Матильда Ивановна — немка. Это примется во внимание. И еще как.

А что думали, как рассуждали другие, такие, как, например, Яков Кумынин, который представлял значительную, хотя и не передовую, часть населения Мильвы?

— О чем шумят, — спрашивал Кумынин, — о чем спорят на митингах, когда черным по белому яснее ясного сказано: «Вся власть Учредительному собранию». Соберется оно и учредит, какой власти быть, каких законов слушаться.

Яков Евсеевич, свято веря в непогрешимость Учредительного собрания, не допускал, что оно может оказаться в руках буржуазных и соглашательских партий. И когда ему об этом говорили тот же Африкан Краснобаев и другие большевики, Кумынин только посмеивался:

— Как же это может случиться... Нас, рабочих, нас, крестьян, нас, простого народа, больше. Значит, и депутатов от нас в Учредительное собрание будет поголовное большинство. А их?.. Попов?.. Купцов?.. И прочих богачей, которых по пальцам можно пересчитать, сколько от них изберут? Одного или двух депутатишек... А что могут сделать два голоса против тысячи трудовых голосов? Да ничего! Ясно?

Судьба России, ее нового правительства в представлении многих должна была решиться простой арифметикой. У кого голосов больше, тот и у власти. Доверчивые и честные люди, такие, как Кумынин, и не представляли всех парламентских сложностей, предвыборной игры, соглашательства и прямого предательства партий.

Слепота Кумынина, каких было не так мало, еще даст себя знать не в одной только Мильве. Эти добросердечно, от широты души, от бесконечной доверчивости заблуждающиеся люди принесут еще множество страданий себе и другим. И тоже — не в одной только Мильве.

Пока рассуждали одни, прикидывали другие и молчали третьи, Временное правительство требовало подчинения, соблюдения порядка, чтобы кайзер Вильгельм не воспользовался суетой и разногласиями и не нанес урон державе. Об этом говорил на митингах доктор Комаров, так призывал бывший зашеинский сосед Игнатий Краснобаев. Считавшийся всегда тихим, теперь вдруг оказавшийся шумным меньшевиком, поссорившийся с братом Африканом, он становился заметной фигурой.

К всеобщему единению всех призывали в проповедях и священники, молившиеся за Временное правительство и о даровании ему победы.

Так много произошло, и так мало свершилось. Во главе завода стоял избранный деловой совет, в который вошел и Турчанино-Турчаковский, носивший теперь, как и многие, красный бантик. Турчаковский по-прежнему управлял заводом, хотя и в строгой согласованности с деловым советом, избранным рабочими.

Трехцветный царский флаг был перевернут на древках белой полосой вниз и красной полосой вверх, что, по разъяснению знатоков, обозначало громадную победу народа и революции, олицетворяемых главенствующей красной полосой, и низвержение монархии, униженно представленное на флаге белой полосой. Что же касалось средней синей полосы, то ее толковали по-разному. Она, видимо, олицетворяла нечто среднее: торговцев, ремесленников, священников, всяких бывших и тому подобное «ни то и ни се».

Видимо, принадлежа теперь к этой средней полосе, пристав Вишневецкий поэтому и ходил в синей бекеше, отороченной серой мерлушкой, и в сером треухе. Трогать его тоже не следовало по той же причине коварства кайзера Вильгельма, который жаждал беспорядков. И если уж не тронули губернатора, то зачем же сводить счеты с мелкой сошкой, тем более что уже есть выборная народная милиция. Пусть себе ходит в своей синей бекеше и охотится на зайцев. Придет время, и Учредительное собрание решит, как поступить с Вишневецким.

На бесчисленных митингах говорили о неслыханных переворотах, о величайших нововведениях, но это были только слова или внешние изменения. А по сути дела «оставалось то же в новой коже», как говорил Терентий Николаевич Лосев. И сказанное им трудно было опровергнуть.

Правда, ввели восьмичасовой рабочий день, но продукты и товары подорожали так, что большинство рабочих оставались на сверхурочные «вечеровки», а некоторые работали и по две смены.

Избрали Совет рабочих и солдатских депутатов, но управляли комиссары, наделенные губернаторской властью, назначаемые Временным правительством. Действовали в старом составе городские думы, губернские и уездные земства. У власти опять оказались люди, объединяемые теперь уже всем понятным словом — буржуазия.

Наивным, непосредственным и чистым глазам человека, если он даже очень юн, чаще видится жизнь такой, как она есть. Разве не мальчишка в бессмертной сказке Андерсена «Новое платье короля» увидел его голым, каким он был?

Толлин и его товарищи находились еще в том возрасте, когда глаза невозможно уговорить видеть не то, что есть, а то, что нужно, необходимо или хотя бы желательно благополучия ради.

Гимназия была им ближе всего. А в ней ничего-ничего не изменилось, если не считать замены некоторых слов в молитвах, замены гимна «Боже царя, храни» гимном «Коль славен наш господь в Сионе» и замены портрета царя картиной лихой битвы казака Кузьмы Крючкова, посадившего на пику сразу чуть ли не семнадцать солдат вражеской армии.

— Разве только для этого свергли монархию? — резонно спрашивал Коля Сперанский у своих единомышленников, собравшихся в раздевалке нижнего этажа. — Нужно не ждать Учредительного собрания, а добиваться того, что можно добиться.

Коля Сперанский едва ли сам по себе говорил это все. Он часто бывал у Аркадия Викентьевича Грачева, одинокого учителя рисования, который никогда не выступал и, ни с кем не пререкаясь, имел свои суждения.

— Нужно ли ждать Учредительного собрания, чтобы заставить уйти из гимназии Слепую кишку, чтобы вернуть в гимназию сына подпольщиков Киршбаумов, чтобы сделать необязательным предметом закон божий, чтобы сделать обязательным предметом изучение одного из ремесел, чтобы назвать гимназию общеобразовательным политехническим училищем? Ведь такой же ее хотел сделать Всеволод Владимирович.

В раздевалке Колю Сперанского слушали до десяти гимназистов из разных классов. Тут были Волька Пламенев, Митька Байкалов, Бату Мухамедзянов, второй брат Сперанский, Геня Шумилин, и все они одобряли Сперанского.

— Тебе и быть председателем стачечного комитета, — сказал очень серьезный Федя Кваченко, сын хорошего и любимого в заводе инженера.

Программа требований и все ее пункты были приняты с восторгом. Добавлений оказалось немного. Только два.

Воля Пламенев предложил:

— Если мы требуем, чтобы убрали Калужникова, так должны же мы кого-то и провозгласить — я настаиваю на слове «провозгласить» — нашим директором.

И был принят новый пункт: «Требуем провозгласить директором учредителя нашего учебного заведения Всеволода Владимировича Тихомирова».

Предложенное Мавриком не прошло. Он хотел сбросить в пруд ненавистного медведя. Все сказали, что в гимназии этого не решить, однако все нашли требование правильным и революционным.

VI

Был избран стачечный комитет. Маврик вошел в него кандидатом. Зато его выбрали делегатом для вручения ультиматума и требований.

На другой день, до начала уроков, Толлин, с красной повязкой на правом рукаве, что должно означать — революционер, и с белой повязкой на левом рукаве, означающей — парламентар, вошел в учительскую.

Там собрались почти все учителя, даже те, у которых не было первых уроков. Они знали о забастовке, и многие хотели ее, хотя и скрывали это.

Толлин вошел, остановился, сделал общий глубокий поклон и сказал, как было велено, очень вежливо:

— Прошу извинения. — Затем, чтобы не заикнуться, он сделал паузу — вдох и выдох — и подошел к протоиерею, подал хорошо переписанные, без единой пропущенной запятой, листы и сказал без обращения, как было велено старшекласниками: — Ультиматум.

Калужников, не прикоснувшись к положенным перед ним листам, не взглянув на них, сказал:

— Чтением не удостою. Перешлю при случае в округ. Пусть решают там.— Затем, повернувшись спиной к парламентару, отошел к окну.

Это было слишком оскорбительно. Толлин еще раз поклонился всем и, не удержавшись, объявил не заикнувшись:

— Забастовка начинается сегодня.

Стачечный комитет, стоявший у дверей учительской в полном составе, слышал, а кто-то и видел в щелочку, что происходило в учительской.

Вместо ожидаемого звонка затрубил охотничий рог. Его принес Байкалов. Затем послышался бой ротного барабана гимназии. Он бил тревогу. Дежурные выстраивали свои классы в коридоре второго этажа. Председатель стачечного комитета объявил:

— Наши требования не стали даже читать. Забастовка начинается сегодня. Сейчас. Организованно и спокойно идите в раздевалку. Пикетчики, по местам!

Забастовка началась.

Митька Байкалов, довольный своим избранием на пост начальника пикетов, успел дать по уху толстомясому Левке, оставшемуся в классе, и замахнуться на Сухарикова. Ударить такого, у кого «еле-еле душа в теле», было невозможно. Это все равно что бить ребенка.

Учащиеся младших классов, которые не должны были участвовать в стачке, не могли не воспользоваться ею. Это два, а то и три свободных дня. Там тоже оказался свой стачечный комитет. И они тоже ринулись, хотя и менее организованно, в раздевалку.

В этот же день сестра и брат Киршбаумы, сидя у Матушкиных, обсуждали, что можно предпринять, чтобы выволить Анну Семеновну. И когда было решено, что в Пермь с письмами от Мильвенского Совета депутатов поедет Илья, раздался тихий стук в ставню окна.

Емельян Кузьмич вздрогнул. Это был очень знакомый и точный условный стук.

— Неужели он вернулся?! — крикнул побледневший Матушкин и побежал к двери.

Не прошло и минуты, как Емельян Кузьмич завопил, запел, захлопал в ладоши:

— Господи, да святится имя твое... Сто чертей и одна ящерица! Да неужели ж это вы?

На пороге стояли сияющие, смеющиеся, исхудавшие и, судя по всему, голодные Григорий Савельевич в сол-

датской шинели и Анна Семеновна в чужом стареньком пальто.

— Мамочка!

— Папа!

Дети повисли на шее родителей. Шум, визг, слезы и крики...

— Теперь все позади... Теперь все позади,— успокаивает Григорий Киришбаум не то детей, не то жену, а может быть, свои пошаливающие нервы.

VII

Неожиданно для всех явился чин из учебного округа. Его не послали бы сюда через снега и леса, но забастовка гимназии звучала политическим протестом. И требования гимназистов были составлены настолько солидно, что за ними чувствовалась та сила, с которой нужно было ладить.

По приезде чина из округа, человека обходительного, приветливого, вкрадчивого, носившего благозвучнейшую фамилию Алякринский, через пикеты была передана покорнейшая просьба к учащимся собраться в актовом зале и поговорить по существу требований бастуемых.

А накануне уже пронесся слух, что по причине присоединения к Мильве двух новых приходов отец протоиерей вынужден отдать бразды управления гимназией, которые он держал временно, другому лицу.

Это уже можно было назвать уступками, которые удивили учителей и Всеволода Владимировича.

На другой день Алякринский выступил перед учащимися и начал с того, что его, как поборника новшеств и сторонника реформ на ниве народного просвещения, приводят в неописуемый восторг и священную зависть не только лишь слог ультиматума и умение лаконичнейше выражать свои требования, но и само существо манускрипта.

Раздались шумные аплодисменты. Он и рассчитывал на это. Много ли нужно безусым забастовщикам, если уса­тых и старых, выдавших виды рабочих ловко умели обводить вокруг пальца подобные мастера усыпительного обмана, каких теперь появилось так много, и не только в чиновных кругах, но и в рабочей среде, называющих себя священными именами социалистов, демократов, революционеров, а на деле оказывающихся

соглашателями, примиренцами, прихвостнями и слугами тех, с кем нужно бороться и кого нужно свергать.

— Учебный округ поручил мне поздравить,— продолжал Алякринский,— провозглашенного вами, благодарные питомцы, выдающегося и бескорыстнейшего учредителя вашей родной гимназии ее директором и вручить уполномочивающие на директорствование манускрипты.— Он, видимо, любил это латинское слово.

Теперь кричали «ура» все. И учащиеся, и школьный сторож, и два истопника, стоящие в коридоре.

— Далее по пунктам,— продолжал он все так же галантно и всепочтительнейше.— А разве ваша гимназия не является политехнической, коли в ней свои мастерские?.. Разве она не будет политической, коли учебный округ рекомендует ввести обязательным предметом изучение политической экономии... Что касается переименования... В названии ли дело? И если вы назовете меня не Алякринским, а Мараклинским, изменюсь ли от этого я?

Шутка очень понравилась всем, и особенно преподавательнице немецкого языка Нинели Шульгиной, которая тотчас же опустила глаза, изобразив своим ртом маленькую-премаленькую букву «о», и принялась мять свою сумочку.

Видя свое отражение в сердцах, душах учащихся и прехорошенькой учительницы немецкого языка, Алякринский заговорил о законе божьем:

— Что же касается изучения этого учебного предмета, то я бы от себя лично позволил заметить, что это дело совести, благоразумия и дальновидности каждого из учащихся, и главным образом родителей...

Опытнейший оратор возвращение в гимназию Кишбаума приберег напоследок.

— Меня поражает,— воскликнул он,— как можно просить о восстановлении исключенного круглого пятерочника Ильи Кишбаума, коли его восстановила сама революция, сметающая все несправедливости!

Снова взрыв радости.

Алякринский, сняв пенсне, касаясь белоснежным платком глаз, прочувствованно сказал:

— Как поразительно... как трогательно совпадают наши мысли...

Забастовка кончилась. Учащиеся с революционными песнями разошлись по домам, чтобы рассказать роди-

телям и всем, кому можно, как они выиграли забаву.

Вечером Алякринский был зван к нотариусу Шульгину. На другой день к доктору Комарову. Тут и там была прелестная Нинель, которую в гимназии, как учительницу немецкого языка, называли Ниной Викторовной. На третий день был большой званый вечер у того же Шульгина. А на четвертый день в гимназии не было уроков немецкого языка. Засидевшаяся в старых девах Нинель сбежала с Алякринским, и нужно было подыскать новую учительницу.

Вторая глава

I

Наш добрый знакомый Терентий Николаевич Лосев был прав, поучая в прошлое лето молодых грибников:

«Если ты хочешь собрать в свою корзину хорошие грибы, не бери в нее крошливых синявок, горьких свинаярей и всякую шушеру-мушеру. Их потом будет трудно выбирать и выбрасывать, а хорошие грибы будет не во что класть».

Руководствуясь этим правилом, мы не должны бы брать в нашу корзину таких мухоморов, как, например, Алякринский.

Между тем он и Всесвятский, будучи поганками различной ядовитости и несхожей окраски, представляли собою не единичные экземпляры, а грибные колонии ведьминых колец, окружающих благородные по своей идее государственные и общественные учреждения. Например, Советы рабочих и солдатских депутатов, деловые советы заводов и фабрик, комитеты общественной безопасности.

Особым грибом был доктор Николай Никодимович Комаров. Он говорил:

— Я, наверно, и сам не знал, что во мне жили подспудно социалистические идеи. А теперь они прорвались с такой силой, что я готов целиком отдать себя революции.

Кулемин и Киршбаум, разговаривая с доктором за чашкой чая в его домашнем кабинете, понимали, что этот хорошо обеспеченный человек, почти единственный в Мильве доктор с большим окладом и еще большей

практикой на дому, может позволять себе строить убыточные кумысолечебницы, вроде пустующей сейчас Комаровки, субсидировать постановку спектаклей общества любителей драматического искусства, широко принимать и щедро угощать гостей... А теперь у него новое увлечение. Он выступает на митингах, читает лекции по медицине, истории, народному просвещению, по театру. Комаров — образованный человек, и его приходят слушать многие. Говорит он ярко, вдохновенно и вообще-то правильно. Но говорит он не для других, а для себя. И вся его бурная деятельность — это самоуслада. Ему хочется нравиться, как и Алякринскому. Он также из тех пустых грибов, у которых приятный цвет, тонкий запах, солидная внешность, а внутри — ничего.

Артемию Гавриловичу Кулемину хочется спросить, надолго ли Комаров намерен целиком отдавать себя революции, но зачем обижать в общем-то безвредного, а сейчас даже в чем-то полезного человека. Другое дело — Игнатий Краснобаев. Он тоже пожаловал на воскресный чай к доктору Комарову и, несколько задержавшись, приносит свое «прошу покорнейше простить».

В Краснобаеве революционная одержимость прорвалась тоже неожиданно как для него, так и для окружающих. Зато Игнатий Тимофеевич сразу очутился на больших ролях. Второе лицо в Совете рабочих и солдатских депутатов. Непременный кандидат делового совета по управлению заводом. Сам Турчанино-Турчаковский советуется с ним более, чем с кем-либо, и зазывает его к себе на демократические пельмени.

Сейчас Краснобаев назначен зауряд-техником механического цеха. Подобное инженерно-техническое звание придумал Турчаковский для лиц, не получивших технического образования, но имеющих богатый практический опыт.

Турчанино-Турчаковский, как вскоре оказалось, тоже, не зная сам, носил в себе идеи революционного преобразования. И одним из них было присвоение звания зауряд-техника Краснобаеву и освобождение его с сохранением жалованья от посещения цеха ввиду несения им тяжкого бремени выборных должностных обязанностей.

— Всего ничего, пять кварталов до вас пройти, Николай Никодимович, — начал объяснять свое опоздание

Краснобаев,— да на каждом квартале желающие поговорить о делах.

Краснобаев уже встречался с Киршбаумом и не расспрашивал более его. Он знал, что увечье левой руки Григория Савельевича дало ему освобождение от воинских обязанностей по чистой. Он знал теперь, что Артемий Кулемин, работавший в глубоком подполье, будет открыто бороться с меньшевиками. Поэтому, кроме внешней «обходительности», у него с ними ничего не могло быть общего.

Теперь и внешне Краснобаев был другим. Он вживался в новый френч с четырьмя накладными карманами, сшитый по совету Турчаковского, сказавшего, что и одежда должна соответствовать новому высокому положению Игнатия Тимофеевича, который, может быть, и даже наверняка, будет избран в Учредительное собрание от Мильвенского завода.

— У кого восьмичасовой рабочий день, а мне шестнадцати мало,— рассказывал Краснобаев о своей работе.— Ну да на это грех жаловаться. Революция требует жертв. Не так ли, Артемий?

— Откуда мне знать, Игнатий? — отозвался, опуская глаза Кулемин.

— Зачем же такая скромность? Ты пострадал за революцию. Конечно, если б глаже да тише, так можно было бы и миновать тюрьмы.

— Кто как умеет, Игнатий,— сказал Кулемин, не подымая глаз на своего давнего соседа, с которым когда-то он делился сокровенными мыслями, находя в его душе живой отклик. Мог ли думать он, что этот Игоня Краснобаев окажется соглашателем, прислужником Турчаковского, зовущим терпеть, доводить войну до победного конца и повиноваться во всем Временному правительству, правительству буржуазии.

— Говорят, Игнатий Тимофеевич, вы купили резвую лошадку? — спросил, не скрывая улыбки, Киршбаум.

— Купил. А почему бы и не купить, когда теперь так много езды? — ответил Краснобаев.— К тому же мы ведь, как говаривал старик Зашеин, «не какая-нибудь пролетария, а коренной рабочий класс». И лошадь у нас, и дом, и все прочее — обязательное обзаведение.

— Да-а... Вы ведь и новый дом купили. Кажется, у вдов. У солдаток.

— А что?

— Ничего. Я вот не купил, а даже потерял квартиру.— Произнеся эти слова, Киршбаум без умысла положил на стол изуродованную руку.

Краснобаев отвернулся, умолкнув. И все умолкли. Теперь разговаривала только левая рука Киршбаума. Она говорила примерно так: вот ты просидел всю войну в тылу, ловчился, зарабатывал на военных заказах, купил новый дом, а теперь оказался у власти и пользуешься за счет завода привилегиями, грешишь против своей рабочей совести, ищешь оправдания своему примирению, ладишь с отъявленным притворщиком Турчаковским, следуешь его советам, обманываешь, хотя и вынужденно, но все же обманываешь рабочих, произнося успокоительные речи...

Неприятную правду говорила рука фронтовика. Нужно заставить ее замолчать.

— Ты опять, Григорий Савельевич, будешь штемпельную мастерскую открывать? — спросил Краснобаев.

— Кому она теперь нужна?

— Есть-то ведь надо.

— А разве ты не поможешь мне найти работу на заводе? У меня же осталась правая рука. И сам я полон сил.

— Нет, почему же не помочь,— ответил Краснобаев.— Я всем помогаю. Но свое-то дело открыть было бы надежнее для тебя. Живо бы в твердую колею вошел и одежонку бы справил... И сына бы доучивать стал. О революции помни, но и о себе не забывай...

— Игнатий,— громко спросил Кулемин,— читаешь ли ты хотя бы изредка наши газеты?

— Нет. А что?

— Сильная статья там была нашего земляка Тихомирова Валерия Всеволодовича.

— Жив?

— И не думал умирать. Таких бесстрашных людей смерть боится.

— А о чем он пишет?

— Статья называется «Одна правда на свете». Начинается эта статья такими словами: «Кто старается поправиться и угодить всем, становится для всех противен и ненавистен...» — отчеканив так каждое слово, Кулемин поднялся и отклонялся.— Просим прощения, нас с Григорием Савельевичем ждут у Матушкиных, так что имеем честь...

В скучную, одинокую жизнь Любви Матвеевны недавно пришло приятное известие, а за ним другое. В первом сообщалось, что ее Герасим Петрович теперь уже не нижний чин. Он произведен. Он зауряд-военный чиновник. Почти офицер, но не строевой.

«Почти техник, но не техник», — говорил себе Маврик, зная, что Игнатий Краснобаев теперь стал тоже «зауряд».

Во втором известии говорилось о приезде отчима Маврика. Любовь Матвеевна вынула из сундуков ковры, приобретенные на пиво, покрыла кровати плюшевыми одеялами, расставила все добытое в отсутствие мужа, чтобы он сразу же по приезде оказался в уюте не худшем, чем у людей.

Новые шторы. Новые занавесочки. В буфете три сервиза. Новая оленья доха и новое штучное ружье. Уже ждет примерки костюм для визитов.

Хотя Вишневецкий теперь и не тот гость, которого можно звать, однако же если бы не он, так умно подсказавший ей, как нужно распорядиться пивом, обреченным на слив в снег, то было ли бы у нее это все? Пристава, наверно, все-таки следует пригласить. Конечно, без гостей и поздно вечером.

Герасим Петрович приехал раньше, чем его ждали. Он появился в офицерской шинели. В серой каракулевой папаше. На погонах по звездочке. Ириша дичится отца. Она не помнит его. А он не спускает ее с рук. Раздаются петроградские столичные подарки. Маврику преподносятся фотографический аппарат фирмы «Ернеман» со всеми принадлежностями.

Пусть с запозданием, но пришел аппарат. Теперь можно накапливать повествовательные фотографические альбомы. И Маврикий готов сделать снимки. Но...

Отчим говорит:

— Еще не кончился учебный год, Андреич. Аппарат может отвлечь тебя. А кроме того, я купил эту дорогую и серьезную вещь на будущее... Когда ты подрастешь.

Аппарат и принадлежности отбираются и складываются в сундук. Мать молчит. Она, конечно, всем сердцем хочет отдать сыну аппарат. Он так был нежен с ней все это время. Мать видела в нем свою опору. Она знала, что из него получится хороший человек. Кем он станет,

трудно предположить. Она не исключала увидеть его учителем, сочинителем пьес, начальником типографии или почты. Кем бы он ни стал, мать может положиться на него как на кормильца. Эти мысли пришли в голову, потому что Герасим Петрович приехал удивительно красивым. Форма так шла к нему. А она за эти годы изменилась не к лучшему.

Все бывает в жизни. К тому же... он моложе ее.

Приезд отца вернул оскорбительное прошлое. Маврика не называли «петрушкой», но это прозвище так недвусмысленно подтверждалось подаренным и тут же отобраным аппаратом.

Чтобы не уронить себя, чтобы скрыть свои страдания, Маврикий, сказав, что послезавтра трудная диктовка и ему нужно готовиться к ней, ушел из дому, еще раз поблагодарив отца за дорогой подарок.

Маврик направился к тете Кате в Замильеве через плотину и, как это бывало часто, задержался у медведя. Все привыкли к тому, что на его горбу оставалась корона. Даже кто-то из просвещенных людей сказал, что эта корона никому не мешает и ничем не угрожает, как и все цари и царицы, остающиеся жить памятниками в Петрограде и в других городах.

Маврик не соглашался с этим. Каким памятником, чему памятником может быть царь, восседающий на коне посреди площади? И если он не колебался относительно памятника Петру Первому, то для остальных царей в его душе не было исключения. И тем более его не могло быть для этого зубастого зверя с короной на горбу.

Разглядывая с младенческих лет знакомый памятник, Маврик думал о шестиглавом чудище, которое он топчет и которое совершенно определенно еще в прошлом году называли крамолой, то есть революцией. Какая же еще могла быть бо́льшая крамола против царя? И с этим нужно мириться?

Маврику вдруг захотелось пойти к Киришаумам, и он направился к ним. Всю дорогу он думал о медведе и, придя к Киришаумам, продолжил свои мысли вслух.

Григорий Савельевич был очень весел. Сегодня он узнал, что с каторги возвращается старейший мильвенский революционер, организатор первого нелегального кружка «Исток» Родионов. Это тот самый доктор Родионов, который доказывал в давние времена Матвею

Романовичу Зашеину относительно его добронамеренных заблуждений. Теперь прибавится еще один большевик. И может быть, его можно будет провести в Совет.

Киришбаум, соглашаясь с Мавриком относительно медведя, сказал:

— Едва ли можно придумать более злую сатиру. Российский капитализм был горбат от рождения. И он сгорбился еще больше, когда стал матерым зверем. Таким он остается и теперь. Горбатого может исправить только могила.

Для Маврика стало непреложно, что горбатый медведь олицетворяет капитализм и что такое олицетворение терпеть на плотине завода нельзя. И Маврик предложил:

— Хорошо бы его сбросить с камня в пруд. Тут очень глубоко. Леска в семнадцать колен не достает до дна. Это больше пяти саженой. Со дна пруда никто и никогда не поднял бы медведя.

— Кому нужно, Маврик, возиться с этой машиной? В нем же, наверно, пудов двести. А то и больше, если он отлит не пустотелым. Хорошо, если б с него хотя бы свинтили корону.

Об этом тоже думал когда-то Маврик. А теперь он твердо решил отвинтить корону и сбросить в пруд.

Этим планом он поделился с Ильешей.

— А что ты думаешь, Мавр, и свернем. Нужно только узнать размер гаек и подобрать ключ.

Залезая мальчишкой на медведя, Маврик точно помнил, что корона привинчена четырьмя большими гайками, но каков их размер — он не знал. Но ему на память пришел раздвижной французский ключ. Тот самый французский ключ, что изображен скрещенным с молотком на фуражках инженеров. Если бы достать такой ключ.

Оказалось, что можно достать и не такой, а цепной, с большим рычагом.

— Перед таким ключом не устоит никакая гайка, — заявил знающий Илья. — И такой ключ есть у Терентия Николаевича.

Услышав это дорогое имя, Маврик вспомнил, как он всегда потакал их затеям. И уж если кому-то можно было довериться без опасений, то только ему, верному другу детства. Захотелось взять в компанию по свертыванию короны и Санчика Денисова.

— Решено?

— Решено!

III

А дальше все было как в сказке. Санчик, конечно, немедленно согласился раскороновать медведя. Терентий Николаевич тоже сказал:

— В чем дело, рабочий класс? Только керосинчику все ж таки нужно захватить. Вдруг да прикипели, приржавели гайки к болтам.

Ночь была мгlistая и теплая. На счастье, не горели на плотине электрические фонари. Полицейского поста не было и в помине.

Три друга благополучно отвернули три гайки. Четвертую заело.

— Значит, и на мой пай осталась гаечка. Спасибо, не обошли своего старого друга.

Терентий Николаевич полез на памятник, и гайка с первого же рывка отломилась вместе с изоржавевшим болтом.

Самое легкое оказалось самым трудным. Корона была литой и тяжелой. Ее нужно было, во-первых, снять с анкерных болтов, приподнять, а потом скатить с горба по хребту к хвосту, не дав ей сползти по боку медведя.

Нашлась доска. Доску подвели под корону. Затем протащили по доске к хвосту и скинули в пруд. Корона будто сама рвалась в воду. Покатившись, она не упала на кромку, а булькнула в промежуток отбитого от кромки плиты льда. Так что не пришлось и спускаться на лед.

— Теперь скорым ходом-пароходом по домам! — скомандовал Терентий Николаевич.

Фонари зажгли до того, как Маврик пришел домой.

О похищении короны с горбатого медведя стало известно ночью. Утром об этом узнали рабочие, идущие в завод через плотину, а затем и весь завод.

С наступлением дня по плотине нельзя было ни пройти ни проехать. Всем хотелось посмотреть на медведя без короны. И всех это страшно потешало. Медведь с болтами, торчащими из горба, выглядел дурашливым зверем из балагана. И кто-то уже потешался, заметив это:

— А как, Миша, мильвенские молодайки по воду ходят?

И казалось, что медведь подымет на дыбы и начнет услужливо паясничать.

Побывал на плотине и доктор Комаров. Он сказал: — И очень правильно сделали... Если он нес на своей спине эмблему, не соответствующую времени, ее нужно было сбросить, как сбрасываем мы все противоречащее нашему революционному духу...

А на обратном пути, едучи в своих легких санках, доктор пожалел, что не было торжественного церемониала сбрасывания короны. Как бы это могло быть театрально... Корону можно было бы осквернить, а затем отправить в печь для переливки на оборону.

Турчанино-Турчаковский тоже имел суждение по этому поводу на деловом совете:

— Я и сам думал об этом, да постеснялся выглядеть слишком левым. Мне давно казалось, что корону следует заменить якорем.

— А почему именно якорем? — играя в некоторую оппозицию, по крайней мере интонационно, спросил неприменный кандидат делового совета и зауряд-техник Краснобаев.

— Якорь, Игнатий Тимофеевич, — мягко принялся отвечать Турчаковский, — помимо того что является давнейшим изделием нашего завода, он еще аллегорично олицетворяет собою надежду! Это символ надежды.

— А на что? — спросил снова с наигранной ершистостью Краснобаев.

— Все люди во все века надеялись на что-то! — с той же мягкостью разъяснил Турчаковский. — А теперь, после революции, мы живем столькими надеждами! И такими, — он простер руки, — великими надеждами.

— А как же насчет крамолы, которую попирает медведь?

— Игнатий Тимофеевич, это не крамола, а са-мо-держави-е... Ненавистный царизм растаптывает русский народ в образе проснувшегося после вековой спячки могущественнейшего исполина леса, которого из черного нужно перекрасить в... во всяком случае, подсветлить.

И всем это понравилось. Было велено подыскать четырехлапый якорь или отковать новый по размеру.

IV

В Мильве каждый день что-нибудь да случалось, и ничего не происходило существенного, изменяющего жизнь, становившися день ото дня труднее.

Из несущественного, занявшего некоторое время внимание узкого круга лиц, была продажа дома приехавшей в Мильву Соскиной. Она вышла замуж и уезжает в Питер. У нотариуса Виктора Самсоновича Шульгина, всегда восторгавшегося особняком и парком Соскиной, никогда не хватило бы денег на покупку ее дома, а теперь их оказалось более чем достаточно. Соскина просила очень немного, но золотыми монетами. А они были у дальновидного нотариуса. Он взял свой вклад из казначейства на другой же день после объявления войны. И взял золотом.

Придя к Соскиной для завершающего разговора, Шульгин познакомился с ее мужем. Он не сразу, но и не так долго узнавал в важном господине с шелковистой бородкой Антонина Всесвятского.

— Извините, если мне показалось, что мы были знакомы. И если мне это действительно показалось, то давайте знакомиться.

— Как вам угодно, Виктор Самсонович. Я человек свободный и независимый во всех отношениях.

— Чем же вы изволите заниматься? Уж не состоите ли в какой-либо из партий?

— Да. Я представляю собою партию анархистов-индивидуалистов.

— Не слышал о такой.

— Это новейшая партия. Она легко умещается в одном пиджаке. Мне кажется, вы тоже представляете из себя такую же партию, хотя, может быть, не зная того.

Сделка не заняла много времени. Соскина умчалась в Петроград, где ее ждет полное разорение.

В России давно, а может быть, и никогда еще не было такого разновластия, такого многопартийного ералаша, и если не теперь, то когда же выходить на большую арену.

А в Омутихе, на мельнице, в бывшем тихомировском доме, строились свои планы. Они были несравненно мельче и благовиднее, хотя суть их была той же самой — воспользоваться «неразберихой», добыть, приумножить то, что обесценилось в сумятице войны и нетвердости в управлении, чтобы потом, когда все войдет в свою норму, когда появится новый царь, или президент, или какая-то разумная коалиция, обесцененное сказало свою настоящую цену. Поэтому, если мужики под шумок рубят казенный лес и продают почти даром за посевное зерно

отличные бревна,— бери их, Сидор Петрович, складывай, укрывай. Есть-пить не просят. Брошенный овдовевшей солдаткой клин земли будет стоять подороже золота. Покупай, да делай вид, будто ты это жалеючи соглашаешься взять маловажную землю.

Глупо скупать скот. Он требует ухода, а медь, листовое железо, сортовой прокат, что тащат с завода недоедающие люди, тоже подымется в цене, как только люди, прикончив войну, начнут латать свои прорехи.

Кому теперь нужен тот же гвоздь? Кто строится теперь? А как понадобятся гвозди, когда вернутся уцелевшие на войне!

На горбатом медведе нет короны, но медведище царствует. Он ведет за собой еще многих людей, и ему еще очень многие поклоняются.

Как же сломать это все, и можно ли сломать? Как выправить горбы людям? Горбатых много. Нельзя же их всех исправлять могилами. Это жестоко до невозможности.

И однажды, задумавшись у окна в квартире тети Кати, где поселилась она вместе с тишиной, Маврик спрашивает:

— Правда ведь, тетя Катя, я стал серьезнее?

— Ты всегда был серьезным мальчиком. Серьезным и жизнерадостным.

— Нет. Это неверно. Я никогда не был серьезным. И может быть, никогда не буду. Вообразив себя поэтом, я написал глупый роман в стихах. Вообразив себя взрослым, я поверил, что Лера влюбилась в меня восьми лет. Это же глупо.

— Почему же? Если б я была Лерой, то разве бы я взглянула на кого-нибудь?

— То ты, тетя Катя. В любовь играть нельзя, как и в революцию. А я играл... Забастовка в гимназии разве не была игрой? Разве это игра не продолжается?.. Тетя Катя, не перебивай... Мне пятнадцатый год. И если бы не мой низкий рост, я бы походил на мужчину.

— Да ты и сейчас походишь, Мавруша. Походишь!

— Нет. Я хочу походить. Я играю в мужчину. Тетя Катя, когда же, когда из моей жизни уйдет игра, уйдет детство, которое не отстаёт от меня? Ведь отвинчивание короны с медведя на плотине — это тоже было мальчишеством.

— Это ты отвинтил ее, Мавруша?

— Тебя это пугает, тетя Катя?..

— Нет, нет. Мне почему-то хотелось думать, что это сделал ты. И, конечно, Ильюша. И, конечно, Санчик.

— И, конечно, Терентий Николаевич. Это он разболтал тебе.

— Нет, Маврик, я могу поклясться, мне этого никто не говорил.

— Как это удивительно! Наверное, ты и я — это почти что одно.

— Наверно.

— А с папой я, кажется, на разных политических позициях.

Екатерина Матвеевна не отозвалась на это. Тогда Маврик спросил прямее:

— Так много партий, что не запомнишь их всех. Какая, ты думаешь, лучшая?

— Я так далека от всего этого и даже не знаю, как ответить.

— И не можешь посоветовать мне, какую лучше выбрать?

— Зачем же тебе советоваться со мной? У тебя столько хороших и умных друзей. А я скажу тебе, что ранний и торопливый выбор партии тоже может оказаться игрой...

— Это верно, — согласился Маврик, — но нацеливаться и разбираться в политике нужно уже сейчас...

V

Тетка и племянник теперь сдружились по-новому. Как взрослый с взрослым. И тем более было странным то, что в разговорах они почти не касались Ивана Макаровича Бархатова.

Они скрывали друг от друга то, что потеряло всякий смысл держать в тайне.

На другой же день, когда в Мильве стало известно о падении монархии, счастливая Екатерина Матвеевна хотела рассказать своему самому близкому человеку о том, как с первой встречи в Перми у нее проснулись добрые чувства к Бархатову и как потом, после его приезда в Мильву, она поняла, что любит Ивана Макаровича. Боясь этого чувства, уходя от него, она приближалась к нему. А потом, когда она поняла, что этот прекрасный человек достоин большего счастья, чем она мо-

жет принести ему, принебрегла всем. Богом, который тогда еще был в ней сильнее всего. Церковным браком. Боязнию быть сосланной, ославленной, осмеянной. И она встретила с ним в маленьком уездном прикамском городе Оханске.

Откладывая со дня на день разговор с племянником о своем замужестве, она в конце концов пришла к заключению, что будет правильнее, если обо всем этом расскажет ему сам Иван Макарович. От него все это время не было никаких известий. И это удерживало Екатерину Матвеевну от разговора с племянником.

А почему же Маврик, зная все, не подсказал тетке счастливого для них обоих разговора?

Прежде всего, как и раньше, он считал неуместным вмешиваться в тети Катины тайны. Может быть, все на самом деле не так, как ему хочется думать и верить. Может быть, как случается даже с самыми хорошими людьми, они разонравились друг другу. Ведь почему-то от него нет никаких известий, хотя теперь он мог бы написать открыто. Зачем же напоминать о нем тете Кате и ранить ее, заставляя стыдиться, раскаиваться? Другое дело, что он никогда не сумеет плохо относиться к Ивану Макаровичу. И не сумеет обвинить его, даже если... Ну правда же, тетя Катя не так уж красива, хотя и очень цветущая для ее лет... Правда, что она довольно далека от революции, от его борьбы...

Нет, Маврик не будет винить его. А виденное им в Верхотурье на берегу излучины Туры он забудет.

Но, как часто бывает, сложные узлы, запутанные истории развязываются неожиданно просто и быстро. На другой день Екатерина Матвеевна получила от своего мужа письмо и не раздумывая показала его Маврику.

И Маврик прочитал:

«Родная моя! Прости меня за молчание. Оттуда, где я был, не доходят письма. Сегодня с гордостью могу сказать, что выполнил очень большое поручение, такое большое, что даже не могу поверить в то, что было. В ближайшие недели буду на Урале и, конечно, в Мильве. Следующее письмо пошлю завтра, оно будет подробное. Целую тебя и барашку-кудряшку...»

Тут Маврик прервал чтение и, прикинув к тетке, сказал:

— Я очень счастлив, тетечка Катечка...

Не будем давать волю розовым сентиментальным строкам, которые готовы занять несколько страниц, скажем только, что этот день для Маврикия был днем многих и неожиданных развязок.

VI

Не зная, куда деться от счастья, заполнившего всего его, Маврик решил пробежаться по плотине, плюнуть на ходу в сторону горбатого медведя. И это было сделано. А потом ему захотелось побывать на Мертвой горе, где самые ранние проталины. Там начинается весна раньше, чем где-либо в Мильве.

Идя через кладбище, Маврик никак не предполагал, что здесь произойдет драматическая сцена, и даже не одна.

Надо сказать, что кладбище в Мильве вовсе не такое уж мрачное место. Огромные разлапистые сосны, могучие лиственницы в сочетании с лиственными деревьями делают его похожим на парк.

И весной, когда еще всюду снег, здесь немало гуляющих. Были они и сегодня. И среди них Маврик встретил Леру Тихомирову и Волю Пламенева. Они шли медленно по широкой, как улица, аллее. Лера выглядела совсем взрослой. Ей семнадцать лет. Она всегда будет старше Маврика на два года и восемь месяцев.

То ли почувствовав за собой шаги, то ли взгляд Маврика, Лера оглянулась:

— И ты здесь, Маврик? Здравствуй!

— Здравствуй, Лера,— ответил на «ты» Маврик. Зачем же он ей будет говорить «вы», когда она говорит «ты».

Они бы, наверно, как все эти годы, раскланявшись, разошлись, но глаза Леры смеялись, а глаза Воли Пламенева насмехались. Он спросил:

— Уж не назначил ли ты кому-нибудь здесь свидание? — Его глаза насмехались еще более.

В это время, неожиданно до невероятности, меж могил и новых крестов появилась девушка. Это была Соня. Та самая Сонечка Краснобаева, которая шутливо прочилась в невесты Маврику. Соня, не ожидая и, конечно, не желая такой встречи, на секунду замерла, потом спряталась за памятник, похожий на часовню. Лера, заметя это, сказала:

— В самом деле, Маврикий Андреевич, вы такой влюбчивый молодой человек, наверно, здесь не просто так...

Этого оказалось достаточно, чтобы «завести» Маврика. И он стал говорить не заикаясь, не ожидая от себя таких точных слов. Может быть, не только обида, но и письмо Ивана Макаровича придавали ему и силу, и красноречие, и смелость. Он сказал:

— Нет, я никому не назначал свиданий с тех пор, как в вашем доме, на мельнице, посмеялись над моей ребячьей любовью, которую ты, Лера, заставила зажечься во мне под рябинами на Ходовой улице, когда я был ребенком.

Лера заметно смутилась. На ее щеках появился румянец.

Соня Краснобаева не хотела слушать далее их разговора, но какая-то сила удерживала ее.

— Ну что ты, право, Маврик,— сказала тихо Лера.— Это все было милой шуткой...

— Милая шутка стоила мне горьких слез,— сказал Маврик.— Это было первое безутешное горе...

— Но теперь-то, когда все прошло и забылось, зачем вспоминать об этом? — негромко сказала Лера.

— Откуда ты можешь знать, Лера, что все забылось и прошло?

Соня снова попыталась покинуть свою засаду и не могла. Хотела и не могла.

— Послушай, ты забываешься! — прикрикнул на Маврика Пламенев, как старший на младшего.— Я запрещаю тебе...

— Запрещаешь? Ты запрещаешь? А разве это в твоих силах? — спросил Маврик.— Разве можно запретить мечтать, верить, надеяться, любить... Этого не может запретить никто... Никто, кроме смерти...— Так он сказал, наверно, потому, что кругом были могильные кресты, надгробные плиты и сама гора называлась Мертвой.— Ты, может быть, запретишь Лере встречаться со мною во сне? Попробуй уведи ее из моих снов!

Пламенев подошел к Маврику и хотел приподнять его за воротник шинели и потряхнуть, как это делают с озорными мальчишками, а затем наподдать коленом, но пронзительный голос Леры остановил его:

— Не смейте, Пламенев! Это бесчестно. Вы хотите воспользоваться своим превосходством?

— Превосходством? — переспросил Маврик. — Каким? Мускулы — превосходство быка, но не человека... По-латыни это изречение звучит выразительнее, — сказал он только Лере и затем, поклонившись тоже только ей, заметил: — Какая сегодня хорошая погода. Прошу передать поклон от меня и от тети Кати Варваре Николаевне... Всего хорошего.

Маврик еще раз поклонился Лере и ушел. Удивленная Лера осталась посреди главной аллеи. Обескураженный Пламенев поднял вытаявший сосновый сук и пустил им в удаляющегося Толлина. Сук не долетел до цели. Маврик не оглянулся.

— Тоже мне... — сказал Пламенев. — Щенок, натеревший тявкать трагическими монологами. Доморощенный стихоплет...

Лера не отозвалась, провожая Маврика виноватыми, широко раскрытыми глазами. Она искала слова и взвешивала их. Слов нашлось много, и хороших слов, но почему-то не сказалось ни одно из них. Наверно, Лере было жаль обидеть Волю Пламенева, который так неожиданно померк, а затем умер в ней и для нее. Как будто ничего не произошло, но что-то случилось непоправимое. И Лера сказала Пламеневу:

— Воля, вам лучше всего сейчас молча оставить меня, если вы хотите на что-то надеяться. Идите же, — сказала она, свернув на боковую просеку.

Маврик был уже далеко. Он не слышал и не видел, что происходило за его спиной. Но все же ему пришлось оглянуться. Его догнала Сонечка Краснобаева.

— Мы так давно не виделись и не говорили.

Перед Мавриком стояла тоненькая гимназистка с темными печальными и взрослыми глазами.

— Да, Соня, мы так давно не виделись...

— Какой ты стал большой-пребольшой и умный-преумный. Я всегда верила, что будешь таким, и гордилась тобой.

Маврик, остановившись, настороженно спросил:

— А зачем тебе нужно гордиться мною?

— Не знаю, — тихо сказала Соня. — Только ты все это время жил в моих глазах. Стоило только мне их закрыть, и ты тут. — Соня закрыла глаза, повторяя: — И ты тут. Где бы ты ни был и кто бы ни был с тобой, я никогда не отпускала и не отпускаю тебя из моих глаз... Этого мне тоже никто не может запретить, как и тебе

видеть во сне ту, которая не стоит ни одного твоего сна, ни одного колечка твоих волос, ни одного лучика твоих глаз...

— Это неправда! — крикнул Маврик.

VII

Ранняя влюбленность не похвальна, но если она чиста, то за что же ее хулить.

Соня, признавшись Маврику, стремглав умчалась, счастливая, веселая, окрыленная...

Маврик, желая осмыслить события, направился было к дедушке с бабушкой, но его привлек стон и храп.

Меж могильных холмов лежал оборванный, с грязным лицом, заросшим свалявшимися седыми волосами, очень дряхлый старик. Он был смертельно пьян. И смерть сторожила его здесь, на кладбище, где было сыро, а ледяная земля и не думала оттаивать. Маврик не сразу узнал лежащего. Это был изгнанный законоучитель кладбищенской церковноприходской школы отец Михаил. Маврик слышал, что просвирня Дударина очень плохо обращается со своим старым спившимся любовником. Бьет его. Отбирает у него довольно большую пенсию. Старик, страдающий неизлечимым алкоголизмом, был вынужден просить милостыню или, появляясь у казенки, молить о глотке водки.

Как ужасно, как жестоко поступила с ним жизнь. Но должен ли быть жестоким он — порядочный человек Маврикий Толлин? Не безнравственно ли пройти мимо, не оказав помощи? Маврик побежал за церковным сторожем. Нашелся и другой человек, прирабатывавший на кладбище. Они согласились за предложенные Мавриком деньги стащить пьяного в просвирнин дом, находившийся напротив кладбища. Просвирне Маврик сказал, что ей придется отвечать перед судом, если она не позаботится о своем гражданском муже.

— Теперь не старое время, — напомнил Маврик, обещая поговорить с протоиереем Калужниковым об устройстве отца Михаила в соскинскую богадельню.

Что было и сделано Мавриком. Однако же скажем, чтобы не возвращаться к личности кладбищенского попа, что он, попав в режим богадельни, без алкоголя не прожил и двух недель. Но все же умер он по-человечески, не под забором и в трезвом виде.

Покойника никто не провожал до могилы. Даже не пришла с ним проститься просвирня Дударина. Он канул бесславно в черное забытие, как жалкая крупица того мира, которому оставалось доживать не так много дней.

Но этот мир еще существовал, действовал и не собирался уходить.

Он еще верил в себя.

VIII

После свержения самодержавия в России возникли две власти: Советы и Временное правительство. А в Мильве их было даже три.

Третья — заводская, управительская, самая сильная власть неуличимейшего Турчанино-Турчаковского и такой же неуязвимой его свиты.

Трудно приходилось большевикам; мильвенские большевики окончательно размежевались с партиями, ставшими на путь соглашательства и примиренчества с буржуазией и ее правительством.

Такие, как Игнатий Краснобаев, пагубно влияли на рабочих и вели за собой нередко и тех, у кого не было ни кола ни двора и уж тем более коровы.

Об этом времени Владимиром Ильичем Лениным впоследствии было сказано:

«Гигантская мелкобуржуазная волна захлестнула все, подавила сознательный пролетариат не только численностью, но и идейно, т. е. заразила, захватила очень широкие круги рабочих мелкобуржуазными взглядами на политику».

В Мильве свой двор, свой скот, свое благополучие дурно сказывались на людских душах, примиряющихся или добронамеренно и добросовестно заблуждающихся.

Были нередки случаи, когда травили большевиков, лгали на них, обливали грязью, придумывали обвинения, распускали самые подлые слухи.

Комитет большевиков, находившийся в Замильеве, приходилось охранять. Пугали разгромом. Подбрасывали анонимные угрожающие письма. Задерживали почту. Не всегда доставляли большевистские газеты. И все же чем больше травили, третировали большевиков, тем слышнее был их голос. С большевиками можно было не соглашаться, но невозможно было опровергнуть того, что

они говорили. Потому что это было правдой. Неоспоримой правдой.

Как опровергнешь спокойные, неторопливые речи Емельяна Матушкина, который говорил, что пока в Мильве все перемены свелись к замене на горбу медведя короны якорем. И далее нитка за ниткой разбирал все узоры, которые навывшивали искусники из Временного правительства и их пособники. Он говорил на собрании представителей цехов:

— Торговля была в руках купца, в руках барышника и осталась в его руках. Сидел у власти чин имярек при царе, сидит и при Временном правительстве. Революция,— говорил он,— это не смена вывесок и названий, а смена хозяев. Что из того, что Турчанино-Турчаковского не титулуют теперь его превосходительством и не называют барином, а он остался им. Да еще усиленным всякими зауряд-соглашателями и освобожденными от работы болтунами, оплачиваемыми заводом, то есть за счет всех вас, товарищи рабочие,— и это правда.

Неоспоримая правда.

Правда и в словах Артемия Кулемина. Он спрашивает, какие изменения произошли на заводе, какие облегчения в труде ожидаются там? Улучшили ли работу в каторжных прокатных цехах? Или хотя бы пообещали улучшить ее?

— Нет,— отвечает Кулемин.— Нет, потому что заводом управляют не хозяева, а приказчики казны. А хозяин по-прежнему гнет спину, работая у станка, у печи, оставаясь бесправным и подчиненным, опутанным красивыми, но пустыми словами.

И снова нечем возразить, но не свергать же новую власть. Она и без того временная даже по названию. Надо все взвесить, обдумать, подождать.

Соглашались и с фронтовиком Григорием Савельевичем Киришбаумом, соглашались и тоже чего-то ждали, боялись, медлили. Обдумывали.

Киришбаум говорил:

— Царь начал войну. Это понятно. Теперь нет царя. Зачем же продолжается война? Во имя чего убивают людей? Для чего зовут воевать до победного конца? Чем же Временное правительство, правительство Керенского, отличается от царского?

И снова нет двух ответов. Ясно, что войне должен быть положен конец.

А как?

В Мильве этого не решишь. Не решишь и в самой Перми.

А где же?

Кто же должен решать, коли правительство за войну?

И так, изо дня в день терпеливо разбирая все стороны жизни, широкие слои населения начинают понимать, что революция, которая произошла в феврале, всего лишь начало великих свершений. Несомненно, крушение царизма — величайшее событие в истории родной страны и населяющих ее народов. Рухнула ненавистнейшая тирания. Низвергнут и развенчан культ монархов, управлявших народами великой страны по самому нелепому из всех нелепых прав — праву семейно-родовой наследственности.

Этому с трудом будут верить потомки.

Понимая все это, люди также начинали понимать, что власть, отнятая у царя и его приближенных, не перешла к народу.

И если где-то были сильны Советы рабочих и солдатских депутатов, то все равно правил тот, кто владел. Как могли распорядиться заводом Советы, если он принадлежал хозяину-капиталисту?

То же и с землей. Невелик землевладелец Непрелов, а он хозяин, и закон охраняет его луга, леса, воды. Значит, кто владеет, тот и правит.

И, чтобы изменить этот оставшийся от монархии уклад жизни, нужно прежде всего не надеяться, что капиталисты добровольно, безропотно отдадут свои фабрики и заводы, свои земли, поместья и все, что принадлежит и охраняется законом как священная и неприкосновенная частная собственность.

Значит, начатое в феврале должно быть продолжено и доведено до конца. А это было вовсе не так-то просто, когда одна часть населения с трудом читала, а другая значительная часть и вовсе не знала грамоты.

IX

Работать было чрезвычайно трудно. Мильвенские большевики просили помощи в ЦК. Писали и Якову Михайловичу Свердлову, хорошо знавшему Урал. На большую помощь рассчитывать не приходилось.

Для работы в Мильву были посланы два питерских

рабочих и выдающийся организатор многих партийных ячеек, близкий к Якову Махайловичу Свердлову, прошедший длительную суровую школу подполья,— Прохоров.

О приезде Прохорова в Мильву стало известно в день открытия обновленного памятника на плотине. После того как были произнесены примелькавшимися ораторами помпезные речи, после того как театрально сполз белый полог, закрывавший перекрашенного под цвет старой бронзы медведя, который нес теперь на своем горбу четырехлапый символ надежды — позолоченный якорь, слово было предоставлено товарищу Прохорову.

У Маврика, стоявшего в толпе вместе с Ильюшей и Санчиком, замерло сердце. На трибуне появился Иван Макарович Бархатов. Хотелось крикнуть. Хотелось побежать к нему. Но разве это возможно? Иван Макарович, может быть, теперь не только не Бархатов, но и не Иван Макарович. Но все равно это тот человек, который навсегда записан в сердце Маврика Иваном Макаровичем. Нужно взять себя в руки и слушать его.

— Товарищи! Граждане! Господа! — начал он. — Якорь, олицетворяющий надежду, лучше, чем корона, олицетворяющая власть царя. Однако же не всякая надежда достойна того, чтобы в честь ее возводились памятники...

В толпе пришедших на открытие перекрашенного медведя, слышавших до этого заумные, высокопарные и расплывчатые речи, возникло оживление.

Люди почувствовали, что этот оратор с короткой бородкой, седеющими висками, с большими глазами, которые горят не жаждой похвал, а простым сердечным желанием вскрыть суть, тверд и непримирим.

Так он и говорил:

— Если кто-то, открывая этот памятник, надеется, что царя свергли для того, чтобы расчистить путь к власти капиталистам и помещикам, это — напрасная надежда.

В толпе послышался шумок одобрения.

— Кому кажется, что все уже произошло, — продолжал он, — тот ошибается. Свержение самодержавия — это громадное завоевание нашего народа. Громадное, но не единственное и не самое большое. Главное впереди.

— На что вы намекаете? На что надеетесь? — послышался голос.

Этот голос принадлежал Игнатию Краснобаеву. И он получил ответ:

— На лучшее. На большее. На величайшее. И мы можем надеяться на это.— Иван Макарович высоко поднял руку над головой и провозгласил: — В Россию вернулся Ленин. Вернулся Владимир Ильич Ульянов-Ленин.

— А много ли вас с ним? — опять крикнул Игнатий Краснобаев.

— Не очень много,— спокойно ответил Прохоров.— Но все же вполне достаточно, чтобы разоблачить соглашателей, вывести на чистую воду предателей и повести за собой рабочий класс, трудовое крестьянство, всех передовых и честных тружеников.

Сказанное получило живейшие отклики. Слова находили дорогу к сердцам.

Маврикий тоже кричал «ура», и «правильно», и «поддерживаем». Но его хватило ненадолго. Ему нужно было как можно скорее побежать в Замильеве к тетке. Но в то же время хотелось знать, что будет дальше на трибуне.

А на трибуне приезжий все более и более овладевал вниманием слушающих. В его самых обыкновенных словах звучала большая правда, которую нельзя не понять и не принять.

Так уж ли много мильвенцев в апреле семнадцатого года слышали имя Ленина? А теперь они слышат, как с его голоса говорит встречавшийся с ним этот задушевно-простой приезжий человек. И ему невозможно не верить.

Даже Игнатий Краснобаев, заранее, еще до приезда, ненавидевший этого присланного вожака мильвенских большевиков, и тот вынужден заставлять себя напрягать свои силы, чтобы не соглашаться с ним. Духовно противостоять ему. И в висках у него стучит: а вдруг в самом деле такие, как он, поведут за собой народ?

А вдруг?!

Торжество открытия памятника неожиданно для организаторов превратилось в митинг, посвященный возвращению Владимира Ильича.

— Так вот,— продолжал Прохоров,— в Россию вернулся Ленин. Он вернулся не для того, чтобы оставаться равнодушным к буржуазии, захватившей власть в силу недостаточной сознательности и организованности пролетариата... Но пролетариат наращивает свое могущество, свою организованность и свою решимость!

Снова пронесся гул одобрения. Это еще более воодушевило оратора, и он сказал:

— Власть должна принадлежать тем, кому принадлежит все — от этого старого завода до этой трибуны. Все, созданное трудовыми руками народа. Народ будет владеть и управлять всем, не через посредников и наместников, а сам. Сам! — повторил Прохоров. — Это значит, что к управлению должны быть привлечены самые широкие слои народа... И такие, как Яков Евсеевич Кумынин, как Терентий Николаевич Лосев, и уж конечно такие, как Африкан Тимофеевич Краснобаев. — Называя их, Прохоров указывал рукой на знакомых, известных всей Мильве рабочих.

Сеня, Толя и Сонечка Краснобаевы стояли неподалеку от трибуны рядом с отцом. Они мысленно благодарили оратора, который при всех так ясно дал понять, что у их отца и у всей ихней семьи общего с Игнатием Краснобаевым только фамилия.

Только фамилия!

Слушающим Прохорова хотелось верить, но еще не верилось, что к власти придут простые, совсем простые люди, составляющие большинство населения Мильвы, и не только Мильвы, но и всей огромной страны.

Если бы это все так и было...

Будет!

В наши дни, спустя столько лет, с высоты пройденного и достигнутого, легко говорить о величии ленинского гения, о значении памятного апреля семнадцатого года, но тогда, в дни, предшествующие первой социалистической революции, тогда, в пору брожения идей, кипения страстей, поисков правды, фальсификации истин, в пору организованного Временным правительством обмана миллионов тружеников, в пору появления и рекламирования сотен имен крикунов, наглецов, выскочек и прохвостов, претендующих на господство, — тогда нелегко было Ленину стать услышанным своим народом.

И такие, как Иван Макарович Прохоров-Бархатов, подымали народ, утверждая в нем великое коммунистическое становление.

Для многих уже не было сомнения, что партия Ленина станет главной движущей силой страны и времени.

Верили в это и три друга — Иль, Маврик и Санчик, — слушавшие, обнявшись, такие хорошие слова о том, какой должна быть жизнь.

Она будет хорошей. И об этом тоже должен Маврик сказать своей тетке. И как можно скорее объявить ей главный лозунг: «Вся власть Советам!»

И вот он бежит по плотине так, что в ушах свистит весенний ветер. И ему кажется, что сейчас он бежит во-все не к тетке, а навстречу времени... Навстречу времени, в котором так много заключено неизвестного, таинственного и прекрасного...

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Первая глава

I

В Мильве никто, пожалуй, не назовет октябрь осенним месяцем. Да и вообще мильвенская осень очень коротка. Начинается она в сентябре и после считанных теплых дней, грустно названных «бабьим летом», вскоре переходит в зиму без всяких теплых поблажек.

Первым настоящим признаком мильвенской зимы считается замерзание пруда. Кама еще течет и борется, не желая покрываться льдом, а мильвенский пруд уже готов.

Так было и в этом, тысяча девятьсот семнадцатом году. По Каме дохаживали последние пароходы, а пруд уже превратился в огромный зеркальный каток. Таким он будет недолго. До первого снега. Поэтому конькобежцы всех возрастов боятся упустить время и дорожат каждым часом. А вдруг снег выпадет завтра, вот тебе и покатался.

Маврикий Толлин весь во власти скольжения над царством рыб, над глубиной, где в старые годы жила холодная красавица Мильва, умыкавшая в свой подводный дворец пловцов-молодцов для потехи...

Ходкие коньки у Маврикия, хотя и очень верткие, зато высокие. На них труднее кататься и легче падать. Но чем не поплатишься за дюйм добавленного роста.

Эти коньки вчера подарила тетя Катя. Только лишь она могла догадаться, что ему нужны высокие коньки «нурмис». Беговые. А не какие-то «снегурочки». Вчера вообще был знаменательный день. Вчера праздновалось пятнадцатилетие со дня рождения Толлина. Подумать только... Он прожил полтора десятка лет...

«В пятнадцать лет хотя еще и не наступает зрелость, но детство уже уходит», — телеграфировал из Петрогра-

да милый Иван Макарович Бархатов, которого никак не хотелось назвать его настоящим именем — Иван Матвеевич Прохоров.

Прислал поздравительную телеграмму и отчим. Он тоже теперь в Петрограде. В ГАУ. В Главном артиллерийском управлении. На Литейном проспекте. Внушительное здание. С пушками у входа. Маврикий надеялся, что ему в этот день будет разрешено взять томящийся в сундуке фотографический аппарат фирмы «Ернеман». Об аппарате ничего не было сказано. Отчим наказывал успешно начать учебу и не остаться на второй год. Как будто Маврикий сидел в каком-то классе два года.

Зато вчера был очень хороший и совершенно неожиданный подарок. Его принесла Сонечка Краснобаева. Она так повзрослела по сравнению с весной. И такая стала какая-то не как раньше, что было бы правильнее называть ее не Соня, а Софи. С ударением на последнем слоге. Этот подарок был новостью, сказанной на ушко.

Оказывается, что в гимназии не будут учиться по крайней мере две недели. Что можно подарить лучше этой новости? Нежданные осенние каникулы, каких не бывает нигде.

Оказывается, радости жизни иногда возникают из ничего. Из лопнувшей трубы... Из маленькой, движущейся навстречу точки, которая, все вырастая и вырастая, становится Сонечкой Краснобаевой. Она еще вчера хотела посмотреть, каковы на ходу его новые коньки.

— Здравствуй, Со...— крикнул, падая, Маврикий. — Так мне и надо,— признался он смеясь.— Хвастливые всегда должны наказываться.

Поднявшись, он еще раз сказал «здравствуй» и пригласил:

— Хочешь, побежим вместе?

— Конечно!

— Куда?

— Хоть на край света.

— Ну уж и...

— Правда, Маврушка, правда.

— Руку!

— Вот она.

И они, взявшись за руки, помчались к Омутихинскому заливу.

— Я так рад, Соня, что лопнуло паровое отопление.

— И я рада, Маврушка.

— А ты-то почему?

— Мне всегда радостно, если тебе хорошо.

Маврик замедлил бег.

— Не надо так, Соня. Это принижает тебя. Ты всегда как-то очень откровенна... И у тебя все на виду. А нужно скрывать.

— А зачем?

— Ну, все-таки... Как можно говорить «хоть на край света»? Даже полыньи опасны,— кивнул он в сторону незастывшей воды,— а уж край-то...

Соня заглянула в глаза Маврикия.

— Уж кому-кому, а мне-то известно, что ты знаешь, где край, и никогда не упадешь, если тебя не толкнут... Вот так...— Тут она повернулась на своих «снегурочках», оказавшись лицом к лицу Маврика, поцеловала его. Это произошло так неожиданно, что тот не сразу нашел нужные слова.

— Не торопимся ли мы, Софй?

— Нет! Впрочем, да! Потому что я боюсь опоздать. Я хочу, чтобы ты помнил, кто первая поцеловала тебя. И ты этого никогда не забудешь и никогда не сумеешь сказать другой, что она тебя целует первой. Теперь первой всегда буду я, Софья Африкановна Краснобаева. Не так ли?

— Да, Соня... Да... И это очень хорошо. Пусть же и ты будешь поцелована первым не кем-то, а мною.

Маврик нежно поцеловал Соню...

II

Он поцеловал Сонечку Краснобаеву второй и третий раз... А потом сбился со счета. Но это уже было не на пруду, они уже не катались по льду, а летали за облаками не так далеко от звезд. Иногда они присаживались на тучку, и Соня заглядывала ему в глаза. А он ей. И в ее глазах он видел еще больше, чем за облаками, в пространстве вселенной темно-синего цвета. А потом они начали спускаться над Петроградом. На улицах стреляли, и снова, как этим летом в июле, рикошетом скользнула пуля, и снова текла из его руки кровь. Только руку на этот раз перевязывала не сестра милосердия, а Соня.

— Уже пора, Мавруша, расставаться со снами и перестать благодарить за что-то Соню... Пора собирать-ся. Посмотри, что я приготовила тебе. Отбери и уложи в саквояж нужное.

— Хорошо, мама. Я сейчас...

Вскоре начались торопливые сборы. До отъезда оставалось менее часа. Воспользуемся этим временем и расскажем, что было после катания на коньках и как возникла неожиданнейшая поездка Маврикия в Петроград.

В жизни Маврикия Толлина случалось не раз, что события, не имевшие к нему отношения, неожиданно касались его. Будто какая-то скрытая сила вспоминала о нем и делала невозможное возможным. Кому бы пришлось в голову, что в октябре, перед ледоставом Камы, учась в шестом трудном классе, где нужно дорожить каждым учебным часом, Маврикий отправится в Петроград. Второй раз в этом году. Он бы считал эту поездку невероятной еще два дня тому назад. А теперь невозможно представить, что могло быть как-то по другому.

Всему нашлись свои объяснения. Даже лопнувшая в учительской труба парового отопления и та подала свой голос в общем хоре причинностей. Но все началось с Турчанино-Турчаковского.

Этот старый лис по-прежнему управлял Мильвенским заводом. Веря, что в России восторжествует монархия на западный образец, ограниченная болтливым и безопасным парламентом, он считал, что этому как нельзя лучше способствует глава Временного правительства Керенский.

— Никто другой, господа, как этот самовлюбленный выскочка,— говорил о нем Турчаковский в узком кругу заводских воротил,— не может наделать столько глупостей и уронить престиж без того непопулярного Временного правительства до его полного самонизложения. И тогда,— предсказывал управляющий,— один из главнокомандующих или просто кто-то из толковых военачальников более удачно, нежели поторопившийся генерал Корнилов, возьмет в свои сильные руки государственную власть — и конец!

Запершись в своем домашнем кабинете на бывшей Бариновой, ныне Революционной набережной, Андрей Константинович Турчанино-Турчаковский утверждал, что помогать разрушительной деятельности обреченного на гибель правительства — значит облегчать захват власти

достойным ее. И такой помощью Турчаковский, в частности, находил временное закрытие Мильвенского завода, кроме цехов, выполняющих заказы для фронта. Закрытие завода неизбежно вызовет недовольство рабочих и населения властями, а может быть, и волнения... А он, Андрей Константинович Турчаковский, опять ни при чем. Потому что не кто-то, а он поедет в Петроград якобы отстаивать сохранение завода, но... правительство, хотя оно и временное, не согласится с ним.

Вскоре о намерениях управляющего стало известно Мильвенскому комитету большевиков. Известно стало потому, что и в тесном кружке Турчаковского находились люди, которые на всякий случай и впрогляд на будущее оказывали услуги большевикам. А вдруг да они, а не какие-то гадательные генералы окажутся у власти, тогда не забудутся и эти тайные предупреждения.

Теперь предусмотрительнее стали заводские начальники. Случалось уже всякое. И ждать было можно всего. Один слух исключал другой. Говорили, что Керенский арестовал Ленина, а он оказался неуловим. А ведь как искали и как ищут. Даже в Мильве. А почему бы и нет? Ленин мог скрываться именно в далекой Мильве, где он нашел бы пристанище в семьях знакомых ему людей. У Тихомировых, например. У Емельяна Матушкина, дочь которого, Елена, выйдя замуж за тихомировского сына, встречалась с Лениным за границей. Ленин мог попросить убежища и у Екатерины Матвеевны Зашеиной. Ведь ее муж Прохоров-Бархатов, куда-то исчезнувший опять, выполнял в свое время ленинские поручения и поручения ЦК, касавшиеся Ленина.

Однако не всякий слух — досужая сплетня. Когда в Мильве узнали о возможности закрытия большинства мильвенских цехов, то началось невообразимое. Слух подтверждался тем, что главная продукция завода — суда и котлы — не была в спросе.

До пароходов ли теперь пароходчикам, до котлов ли и машин заводчикам, когда неизвестно, чем кончится смута, начавшаяся весной этого года.

Суда не нужны и оскудевшей казне, не успевающей печатать падающие в цене «керенки» двадцати- и сорокарублевого достоинства. Снова воскресла памятная многим в Мильве угроза остаться без работы. Вспомнился старик Матвей Зашеин, нашедший тогда хотя и тяжелый, обидный, но все же выход. А кто его найдет те-

перь? Разве только тот, кто в те годы внял голосу Зашенной и упросил царя. Теперь ему проще упросить Керенского.

Вскоре в передней квартиры управляющего появилась делегация. Из добровольцев. Пришли диким образом. Турчаковский выслушал встревоженных стариков, сказав, что он принимает и будет принимать все меры, чтобы в заводе не был закрыт ни один цех.

— И все же,— доверительно сообщил, разводя руками, изолгавшийся плут,— все зависит от того, как взглянет на это Александр Федорович Керенский. Теперь все в его руках. Но будем надеяться.

Старикам хотелось верить, но не верилось.

III

После отъезда Бархатова-Прохорова вожак мильвенских большевиков остался Артемий Гаврилович Кулемин. Узнав о поездке Турчаковского в Петроград, обсудив «ситуацию» на комитете, он тоже готовился к отъезду в Питер, чтобы не дать Турчаковскому сделать злое дело. Перед отъездом Артемий Гаврилович пришел к Зашенной.

— Не пожелаете, Екатерина Матвеевна, послать посылочку благоверному? В Петрограде, как вы понимаете, с продовольствием... весьма и не очень.

Пока Екатерина Матвеевна советовалась, что лучше послать и сколько можно взять, Любови Матвеевне Непреловой, оказавшейся в этот час у сестры, тоже захотелось послать кое-что своему мужу. И она неожиданно для всех сказала пришедшему вместе с ней сыну:

— Мавруша, а почему бы тебе не съездить с Артемием Гавриловичем в Петроград? Ты же теперь там как дома... И свез бы сливочное масло, мед, окорок и все, чего теперь нет там.

Маврикий не верил своим ушам. Неужели он снова увидит сказочный город Петроград. Он не знал, что не сливочное масло, не мед и не окорок были причинами его второй поездки в столицу. Как он мог предположить, что его мать съедают мучительные подозрения. Герасим Петрович, служа теперь в ГАУ — Главном артиллерийском управлении в Петрограде, где столько соблазнов... Короче говоря, Любови Матвеевне хотелось, чтобы Маврикий появился в Петрограде неожиданно.

Ко всему этому в Петроград ехал и Всеволод Владимирович Тихомиров. Он не хотел далее оставлять там своего самого младшего внука. Об этом рассказал тот же Кулемин.

— Так чего же раздумывать,— поддержала сестру Екатерина Матвеевна.— Что ему делать в Мильве, пока переделывается отопление? Пусть едет. Пусть непременно едет.

Неужели это правда? Уж очень как-то все просто. Словно во сне. Так не бывает в жизни... Впрочем, почему же не бывает. Весной этого года тоже произошло то, чего и не ожидал Маврикий. Он, окончательно убедившись, что гимназия ему не нужна, решил поступить на завод. Желание работать и зарабатывать было так настойчиво, что мать упросила Герасима Петровича пригласить Маврикия в Петроград и этим оттянуть поступление на завод. «А потом я приму другие меры»,— писала она мужу. И тот согласился. И написал пасынку письмо, в котором, приглашая его, писал, что будет неплохо, если он, провинциальный гимназист, побывает в столичных музеях и картинных галереях и наберется ума-разума. И...

И вскоре свершилось первое чудо в жизни Маврикия Толлина. Он без провожатых появился в Петрограде. Город оглушил его, ослепил, принизил. Он и раньше представлял его громадным, красивым, шумным и беспокойным. Но не таким. От первого знакомства почему-то особенно запечатлелись нелепые выкрики продавцов, предлагавших маленькие золотистые жетоны на ленточках:

— А вот сын русской революции Александр Федорович Керенский, цена жетона пятьдесят копеек. А вот бабушка русской революции Брешко-Брешковская. Тоже пятьдесят. Оба — восемьдесят.

Живя у отчима в офицерской комнате при казармах на Литейном проспекте, Маврикий был предоставлен самому себе. Скоро уже пятнадцать. Не заблудится. Ну а если что и случится, то не он, не Герасим Петрович придумал своему пасынку эту поездку в Питер. Не ему и отвечать.

Распоряжаясь собой и своим временем, Маврикий тайно встречался с Прохоровым, который снова стал после возвращения из Мильвы в Петроград Иваном Макаровичем Бархатовым.

— Так нужно пока, Кудрикий,— объяснил он тогда, ничего не объясняя.

Маврик не пытался узнавать больше, чем ему говорили. Валерий Всеволодович Тихомиров, с которым тоже несколько раз виделся Маврикий, рассказывал об очень многом, но далеко не обо всем. Тот и другой говорили о Владимире Ильиче, но говорили с какой-то осторожностью, будто даже от Маврика нужно было что-то скрывать. И это обижало его. Ведь еще до войны, с того дня, когда Валерий Всеволодович бежал из Омутихи за границу, Маврикий стал почти подпольщиком. Если не почти, то до некоторой или в какой-то степени. Потом Маврикий встречался с Бархатовым на горе Благодать, в Верхотурье, и разве можно остерегаться его. И однажды, находясь у Тихомировых и улучив минуту, когда дома осталась одна Елена Емельяновна, он решил спросить ее. Ведь когда-то он был ее любимым учеником в миловенской земской школе. Она так была откровенна с ним. Так пусть же будет такой и теперь.

— Елена Емельяновна,— начал он,— когда будет прогнано Временное правительство и когда Владимиру Ильичу не нужно будет скрываться?

Елена Емельяновна ответила не сразу, но определенно:

— Скоро. Очень скоро.

«Очень скоро»,— повторял про себя Маврикий. Но минул месяц, другой, третий... Теперь уже на исходе октябрь, а правят все те же министры-капиталисты.

Маврикию необходимо снова задать прямой вопрос:

— Когда же все это кончится?..

И он задаст этот вопрос. Он разыщет своих. Он их найдет, как бы ни был велик город...

IV

А пока:

Здравствуй, дорогой Петроград! Здравствуй, милый Невский! Здравствуй, Литейный! Здравствуйте, Степан Петрович!

— Вот вы говорили, что мы не увидимся, а мы увиделись! Как я рад встрече с вами,— говорил Маврикий, здороваясь со Степаном Петровичем Суворовым, жившим в той же комнате при казармах ГАУ, что и отчим Маврикия.

— И я рад встрече с тобою в такое счастливое время, дружище. Ты не узнаешь Петроград. Раздевайся... Подсаживайся к столу. Герасим Петрович сейчас придет. Какой тяжеленный тючище!

Так встретил Маврикия военный инженер Суворов. По-иному отнесся к приезду пасынка вернувшийся из военной лавки Герасим Петрович:

— В такое время, когда все начинено порохом, приехать в Питер — надо иметь голову. Как только Люба пустила тебя...

— Маме очень хотелось, — оправдывался Маврик, — очень хотелось знать, как ты... И потом же окорок, мед и масло... Разве можно было все это послать по почте.

Герасим Петрович заметно помягчел, когда Маврикий положил перед ним отформованные кружки масла, а на кружках долгожданное рельефное изображение упитанной, с большим выменем коровы, а вокруг коровы красивыми, также рельефными отчетливыми буквами значилось: «МОЛОЧНАЯ ФЕРМА БР. НЕПРЕЛОВЫХ».

Сбылась мечта. Молодец Сидор. Наверно, ему Григорий Киришбаум по старой памяти вычеканил форму. Так славно получилась корова. Она, как и медведь на плотине, будто тоже улыбается, глядя с кремоватых аппетитных кружков сливочного масла.

Дождавшись, когда отчим дочитает письмо от матери, Маврикий сказал, что ему нужно сделать множество покупок для товарищей, просил не беспокоиться, если он задержится.

— Только не лезь в каждую свалку. Теперь схлопотать пулю стало еще проще, чем два-три месяца тому назад, — предупредил Герасим Петрович. — Учти, что я возвращаюсь поздно вечером. Много работы. Большая работа. Огромная работа. Вот такие кипы бумаг. Страниц по четыреста. Иногда приходится засиживаться чуть ли не до утра, — говорил Герасим Петрович, будто боясь, что пасынок не поверит сказанному. — Приходится сидеть не только в Главном управлении, но проводить ночные ревизии на складах... Очень-очень трудной стала теперь работа.

Чуткий пасынок, стараясь думать об отчине как можно лучше, все же смутно догадывался о том, чего так нескрываясь боялась его мать. И не зря — отчим очень красив. При такой выправке и при таком росте нельзя оставаться незамеченным тоскующими женщинами, ка-

ких много в Петрограде. У отчима так ослепительно белы зубы. А у мамы вставные. Они тоже сверкают, но это не ее зубы. Ах, мама, мама, ведь ты знала тогда, выходя замуж, что он моложе тебя на семь лет... Впрочем, как можно судить мать. У нее же были с ним счастливые годы...

V

Проспекты, мосты, знакомые и дорогие сердцу дома воскрешают июльские дни. Вот она, аптека, где перевязывали его. А вот окно, из которого стрелял юнкер. Ну а уж Исаакий-то, Невский, Гостиный двор — куда они денутся. На торцовых шестигранниках нет пятен крови, пролитой безвестно похороненными петроградцами. Дожди и метлы дворников уничтожили следы июльского расстрела. Но все равно эти пятна крови, эти мертвые тела рабочих, матросов, солдат, женщин — в глазах Маврика. Мог бы и он быть похороненным на каком-нибудь из кладбищ, если бы пуля попала чуть ниже и немножечко правее.

Нужно обязательно найти Ивана Макаровича. Нашел ли его Кулемин? Наверно, нашел. Кулемин взрослый, стойкий, проверенный товарищ. На него можно положиться. Наверно, у него более подробные сведения о том, кто и где. Хотя сейчас не то, что в июле. Все время встречаются вооруженные отряды рабочих. Наверно, это и есть отряды Красной гвардии.

Самое правильное — отправиться на квартиру к Елене Емельяновне. Там он узнает об Иване Макаровиче.

Пришел. Позвонил. Придумал, на случай провала, спросить, где живут Агафоновы, или Кривоноговы, или Сергеевы. Не все ли равно, кого спросить. Дверь открыла Елена Емельяновна. Она раскрыла объятия и радостно сообщила, не поздоровавшись с Мавриком, как будто они виделись сегодня:

— Теперь уже скоро. Иван Макарович и Валерий в Смольном.

— А где Всеволод Владимирович?

— Он уехал в день приезда. Потому что сейчас... Сейчас небезопасно и ему и Володьке находиться в Петрограде.

Елене Емельяновне разговаривать с Маврикием было некогда. У нее в комнате сидели женщины. Они с яв-

ным нетерпением ожидали, когда уйдет непрощенный гость.

— Ты извини меня. У нас совещание... А в Смольный попасть отсюда очень просто...— И она назвала номера трамваев.

Маврикий направился в Смольный. Он слышал о нем, но не представлял его. А появившись там, он сразу сравнил его с дворцом Кшесинской. Только не те размеры, не та солидность. А суть та же. Смольный — это же чуть ли не город, где можно разместить множество народа.

— Ба-а! Мильва! Здравствуй! — услышал позади себя Маврикий и увидел матроса в черном бушлате. — Не узнаешь?

— Нет, — смущенно признался Маврик и тут же вспомнил веселого связного береговой службы. — Узнал!

— То-то же... А я теперь тут. В наряде.

— Я очень рад. Значит, вы мне поможете...

— Он еще спрашивает. Говори.

Говорить много не пришлось. Не пришлось и долго искать Ивана Макаровича. И теперь Маврикий, очутившись в объятиях Бархатова, как бы вводился этим в Смольный, становясь своим парнем, вполне заслуживающим доверия.

— Куда теперь я тебя... — забеспокоился Бархатов. — И отпустить глядя на ночь не могу. И здесь оставаться тоже не просто, хотя и надежнее.

В эту минуту проходил мимо паренек в стеганке.

— Сима, — окликнул его Иван Макарович, — где отец?

— Ушел с отрядом.

— А ты что?

— А я ничто. Кипяток кипячу в кипятнике.

— Тогда вот тебе еще один кипячитель. Знакомься.

Сима с радостью протянул руку своему сверстнику. Маврикий узнал, что Сима Лопухин — сын командира большого красногвардейского отряда. Его мать с младшим братом и сестрой в деревне. Дома пусто. И Сима перебрался к отцу в Смольный.

— Ты уж извини, Кудрикий. Сегодня такой день. Не теряйся.

Сказав так, Иван Макарович поспешил на зов рабочего в кожаной туатуре.

— Съезд! — сказал Сима. — Ты понимаешь, съезд

рабочих и крестьянских депутатов. Второй съезд. Видишь, сколько уже понаехало.

— Вижу.

Население Смольного было и без того пестрым по своей одежде. А прибывающие на съезд вносили новые краски. Здесь можно было услышать говор всех губерний и национальностей, представляющих собою будущий, начинающийся здесь Союз Советских Социалистических Республик.

В эти дни, в этих стенах зарождалось все, что потрясет весь мир и станет славой и гордостью народов первой страны социализма.

Все как перед бурей...

В руках Маврикия газета «Рабочий путь». В ней он трижды перечитал о том, что Временное правительство должно быть свергнуто и власть должна перейти в руки Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Говорят, что на помощь идут корабли Балтийского флота. А матрос, находившийся там же, в коридоре Смольного, назвал крейсер «Аврору».

У Маврикия готово выскочить сердце. Нигде не обходится без мельвэнцев. Он вспомнил, что на бескозырке мужа старшей дочери Кумынина — Василия Токмакова было написано «АВРОРА». Не может же быть какая-то другая «Аврора».

Было уже очень поздно, когда Сима Лопухин дернул Маврика за рукав и, волнуясь, сказал:

— Смотри, смотри... Владимир Ильич...

Маврикий увидел Ленина в спину, но все равно узнал и... И все смолкло для него. Все куда-то кануло. Он видел только уходящего Ленина. Нестерпимо хотелось крикнуть: «С приездом, дорогой Владимир Ильич...» Но что-то, какие-то мускулы так сжали его горло, что Маврикий сумел выдохнуть только одно слово:

— Наконец-то...

Владимир Ильич уходил дальше и дальше, куда-то в глубь коридора. За ним замыкалась толпа, как бурлящая вода за кораблем. Толлин снова ушел в свои мысли, не слыша и не видя окружающих.

Если Владимир Ильич здесь — значит, все страшное позади. Значит, настанет такое время, когда люди будут жить в мире и дружбе. Как братья. Как Санчик, Ильюша и он — Маврикий Толлин. И наступит царство труда. Социализм. Наступит сразу же. Не позднее того месяца.

Ноября. В это он свято верил. И ничто не могло поколебать эту веру и помешать его торопливому романтическому воображению видеть и ощущать всем своим существом этот мир труда, мир равных.

Он не мог, да и не захотел допустить, что революции, которая уже началась в эти октябрьские дни, нужно будет пройти через тяжелейшие годы, преодолеть чудовищное сопротивление извне и внутри страны.

В его пылкой душе и наивно-восторженном мышлении не могла появиться даже тень сомнения: а не ошибается ли он, не слишком ли упрощенно-радужно рисует себе картину переустройства жизни? И уж конечно ему невозможно было предвидеть, что за это упрощенное видение ему придется очень дорого заплатить.

А пока он счастлив, окрашивая окружающее в розовые и голубые цвета. И он совершенно убежден, что теперь будет все не просто хорошо, а изумительно хорошо и никакая тучка не омрачит безоблачное благополучие.

Придя в себя, Маврикий снова услышал шум. Может быть, он не умолкал. Маврикий опять слышал обрывки фраз. И из этих обрывков можно было понять, что восстание уже давно началось. Уже взяты Центральный телеграф, вокзалы и банк.

Это очень хорошо, что взяты вокзалы и банк. Керенский, значит, не удерет по железной дороге и не украдет из банка деньги. Неплохо бы сейчас Маврикию тоже участвовать в каком-нибудь взятии. Но разве возможно нарушить слово, данное Ивану Макаровичу.

Как хочется спать и как это глупо. Ведь можно проспать все. И Маврик проспал если не все, то многое.

Они прикорнули с Симой на дровах в теплой комнатухе, где стояли кипятильники. Его разбудили слова молитвы.

— Слава тебе, пресвятая богородица, слава тебе, — молилась пожилая женщина, которая пустила молодых людей прилечь на дрова. — Тартар им и преисподняя, — провозглашала она, крестясь на темный угол, в котором Маврикий и проснувшийся Сима заметили маленькую эмалевую иконку богородицы.

— Это правда? — осторожно спросил Маврикий, когда женщина кончила молиться.

— Как же не правда, мальчишечки, — с охотой ответила она. — Теперь везде наши и повсюду свои.

Так Маврикий из уст молящейся женщины услышал первую весть о победе революции. Вскоре эту весть повторили тысячи телеграфных аппаратов.

VI

Сима Лопухин будто родился в Смольном. Здесь он чувствовал себя как в родном доме. Маврик восхищался его способностью повсюду проникать. Он показывал Толлину и называл имена сподвижников Ленина, которые потом вошли в историю и которых тогда невозможно было запомнить.

Утром 25 октября воззвание, написанное Лениным, о чем совершенно твердо знал Сима Лопухин, извещало:

«Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки Петроградского Совета Рабочих и Солдатских депутатов и Военно-Революционного Комитета, стоящего во главе Петроградского пролетариата и гарнизона».

— Сбереги,— сказал Сима, подавая листовку-воззвание Маврикий, и тут же сообщил:— Сейчас побежим слушать Ленина.

Сказано было это Симою так твердо, что Маврикий не стал переспрашивать, куда нужно бежать и где будет выступать Владимир Ильич.

Сима провел Маврикия обходными путями в большой зал, переполненный народом, и шепнул:

— Давай притаимся тут. Не бойся. Не выгонят...

Сказав так, они услышали: «Ленин, Ленин...» — и тут же увидели его. У Маврикия, кажется, снова остановилось сердце, и снова стало трудно дышать, а потом сердце стало биться ровно-ровно и дышалось легко. Легко как никогда.

Маврикий и Сима Лопухин хотя и очень внимательно слушали Владимира Ильича, говорившего о задачах власти Советов, но все же не понимали и половины сказанного главным образом потому, что желание видеть Владимира Ильича, наблюдать за каждым его жестом, движением, поворотом головы было для них важнее всего остального. И, слушая Ленина, они слышали главным образом самый голос, его тембр, звучание, а не слова, произносимые этим голосом.

Маврикий не помнит, сколько времени он простоял здесь в углу зала, зажатый солдатами и красноармейцами. Его нашел и вывел отсюда Иван Макарович.

— Ну вот,— сказал он,— ты и получил ответ на свой вопрос. И тебе ответил не кто-нибудь, а сам Ленин.

— Да-а,— рассеянно подтвердил Маврикий, все еще находясь под впечатлением виденного и слышанного.

Тогда, в этот день, 25 октября 1917 года Маврикий не сумел бы повторить ленинские слова, прозвучавшие на весь мир:

«Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, свершилась».

Зато потом, когда сказанное Владимиром Ильичем стало достоянием миллионов, Маврикий был убежден, что эти слова запечатлелись в его сердце там, на племне Петроградского Совета.

Свидание с Иваном Макаровичем было опять коротким. Оно и не могло быть иным. До Маврикия ли ему, когда еще не взят Зимний дворец, когда революция в самом разгаре. Все же Бархатов улучил минуту и проводил Маврикия.

— Смотри,— наказывал он,— юнкера еще не разоружились. Чуть что — в подъезд. Если понадобится, найдешь меня здесь. А теперь беги. Будь счастлив,— Иван Макарович чмокнул племянника в щеку.— Теперь все будет хорошо. Не сразу, но будет... Беги!..

На улицах почти не было слышно стрельбы. Часто встречались патрули. Задерживали встречающих. Проверяли документы. На Маврика никто не обратил внимания. А жаль. Он бы мог сказать, откуда он идет и кого сегодня слышал. Но его никто и ни о чем не спрашивал. Зато дома его не спрашивали, а допрашивали. И он рассказал все как было.

— Иван Макарович не позволил мне идти вчера ночью под пулями. И я ночевал в Смольном. А потом я пошел слушать Владимира Ильича Лени...— «нэ» ему договорить не пришлось. Отчим ударил его по лицу.

— Недоносок! — крикнул он своим и без того высоким голосом, который при крике переходил в клич какой-то ночной птицы.— Я покажу тебе...— Далее он произнес похабные слова, которые не раз приходилось слышать Маврику от чужих и незнакомых людей. Слышать же их из уст человека, которого он называл «папа», было невыносимо больно и невыразимо стыдно.

А отчим, распаляясь, избивал пасынка, что называется «за старое, за новое и за три года вперед». Теперь он ему был ненавистен, как примыкающий к тем, кто

рушит все, что так долго лелеялось, накапливалось и создавалось.

Непрелов бил пасынка и за ферму, которая, кажется, тоже подвергалась опасности вместе с Зимним дворцом.

Маврикий задыхался от неожиданности и обиды. Герасим Петрович, испугавшись, что нервный мальчишка может кончиться, кинулся к кувшину с водой и плеснул из него на посиневшее лицо пасынка.

— Вы подлец, Герасим Петрович,— слышался голос за спиной Непрелова. Он увидел своего сожителя по комнате Суворова.— Я щажу вас при пасынке, не называю вас худшими словами, которых вы стоите.

Степан Петрович, говоря так, был уже возле Маврика. Он утирал его мокрое от воды лицо и внушал:

— Взять себя в руки, взять... Сейчас нельзя падать духом... Нельзя... Окружен Зимний дворец... Окружен, ты слышишь...

— Да-а, слышу,— начал часто, глубоко дышать Маврикий.

— И очень хорошо... Твой старый друг Александр Федорович Керенский в ловушке.

Герасим Петрович молчал. Ему тоже было трудно дышать. Неужели рухнет последнее... Неужели не подспеют в Питер надежные войска, пока еще держится в Зимнем дворце Временное правительство.

VII

Снова наступал вечер. Снова наступала тревожная ночь. «Аврора» вошла в Неву, это уже теперь точно. Об этом сказал Степан Петрович Суворов.

Вася! Василий Токмаков! Выручай! Не подведи мильвенцев! Пальни по Керенскому!

И матрос Василий Токмаков не подвел. Пусть не он, а другие произвели выстрел с «Авроры», но Маврикий видел «Аврору» через кумынинского зятя Василия.

Еще не было десяти, как грянул выстрел совсем близко от Литейного проспекта. Это был выстрел не разрушения, а созидания. Выстрел-сигнал, выстрел-призыв. Ему не отзвучать в поколениях. Священным он будет в веках потому, что этим выстрелом-символом начался новый счет годам.

Откуда обо всем этом мог знать Маврикий, да и многие другие. Великое чаще всего бывает простым и обыкновенным...

Однако в грандиозные исторические свершения нередко вкрапливаются комические подробности. В эту ночь «сын русской революции», нарядившись чьей-то дочерью, путаясь в юбках, покинул свое Временное правительство и дунул в Псков, чтобы оттуда начать возвращение невозвратимого.

Об этом люди узнают позднее, а теперь визжат побросавшие оружие стриженные искательницы острых ощущений и походов из батальона, верного неверному Керенскому. Поднявшие руки женщины в гимнастерках обещают вознаградить победителей, если они пощадят их жизнь. А до их жизни теперь мало кому дела. Их никто не трогает: они никому не нужны.

Юнкера еще пытаются сопротивляться, но те, что поумнее, давно валяются в ногах у солдат и матросов. И кому, спрашивается, они верили. Как можно было ничто принять за что-то.

Хмурый полулежит на своей койке Герасим Петрович Непрелов. Он уже сумел объяснить пасынку свое поведение нервным возбуждением. Теперь со всеми нужно быть если не в мире, то хотя бы не в ссоре. И такой щенок может отправить Герасима Петровича в могилевскую. Если уж посторонний человек Суворов так защищал пасынка, то что можно ждать от Бархатова.

Маврикий не простил и не простит отчиму побоев, но ведь он мужего матери. С этим приходится считаться. Да и не так уж много дней остается жить вместе. Вернется он в Мильву, поступит работать на завод. Переселит жить к тете Кате, и у них будет та самая семья, которая виделась ему в первый приезд Ивана Макаровича в старом дедушкином доме.

Утром, когда на отрывном календаре в комнате казармы еще не был оторван листок 25 октября, а было уже 26-е, пришел Степан Петрович и сказал:

— Временное правительство арестовано...

— Этого и следовало бы ожидать,— сказал с какой-то угодливостью Герасим Петрович.

Суворов зашел ненадолго. Он взял свой чемодан, заплечный мешок и сказал:

— Прощай, товарищ Толлин. Желаю тебе расти в том же направлении. А вам,— обратился он к Герасиму Петровичу,— желаю правильно понять и оценить то, что произошло вчера и сегодня. Прощайте. Ухожу командовать артиллерийским дивизионом.

Долго было тихо в комнате после ухода Суворова. Ни Маврикию, ни Герасиму Петровичу не хотелось начинать разговор. Да и не о чем было разговаривать. Все сказано и в этой комнате, и за ее стенами.

Что было, того уже нет, а что будет, никто не скажет. Значит, не о чем и говорить. Однако же нельзя было все время сидеть молча.

— Вот что, товарищ Толлин,— не своим голосом заговорил Герасим Петрович,— здесь нам делать больше нечего. Мы уезжаем отсюда сегодня. Сейчас же.

И сейчас же, не медля ни минуты, он поднялся, снял с вешалки свою шинель, не спеша, но как-то очень быстро, будто он уже не раз это делал, срезал свои погоны. Затем сорвал с фуражки кокарду и тоже, как и Степан Петрович, взял свой такой же чемодан. Машинально открыл его, потом так же машинально закрыл, а затем сказал:

— Одевайся! Гимназическая шинель останется здесь. Товарищам. Наденешь этот ватник.

И в комнате казармы остались ненужные теперь вещи. Зеркало. Ремень для правки бритв. Несколько книг на полке. Стаканы и чашки. Две тарелки. И кошка. Она была неизвестно чья, но чаще всего находилась в этой комнате.

Кошка хитро прищурилась, глядя на одевавшегося Герасима Петровича. Прищурилась и мяукнула что-то недоброе. Наверно, все это показалось Маврикию, у которого, как он теперь знал и сам, кое-что было сдвинуто, кое-что недовинчено, а некоторое, наоборот, перевинчено в его голове. И тут удивляться нечего. Герасим Петрович, у которого было все на месте и все довинчено, крикнул кошке:

— Брысь ты, окаянная! Все равно не сбудется твое мярганье.

Кошка получила за недобрые предсказания хороший пинок.

VIII

Герасим Петрович предупредил дорогой Маврикия:

— Мы зайдем к швее, которая обшивала офицеров ГАУ. Белье и все такое. Там я приведу себя в дорожный вид, а ты поговоришь с ее матерью. Очень образованная женщина. Женщина-фельдшер.

Если принять во внимание, что природа, обделив Тол-

лина ростом, не была скаредна во всем остальном, то нетрудно понять, почему Маврикий заподозрил, что эта женщина не шила белья офицерам ГАУ. Белье выдавалось господам офицерам в сшитом, и хорошо сшитом, виде. Не шила она и «все такое». Не было его. Если платки, так они продавались дюжинами.

Швея жила не близко. На Пятой роте. Когда они подошли к дому, навстречу им выбежала молоденькая, прехорошенькая женщина и хотела, как показалось Маврику, выразить свою радость совсем не теми словами, какими она выразила после того, как опередивший ее Герасим Петрович сказал:

— Знакомьтесь. Мой сын. Маврикий.

— Очень приятно... Очень приятно,— зазвенела она тоненьким голосочком. И Маврик услышал в этом звоне, что ей вовсе не приятно, а даже очень неприятно знакомиться с ним.

Они вошли в маленькую уютную квартиру с ковриками, салфеточками, пуфиками, слониками, кошечками, свинками, куколками, пасхальными яичками и венчальными свечами под стеклом в киотах икон в переднем углу.

— Я очень скоро,— сказал Герасим Петрович, проходя в комнаты следом за швеей.

— Сюда, прошу сюда, молодой человек,— пригласила не очень еще старая женщина, видимо мама молоденькой швеи.

Оказавшись на кухне, Маврикий очутился в такой блистательной чистоте, что едва удержался, чтобы не раскрыть от удивления рот. Таких кухонь он не видывал никогда и нигде. Здесь будто был парад мисок, кастрюль, сковород, ножей, поварешек, каких-то неизвестных ему инструментов и всего, что составляет, видимо, радость жизни обитателей этой квартиры.

Не очень старая женщина старалась быть приветливой, но по всему было видно, что ей трудно достается это старание.

— Да, да,— вздыхала она,— такое несчастье. Сначала царя, потом и этих очень приличных господ. Такое несчастье.

Маврику было непонятно, почему для нее-то вдруг оказывается несчастьем свержение царя, а потом свержение правительства Керенского. Но вскоре недоумение рассеялось.

— Я и Наточка шили только богатым и высокопоставленным, а не всякому встречному. А теперь что? — спросила она. Спросила и объяснила: — Сначала свергли высокопоставленных, а вчера полетели и богатые. Как же жить? Кому шить?

Она всячески занимала разговором Маврика, и он теперь, на шестнадцатом году, точно знал, что его отчим пришел сюда не за белошвейным заказом. И все же в незлопамятной душе Маврика находилось оправдание и в этом непростительном случае. Война. Одиночество. А она удивительно хороша собой. Как мотылек. Невысокого роста. И такой голосок. Как флейта. А может быть, лучше сказать — свирель. А может быть, просто пикулька, но пикулька, которая может перепищать оркестр...

— А шили мы,— продолжает Наточкина мама,— и на великих княжон и на княгинь. А однажды... Однажды шили мы самой государыне императрице,— теперь уже явно привирала Наточкина мама, найдя молчаливого слушателя, не смеющего показать, что ему вовсе не интересна эта белошвейная болтовня.

— Ну вот я и готов!

Появившегося в дверях Герасима Петровича было трудно узнать. Он был одет совсем как омутихинский дядя. Только не в лаптях. Сейчас Маврикию бросилась в глаза рыжеватая щетина несколько дней не брившегося отчима.

Он, значит, давно готовился к побегу.

Чемодана при нем не было. Его заменил из грубой ряднины, какую ткут в примильвенских деревнях, большой мешок.

— Прощайте, Наталья Николаевна. Да хранит вас бог за помощь в такую трудную минуту. Маврик, попрощайся с тетей Наташей.

— Всего хорошего,— поклонился Маврикий и заглянул в ее глаза. А в глазах омут. Бездонный, еще не знаемый, но уже манящий... Нет, если не манящий, но поманивший его в эту минуту омут. И очень приятно, она не выше его ростом.

— Можно поцеловать вашего мальчика? — вдруг спросила Наточка.

— Конечно, конечно,— почему-то обрадовался Герасим Петрович.

Маврику тоже было приятно, хотя и не вполне понятно это желание.

Еще раз поблагодарив за выручку в трудную минуту, Герасим Петрович вместе с пасынком отправился на вокзал.

Вторая глава

I

Молчалива да картинна прикамская зима. Не узнаешь и родного леса в новой шубе. Та же ель выглядит не той. И старые избы, крытые поверх бурой соломы алмазными хлопьями, милее для глаза. Они, как и запущенные омутихинские дворы, белым-белы-белехоньки.

Поздней ночью из закамского лесного починка Талый Ключ Сидор Петрович Непрелов вез своего беглого брата. Он и Маврик, измученные бессонной дорогой, поехали из Перми на лошадах до Талого Ключа, где приютил их старик смолокур, доводившийся дальней родней Непреловым. Отсюда Маврикий поехал в Мильву один. С письмом отчима матери. В письме точно указывалось, что нужно и чего нельзя.

О приезде Герасима Петровича нельзя было говорить никому. Даже дочери Ирише. Взболтнет: «А у меня папа приехал» — и конец.

Предусмотрено было все. И какую кошевку запрячь, и какое оружие захватить. Сидор благополучно провез по зимней ночной светлыни надежду и опору рода Непреловых и главу фермы. Через деревню Омутиху тоже решили не ехать, как и через Мильву. Махнули по полям.

Герасим Петрович оброс за эти недели. Мужик мужиком. Ставни в обжитом теперь «енераловом» доме закрыты наглухо. Ни щелочки. Да и кому глядеть.

Бабка с плачем бросилась на грудь сына.

— Герасик ты мой, карасик,— добыла она из давних детских лет никем не знаемые слова, говариваемые ею только младшему сыну, которого она еще в зыбке видела не мужиком, а большим хозяином.

— Ну будет, ну будет, мамаша, зачем это, право,— успокаивал Герасим Петрович.

Потом он поздоровался с остальными. Переоделся в доставленное из Мильвы. Умылся. Бриться не стал. Кто знает, как пойдет дальше.

— Любоньку для тебя завтра привезут. По льду. Вечером,— сообщила повеселевшая бабка.— Днем-то боязно на след навести. Не бывала здесь столько месяцев,— между прочим пожаловалась на сноху,— и вдруг явилась. Всякому в глаза бросится,— показывая этими словами, что она вовсе не жалуется на сноху, а заботится о сохранении тайны.

— Да кому я теперь нужен,— махнул рукой Герасим Петрович, давая понять этим племянникам, что дела обстоят не так серьезно.— Армии больше нет. Есть шайки. Побольше, поменьше... Какие бы они ни были, а я в шайках не служака.— Этим он снова дал понять племянникам, что он, их дядя, скрывается чуть ли не от разбойников.— Я им присяги не давал и никогда не дам,— заключил он косвенное объяснение своего скрытного появления.

Сидора Петровича беспокоил Декрет о земле. Он, умевший только расписываться, заполучил этот Декрет, переписанный волостным писарем.

— В декрете, Герася, говорится о помещичьей земле. А какая земля, Герася, у нас? И кто мы? — спрашивает Сидор Петрович.

Герасим Петрович Непрелов теперь сам не знает, кто он такой. С одной стороны, крестьянин. С другой — военный чиновник с двумя звездочками. С третьей — землевладелец и хозяин фермы. Следовательно — буржуй. Но не Савва Морозов. Не Рябушинский... Но и не мелкий лавочник, торгующий в лавчонке, сдаваемой собором. За таких могут взяться. Могут, но успеют ли?

— Зимой землю не переделаешь под снегом.

— В Мильве все прочие партии не хотят ихней партии передавать власть. Требуют поголовного голосования с восемнадцати годов, кроме девок и баб.

— Сидор,— прерывает брата Герасим Петрович,— в Мильве будет установлена Советская власть. Сегодня, завтра, через неделю... Неважно когда. Дураки покричат, помахают руками, а умные промолчат.

— Неужели ж молчать и глядеть, как переходит к ним власть?!

— Пусть переходит. Пусть они берут ее вместе с нуждой, с дороговизной, с проголодью, с заводами без материалов, без дров, с землей без семян, без бога, которого боялись и слушались мужики... Пусть берут и подавятся, захлебнутся...

Герасим Петрович, не сговариваясь с Турчанино-Турчаковским и тем более с Керенским, говорил то же самое. Какие бы заманчивые идеи ни проповедовали Советы и большевики, коли народу нечего есть, не во что обуться, одеться, он свернет шею самому Христу.

— Вот так, Сидор. Будем терпеть, молчать да кланяться и не соваться до поры до времени в драчку. Понял ли?

— Понял, Герася. Как не понять,—ответил Сидор Петрович, уставившись на рыбный пирог, к которому пока никто еще не притронулся.

Мало хорошего впереди. На мельницу косятся мужики. Не бросить ли собаке кость, пока она не кинулась на тебя? Не отдать ли миру мельницу, сказав, что с ней много хлопот и еще больше убытков?

Волки меняли шкуру.

II

В церковноприходской школе верили Толлину, когда он, рассказывая явные небылицы, придумывал невероятные истории о заблудившейся телеграмме, о маленьких человечках, о собаке, которую научили говорить... А теперь он, ничего не выдумывая, говорил правду, даже несколько ослабляя ее, чтобы не выглядеть героем и не попасть в хвастуны. Вызывал улыбки. Его никто не называл вралем, но по глазам товарищей было так ясно, что ему не верят.

Не верят, что Зимний дворец — это обыкновенный большой дом, окна которого выходят на улицу. Нет, Зимний дворец, оказывается, должен быть замком на горе, и Нева должна преграждать путь к нему. Оказывается, Временное правительство заперлось в главной высоченной башне дворца-замка и било из крепостных пушек.

Надо сказать, что и старые друзья Ильюша с Санчиком верили не всему, что рассказывал им Маврикий. Они не считали своего товарища лгунишкой, но знали, что Толлин не может не преувеличивать. И он не виноват в этом. Такое уж у него воображение.

Да и не тем были заняты их головы. Союз рабочей молодежи снимал комнатуху на окраине Мильвы. А теперь, когда взят Зимний дворец, взяты все дворцы, можно подумать и о «дворце» бывшей пароходницы

Соскиной. Пусть так не называется соскинский особняк, но такое множество комнат не должен занимать Шульгин, купивший за бесценок этот дом с садом. Здесь вполне разместятся комитет и клуб рабочей молодежи.

До Маврикия ли теперь двум юным передовым рабочим, когда Мильва стоит накануне свержения власти соглашателей и прихвостней буржуазии?

Только милая тетя Катя верила каждому слову своего питомца. И он по несколько раз пересказывал ей о виденном в Петрограде, повторяя каждый раз подробности, мелочи, будто боясь, что они могут затеряться в его памяти, которой так много нужно сохранить.

Верил и Всеволод Владимирович Тихомиров всему, что рассказывал его исключительно правдивый ученик Толлин. Слушая его, Всеволод Владимирович думал о своем. Ему теперь показалось вполне своевременным произвести коренные изменения в гимназии, которые должны начаться с изменения названия учебного заведения, что он считал далеко не второстепенным. На совместном заседании учителей, родителей и ученического совета Всеволод Владимирович предложил назвать гимназию средним политехническим училищем.

Кто-то попробовал возразить, не желая терять общепринятое название, но большинство присоединилось к проекту Всеволода Владимировича.

Инженеры завода вызвались помочь станками, инструментами и оборудовать настоящие мастерские при политехническом училище, а приспособляющийся к новым ветрам Турчанино-Турчаковский посоветовал проходить техническое обучение в цехах завода.

— Выдать ученикам настоящие заводские номера,— предлагал он,— сшить настоящую рабочую одежду и, может быть, тем, кто, обучаясь в мастерских, будет производить полезную работу,— платить настоящие деньги.

Это произвело на всех самое хорошее впечатление. Обучаться на заводе. Ходить в рабочих куртках. Даже получать оплату. Что можно придумать лучше.

Из мильвенских хамелеонов Турчаковский был вправду называться способнейшим. Он куда быстрее других приспособлялся к окружающей обстановке. Комитет большевиков все еще ютился в Замильеве, и Турчанино-Турчаковский освободил для него двенадцатикомнатный кирпичный дом на Красной улице. Он так и скажет Кулмину, что комитет победившей партии будет расти и

ему невозможно далее находиться в деревянном домишке, где-то на окраине.

И участие в орабочивании гимназии характеризовало Турчаковского с самой лучшей стороны. Такой отзывчивый человек. Им же было сказано на училищном совете:

— Политехнизм, граждане, это не только ознакомление с промышленностью, но и познание агрономических основ. И так жаль, что вы, Всеволод Владимирович,— обратился к нему Турчаковский,— продали такую прелестную усадьбу с мельницей. Там можно бы создать учебное земледелие, садоводство, огородничество, учебное разведение животных и птицы...

Всеволод Владимирович впервые пожалел свою землю, проданную Непреловым. Но думать сейчас об этом беспочвенно. Да и не маниловщиной ли окажется предлагаемое Турчаковским? Можно ли браться за все сразу? Осуществить бы техническое обучение на заводе. А вдруг возникнут какие-то новые обстоятельства, и Турчаковский любезнейше увильнет, что он делает с изумительным блеском?

III

Но управляющий не увильнул. Назвавшись шефом, он заказал в модельный цех накладные буквы для вывески переименованной гимназии. Приказал выбить учебные номера для входа на завод. В гимназии низвергнута и растоптана ни в чем не повинная старая вывеска. Должно же свержение Временного правительства найти какой-то отклик.

К возвращению Кулемина на фасаде гимназии буквами, куда более крупными, чем на магазинных вывесках, красовалось новое название нового учебного заведения: «МИЛЬВЕНСКОЕ СРЕДНЕЕ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ».

При такой вывеске неудобна стала и гимназическая форма. Многие посрывали с фуражек значки, поотрывали пуговицы.

Кулемина в Мильве ждали с нетерпением. С приходом Артемия Гавриловича должно многое решиться. Он, возможно, разговаривал с Председателем Совета Народных Комиссаров Ульяновым-Лениным. А уж с Прохоровым-то говорил наверняка.

Кулемин приехал вооруженным. С нагапом. Как это понимать? Да никак. Он, оказавшись участником Октябрьских дней в Петрограде, не снимал оружия.

Что-то скажет он теперь? Как поведет себя в Совете состоявшем на три четверти из меньшевиков, эсеров, которые и не собирались сдавать своих позиций? Петроград и Москва — это одно, а Мильва — совсем другое дело.

Наконец собрался Совет. Собрался в большом зале управления завода. На повестке один вопрос: «Доклад депутата Кулемина о последних событиях в Петрограде».

Кулемину было предоставлено слово. Он выглядел и внешне каким-то другим, хотя на нем была та же тулупка, и те же сапоги, и все то же. Не то за ним, не то в нем чувствовались какая-то новая сила и спокойствие. Положим, Кулемин никогда не был крикуном. Он и самые страшные слова произносил ровным голосом. И теперь он свою речь начал так:

— То, что произошло в России и что в этой повестке дня нейтрально и глухо поименовано «Последнее событие в Петрограде», называется рабоче-крестьянской социалистической революцией. То есть такой революцией, которая свергает власть капиталистов, помещиков, банкиров и прочих крупных собственников в лице их правительства, в данном случае насквозь буржуазного правительства Керенского.

Послышались недовольные голоса, а затем предупреждающий звон председательского колокольчика, а за ним председательское:

— Тсс! Дайте информировать...

— Мне, я думаю, не надо повторять о первых ленинских декретах, которые напечатаны в газетах, — продолжал Кулемин. — Но я думаю, что мне следует сказать о нашем заводе. Наш завод, как и всякое другое большое промышленное предприятие, не может быть закрыт без ведома Совета Народных Комиссаров.

В зале раздались немногочисленные, но громкие хлопки.

— Правда это, Гаврилыч? — послышалось из дальнего угла. — Кто тебе сказал это?

— Ленин, — ответил Кулемин. — Ленин, Владимир Ильич Ульянов.

— Неужели беседовал? — опять спросил тот же голос из затемненного угла.

— Да,— не чванясь, ответил Артемий Гаврилович.— Я ведь за этим и ездил по поручению комитета. И поручение выполнил. Мы не только не будем закрывать заводы, не только будем расширять их, но и строить новые.

В дальнем углу захлопали смелее, и хлопки передались депутатам-меньшевикам, сидящим за большим столом, застланным тонким зеленым сукном.

— Вот, пожалуй, и все. Остальное в газетах. Если есть вопросы — пожалуйста.

— А какая теперь будет власть? — спросил председательствующий меньшевик Карасев, плотинный надзиратель.— Какая, товарищ Кулемин?

Кулемин ответил:

— Во-первых, справедливая...

— Что значит справедливая? — спросил тот же Карасев, заметно волнуясь.

И Кулемин снова принялся отвечать не спеша.

— Ну, например, большинство избирателей хотело, чтобы Африкан Тимофеевич Краснобаев назывался председателем Совета депутатов, и он получил самое большое количество голосов. Он избран чуть ли не единогласно. А председателем оказались вы. Это называется несправедливым.

— Ну, если так,— вспыхнул Карасев,— я могу освободить свое место. Садитесь на него, товарищ большевик Краснобаев.

Карасев надеялся, что его начнут уговаривать остаться на председательском месте, а этого не произошло. И уж конечно Карасев не предполагал, что Африкан Краснобаев займет председательское место. А он занял его. Взял колокольчик, позвонил им и попросил внимания, затем обратился ко всем:

— Какие будут еще вопросы?

— Что же делается?

— Что происходит?

— Кому прикажете теперь подчиняться?

— Мы не голосовали за эти декреты!

Начался шум. Один перебивал другого. Наконец докладчик, дождавшись, когда крикуны устанут, обратился к сидящим за столом и поодаль:

— Вы спрашиваете, что делается, что происходит? Происходит, товарищи, передача власти Советам.

Начался снова галдеж. Снова послышался выкрик:

— Кому прикажете теперь подчиняться?

— Власти Советов, провозглашенной съездом, — произнес выслуживающийся Игнатий Краснобаев, приглашая этим согласиться с ним остальных из круга лиц, связанных с ним.

А на улицы Мильвы в этот час вышли отряды Красной гвардии под командой Матушкина, Самовольникова, Киришбаума, Лосева. Они заняли почту, казначейство, разоружили хиленькую и пьяненькую милицию, поставили караулы в проходных завода.

Крикуны смолкли. Пугавшие варфоломеевской ночью стихли. Власть была взята без убитых и раненых.

IV

Ильюша Киришбаум на общем собрании Союза рабочей молодежи, происходившем на дворе, объявил:

— Дальше так, товарищи, нельзя. А что будет, когда начнутся настоящие морозы? Мы должны занять дом паромоводчицы Соскиной, пока его не заняли другие.

Взросшая более чем втрое за несколько дней рабочая молодежная организация готова была отправиться и занять бывший соскинский дом, принадлежащий теперь тоже бывшему нотариусу Шульгину.

Но благоразумные голоса остановили слишком решительную молодежь и посоветовали направить прежде к Шульгину делегацию, а потом, если переговоры с ним не дадут никаких результатов, действовать через Совет.

Избрали тройку: Илью Киришбаума, Санчика Денисова и Матушкина Емельяна Кузьмича. Как шефа.

Виктор Самсонович Шульгин знал, о чем говорилось на дворе дома, где ютился комитет Союза молодежи. Хозяин отличнейшего особняка с двусветным залом, зимним садом нервничал. Он, конечно, понимал, что принадлежащий ему дом не вполне принадлежит ему. Он слишком удачно купил эти хоромы, не заплатив Соскиной и десятой части стоимости. Тогда катастрофически падали бумажные деньги. И высоко ценились золотые. Шульгин уплатил за дом золотом.

И не только это мешало Шульгину называться законным хозяином дома. Законным в том буржуазном понимании права, которое должен был блюсти и скреплять нотариус. Немало противозаконных сделок, обходных путей стоят за теми тысячами, которых не должно

быть у добросовестного провинциального нотариуса. И все это могло всплыть теперь при власти, которая во имя торжества истины не щадит никого.

Ильюша Киршбаум пришел к Шульгину в кожаной тужурке. Ему ушили в плечах отцовскую. В другой одежде, как думал он, нельзя было наносить столь серье-зный визит.

У Санчика не было кожаной тужурки, и он не мог походить на Артемия Гавриловича Кулемина. Зато у Павлика Кулемина была лишняя офицерская папаха из серого каракуля. И Санчик надел ее и тоже ушитую солдатскую шинель.

Начал разговор сам Шульгин:

— Чем могу быть полезен, господин Киршбаум Илья Григорьевич?

Илью это обидело. Зачем же называть его по имени и отчеству? И еще господином. Поэтому он повел разговор не столь мягко, как было задумано.

— У вас пустует так много комнат, Виктор Самсонович. И пустует двухэтажный флигель. А нам... А нам, комитету Союза рабочей молодежи, негде проводить собрания.

— И что же? — спросил, заметно багровея, Шульгин.

— Может быть, вы уступите или сдадите комнаты, в которых вы не живете?

— Я не живу в них, потому что мне, при данных порядках, или, говоря прямее, беспорядках, нечем отоплять.

— А мы найдем отопление,— вставил свое слово Санчик Денисов и поправил сползающую на глаза папаху.

— Если вы считаете, что можно врываться в чужой дом, тогда врывайтесь. Вам ничего не стоит сломать двери. Они не так прочно заперты. И располагайтесь. А я сам своими руками не отдам то, что принадлежит мне.

На это Ильюша, продолжая вместе с Санчиком стоять у порога передней, сказал:

— Нам никто не поручал занимать, ломать и тем более врываться. Если бы нам поручили так поступить, мы не стояли бы у порога. Решения по вашему дому нет. И мы просто-напросто, боясь, что его займут другие, решили опередить...

В это время вошел Емельян Кузьмич Матушкин и сказал:

— С морозцем, Виктор Самсонович. Здравствуйте! Как изволите поживать?

— Благодарю вас, Емельян Кузьмич. Прошу!

Шульгин не мог не провести в комнаты почтеннейшего в Мильве мастера и знатного большевика.

Разговор продолжился в малой гостиной. Эта малая гостиная могла уместить две-три средних мильвенских квартиры. Поэтому Илья Кишбаум еле справился со своим ртом, чтобы не дать ему открыться от удивления. А Санчик бывал в этих хоромах, когда его мать стирала на Соскину. И он уже прикидывал, где и что можно расположить.

Матушкину тоже не приходилось бывать в роскошных апартаментах пароходчицы, которые и его поразили своим великолепием.

— Так как вы порешили, Виктор Самсонович?

— Вы, простите, о чем, Емельян Кузьмич?

— О доме. Об обоюдной договоренности.

— Послушайте, Емельян Кузьмич, неужели и вы вместе с этими мальчиками допускаете, что я раскрою залы и скажу: «Милости прошу, молодые люди, располагайтесь».

На это Матушкин, ничуть не иронизируя, ответил:

— Я именно так и думал. Потому что я всегда видел в вас разумника и не допускал, что мне, человеку, куда менее образованному по сравнению с вами, придется объяснять, почему не могут пустовать эти громадные палаты, когда такая нужда в помещениях.

— Но ведь нет же еще такого декрета или хотя бы постановления. Собственность на дома, насколько я понимаю, не упраздняется.

— Виктор Самсонович, вы все понимаете. Дом дому рознь. Я хотел вам предоставить возможность подарить свой дворец молодежи, не дожидаясь, когда...

— Когда что?

— Ну что вы, право, Виктор Самсонович... Мы столько лет с вами знакомы. Неужели вы в самом деле считаете нормальным, когда два человека занимают в общей сложности около полдесятины жилой площади... Неужели вы думаете, что окружающие останутся равнодушны к такому чудовищному неравноправию в смысле жилья.

— Не-ет! — закричал и затопал Шульгин. — Этому не бывать!

— Тогда примите самые лучшие пожелания, — сказал, подымаясь, Матушкин. — Я подсказывал вам разумнейшее, желая помочь вам... А теперь как вам угодно...

Матушкин и Санчик с Ильюшей направились в переднюю. Снова раздался крик:

— Остановитесь! Извольте! Я согласен! — отчеканил Шульгин. — Я нахожу правильным подарить мой дом рабочей молодежи.

Илья, Санчик и Емельян Кузьмич вернулись на свои места в малую гостиную. Разговор продолжился. Шульгин, кусая губы, сказал, что ему не хотелось бы переезжать во флигель, чтобы не видеть отданный дом.

Матушкин это понял и сочувственно сказал:

— Вам лучше всего переехать в хорошую квартиру на бывшую Баринovu набережную. Я помогу...

Слова не разошлись с делом. Любезнейший Турчанино-Турчаковский предоставил казенную квартиру щедрому Виктору Самсоновичу, подарившему свой громадный дом с садом и флигелем рабочей молодежи. Турчанино-Турчаковский и Шульгин, не говоря друг с другом, понимали, что такой маневр необходим. Пройдет не так много времени, и Советская власть сгинет так же неожиданно, как неожиданно она появилась.

А молодежь тем временем обживала новый дом. Это были счастливые дни для множества подручных, нагревательщиков заклепок, рассыльных, учеников токарей, для молодых рабочих, которым впервые и по-настоящему, не на словах, открылось все.

Особенно счастливы были Ильюша и Санчик. Они гладили стены, протирали ручки, любовались хрусталем люстр, затейливостью резьбы потолков и всем, что составляло теперь Дворец молодежи. Домом как-то не хотелось называть такое чудо, созданное руками каменщиков, лепщиков, резчиков, столяров, мраморщиков, чеканщиков, мастеров росписи...

Пришел в этот дом и Маврикий Толлин. Он тоже никогда не бывал здесь, и ему хотелось посмотреть, как жила Соскина, а потом Шульгин.

В большом зале, оборудуемом под зал заседаний, Маврикий встретил Ильюшу.

— Ну как, — спросил тот, — ловко мы его выкурили?

Маврикий сначала не хотел отвечать, а потом сказал:

— Вообще-то дворцы должны принадлежать всем людям. Но делать нужно как-то не так...

— А как?

— Не захватывать... Не принуждать дарить...

Илья на это сказал довольно прямо и довольно обидно:

— Ты, Мавр, много видел в Петрограде, да мало понял. Ты, видимо, и ленинские речи слушал одним ухом, а другим кого-то другого...

Маврикий промолчал. Он не хотел ссориться с Ильёй, хотя и понимал, что сказанное им не просто слова, а начало размолвки. И немалой размолвки.

V

С наступлением зимы в Мильве всегда становилось тише. Глубокие снега как бы отдаляли ее от больших городов и заглушали все, что происходило в огромной kloкочущей стране.

Где-то далеко на Дону поднялся Каледин. Тоже не так близко, на Южном Урале, под Оренбургом, начал шуметь казачий атаман Дутов. На борьбу с белыми из Мильвы уезжали добровольцы.

Жилось трудно. Дни были заполнены хлопотами о щах да каше. О возе дров. Сменять, продать, купить, как никогда, стало всеобщей необходимостью. Толчок, или толкучий рынок, был теперь тесным, большим и ежедневным.

Здесь, на рынке, обнажалось все, что еще недавно прикрывалось. Никому не стыдно стало появляться там, где раньше бывали только старьевщики, «шурум-бурум-щики» да босяки-«зимогоры» и женщины, которым никто не подавал руки.

Толчок стал теперь и главной ареной свежих слухов. И некоторые сюда ходили не столько продать или купить, сколько узнать, что происходит там, за глубокими снегами. Главным поставщиком новостей был теперь новый вид торговца-спекулянта, товар которого умещался в заплечном мешке или в небольшом ящике с полозьями. Где подвезут такой ящик, где сам катишь. В таких ящиках умещается немало емкого и дорогого товара. Папиросы. Махорка. Сахар. Чай. Леденцы. Нитки. Перец... Что попадет, то и перекупает спекулянт на мелочах. Немало таких оказалось теперь. Из завод-

ских мелких служащих, из рабочих, которых не кормит работа.

Как никогда, много появилось рыбаков-удильщиков на пруду и его заливах. Там и при малом улове выручишь на рыбе больше, чем заработаешь в заводе.

Деньги значили все меньше и меньше. Деньгами становились продукты, товары, вещи. Есть у тебя пачка стеариновых свечей, ты всегда можешь купить на нее необходимое. А если у тебя табак, махорка, папиросы — ты главный покупатель на толчке. Ну, а если у тебя масло, настоящее коровье масло, ты можешь не беспокоиться за свою жизнь. Перебьешься. И те, у кого в Мильве были свои коровы, перебивались. Но, перебываясь, они не могли продать и фунта масла на сторону. Северные коровы не столь молоконосны. И тем, кто не держал своей коровы, а таких теперь было множество, приходилось очень трудно. Деревня придерживала молочные продукты. Зимой хранить масло нетрудно. Весной оно будет в другой цене.

Сидор Петрович Непрелов рассуждал так же. Масло у него хранилось в небольших бочатах. Припорошенные снегом в холодном амбаре, масляные запасы, дорожая с каждым днем, сулили большие доходы.

Герасим Петрович Непрелов не касался масла. И вообще якобы ему не было дела до старшего брата. Младший старшему не указ. Он даже в чем-то осуждал его для видимости при людях.

— Много ли нужно человеку? — повторял он в миллионный раз ветшайшую из пошлостей.

VI

Доктор Комаров, обследуя Герасима Петровича, установил, что он страдает множеством недугов. От язвы желудка до коварной болезни печени. И ко всему этому истощение нервной системы, не позволяющее Герасиму Петровичу служить в армии.

Масло действовало куда сильнее денег. Пусть бочку масла не мог съесть бездетный Николай Никодимович Комаров, но масляные излишки можно было превратить во что угодно.

Второй бочонок масла помог установить, что, ненавидя Керенского и его режим, Герасим Петрович бежал

от этого режима, не зная, что через несколько дней прозвучит на весь мир выстрел «Авроры».

Склоняющийся сейчас к сочувствию большевикам, доктор Комаров убедил третьих лиц, что масло в рационе стола имеет множество преимуществ, обеспечив Непрелова остальными документами, переводящими его в разряд негодных к мобилизации.

Масло спасло доху и штучное «петровское» ружье с гравировкой и золотыми насечками.

Молчаливый, улыбчивый и любезный Герасим Петрович теперь работал в казначействе. Он занял место одного из чиновников, участвовавших в саботаже. Это был смешной, очень провинциальный и самый непродолжительный саботаж.

Тихие и в общем-то несчастные чиновники казначейства, и в прежние годы перебивавшиеся с редьки на квас, от жалованья до жалованья, вдруг вообразили себя незаменимыми специалистами в области финансов. Услыхав краем уха о саботаже чиновников в Питере, они решили обратить на себя внимание. И в одно прекрасное утро эти господа, сидящие в казначействе за сеткой, не открыли окошечек, через которые производятся денежные операции. На недоуменные вопросы явившихся в казначейство чиновники не захотели отвечать, сидя отделенными от клиентов проволоочной перегородкой в небрежных позах. Некоторые, щеголяя перед своими коллегами, положили ноги на стол. На раскрытые конторские книги.

Узнав об этом, управляющий заводом Турчаковский позвонил Кулемину. Теперь он имел дело только с комитетом большевиков и принимал на ответственные должности завода или устранял от оных только по согласованию с Артемием Гавриловичем или с Емельяном Кузьмичом Матушкиным. С кем же еще, когда Ленин на вопрос сомневающихся, что в России нет такой партии, которая может взять власть в свои руки, ясно ответил: «Есть такая партия». А если это так, то кому же звонить, как не дальновиднейшему Артемию Гавриловичу Кулемину.

Кулемин поблагодарил Турчаковского и послал в казначейство Терентия Николаевича Лосева привести в чувство чиновников.

Лосев вошел в главный зал казначейства с метлой, подвернувшейся ему под руку при входе в казначейство.

Старик не искал в мстле никаких аллегорий, ему нужно было что-то держать в руках. Не винтовку же. Не с оружием же приходиться в банк.

— Вот что, почтенные,— обратился он к сидящим за сеткой,— которым нежелательно служить народу, то прошу к...— Тут он, пользуясь тем, что чиновниками казначейства были только мужчины, сказал, куда именно он их просит убираться, затем предупредил: — А обратного же ходу сюда не будет никому. Выход отперт.— Он указал метлой на открытую дверь.

Нашлись двое. Место одного-то из них занял Герасим Петрович.

Занято было и второе место. Тоже человеком из военных, и тоже нестроевым и не опасным, служившим чуть ли не картографом. То есть тем, кто составляет военные карты. Высокий, сухощавый, видимо, от природы, а не от недоедания. На редкость приятный, располагающий к себе. Вдов. Жена убита немцами под Варшавой. И такая знакомая всем букварная фамилия Вахтеров, Геннадий Павлович Вахтеров.

О нем когда-то нужно будет рассказать более подробно. Может быть, это уместнее сделать сейчас, пока в Мильве сравнительно тихо течет жизнь.

VII

Про Вахтерова было известно в Мильве, что после гибели семьи он решил воспользоваться гостеприимством жены убитого друга и ее сестер. И он поселился в доме старого барина-филантропа, прозванного «Золотая милостынька».

Дом и парк тронутого Изана Степановича был окружен тайнами. Туда после смерти жены он никого не пускал, чтобы не спугнуть ее тень, бродившую по аллеям.

После кончины «Золотой милостыньки» дочери совершенно серьезно утверждали, что с наступлением темноты по парку бродили отец и мать. Поэтому мильвенцы старались не ходить мимо тюринского дома.

С годами парк зарос, потемнел, стал пристанищем сов и ежей. Дочерям было не до парка. Старшая вышла замуж за кадрового офицера. Его убили в первые месяцы войны. Овдовевшая Ольга вернулась в Мильву. Вторая, Надежда, стала женой пленного чеха Миро-

слава Томашека и матерью двух сыновей. Младшая, Галина, была долго влюблена в Валерия Всеволодовича Тихомирова. А потом, узнав, что его сердце принадлежит Елене Матушкиной, пыталась уйти из жизни, но все же предпочла жить. И не раскаивается.

Приехавший к Тюриным друг мужа старшей сестры Ольги оживил дом. Галина была уже в том возрасте, когда девичество тяготит и торопит расстаться с ним. Пусть Геннадию Павловичу Вахтерову за тридцать, но еще нет сорока. Хорошо образованному Вахтерову не дали засидеться в казначействе. Его вскоре после приезда пригласили преподавать историю в политехническом училище. Зачем же откладывать и чего ждать? В доме Тюриных была отпразднована тихая свадьба. Даже две. Средняя сестра, Надежда, скрывала свои отношения с белокурым кудреватым музыкантом Мирославом Томашеком. Что там ни говори, а пленный офицер в общественном мнении Мильвы числился человеком из стана врагов. И назваться женой такого было довольно рискованно. Дело не в боязни за вымазанные ворота. Их вымазали сразу же, когда музыкант Томашек стал появляться со своим оркестром в тюринском доме. Могли оскорбить действием. Ударить на улице. От вдов-солдаток можно было ожидать и не этого. У них лежали на поле брани мужья, в которых стреляли солдаты Франца-Иосифа. И вдруг один из них, изволите ли видеть, оказался под крылышком русской барышни... Как не обратить на это внимания?

Ну а теперь, после революции, после братания, уже не страшно было назваться женой Мирослава Томашека. Чеха. Славянина. Узурпированного императором Францем-Иосифом вместе с чехословацким народом. Мирослав Томашек даже пользовался симпатиями. И уж, во всяком случае, в Мильве любили слушать созданный им оркестр и сочиняемые им вальсы, марши, галопы.

Оркестр Томашека объединил до ста человек чехов и словаков. Тем, кто не был способен играть на каком-либо музыкальном инструменте из основных, Томашек давал барабан, тарелки и даже палку, натертую каппифолью. Она издавала низкие звуки, если ею водить по указательному пальцу руки, положенному на стол.

Мильвенцы привыкли к оркестру Томашека, и как-то не хотелось думать, что слух услаждают пленные сол-

даты, у которых есть родина, семьи, профессии. И как-то никому не приходило в голову, что наступит такое время, когда оркестру надоеет быть оркестром. И люди захотят стать снова теми, кем они были до войны. Об этом, кажется, не задумывалась и счастливая Надежда Ивановна Томашек-Тюрина, ставшая недавно матерью белокурого, очень похожего на отца мальчика. И не она одна, но и другие мильвенские женщины, связавшие свою жизнь с пленными, тоже не задумывались, о неизбежных развязках. Да и что думать о них, пока зима, пока глухое белое безмолвие...

VIII

С приходом в бывшую гимназию, ныне политехническое училище, Геннадия Павловича Вахтерова появились еще два новых преподавателя. Это Мирослав Томашек, владеющий в совершенстве немецким языком и любезно согласившийся преподавать его, и взявший на себя русский язык и литературу Алякринский. Тот самый болтун из учебного округа Алякринский, который произносил высокопарные речи во время гимназической забастовки. Оставшись не у дел, он прибыл с Нинель Шульгиной в дом ее отца, Шульгина, тоже оказавшегося не у дел, Вахтеров стал преподавать историю по новейшему курсу без царей и учебников.

Три новых преподавателя очень скоро расположили к себе своих учеников. Оказавшись с ними, что называется, на дружеской ноге, но не опускаясь до них, они влюбляли в себя юные души, тянувшиеся к отзывчивым наставникам. К наставникам, у которых можно было спросить обо всем, доверить тайны и не оказаться в неловком положении.

Особое впечатление производил на старшеклассников Вахтеров. Его почему-то прозвали «лишним человеком». Или он так вел себя. Или кому-то на язык пришли эти слова, понравившиеся остальным. Только многим хотелось подражать Геннадию Павловичу Вахтерову. Он был скромен в одежде. Глухой китель. Узкие брюки. Простые башмаки. Всегда чисто выбрит. Всегда ровен в обращении со всеми. Как старшими, так и младшими. Немногословен, но красноречив. Экономен и точен в выражениях. Учтив с каждым и ни с кем особенно. Равнодушный к политическим течениям,

он в самом деле казался каким-то «лишним человеком». Приглядываясь к нему, Толлин находил его милым и приятным во всех отношениях. Был только один малюсенький недостаток, который можно было бы и не замечать... У Вахтерова мелкими чешуйками шелушилась кожа, и его лицо казалось припорошенным пудрой. Говорят, что это было у него на нервной почве. А в остальном, не считая этой мелочи, не имеющей никакого отношения к внутренним качествам Геннадия Павловича, он был близок к тому идеалу мужчины, какой рисовался Маврикию. И ничего не было удивительного в том, что Вахтеров Толлину вскоре стал почти таким же близким, как Валерий Всеволодович. И самое приятное в Вахтерове было то, что он никогда не поучал, не навязывал своих взглядов. Он, рассказывая о чем-либо, оставался посторонним человеком. Он всегда давал объективно-фотографическое отображение чего-либо, не привнося своих красок, линий, теней...

И это было чрезвычайно дорого Маврикию. Особенно ценил он высокое отношение Вахтерова к Ленину, чуть ли не преклонение перед ним. Он считал Владимира Ильича величайшим человеком современности. Так же думал и Маврикий.

— Ленинское учение,— говорил на уроках преподаватель истории,— вобрало и преобразовало все лучшее, что было на земле.— И ученики, затаив дыхание, слушали Вахтерова. А он, будто разговаривая сам с собой, приглашал их рассуждать так же с самими собой.— Иногда мне кажется, что Ленин так грандиозен, так громаден, что это мешает ему видеть, что делается его именем на земле. И делается иногда такое, чего бы не допустил он.

Тут каждый из учеников вспоминает свое. Мерцаев думает о доме Шульгина, который заставили его добровольно подарить рабочей молодежи. Так могут и его отца заставить подарить свою аптеку. Юрий Вишневецкий думает о своем отце приставе. Если говорят об отмене сословий, если его превосходительство Турчанинов-Турчаковский сотрудничает с большевиками, почему же его отец, всего лишь его благородие, вынужден скитаться, опасаясь лишней раз попадаться на глаза?

Думают и остальные, и всякий свое. Тощенький Сухариков тоже думает о своем отце и его сельской лавке, кормившей всю семью Сухариковых. Легко ли ему петь

с товарищами: «Мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем»? А кто станет всем? Исключенный из гимназии Илья Киришбаум и его подручный Сашка Денисов вместе с их оравой? А кем будет он, Сухариков, и его товарищи, бывшие гимназисты?

Тут есть над чем задуматься некоторым молодым людям, теряющим опору в жизни.

А Вахтеров между тем овладевает умами своих учеников, проповедуя помощь солдаткам, красноармейкам, вдовам, старухам. И творится неслыханное...

Учитель истории, по старым нормам — барин, ведет в лес своих учеников. Отряды-классы с топорами и пилами валят деревья, распиливают их на дрова, а потом доставляют по списку в те рабочие дома, где нет мужчины-работника.

Союз учащихся становится уважаемым союзом в Мильве. Объединившиеся в нем не говорят, а делают. Молча, как скауты.

— Почему нам не брать лучшее и от скаутов? — спрашивает своих учеников Вахтеров. — Разве помощь человека человеку унизила когда-нибудь кого-нибудь из людей? Разве образованной девушке постыдно взять на себя часть черной работы многодетной, оставшейся без кормильца матери?

И происходит чудо. Чопорные барышни, все еще числящиеся в гимназистках, отдают два-три часа ежедневно солдаткам и вдовам. Нянчатся с их детьми, помогают по хозяйству, домовничают. И это делают даже такие, как Лера Тихомирова.

Оказалось, и бывшим гимназистам не зазорно наколоть дрова, натаскать из колодца воду, вычистить в коровнике.

В Союзе рабочей молодежи не знали, как следует отнестись к подобного рода активности бывших гимназистов и гимназисток. С одной стороны, ничего плохого они не делают, а с другой — есть что-то припахивающее чем-то барским. Пошли в партийный комитет к Емельяну Матушкину. И он сказал:

— Это ни больше ни меньше — как запоздалое хождение в народ. Поиграют в добрые дела — и бросят.

Матушкин не сказал, что в этой «народнической» игре есть некие намерения стать над Союзом рабочей молодежи. Потому что Матушкину пока не хотелось сталкивать два молодежных союза.

Пусть «народничают» пока. Потом видно будет.

А Геннадия Павловичу Вахтерову теперь кланяются и незнакомые ему люди. И он смущенно, не ища будто бы популярности, краснея, отвечает на поклоны.

IX

Как мог такого человека не полюбить Толлин и его новый товарищ Виктор Гоголев? Каждый из учеников взял на себя двор, а Маврикий и Виктор обслуживают по два двора. И жизнь их от этого становится полнее, интереснее, осмысленнее. Не хватает времени, дня. Молодые люди видят, что их руки нужны, полезны. От этого на душе становится радостнее, светлее.

Геннадий Павлович Вахтеров предостерегает, чтобы добрые дела не были движимы тщеславием, хвастливой буржуазной благотворительностью. Н-на, мол, посмотри, мол, какой я добродетельный человек. И особенно такая филантропия оскорбительна, когда она касается близкого товарища. А товарищам по классу, по училищу тоже нужно помогать. И гуманнейший Геннадий Павлович сказал, что не так-то уж трудно помогать брату своему, чтобы он этого не знал. Чтобы об этом забыл и сам помогающий и уж конечно не знал никто другой, даже родители. Принесла незнаемая Синяя птица в своем клюве деньги, положила их в ранец нуждающегося товарища и улетела в страну по имени Неизвестность.

— Мне иногда хочется поцеловать вашу руку, — признался Маврикий в любви Вахтерову.

— Ты бы обидел этим меня, Толлин. Лучше пусть твои руки будут стоять тысячи поцелуев и об этом никто не будет знать. Это и станет твоим выражением добрых чувств к своему учителю.

Многие из нуждающихся учеников стали находить в своих школьных сумках, в карманах пальто деньги, вещи со значками, изображающими летящую Синюю птицу.

Толлин понимал, что помогать нужно всем, вне зависимости от личных отношений. И Юрка Вишневецкий обнаружил в своем кармане деньги в конверте с Синей птицей. Белье и три аршина сукна получил ненавистный Маврикий Сухариков. Что делать? Маврикий должен помогать не по своим симпатиям, а по нужде. У Юрки

отец влачит жалкое существование в какой-то охотничьей артели. А у Сухариковых больше нет лавки, и его отец вынужден перепродавать чужое на комиссионных началах.

Маврикий выпрашивал у тетки, у матери ненужные вещи и дарил их с этикетками, на которых синим карандашом изображалась летящая птица.

В Мильве чуть ли не все знали об удивительном учителе истории и даже поговаривали, не он ли составил знаменитый вахтеровский букварь. Во многие дома залетела Синяя птица то подарком малышу, то принесенной ночью рождественской елкой, переброшенной через забор, то хорошим платком вдове, то фунтиком сахару старухе бобылке.

И чем больше находился в тени Вахтеров, тем больше росла о нем слава.

Вахтеров не противопоставлял Союз учащейся молодежи, иногда называвшийся Союзом синих птиц, Союзу рабочей молодежи, он не сравнивал тот и другой, а их, несмотря на это, сравнивали. В одном союзе, обставленном в доме Шульгина, ставшем Дворцом молодежи, произносились речи, пелись песни, обучались танцам, а здесь учащиеся огребали снег во вдовьих дворах, носили воду, топили печи, гимназистки доили коров, баюкали младенцев, не чурались самой черной работы, делая ее скрытно, не напоказ. Так учил Вахтеров.

Эмблема Синей птицы появилась на шляпах бывших гимназисток вместо значка, иногда ее, вырезанную лобзиком из фанеры и покрашенную синей эмалью, прикалывали к ученическим фартукам.

Носил эмблему Синей птицы и Маврикий. На фуражке вместо значка. По этому поводу Ильюша Киришаум сказал:

— Не завлекла бы тебя в дебри эта птица да не погубила бы там. Бросил бы ты эту буржуазную благотворительность...

— Не просвещал бы ты меня, Иль...

— А кто тебя будет просвещать, мелкая буржуазия? — задиристо спросил Ильюша. — Кто должен весги за собой молодежь, как не мы?

— Ну, знаешь, — раздраженно возразил Маврикий. — Не тебе водить нас. Не тебе диктовать, ты ведь тоже не пролетарий, а сын кустаря-штемпельщика, имевшего свою фирму.

— Как тебе не стыдно, Мавр? — возвысил голос Ильюша. — Ведь ты же знаешь, что мой отец был подпольщиком и его штемпельная мастерская была широкой подпольной типографией. Но я не злопамятен. И если что, я всегда протяну тебе руку помощи...

— Я знаю, Иль. Но думаю, скорее тебе придется воспользоваться помощью моей руки, — ответил Маврикий и запел:

Мы дружной вереницей
Идем за Синей птицей...

Вахтеров, проповедуя мир, сеял раздоры. Дошло до того, что две молодежные организации Мильвы стали врагами. Были случаи стычек. Об этом знал Кулемин и остальные в комитете. Но вмешаться активно, закрыть Союз учащейся молодежи, запретить носить значок «Синяя птица» было невозможно. Это значило бы уронить себя в глазах многих мильвенцев.

Полюбив Геннадия Павловича, Толлин стал бывать в доме Тюриных, где вскоре оказался своим человеком.

В дом Тюриных Маврикий приходил обычно днем, в праздничные дни. Он там почти не бывал по вечерам, потому что там появлялся его отчим, как знакомый Вахтерова по казначейству и как отличный преферансист. За картами проводили время и другие мастера этой игры. Например, Игнатий Краснобаев. Захаживал сюда и провизор Аверкий Трофимович Мерцаев. Разумеется, Алякринский со своей Нинель были обязательными шумными посетителями Тюриных. Карты, музыка, стряпня помогали этому дому быть нескучным, отрезанным от жизни островком.

Х

Новое все время оповещало о себе. Отменялись старые суды и возникали народные. Избираемые Советами. Уничтожались сословия, чины, звания, титулы. Устанавливалось гражданское равноправие.

Множество пересудов вызвало отделение церкви от государства и вместе с этим провозглашение свободы верований. Отец Петр, недавний законоучитель земской школы, выступил с проповедью, в которой провозглашал учение Христа социалистическим, и на этом основании

во всеуслышание молился о Советской власти и даровании ей победы над всеми посягающими на нее.

Отца Петра хотели расстричь. Протоиерей Калужников предложил ему оставить приход, но молящиеся, обожавшие своего на редкость демократичного попа, отправились к дому протоиерея с требованиями не трогать отца Петра.

Рухнули облигации военных займов. Купца Чуракова в этот день вынули из петли. Опять событие.

С приближением весны братья Непреловы чувствовали, что их земли, их ферму с мельницей, прудом, лесными угодьями отберут. Отберут и разделят омутихинские мужики и заставят Сидора вернуться в прежнюю избу. Не оставят же ему старый барский дом Тихомировых.

А солнышко жарче и жарче. Нет надежд, что до весны что-то изменится. Напротив, большевики пока набирают силы. Тут и там возникают партийные ячейки.

Совет добился переименования поселка Мильвы в город. Городской комитет большевиков переехал в большой дом, отремонтированный за счет завода Турчанино-Турчаковского.

Штемпельщик Кишбаум расширил типографию, принадлежавшую Халдееву, и редактирует газету «Рабочая Мильва». Газета многое разъясняет и ослабляет трудности, недовольство и помогает людям бороться с лишениями.

Мало надежд у Непреловых на лучшее. Готовясь к худшему, нужно кое-что продать, спрятать, чтобы не доставалось другим, если в самом деле начнут отбирать и делить землю.

Как жалко пруд, где до пятидесяти пар уток выводят утят. А чищенный лес, где по пояс растут травы, от которых коровы набавляют удои. А теплые помещения для коров с наклонным полом и желобом для стока. Ради чего они строились? Неужели ради того, чтобы голытьба растащила их по бревну?

А завод? На полном ходу молочный завод. Два больших сепаратора. Ледник для сливок. Бочки для сбивания масла. И какие бочки! А всякая прочая нужная снасть...

Сидору Петровичу хочется грохнуться на землю и завывать на всю округу, чтобы волкам и тем стало жалко его, вложившего всю душу, все силы в эту еще не став-

шую на твердые ноги молочную, а впоследствии, может, и сыроваренную ферму. На что также прикармливается пленный австриец-сыродел и учит сыновей Сидора Петровича варить сыры на разный вкус.

И всему этому — аминь!

XI

Веселая душа Васильевна Кумыниха не унывала бы, наверно, и повстречавшись со своей смертью. Наверно бы, развеселив старую каргу, она уговорила бы ее повременить с уводом на тот свет бабушки, у которой столько внучек, еще не выданных замуж. А то, что всего вернее, — поднесла своей бы смертоньке ковш стоялого меда, и та — ни тпру ни ну. В голове светло, а ноги — по сто пудов каждая.

Смеется Васильевна, довольная собой, своим добрым смешком и принимается опять рассказывать, что приходит ей на ум, касаясь самых неожиданных сторон жизни, говоря не столько от своего имени, сколько обобщая слышанное и переплавляя его в свои слова.

И о чем бы она ни рассуждала в этот день, как бы далеко ни уходила в своих обзорах, она возвращалась все к той же масленице:

— И никуда ты не денешься от нее, Любонька. У нас в Мильве три главных просвета в году: рождество, масленица и пасха. Малые просветы не в счет. Рождество пынче так себе было. Ну а на масленице, я думаю, наверстает народ. Кто знает — останутся лошади или нет. Яков смотнуть свою хочет. Боятся, сожрет с головой она его. Да и другие лошадаики тоже от себя кусок урывают, коня кормят. А конь перестал кормить хозяина. Кого куда возить? Пешком и то начетисто стало нынче ходить. Обутки кусаются. А на лошади вовсе разор. Думаю, что Яков на масленой покатает своих девок навалом в розвальнях. Да сам прокатится со своей царицей-перепелицей и на конный базар Буланиху сведет. Мужики теперь по хорошей цене будут брать коней. Прибавка земли им выйдет. Сказывают, заводские покосы будут отбирать. Тогда вовсе лазаря запевай. Форменная труба, — вздыхает Васильевна. — Неужли Ленин, такой лобастый комиссар, не знает, что без покосу нашему брату — конец. Не только без лошадей останемся, а без кормилиц-коровушек. Тут-то уж всем хором-миром собором «Со святыми упокой» запевать

можно. А пока да что — масленицу надо справлять... И-их ты, ехидная жизни! Веселая масленица!..

Сказала так Васильевна, и от ее слов в эту минуту, как показалось Маврикию, сидевшему за перегородкой, началась в Мильве масленица.

Пришли так давно не заходившие Ильюша и Санчик.

— Мавр! Масленица началась!

— Пошли,— приглашает вслед за Ильюшей Санчик.— Мы с лотком.

Наверно, с тем длинным лотком, на котором они катались втроем не одну масленицу. Удобный этот лоток. Не мелкий и не глубокий. С хорошо заостренным носом и красивой закругленной кормой. Подмазывали друзья свой лоток не парным коровяком, как все, а золой, разведенной водой. Хорошо держится красивая сероватая поверхность подмазки. Застынет подмазка, как зеркало, и мчишь от Мертвой горы через всю Мильву к пруду.

Казалось, что все это минуло и кончилось в семнадцатом году. Оказывается, нет. Идет тысяча девятьсот восемнадцатый. А масленичное катанье от них не ушло. О, как оно прекрасно! Как можно забыть его? Знаете ли вы, что такое мильвенская катушка?

Мильвенская катушка — это желоб уличной конной дороги. Желоб чистится от навоза, подметается, а иногда и поливается. По нему-то и бегут подмазанные скользкие лотки. Катушка начинается где-то в концах улицы, на горе, а заканчивается выездом на пруд.

Милое кончившееся детство, ты опять, улыбнувшись, свистишь в ушах масленичным, потеплевшим ветром. Три друга, вы опять мчитесь на одном лотке по длинному желобу уличной дороги, минуя квартал за кварталом, не успевая разглядеть встречных. А лоток все быстрее и быстрее летит к самому крутому уклону берега пруда, как в пропасть.

Мильва, родная, милая, только за этот миг тебя нельзя никогда разлюбить и уж, конечно, невозможно забыть.

Друзья в этом году катаются не только с горы. К их услугам пара лошадей. Пара — это почти тройка. Братья Непреловы пришли к твердому заключению расстаться со всем, что можно продать. И, продавая, перегнать в то, что не падает или падает не столь много в цене. Это золото. Золото не в монетах, а в изделиях. И серебро тоже не так много занимает места.

Лошади, которые были даны Маврикию, тоже готовились покинуть Омутиху. Почему же напоследок не дать потешиться ими пасынку. Да и нужно незаметно заглаживать нанесенные ему обиды. Теперь такое время, что необходимо держать хвост по ветру, глядеть в оба, слушать в десять ушей и как можно меньше говорить.

Звенят колокольцы, подзвывают бубенчики, развеваются ленты, вплетенные в конские гривы. Маврикий на облучке, в кошевке Ильюша и Санчик, Фанечка Киршбаум и Сонечка Краснобаева. Они в одинаковых шубках, отороченных заячьим мехом. Дешевле и не бывает отделки в этом краю, где заяц сам лезет в петлю или бежит на ружье. Зато как нежно обрамляет белый мех их личики.

И что за тайна девичье лицо. Видишь его год, второй, третий... Оно тебе известно давным-давно, с первого класса, и вдруг случается, что оно, оставаясь таким же, поражает тебя. Что стало с личиком Сонечки Краснобаевой? Почему оно так необыкновенно прелестно? Прелестно до головокружения. Может быть, оттого, что разрумянились ее щечки? А может быть, посеребренные морозцем кончики ресниц делают его не простым, а фарфоровым лицом феи из книжки-сказки «Спящая красавица»? А вдруг да луна, которая мертвит одни лица и оживляет другие, так изменила Сонечкино личико?

— Эге-гей, лошади! — кричит Маврикий, намахивая концом вожжей. — Дайте ходу пароходу!

А лошади и без того как на крыльях. Что им легкая кошевка, скользящая полозьями по укатанной дороге!

— Маврикий, безумец, — предупреждает Сонечка, — тише! Ты сумасшедший ямщик. Пожалей лошадей! — Потом, обращаясь к Фанечке, она, жалуясь, пожимает плечиками: — Я, право, не знаю, что мне с ним делать.

Фанечка Киршбаум все понимает. Она уже взрослая девушка. Ей так ясно, что влюбленная Сонечка хочет показать, что они не просто знакомы с Толлиным, но и близки и что ей, Сонечке, нелегко приходится с этим бесшабашным человеком.

ХII

Балов-маскарадов, агитмаскарадов и просто маскарадов было очень много. Люди будто на самом деле боялись, что такой масленицы уже не будет, и праздновали «во всю Ивановскую».

На маскарадах не один раз появлялся Керенский в юбке, бегая по залам, он искал, где бы ему спрятаться. Беднягу лупцевали. Изображавший Керенского техник Григоров героически сносил побои.

По улицам ходили на костылях перевязанные, с на-шлепками, наклейками, с шишками и синяками атаманы Дутов и Каледин. Ну а уж капиталисты, помещики, лавочники-живодеры, царские генералы, министры из Временного правительства, Григории Распутины, Анны Вырубовы, цари и царицы ходили по улице дюжинами. Их было так много, что в последний день масленицы был объявлен в афише «СМОТР ЦАРЕЙ, ЦАРИЦ И РАСПУТИНЫХ». Затем объявлялись призы. Первым призом была голова сахара, вторым — двенадцать коробок папирос высшего сорта и третьим — две пачки чая. Тоже высшего сорта.

Вечером в последний день масленицы, выдавшийся теплым, на освещенной плотине началось гулянье претендующих на призы. Маскарад, назначенный в общественном собрании, теперь клубе металлистов, сам по себе вылился в представление на пруду. Потому что здесь — тысячи зрителей и есть перед кем показываться изобретательным участникам.

Чаще всего цари, царицы и Распутины шли под руку тройками, лихо распевая. У большинства царей Николаев Вторых в руках была четвертная бутылка. Николай Вторые одиночки шли то с водочной четвертной бутылкой, то с виселицей-глаголем или с нагайкой, которой они, лихо размахивая, пугали стоящих вдоль плотины, требуя вернуть обратно престол. Один из царей сел верхом на монумент горбатого медведя и, устрашая миловенцев, под общий хохот требовал подчинения.

Были цари и восседаемые на тронах. Один трон несли капиталисты, помещики и генералы. Другой трон, поднятый на носилках, несли министры-капиталисты и два Керенских.

Самый заметный Николай Второй, которого изображал местный парикмахер и гример общества любителей драматического искусства Чашкин, был загримирован с большим сходством. Чашкин, изображавший царя, сидел на золоченом кресле с двуглавым орлом на спинке. Кресло было установлено на черном катафалке под белым балдахином, залитым кровью. И этот черный катафалк везли не какие-то малоизвестные или просто

неизвестные купцы, генералы. Катафалк с пением везли ряженые, которые так недвусмысленно напоминали мильвенскую «знать». Зрители легко узнавали купцов Чуракова и Куропаткина, провизора Мерцаева, Шульгина, протоиерея Калужникова, пристава Вишневецкого. Узнавались и лавочники, церковный староста собора, мильвенские чиновники... И многие другие, попавшие сюда, может быть, и несправедливо. Дотошными зрителями настойчиво искался в этой упряжке и не находился Турчанино-Турчаковский. Значит, он не из тех. Значит, и среди них есть такие, которые за Советы.

Тянущие и толкающие катафалк пели все, что приходило на ум. И веселое, и унылое, и погребальное.

Умеренно завистливый Маврикий Толлин огорчался, что ему ничего не пришло и не приходит в голову в этот последний день. Он тоже мог нарядиться и загримироваться кем-нибудь. На это Сонечка сказала:

— Замаскируйся, Мавруша, принцем, а я замаскируюсь Золушкой.

— Уже поздно. Не успеть. Да и где взять костюмы? Их же нужно шить.

— Нет, нет, нет... Ничего не нужно,— убеждала она как никогда певучим голосом.— Стоит только закрыть нам глаза и представить, что ты принц, а я — счастливая Золушка, и мы будем ими.

Лицо Сони опять было удивительно сияющим, и опять неизвестно почему. Кончики ресниц не были белы от мороза, и щеки тоже не были румяны. И полоска заячьего меха капюшона-капора не обрамляла ее лицо. Она была в материнном белом пуховом платке с зубчиками. Может быть, зубчики делали таким невиданным ее лицо и глаза, удивительно похожие на глаза тети Кати. Не по цвету, а по теплу.

Идя кромкой плотины, Маврикий и Соня очутились в дальнем ее конце, где над тихим, спящим городом с улицами и переулками высятся поленницы саженных дров, запасаемых для котлов завода.

Соня подошла к Толлину совсем близко и стала лицом к лицу и снова назвала его Маврушей, как называли только тетя Катя да мать, и снова спросила, хочет ли он на одну минуточку стать принцем, и она тогда станет Золушкой.

Ее лицо теперь было так близко к его лицу, что мелкие падающие снежинки, оказавшись между лиц, тотчас

же таяли и, высыхая на щеках, тонко пахли весенней оттепелью.

Сонечка закрывала глаза и оказывалась Золушкой, она чувствовала, что ее серепькие валенки становятся хрустальными туфельками, а мамин белый платок — тонким вуалем и шубка, перешитая из бабушкиной шубы, растворяясь, превращается в воздушное платье с открытыми плечами.

А Маврикий боялся закрыть глаза. Боялся и шептал Соне, касаясь своими губами ее губ:

— Так может закружиться у тебя голова... И у меня тоже... Закружиться так, что потом нам их уже не раскружить...

Соня открыла глаза. Они, сверкнув, погасли. Хрустальные туфельки стали валенками, а тонкое и пышное платье — шубой...

На улицах Мильвы еще долго шумела масленица, хотя уже наступил великий пост, начавшийся чистым понедельником.

Третья глава

I

Великий пост всегда тянулся долго. Не коротким был он и на этот раз для тех, кто ждал весны, солнышка, тепла. Но для тех, кого пугали первые проталины, время неслось на полных рысях. Сидор Петрович Непрелов боялся пасхи. Он знал уже точно, что светлое Христово воскресенье для него будет тяжким испытанием.

— Дума съедает думу, — жалуется он брату. — На стену готов лезть. Присоветуй хоть ты что-то, Герасим. Лапотники-однокашники, как грачи, ходят уже по полям, прикидывают, примеривают, как располосовать, раскромсать по клиньям нашу землю. Ухоженную. Унавоженную. — Сидор не сдерживает слез, капающих на бороду, начавшую сидеть прошлой осенью.

— Я ничего не могу, — признается Герасим Петрович. — И никто ничего не может. Дело конченное. Мы не можем и не должны противиться...

— Конченное?.. — злобно переспрашивает Сидор. — Не должны?.. Не можем?.. Нет, можем! Должны!

— Как хочешь, а я умываю руки. Мне нужно думать о себе. Обещают пересмотр всех непригодных к

воинской службе. Так ты уж смекай сам... А меня не впутывай.

Первый раз зло посмотрел Сидор Петрович на младшего брата.

— Буду смекать сам. И смекну. Мужик он хоть и сер, а на кривой его не объедешь.

Расстались братья холодно. Сидор Петрович стал прикидывать, примерять, взвешивать хитрость, которая пришла к нему вешним сном, божьей заботой, ангельским подсказом.

Как наяву пришел он во сне в «енералов» дом. Поклонился ему в пояс и сказал:

— Восподин енерал, или, как бы сказать, ваше гражданское превосходительство, слышал я, что в вашем училище хотят учить по-ученому землю пахать, а земли нет.

— Нет,— отвечает Тихомиров.— Была, да тебе продал. А ты за нее все еще не все деньги выплатил.

— Об этом и речь, гражданин енерал. Слышал я, что это больно вам. Что трёкнулись вы... И как бы промашкой почли продажу земель и мельницы.

— Снявши голову, по волосам не плачут,— говорит Всеволод Владимирович Тихомиров. И говорит уже не во сне, а в живой яви у себя дома, куда пришел Сидор Петрович Непрелов повторить свой сон и довести его до конца по божьему велению, по вешему сновидению.

— Это чистая правда. Только я пришел предложить вам возвернуть не одни волосья, но и всю голову.

— Как же так... Зачем вдруг... Да мне и нечем уплатить вам,— говорит Тихомиров, не понимая еще, что хочет предложить Непрелов.

А Непрелов выкладывает все, умалчивая об одной мелочишке:

— Декреты вы, конечно, читаете. Наверно, ваш сынок эти декреты набело переписывает и товарищу Ленину на подпись носит,— ищет он перехода к сути дела, испытующе следя за лицом Всеволода Владимировича.— А по земельному, стало быть, декрету положен отбор земель у нашего брата и подушный раздел их промежду малоземельными и вовсе безземельными. Это правильно. Пахарь должен пахать, а не у всякого пахаря есть пашня. Я за раздел. И руку могу поднять! И голос подать! Но только...

— Что только? — спрашивает Тихомиров, всматри-

ваясь в лицо Непрелова, по которому не прочтешь, так ли думает этот бородач, как он говорит.

А говорит он резонно:

— Только хочу я спросить — все ли земли надо делить? И надо ли делить те земли, что слитно больше пользы Совдепу могут давать, а порознь лоскутья, и все. К примеру, наше ферменное хозяйство взять, ваши бывшие примельничные угодья... Они стали хозяйством. Слитным. Цельным. Неделимым. Оно конечно, разделить можно. Мужики даже избы распиливали. Одну половину старшему сыну, вторую — второму. Все правильно. Только какая жизнь в полуизбе о трех стенах?

Всеволоду Владимировичу хочется скорее узнать, что нужно Непрелову. И он его спрашивает об этом.

— А нужно мне, — отвечает он, — чтобы мое хозяйство в неделимости служило вашему училищу, а не пласталось по клину и не растаскивалось по крохам. Кому польза от этого? Или, может быть, я не то?

— Нет, то. Совершенно то самое. Только скажите мне, как посмотрят на это крестьяне из Омутихи?

— Как они ни смотри на это, а у них в волости партийные головы есть. Сразу поймут, что губить ферму не резон. А что касаясь прибавки наделов мужикам, так мильвенских покосов не на одну Омутиху хватит. Не по сто же десятин на рыло будут наделять мужиков.

— Разве заводские покосы будут передаваться крестьянам? — спросил Тихомиров.

— А как же. Фабрики — рабочим, землю — мужикам. Товарищ Ленин ясно сказал. Нельзя же рабочему и завод и пашню. Это же хаповство.

Тихомиров задумался. Он понимал, что Непреловы, теряя налаженную ферму, не хотят, чтобы она перестала существовать единым хозяйством. Всеволоду Владимировичу невольно вспомнился чеховский «Вишневый сад». Вспомнился стук топоров. Вырубка деревьев и раздел большого сада на мелкие дачные участки. Сравнение несоизмеримо, но, кажется, сходство есть.

— Хорошо, я посоветуюсь. А где вы будете жить?

— Так изба-то у меня цела. А землицы-то мне тоже, думаю, дадут. Ну а ежели вам на первое время верный человек нужен будет, так я рад служить. При мне колоска не пропадет. Всё училищево будет. Нынче не до жиру. Быть бы живу. А вас-то все знают — каковы вы. С голоду не дадите умереть, и все. А ежели, видючи

мои старания, дадите требушинкой попользоваться или в лесу дожать недокошенное — так бóльшого-то и не надо...

— Конечно, конечно, конечно...

Сидор, видя, что Тихомиров пошел на приваду, пугнул его на прощание:

— Желательно бы получить ответ до пасхи, а то тут ко мне ходит один доморощенный «куманек» небольшого росточку. Слыхали, наверное, Никифора Истомина, который меня вместе с землей в кумынию подбивает. Тоже стоящее дело эта кумыния... Так что, значит, покедова, ваша честь, гражданин енерал...

Выйдя на улицу, Сидор торопливо шептал:

— Слава тебе восподи, пресвятой угодник Миколай, оплел-охмурил, по всем статьям обошел. Целой будет ферма. Макового зерна не унесут. Клинышка земли не отрежут. Все сберегу до последнего бревнышка.

II

Не сразу понял Герасим Петрович Непрелов, что его брат спас ферму, отдав ее задолго до шумного передела примильвенских земель. Младший брат и не думал, что так дальновиден и практичен Сидор.

— Как толички придет им конец, когда заступит настоящая власть,— говорил он,— мне не надо будет бегать с плантами, с землемерными вычертками и, вертая себе свое, доказывать, где наши фермские земли. Они как были огороженными, так и будут. Мне только останется дать коленом под енералову честь, и тютечки. Всё отберу до вершка. И долга платить ему не надо... Хо-хо!

Говоря о долге Тихомирову, Сидор Петрович имел в виду векселя. Отдавая ферму мильвенскому политехническому училищу, Непрелов сказал тогда:

— Гражданин енерал, за не нашу-то зсмяю теперич подикось не надо платить вам по векселям?

— Ну что вы, право,— ответил тогда Тихомиров и порвал векселя.

А теперь Сидор Петрович радовался, что он не только не останется в убытке от этой передачи земли, но и получит прибыль. И получит его вместе с «ферменной землей» не позднее осени, когда «куманьки откомиссарятся» и сядет править Керенский, который, как

слышно, жив-живехонек и невредим. Он-то и положит всему конец. А конец начнется этой весной, как только мужики схлестнутся с мильвенской мастеровщиной на покосных землях.

Предсказания Непрелова сбывались. На межволостном совещании о примильвенских покосных землях трудно, да и невозможно отказать крестьянам в их претензиях.

— Лес — это одна статья, — говорили представители волостей. — Лес дает дрова. Заводу нельзя без дров. А покосы зачем заводу? Травой не топят.

— Казенные лошади есть у завода! — оспаривал Терентий Николаевич Лосев.

— Ну и что? — возражал представитель Омутихи. — А сколько им надо? Сто десятин? Пускай двести! Не против и триста оставить! А остальные земли куда? Мастеровым? По какому такому праву? В декрете этого нет.

Большинством голосов было решено передать покосы крестьянам, за исключением тысячи пятиста десятин, предусматриваемых на расширение города, а пока остающихся для внутренних нужд хозяйства завода.

Кулемин, Матушкин, Киришаум, Африкан Краснобаев, Лосев и многие другие, зная особенности мильвенских рабочих, остались при своем мнении, изложив его в обстоятельном объяснении, отосланном в губернию. А тем временем, чтобы не упустить пахоту и сев, крестьяне примильвенских деревень выехали межевать и распределять рабочие покосы.

Те же провокаторы из меньшевиков и эсеров, притворившиеся лояльными, действовали теперь в рабочей среде. А для этого не нужно было многих слов.

Прадеды эти покосы косили. Цари не подымали на них руку. У Керенского хватило ума не касаться рабочих покосов, принадлежащих казне. Как же коренная рабочая Советская власть в Мильве не отстояла рабочие интересы?!

О покосах заговорили не одни только рабочие, у которых были коровы и лошади. Если не всем, то большинству мильвенцев невозможно было представить, как можно лишиться покосов, а за ними и коров рабочим, которых теперь почти не кормит завод. Этого допустить нельзя. От слов переходили к делу. В концах Песчаной улицы, где многие держали своих коров, сама собой

возникла демонстрация. Откуда-то появилось красное полотнище, а на нем надпись: «НЕ ОТДАДИМ МОЛОКО НАШИХ ДЕТЕЙ!»

Лозунг был понятен всем. К демонстрантам присоединились и бескоровные. К Мильвенскому городскому комитету РКП(б) пришло более пятисот человек.

Емельян Матушкин, успокаивая демонстрацию, рассказал о бумаге, посланной в губернию и в центр, а потом по требованию прибывающих демонстрантов с других улиц прочитал копию посланного письма.

Прочитанное было встречено шумным одобрением, но кто-то выкрикнул:

— Пока бумага ходит туда-сюда, они распашут и засеют наши покосы.

— Не отдадим! — послышался пронзительный женский голос.

— Гнать их!

— Гнать!

— Не допустим!

Началось невообразимое. Матушкину теперь невозможно было уговорить кричавших.

Кто-то выкрикнул:

— Умные не болтают, а не пускают на свои покосы. Не пустим и мы... Не пустим!

Послышались женские голоса, и среди них один пронзительно позвал:

— На покосы, бабоньки! На покосы!

Молодая женщина, которой принадлежал этот сильный голос, подняла над головой деревянные трехрогие вилы, какими обычно мечут сено, скомандовала:

— За мной!

III

Вокруг Мильвы, где лес не подходил к ее окраинам, простирались покосные земли. Они занимали немалые пространства, измеряемые десятками квадратных километров. И особенно хороши были земли на южном и юго-восточном склонах отлогой горы, скат которой тянулся к речке Медвежке версты на четыре.

Здесь были главные заводские покосы живущих по эту сторону пруда.

С высоты Мертвой горы в этот ясный день ранней мильвенской весны, короткой, но щедрой теплом и све-

том, было видно, как на склонах горы, еще не освобожденных полностью от снега, крестьяне перемеряли землю, вбивали колья, процарапывая межи концом лемехов сох на неоттаявшей поверхности земли.

Мужики, и бабы, и, конечно, счастливая детвора радовались весне, солнцу и земле, за которую никому не нужно платить выкупа. Они не заметили густую цепь движущихся на них мильвенцев.

Это были мужчины, женщины, молодежь и подростки.

Все они как бы вытекали из концов улиц и образовали широкий ряд, движущийся на покосы.

По мере продвижения ряд ширился, но не редел. Его пополняли догоняющие. Многие были вооружены берданками, шомполками, двуствольными дробовиками, деревянными и железными вилами.

В широком ряду оказались Маврикий и Санчик. А как могло обойтись без них, когда у тети Лары коро-ва, а у Денисовых своя дойная коза.

Крестьяне, заметив приближающуюся цепь наступающих, сначала не поняли, что это значит. А потом, поняв, не поверили своим глазам. Но провокаторы разъяснили, что это идут заводские головорезы, которые не хотят отдавать законную крестьянскую землю по священному ленинскому указу...

Мужики схватились было за топоры и колья, которых немало было привезено для за столблениа размеже-вываемых земель.

Все было подготовлено к тому, чтобы началась небывалая в Мильве драка и пролилась кровь. Подстрекатели давно уже ушли в кусты. Ушли в буквальном смысле. Вдоль берегов Медвежки густые заросли.

Теперь уже не было силы, которая могла бы остановить позорную демонстрацию. Мильвенская партийная организация еще так недавно гордившаяся своим могучим приростом, теперь была совсем малочисленной. Ее лучшие боевые силы отданы возникающим фронтам гражданской войны. Были случаи, когда в Красную Армию уходили полностью цеховые ячейки. Поредела и молодежная организация. Остались молодые люди не старше Ильюши Киришбаума. Красногвардейские отряды Мильвы давно уже находились в частях Красной Армии. Голоса считанных большевиков, пытавшихся утихомирить покосный конфликт, не были услышаны.

Кумынин Яков Евсеевич не посоветовал пришедшим комитетчикам вступать в покосные разногласия.

— Остановить не остановите нас,— сказал он,— а разъярить можете. Мы ведь не против кого-то там, а за свои покосы... И если уж вы в комитете не предотвратили, так тут-то уж не предотвращайте.

Когда наступающие увидели поднятые мужицкие топоры, они ускорили шаг, хотя до этого было сказано, что наступать нужно тихо и молча. Ни выстрела. Ни крика. Ничего. Действовать на испуг, чтобы ни перед кем и ни за что не отвечать.

Крестьяне из примильвенских деревень, помахав топорами и кольями, скоро одумались, видя, что наступающих было не счесть сколько. К тому же на гриве горы зачернел новый ряд. И чем ближе был молчаливый первый ряд, тем становилось страшнее. Первыми, побросав колья, побежали женщины. За ними дети.

Мужики попробовали было: «Не отдадим, умрем...», «Постоим за нашу землю...» — да тоже, наскоро запрягая лошадей, поворотили оглобли в свои деревни.

А мильвенский передний ряд шел и шел, что называется, держа равнение и сдерживая волнение.

Один только остался на заводских покосах. Старик. Он, упав на землю, распластав руки, ноги, вздрагивая и рыдая, просил:

— Пройдите по мне! Пройдите по мне!

Молчащий ряд расступился, обходя старика и продвигаясь к берегу Медвежки, по которому шла граница заводских покосов. И, дойдя до берега, начали шумное ликование. Победители обнимались друг с другом, радовались, а потом чокались. В воскресный день всегда откуда-то появлялись запретные бутылки. Потом стали подбирать колья и вбивать их вдоль берега. Знай, мужики,— это граница. Попробуй перейди ее теперь. Вынь или урони хоть один кол.

Победители опять шумели, радовались, будто за кольями, за рекой была чужая страна.

IV

Всему этому несколько лет спустя не хотели верить мильвенцы, пытаясь представить покосный конфликт досадным недоразумением.

Это несколько лет спустя, когда выяснилась истин-

ная подоплека сраживания крестьян и рабочих, но не теперь. А теперь дежурили по суткам от каждого двора, где была корова, конные сторожа, разъезжавшие вдоль границ мильвенских покосов. Подобное самоуправство можно было изобличать в газетах. Что и делалось. Григорий Киршбаум опубликовал под псевдонимом «Иван Бескоровный» злую, осуждающую статью. Но статья не ослабила борьбу за покосы, а усилила ее. Ко всему этому на письмо городского комитета, написанное Кулеминым, пришел ответ, защищавший крестьян примильвенских деревень, претендующих на покосные земли. В ответе ясно говорилось «не чинить препятствий» и «не давать повода контрреволюционным элементам ссорить деревню с Советами».

Мильвенские комитетчики читали и перечитывали нелепый ответ. Как можно было называть огульно контрреволюционными элементами тысячи тружеников. Не оставалось сомнения, что сила, действующая внутри Мильвы, поддерживается кем-то в губернии. Комитет, не дав хода полученному предписанию, категорически потребовал ознакомления с положением дел на месте.

Приехавшая для расследования комиссия не захотела внять голосу Мильвенского комитета, который доказывал, что заводские земли не подлежат передаче крестьянам, что у примильвенских деревень есть достаточные фонды земель, принадлежащих чуждедальным монастырям, заводчикам, содержащим охотничьи заказники, и просто неизвестно чьи пустыри... Комитет предупреждал комиссию, что ее упорство может быть расценено Центральным Комитетом как нежелание разобраться в особенностях жизни рабочих Мильвенского завода.

Е

Комиссия решила созвать митинг и разъяснить мильвенским жителям, почему нужно передать покосные земли крестьянам. Но после того как стала известна цель созыва митинга, произошло то, чего никто не ожидал.

Митинг не состоялся. Пришло несколько десятков человек да Марфенька-дурочка, которая передала организаторам митинга пакет. А в пакете на хорошей ватманской бумаге крупно, с каллиграфическим изыском было написано:

«Если вы хотите крови, она будет. Покосы отобрать невозможно. И в а н ы К о р о в н ы е».

Жители Мильвы, не зная, что покосный вопрос будет решен благожелательно для них, продолжали протестовать.

На улице перед комитетом появилось множество коров. Они, встревоженные ночным подъемом, не переставая мычали. Когда мычат две-три коровы — это одно. Когда же ревет несколько сот коров — никакие, даже самые спокойные, люди не могут выдержать этого рева.

Темнота усиливала коровий рев. Приехавшие члены комиссии сидели сгрудившись в дальнем углу комнаты, боясь, что за ревом коров последует «кровавое обещание». И оно последовало. Кто-то в темноте стал резать коров. Стадо, почуяв запах крови и услышав предсмертный храп животных, затрубило на невыносимых тонах ужаса. Коровы, разбегаясь, мчались по улицам с пенистым ревом, словно оповещая об опасности всю спящую Мильву.

Когда улица опустела и начало светать, на ней можно было увидеть трех зарезанных коров и прочесть черную надпись на белом коленкоре:

«Угощайтесь мясом, товарищи».

Кулемин подвел приехавших членов комиссии к лежащим на дороге коровам и сказал:

— Этого вам, господа, мы не простим...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Первая глава

I

В Омутиху Тихомировы решили отправиться пешком. Столько лет прошло с тех пор, как Валерий Всеволодович шел через эти поля, покидая Мильву, а дорога все та же, если не считать, что местами поредел лес.

На полях уже выстроились ржаные суслоны. Жали и в воскресенье. Всеволоду Владимировичу хотелось убедиться своими глазами, как справляются с уборкой урожая учащиеся. И Валерию Всеволодовичу не терпелось увидеть учебно-опытное хозяйство. Так называлась теперь ферма братьев Непреловых.

За последним поворотом дороги появился самый младший из Тихомировых, Володя. Он заметно подрос и окреп после переезда в Мильву. Его с матерью Еленой

Емельяновной доставил сюда все тот же Яков Евсеевич Кумынин, на той же Буланихе, которую по старости лет никто не захотел купить.

Учебно-опытным хозяйством заведовал старик агроном Михаил Иванович Шадрин, отслуживший свое в вятском земстве и вышедший сейчас в отставку. Практически же управлял хозяйством Непрелов, числясь старшим рабочим. В этот воскресный день на ферме было пусто, и агроном Шадрин с удовольствием показывал приезжим учебное хозяйство.

— Хотя нам и полугода не минуло, — начал он, — а мы уже можем похвалиться по всем статьям. — И старик принялся перечислять эти статьи.

Начиная с полей и севооборота, он переходил к животным, затем к птице, рыбе, показывал подготавливаемую к закладу сада землю, водил на пасеку, где колоды-чурки были заменены ульями. Показывал он также добытые им конные уборочные машины. Чувствовалось, что старый агроном счастлив, сколачивая учебное хозяйство, в котором он не забыл и рыбоводство. Он видел во всем этом проблески будущих больших хозяйств, которые, может быть, будут создаваться и его учениками-практикантами.

Сидора Петровича злили эти шадринские «прогляды в будущее». Он ненавидел эти хозяйства, рисуемые Шадриным. Ненавидел и его. И эту ненависть в глазах Непрелова заметил Валерий Всеволодович.

— Как вы думаете, возможно ли это?

— А откуда мне знать, — ответил он. — Я ведь не бахарь, а пахарь.

— А вы как думаете, Яков Евсеевич? — спросил Валерий Всеволодович своего давнего знакомого.

— Как я думаю, после скажу. Не утаю. Мне от вас, Валерий Всеволодович, прятать нечего.

Кумынину не хотелось говорить при Непрелове. Зачем доверять ему то, в чем сам не очень уверен. Выждав, когда не оказалось лишних ушей, Кумынин заговорил первым:

— Я, Валерий Всеволодович, думаю, что вы и ваша партия желают народу только хорошего. Я думаю, что в вашей партии хорошие и честные люди. По нашим милевским большевикам сужу. Они тоже не только желают, но бьются-колотятся, чтобы всем было лучше. А что получается?

— Что?

— Ничего не получается. Да и не может получиться.

— Почему же не может, Яков Евсеевич?

— Потому что слова даже не ветер и не вода, они даже малую мельницу работать не заставят,— сказал Кумынин, указывая на бездвижное колесо мельницы.— А недавно оно крутилось. А теперь — нет. Кому польза? Никому. Всем убыток. А на словах не только мельницы в Омутихе крутятся-вертятся, Каму перегораживают.

— Вы о чем, Яков Евсеевич?

— Агитатор приезжал, Валерий Всеволодович. Из немолодых. Голова с проседью, а заливает, как молоденький. Даже захлебывается от слов. Как соловей глаза закрывает, когда себя заслушивается. Говорил он, что придет то время, когда запрудят Каму и ниже перемычки поставят водяную электрическую станцию, на манер мельницы, только в тысячу раз больше. И эта станция начнет давать столько дешевого току, что не только в каждой избе лампочки гореть будут, но и руду добывать, землю копать, сталь варить этому току достанет... И еще что-то плел...

— Плел?

— Плел, Валерий Всеволодович. Его Заливайлом Вралевицем прямо в глаза назвали. У него даже язык запал, когда спросили, а где столько проволоки взять, чтобы ко всякой избе провод подвести. Молчит. Тогда его вторым вопросом Макар Сумцов из заводского обоза оглоушил. Найдется ли, говорит, во всем свете столько лошадей да столько телег, чтобы на плотину землю навозить. Каму перегородить. «В своем ты, старик?» — спросил он его и плюнул в его сторону ото всего чистого сердца. Не мути народ, Не считай за дураков умных людей. В заводе вторая электрическая машина остановилась. В школах свет отключили. Керосину нет. В деревнях лучину вспомнили, а он про Каму врет, каждому дому лампочку сулит. По очкам бы его, Валерий Всеволодович, мазануть, окаянного, да в шею... Чтобы знал, чтобы не провокаторствовал...

— Вот что, Яков Евсеевич,— неожиданно оборвал его Валерий Всеволодович,— ты и мазани меня вместо него по очкам.

— А вас-то зачем, Валерий Всеволодович?

— Чтобы знал, чтобы помнил, как желать дать каждому дому электрический свет...

— Неужели и вы верите, что можно перегородить Каму?

— Да чего там Каму... И Волгу... И Обь... И Лену... Сто, двести рек... Чтобы не только было светло всем, но и легко работалось.

Яков Евсеевич не верил своим ушам, слушая взволнованного Валерия Всеволодовича. Он всматривался в его лицо, вслушивался в его речь — не шутит ли? Он ведь такой. Нет, он не шутит. Тогда Кумынин решил еще проверить.

— Неужели там, наверху, у вас еще кто-то так же думает?

— Очень многие, если не все.

— И... и Ленин тоже?

— Не тоже, а в первую очередь и главным образом. Кумынин, побледнев еще более, твердо сказал:

— Тогда плохи ваши дела, Валерий Всеволодович... Плохи до невозможности...

II

В тот день на мельнице у Валерия Всеволодовича произошла размолвка не с одним только Кумыниным. Старик Тихомиров, так долго ждавший сына, не вступал с ним в полемику. Он не хотел омрачать без того считанные дни, которые они проведут вместе. Всеволод Владимирович, желая отдыха сыну, придумывал грибные походы, охоту на уток, поездки с ночевкой на рыбные речушки... И сюда, в Омутиху, они приехали с этой же целью — отвлечься. Поэтому выбирались самые глухие места. Однако и здесь почти каждый раз обстоятельства складывались так, что Валерий Всеволодович не мог предпочесть шук или уток и, сославшись на предписанный режим отдыха, не мог сказать — я не ловлю рыбу, а лечусь, когда обращались к нему с вопросом.

В камышах омутихинского пруда по-прежнему селилось много уток. Уток, которых Герасим Петрович Непрелов считал своими, потому что они выведены на его пруду. Там-то и бродили в высоких сапогах отец и сын Тихомировы. Отец, ссылаясь на глаза, подставлял добычу Валерию. И сын, якобы не замечая этого бил одну за другой тяжелых, отъевшихся уток. Когда он готовился подстрелить последнюю, двенадцатую, из камышей вышел охотник с берданкой. Судя по внешности,

это был мельвенский рабочий. Вспугнутая утка шумно взлетела.

— Ничего, товарищ Тихомиров. Найдется другая. А я к вам,— сказал появившийся.

— Ко мне? Пожалуйста! С кем имею честь...

— Это неважно. Я не по личному вопросу, хотя и лично к вам.

При этих словах отцу ничего не оставалось, как уйти.

— Валерий, я буду ждать тебя на берегу у той сосны... Только, пожалуйста, не задерживайте долго сына. Ему предписан отдых,— попросил он незнакомого человека.

— Это уж как придется,— не очень любезно ответил он.— Разговор пойдет о заводе... Прошу! Здесь суше и есть где сесть.

Разговор начался сразу же.

— Я беспартийный. Сочувствовал меньшевикам, а теперь никому не сочувствую. Хотел говорить с Кулеминым. Раздумал. Вы ближе к главной власти. Дело в том, что завод наш висит на ниточке. Суда никому не нужны, как и котлы, как и машины. То есть, может, и нужны, но платить некому. Один за другим останавливаются заводы. Наш завод в долгу, как в шелку. Второй месяц не платят жалованья. Управляющий Турчаковский и совет завода хотя и не столь отчетливо, но достаточно понятно говорят, что они не виновны во всем этом, и тем более не виновны рабочие, которые дорожат своим заводом. И дорожили им еще в старые времена, когда старый мастер Матвей Зашеин позвал добровольно снизить плату за труд и наши отцы снизили ее. Теперь снижать нечего. Потому что нет платы. Не станет и железа. Если не будет железа, то вы сами понимаете, что не станет того, из чего делает завод суда, котлы и все прочее. Значит, завод станет, хотя его как будто и никто не останавливал. И как будто нет никого виноватых. Только так не бывает. Марксизм учит во всем искать и находить причину. И я опасаюсь, что найдет народ причину, а найдя, свернет ей шею. Я желаю здравствовать вам и вашим товарищам. Прошу извинить за нарушение охоты...

Проговорив свою речь, которая, как показалось Тихомирову, была заучена, неизвестный скрылся в камышах. На разводье опять появилась серая тяжелая утка, может быть, та, что была вспугнута. Она, словно просясь в

ягдташ, подплыла еще ближе. Валерий Всеволодович направился на берег, где его ждал отец. Отцу был пересказан разговор с неизвестным охотником. Всеволод Владимирович на этот раз не сдержался.

— Валерий, мне очень трудно делиться с тобой своими мыслями. Но, видимо, я должен. Я обязан. Революция, друг мой,— это не переворот, свершающийся за одну ночь. Это лишь начало. Революция — это нарастающий, прибывающий поток, состоящий из множества взаимосвязанных перемен. Всюду. В техническом оборудовании заводов. В убыстрении добычи руд, углей, нефти. В совершенствовании нравственности. В укреплении взаимного уважения. В потребности знаний. Внутренних потребностей. Потребностей необоротимых. В любви к труду. К труду не порабошающему, не даже как добросовестно осознанной необходимости, а созидающему труду, труду-наслаждению. Извини за личный пример. Таким трудом был и остался для меня труд по созданию политехнического училища, для Шадрина — организация опытного хозяйства... Для этого нужны десятилетия, а не месяцы.

Все явления и обстоятельства жизни, будто сговорясь или управляясь какой-то сильной и недоброй рукой, складывались так, чтобы противоречить, а иногда и полностью опровергать то, что провозглашали, за что боролись, на чем настаивали и чего хотели большевики.

Говорилось:

— Мы навсегда покончим с проклятым наследием капитализма — безработицей...

А оказывалось, что ежедневно кто-то уходил с завода или потому, что ему надоело работать, не получая заработную плату, а лишь надеясь на нее. Или потому, что в цехе нечего было и не из чего делать.

На митингах и собраниях утверждалось, что рабочие и крестьяне, работая теперь на самих себя, а не на капиталистов и помещиков, будут лучше вознаграждаться за свой труд, больше получать материальных благ от общества.

На самом же деле все было наоборот. И ораторы достигали обратных целей. Они восстанавливали против себя и тех, кто всем сердцем хотел быть за них.

Агитаторы ратовали за просвещение.

Из-за нехватки учителей пустовали школы.

В песнях пелось одно, в жизни совершалось другое.

В газете «Мильвенский рабочий» писалось о раскрепощении революцией трудящихся, и особенно женщин. Трудящиеся, и особенно женщины, неопровержимо доказывали, что жизнь стала труднее, что женщине приходится работать больше.

Это все видел и слышал приехавший из Москвы Валерий Всеволодович. Пытаясь противостоять слышанному, он всячески старался найти слова и объяснить, что провозглашаемое и утверждаемое большевиками не всегда можно осуществить тотчас же. Многого требует времени, усилий народа. Он терпеливо доказывал, что не кто-то, а война — мать нужды и нехваток, что и теперь находятся люди внутри страны, которые мешают Республике Советов бороться с трудностями и строить новую жизнь.

На это говорилось:

— Может, оно и так, только нам не в год, а в рот.

— Керенский тоже журавлей-лебедей в небесах сулил, да воробья в руки не дал.

Было ясно, что сегодняшние невзгоды закрывают завтрашнее благополучие. Ближние неполадки заволакивали все горизонты. Валерий Всеволодович понимал бесполезность спора, разъяснений, когда человек никого не слышит и не хочет слышать, кроме себя. Настроение этих людей могло бы тотчас же измениться, пояись в продаже дешевая мука, сахар, мясо, ситец, сапоги... И они могли бы появиться на рынке. Их есть на что купить Советской Республике в буржуазных странах, да на замке граница. Запрещена торговля с большевиками. Капиталистические государства используют все, чтобы уронить престиж Советского правительства внутри страны. И они достигают этого. Колеблются и те, кто был бесконечно предан.

Тяжелое впечатление на Валерия Тихомирова произвел разговор с Маврикием Толлиным. Он сначала удивил, а потом огорчил его своими суждениями.

III

Был жаркий день. Тянуло на пруд. Валерий Всеволодович встретился с Мавриком на берегу Песчаной улицы, где у мальчишек за спички, за махорку, за школьную тетрадку наконец, всегда можно взять напрокат долбленку с нашитыми дощатыми бортами.

Валерий Всеволодович предложил босоногому эксплуататору лодки богатый набор рыболовных крючков, и тот с радостью вытолкнул свое суденышко на воду.

Солнечен и тих пруд в этот жаркий полдень. Маврикий старается не булькнуть, не брызнуть, легко и изящно взмахивая веслами, прикрепленными к бортам лодки «ухватиками» распространенных в Мильве уключин. В гребле тоже есть особый, мильвенский шик, как и в плавании «по саженке». Нужно плыть легко, долго и далеко, не уставая. Для этого не обязательно быть очень сильным. Может устать и силач, если он не постиг сноровки, экономности движений.

Внимательно разглядывает Валерий Всеволодович своего юного друга. Что-то новое появилось в нем. Еще не так давно он был виден насквозь. Теперь почему-то сторонится или что-то скрывает. Куда делась его главная черта — любознательность. Он задавал сотни вопросов. А теперь ему будто известно все, и он почти ни о чем не спрашивает. Уж не опекает ли его кто-то? Не действует ли на него эта воинствующая мелкобуржуазная среда?

IV

— Ну вот,— прервал молчание Валерий Всеволодович,— мы, кажется, достигли экватора. Здесь, я думаю, можно бросить весла и поговорить, не боясь, что нас подслушают рыбы. Мы очень давно не разговаривали с тобой, Маврентус-Мавренти... Почти год.

— Да. Год. Последний раз мы разговаривали в том июле.

— И на чем мы тогда остановились, Маврини де Толлини?

— Мы тогда, возвращаясь из Разлива, остановились на том, что власть должна быть отнята у буржуазии, свергнута ее диктатура, после чего начнется подлинная свобода.

— Твоя память, Маврицио, поражает меня.

— Она мне часто мешает жить, Валерий Всеволодович. Я слишком много запоминаю. И то, что лучше всего забыть.

— Что же?

— Сегодня такой хороший день, Валерий Всеволодович, а у вас все еще такой усталый вид... Давайте

лучше скатаем на мыс к Каменным Сотам. Там, говорят, нынче много лисьих нор...

— Что бы тебе хотелось забыть, Маврик? — спросил Валерий Всеволодович так, что невозможно было не ответить ему.

— Некоторые обещания.

— Какие?

— Например, обещание созвать Учредительное собрание, о котором больше не говорит никто. Ни вы, ни дядя Иван... Ни, конечно, Артемий Гаврилович.

Повернувшийся так разговор растревожил Валерия Всеволодовича. И он спросил:

— А для какого черта тебе Учредительное собрание?

— Не мне, а — всем.

— Ну, хорошо — всем. Зачем оно всем?

— Предполагалось, что Учредительное собрание установит, какой должна быть власть...

— А какой она должна быть?

— Равноправной, Валерий Всеволодович. И хотя бы справедливой. И конечно уж не жестокой.

— К кому?

— Ко всем. К доктору Комарову, которого я не уважаю. У него отняли половину квартиры. Зачем у Шульгина, которого я не просто не уважаю, а ненавижу... Зачем у него без копейки денег отобрали дом?

— Он занимал бездну комнат. Вдвоем. Дом нужен был под клуб молодежи.

— Это правильно, но незаконно. Нет же утвержденного народом закона, кому и в скольких комнатах жить. Не было закона и о рабочих покосах. Я очень внимательно читал декрет.

— Ты прав, это ужасная история, подброшенная врагами.

— Но разве дело только в покосах? Зачем нужно было громить магазины Чуракова и Куропаткина? Это тоже ужасная история, которую подбросили враги? Тогда почему же не найдены и не осуждены враги? Это же грабеж. По какому праву грабители ходят безнаказанно по улицам?

— Маврик, чьи слова повторяешь ты?

— Я не могу сказать, какие и чьи слова повторяю. Наверно, многих. Я теперь как губка. Как вата. Не хочу, а впитываю все. Впитываю и не могу отжать из себя впитанное. Хожу и ношу в себе эту тяжесть.

— Тяжесть?

— Не легкостью же мне называть такую жизнь, Валерий Всеволодович? Все ломается, и ничего не создается. Ничего, кроме воздушных замков, да и те в будущем. Как рай. А пока: борись, страдай, нуждайся да еще защищай с винтовкой в руках свою нужду и страдания.

Сомнений далее не оставалось. Толлин находился под чьим-то сильным и злым влиянием. И наверно, не один Толлин. Валерий Всеволодович нашел, что нужно дать выговориться Маврикию и проверить свои догадки. А догадки были. И он взял тон спокойного собеседника, будто речь шла не о самом сокровенном и первородном, а о чем-то спорном, подлежащем проверке и уточнению.

— Продвигаться в нехоженое и прокладывать, продвигаясь, дорогу, конечно, труднее, чем шагать по проторенному большаку. Поэтому неизбежны издержки в пути, просчеты и даже ошибки... Но никто не может сказать, что коммунисты, великий вождь, учитель Владимир Ильич не хотят счастья трудящимся. Не так ли, Мавреций-Мудреций?

— Так, безусловно так. И я готов ручаться за это головой. Но ведь Роберт Оуэн и другие утописты тоже хотели счастья людям. А что получилось? И могло ли что-то получиться, если бы оуэнские утопии кто-то вздумал претворять в жизнь? Наверно, получилась бы не меньшая катастрофа, чем теперь.

Валерий Всеволодович протер свое пенсне и посмотрел на Маврикия.

— Откуда тебе известен Оуэн?

— Я, если считать по старому счету, перешел в шестой класс гимназии. У нас хороший учитель истории. Он преподает нам кое-что и сверх программы.

— Это мило с его стороны. Но как у него поворачивается язык, как хватается дерзости сравнивать великого Ленина с Оуэном?! — не удержавшись, вспылil Валерий Всеволодович, и снова закачалась лодка.

— Он и не сравнивает, Валерий Всеволодович. Он говорит, что Оуэн всего лишь одаренный фантазер, а Ленин гений, владеющий умами. Поэтому все гораздо сложнее и трагичнее.

— Вот как? Он бывает у моего отца?

— Да, конечно. И Всеволод Владимирович заходит к нему. Геннадий Павлович женился на Галине Тюри-

ной. На Галине Ивановне, которая была влюблена в вас, Валерий Всеволодович.

— Ты очень прямолинеен.

— За это меня всегда любила и любит Елена Емельяновна. И я, кажется, никогда не разочарую ее.

— Значит, тебе нравится твой учитель истории?

— Геннадий Павлович Вахтеров — удивительный человек.

— Чем же?

— Даже не знаю. Но если бы вы, Валерий Всеволодович, познакомились с ним, он бы очень и очень понравился вам.

— Чем же? — повторил Тихомиров.

— Он так любит людей. Он хочет счастья всем людям. Всем, всем. Не какому-то определенному слою или классу, но и даже разной-всякой... мелкой буржуазии.

— Кому, кому? — спросил Валерий Всеволодович, сделав резкое движение, отчего снова сильно качнулась лодка.

Маврикий, довольный собой, не без юмора сказал:

— Мне. Я же мелкая буржуазия. Мещанин. Сын служащей.

— И каким же способом можно добиться всеобщего счастья? — спросил Валерий Всеволодович.

— Я не знаю, как в точности, Валерий Всеволодович. Но, наверно, прежде всего нужна свобода для всех.

— И для царя и его прислужников?

— Может быть, — немного подумав, ответил Маврикий. — Разве кому-то страшен бывший царь на свободе? Он же не лев и не крокодил. Скажите, чем страшен прислужник царя пристав Вишневецкий, если он больше не пристав? А чем страшен фабрикант, если он больше не фабрикант? Как он может поработать, недоплачивать, жить за счет пота, если на него никто не хочет потеть? Я неправ?

— Говори, говори... Я слушаю.

— Нам, Валерий Всеволодович, нужно государство без насилия, без принуждения, преследований... Государство, оберегающее свободу каждого и наказывающее человека только в одном случае: если он посягает на свободу другого человека.

— Так думает Вахтеров?

— Не только он, но и Виктор Гоголев. Он учится на класс старше меня. Так же думает и его отец, Петр

Алексеевич Гоголев. Он инженер. У него очень красивые глаза, как у Ивана Крестителя. Как у вас.

— Спасибо, мой друг. Я не знал об этом сходстве. Ну и как же построить такое неутопическое государство, при котором смирившиеся капиталисты и помещики отказываются поработать, превращаясь в воркующих голубков, а господа Вишневецкие, Турчаковские, Шишигины, раскаявшись в своей прошлой деятельности, становятся к станку, или начинают обрабатывать землю, или ловить рыбу? Так, что ли, Маврикий?

— Я не знаю.

— А какую партию предпочитает всем другим ваш учитель истории Вахтеров?

Маврикий ответил без запинки:

— Самую большую — беспартийную партию.

— А такая может быть?

— Она есть. Это народ.

— Ах, мальчик, милый мой мальчик... Как же случилось так, что тебя увели и обманули? Отравили.

— Да что вы, Валерий Всеволодович... Это невозможно. Я не из тех, кого можно провести. Я никогда не шел и не пойду против своей совести... Я всегда буду верен правде...

— Дорогой мой, совесть и правда тоже не бесклассовы, не беспартийны. Ты поймешь это когда-нибудь. Непременно поймешь. Поймешь потому, что все чистое, все здоровое, мыслящее, ищущее, несмотря ни на какие отклонения, колебания, неизбежно приходит к коммунистам, под ленинское знамя.

V

Начавшийся в лодке разговор не был закончен. Поэтому что разволнованный Валерий Всеволодович почувствовал себя плохо, и пришлось вернуться, не побывав на мысу в Каменных Сотах.

Отлежавшись, он на другой же день отправился к Тюриным. В этом доме Валерий Всеволодович бывал во время ссылки под гласный надзор и до нее, приезжая к отцу на каникулы. Сохраняя добрые чувства к дому «Золотой милостыньки», Валерий Всеволодович не мог не побывать там, и, придя туда, он сразу же оказался в атмосфере приветливой вежливости.

Внешне все было как прежде, а кто знает, что внутри?

В доме не чувствовалось, что за его стенами ограничивают себя в куске хлеба. Здесь как всегда. И даже знакомые исчезнувшие вина в знакомых бутылках. Видно, «Золотая милостынька» и его наследницы, а теперь еще и двое мужчин, пришедших в этот дом, умело распоряжаются золотыми запасами. А в том, что они были и есть, невозможно усомниться, как, впрочем, и невозможно доказать.

На Валерия Всеволодовича очень хорошее впечатление произвел муж Надежды — Мирослав Томашек. Мягкий, любезный, в чем-то женственный, он никак не походил на главаря, который должен был поднять пленных чехов и словаков против Советской власти. Он так нежно касался клавишей рояля, заставляя его шелестеть лесом, журчать веселым ручейком и славить солнце, что его можно было скорее заподозрить в инфантильности, но не в воинственности.

Не таким, как предполагал Валерий Всеволодович, выглядел и Вахтеров. Он как будто пришел в этот дом из какого-то тургеневского романа и составил здесь тихое счастье Галины Тюриной и отчасти — свое.

Разговорившись с Вахтеровым, Валерий Всеволодович увидел в нем недалекого идеалиста, слегка тронутого искателя общечеловеческой правды и уж во всяком случае не обнаружил и не заподозрил в нем матерого врага, каким он ему казался до знакомства.

— Зачем же вы все-таки, Геннадий Павлович, преподавая историю, может быть и не желая того, ведете подрывную работу в головах учащихся? — спросил без обиняков Валерий Всеволодович.

— Разве уже нельзя размышлять? — кротко спросил Вахтеров.

— Ну что вы, право, Геннадий Павлович... Размышляйте, сделайте одолжение, но не во вред себе и другим.

— Почему же «себе»? Разве мне что-то может угрожать?..

— Ну, опять вы, право, берете крайности... Разве я говорю об угрозах? Но согласитесь, Геннадий Павлович, не всем может понравиться, когда вы науку о развитии общества, учение о коммунизме приравниваете к оуэновским утопиям... Может кого-то и не устроить ваша проповедь о беспартийной партии. Это похоже на лозунг «Да здравствует Советская власть без большевиков!».

— Вы правы, Валерий Всеволодович... Я нередко говорю обо всем, что приходит в голову. Учитель должен быть строже к себе... И требовательнее к выбору тем и направлений в разговорах с учениками. Спасибо, я учту.

Вахтеров покорно, как школьник, наклонил голову, показывая этим, что он, человек, не лишенный юмора, раскаивается в грехах, которым он не придает никакого значения, и что он вообще далек от политики так же, как и Томашек. Как бы подтверждая сказанное, Вахтеров предложил концерт с коньяком и портвейном. Томашек, не дожидаясь согласия, стал играть наизусть «Аппассионату», будто зная, что она дорога для Тихомирова. Могучая, зовущая, протестующая, провозглашающая борьбу бетховенская музыка наполнила двухсветную гостиную. Галина Ивановна принесла на подносе вино и десерт, будто понимая, что звукам тесно в гостиной, открыла окна, и аккорды устремились в парк, чтобы звучать вместе с шелестом листвы и порывами ветра.

Томашек, выборочно сыграв из «Аппассионаты» то, что наиболее нравится большинству, провозгласил тост за благополучие пьющих и непьющих, перешел на романсы. Пели по очереди. Пел и Валерий Всеволодович:

Горные вершины
Спят во тьме ночной,
Тихие долины
Полны свежей мглой.

Приятный вечер. Милые разговоры. В конце вечера за мужем зашла Елена Емельяновна с сестрой Варварой и Маврикием. И опять задушевная болтовня. И никто, глядя со стороны, не сказал бы, что все это происходит в логове злейших врагов, готовящихся к нападению.

VI

Дом Тюриных стал их штаб-квартирой. Окончательно сформировался и сам штаб, это: Вахтеров, Томашек, Игнатий Краснобаев, провизор Мерцаев, Алякринский и Антонин Всесвятский.

Эта компания, собиравшаяся за карточным столом, объединялась якобы увлечением преферансом. Там же бывал и Герасим Петрович. Этому единомышленнику

не доверялись все же самые сокровенные тайны. После учреждения ЧК приходило в голову всякое. Появлявшийся изредка в доме Тюриных Шульгин тоже не пользовался абсолютным доверием. Черт их знает.

Ядро заговорщиков получило название ШОР, что значит в расшифровке штаб освобождения России. Штаб отказался от мелких гадостей: слухов в очередях, провокаций в цехах, анонимных угроз и всего, что называлось на языке штаба «сеять чирьи».

Главарь штаба Вахтеров сказал со всей определенностью:

— Чирьи теперь вскакивают сами по себе, без нашего вмешательства. Мы должны заниматься двумя главными нарывами. Первый из них — это остановка завода и второй — это покосы и дома. Мы должны держать население в неослабеваемой боязни, что покосы в конце концов отберут, как и дома, как и огороды. И если подтвердится из всего этого только одно — остановка завода, тогда достаточно спички и...

Вахтеров не договорил. Он любил, не договаривая, останавливаться на «и...». Не договаривал он потому, что не знал и сам, во что может вылиться и как повернуться их подрывная работа.

Поделиться планами, которые он вынашивал, Вахтеров не хотел, боясь уронить себя в глазах заговорщиков, если течение жизни внесет существенные коррективы и тогда ему не удастся выглядеть прозорливцем, хитрым организатором. Каждый из штаба, кроме разве провизора Мерцаева, хотел бы оказаться удачливым Керенским мельвенского масштаба. Да и Мерцаев тоже был не прочь стать городским головой или мэром города — смотря по тому, каков будет образ правления после нового переворота. Мечтая о первом месте, заговорщики все же понимали, что Вахтеров, и только штабс-капитан Вахтеров, личный знакомый бесстрашного кумира эсеров Савинкова, может руководить восстанием и стать военным диктатором. От Вахтерова тянутся нити связей в могущественные центры. Так он не говорит, а лишь намекает, но все равно ясно, что на первое время его нужно подымать, а потом... А потом ему можно свернуть шею.

Штаб действовал через третьих лиц.

Игнатий Краснобаев, бывая у брата Африкана на правах раскаявшегося меньшевика, а ныне якобы сочув-

ствующего большевикам, сокрушался, что крестьяне мстят мельвенцам поджогами за покосы. А поджогами занимался тот же вахтеровский штаб. Находились «верные» люди из Союза фронтовиков, которые за два штофа водки поджигали рабочий дом. А на другой или на третий день после пожара погорельцу приходило письмо с отпечатками красного петуха, машущего крыльями, с горящей спичкой в клюве. И подпись: «Покосы — крестьянам!» Листовка читалась всей улицей. Устанавливались ночные дежурства. Боязнь быть сожженным, лишиться крова пугала каждого. А дома поджигались и при охране, потому что и в голову не приходило, что поджигатели жили на тех же улицах, где возникали пожары.

Поиски преступников и авторов подметных писем с красным петухом не только не давали никаких результатов, но и озлобляли ни в чем не повинных крестьян из ближайших деревень. Мало того, что им не отдали покосы, так еще хотят оклеветать их, обвиняя в поджогах.

Всесвятский знал Мильву и мельвенских лучше Вахтерова. Ему не нужно было слишком долго уговаривать гробовщика Судьбина, чтобы тот отправился в деревню сеять смуту под видом смиренного добытчика харчей, отдающего последние исподники в обмен на масло, яйца.

И Судьбин действовал:

— Зря на Советскую власть ропщут. Правильная это власть. Наша. Только она другой раз в неправильные руки попадает.

Судьбин не называл эти «неправильные руки». Он не раскрывал, кто именно плохие люди, которые «обезживотили народ». И если кто-то придирался, припирал его, он живехонько вывертывался и уклончиво говорил — мало ли от старого режима, от черного прижима всяких перекрашенных в Советы проникло. И точка.

Не нужна Судьбину Советская власть. Из его рук уходит дело. У него остался только один работник. Да и тот старик.

Всесвятскому совсем не трудно было командировать даровым агентом Шитикова — Саламандру. Всесвятский заставил его ночью поджигать дома, где живут коммунисты, а днем заниматься товарообменом в деревне.

Провокатор со стажем, Шитиков тоже находил, что мильвенский Совдеп несколько засорен. Он же пускал сочувственную слезу о непаханой земле, тоскующей в покосных девках. Ему тоже не нужна была Советская власть. Скрывая это от всех и, кажется, от самого себя, Шитиков обожал царя. Только он, «господом данный царь-государь», мог править народом. Один из немногих идейно преданный своему делу сыска, провокатор Саламандра надеялся на скорое восшествие на престол «царя-усмирителя». Именно такими словами нарекут его верные древнему русскому престолу люди. Шитиков боролся не щадя себя. Он за день успевал поговорить с добрым десятком крестьян.

Не нужна была Советская власть и Непрелову. Она его, хозяина, державшего работников, заставила служить на его же ферме, где он должен воровать принадлежавшее ему. Этот агитатор не искал обходных путей. На его знамени значилось два слова: «Я» и «МОЕ».

И это «МОЕ» и это «Я» были понятными и близкими многим, даже бедным мужикам, не способным еще поверить, что слово «НАШЕ» и слово «МЫ» сильнее множества слов, кажущихся непоколебимыми. И кое у кого из них было запрятано про запас оружие.

Кто знает, как пойдет жизнь дальше. Винтовка пить-есть не просит, лежит себе в стогу. А если найдут, тоже потеря не велика, и никаких опасностей. Откуда знать мужику, кто в его стог спрятал оружие?

Агенты ШОР, слоняясь по деревням в поисках масла, яиц, муки, где прямо, где намеками утверждали, что виной всему большевики, что Советская власть сама по себе хорошая власть, и она была бы настоящей властью, если изгнать из нее большевиков.

Говорилось это все осторожно, без нажима. Никого никуда не вовлекали, не звали, ничего не предлагали. Сам думай, сам решай. Слова эти жалили мужиков в самые больные места, и яд давал себя знать. Отравленный один заражал второго, третьего...

Всесвятский подстрекал деревни через своих агентов на мирную демонстрацию к мильвенскому Совдепу. Многочисленная демонстрация должна спокойно попросить вернуться к вопросу о покосах.

Агенты всячески уверяли, что все обойдется хорошо и предрешенный вопрос будет решен окончательно. Только надо знать, когда выступить.

Рабочим теперь было не до покосов. Сено скошено и сложено. А через год видно будет. Тем же, у кого не было своих коров, не было дела до покосов. Надвигалось более важное и страшное.

Третий месяц рабочие не получали денег. Их не было и не предвиделось в кассе завода, потому что не было и не предвиделось заказов и сбыта.

В цехах все громче и смелее развязывались языки. Во всем обвинялись большевики. И когда остановились еще два цеха — листопрокатный и мартеновский, стало невозможным доказывать, что виной этому является общая разруха, порожденная саботажем, разрушительными действиями тех, в чьих руках еще недавно была промышленность.

Снова убавилась, несмотря на большой прирост, мильвенская партийная организация. За последние недели вступило восемьдесят два человека, а ушло на фронт девяносто четыре. Угрозу ждали извне — за пределами Мильвы, где поднялись против Советской власти чехословацкие воинские части, где-то там возникали различные директории, филиалы Временного правительства... И туда отдавала Мильва верных своих сынов, не предполагая, что опасность зреет внутри.

Мильвенцу, еще не способному видеть дальше своего завода, не объяснишь, что на свете нет завода, работающего независимо от других предприятий, что не одна Мильва переживает тяжелые дни, а вся страна борется с надвигающейся разрухой. И не нападки на большевиков, а организованная борьба во главе с большевиками может облегчить участь завода.

Так говорили на митинге Кулемин, Киршбаум, Матушкин. Но их призывы не достигали цели. Потому что коварные обстоятельства опрокидывали и то, чему нельзя было не верить.

Притаившемуся штабу мятежников пришло время действовать открыто. Вахтеров и его штаб готовились покинуть берлогу. Началось стремительное объединение связей с контрреволюционными группками, каких было в Мильве немало и какие были на учете штаба. Некоторые из этих разрозненных группок тоже мнили себя различными штабами, центрами и вершителями истории России. Неулегшееся брожение, начатое Керен-

ским, не могло не породить множества местных наполеонов, корниловых, савинковых и прочих микроглавко-верхов, ультравеликих вождей одного села и бессмертных полководцев армий численностью в сто сабель. И все это отлично понимал Геннадий Павлович Вахтеров, потому что и он был таким же искателем, как и они. Штабс-капитан Вахтеров видел себя сначала главарем мильвенского восстания, затем восстаний окрест лежащих заводов и, наконец, верховным правителем Урала и Приуралья — земель, простиравшихся за Тюмень по ту сторону хребта и до Вятки и Казани — по эту. И когда эти пространства будут ему подчинены, он, сформировав армию, двинется на Москву и Питер. Освободив древнюю и новую столицы, Геннадий Павлович не исключает стать на первое время регентом Империи Свободы. Или... Свободной Империи... Он еще не знает, как лучше назвать страну после истребления большевизма, может быть Северо-Европейские Штаты. Сокращенно СЕШ.

Всесвятский многому научился в царской внутренней разведке, где служили не одни простофили и болваны, подобные следователю Саженцеву, но и одаренные люди, такие же хитрейшие деятели, как и Турчанино-Турчаковский в царской промышленности. И не мудрено, что в течение полутора суток мятежной мелкоте стало известно о прибытии в Мильву одного из учредителей верховного штаба «Свободной России».

Так было сказано гробовщиком Судьбиным бывшему мильвенскому приставу Вишневецкому. Укрывшийся от глаз, он ударился в старательство и охотничий промысел, образовал из подобных себе артель «Тайга». Ростислав Робертович Вишневецкий тоже носил в себе тайные надежды стать хотя бы начальником губернии. И его артель тоже была вооруженным отрядом готовых примкнуть, если будет к кому примыкать.

Вишневецкий не стал спрашивать имени прибывшего. Он лишь осведомился:

— Когда?

И Судьбин ответил:

— Скоро. Держите связного в Мильве.

Они договорились о месте встречи со связным. Так один никем и ни в чем не подозреваемый гробовщик сумел повидать и воодушевить тех, кто готов был разоружиться и оставить борьбу с Советами.

Было бы несправедливым с нашей стороны забыть

печально известную урядничиху Манефу Мокеевну. Она, потерпев последнюю катастрофу в незабываемую Октябрьскую ночь возле Зимнего дворца, не может простить позора капитуляции женского батальона. Она свято хранит солдатское обмундирование, надеясь, что час пробьет и снова польется песня «Взвейтесь, соколы, орлами, полно горе горевать...». И этот час близился.

Шипящей гадюкой ползала Манефа по мильвенским улицам. Ее неутомимость восхищала штаб. На такую он мог положиться.

Был и в политехническом училище тайный кружок заговорщиков, именовавший себя ОВС — отчизны верные сыны. Его создали Игорь Мерцаев и Юрий Вишневецкий, поклявшиеся на крови быть верными друзьями, презирающими смерть во имя жизни другого. На эти слова следует обратить особое внимание и припомнить их через несколько месяцев, когда один убьет другого, чтобы спасти свою шкуру. А пока они думают о самих себе как о благородных спасителях своей отчизны. В политехническом училище появилось оружие. Жалкое, но все же оружие. Кружок ОВС перестал стесняться, и говорилось во всеуслышание, даже при Толлине, считавшемся «промежуточной балаболкой», что хватит играть в молчанки.

Близилась страшные дни...

Близилась дни, которых потом будут стыдиться мильвенцы, которые проклянет каждый честный человек. Дни, которые изменят течение многих жизней, искалечив их у одних и отняв у других.

VIII

Мог ли рассчитывать на успех Вахтеров, опираясь всего лишь на разномастную публику, составлявшую ядро зачинщиков готовящегося мятежа?

Нет, это был бы гибельный расчет. Мятеж захлебнулся бы, едва начавшись. Вахтеров надеялся, что ему удастся вовлечь куда более широкие слои населения Мильвы, особенно после того, как будет пущен слух о закрытии завода по решению Совдепа. Это вызовет волнения в цехах и....

И тогда приходи, обещай, свергай и веди. А когда вовлеченные в ряды восставших окажутся в частях, тогда ими можно будет повелевать как угодно.

Были ли среди коренных мильвенцев такие, на чью поддержку мог рассчитывать Вахтеров?

Были! Послушайте, например, что говорит Яков Евсеевич Кумынин, почувствовавший, что за его спиной стоит тень Матвея Романовича Зашеина, в свое время из самых добрых побуждений поднявшего рабочих на добровольное снижение зарплаток, чтобы не дать закрыться убыточному казенному заводу.

Теперь Яков Евсеевич чувствует себя спасителем завода, преемником Зашеина. Кумынину кажется, что его устами говорит сама мудрость. Не отвергая Советскую власть, находит, что вся вина не в ней, а в том, что она состоит из людей, не видящих корней жизни Мильвенского завода. И он повторяет слова Матвея Зашеина:

— Товарищи, мы не какая-нибудь пролетария, мы коренной рабочий класс, на котором держится все.

У Кумынина, рассуждающего на завалинке, находятся слушатели. В первую очередь слушают его выученики молотобойцы Семен Дятлов и Тихон Забавин. Они не только поддакивают своему мастеру-кузнецу, но и повторяют слышанное, беседуя с другими.

Яков Кумынин воскрешает давнее, почти забытое заблуждение.

— Ежели разобраться,— говорит он,— то Мильвенский завод наш, построенный отцами нашими от первого кирпича до последней стрелки на трубе. А ежели он кровный наш и каждая стена или там ферма состоит из нашего труда, так мы его и должны взять в свои руки. Зря, что ли, сам Ленин велел отдать фабрики рабочим, а землю — крестьянам?

Рассуждая так, добросовестно и благонамеренно заблуждающийся Кумынин уводит в дебри не только своих подручных, но и многих на заводе.

В цехах начинает бытовать теория, отредактированная не без провокационного умысла, о том, что завод должен принадлежать коллективу рабочих на артельных началах. Это значило: что заработал, то и разделил между работающими по цехам. Что ни цех, то артель. И даже в одном цехе может быть несколько артелей. А сам завод должен представлять из себя свободный союз свободных артелей.

Вахтеров великолепно понимал, насколько нелепа и практически невозможна идея превращения большого

единого завода в конгломерат кустарных артелей. Однако же его агенты всячески муссировали затею Якова Кумынина и считали это единственным способом спасения завода, стоящего накануне неизбежного самозакрытия. И конечно, вахтеровские подстрекатели подсказали инициаторам превращения завода в союз артелей объявить об этом Совдепу и Кулемину, зная, что там решительно не примут подобную затею.

Так и произошло. В Совдепе прямо сказали о невозможности дробить неделимый завод на маленькие мастерские и назвали затею неслыханной глупостью.

Разъяренные инициаторы союза артелей, негодуя, кричали, что с ними не хотят считаться, что их называют глупцами, что большевики предпочитают видеть завод закрытым, но не работающим на святых кооперативных началах.

Недовольство облетело цеха. В цехах начались шумные споры и даже драки.

Ночью был созван штаб заговорщиков. Вахтеров произнес речь:

— Товарищи, настает наше время... Вчера опять ушел отряд добровольцев на фронт. Большевиков в Мильве горстка. На заводе разлад. Пленные чехи и словаки готовы поддержать нас. Необходимо умно и доказательно пустить слух о закрытии завода.

А на завалинках Кумынин и подобные ему рассуждали:

— Покосы не отобрали. Это верно. Не дали отобрать. Но могут отобрать и, пожалуй что, отберут. Не на тот год, так через тот. Что тогда? Как быть с коровой?

Да, в самом деле, как быть с коровой, а корова теперь главная кормилица.

— Покосы покосами,— рассуждает Яков Евсеевич,— но ведь могут отобрать и дома. У нотариуса же отобрали. Положим, у него не дом, а терем. Но ведь могут потом взяться и за теремки, поскольку они тоже собственность, как и огород. Так что есть над чем нам задуматься и чего бояться...

Яков Евсеевич, не предполагая, как и другие, похожие на него, готовил почву для вахтеровской авантюры.

Мильва, доверчивая, малограмотная и отсталая Мильва, захлестывалась мелкобуржуазной, мелкособственнической волной, тонула в пучине добронамеренных заблуждений.

И одна ли Мильва?.. В одной ли Мильве действовали умело маскирующиеся враги, носившие другие имена, но такие же в своем подлом существе.

В каких-то других заводах события были гуще, в каких-то бледнее, но все они, разные по деталям и оттенкам, были схожи очарованием честных тружеников, лживыми посулами мнимых свобод и благополучий.

Вторая глава

I

С колокольни мильвенского собора Игорю Мерцаеву и Юрию Вишневецкому видно, как по лучам дорог, ведущих в Мильву, идут крестьяне с красными флагами. Они идут к Совдепу, занявшему теперь часть дома управления завода на Соборной площади.

Отпрыски, достойные своих отцов, ждут сигнала для набата.

Сигнальщик на площади. Он в синем нитяном зипулишке и в лаптях. Кто узнает в нем мятежного офицера?

В городском комитете РКП(б) и в Совдепе узнали о событиях, когда они начались. На Соборной площади уже появились «мирные» демонстранты деревень с флагами и винтовками. Агенты Всесвятского в последний час предупредили их, что для острастки не помещает оружие. Ими же был пущен слух, что Мильву окружают многочисленные войска армии «Свободная Россия».

Такой же слух был пущен и на Соборной площади. Говорилось, что прибыли гонцы народной армии «Свободная Россия». Что многие видели их. Что они просят соблюдать спокойствие и помочь разделаться с теми, кто захватил власть, принадлежащую всем.

Артемий Гаврилович Кулемин, узнав, что творится неладное, наскоро оповестил своих и отправился в Совдеп. На площади было пестрым-пестро. Пестрыми были и требования на полотнищах. Кулемин, не медля, решил вмешаться. Он появился на трибуне и, подняв руку, обратился ко всем:

— Товарищи! Нельзя же такие серьезные и такие разные вопросы решать скопом!..

В ответ на это раздался выстрел. Затем другой. Взвилась ракета. Где-то на Мертвой горе застучал пуле-

мет. За прудом застучал другой, а затем загрохотали разрывы гранат.

— Наступают! — оповестил голос.

— Наступает армия «Свободная Россия»! — послышался второй, женский голос. Это кричала Манефа.

Раздалась команда:

— Полыхни по окнам!

Загремели винтовочные выстрелы, зазвенели стекла окон дома заводоуправления. Взлетела вторая ракета — сигнал к набату. И в набат ударили на соборной колокольне. Набатом ответили и другие колокольни. Всесвятский и на этот раз продумал все необходимое, чтобы оглушить, ошарашить, поразить.

Певучая звонкая труба, еще так недавно звучавшая в оркестре Мирослава Томашека, теперь что-то провозглашала, куда-то тревожно звала. Все повернули голову в сторону крикливой трубы и увидели трубача, а затем барабанщиков, идущих перед большим воинским соединением в шинелях австро-венгерской армии.

Это Мирослав Томашек поднял пленных под лозунгом возвращения на родину. Поэтому на красном полотнище было каллиграфически выведено белой краской: «Долой большевиков, мешающих нам вернуться на родину».

Томашек в офицерской форме шел во главе своего отряда. На его лице была написана решимость драться до последней капли крови, пробиваясь на родину. Тут же был и милый школьный столяр Ян-чех. Он покинул свою столярную мастерскую политехнического училища, тоже хотел вернуться домой, прихватив с собой бывшую сторожиху гимназии, а теперь его жену и мать двоих сыновей.

Продефилировали по Соборной площади и «отчизны верные сыны» в гимназических шинелях. Человек сорок. Среди них был предводительствовавший на молитвах Сухариков. В его глазах тоже сверкало негодование. Он тоже готов был пройти от Урала до Москвы и дальше.

Пока все это происходило на площади, был занят телеграф, оцеплен дом городского комитета партии, арестованы Кулемин, Матушкин, Киришбаум, Африкан Краснобаев. Мятежники разоружили взвод красногвардейцев, оставшийся после ухода отрядов добровольцев на открывшиеся фронты гражданской войны.

Не дав прийти в себя, мятежники действовали все теми же театральными, сильно впечатляющими средствами.

На белом коне с красным знаменем на пике появился Вахтеров. Его внешность и к тому же конь чем-то напоминали иконописного Александра Невского.

Затрубили фанфары, призывающие к вниманию. И Вахтеров, такой стройный и такой затянутый ремнями, приподнялся на стременах и провозгласил:

— Свобода и неприкосновенность всем. Всем слоям общества. Всем гражданам, независимо от сословий, рода занятий, вероисповедания и политических убеждений. Свобода всем,—повторил он, простирая руку,—кроме посягающих на свободу и душащих ее диктатурой.

План хорошо продуманных действий развивался. С колокольни собора была сброшена бечева, к которой было прикреплено алое знамя, а на знамени слова: «СВОБОДА ВСЕМ».

Флаг, поднятый с подветренной стороны, был виден и на окраинах Мильвы. Он как бы утверждал, что это не белогвардейский мятеж, а восстановление доподлинных революционных свобод, попранных большевиками. На груди восставших развевались красные банты. Чтобы изложить в кратких и ясных словах программу действий, Вахтеров сказал о главном:

— У завода достаточно земель кроме рабочих поков. Крестьяне в этом же месяце получают земельные наделы, превышающие их желания.

Мужики заорали, затопали, захлопали.

Их, таких доверчивых и забитых, было совсем нетрудно обмануть. Обманутыми оказались и некоторые рабочие Мильвы. Им было сказано:

— Уже на той неделе начнутся выплаты заработанных денег. Типография завтра же начнет печатание кредитных билетов, имеющих хождение наравне со всеми остальными валютами.

Штабс-капитан входил в роль. Выстрелив в самое яблочко, он оказался в сердцевине чаяний мильвенцев. И ему ничего не стоило пообещать обеспечить завод железом, задуть свою доменную печь и разведать свои руды, о которых гласят легенды. А если товарищам рабочим будет угодно, то перевести завод на кооперативно-артельные начала. Теперь власть над заводом

принадлежит только рабочим завода, решающим все вопросы голосованием открытым или тайным, по их собственному желанию.

Вахтеров не говорил, а пел.

Ему вторила новая мильвенская газета — «Свобода и народ», первый номер которой был отпечатан красной краской. Газета развивала сказанное Вахтеровым. Ее редактор Алякринский. Он, пряча свои зубы, спрашивал читателей, нужна ли им Советская власть без большевиков, или они предпочитают коалиционные думы, составленные в городах из представителей всех сословий.. Или они предложат что-то свое. Самоуправлению всех слоев населения было предоставлено неограниченное поле деятельности, а пока устанавливалась военная власть командующего МРГ. Буквы МРГ вначале, как говорил Яков Кумынин и близкие к нему, означают мильвенский рабочий гарнизон. Однако же из газеты со звонким заголовком «Свобода и народ» узнали, что МРГ означает — мильвенская революционная гвардия. Когда же будет провозглашена Мильвенская республика, то МРГ будет означать мильвенская республиканская гвардия. МРГ было отпечатано и на красных нарукавных повязках солдат и командиров.

На красной повязке был изображен горбатый медведь с якорем на спине. Только на повязке медведь находился не на вершине камня, а шел по сравнительно крупным буквам МРГ. И шел на фоне огня, осколков, искр какого-то символического взрыва.

Не все понимали, как они могли нацепить на свои рукава эти повязки и очутиться под ружьем. Вечером того же дня мятежники поставили в строй более тысячи человек. Появилась особая крикливая мальчишечья команда, также с красной повязкой и с тем же якорем, но без медведя и с буквами ОВС — отчизны верные сыны, из маменькиных сынков.

Маврикий прибежал к тетке возбужденный. Он безудержно и неподдельно восхищался Геннадием Павловичем Вахтеровым.

— Ты знаешь, тетя Катя, — не ища слов, заикаясь, говорил торопливый Маврик, — за ним может пойти вся Россия.

Екатерина Матвеевна, бледная и напуганная случившимся, не спорила с племянником, прося его об одном — не торопиться.

— Как же так случилось, Маврик, милый, что все прожитые тобой годы, все твои встречи, начиная с подвала Ивана Макаровича Бархатова и кончая Смольным, где ты видел и слушал Владимира Ильича Ленина, прошли просто так, не утвердив в тебе того, кем ты так страстно хотел быть?

Так спрашивала своего ученика Елена Емельяновна, усадив его рядом с собой в кресло, спрашивала, как очень близкого и родного человека и в какой-то мере «партийного» мальчишку.

— Не знаю, как это случилось,— со всей чистосердечностью принялся отвечать Маврикий.— Я преклоняюсь перед Владимиром Ильичем. Таких, как он, больше нет. Он только один на всей земле. Но ведь и Христос тоже был один.

— А при чем тут, Маврикий, Христос? — недоуменно спросила она Маврика.

— При том, что Владимира Ильича больше не с кем сравнить по величине. Христос, правда, легенда, но ведь и Владимир Ильич тоже Мессия, который навел человечеству сон золотой...

Елена Емельяновна вздрогнула так, что скрипнуло старое тихомировское кресло.

— Кто тебе, родной мой, подсказал эти слова?

— Вахтеров,— сказал Маврик.— Геннадий Павлович Вахтеров. Он очень высоко ставит Владимира Ильича и жалеет, что у него, как великого человека, чересчур великие заблуждения.

— Какие же?

Маврикий отвечал пространно, рассуждая, как видно, подготовленно и вооруженно. Вернее — перевооруженно. Неужели так скоро этот Вахтеров мог перевооружить Маврикия? И одного ли его, увы? Учащаяся молодежь, составлявшая теперь отряд ОВС, была восхищена Вахтеровым. Неужели и он, этот милый юноша, не переставший быть мальчиком, станет в белогвардейские ряды ОВС с красными повязками? Неужели он должен пасть от пули или штыка Красной Армии, которая сметет с этого прикамского клочка советской земли эсеровских выродков, воображающих себя спасителями России? Как жаль мальчишку, а что можно сделать? Как можно заставить видеть ослепленного? Наверно,

только Екатерина Матвеевна способна образумить его, подумала Елена Емельяновна, вспомнив о тетке Маврикия, не зная, что и она в списке подлежащих аресту и расстрелу. Тогда еще Елена Емельяновна не допускала, что муж ее знакомой, почти подруги, Гали Тюриной пойдет на аресты большевиков. Ей не было известно, что ядро мильвенской партийной организации находится в подвале соскинской богадельни. И она, конечно, не могла представить себе, что Вахтеров осмелится поднять руку на ее мужа.

На другой день, ни с кем не советуясь, никому ни о чем не сообщая, Толлин пришел в штаб МРГ, чтобы вступить в отряд верных сынов России, где его совсем неожиданно и походя ужалили в самое больное.

— Месье,— сказал товарищ взводный,— вам не хватает примерно половины штыка роста, чтобы не выглядеть знаком препинания в строчке гвардейского строя.

Это был просмешник из недоучек, махнувший в школу прапорщиков.

Маврикий ничего не ответил взводному Голощекову и отправился в штаб МРГ к самому командующему.

У дверей кабинета командующего стояли двое знакомых с тесаками, носимыми, как кавказские кинжалы, у пряжки поясного ремня.

Товарищ командующий (в МРГ все назывались товарищами — командиры рот, взводов, проектируемых полков и дивизий) принял Маврикия Толлина с подчеркнутым уважением к нему. Он продиктовал адъютанту:

— Объявить выговор перед строем командиру взвода ОВС Голощекову за неумение разговаривать с истинными сынами отчизны.

Однако командующий нашел, что рост Маврикия Толлина, к сожалению, пока действительно затрудняет носить длинную и тяжелую винтовку.

— Но есть и другие рода войск,— сказал он,— и когда они будут сформированы, я записываю моего верного друга первым.

Окрыленный, Маврикий простился, приложив руку к козырьку старой гимназической фуражки. Счастливый направился домой.

В дверях его остановил Игорь Мерцаев. Он знал, что произошло, и сказал:

— Мавр, у меня в коллекции есть великолепная,

легкая, как перо, игрушка, проверенная в боях винтовка-берданка. Приходи.

Вечером Маврикию была подарена в самом деле великолепная, очень легкая и удивительно короткая винтовка. К сожалению, к этой игрушке у Игоря не было ни одного патрона. И он сомневался, есть ли где они на свете. Зато игрушка была как винтовка, и Маврик мог теперь с повязкой ОВС появляться в городе, дожидаясь особого назначения в особую часть, пригодную для его роста.

III

Даже скептически относящиеся к личности Вахтерова не могли отказать ему в военно-тактических способностях. Зная, что главная опасность может угрожать только с Камы, он вслед за Мильвой овладел ее Камской пристанью. На первый случай были остановлены и разоружены два пассажирских парохода и три буксирных. Экспроприированные пароходы составили Камско-Мильвенскую и опять же «революционную» флотилию. Нос и корма пароходов были забронированы мешками с песком. Пулеметы и легкие пушки стали вооружением пароходов. Нашелся и командир флотилии из анархистов с линкора «Император Александр II».

Теперь суда флотилии могли останавливать проходящие мимо редкие пароходы или пропускать их, запрещая причаливать к пристани, или возвращать их. Во всех случаях налагалась контрибуция. Какой бы смешной ни выглядела флотилия, все же она владела немалым участком реки, надеясь в недалеком будущем взять всю Каму. Подобные надежды подкреплялись мятежами, похожими на мильвенский.

Вахтеров заявлял, что восставшие районы, соединясь, образуют великую Империю Свободы.

Полагавшие, что мятеж продлится несколько дней, ошибались. Завод, где прежде изготовлялись лишь некоторые части винтовок, изготовлял теперь их полностью. Точились пули и перезаряжались старые гильзы патронов. Богатый взрывчатыми материалами край рудников, край горных разработок, которые велись взрывным способом, позволил мятежникам изготовлять и свои гранаты. Холодное оружие поставлялось без затруднений.

Не так сложно было начать печатание денег. К этому в первый же день был приставлен Герасим Петрович Непрелов, получивший должность главного казначея местностей, занятых мильвенской революционной гвардией. Длинно, зато исчерпывающе. И с запасом на будущее расширение территорий.

Странно было видеть Маврикию знакомую подпись отчима на новых мильвенских кредитных билетах. Все четко, из буковки в буковку: «Г. Непрелов». А на обороте опять же горбатый медведь с якорем. Не придумывать же новую эмблему. Не до того, да и нетрудно ошибиться. Медведь стар и привычен. И опять же — якорь. Надежда. Удобная аллегория. Кто на что хочет, тот на то и надейся.

Объявленная свобода политических убеждений вынужденно охраняла первое время и большевиков. Арестованные члены комитета и Совдепа — их было не много — назывались открытыми врагами демократии, представителями диктатуры и пособниками ее ЧК. Массовые аресты большевиков означали бы утрату веры в «беспартийность» и «всепартийность» мятежного командования. Поэтому нужны были веские шумные улики против неразоружившихся большевиков. А большевики и в самом деле не разоружились. Они формировали отряды добровольцев, уводили их в леса, разъясняли населению гибельность авантюрного мятежа и неизбежность его подавления.

Всесвятский, занимавший при штабе командования пост начальника внутренней службы, получил от своего недавнего партнера по преферансу приказ изобрести улики и начать осторожные и обоснованные аресты большевиков.

Не нужно быть великим режиссером, чтобы схватить двух большевиков, пытавшихся будто бы взорвать заводскую плотину, на месте преступления.

Следом была «раскрыта» тайная большевистская мастерская по выработке удушливых бомб для истребления всего живого в Мильве.

Газета «Свобода и народ» описывала это со всеми подробностями, смакуя каждое измышление и, кажется, веря собственной клевете.

Когда же был придуман тайный большевистский отряд по отравлению колодцев, можно было продолжить аресты в открытую и арестовывать сочувствующих и по-

дозреваемых. Их оказалось так много, что пришлось задуматься над помещением.

До этого заключенных держали в подвале соскинской богадельни. Теперь там стало тесно. Да и держать «фондовых», «валютных» большевиков, как их называл Всесвятский, на окраине города, рядом с лесом, неосмотрительно. Налетел отряд, снял часовых — и «вуаля». Поэтому было решено учредить «стратегические камеры временной изоляции» в здании ныне бездействующего политехнического училища.

Самовлюбленный фразер, бесстыдный лжец и восторженный демагог, Алякринский разразился в своей газете статьей «Гуманизм изоляции». В ней он сначала оклеветал большевиков, не пожелавших добросовестно воспользоваться свободой, а потом перешел на похвалы гуманнейшим мерам вынужденной временной изоляции. Оказывалось, что великодушное командование хочет заключением в камерах спасти жизнь большевикам, оберегая их от самосуда населения. Подобного рода арест сохранял жизнь таким, как Валерий Всеволодович Тихомиров и Елена Емельяновна и другим, готовившим покушение на командующего МРГ и его супругу. Далее описывалась граната с часовым механизмом, которая должна была погубить горячо любимого населением Мильвы командующего всеми родами войск Геннадия Павловича Вахтерова.

Не так было трудно парты заменить нарами, в окна вставить решетки и превратить училище в тюрьму с изящнейшим названием «стратегические камеры временной изоляции». Не очень долго пришлось ждать заполнения «временно» изолируемыми классов первого этажа, а затем и второго. Газета изощрялась в выдумках поводов для арестов, добиралась теперь до молодежи и просто мальчиков. Был оклеветан даже мальчишка Сеня Краснобаев. Он якобы украл церковную кружку с деньгами. Вскоре Сеню Краснобаева арестовали.

IV

Тщетно искали Ильюшу Киршбаума и Санчика Денисова, ставших после ухода на фронт тех, кто был повзрослее в Союзе молодежи, заметными вожаками. Тот и другой скрывались за прудом в Каменных Сотах после ареста. Сени Краснобаева. Там теперь был боевой лес-

ной штаб коммунистической молодежи. Но избежавшие ареста и камер боялись за тех, кто остался в Мильве, за родителей членов Союза молодежи. В доме Шульгина остались списки и анкеты с адресами. Они хранились в стенном шкафу, незаметном для постороннего глаза. Шкаф, как сообщала Соня Краснобаева, все еще не был обнаружен. Илья и Санчик решили пробраться в дом и взять документы.

В бывшем соскинском доме полным ходом шел ремонт. Его готовили для штаба командования МРГ. Ильюша и Санчик легко попали внутрь, открыли шкаф и взяли списки. Они безнаказанно вышли через сад, но в последнюю минуту их заметили. Документы были у Санчика. Ильюша помог ему скрыться и оказался в руках своих недавних соучеников, ныне отрядников ОВС.

— Ага-га! Попался! — радовался Сухариков, прячась за спины наиболее смелых.

— Ты арестован! — крикнул Юрка Вишневецкий. — Руки вверх или пуля в лоб!

Такой знакомый голос и памятные с детства слова. Они играли в казаков и разбойников. И когда Юрка Вишневецкий со своими казаками ловил разбойника, он всегда говорил: «Ты арестован! Руки вверх или пуля в лоб!»

Но тогда арест пойманного был веселой забавой, а теперь? Как невероятно и странно повторилась та же самая фраза. Только теперь она звучала всерьез. Неужели его так же серьезно поведут в камеры и он будет сидеть.

Нет, нет. Он не будет сидеть. Он никогда не сидел у казаков и всегда вырывался из рук их атамана Юрки Вишневецкого. Не попробовать ли? Но как? Тогда у них были деревянные ружья, вытесанные из досок, а теперь они вооружены настоящими винтовками. Им нетрудно послать пулю вслед, и тогда все...

Думая так, Ильюша только сейчас заметил, что его ведут по знакомой улице, мимо дома, где жили когда-то Краснобаевы. Невольно вспомнился тайный лаз через заросли огородов, по которым он полз за Санчиком Денисовым к пароходу на зашеинском дворе. И он молниеносно сбил с ног Вишневецкого, вырвал у него винтовку и юркнул в отверстие забора, сделанное когда-то для стока дождевых вод.

Обезоруженный Вишневецкий так оробел, что метнулся прочь, боясь, что Киришбаум выстрелит в него. Мерцаев же кинулся за беглецом, но не через отверстие в заборе, а, жалея новую форму, через забор. И он потерял время, а с ним и Киришбаума. Искать вооруженного Киришбаума в темном огороде Мерцаев не решился.

Когда же была поднята тревога, Ильяша подходил к лесу. Опасность осталась позади.

V

Рвавшийся к власти и жаждущий мести, Игнатий Краснобаев хотел убрать со своего пути Всесвятского. Насторожить против него Вахтерова было не так трудно. Всесвятский бывал в камерах, беседовал с Кулеминым, заигрывал с Тихомировым и вел себя так, будто они на самом деле временно изолированы, а не смертники, приговоренные к расстрелу, которым может спасти жизнь только случай обмена, сделки с противником, если таковая возможна.

Сюда же Игнатий Краснобаев решил приплести выкраденные документы в доме молодежи, исчезновение злобного выродка Денисова, а потом побег Ильи Киришбаума. Придя к командующему, Краснобаев обосновал свое недоверие Всесвятскому.

— Это человек момента. Он может предать и продать.— Говоря так, Краснобаев рассказал Вахтерову некоторые подробности из прошлого Всесвятского.

Слушая Краснобаева, Вахтеров вспомнил, как рассказывал Всесвятский за карточным столом о своих похождениях, и решил про себя, что от этого артиста можно ожидать всего, вплоть до побега в трудную минуту вместе с арестованными к большевикам. Верить этому партнеру явно было нельзя, но и невозможно начальнику внутренней службы дать отставку и тем самым озлобить его и вызвать на действия, которые и не предположишь. Поэтому нужно было найти ложный ход.

— Друг мой,— начал врать Вахтеров,— я не могу совмещать в себе полководца и гражданскую власть. Необходим какой-то комитет, который бы ведал главным: продовольствием, финансами, промышленностью, сельским хозяйством...

— Да. Это совершенно необходимо,— охотно шел на приманку Всесвятский.— Я бы мог заняться этим...

И тут же Вахтеров просил назвать человека, которому можно доверить тюрьму. Бандиты не подыскивали благозвучных слов, когда разговаривали между собой.

Всесвятский назвал Краснобаева. Вахтеров, продолжая хитрить, с минуту колебался, а потом продиктовал адъютанту приказ.

В приказе Всесвятский был назван генеральным инспектором по финансам, продовольствию, промышленности и сельскому хозяйству. А Игнатий Краснобаев стал попечителем «стратегических камер».

Так был назначен главный и никем не контролируемый, кроме командующего, палач мильвенских большевиков. Этому можно было верить, как себе.

Вступление в должность попечителя камер началось встречей с братом Африканом.

— Н-ну, единоутробный, теперь поговорим начистоту и для первоначала получи от имени меня, от нашей не боящейся крови партии в зубы.— И он ударил рукоятью нагана своего старшего брата по виску.

Африкан Тимофеевич, застонав, упал без чувств. Затрясшийся от испуга конвоир получил затрещину.

— Смелее будешь,— объяснил удар Игнатий Краснобаев и пошел по этажу «давать себя знать арестованным».

Не так легко Игнатию Краснобаеву было найти подручных. Мало было людей, соглашавшихся потерять человеческое достоинство. Бывшие урядники, полицейские и те, занимаясь ранее «чистой» работой, отказались идти в заплечные мастера. Урядник Ериков прямо заявил:

— Проследить, донести — это одно. От этого руки не мараются. А что же касательно этого самого... Для этого мы недостаточны.

Саламандра-Шитиков сам явился в камеры.

— Если вы, Игнатий Тимофеевич, нуждаетесь в твердой руке, так вот она. И еще могу твердого человека присоветовать,— совсем тихо, будто побаиваясь стен, сказал он.— Хотя она и женщина, но в сапогах.

Вскоре пришла в камеру эта «женщина в сапогах».

— Очень рад, Манефа Мокеевна,— приветствовал ее Игнатий Краснобаев и предложил ей на первое время должность младшего надзирателя.— Действуй, Манефа Мокеевна. Если что, так в ответе ни за кого не будешь! Кроме «валютных» и заложников.

С этого дня Манефа принялась действовать с ожесточением и ненавистью, которая пылала в ней не столько к большевикам, сколько к мужчинам, лишившим ее житейских радостей. И пусть из сидевших никто не был виноват в ее застарелом девичестве, все равно подобные им обошли ее.

Началась новая волна ночных арестов большевиков и причастных к ним. Решено было посадить оставшуюся на свободе Варвару Емельяновну Матушкину. За ней пришла Манефа.

— Не хотели мы брать, кого можно не трогать,— начала она,— да фронт пугает. Пашка Кулемин с леса заходит. Поэтому в целях,— она сделала ударение на «я»,— предупредительно-оборонительных прошу захватить самое необходимое...

Варвара Емельяновна не сопротивлялась. Поцеловав мать, она сказала:

— Я готова. Ведите.

VI

Усилившиеся аресты большевиков вызвали раздумья Сидора Непрелова, и он пришел к брату.

Герасим Петрович жил все там же, хотя и мог бы по своему новому чину занять лучшую квартиру из конфискованных. Герасима Петровича предполагали назначить министром финансов Мильвенской революционной республики, которую намеревались провозгласить на местном предучредительном собрании. Но изменившиеся обстоятельства на фронте заставили повременить с провозглашением новой державы. Мало кем знаемый, малозаметный брат Артемия Кулемина, подпрапорщик Павел Кулемин, избежавший ареста, формирует второй добровольческий полк Красной Армии, образовав фронт с противоположной Каме стороны. Со стороны глухого и бездорожного леса, вдоль речки Медвежки, потому и получивший название — Медвеженский фронт.

С возникновением Медвеженского фронта мятежникам приходится обороняться с двух сторон. О наступлении, расширении территорий больше уже не говорили. Удержаться бы на занятых рубежах и дожидаться подмоги из Сибири. О ней говорили многие, и особенно Тишенька Дударин ободрял пророчествами о скором приходе сибирских войск. А они пока не шли. Поэтому предполагаемый министр финансов Мильвенской респуб-

лики пока сидел в типографии, печатал и распределял деньги. От него многое и многие зависели. Облеченному таким доверием и такой властью было не до фермы.

— Неужели ты не понимаешь,— внушал он брату,— что нам нужно думать обо всем нашем крае, а не о своих десятинах.

Тем временем в камерах устанавливалась своя жизнь. В камерах не трогали только «фондовых». Берегли на случай обмена. Вахтеров очень строго предупредил Игнатия Краснобаева, после того как узнал об избииении им брага Африкана.

— Возможно всякое. И такие, как твой брат, как Артемий Кулемин, как Матушкин и тем более Тихомиров, могут спасти нам наши жизни. На войне возможно всякое,— повторил командующий и подал список подлежащих расстрелу только по распоряжению лично командующего.

Вахтеров не раскрывал своих карт и, как настоящий шулер-аристократ, вел двойную игру. За Медвежкой пока было тихо, но нельзя надеяться, что так будет всегда. Павел Кулемин, став командиром бригады, видимо, выжидал удобный момент, чтобы ударить наверняка и одним маршем занять Мильву. На всякий случай Вахтеров побывал у Всеволода Владимировича Тихомирова, лично заверив, что его сын, невестка, а также и остальные деятели Мильвенского комитета находятся в полной безопасности и что он, Вахтеров, головой отвечает за их полную сохранность.

Старику Тихомирову ничего не оставалось, как поблагодарить за внимание и выразить уверенность, что сказанное Вахтеровым не подлежит сомнению. В этот день Всеволоду Владимировичу показалось, что Вахтеров боится сына Валерия. Выходит, Валерий и теперь, находясь в заключении, был страшен им. Не просто же так мятежный атаман заигрывал с отцом большевика.

Если б была возможность спасти их! Если бы Павел Кулемин неожиданно ворвался в Мильву, не дав опомниться тюремщикам...

Только под утро засыпал Всеволод Владимирович, прислушиваясь к каждому шуму на улице. Ему чудился приход избавителей. Он верил в самое немыслимое, он не допускал, что Валерий может быть расстрелян. А его при первой возможности вместе со своим братом Африканом и Кулеминым лично расстреляет Игнатий Красно-

баев. И эту давно лелеемую возможность Игнатий Краснобаев ждал как самую большую радость возмездия за все свои обиды и неудачи.

Игнатий Краснобаев окончательно терял человеческий облик.

VII

Артемию Гавриловичу Кулемину приходилось сидеть в различных тюрьмах — и в каторжных, и в обычных. И ни в одной из них не было так невыносимо тяжело, как в этих камерах, никогда так мучительно долго не тянулось время, как здесь.

Столько лет идти к победе через подполье, через годы реакции, уцелеть в окружении жандармского сыска — и попасться в руки предателя Игнатия Краснобаева, по которому давно тоскует могильная яма. А он будет жить и успеет еще прикончить партийный актив Мильвы, и ничего нельзя сделать. Ничего.

Так же примерно думает и Валерий Всеволодович Тихомиров. Прожить и остаться целым в годы эмиграции, неуловимым переходить границу, спастись после июльской демонстрации в месяцы разгула террора Керенского — и здесь, в Мильве, стать жертвой шарлатанов.

Думая о себе и о своих товарищах, Тихомиров приходит к выводу, что выхода никакого нет, что при ухудшении дел у мятежников они покончат с сидящими в камерах. Об этом недвусмысленно говорил Игнатий Краснобаев.

Не ждут ничего хорошего и остальные. Только старик Емельян Кузьмич Матушкин подбадривает товарищей. Особенно Киршбаума. Он не знает ничего о жене и детях. Ему неизвестно, что Анна Семеновна и Фанечка вовремя покинули Мильву и теперь находятся за Медвежкой. Он не знает и об Ильюше.

— А я скажу вам, — твердит свое Матушкин, — что в жизни всегда нужно надеяться на жизнь. Уж одно то, что нас в один класс, в одну камеру перевели, говорит о многом.

Все слушают, и все молчат. Утешительство Матушкина никого не убеждает. На свободе остались единицы, да и те вроде Самовольникова, считавшегося не столь решительным и предприимчивым человеком. А Матушкин говорит и о нем.

— Такие тихони, как Ефимко Самовольников, в трудные минуты жизни самую смерть, случается, вокруг пальца за нос водят. Я верю в Ефима Самовольникова.

— Ты еще в него поверь,— сказал Кулемин, указывая глазами на проходящего Толлина.— Тоже может вызволить нас.

Матушкин опустил голову. Ему больно было видеть зашеинского внука с нарукавником ОВС. Маврикий часто проходил теперь мимо окон «стратегических камер», потому что он был единственным человеком, кому было разрешено бывать на третьем этаже училища, где находились документы, библиотека и все поднятое туда из нижних этажей и подвала, занятых камерами.

— А я и в Маврика верю,— сказал Матушкин.— Раскусит он их, разглядит рано или поздно. Яшка Кумынин уже одумался.

— Да откуда вам это все знать,— не утерпел Киришаум,— умным быть хорошо, а хотеть им выглядеть...

— Но-но-но, Григорий,— остановил Терентий Николаевич Лосев.— Не надо быть большим умником, чтобы разглядеть понурого Яшку Кумынина. Я даже по спине его читаю, что дело у него неважнец и глаза на наши окна стыдится поднять, когда домой ходит.

Поговорив так, заключенные возвращаются к своим мыслям. На этот раз молчание длилось недолго. В класс-камеру вошел Игнатий Краснобаев. Ухмыльнулся.

— Товарищем командующим приказано ввести в камерах политическую информацию. Так что информирую. Сибирские войска и чехословацкие части подходят к Каме. Москва окружается надежно. Теперь уж немного ждать. У всех глаза откроются. Надолго запомнят, что такое Советская власть... Прошу прощения. Вызывают к штабному телефону.

Он побежал на звонок. В классе-камере по-прежнему молчали. Находившиеся здесь не верили сказанному, но не исключали, что из сказанного что-то было правдой.

VIII

Чем дальше, тем больше задумывался Маврикий Толлин над возрастающей разницей между тем, что провозглашается и что происходит. Ему не хотелось и

на секунду пускать в свою голову сомнения, что командование МРГ делает все это умышленно, а не вынужденно. Между тем как ни хотел Маврикий обелить Вахтерова — этого не получилось. Все складывалось так, что далее стало невозможно самообманываться. Произошло событие, позволившее Маврикию увидеть подлинного Вахтерова.

Размышляя о Вахтерове, Маврикий подходил к дому, где жила Екатерина Матвеевна Зашеина. Возле дома он увидел Сонечку Краснобаеву. Она обрадованно побежала навстречу.

— Мавруша!

— Сонечка! — радостно откликнулся, подбегая к ней, Маврикий. — Я тебя совсем не вижу. Разве что-то изменилось?

— Да нет... Но все же многое произошло за это время. — Она посмотрела на красную повязку с якорем и буквами «ОВС». — Ты вступил в отряд?

— Не вступил, — почему-то покраснев, ответил Маврикий. — Я не дорос. Я повязку ношу просто так, чтобы не думали, будто я не дорос. И вообще, Соня, мне стало не с кем говорить.

— Поговори со мной!

— Ты девочка. Тебе не скажешь всего... А остальных не стало.

— Почему же не стало? Они все пока есть. Только теперь многое разделяет вас.

— Что?

— Стены тюрьмы, например, которую они деликатно называли «стратегическими камерами».

— Ты ненавидишь их? — спросил Маврикий в упор.

— Нет, я обожаю их. Я благодарна им за то, что они посадили моего отца и старшего брата Сеню. Я...

— Сеню? За что?

— Мне бы лучше об этом спросить у тебя. Ведь ты же бываешь там.

— Не там, Соня, а на третьем этаже. В училищной библиотеке. Я заведую теперь ею. Потому что библиотекарше не доверяют.

— Не сердись. Я же просто так. От обиды. Нам очень нелегко теперь. Мама плачет ночью. Толя не находит места. И ждет, что его тоже...

— Его-то вовсе не за что.

— Ильяша так же думал, пока его...

— Неужели это правда, Соня?.. Пройдем сюда, здесь глуше.— Маврикий потянул ее за руку в переулок, куда выходили огороды.

— Мавруша, ты спроси об этом не меня, а сына пристава Вишневецкого и сына провизора Мерцаева. Они вели в камеры Ильюшу Киршбаума. Им лучше знать, за что его арестовали.

Бледный Маврикий едва выговорил:

— Неужели Илья там?

— Нет. Успокойся. Он на свободе. У них короткие руки...

Эти слова Соней были сказаны слишком громко, Маврик, оглядевшись по сторонам, предупредил:

— Так и ты окажешься в камерах.

— А я приготовилась к этому перед встречей с тобой.

— Как ты можешь так, Соня?

— Но ведь ты же...— Тут она снова посмотрела на повязку ОВС.— Я не имею права быть наивной. Ну да, впрочем, этот разговор ни к чему. Скажи, что бы ты ответил, если бы с тобой захотели повидаться два твоих друга, с которыми тебя связывает клятва на деревянных мечях?

— Я бы встретился с ними. А они хотят этого?

— Да, они просят тебя.

— Когда?

— Сейчас. И только сейчас, никуда не заходя и ни с кем не встречаясь,— предупредила Соня.— Так мне было сказано.

— Они боятся, что я все-таки могу их...

— Не боятся, Мавруша, но всякий скрывающийся в лесу не доверяет и кусту. Идем же...

— Идем...

Они направились к лесу.

Лес от конца Замильвья не далее полуверсты. В крапиве за последним огородом Соней были спрятаны две большие корзины.

— Это твоя, это моя. Мы идем за грибами, Мавруша. За грибами,— с сердечной назидательностью сказала она, припомнив пословицу: — Ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами.

Осень нынче не торопила первые заморозки, в лесу стоял густой грибной аромат. Пахло коренными мильвенскими грибами — груздями. Грузди там и сям выглядывали из-под земли. Пришлось набрать их, чтобы не

идти с пустыми корзинками. Фронт хотя и далеко, верст тридцать отсюда, а разъезды рыскают и по этим близким к Мильве лесам.

Пройдя версты полторы-две по лесу, Сонечка вдруг сказала шепотом:

— Я верю тебе, Мавруша... Но я теперь не я, а они. Поклянись, что ты не изменишь своему слову.

— Клянусь! Я клянусь, Сонечка! — громко сказал Маврик и поднял руку.

— Нет, мой маленький потерянный жених, ты поклянись, как в детстве. Тут нет меча, но есть кинжал, похожий на меч.

Сонечка вынула откуда-то из-за подкладки своего жакетика нож, похожий на уменьшенный морской кортик. Она, держа его за лезвие, протянула Маврику руку, чтобы он положил на нее руку. И Маврик, сделав это, стал произносить все еще не забытые забавные слова детской присяги на мече:

— «Меч, меч, тебе голову сечь тому, кто клятву нарушит, на море, на суше, на земле, и под землей, на воде, и под водой, и всюду, и везде, даже во сне».

— Теперь целуй, — потребовала Соня, — как тогда. Маврикий, ничуть не стесняясь мальчишечьего ритуала, поцеловал уменьшенный кортик, а потом Соню.

— Это тоже клятва.

— Да. И самая главная.

IX

Затем они спустились в густые заросли оврага, и вскоре Соня трижды просвистела по-снегириному. Все мильвенские мальчишки и девчонки умеют подражать свисту зимующей здесь птицы. Послышался ответный свист, и сразу же появились Ильюша и Санчик. Они молча поздоровались с Мавриком, протянув ему руки.

Илья начал первым:

— Поговорим.

— Поговорим, — ответил Маврик.

— Сядем. Тут сухо. Соня, не уходи, — попросил Санчик. — От тебя нам скрывать нечего.

— Мавр, я не хочу спрашивать тебя, что случилось с тобой. Я не хочу выяснять то, чего нельзя выяснить просто так, на ходу, — сказал Ильюша.

— Да, Иль, лучше не говорить об этом, потому что я и сам себе теперь не могу ответить на очень многое.

— На этом и закроем первый вопрос, — повторил Илья знакомое выражение Терентия Николаевича Лосева и утеплил этим начавшийся разговор. — Ты, конечно, знаешь, во что превратили гимназию, где мы учились, место, на котором стоял дом твоего деда, в котором ты родился. Ты знаешь, что там сидят люди, которых мы все любили, любим и не можем разлюбить.

Ильюша принялся перечислять. Маврикий слышал известные имена сидевших там и молчал. Когда же Ильюшей были названы имена Елены Емельяновны Тихомировой, Варвары Емельяновны Матушкиной, Женечки Денисовой, ныне Кулеминой, жены Павла Кулемина, учителя рисования Аркадия Васильевича Грачева, — Маврикию стало душно.

— Остановись, Иль, — сказал он. — Я не знал этого.

— Ты многого не знаешь, Мавр, — сказал Санчик, — но скоро узнаешь.

Дав отдышаться Толлину, Илья принялся называть новые знакомые имена.

— Каждому из них мы чем-то обязаны, Мавр. И ни одного из них, Мавр, мы не можем назвать плохим человеком. И ты не можешь не желать им добра, какие бы политические убеждения ни были у тебя теперь.

— Да, Иль, да... Я никого из них не могу назвать плохим, какие бы политические убеждения ни были у них. Я за свободу политических убеждений. Я против, когда преследуют за то, что человек иначе думает. И если бы я мог что-то сделать для них, я бы... Я бы, наверно, ни перед чем не остановился. И ты бы, Иль, и ты бы, Санчик, и ты, Соня, увидели бы, что я никому не хочу зла...

— Мы верим этому. Мы знаем тебя, Мавр, — за всех сказал Ильюша Киршбаум. — Но можно ли не хотеть зла тем, кто приносит зло, кто живет и дышит этим злом. Можно ли?

— Нет. Зло не прощается никому. Зло за зло.

— Если бы ты это понял не на одну минуту, — сказал Санчик, — а хотя бы неделю был убежден в этом. Тогда бы тебя благодарили многие...

— За что?

Санчик не ответил, зато Иль уклончиво сказал:

— Человек может сделать все.

— Всякий ли? — опустив голову, спросил Маврик.

— Всякий. И даже такой, которому не под силу стрелять из винтовки, может оказаться сильнее и больше многих пустоголовых силачей. Мускулы — превосходство быка, но не человека, — повторил Ильюша любимое Мавриком изречение.

— Тогда говорите, что вы хотите? Зачем-то Сонечка же привела меня сюда к вам.

— Мы хотим от тебя гораздо меньше, чем ты можешь сделать, умный и добрый человек.

— А что же? Говорите! Я не умею ждать...

— Тогда скажи нам так же прямо, как ты говорил когда-то. Скажи, хотел ли бы ты, чтобы все эти хорошие люди, просто хорошие люди, были на свободе? Ведь ты же сказал, что среди них нет плохих.

— Как я могу не хотеть, чтобы они были на свободе?!

— Тогда освободи!

— Мне не до шуток, Иль!

— А я и не шучу. Ни один человек в Мильве... Ни один человек не может спасти их. Только ты.

— Это правда?!

— Правда. Только ты... И это не так трудно, если не торопиться...

— Клянусь, сделаю, что могу!

— Тогда слушай, Мавр... Но помни, что ты клялся, и знай, что ждет тебя за предательство, хотя бы и вынужденное.

Теперь они вчетвером уселись в тесный кружок, и Кишбаум неторопливо и негромко стал излагать план освобождения арестованных из камер. Маврик, как никогда, терпеливо и внимательно выслушал все, не перебивая Илью. А когда он кончил, Толлин сказал:

— Это мне кажется не таким трудным, только кто предупредит их?

— Мавр! Пусть каждый заботится о своем. Соня наш связной. И всякий наш связной, кто скажет тебе условное слово «Аппендикс».

— «Аппендикс»? Зачем же такое гадкое слово?

— Ты его никогда не забудешь. До свидания, Мавр. Вы вернетесь в Мильву с полными корзинами. Санчик, где грибы?

Иль и Маврик наполнили отборными груздями корзины. Маврик, теряя только что внушенную Ильюшей

власть над собой, торопился в Мильву, как будто он придет — и по мановению волшебной палочки арестованные окажутся на свободе.

Третья глава

I

Через телеграфные донесения Павла Кулемина, бежавшего из Мильвы, стало известно в Москве об эсеровском мятеже, а позднее об аресте мильвенских большевиков и приехавших из Москвы Валерия Тихомирова и Елены Матушкиной.

В тревожный 1918 год, когда каждое боевое подразделение было на учете, не представлялось возможным послать в далекую Мильву и малые воинские части на подавление мятежа. Мильва и другие заводы, где эсеры праздновали недолгое торжество, были тогда не самыми опасными и большими очагами контрреволюции.

В Москве нашли, что поездка в Мильву Прохорова-Бархатова будет настоящей помощью воинским частям молодого военачальника Павла Кулемина. И Прохоров выехал.

Ему, переходившему государственные границы, не составило труда перейти фронт. Труднее было найти пристанище. Явок больше не было. Мильвенский актив партии в тюрьме. Явиться в чью-либо семью безрас судно.

Прохоров, проболтавшись день на толкучке, меняя мыло на масло, узнал, что управляющий заводом Турчанино-Турчаковский не очень верит в вахтеровскую авантюру. Он только делает вид, что находится в тесном контакте с командующим МРГ.

Зная управляющего Турчаковского как человека хитрого и умного, заботящегося о своей шкуре, Иван Макарович решил побывать у него и получить наиболее полную и верную информацию по всем интересующим его вопросам.

Явившись к Турчаковскому не совсем обычным способом — через окно, выходящее в сад, Прохоров сказал:

— Не извольте беспокоиться, Андрей Константинович. Мы теперь, как никогда, нужны друг другу. Вы мне помогаете сегодня, а завтра я вам. Здравствуйте!

И Турчаковский ответил:

— Здравствуйте, Иван Макарович. Какими судьбами и зачем?

Прохоров улыбнулся.

— Судьбами все теми же — нелегальными, а вот зачем — догадайтесь сами.

Прохоров надеялся на лучшее, но трудно было предполагать, что начнется такая удивительно непринужденная беседа. Турчаковский между прочим спросил:

— Вы, конечно, нуждаетесь в убежище?

— Да нет. Я менее смел и более осмотрителен, чем это кажется.

— Не обижайте меня. У нас иногда ночует один из ваших...

— Кто?

— Прокатчик Самовольников.

— Как объяснить, Андрей Константинович, ваше такое, ну, что ли, покровительство?

— Объясните, Иван Макарович, как вам хочется. Самовольников — человек дела. И если он сказал мне: «Добро даже врагу не забывают. Спрячьте меня», — я знаю, что такие, как он, даром слов не бросают. А теперь вы. Да я в бывшей людской переночую, а вас к Матильде Ивановне в спальню упрячу.... Ха-ха...

— Неужели вы, говоря так, не шутите, Андрей Константинович?

— Да какие же шутки, батенька мой, когда кругом такой цинизм, и я на фоне этих господ выгляжу очень умеренным пошляком. Снимайте шляпу. Не угодно ли отужинать отбивными а-ля кобыле. С говядиной плохо, — пояснил он самым деловым образом. — И по единой самогоне де-натюре.

— С удовольствием, Андрей Константинович. Если бы вы знали, как я измотался в дороге.

Турчаковский позвонил. Вошла Матильда Ивановна. Она сбавила за это тревожное время в весе, по крайней мере, пуда на два.

— Знакомься, моя милая. Мой старый знакомый, князь курляндский.

Матильда принесла рюмки и графин с мутной жидкостью. И когда эта дурно пахнущая гарь жидкость была разлита, Турчаковский предложил тост:

— Выпьем за разумное единение противоречий!

— Выпьем, — сказал, чокаясь, Прохоров.

От Турчаковского, а потом и Самовольникова Прохоров узнал больше, чем ожидал. Скорый в решениях, он поставил первой задачей освобождение арестованных и второй — освобождение Мильвы. Так же думали и в штабе Медвеженского фронта. И Павел Кулемин, и Самовольников, и, конечно, Прохоров ни на минуту не сомневались, что при отступлении Игонька Краснобаев уничтожит до последнего человека сидящих в камерах.

Способ освобождения родился сразу же, как только Иван Макарович узнал о племяннике. Прохоров куда меньше, нежели Валерий Всеволодович, был удивлен поведением Маврикия. Он считал вполне закономерным, что мальчишка, выросший в религиозной среде, воспитанный на сентиментальном всепрощении, не мог не попасть под влияние такого многоопытнейшего политического дельца, как Вахтеров. Но Прохоров также был уверен, что не очень много нужно, чтобы правдивый мальчишка понял, что происходит вокруг, и извлек урок из своего прекраснодушия.

Узнав, что Маврикий ведает библиотекой училища и что ему разрешен доступ в верхний этаж, куда свалено все принадлежащее училищу, Бархатов решил встретиться с ним и начать прямой разговор:

— Как же это ты заблудился, бараша-кудряша, в трех соснах?

Подумав же, Иван Макарович побоялся испортить дело, обидев самолюбивого парня. Поэтому был найден путь окольный, через Соню Краснобаеву и ребят, поселившихся в Каменных Сотах. Этому помог Ефим Петрович Самовольников, оказавшийся редким смельчаком и мастером конспирации. Он легко переходил Медвеженский фронт. Отсыпался там, потом возвращался в Мильву для связи с боевыми тройками, пятерками, которых с каждым днем становилось больше и больше. По плану Самовольникова эти-то группы, соединясь в одну из ночей, должны были напасть на камеры и освободить заключенных.

Прохоров-Бархатов нашел это предприятие обреченным на гибель. Охрана сразу же подняла бы на ноги гарнизон. И все бы кончилось в лучшем случае спасением нескольких человек. Остальные были бы перебиты по приказу попечителя камер Игнатия Краснобаева.

Прохоров хотел действовать только наверняка. И когда Самовольников узнал о задумываемом Иваном Макаровичем, он понял его, что называется, с полуслова и сказал:

— Только бы не струхнул мальчонка...

— Об этом думаю и я, Ефим Петрович, — сказал Прохоров, когда они возвращались в Каменные Соты.

Вскоре после встречи с Сонечкой Краснобаевой, Ильиной и Санчиком решили действовать.

Сначала нужно было достать поэтажный план дома бывшей гимназии. И Соня достала его у Всеволода Владимировича Тихомирова. Ведь он строил этот дом.

Все классы, коридоры, дымоходы, вентиляционные колодцы, дверные проемы были нанесены на кальку самым тщательным образом. Теперь все упиралось в Маврикия Толлина.

Долго инструктировал Соню и ребят Иван Макарович. Предусматривалось все. И самый худший вариант, если Толлин откажется выполнять поручение. В этом случае он не вернется из леса. Его переправят через фронт к Павлу Кулемину. Там он будет в безопасности. Его никто не тронет. Но не будет угрожать и другая опасность: Маврикий не сумеет проболтаться о плане освобождения большевиков. Опасения, как мы знаем, не подтвердились. Иван Макарович находился в кустах, слышал, как разговаривали Илья и Санчик с Мавриком. Он видел лицо своего племянника. Слышал его голос, в котором чувствовалась решимость. Иван Макарович, зная давно, еще с детства, все закоулки души своего любимца, был совершенно уверен в твердости его клятвы. Иван Макарович теперь был доволен, что благоразумие остановило его и он не встретился с Мавриkiem и на этот раз в лесу, когда ничто не мешало этой встрече.

Эта встреча была не нужна. Она бы в значительной степени умалила в его глазах подвиг освобождения. Он тогда бы чувствовал, что им руководят взрослые и что не он и его сверстники затевают такое, что никогда и никому из штаба МРГ не придет в голову.

Маврикий, кажется впервые, почувствовал себя взрослым человеком. И уж во всяком случае, становящимся взрослым.

Ему так хотелось поделиться с тетей Катей, но нельзя изменять клятве. Нельзя рисковать жизнью столько хороших людей. И пусть эти хорошие люди узнают

потом, когда они очутятся на свободе, что он, Маврикий Толлин, верен себе и своим убеждениям. Он выше партийных и всяких других предрассудков. Он против произвола и насилия, от кого бы они ни исходили — от штаба МРГ или комитета РКП(б).

Уж если свобода всем, так пусть она будет свободой всем.

Если б знал об этих завихрениях в голове своего племянника Прохоров, ему было бы над чем задуматься...

III

Торопливость и нетерпение чуть ли не с колыбели были беспокойными спутниками Толлина. А план освобождения арестованных требовал большого терпения. Маврикий должен был постепенно и осторожно заполнить взрывчатыми веществами вентиляционный канал брандмауэрной стены. Для этого ему приходилось опускать приносимый Соней динамит небольшими порциями на дно канала стены, наравне с полом нижнего этажа. Толлину каждый раз приходилось подниматься на библиотечной переносной лестничке, вынимать вентиляционную решетку, ставить ее на пол, затем снова подниматься и опускать на нитке очередную дозу.

Маврикий знал, что всякая взрывчатка, начиная с обычного пороха и кончая пироксилиновыми шашками, взрывается тем сильнее, чем теснее взрыву. После семнадцатого года, когда можно было запросто купить или выменять оружие вплоть до пулемета «максим», Илья и Санчик без труда доставали на каменоломне, на вскрыше нового рудника, динамит, капсюли и бикфордов шнур. Вставив, бывало, капсюль со шнуром в динамитную «колбаску», поджигали шнур и бросали динамит в омут. Шнур замедленного действия горел не так быстро. Ребята успевали на всякий случай лечь, потому что силой взрыва подымалась не одна вода, но и речные гальки, коряги... И вообще предосторожность не была лишней.

Чем больше заполнялся канал взрывчатыми веществами, тем беспокойнее становилось на душе Маврикия. Ему казалось, что этого мало, что сила взрыва окажется недостаточной, чтобы образовать большую брешь в стене, через которую можно будет освобожденным

выбежать не толпясь. И он вспомнил о порохе, припрятанном в Омутихе на дальней пасеке. Там же в муравейнике лежали цинковые банки с патронами.

Маврикий решил разрядить патроны, взять хороший бездымный порох и высыпать его в вентиляционный колодец для полной гарантии взрыва.

Это было не под силу сделать одному. Соня позвала на помощь Ильюшу и Санчика.

Быстро пустела муравьиная куча. Они легко перетаскали банки с патронами в камыши. Спрятавшись там, все четверо вдруг почувствовали себя в детстве. Не столь далеко, но уже бесповоротно ушедшем. В этих камышах друзья играли когда-то в разбойников.

— Ильюша! — первым заговорил Маврикий. — Иногда мне кажется, что мы все еще играем в войну.

— Ты знаешь, и мне временами кажется, что все происходит не очень всерьез... Кроме пуль... Пуль, которыми мальчики, вроде Юрки Вишневецкого, убивают на самом деле... И наступает настоящая смерть... Я убегал тогда через тайные лазы краснобаевского огорода, которые мне в детстве показал Санчик. Я так же, как и в детстве, продирался через заросли репьев... И все было, как в игре, кроме смерти, которую несли те, с кем мы сидели вместе за партами.

Маврик, слушая Ильюшу, тяжело вздохнул и вспомнил о своем:

— В Петрограде в начале июля прошлого года, когда чуть ли не все вышли на улицы, побежал и я. Где-то постреливали. И это казалось даже забавно. Какие-то хлопки чуть ли не из елочных рождественских хлопушек. Пуля тогда царапнула мне плечо. Я был очень легко ранен. Очень легко, но пуля все же скользнула по спине не так далеко от сердца.

— Это правда, Мавр?

— Нет, я это выдумал, Иль! Я ведь всегда выдумываю. Но на этот раз выдумка оставила след. Извини, Соня.

Маврикий снял рубашку и показал красную черту, идущую наискось по спине от левого плеча.

— Почему же ты не рассказал нам тогда об этом?

— Я многое скрыл. Особенно после второй поездки в Петроград прошлой осенью. С меня хватит и того, что меня называли вралем за то, что я рассказал, как был в Смольном. Меня бил за это отчим. И пусть, он все

равно не мог выбить того, что произошло в Смольном и во мне. Это ли я готов был перенести. В моих ушах звучали ленинские слова. Я чувствовал себя большевиком. И я так верил, что началось счастье народа, а началось... — тут Маврикий перевел дыхание и повернул лицо к камышам, — началась диктатура и... И кровь. И вскоре все померкло для меня.

Маврикий умолк и принялся для чего-то пересчитывать полуфунтовые коробки с охотничьим порохом. Молчали и остальные. Ильюша понимал, что лучше не продолжать разговор на эту, как видно, не легкую для Маврикия тему, но все же не удержался и спросил:

— Пусть так. Но неужели Вахтеров зажег для тебя свет?

Маврикий ответил не раздумывая, не ища слов:

— Да, он многое зажег... Но недавно он сам угас для меня.

— Значит, угасло и то, что проповедовал он. Не так ли, Мавр? — спросил Ильюша. Глаза Санчика и Сони будто повторяли этот же вопрос.

Ответ последовал сразу же. Видимо, Маврикий, разговаривая с самим собой, задавал себе этот вопрос и отвечал на него:

— Видишь ли, Иль, от того, что Мирослав Томашек оказался не очень хорошим человеком и, пожалуй, даже плохим человеком, от этого не стали хуже произведения Дворжака и Сметаны, с которыми он познакомил нас. И если мне скажут, что Мирослав Томашек не любит ни Дворжака, ни Сметаны, их музыка не перестанет быть великой музыкой.

Маврикий не стал рассказывать о том внепартийном государстве равных, где отношения людей-братьев и законы строятся на взаимном уважении людей и доверии всех классов. Теперь ясно, что Вахтеров был далек от того, что проповедовал. Это все было лишь приманкой и отвлечением.

Как невозможно было Ильюше Киршбауму внушить возможность создания такого идеального государства, так же и Маврикию нельзя было доказать, что нет абстрактного, отвлеченно существующего благородства. Он бы не сумел, да и не захотел разрушить построенное внутри себя иллюзорное общество равных, основанное только на высоких законах нравственности.

И это призрачное общество равных, представляв-

шесся в разное время по-разному, было так дорого Маврикию, что, ничуть не преувеличивая, он мог пожертвовать для него всем. Но рассказывать об этой самой сокровенной мечте не хотелось даже тете Кате. Она тоже не поняла бы и, как знать, неосторожным суждением оскорбила бы самое дорогое. Ну, а уж открывать это все Ильюше с Санчиком было просто неосмотрительно. Поэтому Маврикий сказал:

— Больше не будем об этом. Давайте разряжать патроны.

Санчик, Ильюша и Сонечка переглянулись. Им очень не хотелось разряжать хорошие винтовочные патроны. В них так нуждались за Медвежкой части Павла Кулемина. Нуждались и в Каменных Сотах. Поэтому Санчик сказал:

— Павлик за каждый бы такой патрон по три спасибо сказал тебе, Маврик.

На это было отвечено так:

— Я, Санчик, сегодня в первый раз нарушил заповедь «Не укради». Я украл эти патроны не для смерти людей, даже такого... Такой дряни, — поправился он, посмотрев на Сонечку, — как Игнатий Краснобаев. Эти патроны украдены для жизни... Разряжайте и высыпайте порох в эти пивные бутылки. Мы их с Сонечкой легко перетаскаем на третий этаж.

Спорить было нельзя. Поссориться из-за патронов тем более было невозможно. Ильюша, Санчик и Соня принялись, осторожно расшатывая пули, вынимать их из шейки гильз и высыпать порох в бутылки.

Ильюша и Санчик надеялись, что, не разрывая шеек гильз, они зарядят патроны другим порохом, и патроны будут пригодны к стрельбе.

IV

По Мильве прошел слух, что кто-то видел Прохорова-Бархатова в офицерской форме без погон. Больше всех этот слух встревожил Игнатия Краснобасва. Встревожил настолько, что, храбрый в камерах и при арестах, теперь он панически боялся появляться без охраны на улицах Мильвы. Он знал силу, храбрость, умение властвовать собой этого подпольщика, бежавшего с каторги, переходившего из страны в страну, большевика, охранявшего Ленина и выполнявшего его труднейшие поручения.

Он даже допускал, что Прохоров мог появиться в одежде попа, торговли, а то и командира МРГ. Придет в камеры и прикончит Игнатия Краснобаева или, того страшнее, выкрадет его.

Этот может сделать все, и никто теперь не поручится, что его люди не работают в камерах. Такой может оказаться и сама Манефа, которая спокойно, как связанному барану, перерезает горло не желающему отвечать.

Теперь нужно повременить с расстрелами. И особенно беречь «фондовых» коммунистов. Заключение не понимали, почему проявляется такая забота. Почему вместо нар поставили кровати? Почему родным разрешили принести матрацы, простыни, одеяла и подушки? Почему появился шкаф с книгами? Шкаф с обеденной и чайной посудой? Что это? Игра? Какая? Во имя чего?

Очень странно. И совсем странно, что некоторые из второстепенных арестованных были выпущены без всяких подписок.

В городе прекратились аресты, если не считать, что за решеткой оказалась тетка Маврикия, Екатерина Матвеевна Зашеина. Арестовать ее пришли Манефа и конвоир. Манефа сказала:

— Я подневольный солдат, Екатерина Матвеевна. Но верьте мне, с вами ничего не произойдет. Будете сидеть в учительской с сестрами Матушкиными. Кроватки честь честью, и никакого плохого обращения.

— А за что? — спросила Екатерина Матвеевна. — Я ведь не состояла в партии.

— И я так же объясняла, а они другое. Ну, да там вам сразу объяснят, почему и как. Давайте я вам помогу одеться...

Манефа привезла Зашенину в закрытой карете и поселила ее в учительской с Еленой и Варварой Матушкиными. У них теперь, как и у «фондовых», то же были нормальные кровати и зеркальный шкаф для платьев.

На любезном допросе Екатерина Матвеевна сказала Игнатию Краснобаеву, что она не только все эти дни не встречалась со своим мужем Иваном Макаровичем, не только не получала от него каких-либо известий, но и впервые слышит, что Иван Макарович в Милве.

Игнатий, зная Зашенину как свою давнюю соседку, верил ее словам и теперь раскаивался, что Екатерину Матвеевну не оставил на свободе. Тогда бы ее квартира

могла стать ловушкой. А вдруг явится Прохоров к своей жене?

Но и в этом его разубедила Екатерина Матвеевна.

— Едва ли, — сказала она, — такой осмотрительный Иван Макарович мог пренебречь моим покоем и впутывать меня в политические дела.

Попечитель «камер изоляции» с каждой минутой убеждался, что совершил ошибку, исправить которую было нелегко. Выпустить Зашеину, не боящуюся говорить правду, значило совершить вторую ошибку. И без того мильвенская молва раскрывала истинные цели мятежа и тайны «стратегических камер». Женщины в этом отношении всегда были смелее мужчин. Екатерина Матвеевна, запомнившаяся своим мужеством в единоборстве с кладбищенским попом и мильвенским протоиереем, возмущенная оскорбительным арестом, могла поднять такое недовольство, что Вахтеров во имя торжества справедливости и наказания бесчинствующих не пожалел бы головы попечителя камер. Этот артист почище Всесвятского. Игнатий Краснобаев понимал, что Вахтеров не пощадит и родной матери, лишь бы обелить себя.

Екатерину Матвеевну решено было задержать в камерах до лучшей обстановки на фронтах и в Мильве. Так, наверно бы, и произошло, но из Екатерининской часовни ушла икона великомученицы Екатерины. Не исчезла, а ушла. Об этом недвусмысленно говорил не только блаженненький Тишенька Дударин. Так говорили сотни женщин.

После двух революций 1917 года, после отделения церкви от государства стало светлее во множестве человеческих душ. Во множестве, но едва ли в большинстве. Особенно применительно к Мильве.

Все в Мильве знали, что Тишенька Дударин — безобидный умалишенный, болтающий, бегая по улицам, всякую чепуху. Но можно ли не обращать внимания, когда Тишенька Дударин, привязав к палке линялый, выгоревший сатиновый, некогда красный платок, посится по мильвенским улицам, как со знаменем, и устрашающе кричит:

— Белеет, белеет, белеет оно, почтенные! Свят-свят-рассыпся! Матушка пресвятая Екатерина-великомученица, пощади, пожалей раба дьяволова Игнатия, помяни его во царствии твоём...

И снова, потрясая палкой с линялой бело-розовой тряпкой:

— Белеет, белеет оно, почтенные!

И так неутомимо с утра до вечера. Есть простой способ заткнуть рот Тишеньке — выстрелить в дурачка, и все. А простой ли это способ? Не побелеет ли еще более зная, притворяющееся красным?

Для Тишеньки нашли способ. Изловили. Дали снотворного. Предупредили мать не выпускать его из дому, но на месте Тишеньки появился другой — образованный и уважаемый ревнитель правды, веры, проповедник христианского социализма отец Петр. Он твердо был убежден, что святое евангелие и есть учение о социализме и коммунизме, искаженное при последующих переписках в угоду светским владыкам богословами и толкователями. Доказательств немало. Апостол Павел до Маркса сказал: «Неработающий да не ест». А заповеди разве не являются первоисточниками учения о коммунизме?

V

Отец Петр не верил в общепринятого православной церковью бога. Для него бог был усложнен и упрощен — это царствие божие и все светлое, высокое, чистое внутри нас, изгоняющее все низменное, человеконенавистническое и жестокое, также порождаемое нами.

Образованный богослов не мог верить, что великомученица Екатерина, протестуя, ушла из Екатерининской часовни, называвшейся в народе зашеинской часовней. Но если этому верят многие — значит, таков их внутренний свет, их правда, их нравственное величие. Опровергать это — значит низвергать царствие божие внутри них.

А если это так, то может ли их пастырь остаться в стороне?

Возникло стихийное шествие женщин, которое походило одновременно и на демонстрацию и на крестный ход. Рядом с хоругвью перукотворного спаса несли такое же подобие хоругви, на котором определенно требовалось: «Свободу невинным узникам».

Крестный ход-демонстрация, увеличивающаяся с каждым кварталом, достигла пятисот и более человек. Была тут и Кумышиха Васильевна, и Санчикова бабка-

нищенка, и Маврикова мать. Она не могла не пойти. Тогда бы сказали, что Любка Непрелова пошла против своей старшей сестры.

Участники хода-демонстрации, остановившись перед зданием бывшей гимназии, неизвестно почему запели «Символ веры»: «Верую во единого бога отца, вседержителя, творца...» Запели, может быть, потому, что это одна из самых длинных и всем известных молитв.

Испуганный и трясущийся, Игнатий Краснобас метался от окна к телефону, не зная, что предпринять. Звонить командующему — значит навести на себя гнев. Решать самому? Как? А события нарастают.

Отец Петр, в белом холщовом подряснике, в епитрахили и камилавке, в простых солдатских сапогах, с горящими глазами, направился с поднятым над головой, сверкающим позолотой крестом к главному входу.

Часовые:

— Стой!

Глуховатый отец Петр не слышит. Да если бы и слышал, то кому «стой»? Христу — «стой»?

Часовые спрашивают:

— Ваш пропуск!

Отец Петр слышит и не слышит.

Часовые взяли на изготовку и направили штыки на священника. Пение оборвалось. Послышался истошный визг сотен голосов. Юродивые забились в истерике у входа. Кликушествующая нищенка из кладбищенской церкви, роняя пену изо рта, завопила:

— Разверзись, небо! Разверзись... разверзись... — требовала она от небес, потрясая рябиновым посохом.

Отец Петр вошел внутрь дома в открывшуюся и тут же захлопнувшуюся дверь.

Разъяренный, теряющий человеческий облик попечитель-палач кинулся к отцу Петру, вырвал из его рук тяжелый крест и с размаху ударил им плашмя по лицу священника.

Кровь на лице. Кровь на кресте.

Но на этом не остановился теряющий рассудок Игнатий Тимофеевич Краснобас. Он выскочил из главного входа и принялся стрелять из нагана в женщин.

— Я покажу вам, гадины... Я научу вас...

Его голос был заглушен конским топотом. Командующий МРГ примчался с конным отрядом, еле остановив свою лошадь. Ему донесли о демонстрации с хоруг-

вами. И он готов был произнести пламенную речь, освободить, а затем преклонить колено перед безвинно арестованной Зашеиной и публично наказать анархистствующего попечителя пятнадцать сутками гауптвахты. И все было бы улажено. А теперь...

Окровавлено лицо священнослужителя, окровавлен и крест. Ранены две старухи. Плач женщины.

Медлить, выяснять и спрашивать невозможно. Оправдываться нужно только сильными и решительными мерами. По приказу Вахтерова скручивают руки шефу «стратегических камер». Его подводят к командующему. И Вахтеров хорошо поставленным голосом произносит: — Именем свободы и народа...

Прогремел выстрел. Пуля разможила череп. Бездыханного Игнатия Краснобаева уволакивают за ноги во двор соседнего дома. Командующий сказал еще не все. Он завершил речь, осеняя себя крестным знамением, забыв, что на осеняющей правой руке висит нагайка.

— Так будет со всяким, надругавшимся над святыми принципами «Свободной России».

Затем он приказал с почестями освободить дочь потомственного рабочего и прославленного мастера Екатерину Матвеевну Зашенну и пострадавшего за Христа революционного священника-социалиста, преславнейшего отца Петра.

Обманутые демонстранты облегченно вздохнули. Раненых унесли на носилках. Зашеиной и отцу Петру подали открытые кареты. Женщины-«победительницы» ликовали, благодарили, крестились.

Много ли надо, чтобы обмануть доверчивых людей.

Труднее обмануть тех, кто сидел в камерах и видел происходившее на улице. Освобождение Екатерины Матвеевны из камеры, спекулятивное убийство попечителя камер говорили не о силе мятежников, а о распаде их сил.

Для Маврикия должно бы стать убийство попечителя заслуженным наказанием за оскорбительный арест его тетки. Но Маврикий понимал, что Вахтеров не наказывал выстрелом близкого ему человека, а, выгораживая себя, желая укрепить остатки своей репутации, совершил предательское убийство.

Убив ненавистного палача Игнатия, Вахтеров, не подозревая того, убил себя. Убил в глазах не одного Маврикия Толлина.

Наутро икона великомученицы Екатерины вернулась в свою часовню, и на всех улицах говорили об этом. И никто не знал, что ее выкрала просвирня Дударина и она же вернула ее в часовню.

Несчастливая любовница безбожного кладбищенского попа Михаила на склоне лет до самоистязания принялась замаливать свои и чужие грехи.

Покойный поп умер не прощенным Екатериной Матвеевной за надругание над ней и над ее племянником Маврикием. И теперь по наущению самого бога Дударина унесла из часовни икону великомученицы и по его же наущению вернула ее обратно.

Ангелина Дударина свято верила, что не кто-то, а она помогла освободиться Екатерине Матвеевне. Грешной просвирне очень хотелось верить, что не без ее помощи был наказан смертью попечитель камер, но лучше не приписывать себе и оставить богу то, за что можно понести наказание.

Временно исполняющим обязанности попечителя камер была назначена Манефа. Ей приказали не допускать ничего унижающего временно изолированных по стратегическим соображениям.

В камерах стало тихо. Никого не допрашивали и не пытали.

Командующий вспомнил и о племяннике Екатерины Матвеевны Маврикии Толлине. За ним прискакал ординарец командующего.

— Друг мой юный и верный, — обратился Вахтеров к Маврикию, выходя из-за своего стола в ставку. — Кажется, нашлась такая часть, в которой ничто не помешает тебе служить. Я формирую полевую почту. Хочешь?

Толлин очень вежливо поклонился и еще вежливее сказал:

— Мне очень приятно, Геннадий Павлович, быть приглашенным в полевую почту. Это так подходит для моего роста. Но, Геннадий Павлович, мне надо прийти в себя после того, что случилось...

— А что именно, мой дружок? — спросил необыкновенно участливо, будто и не зная, что произошло.

— Екатерина Матвеевна — моя тетя. Та самая тетя Катя, о которой я так много рассказывал вам...

— Ах! — схватился за голову Вахтеров. — Как затуманила мне голову война... Да, да, да... Теперь тебе нужно быть с тетушкой, успокоить ее. И забыть самому эту подлую историю, которой нет названия.

Толлину был подарен небольшой браунинг и коробка патронов к нему. Маврикий не отказался. Как можно было отказаться от подарка командующего, да еще от такого, который может пригодиться в трудную минуту.

Сонечка, не выпуская из виду Маврикия, встретила его на плотине, и он рассказал ей о встрече с Вахтеровым. Это обрадовало Соню.

— А я боялась, что тебя не будут больше пускать на третий этаж.

— Напротив. Я теперь могу считаться награжденным оружием самим командующим. — Он показал ей, затем подарил браунинг и спросил: — Долго ли?

Соня и на этот раз ответила уклончиво:

— Я думаю, на этих днях.

Она не могла сказать, что еще нужно было предупредить Валерия Всеволодовича, или Кулемина, или хотя бы Лосева о дне и часе взрыва, чтобы они в последний час перед взрывом отошли как можно дальше от брандмауэрной стены и отвели других, а потом объявили побег.

Соня не могла сказать, что Ефим Петрович Самовольников давно уже принимает меры, чтоб предупредить арестованных. Самовольников должен был осуществить один из трех способов предупреждения заключенных.

Первый, менее надежный, но вполне осуществимый способ — это передача через доктора Комарова, проверявшего для видимости состояние здоровья заключенных в камерах. Он должен передать шифрованную записку Тихомирову.

Второй способ состоял в том, что престарелая Матушкина, находясь в крайне тяжелом состоянии, хочет увидеться с любимой дочерью Еленой. Что тоже вероятно, хотя и сомнительно. В этом случае Сонечка Краснобаева, ухаживающая за больной, сообщит ей о дне и часе взрыва.

И наконец, третий способ — это подвыпивший Самовольников попадет в камеры.

Сверх ожидания удались все три способа.

Ефим Петрович Самовольников в крестьянской

одежде, с лукошком яиц явился к доктору Комарову и, оставшись с ним наедине, сказал:

— Николай Никодимович, вы меня можете и не знать, но Ивана Макаровича Прохорова вы, надеюсь, хорошо знаете. Так вот я от него. Сам он не мог пожаловать по недостатку времени. Прибыли новые шестидюймовые пушки. Так что ему, как комиссару Медвеженского фронта, приходится сильно помогать молодому командиру Павлу Кулемину. И он поручил мне...

Самовольников внимательнейше смотрел за бегущими глазами Комарова, за вздрагивающей челюстью и побелевшим лицом. Это было хорошим признаком, и Самовольников приступил к сути:

— Вам, Николай Никодимович, не составит труда передать лично Валерию Всеволодовичу вот эти зашифрованные приветы от друзей и товарищей.

— Хорошо,— не колеблясь согласился Комаров.

— Благодарю от имени... И от себя лично. Иван Макарович сказал, что не забудет вам услуги. Ну а если... Николай Никодимович, по какой-либо случайности вы не сдержите своего обещания, это нам будет известно, и тогда не извольте обижаться...

— Напрасно вы так... Я никогда не был трусом. Я передам это потому, что, вне зависимости от политических убеждений, Валерий Всеволодович всегда был человеком, которым я восхищался.

— Ну, вот и полная договоренность. Счастливо. А яички я оставляю для маскировки, — сказал Самовольников и ушел.

Записка, состоящая из цифр, была передана доктором в тот же день.

VII

На другой день «подобревший» командующий разрешил Елене Емельяновне Матушкиной навестить мать. Ей стало лучше на прошлой неделе, и теперь она чувствовала себя здоровой, но Соня объяснила ей, почему нельзя подыматься с постели.

Елену Емельяновну привезла в закрытом экипаже Манефа.

— Какие узоры вышивает судьба, только подумать,— начала она разговор в экипаже.— Давно ли на этой улице замирялась наша школа с вашей земской и потом

ваша школа была у нас на елке и наша у вашей. А что теперь?

— Удивительно. Очень удивительно, — так же непринужденно разговаривала Матушкина, будто разговор шел в перерыве учительского совещания или за чайным столом. Будто в экипаже находились не палач и арестованная.

Прошли через кухню. Дверь открыла Сонечка Краснобаева. Манефа не пошла в комнату к больной и осталась за перегородкой. Но так как через тонкую тесовую перегородку слышен и шепот, Соня не могла сообщить о взрыве. Елена Емельяновна, заметив это, спросила Сонечку:

— Н-ну, нерадивая ученица, как у тебя с французским?

И та, просняв, ответила — стала читать без запинки хрестоматийное французское стихотворение «Маленький трубочист». А потом она, зная, что Манефе неизвестно по-французски ничего, кроме «пальто», трижды сообщила о дне и часе взрыва глухой стены дома гимназии.

— Очень хорошо, — сказала по-русски Елена Емельяновна. — Я тебе ставлю пятерку. Только ты должна работать над произношением. И потом, когда говорят, что часы пробили столько-то, всегда добавляют утра или вечера.

— Вечера, конечно, вечера. Разве я не сказала? Извините, пожалуйста.

Прощаясь с матерью и Соней, Елена Емельяновна успокоила мать:

— Не надо волноваться, мамочка. Нельзя обижаться на стратегический арест. В таких случаях всегда берут заложников. Нас содержат очень хорошо. И даже выдают папиросы. Выздоровливай, родная моя.

— Твои слова лучше всякого лекарства. Скажи спасибо Манефе Мокеевне за добрую ее душу и заботу о вас. Екатерина Матвеевна очень хвалила вашу надзирательницу.

Манефа готова была растаять, слыша эти слова. Жестокость, а теперь кровожадность уживались в ней с сентиментальностью. Она была до того польщена отзывами, что на обратном пути шепнула Елене Емельяновне:

— Хотите, я вас освобожу...

— Да что вы, дорогая моя... Куда? Зачем? Это же

верная гибель. Нет уж, Манефа Моксеевна, от вас я ни на шаг.

Размягшей Манефе хотелось сказать, как ошибается Матушкина, как напрасно она, смертница, считает себя заложницей. Но разве можно раскрывать ей это? Вот когда дело дойдет до расстрела, она вытолкнет Матушкину за двери черного хода и шепнет: «Спасайтесь!»

Удался и третий способ. Арестовали «пьяного» Самовольникова, задиравшего часовых камер. Он сел накануне взрыва, и, узнав, что Тихомирову все известно, Самовольников стал морочить голову надзирателю. Он попросил у него «опохмелиться» и принялся давать ему «ценные» сведения. Нужно было оттянуть время и продержаться несколько часов.

Из разговоров допрашивающий Шитиков понял, что Самовольников будет верно служить ему внутри камер и сообщать о каждом из сидящих. Пообещав его наградить, Шитиков потребовал дать подписку служить секретной службе МРГ. И Самовольников дал примерно такую же подписку, какую давал Шитиков-Саламандра, вербуясь агентом жандармского управления.

VIII

Осень все настойчивее и громче заявляла о себе шумом ветра, противным шелестом дождей и прощальными криками улетающих птиц.

Маврикий, ночевавший у тетки, проснулся поздно. Пришла Соня. Улучив минуту, когда Екатерина Матвеевна вышла на кухню, она шепнула:

— Это будет сегодня...

У Маврика снова сильно забилося сердце, и он опять начал немножечко заикаться, а затем, как это бывало, почувствовал себя сильным, смелым, ничего и никого не боящимся человеком.

Как медленно стали двигаться стрелки двух часов, которые принесла ему Соня и сказала:

— Остановятся одни — не подведут вторые.

Нужно быть очень точным. Очень. Сонечка сказала, что шнуры нужно поджигать ровно в шесть. Точно в шесть. Ни на минуту раньше. Нужно убедиться, что положженные шнуры горят. Закрыть все двери на ключ. Проверить, что они закрыты. Каждую дверь дернуть.

Забить скважину последней двери глиной. Не оглядываясь, выйти во двор, потом через калитку на Большой Кривуль. И, не ожидая взрыва, отправиться к Сперанским. Просто так. Давно не виделись. Времени хватит. Шнуры замедленного действия будут гореть шесть минут. Ровно шесть.

Кто-то очень умный, предвидящий все, инструктировал его через Соню. Не Санчик, не Иль. Так мог только Иван Макарович или Кулемин. Но один — в камерах, а другой — в Москве. Не поверил бы Маврикий, если бы кто-то сказал ему, что Иван Макарович с небольшим отрядом проводников залег в огороде Кулеминых за старой баней и тоже сейчас, волнуясь, следил за стрелками часов. Следили за стрелками дважды перепроверенных часов и Артемий Гаврилович Кулемин, Григорий Савельевич Киршбаум и Валерий Всеволодович Тихомиров.

Медленно ползшие стрелки часов пошли быстрее, когда время приблизилось к шести. Они пошли совсем быстро, когда до шести оставалось пять минут. За две минуты из камер, близких к брандмауэрной стене, были выведены заключенные.

Спички наготове. Обе коробки. Неужели что-то помешает? Удивительно, но именно в этот вечер разбежались крысы. Спокойно, Маврикий. Он вынул вентиляционную решетку. Если бы кто-то постучал, он все равно успел бы вытянуть оттуда и поджечь бикфордовы шнуры, и ничто их уже не погасило бы.

Спички в руках. В руках зажигалка. Это ничуть не смешная предосторожность. Он смотрел на секундные стрелки часов. Одна обгоняла другую. И пусть. Секунды не играли роли. Успокойся, сердце. Тверже руки. Чирк! Зажег один шнур. Зажег второй. Спокойно пошел к дверям. Открыл и закрыл одну дверь. Потом вторую. У нее всегда заедало ключ. Теперь он как по маслу. И вот она, третья. Закрыл. Вот ком глины. Замазал скважину. Вот двор.

Дорогу перебежала кошка. Ничего. Она не черная. И не чья-то, а добрый сторожихин, теперь бездомный кот Клякса.

Вот и Большой Кривуль. Прошло только полторы минуты. Еще полторы или меньше, и он у Сперанских.

— Здравствуйте! Мальчики дома?..

— Да, проходи, Маврик.. Они пьют чай.

Послышались выстрелы и взрывы.

Нет, это не там. Это совсем в другой стороне. Там, где фронт!

— Куда вы? — остановила сыновей мать.

— Тревога! — крикнул старший. — За мной!

Все выбежали на улицу. А там мчались верховые. Бежали солдаты в сторону пальбы и взрывов.

Маврикий мельком посмотрел на часы. И минута в минуту, как сказала Сонечка, послышался рев. Глухой рев. Это и порох, и динамит, и гранаты, взрываясь внутри стены, дали такой протяжный гул.

— Наверно, на заводе взлетел на воздух котел, — высказал подозрение старший Сперанский.

— Наверно, наверно, — обрадованно согласился Маврик, не желая ни при каких обстоятельствах идти к зданию бывшей гимназии, куда так тянуло и так хотелось узнать, какова брешь в стене, спаслись ли узники и кто снял часовых.

Но на это сейчас отвечала всеобщая паника. Слышались крики:

— Спасайтесь! Пашка Кулемин прорвал фронт!

— Окружают...

Кто бы поверил, что эта паника была обязана рабочим парням из Каменных Сот. Они заставили стрелять все — и дедовские шомполки, и шурфы в каменоломнях, и динамит, зарытый в землю цепочками гнезд.

Илья Киршбаум, Санчик Денисов с товарищами подняли пальбу, чтобы привлечь внимание к лесу и тем самым обезопасить побег из камер.

И это им удалось.

Одни действовали за городом, другие в городе. У самых камер они кричали о прорыве на фронте, о спасении бегством. Поэтому часовые у главного входа и под окнами бывшей гимназии покинули посты до взрыва стены. В наряде были чехи, не желавшие сражаться и согласившиеся после уговоров нести караульную службу.

В эту ночь Маврику очень хотелось увидаться с Соней. Но ему строго-настрого было наказано не отлучаться от Сперанских. Чтобы никакой тени подозрения. Сейчас Маврикию становилось ясно, зачем нужна была такая точность взрыва. Нет, нет, не Иль с Санчиком затеяли это все. И не одна молодежь произвела такую невероятную операцию.

Сперанские вызвались проводить Толлина до дому.

Все-таки ночь тревожна. Когда они проходили мимо торговых рядов, им встретился бежавший на сумасшедшей рыси Тишенька Дударин. Он возвещал:

— Гуль-гуль-гуль... Все голуби под крыло к Ленину полетели... Гуль-гуль-гуль... Одна только бабушка осталась. Гуль-гуль-гуль, — размахивал он руками, как крыльями.

Значит, спаслись. У Маврика от счастья подкашивались ноги.

Четвертая глава

I

Наутро все узнали о побеге заключенных. Хотя здание «стратегических камер» было оцеплено, но многие уже видели большой пролом в стене после взрыва.

Газета «Свобода и народ», вышедшая рано утром, рассказывая о ночных беспорядках, говорила о банде совдеповских анархистов, которые полностью пойманы, как и подавляющее большинство заключенных.

На самом же деле из освобожденных была задержана, как вчера ночью исчерпывающе точно сообщала «бегающая газета» Тишенька Дударин, только одна старуха Анна Зарубина, мать токаря Зарубина, спрятавшего у нее дома пулемет. Старухе отказали ноги. Остальные же группами были уведены проводниками Прохорова-Бархатова окольным путем через прикамский лес в штаб Медвеженского фронта. И все добрались благополучно.

Всесвятский первым увидел, что мельвенская афера дала самую страшную трещину в настроении людей. Для него пулька была сыграна, и он, не желая дожидаться утомительного и позорного доигрывания, бежал в Тобольск до лучших времен. Когда об исчезновении Всесвятского узнал Вахтеров, его впервые оставила уверенность в себе. И он впервые трезво оценил создавшееся положение. В этот же день Вахтеров тайно советовался с инженерами завода, в частности с талантливым и универсальным инженером Петром Алексеевичем Гоголевым, о переправе через Каму. Отступать можно было только в закамскую пермскую дремучую парму, где если и была Советская власть, то ее представляли два-три человека на волюсь. При отступлении за Каму появлялась надежда встретиться с войсками сибирской

директории и силами восставшего чехословацкого корпуса. Инженерам же было сказано, что переправа необходима для скорейшего перехода через Каму приближающихся сибирских и чехословацких войск. Инженеры сделали вид, что они верят, и занялись изысканием способов возведения переправы через Каму.

Чем больше темнил Вахтеров и его приближенные, тем отчетливее проступало истинное положение вещей. Не очень-то хотелось мильвенцам, оказавшимся под ружьем по мобилизации или по добровольной дурости, уходить куда-то за Каму. Когда фронт был под Мильвой, да еще такой тихий, — это еще туда-сюда. Можно было иногда попроситься домой и выпариться в бане, выпить-закусить, переночевать, а что там?..

И ко всему этому началась агитация, и появились листовки. Ожил Киршбаум. Призывные оттиски его штемпелей появлялись на афишах, которые расклеивались на заборах, просто отдельными билетиками разбрасывались на толчке, на улицах. Говорилось кратко: «ПРИШЕДШЕМУ К НАМ С ОРУЖИЕМ — ПОЛНОЕ ПРОЩЕНИЕ» — и мелким шрифтом подпись: «Мильвенский Совдеп».

Павел Кулемин и комиссар Мильвенского фронта Прохоров не расходились во мнениях. Тот и другой считали, что каждый новый день работает на них, открывая глаза доверчивым и заблуждающимся мильвенцам. Тот и другой считали, что Мильве непрестанно нужно напоминать о Красной Армии, закрепившейся в тридцати, а местами и в двадцати верстах от города. Красная Армия и сама непрестанно напоминала о себе кавалерийскими разведками, артиллерийской стрельбой, вылазками в тыл мятежников.

Закрепившись в лесу, Кулемин успешно формировал и по мере возможности вооружал части своего фронта. Нужно было дожидаться, когда вахтеровская авантюра станет понятной и ненавистой большинству, и тогда малыми потерями легко будет одержать победу.

После взрыва стены камер в штаб Павла Кулемина прибыли первые солдаты с раскаяниями и признаниями, с воплями и обещаниями загладить свои ошибки с оружием в руках.

Вопрос об очищении Мильвы был предрешен, и Валерий Всеволодович Тихомиров и Елена Емельяновна решили вернуться в Москву к своим обязанностям.

Прощаясь с Прохоровым, Тихомиров спросил, а кто все-таки конкретно учинил взрыв, кого они должны благодарить. Прохоров на это ответил:

— Пока герой взрыва находится среди врагов, я бы не должен называть его имени. Но вам мне даже хочется его назвать. Это мой племянник Маврикий, Маврикий Толлин... И Сонечка Краснобаева, как, так сказать, комиссар взрыва.

— Я никогда бы не поверил, если бы мне об этом сказал кто-то другой. Маврик так верил им...

— Он и сейчас еще не разуверился в них... Не в них, а в мелкобуржуазных надеждах на благополучие без какой-либо диктатуры.

— А почему бы его не переправить сюда, за линию фронта, и не обезопасить нашего друга от возможных подозрений?

— Соня предлагала ему. Его друзья Денисов и Киршбаум обещали перевести его через фронт.

— И что же он?

— Он ей сказал, Валерий Всеволодович, нечто поразившее и меня. Я знаю Маврика с восьмилетнего возраста, когда он приходил ко мне в пермскую мастерскую. Маврикий сказал Соне, что он спасал не большевиков, а хороших и любимых им людей. И то, что они большевики, сказал он, дело их совести.

Это не понравилось Тихомирову. Ему очень не хотелось винить Маврика, любимого им и особенно его женой. Маврик не мог быть виноватым в том, что он такой. Должен быть повинен кто-то. И Валерий Всеволодович раздраженно сказал:

— Как же так могло случиться, что вы, по сути дела, для него больше, чем отец, не сумели уберечь от враждебных влияний такого редкого, такого, я бы сказал, редчайшего по своим нравственным достоинствам мальчишку. Конечно, мальчишку. Ему еще нет и шестнадцати... Как это могло случиться?

— Я ни в чем не оправдываю себя. Но много ли я был с ним? И потом так необычно формировались его взгляды. Бабки, тетка, религия, сказки, жизнь с отчимом, поиски идеального... Я, кажется, повторяюсь... Но что скажешь нового, коли бесспорно старое. Нет, я не берусь объяснить, почему он оказался там; — говорил тоже взволнованно Прохоров, чувствуя в чем-то виноватым и себя.

Как бы отвечая Ивану Макаровичу, Маврикий говорил Соне, когда они встретились на плотине возле зубастого знакомого с якорем на хребте.

— Я и сам не знаю, с кем я, Соня, — слегка, совсем немного рисуясь и любуясь собой, отвечал Маврик. — Я, кажется, остался один, и мне теперь, кроме тебя, не с кем поговорить откровенно. Ведь я даже тете Кате не могу сказать о взрыве. Я теперь совсем один.

— А я?

— Ты? Ты же уйдешь к своим. Арестованные на свободе, и тебе здесь нечего делать.

— Могу ли я бросить тебя после всего, что случилось... Это хуже измены.

— А разве мне грозит опасность?

— Ну все-таки, Мавруша... Ты же не умеешь ничего скрывать. Тебя тетка не научила этому необходимому искусству.

Тут мнительное воображение Маврика неожиданно быстро стало рисовать картины, как его схватывают, подводят к брандмауэрной стене и спрашивают: «Ты?»

И он выдает себя своим испугом, а потом камеры, пытки разъяренного Шитикова и расстрел в подвале.

Мнительность шептала ему, что нет секрета, который был бы известен хотя бы только двоим. Конечно, Соня никогда, даже на кресте, не назовет его имени. На нее Маврик надеялся больше, чем на себя. Но ведь о взрыве знали Иль, Санчик и еще несколько не известных ему человек. А может быть, и все убежавшие знали теперь, что это он помог им убежать из камер. И может быть, они из самых лучших чувств предали его, хваля и благодаря. А Медвеженский фронт не сплошная стена. Туда и сюда ходили, как из огорода в огород. И кто-то мог оттуда принести смертельную весть.

Думая так, он вдруг вспомнил, что в последний раз, когда он видел Леру Тихомирову, она вдруг ни с того ни с сего поцеловала его.

А вдруг она сделала это за дядю и за теток? Если это правда, то — Лера не Соня — она может предать его, не желая этого, восхищаясь им, рассказывая какой-либо верной подруге, которая может рассказать, так же восхищаясь им, другой своей верной.

У Маврика похолодел лоб и, кажется, застыл мозг.

Он так радовался, так ждал дня, когда прогремит взрыв, совсем не думая, что ему потом будет невыносимо страшно.

Мнительность всего лишь преувеличивает опасность, а опасность существует. Не выдумывает же Маврикий, рассказывая Соне, как вчера подошел к нему Юрка Вишневецкий и спросил, не нужен ли Маврикию настоящий винчестер с патронами. А потом спросил, где Маврик находился во время взрыва. И Маврик ответил, что он был в гостях у Сперанских.

Маврик не знал, просто ли так спросил его Юрка Вишневецкий, или его подослали спросить. Нужно предполагать в таких случаях худшее. Нельзя спокойно ждать, прав ты или нет, убьют тебя или ты останешься жив и невредим.

— Мавруша, теперь и я думаю, что тебе нужно исчезнуть из Мильвы.

— И я сейчас подумал о том же, — проговорил он дрогнувшим голосом. — Но куда? Не посоветоваться ли с тетей Катей?

— Но тогда ей нужно рассказать все, — предупредила Соня.

— Нет, зачем же... Можно спросить о том, что если кто-то сделал что-то... И в этом роде...

И они не медля и минуты пошли к Кумыниным, где после оживления на Медвеженском фронте скрывалась Екатерина Матвеевна.

— При убеге все может быть, — наставляла ее Васильевна Кумыниха. — Хоть ты и беспартийная, а большевикова жена. Надо тебе схорониться. Наша Симка тоже схоронилась у дальней родни. Проткнут штыком — и доказывай тогда свою правду.

Забегая опять вперед, скажем, что Васильевна не ошибалась. До того не ошибалась, что спасла жизнь Екатерине Матвеевне. Об этом станет известно потом, а теперь Соня и Маврикий пришли огородами к Кумыниным. Екатерины Матвеевны там не оказалось, ее перепрятали к соседям. Пошли туда. Через топь и кусты. Наконец встреча состоялась.

Маврикий начал издалека. Каков он хитрец и дипломат, знали все, а уж Екатерина-то Матвеевна тем более. Наконец, нагромождая придуманное, он спросил:

— Тетя Катя, как ты думаешь, найдут того, кто взорвал стену камер?

Екатерина Матвеевна, ужасаясь своему открытию и опасаясь теперь за жизнь своего сокровища, решила проверить себя и пристально посмотрела в глаза племянника. «Это — он».

— Если твой знакомый останется в Мильве, — спокойно ответила тетя Катя, — то рано или поздно эти собаки дознаются и могут допросить его. А если этот человек не очень тверд, то его заставят сознаться на первом же допросе.

— Значит, ты думаешь, тетя Катя, что нужно бежать... этому человеку?

— Думаю — да.

— А куда?

— Мало ли городов и глухих мест. Верхотурье, например... Елабуга.

Маврик и Соня переглянулись. Потом переглянулись Екатерина Матвеевна и Соня. После этого Екатерине Матвеевне можно было ни о чем не спрашивать. Она сказала:

— А есть ближе место, если этот человек был нашей родней или твоим товарищем. Дымовка.

— Какая Дымовка?

— Разве ты забыл Дарью Семеновну, родную сестру твоей бабушки?

— Нет. Я помню, помню и дедушку Василия Кукуева.

И он вспомнил бабушкины похороны. Вспомнил стариков Кукуевых, приезжавших из Дымовки. Тогда Дарья Семеновна сказала, что теперь она осталась его последней бабушкой. Хотя и двоюродной, но бабушкой. Чего же раздумывать? Но где искать далекую закамскую деревню Дымовку? Да и живы ли старики? Прошло с тех пор около восьми лет.

Об этом же думает тетя Катя. Последнее письмо от них она получила года два тому назад.

Теперь, когда все было готово, Маврикий задумался, а что будет с матерью и главным образом с тетей Катей, когда узнают о побеге и окончательно заподозрят его во взрыве стены.

Умненькая Сонечка подсказала ему:

— Мавруша, ведь ты же бежишь к казакам, в оренбургские степи, где тебя никто не упрекнет в росте и дадут тебе коня, саблю и пику по твоим силам. Так и напиши своей тете Кате.

Так и было написано:

«Милая тетичка Катечка! Мне надоело быть виноватым за мой рост. Меня не приняли в МРГ, которую я люблю всей душой. Зная, что ты и мама не отпустите меня в оренбургские степи и не захотите, чтобы я стал оренбургским казаком, я вынужден теперь бежать тайком. Скажи об этом маме и попроси прощение за то, что взял без спроса немного денег царских и керенских, и других, — я не знаю, какие там ходят. Прости меня, моя родная тетечка Катечка. Поцелуй за меня маму. Я еще прискачу с казацкой сотней помочь нашей непобедимой и великой мильвенской гвардии. Твой М. Толлин».

— Очень хорошо. Не надо и переписывать. Ошибки и пропущенные слова показывают, что ты волновался. Я сама снесу его Екатерине Матвеевне, а ты жди меня в семь утра у столба на второй версте, как условились.

III

Размышления старой жандармской ищейки Саламандры и совсем юного полицейского щенка Юрия Вишневецкого заставили заподозрить в участии во взрыве Толлина, имевшего доступ на третий этаж дома бывшей гимназии. Так как бесспорных доказательств у них не было и так как Маврикий Толлин пользовался личным покровительством командующего (теперь уже главнокомандующего, как будто что-то изменилось) Вахтерова, то, посоветовавшись с чинами пониже, Шитиков и Вишневецкий решили пригласить подозреваемого на место преступления, в библиотеку третьего этажа, и, смотря по тому, каков вид будет у этого не очень испытанного подрывника, повести дело дальше.

Шитиков и не сомневался, что желторотый герой тут же расплатится и начнет просить прощения.

Было уже поздно, когда план привода и начала следствия Толлина окончательно созрели. Шитиков не стал беспокоить ночью уважаемого начальника мильвенских финансов Непрелова, решил дожидаться утра следующего дня.

И следующий день настал. Счастливые сны спились Саламандре. Он, предвкушая радость благополучного исхода дела, поднялся рано и стал прогуливаться по Купеческой, ныне Революционной улице.

Маврикий не выходил из дому. Уже все разошлись по делам, и уже сестру Маврика нянька вывела на прогулку, а он не показывался.

Тогда Шитиков спросил о нем у молодойки, которая ради пропитания нанялась в няньки к Непреловым.

— А они у нас с потемок еще ушли. На рыбалку, — ответила она.

— На какую такую рыбалку? — спросил Шитиков.

— На разную: кто попадет.

— А куда? — чуть не крикнул Шитиков.

— А вы не очень. Я к ним нанялась, а не к вам.

Шитиков ссутулился, улыбнулся, попросил прощения и ласково-ласково спросил:

— Куда?

— Известно куда! У них свой пруд, своя рыба на ферме.

Это соответствовало логике вещей. Шитиков тотчас помчался на конный двор за лошадью.

Простоватая нянька и не предполагала, какую услугу оказала она Маврикий, направив Шитикова в Омутиху, в противоположную от Камы сторону, куда лесами пробирался Маврик в сопровождении верной Сонечки.

Не знали они, что всего лишь несколько минут помогли им не встретиться с Саламандрой, который весь день будет рыскать по омутихинским лесам и болотам в поисках Толлина.

Не любя осень как осень, как время года, Маврикий каждый раз убеждался, что цветущая весна беднее красками. Она, как невеста, только в белом. А осень, как женщина средних лет, в самом бесцеремонно-ярком. В малиновом. В рябиновом. В пунцово-осиновом. Или в солнечно-желто-березовом. И откуда у осени столько цветов. Все, кроме белого. Будто она боится накликать им ранний снег, который приносит конец всем цветам и оттенкам лесов и полей.

Все страшное позади. А что впереди? Может быть, лучше пока не думать об этом и радоваться, что с ними ничего не случилось, что столько людей теперь на свободе. Конечно, не плохо бы сказать тете Кате, что это он и она... Не для хвастовства. Ничуть. А для того, чтобы она гордилась Маврикием. Ведь спасти от смерти людей — общечеловеческий подвиг.

А Соня думала о другом. Она думала о том, что никогда не следует отрицать то, в чем ты не уверен или

не очень уверен. Одни говорят, что люди чувствуют приближение своей смерти, считая, что если животные предчувствуют свой конец и уходят умирать, то почему высшее существо — человек должен быть лишен этого качества. Другие, отмечая все это начисто, считают предчувствие смерти чистой мистикой.

Сонечке казалось, что ее очень скоро не будет на свете. Предчувствие ли это или результат какого-то самовнушения, вызванного напряжением всех сил и потрясением последних дней, она не знала, но вела себя с Мавриком так, как будто, прощаясь с ним навсегда, хотела испытать всю радость жизни, которая вот-вот должна оборваться.

IV

Маврик заметил, что Соня сегодня, да и все эти дни, тоже как осень. Какая-то многоцветная и яркая. Не по одежде и лицу, а по тому, как она смотрит, как говорит, как ведет себя с ним. Она всегда была старше его, будучи моложе почти на год, а сегодня она совсем взрослая и властная. Прикажи она ему «плыви через холодную Каму» — и он поплывет.

— Мавруша, — шепчет она, глядя ему в глаза. — Ты мой первый и мой последний, — она не сказала «кто». Не нашлось слово. — Ты такой хороший, хороший до того, что тебе самому невозможно понять, какой ты...

— Соня, — взмолился Маврикий. — Зачем так?

— Но ты не гордись этим, — предупредила Соня.

Маврикий не захотел поддерживать этого разговора. И Соня умолкла. Они вышли к логу, спускающемуся к Каме между двух яров. Маврикий помнит этот лог с заброшенной избушкой бакенщика. И Соня бывала здесь с братьями.

— Тут и заночуем, — сказала она. — Смеркается. Куда же ты ночью по незнакомому закамскому лесу?

— Да, — поежился Маврикий.

— Тебе холодно, Мавруша?

— Да нет.

Они вошли в пустую избушку бакенщика, поселившегося теперь двумя верстами выше.

— Давай готовить ночлег, пока не совсем стемнело.

А темнело очень быстро. Небо заволакивало тучами.

Когда Соня натаскала сухой травы на тесные нары бобыля бакенщика, стало совсем темно и еще глуше.

Пугающая осенняя тишина. Только редкий всплеск рыбы да еле слышимый заунывный плач филина в закамской парме подтверждали, что на земле продолжает-ся жизнь.

После больших страхов всегда приходит бесстрашие. Они, обсидевшись в темноте, радовались этому мрачному и холодному пристанищу, ставшему таким гостеприимным.

Разводить огонь, конечно, было нельзя, а неплохо бы затопить очажок, нагреть избушку. К утру она здорово выстынет.

— Ничего, Мавруша, ничего... Ночь, наверно, будет теплой. Облака же. Ложись, завтра встанем чуть свет.

И они легли на сухую траву, укрывшись Мавриковой шинелью, и не слышали, как пошел дождь, как прошла какая-то пьяная ватага по берегу. Они очутились далеко от этого берега и высоко над землей, за облаками, где солнце и где никогда не бывает ненастной погоды...

Утром, целуя его, Соня сказала вычитанные где-то ею слова:

— Война, как смерть, торопит жизнь.

А потом они вышли на берег. Светало.

Перебраться за Каму в обычное время не составляло никакого труда. Теперь же, когда шныряли конники разведки МРГ, рискованно было просить рыбака или бакенщика перевезти на тот берег. Но ищущий чаще всего обретает. Близ берега сверху вниз в легкой лодчонке возвращался, видимо после лова, парень.

— Будь другом, остановись,— окликнула его Соня.

— А кто вы? — спросил он, подплывая к берегу.

— А мы никто. Капканчики да ловушки у брата за Камой поставлены,— ответила Соня, показывая глазами на Маврикия. — Наверно, уж много попалось.

Это заинтересовало простоватого парня, и он спросил:

— А сколь заплатишь?

— Пачку «Кузьмы». — Сказав, Маврикий показал пачку папирос с портретом знаменитого казака Кузьмы Крючкова.

— Давай!

Маврикий прыгнул в лодку.

— А ты?

— А я тут подожду вас, — ответила Соня.

Лодка отплыла. Парень приналег на весла. Когда лодка миновала средину, раздался выстрел, затем второй и третий. Соня отошла в береговые кусты. Стрельба прекратилась. Соня так и не узнала, что это была за стрельба. Хотели ли стрельбой остановить лодку или били зверя в лесу?

Увидев, что Маврикий благополучно сошел на берег, Соня махнула ему из кустов платком. Махнул и Маврикий. Верхняя Кама в этом месте была не так широка, и Соня видела, как простившись с парнем, он пошел в лес. В чужой, незнакомый лес.

Что-то ждет тебя, Маврик, в таинственном закамском лесу?

А что ждет тебя, Сонечка, на этом мятежном берегу?

Пятая глава

I

— Плохо, Любочка, когда падают деньги, — делился с женой Герасим Петрович. — С падением денег падает и доверие к тем, кто их выпустил. Из армии бегут. Удерживать фронт дальше едва ли хватит силе-нок. Наверно, Вахтеров отступит за Каму.

— А ты?

— Придется и мне. Я же мобилизованный и не могу...

— А я как же, когда придут красные? — спросила раскрасневшаяся от волнения Любовь Матвеевна.

— А тебе-то что? Ты-то при чем? Да и красные-то ведь не какие-то, а знакомые люди.

— Но я же, Герася, жена белого офицера...

— Во-первых, не белого и не офицера, а чиновника военного времени, которого мобилизовали, — подчеркнул он, — понимаешь, мобилизовали как специалиста по финансам и заставили печатать деньги.

— Но других-то не заставили, Герася?

— Другие воры, а я зарекомендовал себя честным человеком. В этом мое несчастье. Но, может быть, — стал говорить он, явно не веря своим словам, — как знать, подойдут сибирские войска, и тогда не о чем будет беспокоиться.

— Ты утешаешь меня?

— Да нет, Люба, я не утешаю. Сибирские войска

рано или поздно придут, коли они идут. Не нужно было торопиться сумасбродному Вахтерову с переворотом. Переворот был своевременен через месяц, через два, когда белые будут ближе. Вахтеров думал только о себе, — рассуждал Непрелов, — а не о нас. Ему хотелось прогнать на весь мир. А что получилось? Недавно сбежал Всесвятский. Это верный признак скорого крушения...

Герасим Петрович строил правильные догадки. Вахтеров оставил бы Мильву, но его задерживало возведение переправы через Каму. До ледостава было не столь далеко, но вдруг Павел Кулемин и его штаб не дадут улизнуть поредевшей МРГ.

Вахтеров, скрывая отступление, маскировал его переписью домов, изъявлявших согласие приютить на день или два доблестных сибиряков, продвигающихся через Пермь, Вятку, Вологду в Петроград и через Казань, Нижний Новгород на Москву.

А тем временем завершалась переправа. У берегов сплавивались и закреплялись плоты. Далее ставились на якоря шаланды, промежутки между ними перекрывались хлыстами лиственниц и елей с накатом из досок и подтоварника.

Об отступлении стало известно за час. В полночь Мильву покинуло командование и учреждения, связанные с ним.

Герасим Петрович наскоро поцеловал спящую дочь и сказал жене:

— Любочка, не бойся. Ну кому ты нужна...

Сказал так и умчался на большом выносливом Карьке.

Первым, если не считать конной разведки, перешел Каму третий чехословацкий полк. Почему он был третьим, коли не было первого и второго, знал только Вахтеров, а почему отряд, не превышающий роты, назывался полком — знали все. Многие малочисленные отряды и соединения назывались полками и бригадами. Иначе невозможно считать МРГ армией, коли в ней всего один, да и то неполный полк.

Вслед за чехами за Каму переправились обозы первого и второго разряда, военный госпиталь с прехорошенькими барышнями, ставшими сестрами милосердия. Под охраной почетных всадников двигался за Каму особый обоз Чураковых, Шишигиных, Мерцаевых, Шульгиных и прочих, кому было страшно встречаться

с Красной Армией. В этом же обозе уходили за Каму **семьи** наиболее выдающихся бандитов МРГ.

В полночь части мятежников тихо и стремительно отступили. Братья Кулемнины и Прохоров видели, как **же** очень обученные и очень запуганные и того больше **обманутые** мильвенцы, кто в ватниках, кто в обычных **шалтишках**, убегали к Каме, минуя город.

— Я не знаю, Иван Макарович, — сказал Павел Кулемин Прохорову, когда они в молодом соснячке, не **спешиваясь**, наблюдали за отступлением. — Не знаю, что мне мешает нагнать их и раскрошить... Неужели жалость?

— Жалость, — не раздумывая сказал Иван Макарович. — И мне жаль их. Убить человека не так уж трудно. Особенно убегающего. Не так трудно взорвать переправу, до которой едва ли захочет добраться половина из них. И те, кто перейдет Каму, едва ли долго будут ходить под вахтеровским гипнозом. Пусть я ошибаюсь, но уничтожать раскаивающихся и колеблющихся, **каких** теперь немало, мне кажется бесчестным.

Молчавший Артемий Кулемин сказал:

— С военной точки зрения мы, конечно, не правы. Но есть и другая точка... Пусть бегут. Жизнь накажет тех, кто не успел раскаяться.

— А я успел, — слышался совсем рядом знакомый всем голос.

Этот голос принадлежал спрятавшемуся в сосняке Якову Кумынину.

— Я тут не один. Нас трое. За них я тоже ручаюсь. Они тоже поняли, как и я. Кому сдать винтовки и патроны, Иван Макарович?

— Кому? — переспросил Прохоров. — А зачем же их сдавать?

— Мы же сдались, как мы можем не сдать оружие?

— Значит, Яков Евсеевич, вы не очень много поняли. А может быть, и ничего не поняли.

Прохоров тронул коня. За ним мелкой рысцой затрусил Артемий Кулемин. А задержавшийся в соснячке Павел сказал Кумынину:

— Идите в село и спросите коменданта Мухачева. Скажите ему, чтобы он вас зачислил в формируемый **резервный** батальон. А если это для вас не подходит, **догоняйте** своих...

Кумынин попытался продолжить разговор с Павлом

Кулеминым, но тот, повернув коня, поскакал догонять брата и Прохорова.

До утра пролежал Кумынин с товарищами в сосняке, а утром сказал:

— Я лично винтовку сдавать не стану, если такое доверие...

Тем временем части под командованием Павла Кулемина походным маршем стекались на Старомильвенскую дорогу, надеясь в полдень войти в Мильву.

Конные квартирьеры, выехавшие с рассветом, писали мелом на воротах, какая часть и сколько красноармейцев расквартируется в данном доме.

А на Каме догорала переправа. Вооруженный сброд попурых разношерстных людей разбрелся по лесу в поисках убежища.

Холоден в эти дни закамский лес. Того и гляди, выпадет снег. А в чем отступать дальше? В чем идти на встречу с сибирскими войсками?

Командиры подбадривали. Впереди дерезни, а в деревнях и валенки и полушубки. Война. Ничего не поделаешь. Придется разувать, раздевать мужичков, брать коней, резать свиней, а потом, когда кончится война и установится настоящая власть, она за все уплатит до последней копейки.

Берегитесь, тихие прикамские деревни! К вам жалуют голодные, раздетые и ожесточенные шайки разбойников, которые все еще называют себя борцами за революцию. У них красные повязки на рукавах. У них множество звонких слов и щедрых обещаний. Они будут выдавать векселя и обязательства и сулить вместо пуда зерна вернуть два, взамен угнанного коня вознаградить парой лошадей. Но их расписки, как и кредитные билеты «мильвенки», — бумага. Нарядно расцвеченная, солидно выглядящая обманная бумага. В брошенных деревнях и Мильве этот бумажный обман оставлен чуть ли не в каждом доме.

II

— И как только мы могли им поверить? — спрашивала себя и других не одна Васильевна Кумыниха.

Теперь все удивлялись, как могло случиться, что столько народу оказалось на поводу у шайки откровенных мерзавцев. Теперь многим было стыдно смотреть друг другу в глаза и уж совсем невозможно поднять

опущенную голову и встретиться лицом к лицу с теми, кто хотел добра и не щадя своей жизни действительно боролся за счастье для всех тружеников и тех, кто так легкомысленно оказался в рядах врага.

Передовые части Красной Армии вошли в город. Их уже встретила детвора. Теперь встречали представители от уличных комитетов с красными флагами и полотнищами, со словами приветствия. А были и не совсем обычные надписи. Например, группа в десять человек стояла у дороги и держала в руках кусок обоев, на обратной стороне которого было написано: «Простите нас, братья и товарищи».

Артемий Кулемин, знавший почти всех из этого десятка, понимал, что не трусость, не боязнь быть наказанными заставила их выйти с этой надписью на куске обоев. Это было безусловно смелым и чистосердечным раскаянием. Артемию Гавриловичу очень хотелось повернуть свою лошадь к ним, затем взять из их рук плакат и, порвав его, сказать: «Что было, то было. Будем думать о завтрашнем дне». И он уже потянул правый повод, но тут же вырывнял лошадь, и стоящие с куском обоев остались позади.

Пусть стоят и пусть думают над тем, что произошло. Комитет партии и Совдеп не будут наказывать тех, кто искренне заблуждался и кто не от большого ума, а от малой политической грамоты оказался в эсеровских сетях.

В рядах резервного батальона браво шли Кумынин и два его молотобойца. На рукаве Якова Евсеевича еще торчали концы ниток, которыми была пришита повязка МРГ с медведем.

Знавшие Якова Кумынина, позавчера видевшие его в караульной роте МРГ, не хотели верить своим глазам.

Трудно было поверить и в то, что навстречу красным выедет Турчанино-Турчаковский. Все знали, что его превосходительство удрало за Каму. Некоторые собственными глазами видели, как нагружались телеги с имуществом управляющего. А другие даже слышали, как он разговаривал по телефону с командующим, обещая выехать вместе с доктором Комаровым с наступлением темноты, чтобы не вызывать кривотолков у населения.

С наступлением темноты Комаров и Турчаковский действительно выехали, только в другом направлении. В охотничий домик к лесничему заводских дач. Для

Турчаковского слишком очевидна была гибельность бегства за Каму. Зачем ему, пигде не оставившему своих пальцев, не оброшившему против себя никаких улик, бежать с каким-то штабс-капитанишкой и находиться в обозе беженцев вместе с Чураковыми, Мерцаевыми, Вишневецкими и мелюзгой, подобной им? Зачем, когда у него здесь квартира, двое верных слуг и оставшийся живым и невредимым скрывавшийся у него друг из РКП.

Турчаковский в полнейшей безопасности, как и доктор Комаров, передавший шифрованную записку Валерию Всеволодовичу Тихомирову. Как может доктор не выехать вслед за управляющим навстречу законной власти рабочих и крестьян, возвращающейся в город.

Другое дело, что Комаров и Турчаковский не будут кричать вместе со всеми, выражая восторги, подбегать, протягивать руки. Это выглядело бы слишком назойливым. Но стоять в толпе, приветствовать Красную Армию поднятой рукой, быть замеченным вполне достаточно и благопристойно.

Вышла навстречу войскам и Екатерина Матвеевна. Ей радостно и тягостно видеть такими счастливыми людей, обреченных на смерть и спасенных ее Маврушей, дорожке которого теперь для нее нет пикого на земле.

— Нельзя, Екатерина Матвеевна, плакать в такой день, — говорит ей Екатерина Степановна Кулемина. — Уж лучше бы вам не выходить на встречу.

— А вдруг Мавруша тут? С ними? Вы же знаете, какой он быстрый и решительный во всем.

Однако надежды ее были напрасны. Она увидела Ильюшу и Санчика. Они, сияющие, с красными бантами и пулеметными лентами на груди, восседали в немудрых седлах на старых клячах. Не видя себя со стороны, они, конечно, думали о себе немножечко больше, чем следовало бы. Впрочем, тот и другой и весь молодежный отряд, ставший теперь конной разведкой, заслуженно торжествовали победу.

Если бы Мавруша был здесь, то она увидела бы его с Ильюшей и Санчиком.

Екатерина Матвеевна старалась, чтобы в ней замолчал злой голос, заговоривший с уходом племянника. А голос не только не желал умолкнуть, но говорил громче. Говорил так, что его, кажется, слышали стоящие рядом. Голос спрашивал, почему, в самом деле, ему, ни

в чем не повинному мальчишке, жизнь придумала столько козней. Мучительная зима в Перми, когда ему было всего восемь лет. Длинные сумерки. Холод. Мыши. Одиночество. Потом избиение в церковноприходской школе. Тяжелые годы в семье отчима. Оскорбленная детская любовь к Лере. Злополучный фотографический аппарат, подаренный и отнятый. Ранение в Петрограде. Избиение отчимом. Встреча с подлым из подлых удавов Вахтеровым. Увлечение его «возвышенными» идеями и крушение их, оказавшихся жестоким обманом. И наконец, взрыв стены, освобождение заключенных из камеры и побег. Они все живы и счастливы, а он, может быть, найденный тем же Юркой Вишневецким или Мерцаевым, лежит теперь непохороненным в закамском лесу.

Положим, он вырос не таким уже беспомощным, чтобы дать им в руки. Он, может быть, успел добратся до железной дороги или хотя бы до Дымовки. Не надо рисовать самое страшное и прибегать к крайностям. Когда все уляжется, она поедет разыщет и убедит Маврика вернуться в Мильву.

Успокоив себя, Екатерина Матвеевна отправилась к сестре. Любовь Матвеевна сидела запершись, с закрытыми шторами, ожидая, что красные придут за ней и маленькая Ириша останется круглой сиротой.

Когда Любовь Матвеевна оплакивала себя, как расстрелянную, раздался стук в дверь. Ну, ясно. Это они. Стук повторился, в окно послышался голос:

— Люба! Неужели ты не слышишь?

Никогда Любовь Матвеевна не радовалась так приходу сестры, как сейчас. Ведь это же жена самого главного в Мильве большевика Прохорова-Бархатова. Кто при ней тронет ее. И она принялась рассказывать и смеяться над своими страхами.

— Мне всю ночь казалось, Катя, что красноармейцы сорвут с петель двери, ворвутся, а потом прикончат меня тут же в постели.

Слушая сестру, Екатерина Матвеевна хотела, чтобы она где-то между слов вспомнила о Маврике. А она говорила только о себе да о своих страхах. И наконец Екатерина Матвеевна без обиняков сказала:

— Ты бы хоть из приличия вспомнила о сыне, вместо того чтобы придумывать себе казни египетские. Кому ты нужна? — повторила она слова, сказанные перед уходом Герасимом Петровичем.

Прошли считанные дни. И будто и не было страшного мятежа. Будто все это привиделось в черном сне.

Давно ли хоронили на Соборной, ныне Красногвардейской, площади павших в борьбе с мятежниками. Давно ли весь город говорил о Сонечке Краснобаевой, убитой сыном пристава Вишневецким. В ночь бегства за Каму он проткнул ее штыком и сказал: «За взрыв».

В ту же ночь Саламандра — Шитиков и Вишневецкий должны были прикончить Екатерину Матвеевну, но ее не оказалось дома. Ей было достаточно первого посещения Саламандры. Тогда, в день ухода Маврикия из Мильвы, Шитиков нашел Екатерину Матвеевну у Кумыниных и несколько раз перечитывал письмо Маврикия об уходе к казакам. Екатерина Матвеевна не стала дожидаться второго визита Шитикова и укрылась с помощью татарина Рамазанова в доме муллы.

Сонечку Краснобаеву тоже хоронили в братской могиле. Ее именем была названа Ходовая улица. На этой улице стоял дом Краснобаевых, дом, в котором она родилась.

Речи отзвучали. Смолкли ружейные салюты.

После побелки потолков и покраски стен классов, после снятия решеток с окон политехнического училища ничто не напоминало, что здесь была тюрьма, что здесь удавилась забытая командованием и Саламандрой Манефа. Она покончила с собой, когда город был уже пуст. У нее была еще возможность нагнать своих. Но своих теперь у нее не было. Какие они свои, когда никто не захотел вспомнить о ней, не подали даже простой подводы. Так даже плохие хозяева не поступают и с собакой. Ей больше ничего не оставалось, как повеситься.

Все вошло в свое русло. Доктор Комаров взволнованно и убежденно говорит, что всемирная история не знала больших прохвостов, нежели штабс-капитан Вахтеров и его шайка. А Яков Евсеевич Кумынин клял на все корки охвостья царизма, которые хотели сбить с главной линии трудовой народ, а он и лучшие граждане передового Мильвенского завода раскусили этих слуг мирового империализма и повернули свои штыки против них.

Турчаковский, войдя в коллегия по управлению заводом, проявлял теперь необыкновенную активность, что-

бы не дать остановиться заводу, чтобы придумать работы хотя бы половине цехов. Но завод был обескровлен, и никто не мог уберечь его от всеобщего бедствия страны — разрухи.

Работало только снаряжное отделение механического цеха, да и то используя последние запасы металла. Работал электрический цех, давая свет городу. Все еще по утрам будил громкий свисток завода. Но скоро умолкнет и он.

Снова начались шепотки, а потом и разговоры погромче и, наконец, прямые нападки на большевиков, не способных справляться с затруднениями. Действовали все те же меньшевики, участвовавшие в мятеже и теперь убедившиеся, что их никто не тронет. Пускался в путанные рассуждения и Яков Кумынин. Вернее, яковы кумынины.

...Прохоров предложил поговорить с болтунами на чистоту, лицом к лицу. И встреча эта состоялась в самом большом помещении Мильвы. В бывшем общественном собрании, ныне клубе металлистов.

IV

Зрительный зал не вместил всех желающих услышать, что будет сказано. Партер, балкон, галереи были переполнены как никогда. Стояли в проходах, сидели перед первыми рядами, на подоконниках, открыли двери в фойе. Забили всю сцену, оставив небольшое место для стола президиума.

Встречу открыл Емельян Кузьмич Матушкин. Он сказал:

— Нам есть о чем поговорить, товарищи, после вынужденной и затянувшейся разлуки. Нам придется здесь сказать прямые слова и выяснить наши отношения на дальнейшее. Предоставляю слово представителю Центра товарищу Прохорову.

Иван Макарович, сидевший за столом президиума, поднялся и пошел к трибуне. С этой трибуны совсем недавно выступали мятежные заправилы. И Прохоров, брезгливо посмотрев на трибуну, стал рядом с ней. Он начал так:

— Один мой старый знакомый, оказавшийся в банде эсера Вахтерова, сказал, что виной всему этому была корова. Не он, а его корова.

В зале послышалось легкое оживление.

— И он сослался при этом на слова старейшего мильвенского большевика, организатора первого революционного кружка «Исток», на Виктора Ивановича Родионова.

Назвав это имя, Иван Макарович повернулся в сторону президиума и посмотрел на сидящего там, с повязкой на голове, Родионова, затем продолжил свою речь:

— Да, Виктор Иванович, в давние годы мильвенские рабочие, испугавшись, что завод будет остановлен, поверили добросовестным и благонамеренным заблуждениям старого судового мастера Матвея Зашейна и сами себе добровольно снизили плату. Вот тогда-то Виктор Иванович и сказал, что не Матвей Зашейн ведет рабочих на уступки и не кто-то другой, а госпожа корова. Так, Виктор Иванович? — спросил Прохоров.

— Так, — отозвался тот из президиума и негромко пояснил: — И это было в какой-то степени понятно в те темные времена, до девятьсот пятого года, когда еле-еле начинало светать.

— А теперь? — спросил Прохоров. — Неужели и теперь, когда все дороги открыты к свету и знаниям, неужели и теперь трудящиеся Мильвы сделали своим авангардом коровье стадо?

— Не надо передергивать, товарищ Прохоров, — подал реплику мастер из судового цеха Малюгин.

— Я передергиваю? Я что-то говорю не так? А разве не коровы в прямом смысле вышли на ночную демонстрацию перед городским комитетом партии, разве не они дико мычали от имени молчащих и прячущихся в темноте их хозяев? Наверно, и вы были на этом позорном коровьем мятеже, товарищ, подавший реплику.

Малюгин молчал. Прохоров повторил вопрос и сказал:

— Если мы будем отмалчиваться, у нас не получится прямого и откровенного разговора.

— А откуда мы знали, что Шитиков, Судьбин и прочие подосланы заговорщиками?

— Бедняжки, они не знали, что гробовщик Судьбин ненавидит Советскую власть, — иронизировал Прохоров и, не закончив фразы, услышал:

— Я никогда не ненавидел и по своей трудовой сути не могу ненавидеть Советскую власть!

Прохоров не верил глазам и ушам. Какая встреча!

— Вы и есть Судьбин?! Может быть, вы теперь уже ходите в сочувствующих коммунистам?

— А я всегда сочувствовал, — заявил гробовщик. Раздался громкий хохот зала.

Судьбин, не выдержав, юркнул к выходу.

После ухода Судьбина и утихшего смеха зала наступили минуты молчания, за которыми последовал главный разговор о мятеже. Иван Макарович после короткой паузы так и сказал:

— Теперь о мятеже. Я постараюсь с наибольшей доброжелательностью высказать свои суждения. Наверно, можно и на этот раз обвинить корову, и я, представьте, склонен думать, что она была соучастником зачинщиков мятежа. Говорю я это без всяких преувеличений. Можно обвинить и мальцов из союза «Синяя птица», лавочников и чиновников, будто эти постыдные дни обязаны им и будто они держали в страхе тысячи людей, составляющих население Мильвы и окрестных деревень. И я опять скажу, что они оказали какое-то влияние и на остальных. Но, товарищи, могла ли бы горстка эсеров в три, пусть в пять десятков горлопанов назваться революционной гвардией и взять власть в свои руки, если бы этому воспротивились вы, тысячи мужчин и женщин? Тысячи тружеников. Неужели только гимназисты, чиновники и торговцы так шумно одобряли речи Вахтерова и его сатрапов? Неужели только они составили пресловутую МРГ? Где же были вы? Где?

С каждым словом Прохорова тишина становилась напряженнее и тяжелее. И чем смягченнее говорил Иван Макарович, тем труднее было слушать его, особенно виновным в случившемся. И даже непричастность теперь выглядела преступной.

Прохоров говорил иногда так, как будто он рассуждал сам с собой и сам для себя хотел выяснить подробности.

— Появившиеся на покосах склона Мертвой горы землемеры и крестьяне тотчас же нашли отпор. Когда же на глазах у всех арестовывали коммунистов, где же были вы? Неужели можно было верить, что так называемые «стратегические камеры» были чем-то вроде пансиона для временной и притом деликатной изоляции большевиков? Разве вы не знали о тайных расстрелах? Разве не кто-то из вас ковал решетки на окна бывшей

мильвенской гимназии? Не кто-то из вас стоял часовым возле тюрьмы и стерег ни в чем не повинных людей?

Тут Прохоров обернулся и стал называть фамилии заключенных, сидевших теперь в президиуме, и фамилии замученных в камерах.

Называя, он перечислял заслуги каждого, говоря о нем гораздо меньше, чем можно было сказать. И это понял всякий сидящий в зале, понимал также, что их, остававшихся в Мильве, собрали вовсе не для того, чтобы отхлестать по щекам и назвать обидными словами, которые многие заслужили. С ними шел честный и откровенный разговор. Так мог говорить только брат со своими родными братьями.

— Разве мятеж не захлебнулся бы на второй или на третий день, если бы одни из вас не участвовали в нем, а другие не оставались пассивными? Каждый из вас мог противостоять не такому уж сильному противнику. И если пятнадцатилетняя девочка Сонечка Краснобаева, по сути дела, была организатором взрыва стены гимназии, если она вместе со своими сверстниками не только освободила обреченных на смерть, но и подорвала веру в говорунов, не жалеющих ни фразы, ни жеста, ни любых заверений и обещаний ради достижения своих гнусных целей, то как много можно было ждать от взрослых, сильных, умудренных опытом людей.

В зале стояла невыносимая тишина.

Не так-то легко было понять и осознать случившееся во всей его трагической глубине.

— Теперь нетрудно представить себе, что вахтеры были посланы не в одну Мильву. Эсеровские мятежи, более или менее похожие на мильвенский, мутными волнами прокатились по Уралу и Прикамью, по Средней России и югу страны. Суть их была одна — установить в нашей стране капитализм, без которого будто бы невозможны рост народа и благополучие страны. А мы, большевики — коммунисты-ленинцы, говорили и говорим, что наиболее успешно и быстро будет расти та страна, народу которой принадлежат все средства и орудия производства. То есть фабрики, заводы, шахты, рудники и, конечно, земля. И ничто не поколеблет, не изменит этого никому не подвластного закона общественного развития. Может быть, нас ждут новые испытания, лишения и беды, но теперь уже никто и никогда не закроет глаза народу, познавшему свет...

Первая глава

I

Странствуя по закамским деревням, Толлин с каждым днем убеждался, что добрых и сердечных людей не так-то уж мало на земле. И особенно много их среди бедных. Видимо, бедность учит людей сочувствию, взаимопомощи в надежде, что старая хлеб-соль не забывается и что кусок хлеба, который ты не пожалел голодному, возвращается к тебе двумя кусками.

Маврикий как мог, так и возвращал съеденные куски. Не чураясь никакой работы, он брался за все, что было ему под силу. Особенно ценили Маврикия, когда узнавали о его умении рассказывать были-небыли и всякую всячину про злые колдовские дела и волшебные чудеса, так что от его слов и в темной горнице светлело и в холодные ночи теплело.

Кормило и поило наследство двух бабушек. Как такому славному бахарю в плошку щец не плеснешь, лепешку не испечешь, тулуп на ночь укрыться не дашь.

А еще Маврикий рассказывал про разные города. Хотя и не всему верили его слушатели этой глухой пермской пармы, из которых многие не бывали даже в Перми и знали только понаслышке о «чугунке», все же с удовольствием слушали питерские небыли о том, что жители там по улицам ездят в вагонах с чужеземным названием «транвай», что дома там чаще всего о шести этажах, а каменные мосты не рассыпаясь поднимаются или разводятся на ночь, что твоя карусель.

Надо же придумать такое. Вот голова у парня. Шестнадцать лет от роду, а знает — будто всю землю объехал. Учителем бы такого взять, да школы нет.

Про себя Маврикий рассказывал одно и то же:

— В Чердыни я остался круглым сиротой. Задумал к тетке в Верхотурье пробраться. Сел зайцем на паром. Ссадили на берег. Теперь к железной дороге иду.

Верили. А почему бы и не верить?

Читал Маврикий и перечитывал вдовам-солдаткам письма убитых солдат. За это наплакавшиеся вволю женщины платили особо. Рукавичками. Носками. Маврикий сначала стеснялся. Не брал. Это походило на

нищенство. А потом, когда побелела земля, не пришлось шепетильничать.

Дымовка оказалась вовсе не такой близкой. Когда жива была бабушка, она любила пересказывать старую историю о себе и о своей сестрице Дарьюшке.

Бабушка Маврика — Екатерина Семеновна родилась во Владимирской губернии. В эти края бабушка приехала на заработки вместе с теткой и с младшей сестрой, которую не на кого было оставить в деревне. В Мильве в Екатерину Семеновну без памяти влюбился дед Маврикия и, женившись на ней, взял ее в дом вместе с сестрой Дашей девяти лет. Даша выросла в семье сестры и шестнадцати годов от роду на мильвенской зимней ярмарке встретила молодого охотника из-за Камы Василия Кукуева. Кукуев, увидев Дашу, не отстал от нее до зашеинского дома, а потом, как закончилась ярмарка, пал на колени перед Мавриковым дедом и просил отдать за него Дашеньку.

Бабушка Маврика об этом рассказывала длинно и подробно. Описывалась и свадьба в деревне Дымовке, куда вышла замуж Даша за охотника по зверю Кукуева.

Много раз спрашивал Маврикий: далеко ли до Дымовки? И каждый раз обнадеживающе говорили, что до нее рукой подать.

Далеко ли уйдешь, много ли пройдешь в короткий день. Но как ни длинна дорога — и она кончается.

— Сколько еще до Дымовки? — спросил Маврикий добродушного старика, повстречавшегося на дороге.

— Да вон она, за речкой дымит, — ответил он.

Какое счастье. Он дошел. Теперь ему нужно было узнать, живы ли Кукуевы, и он задал наводящий вопрос:

— Говорят, дедушка, в этой деревне охотников много.

— Да нет, брешут. Охотников там двое. Кукуев да Денежкин. А теперь один остался.

У Маврика захолонуло сердце. А старик, явно любивший поговорить пространно, продолжал свой рассказ:

— Второго медведь задавил. Ранил он его. Ну, он, конечно, на дыбы, и недолго потом пожил Филипп Денежкин.

— Это очень жалко, — посочувствовал Маврикий, — но что поделаешь...

Больше Маврикий не стал спрашивать. Ему хотелось сейчас помчаться в Дымовку и узнать, жива ли бабушка Дарья. А старик сам сказал:

— Старуха у него, Дарья Семеновна, такая мастерица чучела чучелить, что в разные города их развозят и хорошие деньги платят. Славно они живут. В достатке.

Далее Маврикий не слушал старика. Лучшего уже не скажешь. Он смотрел на дымы Дымовки и на светлое, освещенное закатом облачко над ней. Неужели бабушка и дедушка все еще заботятся о нем? Как это невероятно, зато как прекрасно, если бы хоть на одну минуточку он мог вернуться в те дни, когда дедушка с бабушкой сидели на облачке и помогали ему жить на земле.

II

Глаза не ноги, им и далекое близким кажется. Кажется, что до Дымовки версты три, а оказалось полных семь. Ясный день и чистый воздух скрадывали расстояние.

Удача дарила Маврикия до изумления щедро. Подходя к Дымовке, он встретил девушку в шубке, отороченной заячьим мехом, и невольно посмотрел на нее и задержался на считанные секунды. Шубка, отделанная заячьим мехом, живо напомнила Соню и масленичное катанье.

Остановилась и девушка. Будто и ей он кого-то напомнил. Остановившись, она как-то не по-девичьи быстро разглядела его лицо и беззвучно прошевелила губами:

— Мавруша...

А потом, когда он пошагал дальше к деревне, она крикнула:

— Не из Мильвы ли вы случаем?

Маврикий, вздрогнув, остановился и повернул лицо к незнакомой девушке. Кто его может знать здесь? Еще этого не хватало. А девушка, просияв, подбежала к нему и, взвизгнув, схватила за руку:

— Братец... Ей-богу, право, ты мой сродный братец... А я твоя сродная сестрица Дуня Кукуева.

На небе опять стояло золотистое облачко. И Маврик опять улыбнулся ему и сказал:

— Как же ты меня могла узнать, Дунечка?

— А у нас, Мавруша, вы все под стеклом... И ты, и

тетечка Катечка, и бабушкина старшая сестра, твоя бабушка в гробу... Все, все... А ты так даже на трех карточках. Как ты покрасившел против них...

— Дома ли, Дунечка, дедушка с бабушкой?

— Да где же и быть, Мавруша, в эту пору. Ты прямо к пирогам...

— А почему ты, Дуня, не спрашиваешь, как я и откуда... И зачем...

— Да я и так чувствую... В Мильве, рассказывают, живьем в могилы закапывают... Ну, да ты не больно об этом. У нас в Дымовке тоже всякие злыдни есть.

Они подошли к воротам. Миновали темноватый крытый двор и очутились в добротной пятистенной избе.

— Ково я, бабушка, привела... Не падай только с лавки.

А Дарья Семеновна еще в окно разглядела и узнала Маврикия.

— Да кто же это такой может быть? — явно притворялась она. — Был у меня кудрявый сродственничек, так он ведь вот эконький был, а этот смотри какой Еруслан Лазаревич, — явно льстила старуха. — Дунюшка, подай-кося дедовы сильные очки...

Дунечка только по полу не каталась от смеха, побежала за очками, а Дарья Семеновна, не дожидаясь, обняла Маврикия и запричитала:

— Ягодка ты моя, виноградинка-ненаглядинка... Зашеинская кровушка, дедушкина головушка, бабушкины глаза, — повторяла она до слез знакомые слова.

И Маврикий, подрывник, шестнадцатилетний парень, бесстрашно прошедший длинный путь по дремучей парме от мильвенского берега, вдруг пустил слезу, приникнув к Дарье Семеновне.

Дарья Семеновна, глядя его по спине, спросила:

— Живы ли ваши-то там?..

— Живы, бабушка Дарья... Все живы. Ты не обращай внимания... Я опять немножечко стал хлипким... Это пройдет, — говорил он, утирая рукой слезы.

— Пройдет, Маврушенька, пройдет... А не пройдет, так мы с дедом прогоним. Вон он, легкий на помине.

Дуняша, по всей видимости, предупредила старика Кукуева, и он, не замечая ни красных глаз Маврикия, ни самого его, сказал:

— Дарья, что это такое делается?.. Следы. Незнакомые следы у ворот и от ворот к сениям. Для зайца

великоваты. Для лося мелковаты, а для неожиданного-негаданного внука в самый раз.

И снова тепло и ласка. А на столе веселый начищенный медный самовар. У стола хлопочет бабушка Дарья. За эти годы она, постарев, так стала походить на родную бабушку Екатерину Семеновну, что будто и в самом деле вернулось неворотно ушедшее.

Подробности и частности нередко действуют на нас сильнее «общностей» и «главностей». Талабанки были такими же, как в дедушкином доме. А потом рыбный глухой пирог с двумя продухами в верхней корке. Он — точный бабушкин пирог. И вкус и запах.

Ах, тетя Катя, тетя Катя, спасибо тебе за Дымовку: здесь живут такие родные, такие близкие, может быть, самые близкие из всех родных люди.

III

В лесных местах Верхнего Прикамья нередко светлые, теплые, просторные избы с высокими потолками. Лесу здесь — тьма, дров тоже. Такими были избы в Дымовке, и такой была ухоженная кукуевская изба. Василий Адрианович Кукуев, бывая в городах, начинил свою избу городским обзаведением. В избе кроме обычных лавок, сомкнутых под прямым углом, были стулья, широкий диван со спинкой, на котором спала Дуняша, железная кровать со светлыми маковками, горка для посуды, застекленная с трех сторон, комод с зеркалом, шкаф для белья и одежды... Так что изба хоть и называлась избой, а походила она больше на мильвенское жилье мастерового. И главное — просторно. Чистота. Ни пылинки, ни соринки. Через холодные сенцы можно было попасть в теплый прируб. Это мастерская. Ружья, лыжи, ловушки, капканы, охотничья и рыболовная снасть... Особо старухин большой верстак, где она «чучелит чучела». Их тут немало. До трех десятков. Филины, сороки, зайцы, белки, ежи, глухари... Теперь Дарья Семеновна оставила свое мастерство. Не ходкий товар. Не до чучел людям, когда, того гляди, как бы самому не стать чьим-нибудь чучелом.

У Кукуевых был сын Андрей. Неотделенный. Жил с отцом и матерью. Погиб на войне. Осталась жена. Василиса. Не Прекрасная, как говорит Дарья Семеновна, а красоты нечастой.

— Сбежала,— сообщает Маврикию бабушка Дарья и показывает фотографический снимок снохи, красавицы Василисы.— Сбежала с заезжим пароходным машинистом. Не виню. И за то, что Дуняшу на деда с бабкой бросила, тоже не виню. Каково бы ей, пташке, по пароходным каютам маяться, а тут Дуняшка в родном гнезде. В неге.

Внимательно рассматривает Маврикий фотографические снимки, собранные под стеклом в большой раме, повешенной справа от божницы. Это коренная кукуевская родня. А справа в такой же, но чуть поменьше раме родня по сестрам Дарьи Семеновны и по братьям Василия Адриановича. Много тут дорогих Маврику лиц. Тетя Катя, бабушка, дедушка, мать, сестра Ириша, тетя Лара и ее три дочери, дядя Леша и опять три дочери... Ну прямо почти как в старом дедушкином доме.

Маврикий скоро освоился в Дымовке. Нашлись занятия и знакомые. Он и внешне стал походить на дымовских ребят. В желтом полушубке с шерстяной опояской, в заячьей с длинными-предлинными ушами шапке, в серых легких валенках, Маврикий выглядел совсем здешним. И если, не приведет господь, мильвенская орда пойдет через Дымовку, Мавруша в глаза не бросится. А пока да что — парма велика, дорог по ней нет, а лыжи куда хочешь уведут.

Кукуевы, кроме Дунечки, знали, что произошло с Мавриkiem в Мильве. Пришлось только обойти взрыв стены. Зачем им знать об этом. Василий Адрианович Кукуев, поразмыслив о положении дел, сразу предложил перебраться ему и Мавруше на Дальний ток, в охотничье зимовье. Там и самому черту не легко пайти зимовщиков.

— Зачем от добра худа искать,— увещевал он.— Пока снега мелкие, и корову перегоним туда, и лошадь спасем.

Слухи, доходившие до Дымовки, предупреждали о близости мильвенских живодеров. Иначе не называли отступающие вахтеровские части. Они, как говорили, приходя в деревню, опустошали ее. Дымовцы, побаиваясь прихода солдат, утешали себя тем, что Вахтеров не пойдет в глубь леса, а свернет на Среднюю Каму для соединения с такими же, как и он сам.

На это и надеялись дымовцы, не перегоняя скот и лошадей в леса. Надежды, однако, не оправдались. Бли-

зость злодеев сказалась разбоем в соседних деревнях. Резали и увозили свиней. Раздевали. Но случилось и худшее. Возле Дымовки нашли убитым молодого парня Андрея Шерстобитова, двоюродного племянника Кукуевых. Убили, как оказалось, только для того, чтобы снять полушубок и валенки.

На похоронах Андрея была вся Дымовка. Были, конечно, и Кукуевы. Был и Маврик. Мать убитого еле живую увезли с погоста. Страшно горевал отец Фока Лукич Шерстобитов и старший брат Андрея.

По возвращении с похорон Василий Адрианович объявил:

— Говорить, я думаю, не о чем... Надо подаваться на Дальний ток.

Дарья Семеновна больше не спорила. Понимал и Маврикий, что как ни хорошо в Дымовке, а рисковать нельзя.

Отъезд был назначен на завтрашний вечер. Дарья Семеновна и Дунечка должны были подсобрать в сундук все, что могло быть отобранным. Готовился запас того провианта, который не добыть ружьем в лесу. Маврикию делать дома было нечего.

— Пробежался бы, Мавруша, к речке,— посоветовала бабушка Дарья,— там в прорубке чуть не руками рыбу можно брать, а уж острожкой-то за мое почтение.

И он пошел на речку с маленькой острогой на еловой палке и легкой пешней, чтобы пробить там и сям лунки в не толстом еще льду, попытать счастья и вспомнить, как они с Тишей Непреловым ловили рыбу так давно и почти вчера.

IV

Размышляя о рыбной ловле в Омутихе, потом о Дальнем токе, где у него будет легкое ружье и он впервые в жизни увидит настоящую охоту, Маврикий услышал писклявый окрик:

— Стой, парень, или буду стрелять!

Маврикий подумал, что кто-то из дымовских мальчишек заводит с ним таким образом знакомство. Оглянулся и увидел тощую фигурку в гимназической шинели, в старенькой, явно не по голове шапчонке, в подшитых женских валенках. Долговязый гимназист довольно смело шел на Толлина, угрожая ему карабином.

Теперь в тщедушненьком вояке нетрудно было узнать Сухарикова. Вооруженный храбрец требовал у певооруженного и еще не узнанного им Маврикия бросить на дорогу полушубок и убираться прочь. Он явно боялся сближения. Однако же Маврикий понимал, что Сухариков может выстрелить в него, а потом снять полушубок. Так уже было с Андреем.

— Ну же! — крикнул Сухариков. — Снимай! — И стал целиться.

Ища выход из положения и боясь терять секунды, Маврикий поднял вверх руки и крикнул:

— Сухариков! Что ты делаешь! Я — Толлин!

— Толлин? А зачем ты здесь? — спросил Сухариков.

Теперь нужно было придумать, что сказать дальше. Заминка могла сослужить плохую службу.

— Я в конной разведке сибирской армии. Мы здесь на дневке. Здравствуй! — Он пошел навстречу Сухарикову.

— Прости, Толлин, а я думал... — замялся Сухариков. — Я совсем окоченеваю.

— О чем ты, право, когда вопрос касается жизни, — сказал Толлин, — церемониться не приходится. Прости и ты меня. — Произнося эти слова, он вырвал у Сухарикова карабин.

— Вот ты как?

— Так же, как ты! А как же я еще могу!

— Я же не знал, что это ты...

— Какая разница, кого бы ты убил из-за полушубка. За такой разбой знаешь как наказывают...

Сухариков тоненько заскулил, утирая слезы вышитыми девичьими рукавичками, которые, как подумал Маврикий, наверно, тоже добыты по-разбойничьи.

Долго видеть чужие слезы Толлин не мог. Не мог он и задерживаться на лесной дороге. А вдруг появится кто-то еще.

— Беги, беги, я не трону... Я не буду грязнить свои руки...

— А как я могу вернуться без карабина...

— Да ты что, Сухариков, совсем считаешь меня за дурака, — вспылil Маврикий, — я тебе отдам карабин, а потом ты опять...

— Меня могут приговорить за карабин к... У нас уже расстреляли татарина за потерю оружия, — не переставал лить слезы Сухариков. — Разряди его и отдай...

— Тогда вот что,— сказал Толлин,— мне твой карабин не нужен. Возьми его без затвора. За затвор не засудят. И беги. Выкрадешь у кого-нибудь. Н-на, вопоучка, и беги.

Сухариков схватил далеко брошенный в снег карабин и припустил по дороге. Толлину тоже не следовало задерживаться здесь. «Скула», «ханжа», «ябедник» Сухариков может оказаться верным себе и предать Толлина.

Не скрывая испуга, Маврикий рассказал Кукуевым о встрече на лесной дороге со своим школьным товарищем.

Василий Адрианович принял очень близко к сердцу рассказанное.

— Сколько дён я твержу о Дальнем токе! — крикнул он вдруг.— Ведь он же от смерти ушел. Понимаешь ли ты это?..

Дарья Семеновна поняла все.

Через час была запряжена лошадь в дровни, на дровни поставлен сундук с добром — и прощай, Дымовка. Домовничай, Дарья Семеновна. Мужики лесовать уехали. Корова-то авось уцелеет. И спасительная хитрость найдется. Язвой занедужит она, если что. А как язвенную корову в солдатский котел класть? Всех погубишь.

Не успел Василий Адрианович прошептать и половины заговоров против лесной нечисти, как потерялась извилистая дровяная дорожка, будто ее веселый леший украл из-под ног шустренькой сивой лошадки.

— Теперь, милый внук, на лыжах двинем. Лошадке тяжеленько будет по снегу сани тянуть.

Выяснивало на мороз. Не одна луна, а кажется, и звезды давали свет. Да и сам сине-белый снег, слепящий алмазной игрой, добавлял света в лесу, делая его куда более веселым, чем в осенние ночи. Легко различались следы. Зайцев тут пропасть. Есть и лисы. Кажется, и волки.

— Чуешь,— как бы подтверждая, что увиденные следы и есть волчьи, Василий Адрианович обратил внимание на дальний, еле слышимый вой,— это они, серые.

В эту минуту Маврику стало жаль возвращенного карабина. Из карабина можно и за версту бить по волку. А потом, подумав, решил, что поступил правильно. Попадись им сейчас солдаты: «Кто такие? Куда?» —

а они ответят: «Охотники», и все. А если при охотнике военный карабин, то охотник ли он?

После полуночи лошаденка заржала. Видимо, и она была довольна, что наконец-то путь окончен.

Дальний ток — это небольшая лесная полянка. На полянке срублена охотничья избушка с бревенчатым приделом для лошади.

— Бревно и есть бревно. И в стужу тепло лошадушке, и от волков заслон,— говорил Василий Адрианович, помогая Маврикию распрягать лошадь.

Наверху бревенчатой конюшенки виднелся хороший стожок сена, о котором было также обстоятельно пояснено Маврикию.

Наверно, было около трех ночи, когда дедушка Василий поднял доски нар, вынул лежащие под ними как в сундуке немудрые, но теплые постельные принадлежности, затем добыл из охотничьего мешка резного божка, отдаленно напоминающего Николая-угодника, наскоро перекрестился, затем перекрестил задремавшего Маврикия и растянулся на нарах, не покрываясь лоскутным стеганым одеялом.

Страхи за двести тысяч верст.

Утром проснулись, когда было совсем светло. Шел снег. Значит, охотничий божок помог. Если снег будет так сыпать до вечера, то прощай вчерашние следы.

У Василия Адриановича внуком была Дуня. Хороший внук. В смысле — по зверю стрелять, на лыжах ходить, следы читать, не хуже бабушки Дарьи. Но, что вы там ни говорите, а девушка она и есть девушка. А тут парень. Не кровный хоть, а свой. И как для такого парня наизнанку не вывернешь себя, лишь бы ему, мученику с самых ранних лет, хорошо пожить в этом зеленом царстве, без царей, без председателей, без никакой тебе власти, как до потопа в бывшем раю, только погода другая. А так чем не рай этот край. Если мешок-два муки у тебя, так все остальное по лесу бегают, по-над лесом летает.

— Лось — не корова, козел — не баран, и глухарь — не курица. Но если с умом, если сумеешь как надо приготовить их мясо до варки или жарки, так до косточек огложешь. А грибы, орехи, ягоды? Разве это не самый что ни на есть провиант самолучшей вкусноты и пользы? Значит, если мука, соль, лук, горчица, перец есть, сто лет здесь можно жить без выезда. Даже

чая не надо. Здесь почище травы растут. А мед от диких пчел? Неужели сахар лучше его?

Таков сгущенный пересказ восторженных похвал Дальнему току, воздаваемых Василием Адриановичем за утранным чаепитием.

Восторгался Дальним током и Маврикий. Здесь он увидел в таком множестве зимующих птиц, что зарябило в глазах. Нарядные щеголи — щеглы. Клесты желтоватые, розоватые сильными клювами расправлялись с еловыми шишками, выбирая из них семена. Снегири в красных жупанах и снегирихи-снегурки в беличьих душегрейках тоже безбоязненно шныряли по кустам. Про кузек — больших синиц — нечего и говорить. Они на весь лес оповещали о себе звонким и воинственным кличем. Их подкармливал остатками мясной пищи Василий Адрианович. И серенькие скромненькие чечетки, перелетая веселыми стайками, неустанно твердя свое «че-че-че» и «че-че-пи», тоже говорили о жизни не замирающей и зимой пермязкой пармы.

Как тут не закружиться голове...

Плохим бы охотником был Василий Адрианович, если бы он не прочел в глазах новоявленного внука то, что нужно было прочесть. И он сказал, чтобы не обидеть его возраст и не уличить его в мальчишечьем желании половить птиц:

— Когда мне тоскливо бывает здесь, я птах ловлю.

— Каких, дедушка Василий? — живехонько заинтересовался Маврикий.

— Всяких.

— Зачем?

— Как все. Для души. Подержу в избе, подкормлю и выпущу. А если певун, зачисляю на продовольствие до весны. У меня западенек этих, ловушек, сеток, садков штук... не знаю сколько. Может, интересуешься?

— Очень, — покраснев, признался Маврикий.

— Тогда лезь наверх...

И он полез. А потом снял бесценное богатство птицелова.

— Ты знаешь, дедушка Василий... Туда я полез взрослым человеком, а слез оттуда, — указал он на чердак, — совсем мальчиком. Лет двенадцати. Тебе не смешно?

— Да отчего же смешно-то, Мавруша?.. Полнокровный и стоящий человек во всех прожитых годах живет

и ни из одного года не вырастает, потому как прожитые годки не изношенные портки, их не скинешь, да и зачем скидывать.

При таком толковании можно было не стыдиться своих желаний и заняться тотчас же ловлей птиц. Но, как всегда или как это часто бывало в жизни Маврикия, произошло неожиданное. На поляне появился лось. Появился здоровеннейший лось и неторопливо пошел к приделу, на котором был сметан стог сена.

V

Лось не столь частая удача охотника. Не накидывая шубенку, Василий Адрианович схватил заряженное пулей ружье, чтобы из сенцев, без промаха, под левую лопатку.

Прогремел выстрел. Лось грохнулся и забился. Маврикий был по ту сторону избы. Он выбежал и увидел картину, которая его потрясла и оскорбила.

Дедушка Василий, такой мягкий, заботливый, жалостливый и добрый, беснуясь, бегал около стонущего лоса, стараясь изловчиться и прирезать его большим кинжалом. А лось бил могучими ногами. Он бил ими так неистово, что было страшно находиться поблизости.

Наконец старик изловчился, и нож был всажен, зверь испустил громкий вздох и затих.

Маврикий тоже вздохнул очень громко и оперся на столб с кольцом, служивший, очевидно, коновязью.

— Зачем вы это сделали, Василий Адрианович? — упавшим и недобрым голосом спросил Маврикий, впервые называя своего двоюродного деда по имени-отчеству и говоря ему «вы».

Охотнику Кукуеву вопрос показался таким же несуразным, как если бы его спросили, зачем рубят лес на дрова или ловят рыбу на уху. Но, подумавши, он сделал вид, что не расслышал Маврикия, надеясь поговорить с ним потом, принялся разделявать тушу. Нужно было снять шкуру с теплого зверя и выпотрошить его.

Василий Адрианович делал это удивительно быстро. И понятно. Снимать шкуру для промыслового охотника — обязательное ремесло.

Разрубив стяг мяса надвое по хребту, потом пополам каждую половину, стаскав это все на чердак, сказал:

— Вот что я тебе скажу, Маврикий Андреевич. Жа-

лость — святое чувство. Жалеть могут только хорошие и добрые люди. Но жалость без ума, как и доброта без разума, — либо глупость, либо барский наигрыш. Дамочка над ягненочком, потерявшим мать, льет слезы, а котлеты из него жрет. Ты нынче козлятину вяленую с каким вкусом уплетал, а я ведь этого козла тоже... — говоря так, он изобразил руками стрельбу из ружья, — бам! — и... мясо. А как иначе? Траву, что ли, есть? Так ведь и она своей жизнью живет. Я это говорю тебе не в обиду. И не о зверях говорю. Об этом с тобой мы всегда договоримся. И ты поймешь, что глупо из-за козла расстраиваться. Так и над пойманным окунем надо горевать. Я о другом. О политике. Я ведь хоть и не столь прытко читаю газеты, но думаю над ними. Погоди, парень, — прервал разговор Кукуев и кинулся закрывать трубу, — совсем забыл про нее.

Закрыв трубу, он открыл заслонку, заглянул в печь и снова закрыл заслонку. Из печи потянуло тонким ароматом томившейся в жаровне утки, сунутой вместе с прочим провиантом бабушкой Дарьей. Маврикию стало неловко за свою истерику по поводу убитого лося. Он, конечно, сумеет загладить это. Но дело, оказывается, не в лосе. Василий Адрианович копал глубже. Он вспомнил разговор Маврикия о том, каким он хочет видеть жизнь и государство. Он говорил об этом, когда они шли на лыжах:

«Жизнь должна быть свободной для всех. Отношения людей должны строиться на взаимном уважении. Нужно создать такое государство, при котором один человек не может лишить жизни другого человека. При котором не будет тюрем, пушек, винтовок, сабель, бомб и останутся только охотничьи ружья».

Повторив смысл сказанного тогда Маврикием, Василий Адрианович мягко заметил:

— И я за такое царство-государство. Да как установить его, когда по дорогам рыскают ловцы, которые убивают за шубейку? Куда они денутся из такого царства? Жалость — святое чувство, говорю я опять, а бывает, что жалость страшнее зла. Вот ты пожалел этого Сударикова...

— Сухарикова, — мягко поправил Маврикий.

— Что Сухариков, что Судариков — один пес. Судариков даже лучше. Вот ты пожалел его, а ведь он может в другого выстрелить и убить.

— А что же я мог сделать? Не убивать же...

— Убивать не обязательно, а прикладом дать по зубам, коли карабин был в твоих руках,— надо бы. Помнил бы, стервец, на всю жизнь, за что зубы выбиты.

Маврикий молчал, а старик не останавливался:

— Слов нет, и кошку, бесовскую тварь, жалеть надо, а другой раз и верного друга пса-охотника нужно своими руками удушить, если он, допустим, сбесился бесповоротно и может других покусать. А разве твой Сухариков не бешеный пес? И карабин бы пригодился.

Слушая, Маврикий сидел за столом, подперев руками голову, и молчал. А Василий Адрианович все на той же струне:

— Сам господь человеку дал чистую душу, доброе сердце, ласковые руки... Но ведь господь и ядовитый желудочный сок тоже не забыл и желчь дал. Как может жить человек без желчи? А ты, парень, безжелчным рожден, безжесточным творением. Вот и маешься, ищешь ангельскую землю, праведное царство. А их нет. И не скоро предвидятся.— Кукуев неожиданно прервал речь.— На первый раз хватит пока. Надо с умом, не торопясь безжесточных ожесточать... Давай вилки, тарелки на стол, а я в печь за жаревом полезу...

Вторая глава

I

Хорошо сдружились на Дальнем току дед, искавший внука, и внук, у которого не было дедушки. Выяснили спорные точки, расставили главные запятые и, больше не ссорясь, жили душа в душу. Старик радовался хорошему ученику, который с ходу перенимал, крепко запоминал и находил свое.

Дедушка Василий учил и тому, что не вычитаешь ни в одном учебнике, не услышишь ни на одном уроке, что знали только люди, живущие рядом с лесной нечистой силой. Следы — это не вопрос. Много ли их? Три десятка звериных да дюжина птичьих. Не велика азбука. Труднее по нюху, по ветру, по часам и солнышку, а ночью по звездам находить дорогу. Но тоже если учиться, запоминать, то и эту геометрию можно одолеть.

У каждого зверя своя хитрость, свое умение прятаться. С собакой успешнее была бы охота, а пришлось оста-

вить дома верную лаечку Стрелку. Звонко лает охотница. Далеко убегает от избушки в поисках зверя. Не ровен час, и наведет на след лиходея из вахтеровской своры. Скучно без нее, но спокойнее.

Василий Адрианович как мог укреплял хлипкое сердце жалостливого парня, отвердевал его душу охотой. Не добил ружьем — дорезь ножом. Жизнь это жизнь. А смерть это смерть. И на охоте надо быть как на охоте.

Неизведанные удачные выстрелы, хитро поставленные капканы, умело настоженные ловушки заставляли забывать, что не так-то уж далеко идет гражданская война. Раз только побывал здесь вестник из Дымовки, старший сын Шерстобитова Константин. Он рассказал, что было на старой солеварне и каков змееныш Вишневецкий. Он же оставил на Дальнем току карабины с патронами. А вдруг пригодятся для обороны. Тем же далеким путем в обход, подгадав к снегопаду, ушел Константин, прихватив с собой боровой зимней птицы. С едой в Дымовке стало куда хуже.

С тех пор не приходил никто и неоткуда было знать, что на берега Камы пришла откормленная, обмундированная, хорошо вооруженная колчаковская армия.

Колчаковские батальоны, встретившиеся с мильвенцами, одним лишь своим видом дали понять, что больше нет никакой мильвенской гвардии, да еще революционной, никаких красных повязок на рукавах и красных знамен частей.

На другой же день началось переформирование. Мильвенские отряды стали даже не полком, а лишь частью полка, не получившего еще номера. А ее главнокомандующий стал обыкновенным командиром стрелкового батальона штабс-капитаном Вахтеровым. И все.

Через несколько дней подвезли обмундирование. Главным образом английское. В продаже появились белые баранки и японские сигареты «Золотой шлем». Командиры надели офицерские погоны и стали господами. Господами подпоручиками, поручиками, штабс-капитанами и выше.

Герасим Петрович Непрелов тоже надел погоны. На одну звезду больше, чем на тех, которые он срезал при бегстве из Петрограда. Непрелова никто не производил в очередной чин. Он сам произвел себя. Кто разберется, да и кому нужно выяснять подробности.

В полку без номера, сформированном из мильвенцев, начался ропот. И вскоре полк был выстроен. Перед строем командиры батальонов объявили, кто такой верховный правитель адмирал Колчак, и что означает солдатский погон, и как смертельно опасны политические разговоры. Затем был обнародован приказ о расстреле бунтовщиков перед строем.

Тут же были названы фамилии. Затем послышалась команда выйти названным из строя. И наконец, печатая шаг, прибыла особая рота, и послышалась протяжная громкая команда:

— По красным бандитам, немецким шпионам, в на-
зидание не раскаявшимся в своих заблуждениях... рота-
а-а-а... Пли!

На снег повалились мильвенские рабочие, крестьяне из примильвенских деревень. Среди них не было большевиков и, кажется, даже не было осознавших предательство Вахтерова. Это были меньшевистствующие и эсерствующие обманутые люди, которым смерть помещала понять, как жестоко посмеялась над ними кучка отъявленных авантюристов.

После расстрела мильвенцев Вахтеров получил подброшенное ему письмо:

«Считай себя мертвым, гад и предатель».

Вскоре Вахтерова не стало в полку. Его откомандировали в распоряжение верховного командования. Все понимали, что ему теперь страшно было появиться перед строем. И еще страшнее оказаться в бою. Узнавай потом, чья пуля размозжила его затылок.

О Мильва, Мильва, как страшны заблуждения и как тяжка расплата за них твоих сынов.

II

После рождества Маврикий заболел неизвестно чем. Ни жара, ни озноба, а бред и слабость. Ночью за ним приходили и Манефа, и Юрка Вишневецкий, и сам Вахтеров. Его уже несколько раз расстреливал Митька Суровцев из Союза молодежи за то, что видел у него на руке повязку с надписью ОВС. Он жаловался:

— И там и тут я, дедушка Василий, преступник... А что я сделал? Разве я не хотел добра всем?

Тут Василий Адрианович, не споривший все это время, вставил несколько словечек:

— Кто, Мавруша, для всех слуга, тот всем враг... Ну да потом об этом, выздоравливай скорей.

Кукуев отпаивал больного сильными травами, и особенно настоем корня валерьяны. Старик нутром чувствовал, что самое лучшее лекарство для хвораго и ничем не болеющего — это сон и покой. Поэтому по своему разумению и давал он успокаивающее сонное питье.

Здоровое дедовское наследство тоже помогло справиться с болезнью, которая неизвестно как называлась. Выздоровливающий стал выходить греться на солнышко, которое давно поворотило на лето. И здесь случались теплые дни. Зайцы отыграли весенние игры. Оживились зимующие здесь птицы. Как-никак скоро начнет перекочевка на север, в злачные кормом места.

А потом нежданно-негаданно прикатила на лыжах бабушка Дарья. В избушке совсем повеселело.

Белые, которые теперь назывались белыми, давно уже оставили Дымовку. Они, тесня красных, обещали взять и Казань, и Вятку, а потом широким фронтом двинулись на Москву.

Дымовка снова стала глубинной лесной деревней, далекой от фронтов и большой жизни. При колчаковцах избрали старосту. Он и был властью. А какой, не знал и сам. Этих властей перебывало столько, что лучше не выяснять, кто за что. Быть бы живу.

Бояться старосты было нечего, потому что он сам боялся всех, как и единственный богатеи Егор Тыловаев. Он и при белых не стукнул, не брякнул. Понимал, что чем длиннее у человека язык, тем короче его век.

В Дымовку отправились, когда в лесу сошел снег. Близилась последняя неделя поста, а за ней пасха. Сколько связано с этим праздником у Маврика и как он любит его, став безверным. Для него ничего не заключено в куличах, крашенных яйцах, сырной пасхе — еда, и все. Они милы, как нарядные обновки, веселые качели, песни, гулянья... Праздник, и все. Кажется, и для жителей Дымовки попить-поесть, попеть-поплясать тоже значит больше, чем все остальное.

Маврикию иногда кажется, что многие люди верят только потому, что боятся потерять праздничные обряды. А какой же обряд без того, ради кого его справляют. Вот приходится не терять старого, не найдя нового.

В Дымовке немногим слышнее, что делается на белом свете, потому что иногда здесь появлялись газеты.

Их раздобывали для курева. Японские сигаретки были дороги, поэтому курили самосад. Старики в трубках, а люди средних лет крутили цигарки, козьи ножки.

В одной из газет, название которой было искурено, описывалось, как красные оставили Мильву и как доблестные войска армии Колчака вошли в город. Назывались полки, командиры, описывалась встреча духовенством и верующими бесстрашных, непобедимых, верных отчизне сынов. Невольно вспомнились пресловутые отряды ОВС. Та же песня, только голос другой.

Раздумывая о горестях Мильвы, Маврикий не предполагал, что она так властно позовет его. Маврикий не знал, что так невыразимо велика его любовь к Мильвенскому заводу, где мила и дорога ему каждая улица, каждый переулок, односторонок, пустырь, набережная... Все отчаянно дорого его сердцу, и даже этот паршивый горбатый медведь, которого невозможно теперь переплавить в печи, потому что он прошлое Мильвы. Потому что он ее доподлинный памятник-ренегат, столько раз изменивший свою символику.

Милая плотина больше версты длиною. Пряничная деревянная кладбищенская церковка. Родные могилы. Чистая-пречистая Омутиха. Красавец пруд, то смеющийся тысячами солнечных зайчиков, то зеркально-грустный, то такой озорной и шипящий белыми гребнями, то безмолвная снежная равнина.

Дорог и мил слуху заводской свисток, который приезжие называют гудком. Он низкий и громкий. Он будит не пугая. Он зовет не требуя, а приглашая. Говорят, что тембр свистка искал и нашел хороший музыкант. Говорят, что в голосе свистка слышатся глухие, но чарующие звуки башкирского курая.

Как можно забыть Мертвую гору, с которой никогда, никогда нельзя досыта налюбоваться Мильвенским заводом? А мысы? А Каменные Соты? А заливы? А рябины, под которыми его окликнула Лера и разбудила в нем чувство, которое не усыпила Сонечка.

Но ведь Мильва не только дома, улицы и пруд. Мильва — это самая родная из всех родных тетечка Катечка. Это, конечно, и мама, и некоторые товарищи... Только, конечно, не Ильюша и Санчик. Их не разлюбил Маврикий, но у него нет к ним прежних чувств. Зато есть другие... А кто? Кажется, только Виктор Гоголев, он тоже ни за тех, ни за этих.

Маврикий должен побывать в Мильве. Он должен увидеть тетю Катю. Хотя бы на час. Он должен встретиться с Соней. Теперь они почти повенчаны. И он будет верен ей, хотя и думает, что не поторопилась ли она тогда.

Никакой фронт не преграждает теперь ему путь в Мильву. Добирайся до Камы, садись на пароход, и ты на этой же неделе там. Это все так. Но в Мильве знают теперь точно, что не кто-то, а именно он взорвал стену и освободил арестованных коммунистов. Этого теперь не могут не знать.

Вспоминая, как изменял свой облик Иван Макарович, как его друг-подпольщик появлялся под видом монаха и как, наконец, Владимир Ильич, лицо которого знали очень многие, изменялся во внешности до неузнаваемости, Маврик подумал, не одеться ли ему монашенком. Похожим на того, с которым он познакомился в Верхотурье. И это было не так уж трудно. Он не стригся на Дальнем току.

И если к его длинным волосам добавить скуфейку, то его, пожалуй, не опознают.

Не так посоветовал Василий Адрианович.

— Скуфейка, подрясник — это игра не по времени. Нужно так измениться, чтоб и родная матушка не сразу распознала.

Старик сказал, что если его двоюродный брат красную лису под черно-бурую красит, так неужели он не сумеет изменить человечесьи волосы. Скажем, сделать белыми. Брови тоже.

Подсказка была хорошая, но только покраска волос и бровей все-таки не могла сделать лицо неузнаваемым. Нужно было придумать что-то еще. А что? Нужно было прийти в Мильву кем-то. А кем?

Стали перебирать отходников. И плотника, и точильщика ножей, и печника, и каменщика.

— Пустые это слова, мужики, — сказала бабка, — ложитесь спать. Утресь потолкуем.

Плохо спала Дарья Семеновна. Так и этак прикидывала скрытную поездку в родной город, которую она считала бесприменной и безотлагательной, потому что никогда зря душа не болит и понапрасну сердце не кипит. Чует что-то.

Утром она поднялась очень рано. Дождавшись, когда дойдет квашня, она стала растоплять печь. Сегодня на

утро были задуманы кислые колобы. Это те же творожные преснецы, только из кислого теста.

Когда мужики попили чаю, поели, Дарья Семеновна начала издалека:

— Не зря тебя, Мавруша, бабка с дедом ненаглядной-виноградинкой называли. Ангельское у тебя личико.

— Да ну, право,— мягко остановил Маврикий.— Опять про старое... Я уж вырос. И лицо у меня задубело на ветру.

— Оно так,— согласилась старуха,— но ежели тебе в самом деле волосы подбелить, а тебя в девичье платье нарядить, то никто тебя парнем не назовет. Это раз. И проверять не посмеет. Это два.

Старик и Маврикий посмотрели друг на друга. Они как бы сказали этим, что бабка предлагает несусветное. Маврикий показалось не столько невозможным, сколько неудобным и в чем-то оскорбительным для его мужского достоинства переодеваться девчонкой. Почувствовав это, Дарья Семеновна сказала:

— Керенский вон какой павлин был, а, когда приспичило, в женском платье ушел.

— Но голос же, голос,— стал убеждать Маврикий,— у меня же грубый мужской голос.

Бабка на это сказала:

— Оно так. Голос у тебя труба трубой. Только зачем тебе понадобится рот отворять?

— Пожалуй что, Дарья, верх-то опять твой. Девка и девка. В полушалке. В деревенской одежке. Кому нужна она? Кто ее разглядывать будет, особенно немтырку? И на мильевских улицах никто внимания не обратит. Мало ли ходят по ним разные деревенские с котомками. И до них никому никакого дела,— размышлял он, перевоплощаясь незаметно для себя в немую девушку Марфушу.— И в дом за милостынькой можно зайти, как заходил один тут монах... М-м-м-ы,— мычал он, протягивая за подаянием руку.

Женская одежда не только оскорбляла мужское достоинство, она была неприемлема и потому, что напоминала побег Керенского в юбке. Однако же, размышляя, Маврикий находил, что этот маскарад был единственным способом появления в Мильве. Это, с одной стороны. А с другой — Маврикий, оставаясь мальчишкой, неожиданно для себя решил, что такое рискованное пере-

одевание может оказаться увлекательным приключением.

Вечером было признано, что хитрость Дарьи Семеновны хитрее всех хитрых хитростей и, главное, безопасная.

Маврикий встречался в эту ночь с тетей Катей и улыбался ей во сне. А Дунечка плакала. Она прощалась во сне с троюродным братцем, которого, наверно, никогда не увидит и не встретит похожего на него.

Хорошо, что он пожил у них. Но было бы не хуже, если бы она знала его только по фотографическим карточкам, а не так, как теперь...

III

Пароходы по Каме ходили пока еще без твердого расписания, которое, как обещали парходчики, будет объявлено после полного очищения Камы и Волги. Не ото льда, а от красных.

На пароход, идущий вверх по Каме, началась посадка, и пассажиры, особенно третьего и четвертого классов, толкаясь, спешили занять нумерованные места. Билетов в эти кассы всегда продавалось больше, чем было мест. В пестрой толпе проходивших по сходням на пароход ничем не выделялась старуха в старомодном порыжевшем пальтеце, похожем и на татарский бешмет, и на русский зипун. Не выделялась и девочка в плюшевой монарке и в длинной синей сатиновой юбке. Только разве слишком белые ресницы и брови могли привлечь чье-то досужее недолгое внимание. В этих местах дети коренных коми-пермяцких жителей бывают слепяще белокуры.

Бабушке и внучке досталось крайнее место на нарах четвертого класса. Ехать им не так далеко и подальше от глаз.

В верхних классах, в первом и втором, ехали два очень опасных знакомых Толлина. Одним из них был все еще черпобородый Аверкий Трофимович Мерцаев. Он возвращался из Перми вместе с двадцатилетней Нелли, нанятой в свое время помогать в аптеке и отвлекать сына от пагубных влияний испорченных донельзя девиц.

Теперь, после смерти Игоря, Нелли отвлекала Аверкия Трофимовича от пагубного влияния его жены. Она, по-

степенно прибрав к рукам владельца аптеки, прибирала и аптекарское заведение.

Вторым знакомым, которого следовало опасаться пассажирке четвертого класса в плюшевой монарке, был гробовщик Судьбин. Он тоже, возрождая свое дело, ездил в Пермь за позументами, кистями, бумажными кружевами и всяким другим товаром, необходимым для украшения гробов и похорон.

Ехали на пароходе и другие мильвенцы, которых можно было бы не бояться. Но все равно бояться нужно было всех.

Привыкнув к девичьей одежде, научившись мелко шагать и ходить с опущенными ресницами, Маврикий затруднялся теперь только с местами общественного пользования. Он не мог дойти до такого бесстыдства, чтобы позволить обманываться женщинам, не знающим, что рядом с ними парень.

От откровенных женских разговоров ему нередко приходилось краснеть. Дарья Семеновна, замечая это, обычно говорила распоясавшейся болтунье, показывая на Маврика:

— Она у меня хоть и неменькая, а слышит хорошо.

Маврикий вспомнил милого Яктынку Рамазанова, немого Кегу, и повторял его. И, повторяя, невольно думал о том, что ничего не пропадает в жизни из увиденного и приобретенного.

Тетя Катя научила когда-то Маврика вязать крючком простейшие кружева из ниток. Зачем это было ему? Разве это могло пригодиться? Ан пригодилось. Сидит он сейчас на нарах и вяжет.

Мильвенская пристань на этот раз оказалась ближе к Перми. Наверно, радость ожидания встречи с родным Мильвенским заводом сократила время.

Вот он, крутой, родной, красный глинистый берег. Ты все тот же, и все те же сосенки, сосны и соснищи. Есть горы высотой в восемь и девять верст над уровнем моря, но нет выше и краше этой красной горы. Говорят, реликтовые сосны самые красивые из всех сосен. Для кого? Для ботаников? Для любителей природы? А для Маврикия нет и не может быть роднее камской сосны. Да и воздух тоже родной. Он пахнет совсем не так, как в других местах. И за что его разлучили с этим берегом, с Камой в этом верхнем течении, с соснами на этой горе?.. За что его заставили надеть это унижительное для

него платье, красить волосы и брови, изменять походку, приходить крадучись, воровски озираючись в родной и самый лучший на всем свете город? Нет спора, Петроград, Москва — великие города, но Мильва больше их, потому что она сгущенно уместила в себе огромный край. Пусть этого очень простого и очень сложного кто-то не понимает и не поймет, зато это ясно ему. Живя в Мильве, он жил сразу во множестве заводов Урала и Прикамья.

Мильва — это живой заповедник, в котором жизнь так богато собрала все присущее людям, населяющим Урал и Прикамье.

— Здравствуй же, здравствуй, Мильва! — шепчет Маврикий, когда они увидели Мильву с Мертвой горы. — Здравствуй, моя родная родина!..

IV

Страх снова был побежден, и Маврикий пошел через Мильву не окольными улочками, а направился по главной улице. При красных она была переименована в Пролетарскую. Теперь единственный в Мильве живописец-вывесочник торопливо возвращал улице ее прежнее название «Купеческая».

Не бейся, пугливое сердце. Не предайте, глаза, узнавая встречных. Могут узнать и вас, такие запоминающиеся синие, не умеющие хранить тайн глаза. Смотрите впиз, глаза, идут знакомые люди.

Мимо Маврикия, весело болтая, прошли три дочери тети Лары: Аля, Таня и Надя. Поравнявшись, они обратили внимание на Маврикия. Старшая, Аля, заметила:

— А в деревне никогда мода не меняется.

— Им хорошо, Алечка, — поддержала разговор младшая, Надя, — сшил платье — и носи сто лет.

Маврикию хотелось обернуться и сказать ей что-нибудь такое... Вот было бы визгу.

Держи себя в руках, Мавр. Предстоит встреча потруднее, а это что? Пусть проходят мимо возвращающиеся с базара матери твоих товарищей, твои товарищи, у которых хватило ума не опережать возраст, и теперь они при белых чувствуют себя так же хорошо, как и при красных. Эти безразличные к политической жизни общества мальчики будут заслуживающими доверия людьми, не то что ты, которого могут преследовать и те и эти.

Иди и любуйся сыном ветеринарного врача Модестиком. Вот он стоит на углу и разговаривает с таким же оболтусом, как и сам. Зато его, как и папу, не в чем упрекнуть. Остроумный папа отшучивался при белых и при красных одним и тем же каламбуром:

— Помилуйте, я же с животными дело имею, а они вне политики.

Хи-хи! Хо-хо! И мое почтение. Недалеко то время, когда сынок острослового дальновидца поедет в Томск. В технологический. Его примут. Обязательно примут. Как же могут не принять, когда уже сшита форма.

Вот как надо жить, Маврикий Андреевич. А потом, когда выяснится, что Советскую власть свергнуть невозможно, Модестик вступит в РКП(б). А почему бы и нет? Анкета надежная. С эсерами не путался, при белых только был, но не служил. Папа дело имел только с животными, а они вне политики. Хи-хи! Хо-хо! Каламбур рассмешит партийное собрание, на котором Модестика примут в кандидаты... А ты, мятущаяся душа, будешь ходить в чужих личинах и отвечать за то, в чем ты не виноват, и оставаться рабом своей совести.

Иди, иди... Держись за бабуку, чтобы не упасть. Впереди новая встреча. Впрочем, нет, они повернули в другую сторону.

Не доходя тихомировского дома, Маврикий увидел Леру с бабушкой. И очень хорошо, что они, выйдя из дому, повернули в другую сторону, а не пошли навстречу. Маврикий не мог бы не посмотреть на Леру, а она не могла не узнать его. Пусть хоть зелеными будут брови и лиловыми ресницы, все равно остаются же черты лица. Нос, рот, губы, лоб и, конечно, глаза.

Если ему нужно будет скрываться в дальнейшем, то непременно нужны будут очки.

А теперь, как и было договорено с бабушкой Дарьей, они сели на скамеечку против дома, где жили мать и отчим, разломали пополам горбушечку, как это делают странники, путники, стали неторопливо жевать черствый хлеб, наблюдая за окнами квартиры, в которых, может быть, покажется лицо матери или сестры Ириши.

В это время у крыльца остановился новенький ходок с черным коробком, на беседке которого сидел Тиша Непрелов. Не слезая с козел, удерживая вожжами неспокойную вороную лошадь, он крикнул в окно:

— Дядь Герась, дожидаться или привязывать?

Открылась дверь, и появился отчим. Он появился всего лишь на несколько секунд и сказал всего лишь два слова: «Мы сейчас», но глазастый Маврикий успел прочитать во внешности отчима довольство, благополучие, уверенность и силу.

Тише не пришлось ждать своих селоков. Видно, они ждали его. На крыльцо вышла Любовь Матвеевна с Иришей.

— Мама,— прошептали помимо воли Маврика его губы и повторили: — Мамочка!

Дарья Семеновна тяжело вздохнула, прожевывая черствый хлеб. Ей не понравилось, что Маврикова мать была весела и нарядна. Как можно так вести себя? Она скажет ей об этом как ее родная тетка, как сестра ее матери, заменяющая покойную. Найдет, что сказать!

Отчим Маврикия закрыл ключом входные двери, помог жене, пополневшей и, кажется, ставшей еще старше своего мужа, сесть в коробок. Потом, подхватив Иришу на руки, молодцевато уселся рядом. Тиша потянул левую вожжу и стал разворачиваться. Резвый жеребец сделал большой круг, так что ходок прошел в сажени-полтора от сидевших на скамейке.

Ясно, что они поехали в свою Омутиху. Впервые Маврикия, столько раз слышавшему и произносившему это слово, оно показалось каким-то аллегорическим, каким-то заключающим в себе двойной смысл. Ну, да не теперь об этом думать. Теперь нужно побывать на родной улице, посмотреть на дом, который и без того у него в глазах и останется в них навсегда.

Здесь все так же. И те же рябины в господском палисаднике, и та же пыль. Только почему же на углу на жестянке написано: «Ул. Сони Краснобаевой»? Позвольте, а что это за надпись на фасаде старого краснобаевского дома? Маврикий тянет бабушку Дарью к дому. Читает надпись на литой бронзовой дощечке:

Здесь родилась и прожила детские годы
своей короткой жизни
юная подпольщица, злодейски убитая
СОНЯ КРАСНОБАЕВА.

Маврик зарыдал. Дарья Семеновна, не понимая причины слез, отвела его под рябины.

— Марфушенька, девчущечка моя, ты это что уду-

мала... Народ же кругом... Срам-то какой...— успокаивала она Маврика, прижимая его к своей груди, чтобы заглушить его совсем не девичий голос.

V

Кто мог представить, чья злая фантазия могла придумать столько мучений, смертей и слез. Как можно было поверить еще год тому назад, что безусые убийцы будут бахвалиться своими преступлениями. Юрка Вишневецкий и Сухариков разгуливали по Мильве в хорошо сшитой форме, с погонами вольноопределяющихся. Отпущенные из полка, как не достигшие мобилизационного возраста, сами себе нацепили эти погоны.

Теперь Маврикий точно знал, что его тетя Катя спаслась только потому, что скрывалась. Саламандра и Вишневецкий убили бы ее. Хозяйка квартиры, где Екатерина Матвеевна жила, доверительно рассказала Дарье Семеновне Кукуевой о приходе этих двух иродов. Она также рассказала, что оставаться в Мильве Екатерине Матвеевне было никак невозможно и она уехала в Москву до отступления красных.

Дарья Семеновна могла войти в любой дом. Ей ничего не угрожало. Совсем не трудно для нее было встретиться с Любовью Матвеевной. Найдя пристанище у старухи бобылки, где можно было безбоязненно оставить «внучку», она решила навестить в Омутиху, чтобы уловить возможность встретиться с племянницей без свидетелей. И они встретились.

И такая сверх ожидания, самым богом охраняемая встреча произошла на пасеке, когда Любовь Матвеевна просила пречистую деву о сыне, а пречистая дева устали Дарьи ответила на ее молитву.

Сказав подсказанные свыше слова, Дарья Семеновна принялась говорить свои собственные:

— Думала, уж не свидимся, ягодка моя, Любонька, а богородица-то, владычица, по-своему рассудила. Охота у моего охотника нынешнюю зиму была хорошая, а заготовщиков-скупщиков не стало ныне. Вот и пошла-поехала купцов искать... Ну, да что о себе да про себя... Ты как, розонька алая?..

Пораженная сходством постаревшей Дарьи Семеновны с покойной матерью, Любовь Матвеевна была очень ласкова со своей теткой.

Герасим Петрович едва не вскрикнул, увидев за столом живую покойницу, бабу псынка. Дословно вспомнилось сказанное ею перед смертью Герасиму Петровичу: «Не дайте моим и дедовским косточкам почернеть против вас». Заметив смущение мужа, Любовь Матвеевна сказала:

— Гостья из Дымовки. Мамочкина родная сестра.

Теперь Герасим Петрович вспомнил ее и старика Кукуева, приезжавших хоронить Екатерину Семеновну, любезно сказал:

— Как хорошо, что вы приехали... Очень рад.— Он хотел сказать: «Вы так напоминаете Екатерину Семеновну», да оставил эти слова при себе.

Герасим Петрович не остался за утренним чайным столом. Не хотелось сидеть со старухой, напоминающей пришелицу с того света...

VI

Дарья Семеновна, оставшись вдвоем с племянницей, могла бы перевести разговор на Маврикия, но ей хотелось, чтобы мать сама заговорила о сыне. А Любви Матвеевне незачем было рассказывать в общем-то чужой старухе об уходе Маврикия из дому. Заметив это, Дарья Семеновна спросила прямо:

— А Маврик-то где? Почему ты о нем ни слова, не думаешь, что он живой?

Тут Любовь Матвеевна сразу же завсхлипывала и ответила:

— Не знаю я, тетя Даша, не знаю...

Старуха на минутку призадумалась для порядка, а потом изрекла:

— Плохо, когда мать теряет сына и не ищет его.

— А где мне его искать? Да и зачем? Для верной гибели. Все же говорят, что и он был замешан в освобождении коммунистов...

— Ась? Что-то не возьму в толк, — притворилась она не понимающей, о чем говорит племянница.

Любви Матвеевне пришлось рассказать все. Рассказав, она снова тихо заплакала, оглядываясь на дверь. Умеющая примечать все, ходя по тайге, как по своему двору, Дарья Семеновна поняла, что племяннице приходится бояться своих слез, своей тоски по сыну.

Проплакавшись, Любовь Матвеевна сказала:

— А ты, тетя Даша, будто знаешь что-то про сына и не хочешь сказать. Думаешь, жив он? А?

Дарье Семеновне очень хотелось сказать «да», но за этим «да» будет спрошено: «А откуда ты знаешь?» Можно, положим, сказать: «Слышала от верных людей», а она спросит: «От каких?» И пойдет-поедет. Разве не случалось на свете, когда добрый, но болтливый язык губил человека?

Задумавшись, как лучше поступить, она увидела на подоконнике колоду карт. Острый и быстрый ум подсказал ей, и она повторила подсказку вслух:

— А не спросить ли нам, Любонька, карты?

— Я уж не верю им больше, тетя Даша.

— А меня они, Любонька, никогда не обманывали. Может быть, потому, что мы в лесах и с богом и с нечислительной силой в дружбе живем. И старого лешего и молоденькую вещерицу привечаем, — говорила она, тасуя карты, а затем, разложив их как никто и никогда не раскладывает, твердо заявила: — Жив-живехонек, — и показала на даму. — Не возьму только в толк, при чем тут бубновая краля. Не то он при ней, не то она при нем.

Дарья Семеновна, никогда не гадавшая на картах, знала, что на этот раз карты не обманут, как их ни раскинь, «толковала» соотношение одной карты с другой так, как ей было надо.

— Смотри ты, как ни раскидывай, все равно то же на то же. И не только жив-здоров, а где-то ходит-бродит совсем близко. А эти вот четыре винёвые в такой перемежке с крестовыми малыми картами прямо сказывают, что он всех видит, а его никто. А эти вот две червонки, десятка справа, шестерка слева, обозначают «страх». Боится открыться. И по всему видно, боится не этой дамы, не тебя, а которого-то вот из этих двух родных королев.

Любовь Матвеевна, до этого верившая картам, усомнилась в них. Уж очень они были какими-то многознающими и въедливыми. Усомнившись в картах, она усомнилась и в ворожее. Тетка Дарья ни разу после смерти сестры не бывала в Мильве и вдруг... Зачем? Продать шкурки? Сомнительно. Это лучше сделать в Перми. Пермь хотя и дальше от Мильвы, но до нее проще добраться по железной дороге. Любовь Матвеевна помнит, как она и Катя давным-давно, будучи

еще девчонками, ездили с матерью в Дымовку за Каму к тетке Дарье и дяде Васе. Не подсказала ли тетка своему племяннику эту закамскую дымовскую родню? Домысел походил на правду. Нужно проверить. И племянница сказала тетке:

— Если карты не знают, кого из этих двух королей надо не бояться, а побаиваться, так вот этого, которого зовут Сидором.

Тетка и племянница снова посмотрели в глаза друг другу.

— А за этого можно ручаться? — спросила тетка, указывая на червонного короля.

— Неужели отец может предать сына, тетя Даша?

— Не сына, а пасынка... Слыхала я, что в Мильве приводили в камеры и родных сыновей. Не пасынков, а родных.

Любовь Матвеевна опять опустила глаза.

— Но матери-то детей не предавали. Меня-то ему зачем бояться? Со мной-то ему что мешает увидеться? Разложи их еще раз.

Старуха Кукуева догадалась, что ее гаданье разгадано, и сказала:

— Карты не любят, когда их мают. Пусть отдохнут. Завтра я их спрошу. Вернее будет.

— Куда же ты? — стала удерживать ее Любовь Матвеевна. — Разве ты не у нас будешь жить?

— Да в заводе-то мне сподручнее. Надо всю родню обойти и на сестриной могилке побывать. Завтра я приду. А этому королю ты тоже ничего не говори, что я тебе, Любонька, нагадала. Карты болтовни не любят. Муж мужем, а сын сыном. Видела я этой зимой твоего короля в Дымовке. Видела, да не узнала.

— А почему же не узнала?..

— Далеко бы пошло... Ну так покамест, моя Любонька-голубонька — маковый цветок...

VII

Пообещав прийти в Омутиху на другой день, Дарья Семеновна решила дать матери собраться с мыслями и решить, как быть дальше. А сама ходила по мильвенской родне и знакомым, желая узнать как можно больше для Маврикия.

Они, наученные расправами, откровенничали теперь

мало, почти не касаясь политики, положения дел на фронте. Впрочем, о фронтовых делах можно было и не говорить. Газеты больше не хвалились победами. Радовавшиеся приходу белых замтно мрачнели. Они что-то знали и скрывали.

Побывав у старой знакомой Васильевны Кумынних, раздавив с ней по три рюмашечки, Дарья Семеновна узнала больше, чем у всех других.

— Фронт остановился,— сказала та.— Бечь еще не начали, но пятки-то уж смазывают. Турчак полностью выехал. В Омск. Верная примета. Этот дородный пес раньше других чует.

От Екатерины Матвеевны, как выяснилось, было получено письмо без подписи и написанное не ее рукой.

— Обещалась до июля приехать в Мильву,— сообщила Кумынниха.— Понимай как хочешь. А я понимаю так, что до июля и духу ихнего тут не будет.

Перескакивая с одного на другое, Васильевна рассказала и об убийстве Сонечки Краснобаевой сыном пристава Юркой Вишневецким, который разгуливает теперь козырем по Мильве. Васильевна несомненно была осведомленнее других. Она, приторговывая на рынке пирогами, шаньгами, квасом, узнавала самые свежие новости. Ей уже несколько раз приходилось слышать о недовольстве в сибирских частях. Она была свидетелем поимки на рынке дезертиров, возвращающихся домой пешим порядком.

Дарья Семеновна пересказывала Маврикию слышанное. Теперь не было никаких сомнений, что тетя Катя находилась в безопасности. Для него это главное.

VIII

Занимая крохотную комнатку в Кривоарбатском переулке, Екатерина Матвеевна не собиралась обосновываться в Москве. Иван Макарович снова был послан в опасное дело. В тыл деникинской армии. Екатерина Матвеевна видела в этом существо жизни Ивана Макаровича и давно привыкла к мысли о неизбежной поимке и гибели мужа. Но изменить течение его жизни, предотвратить поимку и гибель не может никто. И даже сам Владимир Ильич, дорожа Прохоровым, не может запретить ему бороться и побеждать теми способами, которые ему наиболее удаются.

Работая руководительницей курсов кройки и шитья, Екатерина Матвеевна, кажется, нашла себя. Ее любили ученицы, любила и она их. Школа помогала ей забываться и гнать от себя черные мысли.

Видясь изредка с Матушкиной, она знала о положении на Восточном фронте. И, услышав об эвакуации Мильвы, она не могла не вернуться туда вслед за армией.

Маврик должен быть найден. Это ее святая обязанность. Не бывает дня, чтобы она не думала о нем.

И Маврик, думая о своей тетке, зная, как она тоскует о нем, оставил в Мильве несколько писем для своей тети Кати. Послал их на ее старую квартиру, через Кумыниных, через Тихомировых, написав всего лишь одно слово: «Жив». Она поймет. Ей не надо объяснять. Для нее достаточно одного, только одного слова.

Васильевна Кумыниха получила от Екатерины Матвеевны второе письмо. Судя по штемпелю, оно было опущено в Екатеринбург. Так сказала младшая внучка. В письме лежало другое письмо, в хорошо запечатанном конверте. На конверте крупно было написано: «Герасиму Петровичу». Екатерина Матвеевна писала: «Васильевна, дорогая моя, передай это письмо лично Герасиму Петровичу. Из рук в руки. Будь здорова. Е. З.».

Получив переданное Васильевной письмо, Герасим Петрович недоумсвал, как могут ходить письма через фронт. Значит, для «них» он не преграда. В письме Екатерина Матвеевна писала:

«Герасим Петрович! Вы знаете, что значит в моей жизни мой племянник и как я боюсь потерять его. Теперь, когда вы не очень уверены в том, в чем не сомневались еще так недавно, должны помнить, что я всегда окажу вам услугу, чего бы она мне ни стоила, если вы убережете от возможных неприятностей моего родного и единственного. Если же, Герасим Петрович, вы не захотите приложить рук и по злой вашей воле или по недостаточной энергии с вашей стороны с ним что-нибудь случится, то не взыщите. Я бога не боялась, защищая его, а теперь не побоюсь любой кары... Не пренебрегите, Герасим Петрович, этим моим письмом. Е. З.».

Если бы это письмо пришло само по себе, то можно бы и не придавать ему значения. Но письмо связывалось

с невыносимым сходством старухи Кукуевой с бабкой Зашенной. Ко всему этому Герасим Петрович знал, что на фронте вовсе не без перемен, как врут в газетах, а напротив, там большие перемены. Ненадежен и тыл. Это не восемнадцатый год. Каждая улица Мильвы начинена порохом. Разбежавшийся мильвенский полк, так и не получивший ни номера, ни названия, стал силой, растворившейся и попрятавшейся, но готовой в любую минуту подняться и объявить в Мильве Советскую власть.

Екатерина Матвеевна, написав такое письмо, не прибегала к запугиванию, — это не в ее характере. Она подтверждала то, во что не хотелось верить Герасиму Петровичу и что стало неотвратимым.

Когда Герасим Петрович получил приказ явиться в формируемый полк под Пермью, он не стал далее играть в прятки и сказал жене:

— Любовь, тебе с Иришей нужно уехать на всякий случай подальше от фронта. Меня вызывают в полк. Без меня может случиться всякое. Тебя на этот раз могут и не помиловать.

Не договаривая многого, Герасим Петрович сказал все. Любовь Матвеевна поняла, что власть, которую считали непоколебимой, заколебалась. Нужно было только решить, куда ехать. Герасим Петрович назвал Тюмень. Тихий, хороший городок, далеко от фронта. Может быть, под Пермью или где-то на рубежах Европы и Азии Колчак, дождавшись помощи от союзных держав, даст решающее сражение, и Красная Армия покатится за Москву.

В Омутихе Дарья Семеновна появилась только на третий день. Любовь Матвеевна, уставшая ее ждать, спросила прямо:

— Где сын?

— Неподдалечку, — ответила не таясь Дарья Семеновна. — А как решила насчет королей?

— Зачем им знать то, чего они могут и не знать?

— Тогда можно идти...

Тетка и племянница, будто гуляючи, пошли берегом речки, и вскоре в чашобе на пеньке Любовь Матвеевна увидела девочку в длинной синей сатиновой юбке... Мать не сразу узнала своего сына, а узнав — бросилась к нему. Кажется, никогда или очень давно так не ласкала мать своего мальчика, называя его неслыханными до

этого им словами: «кровь моя», «любовь моя» и «жизнь моя». Она не искала этих слов. Они рождались на ее языке сами собой.

— Мать придумает, где спрятать тебя. Она найдет для тебя деньги. Они есть у нее. Только не попадись, только не вздумай довериться кому-нибудь из товарищей. Теперь нельзя верить и родному брату.

Все эти дни мать встречалась с Маврикием и проводила с ним по несколько часов. Обсуждая, как ему быть дальше, они пришли к заключению, что ему следует перебраться в Томск, доучиться экстерном, получить аттестат зрелости и под фамилией своего деда поступить в технологический институт.

Это, кажется, был единственно верный способ укрыться. Далеко от Мильвы. Не столь сложно выхлопотать у псаломщика-пропойцы, ведущего книгу крещений, метрики на фамилию Зашеина. Это вскоре и было сделано.

Маврикий с бабушкой Дарьей последний раз прошли мимо краснобаевского дома. На нем уже не было мемориальной доски. Они прошли мимо политехнического училища, на котором процветающий живописец-вывесочник установил старую вывеску гимназии и сменил жестянку с названием улицы.

Прощай, улица Сонечки Краснобаевой! Прощайте, дома! Может быть, навсегда.

Пыля, они пошли дальше. Нужно было проститься и со второй улицей, с которой тоже так много связано. Вот она, улица. Вот он, тихомировский дом. И, как в самой плохо сочиненной пьесе, опять появляется она.

Ему хочется окликнуть Леру, но боязнь... Не боязнь, а стыд быть узнанным в этом оскорбительном для юноши виде остановил его.

«Пусть проходит мимо. Мимо — в прямом и в переносном смысле этого слова», — сказал он самому себе, уходя от Леры тоже в прямом и в переносном смысле...

Третья глава

I

Маврикий написал и в Дымовке несколько писем для тети Кати. Василий Адрианович пошлет эти письма, когда в Дымовку придут красные. А они, судя по всему,

придут. Через Дымовку поползли обозы беженцев. Торговцы. Заводское начальство. Духовенство. Белогвардейские семьи.

Мать и сестра были уже в Тюмени. Он дал слово матери приехать туда. Она убедила и запугала его, что красные не простят ему его беготни по улице с берданкой, хотя к ней не было у него ни одного патрона, хотя он и не был принят в МРГ, но на его руке была повязка ОВС. Он был знаком с самим Геннадием Павловичем Вахтеровым. У него отец офицер. Пусть военный чиновник. Кто будет разбираться в этом.

Мнительный Маврикий, веря материнской боязни за сына, сам придумывал себе вины и преступления, каких не предъявил бы ему никто.

И как только в Дымовке стало известно, что Мильву сдали красным, Маврикий уехал в Тюмень по железной дороге, оставаясь в кукуевской избе фотографическими карточками, а в Дунечкином сердечке живым, вечным, неуязвимым.

И белые и красные оставляли Мильву без боя. И на этот раз колчаковцы отходили без боя, оставляя кровавые следы, грома и убивая попадавших под их пьяную руку.

Походя они убили на улице Тишеньку Дударина. Не пророчествуй непопущенное. Прирезали отца Петра. Не мешай в одном корыте религию и социализм. Покончили с Всеволодом Владимировичем, не пожелавшим эвакуироваться.

Последние слова истекающего кровью Всеволода Владимировича были обращены к портрету сына:

— Валерий, я с тобой...

Одним из последних покидал Мильву Сидор Непрелов. Он еще надеялся на чудо, еще верил, что бог услышит его молитвы, а бог не услышал, и он стал жечь поля. Они были слишком зелены и сочны. Не горели. Сидор выл, глядя на затухающий огонь. А из огня смеялся и звал к себе погибший агроном Шадрин, появлявшийся теперь в каждом огне, поэтому ставший привычным привидением.

Сидор Петрович велел запрячь всех лошадей, уложил на телеги все, что можно было уложить, и, взяв с собой обоих сыновей, тронулся в дальнюю последнюю дорогу навстречу смерти, которая могла бы еще помедлить и не приходила на пятом десятке его жизни.

И потекли на Восток в одном обозе разные люди, гонимые общей судьбой. И гробовщик Судьбин, и удачливый вывесочник-живописец, фамилию которого никто не помнил. На пяти телегах тронулись Шишигины, покинув свой электротеатр «Прогресс».

Чураков, Комаров и отец протоиерей Калужников образовали особую экипажную корпорацию и отправку багажа в крытых фургонах.

Назовешь разве всех мильвенских беженцев, которым и не нужно было уезжать, но об этом они узнают, только вернувшись чуть ли не в чем мать родила.

Прощай, Мильва...

II

На окраинной зеленой улочке Тюмени Любовь Матвеевна нашла недорогое и тихое пристанище. Маврикий никогда не думал, что мать так нежно будет любить его и сестра Ириша окажется такой близкой. Разные отцы, а мать-то ведь одна. А этим, оказывается, определяется все остальное.

Никогда, сколько помнит себя Маврикий, не жилось ему с матерью так уютно и так тепло. Даже незнакомая Тюмень стала милым, близким и чуть ли не родным городом.

Может быть, он, истосковавшись и настрадавшись, теперь радовался свободе и возможности безбоязненно появляться на улицах в своей одежде. Здесь не встретишь опасных знакомых. А может быть, слух о закамском романе отчима с Музой Шишигиной приблизил теперь мать к сыну.

В прежние годы, когда шла война с Германией, редкий день мать не вспоминала отчима, а теперь о нем говорили, только когда приходили письма. Письма очень были осторожные, иносказательные, читать их надо было неторопливо и в каждом слове искать тайное значение. Например, в одном из писем он со слов знакомого офицера восторгался городом Тобольском. И рыбы-то там много, и свинины хоть отбавляй, и квартиры дешевые, и никакой железной дороги. Спокойнейший городок.

Мать и сын, читая похвалы Тобольску, понимали, что Тюмень вовсе не такой уж надежный город. Но пока Красная Армия была все же далеко, хотя слухи о ней опережали ее. Пугали дивизией Азина. Азина рисовали в самых невероятных видах. Он чуть не собственно-

ручно резал младенцев, потому что без крови не мог прожить и дня.

— Попадись ты, Мавруша, такому Азину, он не станет выяснять, кто ты и что ты. Трах — и нет тебя, мое солнышко.

Эти рассказы чем-то напоминали лубочную картину страшного суда, на котором людей наказывали подвешиванием за языки, сидением на раскаленных углях, вечным кипением в смоле и подвергали другим до того страшным пыткам, что становилось не страшно, а смешно.

Маврикий хотя и не очень верил рассказам об Азине, но кое-что считал правдой. Когда же стали говорить нечто подобное о другом красном атамане, Пашке Кулемине, Маврикий никак не мог допустить, что ему ежедневно приводят «на потаргание и смерть» самых красивых девушек и женщин тех сел и городов, которые он занял.

Слышать ложь о Павлике Кулемине, добрейшем человеке, нежнейшем муже Женечки Денисовой, Маврику было невыносимо. Он чувствовал, что его заставляют быть как бы соучастником этой оскорбительной лжи. Прямота и честность требовали протеста, отпора. Но разве он мог защитить его?

Разговоры об Азине, Кулемине, появление в Тюмени беженцев омрачали считанные летние недели купания, ловли рыбы в знакомой Туре, пришедшей сюда из далекого Верхотурья теплой, широкой и судоходной рекой. Никогда и нигде не видал Маврикий таких крупных и жирных ершей. Говорят, что они будто бы сюда в Туру приходят из моря через Обь, Иртыш и Тобол метать икру. Наверно, врут. Рыбаки, как и охотники, любят присочинить.

Половину времени Маврикий проводил на реке. Его неразлучным товарищем стал Виктор Гоголев. Они были дружны и в Мильве, а встретясь тут, будто заново открыли и полюбили один другого. Сначала Маврикий был напуган, увидев мильвенского товарища. А потом все обошлось.

Вера Петровна — мать Виктора Гоголева — в разговоре с Любовью Матвеевной сказала, что ее сын еще за Камой раскусил и возненавидел вахтеровский туман и под предлогом частых головокружений отказался служить в полевой почте.

При встрече с Маврикием прямой и откровенный Виктор Гоголев сказал:

— А я теперь не за тех и не за этих, а других нет. Значит, я сам по себе. Один.

Кажется, сам по себе и один теперь был и Маврикий. Но зачем делиться этим с Виктором? Жизнь учила Маврика быть осторожным.

О взрыве стены дома бывшей гимназии Виктор даже не намекал, хотя он и не мог знать об этом. Может быть, внутренний такт не позволял ему вторгаться в чужие тайны.

Рассказывая о своих взглядах, Виктор повторял мысли Маврикия и, к его удивлению, прочитал строки из хрестоматийного стихотворения, которые тоже были как бы кратко выраженной политической программой. Он вдохновенно прочитал:

О! как бы счастлив был свет этот старый,
Да люди друг друга понять не хотят.
Сосед к соседу не придет и не скажет:
— Мы братья — дай руку мне, брат...

Пусть эти строки не филигранны, как пушкинские, но в них сказано все исключаящее войны, убийства, раздоры... Если бы красные и белые признали это стихотворение законом для всех людей, тогда пришел бы конец раздорам. Конец бесконечным кровопролитным наступлениям, отступлениям. Конец войне.

Виктор, кажется, повторяет слышанное им от отца. Если Виктор действительно такой, каким его теперь видит Маврикий, то ближе и лучше товарища по духу, взглядам, нравственным достоинствам, наверно, и нет на свете.

Ильюша и Санчик были когда-то самыми близкими, но это другая близость. Теперь Маврикий едва ли увидится с ними. Да и незачем им видаться. Спорить? О чем? Ради чего? Разве их можно переубедить? Конечно, нельзя их вычеркнуть из сердца. Их нужно любить за те детские годы, когда их ничто не разделяло. А теперь их, может быть, даже нужно бояться.

В это время Илья Киришбаум и Александр Денисов, сменив своих кляч на хороших коней, отбитых у колчаковцев, покидали освобожденную Пермь, где догорали подожженные белыми пароходы.

Кавалерийский эскадрон, в котором Ильюша и Санчик были испытанными в боях помощниками командира, продвигался теперь почти без боев за стремительно отступающими колчаковцами. Иногда эскадрону приходилось делать марши по тридцати и сорока верст в сутки.

За две недели они прошли от Перми до Екатеринбурга, войдя в него вместе с частями прославленной Двадцать восьмой дивизии Владимира Азина.

Денисов и Киршбаум надеялись, что в каком-то селе, в каком-то освобожденном городе они встретят своего друга Толлина и, встретив, постараются изо всех сил внушить ему, как ошибается он, повторяя давно известные и развенчанные Владимиром Ильичем Лениным заблуждения.

О Толлине много говорилось после освобождения Мильвы, куда вернулись почти все отступившие этой весной. Екатерина Матвеевна получила письма от племянника и советовалась с обоими Кулемиными, с Григорием Савельевичем Киршбаумом, и все они, вместе и порознь, говорили примерно одно и то же: был бы он жив, а остальное образуется само собой.

В этих словах Екатерина Матвеевна видела желание утешить ее, а не подсказать ей, что нужно делать. Она знала теперь, что ничего и никогда не образуется само собой. И она должна принимать все меры, чтобы напасть на след Маврика. И стоит ей хотя бы примерно узнать, где он, она разыщет его и сумеет найти сильнейшие из всех сильных слов и вернуть его к Ивану Макаровичу. И это в ее силах.

Только бы напасть ей на след Мавруши...

III

А след Маврика еще вчера исчез за кормой пристанской лодки, на которой он и Виктор отплыли по древнему ушкуйному пути Ермака Тимофеевича. Отплыл он не из любви к путешествиям, хотя и это сыграло какую-то роль, но главной причиной были все те же два брата Непреловы.

Герасим Петрович на этот раз без обвиняков телеграфировал из Ирбита:

«На той неделе приедет Сидор и ты должна будешь на его лошадах пересечь Тобольск. Герасим».

Маврикию никак не хотелось встречаться с Сидором

Петровичем, Любовь Матвеевна находила, что эти опасения не лишены оснований. Задумались мать и сын. Размышлять им пришлось недолго. Пришел Виктор Гоголев и сказал, что и они перебираются в Тобольск со знакомыми отца. Но у знакомых в повозке одно свободное место, и они могут взять только мать, поэтому он решил найти попутчика и отправиться туда на лодке.

Любовь Матвеевна опередила сына:

— Зачем же, Витюша, искать попутчика, когда он перед вами.

— Да, Виктор, да. Нам тоже велят эвакуироваться в Тобольск. Какое счастье!

Сборы начались немедленно. Молодые люди подсчитали, что по реке до Тобольска значительно дальше, но плыть им вниз по течению. И если они не захотят грести, все равно течение понесет со скоростью не менее трех верст в час.

Условились о связи. Способ нашелся простой и старый. Везде есть почта. На всякой почте можно сдать письмо до востребования. Оставалось купить и оборудовать лодку. Пошли на реку. Начали с пристани. Подвыпивший водолив сказал:

— Приходите вечером, потолкуем. Не позабудьте захватить на пару бутылок живой воды.

Пришли вечером. Водолив мигнул и пригласил следовать за ним.

Выйдя вниз по реке за черту города, водолив указал на большую лодку с деревянными дугами для брезентовой или берестяной крыши.

Маврикий подал деньги.

— Премного благодарен. Все равно теперь она ницья. Вы не возьмете, другие угонят.

Пересчитав деньги, он поблагодарил еще раз. Денег было больше, чем он думал. Когда счастливые обладатели лодки, которую с небольшим преувеличением можно было назвать баркасом, сели в нее, осмотрительный Виктор предложил перепрятать покупку. Они спустились еще ниже по реке. Нашли подобие заливчика, заросшего кустами, загнали туда лодку. Весла были отнесены в кусты поодаль. Теперь оставалось проститься с матерями, взять приготовленное в дорогу — и в путь, не дожидаясь рассвета.

Матери с легким сердцем расстались с сыновьями. Тура и Тобоя были тихими реками.

Когда Тюмень осталась довольно далеко, путешественникам нужно было позаботиться о бересте для укрытия от дождя.

В июле береста с трудом отставала от ствола дерева. Наблюдавший за Виктором и Маврикием старик, убедившись, что их можно не опасаться, вышел из кустов и сказал:

— Зряшное дело это, ребята. У меня надранная береста есть. А у вас чем я поживлюсь?

— Мы заплатим, — предложил Маврикий, оставив «зряшное дело».

Старик добродушно рассмеялся.

— На что мне деньги в лесу! Нет ли жерлиц у вас на большую рыбу?

— Есть, есть. Всякие есть, — сказал обрадованно Виктор, зная, что деньги еще могут очень и очень пригодиться в пути.

— Тогда и не о чем толковать. Вот она, береста-то. Берите, сколько желательно. — Он указал на старый чум. — Не бойтесь, не бойтесь. Мое пристанище. Их у меня многонько по всему берегу наставлено. Где ночь застанет, в том чуме и сплю.

Разговорчивый старик жил в трех верстах вниз по течению Туры, в заброшенном доме, куда в старые годы наезжал его хозяин с господами поохотиться, половить рыбу и попить.

Рассказывая о себе, старик помог приладить бересту к дугам лодки, боязливо спросил:

— А какая сейчас власть в городе Тюмени?

— Колчака. Адмирала Колчака.

— Ага-га-га-га... — замотал старик головой. — Из магометанов, значит, выбрали. Ну что ж, всякая вера — вера, если она вера.

Когда работа была закончена, Виктор принес дюжину крупных жерлиц.

— Да что ты, сердечный... Куда столько? Разве я похожу на бессовестного?

Он отобрал три жерлицы. Потом соблазнился четвертой. Виктор положил на берег остальные. Старику было стыдно взять столько и жаль потерять такое богатство.

— Тогда, может, хоть морду возьмете в придачу.

Виктор отказался и позвал Маврикия в лодку. Когда лодка была уже на плаву, старик снова спросил:

— А магомстан-то этот из белых или из красных?

— Из грязных, — сказал Виктор.

— Ага-га-га, — прошамкал старик и задумался.

Течение на Туре, как и на всех реках, неодинаково. Здесь, в излуине, оно было быстрым. Открылись новые берега. Богатые леса. Малозаселенный край. Не так уж далеко отсюда Тюмень и железная дорога, а кажется, что здесь совсем другая страна, где не все знают, какая теперь власть. Как странно.

А почему странно? Через три дня и наши путешественники не будут знать, какая власть в Тюмени.

Зачем думать об этом? Нужно любоваться бескрайним привольем, радоваться берестяной каюте без единой щелочки, быть благодарным за то, что светит солнце, за то, что воздух чист, за то, что рыба чуть ли не сама заскакивает в лодку.

Вот, Маврикий, и пришло к тебе настоящее речное путешествие. Не беда, что этот «пароход» не дымит, зато он не стоит на месте.

«Ах, тетя Катя, как я помню, как я ценю все, что ты сделала для меня!»

Виктор растянулся на носу и тоже думает о своем. В мыслях он далеко от Туры, где-то на Миссисипи или какой-то далекой другой реке, в стране, о которой он все чаще и чаще размышляет.

Лодка опять пошла медленнее, поворачиваясь то боком, то кормой, то снова носом по течению.

— Я думаю, — говорит не оборачиваясь Виктор, — что России больше нет и никогда не будет.

Маврикий не понимает, почему Виктору пришло такое в голову.

— Как может не быть России, когда есть мы? Русские.

Ничего не ответил Виктор и снова уплыл в мыслях за океан.

IV

Много скрипучих телег двигалось по направлению к Тобольску. Двигались и три телеги Сидора Непрелова. «Добро», взятое им, наполовину оказалось смешным грузом. Зачем нужно было в Сибирь везти кадушки для солки огурцов и капусты, куль лаптей, когда здесь ходят только в кожаной обуви? Как могло взбрести

в неглупую мужичью голову взять с собой три улья пчел, зашитых в ряднину? А зачем тащить старый ведерный сепаратор?

Алчность была жалка и бесцельна. Он не скоро, но понял, что, теряя ферму, глупо спасать формы для выдавливания фунтовых кружков масла с фирменным названием.

Кое-что ему удалось сбыть за бесценок или отдать за постой, а остальное пришлось бросить.

Теперь он ехал сравнительно налегке. У него нашлось место для матери Виктора — Веры Петровны Гоголевой, очень понравившейся Любови Матвеевне веселостью характера и умением не падать духом в трудные минуты.

Сидор считал Тобольск последним городом, дальше которого отступать не будут. Отсюда после передышки вместе с японской армией Колчак пройдет «всю Россию наскрозь до Дермании». Так ему говорили не двое, не трое, а множество знающих беженцев из господ и богатых людей.

Двести восемьдесят верст от Тюмени до Тобольска не такое уж большое расстояние, если путник едет на перекладных.

Непреловы ехали на измученных лошадях, прошедших от Мильвы свыше тысячи верст. Дорога с дневками заняла почти десять дней. Плывущие на лодке и ночующие в ней, боясь потерять ее, опередили своих матерей. И если б не сказочные берега Тобола, где можно и теперь охотиться луком и стрелами, где неизвестные, могучие, похожие на тополя деревья образуют в самом прямом смысле волшебные светлые леса, которые манят вглубь и пугают звонким шелестом листьев, которые кажутся вычеканенными из какого-то темно-зеленого металла, то дорога была бы короче.

Не побывать в таком лесу невозможно. Невозможно также не причалить к чистой, по-особому выглядящей татарской деревне с деревянной мечетью, с обычаями и традициями, которые сохранились с времен Кучума и Маметкула. Здесь закрывают платком лицо молодые женщины, не говорят с мужчинами не потому, что они не знают русского языка, а потому, что этого не положено. Зато мужчины и старухи гостеприимны и хлебосольны до невозможности. Девушки-татарки хотя и закрывают кромкой платка свои лица, но закрывают

так, чтобы ослепить «нечаянным» поворотом головы и деланно пугливым взглядом. Кто знает, что у них на душе. Старик, угощавший чаем Маврикия и всех остальных, сказал:

— Наши девчонки очень любят, когда их воруют.

И ничего в этом нет удивительного. Живя на глухом берегу Тобола, они не могут не знать, что кроме деревни, где они живут, есть большой мир, города. Мимо их деревни из этого мира проходят пароходы. И на них другие люди, живущие совсем не такой жизнью, как они. Поэтому быть украденной — единственная возможность оказаться в большом мире, пока еще закон не сделал тебя одной из жен какого-то неизвестного и, может быть, старого человека.

Так близко и так далеко Тюмень! Над Тюменью летают аэропланы, а здесь еще и не начинался девятнадцатый, а может быть, и восемнадцатый век.

Нет, Иван Макарович, не может Россия прыгнуть за несколько лет через два века в социализм, думает Маврикий. Это розовый самообман, милый и дорогой Иван Макарович.

Лодка снова плывет по широкому Тоболу. Накрапывает дождь. Сюда скорее приходит осень. Дождь сонливо барабанит по бересте. Виктор спит, а Маврикий, лежа рядом с ним, продолжает затянувшийся спор с Иваном Макаровичем.

V

Знатная река Тобол. Много притоков питают его на протяжении тысячи шестисот верст. Не тих его бег, не узки его плесы, а сравнить его с Иртышом нельзя даже по большой любви и хорошему знакомству с Тоболом.

Тобол — теленок, а Иртыш — вол. Упрямый, неустанный, неостановимый...

— Нужно круче держать нос против течения, — предупредил Маврикий. — Нас может снести.

Лодка, вымчав в Иртыш верстах в трех выше Тобольска, уносила быстрым течением.

Сидя на веслах, путешественники гребли из всех сил, боясь, что течение протащит их мимо Тобольска до того, как они достигнут противоположного берега.

Опасения, конечно, были преувеличены. Их спесло на самую малость, и можно было, оставив весла, на-

правлять свою ладью по течению и любоваться городом, имя которого рождает в памяти столько различно звучащих имен.

Везде есть добрые старики. Для лодки нашлось надежное пристанище. Теперь можно на почту. Никаких писем. Значит, еще едут. Нужно оставить письма для матерей и отправиться на осмотр города. А может быть, им удастся найти квартиру, чтобы приехавшие сразу получили крышу.

Город поразил обилием церквей и немалым количеством тюрем. Увидели виденный ранее в учебниках истории памятник Ермаку Тимофеевичу. Ничего, но и не ах! Не очень благодарными оказались русские цари к этому простолюдину с Урала за его великие подвиги и дары.

Побывали и около дома, где жил последний царь. Внутрь дома не пустили. Было сказано ясно и коротко: «Нечего вам тут делать». Сказано так, как будто тут жил не свергнутый, а царствующий царь.

Для свежего глаза Тобольск и выглядел городом царствующего царя. В городе появилось немало бежавших с Урала, из Прикамья. Красная Армия была вовсе не так далеко, а самоуверенные бородатые, не обиженные размерами животов богатеи, будто отделенные океаном или неодолимыми горами, не допускали мысли, что куражиться им оставалось несколько недель. Колчак проиграл успешно начавшуюся для него кампанию. Ему уже не дают больше в кредит ни пушек, ни сигарет. Он не оправдал надежд, возложенных на него. От него отвернулся и сибирский мужик. Не голытьба, которая никогда не была с ним, не колеблющаяся середка-половина, но и зажиточная часть.

Глазам, видевшим, как лопается радужное ничто, выдуманное из ничего, не нужны слова. Сколько их было слышано. Тобольск — город-тупик, из которого можно теперь выбраться только вверх по Иртышу, на Омск, да и то, кажется, с боями. Берега Иртыша беспокойны. Стреляют по судам. Остаться здесь невозможно. И зачем только понадобилось отчиму послать их в этот город, в этот мешок? Нужно искать какой-то выход.

— А может быть, двинуть через северные моря? — спросил Гоголев не то Маврика, не то себя, а может быть, того и другого.

— Куда?

— Мало ли на свете стран... — сказал уклончиво Виктор, а затем, меняя предмет разговора, предложил отправиться на базар.

Базар всегда место неожиданных встреч. Неожиданной и совсем неприятной для Маврикия была встреча с Аверкием Трофимовичем Мерцаевым.

Деликатный Виктор, поняв, что его друг встретил в Тобольске человека, которого нужно опасаться, не стал добиваться подробностей. Маврикий вынужден был торчать в подгорной части, где они нашли пристанище у старика паромщика.

Понимал, что скрывающемуся здесь Мерцаеву едва ли захочется, предавая Толлина, открыть себя. Однако же не всегда логика бывает логичной.

Скорее бы встретиться с матерью и решить, как быть дальше. Жизнь окончательно стала недоброй. Она вязала такие узлы и петли, что иссякали последние силы и таяли те слабые надежды, которые выдумывали себе люди, чтобы хоть как-то поддержать себя.

Тобольск, где так недавно жили просторно, стал тесным и дорогим городом. За ночевку требовали чуть ли не месячную плату за этот же угол. А беженцы прибывали и прибывали.

Сидор Петрович до приезда в Тобольск еще на что-то надеялся, а приехав сюда, он сказал сыновьям:

— Дальше нам некуда подаваться, надо продавать лошадей и телеги.

Подтвердил это и Герасим Петрович, прибывший сюда на очередное переформирование: готовиться надо к самому плохому.

Услышав такие слова, Сидор начал распродажу. Беженцы из темных, еще надеясь, что куда-то найдется дорога, не очень торгуясь, купили непреловских лошадей.

Сидор, оказавшись при деньгах, теперь мог куда-то передвигаться на парохоме. Сыновья же его должны будут двинуть пешком в обратный путь, в Омутиху. Скажут, угнали с подводами, и вся недолга.

VI

Мать посоветовала Маврикию пока не появляться у них на горе. Герасима Петровича расквартировали с остатками части в пересыльной тюрьме. Отчим все еще не знал, что пасынок нащелся. Маленькая Ириша, как

и всякая девочка, была ближе к матери и, любя своего отца, все же считала, что ему совершенно не обязательно сообщать все.

Связь с матерью Маврикий поддерживал через Виктора Гоголева. И как-то Виктор сказал:

— Ты знаешь, Мавр, у твоего отца я видел того бритого человека, которого мы встретили на рынке.

Это поразило Маврикия. Отчим был знаком с Мерцаевым, но не так близко, чтобы тот мог открыться ему. Может быть, поэтому осторожная мать и скрывает от мужа своего сына. Пришлось Виктору рассказать больше, чем хотелось бы. Виктор на это сказал:

— Давно бы так. Теперь я хоть как-то вооружен и в случае надобности могу защитить тебя. Мне кажется, они о чем-то сговариваются, — сказал Виктор. — Я не верю в предчувствия, но иногда они не обманывают. Я думаю, что теперь, когда белые на краю гибели, многие придумывают, как быть дальше.

Наблюдательный Виктор строил верные догадки, но узнать об их планах было невозможно. То, что они задумали, было неожиданно и для них самих, и они боялись спугнуть мечту о счастливо открытой для них Америке.

А открытие произошло совершенно случайно. Аверкий Трофимович Мерцаев от мобилизации бежал в Пермь. Там, видоизменив свое лицо, он встретился с Судьбиным.

Мерцаев не побоялся гробовщика, потому что знал достаточно о его подлостях, за которые наказывают только смертью. Судьбин тайно скупал краденые церковные ценности, думая, что подобного рода коммерция останется тайной. Так бы оно и было, если б Аверкий Трофимович не оказался конкурентом Судьбина по кошунственной скупке.

Встретившись в Перми, старые знакомые уточнили свои отношения. Судьбин пообещал сделать все от него зависящее. И он получил от Мерцаева инструкции и способы убеждения Нелли Чоморовой относительно возвращения не принадлежащего ей.

Нелли, прочитав из рук Судьбина письмо от своего чернобородого факира, сразу же поняла, что ей угрожает и как нужно себя вести. Она показала редкий образец оборотистости по превращению в деньги всего, что в них превращалось. И вскоре Судьбин вместе с

письмом-отчетом вручил Аверкию Трофимовичу и деньги и ценности.

Благодаря за операцию, Мерцаев вознаградил гробовщика щедрым процентом и пригласил в загородный кабачок без вывески. Там они ужинали в обществе двух молодых дам, одна из которых любезнейше осведомилась, не интересуются ли господа долларами.

Вот тогда-то в бритой, похожей теперь на огурец голове Мерцаева блеснула мысль о побеге в Америку. И он с этого дня думал только об этом, строя один за другим планы осуществления единственной возможности сохранить купленную у солдата за карманные золотые часы жизнь.

Перебирая вероятные возможности, он пришел к заключению, что ему нужен надежный компаньон. И само провидение, там же в Перми, свело его с Герасимом Петровичем. Сначала Непрелову этот побег показался невозможным и неприемлемым, а потом пришлось согласиться с доводами Мерцаева. Мерцаев утверждал, что быть живым беглецом куда предпочтительнее, чем верным присяге мертвецом.

Дела на фронте, обстановка в армии, суждения лиц, видящих дальше и шире Непрелова, характеризовались избитым, но предельно исчерпывающим словом «крышка». И как-то ночью Герасим Петрович едва проснулся, напрягая последние силы, чтобы поднять крышку гроба, в котором его хотели зарыть живьем.

Сон странный, глупый, но почему-то после этого сна Герасим Петрович принялся внушать себе, что для Любви Матвеевны и доченьки Ириночки безразлично — беглец он или мертвец. Они не будут знать, что произойдет с ним. Муза Шишигина, отдавшая ему на сохранение драгоценности, измеряемые каратами, тоже не может быть в претензии на его гибель. А кроме этого, она отдала ему только часть, и, может быть, не большую.

Ну а брат... Судьба брата не зависит от его судьбы. Если выживет так выживет, а нет так нет. При чем тут Герасим Петрович?

А об остальных он не должен думать. Жаль только маленькую швейку с питерской улицы Пятая рота. Но ведь кто знает, как потом сложится жизнь, может быть, будет возможно и ей перемахнуть океан. И тогда наступит единственное и настоящее счастье с этой малень-

кой, миленькой, ласковой кошечкой, искренне и бескорыстно полюбившей его, несмотря на разницу лет.

«Господи владыко! Дай ей счастье не меньшее, чем я мог бы ей дать».

По лицу Герасима Петровича катятся горячие слезы. Оказывается, все за хвостом лошади, на которой он вместе с обозом направлялся в Тобольск на переформирование. Какое там к черту переформирование, когда они еле успевают дать отдых коням и прикорнуть сами.

В Тобольске Герасима Петровича ждал Мерцаев. Там они обговаривают последнее и...

VII

...и можно трогаться в далекий путь.

Путь в Америку для них лежал по Иртышу через Омск, по железной дороге на Дальний Восток, а там подкуп кого-то из команды какого-то из кораблей, затем тягостные дни в угольном трюме корабля, и, наконец, — здравствуй, Америка! Какая — все равно: Южная или Северная, Латинская или Греческая, чертова или дьяволова, или какая-то еще. Что они знают об Америке? Им лишь бы выжить, лишь бы переплыть океан, а там увидят...

Сейчас предстоит одолеть первый этап пути.

Остатки белых полков и дивизий, преимущественно обозные и административно-хозяйственные остатки, погрузили в две огромные деревянные баржи. После погрузки в баржах осталось свободными немало отсеков, поэтому было решено заполнить их беженцами. Чтобы не создать паники среди желающих покинуть Тобольск, была объявлена продажа билетов по самым низким ценам.

Продажа билетов, вернее, выдача разрешения на приобретение билетов была возложена на бывшего полкового казначея, ныне интенданта транспорта специального назначения, то есть двух барж, — Непрелова.

Герасим Петрович сразу же уразумел, что за разрешение на продажу дешевых билетов он может брать самую дорогую цену, какую только способен дать стремящийся оказаться в Омске. Омск был теперь самой близкой от Тобольска железнодорожной станцией. Возвращение в Тюмень было уже невозможно.

Взятку, хотя она и дается интимно, с глазу на глаз, все же спокойнее брать у знакомого. Поэтому мильвенские беженцы были в предпочтительном положении по отношению ко всем другим. Первую взятку в качестве благодарственного подарка от отца протоиерея Калужникова принесла его благоверная Любовь Захарьевна. Вручив некурящему Герасиму Петровичу серебряный портсигар с золотой головой льва и двумя большими изумрудами цвета весенней травы, замещающими глаза царю зверей, она получила пять билетов. С Калужниковыми эвакуировались три дочери от двадцати трех до тридцати двух лет, из которых только младшую, Лару, можно было упрекнуть в излишней полноте, но и она не была обойдена любезным вниманием и галантным обхождением встречавшихся в пути офицеров. Один даже подарил ей офицерский георгиевский крест, заменяющий в полевых условиях таинство брака и олицетворяющий одновременно клятву вечной супружеской верности. Таких крестов-клятв у нее хранилось шесть и одна медаль. Тоже клятвенная. Лара не сомневалась, что хотя бы одна из семи георгиевских клятв верности будет сдержана. Не все же они полягут на поле брани, кто-то и останется в живых.

У купцов Чураковых, как у Шишигиных, тоже не пришлось вымогать вознаграждение. Эти уплатили золотыми монетами по десяти рублей за билет. Разумеется, Музочка Шишигина получила бесплатный билет из рук Герасима Петровича в освобожденную для пункта медицинской помощи каюту водоливов.

Для тобольских богатеев, кратковременно покидающих свой город, билеты на баржу приобретал Аверкий Трофимович Мерцаев. Он добросовестнейше отчислял себе четверть вознаграждения, стараясь брать его фунтами, долларами, франками и прочими ценностями, не занимающими много места.

Чем меньше оставалось мест, тем выше назначалось вознаграждение за право покупки билета. И когда все было распродано, наступил час отхода барж.

Счастливы, получившие места, отгораживались семья от семьи простынями, одеялами, брезентовыми полотнищами, расставляли кровати с тюфяками и перинами или, раздобыв ящики, а то и просто доски, устраивали себе место для ночлега. Путь на барже до Омска против течения долгий. Едва ли они пойдут три-четыре

версты в час по прибывающей после осенних дождей реке.

А что делать? Иртыш хотя и трудная, но единственная лазейка из тобольского мешка.

VIII

Не просыхали глаза у Любви Матвеевны. Плакала и дочь. Они должны оставаться в этом чужом городе.

— Любаша, верь мне, — убеждал Герасим Петрович. — Тобольск — самое лучшее из того, что можно выбрать. Такое благоустроенное жилье, с двойными рамами. Хорошая печь. Никто не может выгнать. А там... Что ждет тебя там, в Омске, где, наверно, один убивает другого за железнодорожный билет?

— А красные? Они же придут. Непременно придут.

— Кто знает? А если и придут... Разве ты виновата, что тебя эвакуировали, как жену мобилизованного чиновника военного времени? Ведь я же не офицер. У тебя на руках справки, кто я. Вот же, читай... Тут же так ясно... И печать...

Успокаиваясь, Любовь Матвеевна снова принималась плакать.

— Но почему же едут другие? И Чураковы, и Шишигины, и протоиерейская семья... Почему, Герася?

— Люба, разве я им могу запретить погибнуть в пути или быть растерзанными в Омске? Разве возможно им говорить то, что я говорю по секрету тебе, моей жене. Меня же предадут военно-полевому суду за пропаганду...

— Да, Герася, это верно, — успокаивалась снова Любовь Матвеевна. Она верила мужу. Верила тем более, что он ей оставил наиболее громоздкие ценности: калужниковский портсигар, дюжину серебряных столовых ложек, дутые золотые браслеты, сомнительного металла броши и, наконец, кошелек с золотыми монетами.

— Я ничего не беру с собой, кроме штатской одежды на случай побега из армии. И как только я где-то обживусь, ты будешь знать. И я перевезу тебя...

Любовь Матвеевна утешалась его словами, каждое из которых было лживым. И только в одном не лгал Непрелов. Любовь Матвеевна должна была остаться в Тобольске, чтобы сохранить себя и дочь. Непрелов не мог взяти их на верную гибель. Все же какие-то чувства, и особенно к дочери, мешали ему погубить их.

Перед отходом баржи Непрелов плакал. Он сказал: — Прощай, Любонька...

А она:

— Почему же, Герася, «прощай»?..

А он:

— На всякий случай. Теперь можно ждать всего...

Любовь Матвеевна думала, что, может быть, в последнюю минуту он вспомнит о пасынке, и тогда она позовет его проститься с отчимом. Маврик стоял на берегу за дровами, заготовленными для пароходов. Но Герасим Петрович так и не спросил о нем. Любящая мужа жена решила, что это произошло потому, что, наверно, он думал, что пасынка нет в живых, не хотел напоминать матери о погибшем сыне.

Думайте так, Любовь Матвеевна! Так вам лучше. И вообще успокоительное заблуждение куда более целительно, нежели даже сильнодействующие лекарства.

Сначала ушла одна баржа, на которую не было продано ни одного билета мильвенским беженцам, чтобы дышалось свободнее Аверкию Трофимовичу. Баржу повел буксирный пароход с колесным трехдюймовым отечественным орудием на носу и двумя скорострельными французскими пушками, установленными на правом и левом бортах верхней палубы. Такой же буксирный пароход, но с пятью пушками потянул вторую баржу. Герасим Петрович долго не уходил с палубы и махал дровам, около которых все еще стояли жена и дочь. Разговаривая со своей совестью, он убеждал ее, что иного выхода не было и что им оставлено достаточное обеспечение, врученное жене в Тобольске и зарытое в Мильве.

Совесть Герасима Петровича оказалась сговорчивой, и он за первым же поворотом реки пошел в каюту, освобожденную от водоливов, где ждала его сестра милосердия Музочка Шишигина.

Четвертая глава

I

Потеряв мужа, Любовь Матвеевна теряла и сына. Он поделился с ней:

— Мама, тут слишком много осталось понаехавших мильвенцев. Одни при белых, а другие при красных могут разлучить меня с тобою навсегда.

Сын не старался говорить театрально. Так сказалось. И мать, мнительная не меньше своего сына, сказала: — Да, ты прав. Но на чем и куда бежать... — Все уже найдено и решено.

Он рассказал матери, что Виктор Гоголев тоже не хочет оставаться в Тобольске и его мать согласна с ним.

Виктор, все это время пропадая около пристаней, познакомился с молоденьким штурманом небольшого деревянного парового катера, купленного ирбитским купцом Блаженным в Тюмени для переезда водой в Тобольск, с тем чтобы вернуться на нем же обратно. Теперь же хозяин с женой и дочерью отбыл на пароходе, бросив катер и штурмана. Штурман вскоре нашел нового хозяина. Оказывается, из Тобольска вынужден был тайно бежать побочный сын царя Николая Второго, Арсений. Он скрывался здесь все это время, боясь белых и красных, которые могли прикончить его как единственного претендента на престол. В доказательство претендент показал сделанные им в Тобольске фотографические снимки, где его августейший отец пилит дрова, метет двор, гуляет с царевнами. Сомнений никаких не оставалось, и наивный, недавно закончивший речное училище штурман Дима Демин согласился доставить претендента на русский престол. Штурману также не очень улыбалась зимовка в Тобольске и потеря катера, который в Омске можно было сбыть за хорошую цену.

Получив от претендента хороший задаток, Дима Демин должен был нанять двух благонадежных кочегаров, потому что ему одному топить котел и стоять у штурвала было невозможно. Положим, котел мог топить и побочный сын царя, но ведь рулевому нужно когда-то и спать.

Благонадежнее Виктора Гоголева и его товарища, за которого он ручался, трудно было придумать кочегаров.

Предельно загрузившись дровами, закатив как аварийное топливо две бочки керосина, катер ночью должен был покинуть Тобольск.

Снова прощание, снова слезы и снова путь по реке. «Важный пассажир», как называл его Дима Демин, ставший теперь капитаном, находился в средней каютке величиной со шкаф среднего размера, именовавшей-

ся «дамской», так как там ранее находилась дочь купца Блаженова, оставившая штурману аромат своих духов и несбыточные надежды.

Кочегары, сменяясь, должны были подбрасывать в маленький, но прожорливый котел небольшие поленца и подменять у руля капитана днем, когда по широкому Иртышу катер может вести всякий, отличающий правую сторону от левой.

Утром «важный пассажир» попросил капитана прислать себе в каюту кочегара меньшего роста.

— Кочегар Толлин, — приказал капитан, — вас просят зайти в каюту.

В каюте встретились два старых знакомых. Один из них сказал:

— Я вчера еще услышал твой голос, а потом увидел тебя, мой дружок, в замочную скважину. Пораздумав, я пришел к выводу, что нам следует не узнавать друг друга. А теперь иди и принеси мне стакан чаю, ради которого я пригласил тебя, мое сокровище.

Сердце Толлина не очень стучало, и губы почти не дрожали по выходе из каютки-шкафа, где произошла у него встреча с Всесвятским. Его можно было не опасаться, так как он сбежал из Мильвы до взрыва стены бывшей гимназии. Он должен опасаться Маврикия, как дезертир, скрывающийся от военной службы. А это несомненно так. И пусть, жалко, что ли...

Проворный катерок продвигался не столь быстро. Ему, довольно широкому суденышку, трудно было бороться с течением, поэтому старались держаться ближе к берегу.

Коли лодка, подаренная в Тобольске старику перевозчику, без напряжения воображения сходила для Маврика за пароход, то этот катер, разрезающий волны, был настоящим пароходом. Владеть бы таким... Невозможно представить, какое было бы это счастье. Иртыш, Обь, притоки... А что стоит, конечно имея деньги, перевезти по железной дороге этот совсем небольшой катер в другой бассейн и побывать на реках, которые не может и представить Маврикий.

Как сладко думается Маврикию Толлину, которому доверено штурвальное колесо, и он видит, что вовсе не трудно вести послушный рулю катер. Может быть, наступит время, когда он своими руками вместе с товарищами не жалея ни сил, ни трудов, соорудит нечто

подобное. Катер очень прост. Обыкновеннейшая паровая машина, каких в Мильве прорва.

Обладая с детства способностью уходить в мечты и забывать окружающее, Толлин верил, что настанет время, и он соорудит такой же милый пароходик, нужно только снять точные чертежи, записав все данные катера. Не боги же в самом деле... Только бы уцелеть.

II

Как ни медленно шел катерок, все же он продвигался раза в три быстрее барж, вышедших из Тобольска тремя днями раньше.

Маврикий первым увидел обгоняемые баржи. Он узнал корму второй баржи. Очень хотелось увидеть в бинокль отчима. Не увидел.

Зато часом позже, обгоняя баржу, идущую впереди, Маврикий поймал в поле зрения бинокля четверых знакомых: Мерцаева, Сидора Петровича Непрелова и двух его сыновей.

Значит, для них не опасен Омск. Им найдется место в тесном городе... Ах, мама, ты еще веришь ему. Впрочем, верь. Так тебе легче.

Тут нужно сказать, что Маврикий неправ. Герасим Петрович советовал тогда брату дожидаться красных в Тобольске и вернуться домой, убеждая, что он ни в чем не виновен. И мертвый агроном Шадрин в конце концов не улика.

Это не убеждало Сидора, и он сказал:

— Не будет тебе счастья, если ты, брат, бросишь меня...

Тогда Герасим Петрович сказал:

— Пусть будет по-твоему, — и выдал ему три билета на первую баржу.

Вскоре и эта баржа была обогнана. Теперь не осталось впереди идущих судов. За каждым поворотом можно было ждать конца плавания. Вечером катер обстреляли с берега. Из дробовиков. Видно было, как дробь, не долетая, ложилась на воду. Здесь не долетает, а где-то долетит. И не дробь, а пуля. Не везде же так плохо вооружены стреляющие с берега.

Хотели идти только ночью и без огней. Но где отстаиваться днем? И без того приходится с большим риском пополнять запасы дров.

Всесвятский предложил поднять спасительный флаг, и все ухватились за него. Необыкновенно быстро из простыни было вырезано полотнище флага, а из красного флага, припрятанного штурманом на всякий случай, были отрезаны полосы для красного креста.

Катер, идущий под белым флагом с красным крестом, во всех случаях будет подвержен меньшим опасностям. Так и было. С берега им не раз приходилось видеть отряды вооруженных крестьян, но никто из них и не думал стрелять. Флаг так подходил мирному, пузатому, деревянному катеришке. Какую и кому он может нести опасность? На такой и пулю жалко тратить.

Так они дошли до Усть-Ишима, где шел настоящий бой. Буксирные и пассажирские пароходы, обложенные мешками с песком, стреляли по берегу. Маврикий видел собственными глазами, как снаряд ударил по колокольне, сделав большую пробоину в ее углу, после чего на колокольне замолчал пулемет. Зато на судах неумолкаемо заговорили пулеметы и скорострельные мелкокалиберные пушки. И вскоре пароходы стали подходить к высокому берегу.

Это первый бой, который видели Маврикий и Виктор.

Поднявшись выше Усть-Ишима, никем не задержанный и не окликнутый катер запасся сухими березовыми дровами и двинулся дальше.

Иртышская флотилия осталась позади. На катере не знали, что с барж на пароходы поступали тревожные вести о начавшейся эпидемии тифа.

Первой жертвой эпидемии на барже был отец протоиерей Калужников. Сразу же возник вопрос, где хоронить и как хоронить. Остановливаясь, высаживаться на берег и предавать тело земле значило рисковать пассажирами. И без того с берегов грозили дубинами, вилами, а иногда пускали и свинцовую певунью.

Герасим Петрович, начальствуя на барже, объяснил положение дел и приказал находящемуся на барже семинаристу прочитать над отцом протоиереем нужные молитвы, а затем тело, завернутое в белые простыни и обвязанное бечевками, предать воде, как это делают на море.

Моряки, предавая умершего воде, обычно привязывали колосник, и тело сразу же исчезало в пучине моря, а отец протоиерей поплыл, покачиваясь на волнах, вниз по течению.

Не из приятных было провожание протоиерея в последний путь, но все же люди, жадные до зрелищ, стояли на корме баржи, обсуждая, доплывет ли отец протоиерей до Тобольска или станет чьей-нибудь пищей. Если да, то чьей именно.

Выяснявшие этот вопрос, в частности веселый тобольский рыбопромышленник и его молодая супруга, не знали, что и они тоже тем же путем и способом поплывут к родному городу, не достигнув его.

Королева тифозная вошь теперь была страшнее выстрелов с берега. С ней боролись, а она, сидя в густой купеческой бороде или в роскошных волосах красоти, таила в своем укусе опаснейшую из бед этого времени.

III

Давно позади приятный гостеприимный деревянный город Тара. Хороший, уютный, с широкими улицами, он будто создан богиней по имени Тишина.

Маврикий вывез из Тары листовку. Он подобрал ее валявшуюся на улице. Листовка была озаглавлена:

«ИЗ ПИСЬМА В. И. ЛЕНИНА К РАБОЧИМ И КРЕСТЬЯНАМ ПО ПОВОДУ ПОБЕДЫ НАД КОЛЧАКОМ».

Листовку Толлин первый раз прочитал еще в Таре на улице. Ее невозможно было не прочитать. Потому что в ней, обращенной к крестьянам, говорилось и о Толлине. И Толлин, читая, будто слышал ленинский голос и видел его лицо, простишающее сквозь строки:

«Чтобы уничтожить Колчака и колчаковщину, чтобы не дать им подняться вновь, надо всем крестьянам без колебаний сделать выбор в пользу рабочего государства. Крестьян пугают (особенно меньшевики и «эсеры», все, даже «левые» из них) пугалом «диктатуры одной партии», партии большевиков-коммунистов.

На примере Колчака крестьяне научились не бояться пугала.

Либо диктатура (т. е. железная власть) помещиков и капиталистов, либо диктатура рабочего класса».

Эти слова, перечитываемые на катере, обращенные ко всем или ко многим, не имели прямого отношения к Маврикию, но далее говорилось Толлину и о Толлине. Далее говорилось о таких, как он. Будто Владимир Ильич заглянул в него и увидел построенное там иде-

альное «государство без государства», без диктатуры и принуждения. И об этом в листовке говорилось весьма определенно:

«Средины нет. О середине мечтают попусту барча-интеллигентики, господчики, плохо учившиеся по плохим книжкам. Нигде в мире середины нет и быть не может».

«Либо диктатура буржуазии (прикрытая пышными эсеровскими и меньшевистскими фразами о народовластии, учредилке, свободах и прочее), либо диктатура пролетариата. Кто не научился этому из истории всего XIX века, тот — безнадежный идиот».

Легко ли Маврикию считать себя заслуживающим этого определения, да еще усиленного словом «безнадежный»? Легко ли считать себя «пособником Колчака»? А в листовке Ленин прямо говорит: «Мечтатели о середине — пособники Колчака».

Какой же Маврикий пособник Колчака, если он ненавидит его и радуется гибели его армии, которая откровенно борется за восстановление царизма, а с ним за возвращение капиталистов и помещиков.

Оставаясь с листовкой один на один и перечитывая ее, Маврикий чувствовал, как в нем, внутри него постепенно расшатывались основы представлений и убеждений, основы всего того, что Валерий Всеволодович называл мировоззрением. И это мировоззрение не было придумано или построено искусственно, оно — как зрение, слух, обоняние. Не видит же он голубое зеленым, не путает же он шумы с мелодией и не принимает же он дурные запахи за хорошие. Он жил в мире незыблемых истин. А теперь вдруг все заколебалось, самое святое в нем подверглось сомнению, и он неожиданно для себя оказался в разряде идиотов.

Медленно проходили иртышские ступенчатые берега. Не замечал их Маврикий, механически поворачивал штурвал. Ему трудно было отказаться от самого себя, но еще труднее возразить листовке, с которой так недвусмысленно насмешливо смотрел Владимир Ильич. Он, конечно, недоволен Маврикием. Да и Маврикий недоволен собой. Сейчас ему так хотелось, чтобы тифозная вошь насмерть укусила Вахтерова. Он ненавидел всю его банду, но все равно для него невозможно согласиться с этим: «либо — либо», либо диктатура буржуазии, либо — пролетариата. Должно же что-то быть между

полюсами, пусть не середина, но какое-то такое нечто промежуточное.

У Маврикия очень уставала и тяжелела голова. Ему так хотелось быть правым. Хотя бы в чем-то.

Он спрятал листовку в маленький бумажничек вместе с метрической выписью на фамилию деда. Хватит. Время покажет. Скоро уже Омск — конец пути и, наверно, конец многому другому.

Так хотелось вымыться в бане... Вымыться до костей, до позвоночника.

IV

Последние версты пути шли на керосине. Не пропадать же ему. Подливали через медную трубочку и воронку в горящие дрова, и катер, густо дымя, заметно прибавлял ход.

Всесвятский попросил капитана пристать на часок к деревушке перед Омском. Он показал дом, в котором жил друг претендента на русский престол, министр двора его величества короля Георга Четвертого. Уйдя, претендент захватил с собой маленький чемодан, в котором находились ценности, деньги и документы, оставив большой чемодан, в котором не было ничего. Штурман и теперь верил, что покинувший катер вернется. Толлин и Гогблев могли бы объяснить, почему претендент не вернется, но для этого слишком много нужно было рассказывать.

Продав часа три, Маврикий сказал:

— Наверно, министр ему предложил убежище в Англии, не пожелав сообщить об этом нам.

— Вернее всего, вернее всего, — таинственно произнес простоватенький штурман и дал полный в Омск.

В это время года, когда по реке в самые ближайшие дни должно поплыть сало, трудно продать катер. Но в верховьях Иртыша зима приходит позднее. Может быть, кто-то из беженцев захочет податься в далекие степные места или дальше по Иртышу до Китая.

В Омске кочегары получили расчет и оставили катер. Поселились на окраине города. В континентальном Омске зима наступает осенью. Вспоминая прошлую закамскую зиму, друзья начали свои покупки с полушубков.

Омерзительную картину представлял собою Омск на рубеже осени и зимы 1919 года. Вавилон. Колчак и его правительство словно вывернули все пороки бросаемых здесь верховным правителем, веривших в него и надеявшихся восстановить потерянное в Октябре 1917 года.

Здесь собралась буржуазия всех отраслей, родов и оттенков. И каждый хотел выжить. А выжить можно было, только проскочив по узенькой ниточке железной дороги на Восток, к океану. А как?

Хорошо у кого есть что дать. На бумажные колчаковские деньги и не смотрят. И если берут их, то на текущие, рыночные расходы.

Непрелов и Мерцаев проскочили. У них было что дать. Особенно у Непрелова. Он похоронил Музочку Шишигину и взял у нее остальное, зашитое для маскировки в плюшевого медвежонка, который был ей мил с детства. Простая, наивная, а вместе с тем неожиданная хитрость. Герасим Петрович распорол медвежонка. Не пропадать же золотым золотникам и сверкающим каратам. Его счастье. Такова судьба.

Черным чревом города был теперь рынок. Впрочем, не один. На всех улицах шла купля-продажа.

На барахолке города торговали всем. Положительно всем. Нелепость цен была невероятной. Один и тот же предмет можно было купить и за сто рублей и за десять. Продавали, перепродавали краденое, награбленное, брошенное и найденное или снятое с себя для очередного питья-забытья. Было множество дешевых вещей. Беженцы, распродаваясь, не вымогали цену. Задача Маврикия и Виктора состояла в том, чтобы купить теплые вещи по возможности дешевле и обязательно без вшей. И уж конечно с меньшей вероятностью их наличия.

На рынке Маврикий увидел человека, с которым раньше так боялся встретиться. А тут подошел к нему и сказал:

— Здравствуй, дядя Сидор!

Сидор Петрович, всмотревшись в лицо остановившего его племянника, обрадованно воскликнул:

— Ты?! Андреич!

— Я! А что ты тут делаешь?

— А я чего не надо сбываю... Ложки вот. Сапоги Герасины.

Маврикию очень хотелось спросить, как они, едучи

на тихоходной барже, обогнали их катер. Спросить так было нельзя. Вопрос был задан короче и проще:

— Как вы здесь очутились?

— А когда холодать начало, мы бросили баржу с беженцами, на пароход переселились, чтобы в лед не вмерзнуть. Да и боялись, что своих в Омске не застанем. Да что же мы здесь об этом толкуем. Выйдем.

— Выйдем.

Вышли. Вместе с дядей и племянником пошел и Виктор. Было видно, что дядю бояться теперь нечего. Жалкий, несчастный, постаревший, жаловался на брата, на младшего сына, на бога и на весь мир. О старшем сыне он упомянул вскользь и, кажется, был благодарен богу за то, что сын умер от тифа и уплыл вниз по реке. Младшего, Тишу, он, проклиная, называл перевертышем. Тиша ушел к красным в Усть-Ишиме. Ушел и сказал: «Хватит!»

— Бросил меня и брат, преисподняя и неворотимая ему,— жаловался, всхлипывая, Сидор Петрович.— Он не схотел меня взять и сбег с бритым аптекарем. Я молил его Христом-богом, а он, Каин, сунул мне пачку этих дохлых денег, и только я его и видел.

Сколько мог неродной племянник утешил неродного дядю и посоветовал ему осесть где-то под городом, в деревне, а потом вернуться в Омутиху.

Эти слова привели в бешенство Сидора Петровича.

— И ты мне велишь вернуться к ним, красная бомба... Да я тебя живьем... — Задыхаясь, он бросился на Маврикия.

Виктор отстранил Сидора Петровича легким ударом и, раскланявшись с ним, увел Толлина.

V

Давно, кажется еще на Туре, Виктор Гоголев пытался начинать какой-то очень важный разговор и каждый раз откладывал его, или боясь чего-то, или считая несвоевременным. А сейчас, видимо, пришло время, и он сказал Толлину:

— Теперь, когда я решил окончательно и бесповоротно, как мне быть дальше, я хочу, спасаясь, спасти и тебя. Но прежде ты должен представить, что ждет тебя здесь. Омску быть белым осталось очень немного

дней. Мы должны будем или скрываться, или признаться. То и другое опасно для нас. Поймав, скрывающегося расстреливают. Раскаянным чаще всего не верят и всегда считают, что раскаявшийся признался в меньшем, чтобы скрыть большее. Ну кто нам поверит, Мавр, что мы, горя самыми святыми чувствами любви к народу, к России, были обмануты шайкой Вахтерова. Я тоже, как и ты, никого не убил за свою жизнь, но Вахтерова я бы мог убить, зарубить и даже, мне кажется, удушить. Он сломал столько жизней и мою жизнь.

— И уж конечно — мою, — еле слышно прошептал Маврикий, озираючись: не слышит ли кто их здесь, в опустевшем парке.

— Положим, Мавр, если мы вернемся в Мильву, нас могут и простить, потому что вины за нами никакой нет, но мы навсегда останемся с изъянцем. Нам всегда предпочтут других, может быть и менее способных. Это так. Я понял это давно. Меня не приняли в Союз рабочей молодежи. Твой друг, Илья Кишбаум, сказал, что я буржуйский сынок. Сказал он потому, что у моего отца большой двухэтажный дом. И что мой отец барин, потому что он инженер. А инженеры были все господа. Но ведь я-то не господин и не барин. У меня нет и не будет дома. Я почувствовал себя большевиком, пришел в Союз молодежи. Это тогда. До мильвенского восстания. А что будет теперь? Я не хочу, Мавр, быть человеком второго сорта только потому, что я сын барина. Я не хочу, чтобы меня наказывали всю жизнь за то, что я однажды ошибся и сам исправил свою ошибку, исправил, когда другие углубляли свои заблуждения.

— И что же ты думаешь делать теперь?

— Здесь нам не жить, Мавр.

— А где же нам жить?

— Мало ли стран на земном шаре?

— А как же матери? Как же родные? — Он хотел сказать, «как же тетя Катя», но постеснялся быть сентиментальным.

— Было видно, что Виктором продумано все и нет вопроса, на который у него не найдется ответа.

— Матерям будет трудно. И особенно трудно будет твоей тете Кате. Но легче ли будет им видеть нас несчастными? Я не говорю худшего. Легче ли им будет потерять нас? Или представим лучшее. Легче ли будет им

видеть нас полусчастливыми?.. А если легче, если им легче будет видеть нас зажатými, ущемленными, но при себе... Значит, они эгоисты, собственники, значит, они не стоят того, чтобы мы считались с ними. Ты видишь, Мавр, — сердечно и просто сказал Виктор, — у тебя нет и не может найтись и бесконечно малой доли логического возражения.

— А Мильва?

— Что Мильва? Какую она играет роль?

— Ты что? Как можно, Виктор, покинуть землю, на которой стоит Мильва! Понимаешь, Мильва!

— Ну зачем же, Мавр, так драматически... Так возвышенно. В мире тысячи Мильв...

— Но у каждого — своя. И одна.

— Это верно, Мавр. Но можно ли жертвовать собой ради... Я тебя, впрочем, не уговариваю. Ты сам хозяин своей жизни. Только я тебя прошу подумать серьезно. Я ведь не просто так приглашаю тебя за компанию. Я хочу тебе самого хорошего... Потому что еще тогда, во втором классе церковной школы, когда ты рассказывал сказку про пьяного чирика и про заблудившуюся во множестве проводов телеграмму, я почувствовал, что ты очень хороший, очень, ну... ну, что ли, одаренный, хотя и очень разболтанный человек, и тебе нельзя погубить себя, ты не имеешь на это права... Я сказал все, что хотел. Все, что я был обязан тебе сказать. Думай и решай.

И Маврикий стал думать.

В парке было так холодно и так пустынно. Пустел и шумный Омск. Все это сгущало картины предстоящего одиночества. Положим, везде люди, но какие? Виктор — свой человек, а остальные — то просто люди.

Бежать вовсе не так трудно. Даже совсем просто. Это верная жизнь. А оставаясь тут...

— Виктор, давай купим маленькую бутылку водки...

VI

Жизнь в Мильве с трудом, но восстанавливалась. Жили впроголодь, но каждый день приносил если не улучшения, то новые надежды на улучшение. Мятежная авантюра Вахтерова, месяцы колчаковщины вспоминались как страшное видение, которое никогда, ни при каких обстоятельствах не повторится в Мильве,

Через страдания и унижения, по ножам и терниям вернулись многие мильвенцы к тому же, от чего ушли.

Завод не работал, но начинал работать. Небывалый энтузиазм рабочих, непрекращающиеся субботники восстанавливали и преображали цехи. Расширенный электрический цех позволил хотя бы и весьма ограниченно, но все же дать свет в дома рабочих. Это были первые ласточки, первые лампочки грядущей электрификации страны.

Фронты гражданской войны требовали снарядов и патронов. Заработали старый снарядный цех и новое патронное отделение. Неполную неделю, но все же начинал действовать цех, еще не получивший названия, в котором производились металлические изделия для скорого сбыта в самой Мильве. Завод управлялся тройкой, в которую вошли Артемий Гаврилович Кулемин, Григорий Савельевич Киршбаум и вернувшийся на завод отец Виктора — Петр Алексеевич Гоголев.

Если бы знал Виктор, кем назначен его отец, как отнеслись к его чистосердечному признанию заблуждений и к его обещанию отдать всего себя восстановлению родного завода... Инженер-универсал Гоголев, уважаемый в заводе человек, не скрыл в разговоре с Кулеминым о своем былом намерении покинуть родину и бежать за границу.

— И когда оставалось сказать «да», я понял, как это невозможно, дорогой Артемий Гаврилович, — признавался Гоголев. — Я не обеляю себя в том, что клюнул на эсеровскую наживку. Но разве мог я за это наказывать себя изгнанием, потерей родины? Ведь я же самостоятельно разглядел вахтеровский крючок и освободился от него.

Если бы эти слова слышал его сын Виктор, разве бы он тотчас же не выбил из себя им же придуманные страхи? Но что теперь говорить об этом, когда ломоть отрезан от своего каравая. Он простился с Маврикием на станции Татарская и в последний раз предупредил его: «Смотри не раскайся!» И Маврикий в последний раз, пытаясь удержать товарища, сказал:

— Как же ты будешь один, совсем один, ни языка, ни специальности?

Виктор не успел ответить. Поезд тронулся.

Маврикий, пугая товарища одиночеством, остался одинок сам. Не зная, что будет дальше, как повернется

его жизнь, он решил никуда не трогаться из Татарска. Здесь он дождется Красной Армии. У него хорошая метрическая выпись на Маврикия Матвеевича Зашеина, рожденного на год позднее. Значит, теперь ему по метрикам не семнадцать лет, а только шестнадцать. Заботливая мать хотела уберечь сына и уберегла от мобилизации.

Бояться нечего. Лишь бы не встретить мильвенских знакомых. И самое страшное — встреча с Ильюшей Киришбаумом или с Санчиком. Он не найдет что сказать своим товарищам и не сумеет объяснить все, что с ним произошло, как он оказался в таком положении.

Он не хотел встречи с ними, а они все эти месяцы искали ее. И сейчас Ильюша Киришбаум, подходя к Татарску, не терял надежды увидеть Толлина. И Санчик думал о нем. Санчик Денисов был возвращен из армии по ранению и оставлен в Мильве, как не достигший призывного возраста. Он теперь ходил по дорогим, забываемым тропинкам своего детства, вспоминая милые дни, живя в них ускоренной повторной жизнью, похожей чем-то на картины электротeatра «Прогресс».

Здесь на лужке стоял пароход. Его нет. Но стоит зажмуриться — и он тут. Улицы, которые видели столько за эти годы, кажется, все еще хранят следы босых ног его друзей. А здесь жила девочка Сонечка, которую в семь лет называли Мавриковой невестой, и она, не перестав называться ею... Об этом лучше не вспоминать и не смотреть на восстановленную мемориальную доску на старом краснобаевском доме.

На плотине все еще чугунный медведь держит на своем горбу якорь, а на дне пруда, конечно, все еще лежит медная корона, сброшенная Мавриком, Ильюшей, Санчиком и Терентием Николаевичем.

— Ты не переживай, Санчик, — убеждала его Екатерина Матвеевна. — Уж если виноват кто по-настоящему, так это я. Но теперь бессмысленно казнить себя... Теперь я хочу только одного, хочу, чтобы он был жив... А я верю, я так хочу верить, что Маврушенька жив.

— И я тоже верю, — сказал, опуская голову, Санчик, видевший много таких Мавриков, убитых, замерзших, сваленных тифом. Он так боялся в ком-то из них узнать товарища своего детства. И то, что это были другие, обманутые насмерть мальчики, он мог еще надеяться и верить, хотя...

Хотя, если бы Екатерина Матвеевна видела последствия колчаковщины, она бы не так громко произносила слово «верю».

VII

В уездном небольшом городе Татарске, находящемся на великом сибирском железнодорожном пути между Омском и Новониколаевском, впоследствии ставшим Новосибирском, Маврикий благополучно встретил Красную Армию, прилично вооруженную и не так уж плохо обмундированную за счет богатых трофеев заграничного происхождения.

На третий же день Маврикий зарегистрировался в ревком, предъявив метрики и сказав, что его отец удрал в неизвестном направлении и бросил его на произвол судьбы. Зарегистрированному беженцу в ревком выдали временное удостоверение личности.

Прибегая к фразе, от которой еще никому не удавалось избавиться, скажем: судьбе было угодно, чтобы Ильюша и Маврик разминулись на главной улице Татарска. Они шли навстречу друг другу. Один из ревкома, другой — в ревком. Оставалась едва ли минута до счастливого события в жизни Маврикия, как маленькая собачонка изменила все. Собачонка была так похожа на Маврикова Мальчика, от хвоста крючком до белых отметин на лбу и груди, что нельзя было не свернуть за ней в переулок. Ильюша в это время прошел по улице, и друзья не встретились.

Как обидно, что какая-то собачонка изменила направление человеческой жизни. Ведь Илья Киришбаум ни при каких обстоятельствах не дал бы больше ускользнуть, потеряться своему другу. Он, может быть, даже поднял бы тревогу, стреляя в воздух, если бы Маврикий не захотел понять и поверить, что ему ничто и нигде не угрожает.

Но зачем говорить об этом, коли собачка, похожая на Мальчика, оказалась сильнее судьбы. Зато в этот день произошла другая встреча на окраине города, у железной дороги.

Возле дороги шел в американских ботинках не по ноге, в продуваемой изжелта-зеленоватенькой французской шинелишке, в ватном треушке человек с поспевшим девичьим лицом. Толлин узнал его в ту же

минуту. Теперь он не был страшен, как тогда, на развилке лесных дорог за Камой. И Маврикий хотел пройти мимо по другой стороне улицы. Но какое-то недоброе чувство, напоминающее жестокость, поселившееся в нем, кажется, еще в Мильве, теперь заговорило довольно громко его голосом:

— Здравствуй, Сухариков! Ты, кажется, без карабина, и мне не надо бояться за... За свою теплую одежду.

Это говорил не Маврик, а кто-то другой, уперевший руки в боки и насмешливо уставившийся на несчастного.

— Бог наказал меня за тебя и за все, — ответил еле слышно Сухариков.

— Поздно до него дошли молитвы обездоленных такими, как ты... Ну да ладно. Лежачих не бьют. Коли выжил — живи.

А Сухариков, по глупости ли, по трусости ли, а может, притворяясь, трижды перекрестился синей коченеющей рукой и забормотал:

— Да спасет тебя Христос, пресвятая богородица... Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его, — вспомнил гимназическую молитву, которую нужно было прошептать трижды перед экзаменом или вызовом к доске.

Знакомые слова молитвы перекинули какой-то мостик от Сухарикова к Маврику, и чувство, похожее на жестокость, чуточку потеснилось и позволило принять участие в разговоре старожилке Мавриковой души — жалости.

— А полк-то твой где?

— Давно уже его нет... Одних убили, другие сдались.

— Так куда же ты?

— Сам не знаю.

— Так и замерзнуть можно.

— Я уж почти...

— Вот что, Сухариков... Я, пожалуй, скажу тебе, где большой выбор бесплатной зимней одежды. Иди туда, — Маврикий указал за линию железной дороги. — Там достаточно ее. Любых размеров. И убивать никого не надо. Они уже...

Эти последние слова сказала не жалость, а то новое недоброе чувство, которое уживалось со всеми остальными. И не только уживалось, но, как теперь казалось Маврикию, было необходимо ему, чтобы облегчить страдания, разлуку и ужасное одиночество.

— А ты кто теперь, Маврик? — спросил робко Сухариков.

— Я кто? Я в штабе армии, — ответил Толлин, прикладывая руку в добротной варежке к виску, простился по-военному: — Имею честь.

Сухариков постоял в раздумье, постучал ботинком о ботинок, затем, убедившись, что никто не смотрит на него, воровато побежал за линию железной дороги. Ему очень хотелось остаться живым. Очень. И ему, столько повидававшему, теперь ничего не стоило раздеть мертвого, которому не нужна одежда, а для него теперь, для живого Сухарикова, одежда — это все.

Прикинув рост, ширину плеч, Сухариков принялся раздевать не узнанного им мильвенского палача Шитикова — Саламандру. И уж конечно Сухариков не мог узнать другого мертвеца, Павла Александровича Саженцева, так счастливо ускользавшего из когтей смерти и нашедшего здесь бесславную гибель. Как-никак, а все же агент и следователь жандармского управления, подававший большие надежды, были связаны до самой смерти давними узами «рыцарей темноты».

Там же в стороне, на большом пепелище костра, находились останки Сидора Петровича Непрелова и набор металлических формочек для расфасовки сливочного масла с изображением тучной коровы и фамилией владельцев фермы.

Лишившись возможности пробираться дальше, Непрелов вместе с другими беженцами и дезертирами пошел греться к костру. В пламени, как всегда, появился Михаил Иванович Шадрин. Он манил к себе Сидора Петровича, протягивая к нему красные, огненные руки. Непрелов был уже не в себе. Еще в Омске после расставания с братом помутился его рассудок. И он, к удивлению греющихся у огромного костра, в котором горели старые шпалы, кинулся в пламя, угрожая кому-то обнаженным кинжалом.

С трудом раздевая Саламандру, Сухариков не замечал следов наведывавшихся сюда ночью волков, которые и теперь сидели, облизываясь по-собачьи, в березовом перелеске, дожидаясь, когда кончится короткий голодный зимний день и начнется долгая лакомая ночь.

Первая глава

I

От города Татарска до Славгорода пролегает новая железная дорога, которая потом пойдет дальше, а теперь пока это ветка-тупик, и на этой ветке не встретишь и по злому произволу судьбы знакомого миловенца. А места здесь хлебные, мясные, рыбные, масляные — богатые места. Только жаль, что нет в этих местах ни сосны, ни елочки. Равнина, равнина, бескрайняя снежная равнина, оживляемая кое-где березовыми перелесками, не больше старой непреловской пасеки в Омутихе.

Селения редки. Деревянных домов очень мало, все больше дерновые из пласта и саманные из больших глино-соломенных сырцовых кирпичей, а церквей и совсем не видно. Зато ветряных мельниц тут как нигде. Высокие, обшитые тесом, похожие на башни, и маленькие, как избушки яги-ягишны на курьих ножках. По пять, десять мельниц возле маленькой деревеньки. И не стоят, а машут крыльями. Значит, есть что молот. Да и вообще видно, что хлеб здесь едят не оглядываясь.

Пожилой мужик в хорошем черном тулупе, ехавший в одной теплушке с Маврикием, спросил:

— Хошь?

— Хочу, — ответил Маврик и взял из рук незнакомого чернобородого крестьянина половину калача, отогретого на вагонной чугунной печке-«буржуйке».

Серовато-белый пшеничный калач был пышен, ароматен и свеж. Маврикий потом вдолге узнает секрет свежести этих калачей. Их можно сравнить только с теплыми французскими булками, которые когда-то продавались в гимназии. Маврикий с таким восторженным наслаждением ел калач маленькими кусочками, боясь, что съест все и исчезнет очарование. Заметив это, чернобородый мужик сказал:

— Да ты не робей, паря, за обе щеки ешь. Гляди, сколь их. Мы еще пару расталим на тепле. Не везти же мне их домой.

К калачу был придан кусок вареной баранины, которую тоже нужно было прежде «расталить на тепле»,

а потом есть. И тоже за обе щеки. Кусок был такой, что в Мильве им насытилась бы немалая семья.

Разговорившись с мужиком, который велел себя звать Кузьмой, Маврикий выяснил, что «в этих местах всего хватает, кроме счетных писарей».

Маврикий понял, о каких «счетных писарях» идет речь, и осторожно узнал, где именно нужда в таких писарях. Кузьма ответил:

— А хоть бы и у нас.— И тут же спросил: — А вы к этому не касательны?

— Почему же не касателен. Касателен. Зачем-то девять лет учили.

— Тогда, может, сторгуемся. Мешок пшеницы в месяц и два куля крупной рыбы, а если чебаком — то можно и четыре.

— А кто вы такой? — так же прямо спросил Маврик.

— А мы артельный башлык, то есть голова невода. Жить можно у меня. А не погланется — в каком другом доме. Но при мне-то бы лучше. Спать — где пожелаешь. В рот глядеть не будем. Стирка, катка, глажка готовые. Старшая без дела сидит, и у младшей руки не отвалятся. Думай, парень. А ежели не по здраву будет у нас, так разве кто тебя неволит. Мешок за плечи — и путь тебе дорога на все сто сторон.

— Вы правы. Уйти я всегда могу... Попробую.

На станции Кузьму ожидала пара маленьких сибирских лошадок, запряженных гусем. У Кузьмы оказалось отчество Севастьянович. Так назвал его приехавший за ним парень с очень красивым лицом.

— Гость, — указал на Маврикия Кузьма Севастьянович. — Может, приживется. Поехали, ваша честь. До нас тут рукой подать, и двадцати верст не будет.

Маленькие лошадки помчали складненькую, уютную кошевку очень быстро. На бегу они стали еще ниже. Чуть ли не как волки. Невольно вспомнился пермский конек Арлекин.

— А дороги ли у вас лошади? — вдруг спросил Маврик.

— Да кто их знает. Мешков по пять, наверно, за таких возьмут. А если кормов мало, то и по четыре укупишь. Ты, видать, хозяйственный господин.

— Нет, я просто так, Кузьма Севастьянович.

— И обходительный никак. Н-на тулуп. Я уж нагрелся. Мне и в одной шубе жарко.

Двадцать верст показались очень короткими. Может быть потому, что по замерзшему бескрайнему озеру дорога была ровна и пряма.

— Вот и наш Шучий остров. Семь домов, девять бань, три молельни,— опять заговорил Кузьма.— Мы еще при царе кумынией жили, только без товарищей. И теперь кумынией живем. Невесту или случится жениха брать в дом — и то на общем сходе общества голосуем. Ей-пра. Вот увидишь, какие мы кумынистые.

Шутил или не шутил он, не разберешь. Но дом Кузьмы Севастьяновича и его семья понравились с первого взгляда. Маврикия не спросили ни о чем. Глава семьи не представил приезжего. Достаточно было того, что его привез хозяин дома. И жена Кузьмы — воплощение здоровья и приветливости, женщина лет под сорок, и дочери принялись раздевать Маврикия, обметать веничком снег с его валенок, приглашать в горницу, к печке-голландке, предлагать «стакашек горяченького чайку, а ежели будет желательно, то и чево другова покрепше».

— Вот, ваше сенаторство-губернаторство,— весело кивнул на дочерей Кузьма Севастьянович,— одна невеста, другая солдатская вдова. Любую сватай.

Дочери в очень длинных юбках, какие носят омутихинские девчонки, но сшитых, как и кофты, из хорошей материи, весело запрыгали.

— Тять, а как женишка звать?

— Звать его так, что и не выговоришь. Говорит, что крещен так, и в святцах будто бы его имя есть. Мавридей!

— Мое имя не Мавридей, а Маврикий!

— Значит, Мавруша,— сказала старшая.— На берегу тоже такое имя есть у попова сына.

— Вон как оно... Так бы и надо сразу, Мавруша. Тогда бы и опасаться нечего, что нехристь.

— Пойдем, Мавруша, руки мыть,— предложила младшая.— Я тебе чистый рукотертик принесу. Весь петушками вышит да уточками расшит. Пойдем.

Она подвела его к большой, тоже, как и все в этом доме, ухоженной лохани и сама стала лить ему на руки из медного луженного внутри ковша.

— Чище мой. Мыло хорошее. Духовитое. Слышь, как мятой отдает.

Было видно, что эти по внешнему виду старомодные девушки очень свободно чувствуют себя. Кузьма Севастьянович действительно не стеснял своих дочерей, которые очень любили его. Сейчас они были так благодарны ему за то, что, вернувшись из города, он привез им на этот раз хороший живой подарок. Не шаль, не ботинки со скрипом, не алое сукно на выездные шубейки и не расписные ларцы... Это все есть. Есть даже швейная машина, у которой погами можно вертеть колесо и шить. Это все ничто. Мертвые дары. А это живой человек. Парень в доме. И кудри из кольца в кольцо, а лицо... Цесаревич Алексей, только постарше.

Кто мог знать, что здесь, в занесенной снегом равнине, он найдет дом, где все будут рады ему, и ему покажется, будто когда-то жил в этом доме. Может быть, он жил в нем, читая какую-то книгу о старине.

Настенька, так звали четырнадцатилетнюю младшую дочь, после умывания принялась расчесывать гостя и, расчесав, сообщила матери:

— Настоящие. Не шипцовые. После прочеса еще пуще обратно свиваются.

Старшая дочь, Анфиса, — ей едва исполнилось девятнадцать — смотрела на тезку поповского сына, пугаясь его лица. Он походил не только на цесаревича со старой календарной стенки, но и на Ивана-царевича, который очень часто в девических снах так счастливо умыкал ее на сером волке. Он походил и на белого ангела, прилетавшего к ней в предутренней дремоте и обнимавшего ее, спящую, своими большими крыльями с такими ласковыми перьями, с таким щекотным пухом. Он походил почти на всех блазнившихся, но не встретившихся и не походил ни на кого, был самим собой — царевичем наяву.

Маврикий тоже был немало поражен, глядя на безупречно выписанные лица дочерей Кузьмы Севастьяновича. Они — бровь в бровь, черта в черту, только одно лицо едва-едва зацветает, а второе неудержимо цветет. Спит. Невозможно смотреть, а отвернуться еще невозможно.

III

К ужину пришли четыре бородатых, похожих друг на друга мужика, отличающиеся только цветом волос. Помолчились на образа, поздоровались. Сели за стол.

Кузьма начал так:

— Стало быть, в Татарск вернулась обнаковенная Советская власть. Какая и была. С кумынистами, комиссарами и еще с «чикой».

— А кто эта «чика»? — спросил удивленно сивобородый мужик.

— «Чика» — это милиция, но построже. Может и «чикнуть», ежели что. Но с умом. Не как те. Беяки и те «чику» не хаю, а даже благодарят за милосердие. Пленных в Татарске к стенке не ставят. Дают им оклематься, очухаться. И офицеров не колют, шомполами не дерут, не бьют. Ну а карателей, сами понимаете... — Говоря так, он, вспомнив о чем-то, распорядился: — Нашему спрятанному беглецу завтра прямо надо сказать, что иди, мол, на все четыре ветра. Трогать, мол, не трогаем, но отвечать не желаем.

Доложив о главном, Кузьма Севастьянович перешел на второстепенное: о деньгах, о торговле, о поклоне матушке Советской власти обозом воез на десять, на двенадцать, груженных чебаком и мелким окуном.

— И с флагом доставить на станцию. Кумача купил достаточно. Счетный писарь напишет, какие надо слова. Так ли я говорю?

— Напишу, — сказал Маврикий.

— А кому рыбу? — спросил самый смирный, с самой короткой бородой, молчавший до этого рыбак. — Не просто же свалим ее начальнику станции?

— Зачем просто? Вагон потребуем. А на вагоне флаг. А на флаге: город Москва, товарищу Ленину от красных сибирских рыбаков.

Всем это очень понравилось. Решили выпить по стаканчику за башлыка.

— Умственный ты у нас, Кузьма, — сказал самый старый. — Не кому-то и не куда-то, а ему самому. Пушай знает, что мы не с пустыми руками красных встречаем. Пожалуй, и больше можно чебака дать. Ежели вагон брать, так надо его засыпать под крышу.

— Можно и под крышу. А сверху шук да больших окуней понакидать.

— А не разворуют, паря, железнодорожники, язь их персыз...

— А это не наша печаль. Квиток с печаткой получен. Пуды прописаны. Кому и куда, в публикате сказано — и конец.

Переговорить за один вечер всего не удалось. Но все же выяснили, что какая она ни на есть Советская власть, лучше ее пока ничего придумать нельзя. Пушай властвуют. Главное — свои, а не пришлое из-за морей. И золото не выпустили. Тоже молодцы-храбрецы. Не дали Колчаку золотую казну на Дальний Восток угнать. Без золотишка-то худо бы Ленину пришлось. А теперь что хочешь, то и купит. А колчаковских долгов платить не будет. Пушай сам платит, если будет чем.

Когда время пришло ложиться спать, хозяйка Алексеевна ласково сказала Маврикию:

— Ты, девичий сон, бабья бессонница, в светлом прирубе у нас будешь жить. Там я тебе лебяжью перину взбила. Только нонича здесь в закутке ночуй. Сам знаешь, тиф по вагонам, по станциям мелкой козьявкой ползает. Кузьму тоже в горнице спать не кладу. Тоже пушай завтра в бане выпарится, выжарится, а потом милости просим куда хошь. Не серчай уж...

— Да что вы, Степанида Алексеевна, мне без того стыдно, что вы меня... Как будто я заслужил это все...

— Заслужишь. Мой Кузьма цену хорошей рыбе знает,— бросила мимоходом Степанида Алексеевна.— И ты знай себе цену. Услужливых любят, да губят. Податливых уважают, да под себя подминают. Спи давай... А ежели на полный месяц глянуть вздумаешь, так иди, я тебе покажу ходы-выходы, закрышки-запоры... Да не рдей ты, не рдей до ушей. Житейское же это все. А я тебе в матери гожусь, а в тещи-то — уж вовсе... Пошли...

IV

Утром Анфиса разбудила счетного писаря и таким же, как у матери, переливчатым голосом сказала:

— Что это, правочки, творится-делается. Солнце-то уж месяц гасит, зоренька-заря снег красит,— явно повторяла она слышанные от бабки или от матери слова,— а он спит себе во всю головушку... Кого ты, Маврушок, боишься там во сне потерять? Никуда она не денется. Завтра опять приснится.

Маврикий проснулся. Он так был рад, что увидел те же степы и ту же запавеску. Значит, все, что было вчера, было не во сне.

— Я сейчас, Фиса... Я раздва, по солдатски...

И верно, Фисе ждать не пришлось. Он тут же вышел из закутка.

— Здравствуй,— сказал он и протянул руку.

— Да ты что,— прикрикнула ласково-ласково и при-топнула весело-развесело Фиса,— как я тебе, непропаренному, непрожаренному, могу руку подать. Оболяйся давай, пока в бане каменка не остыла. Мать отца после дороги уж избиходила, теперь я тебя, гостенек, избихаживать поведу. Зря, что ли, чуть не два беремя хороших березовых дров истопила.

Щебеча так, будто наставляя, как младшего брата, Фиса повела его по снежной тропе в конец огорода, где виднелась маленькая банька без трубы. Маврикий видал черные бани за Камой, но не мылся в них. У этой бани не как у закамских — был предбанник, но не было ни одного окна. И он удивился этому вслух, переступив порог.

— А зачем в бане окошки? Не чай пить ведь тут и не красоваться,— так же наставительно, с еле слышимой смешинкой говорила Фиса.— Мурейка прорублена в стене — и хватит, чтобы себя с другим человеком не перепутать, чужую спину вместо своей не выпарить. Да не стой ты, не выстужай жар. Давай, я развешу твой тиф над каменкой. И ахнуть не успеет, как дух из него вон. Да раздевайся же ты, из-за угла мешком пуганный... Так уж и быть я мурейку тряпицей заткну.

В бане стало совсем темно. Маврикий разделся и стал на ощупь развешивать снятое над каменкой. Фиса вернулась из предбанника и сказала как бы между прочим:

— Пожалуй, и я тем же паром выпарюсь. Полок у нас большой. Пятерым бывало не тесно.

Как-то не сразу нашел Маврик необходимые слова, а найдя, не сказал их. Наверно, так полагается. В Дымовке тоже моются в банях семьями. И в этом никто ничего не видит зазорного.

— Присядь,— попросила Фиса,— я наподдам. Было слышно, как она плеснула на каменку. Шипящий кислотоватый квасной пар спустился и на пол.

— Не холодно ли тебе, красна девица,— заговорила она тоlosом матери,— а то поддам еще ковш.

— Жарко мне, Фиса.

— Это хорошо. Терпи. Вот веник.— Она подала веник точно в его руку, будто видя в темноте.

— А я не парюсь, Анфиса. Я не привык. Я мылом моюсь...

— А ты не знаешь, что бывает тому, кто в чужой скит со своей молитвой приходит. Давай тогда я...

Маврикий почувствовал, как тонкая, горячая рука взяла его за плечо, и как веник, сладко пахнувший березовой сладостью троицыного дня, коснулся его спины нежными, шелковыми листьями, и голос, тоже пошелковевший от пара, спросил:

— Не жарко ли тебе, царевич?

— Нет, царевна, мне очень хорошо... Я никогда не был таким чистым-чистым, как сегодня в этой черной и темной бане.

— Тогда перекрутись, я тебя с той стороны веником обмахну.

Тонкая, сильная и, кажется, властная рука повернула Маврикия, и веник снова принялся ласкать его. Такого за всю свою жизнь он не испытывал. У него стала кружиться голова. Наверно, в бане даже на нижней ступени полка было жарко и чадно.

V

Письмо, брошенное в ящик почтового вагона, проходящего через Татарск, дошло. Счастливая Екатерина Матвеевна, раздумывая над письмом с вагонным штемпелем, решила, что Маврик, осев где-то с матерью, находится в полнейшей безопасности. Она, зная своего племянника лучше всех остальных и лучше, чем знал он себя, была уверена, что не пройдет и месяца, как он появится в Мильве. Его светлой головке будет ясно, как нелепо напридуманное его мнительностью.

Екатерина Матвеевна была очень довольна, когда ее предположения оправдались. Она получила из Тюмени телеграмму: «Возвращаемся домой. Люба». Однако радость вскоре сменилась испугом и настоящей ссорой с сестрой.

— Как могла ты, бессовестная из бессовестных, отпустить на произвол судьбы своего единственного сына и не удержать его в Тобольске?!

А Любовь Матвеевна тайно надеялась, что сын вернулся в Мильву под крылышко к тетке. Не зря же он написал ей в Тобольск: «...не беспокойся, милая мамочка, за меня, наверно, скоро приду в себя...»

Показывая сестре письмо, Любовь Матвеевна опасалась за сына ничуть не менее сестры.

А сын переживал счастливые дни начала самостоятельной жизни. Он скоро вошел в курс дела и стал пужным, уважаемым и незаменимым по честности счетным писарем артели. С него требовалось немного. Правильно записать приход и расход рыбы. Это не трудно. Труднее было вычислить, кому сколько положено, кем и что взято. Но и это усвоил «тороватый грамотей», как называл его Кузьма. Улов делился по паям. Пай был как бы единицей измерения. И каждому были положены свои пай. Бабе, например, пришло с берега, полагался полный пай. А девахе на возрасте или парню-подростку половина пая. Ну а мужику-рыбаку, который может вьюху вертеть, пеньков тянуть, рыбу из мотни вычерпывать, — два пая. Ну а если рыбак может на полный мах лунки во льду бить и подо льдом норило вилкой гонять — тому еще полпая. Рыбакам-большакам, каких в артели шестеро, по четыре пая, потому что каждый из них может быть башлыком и уж конечно — заменять его. Башлык же, старшой над старшими, голова артели, получал шесть паев. Дело не трудное, пересчитал, кто в этот день ловил, подбил улов — и бери на карандаш, узнавай, сколько на пай, а потом начисляй и записывай на счет каждого. Правда, в этом распределении паев есть еще одно деление. Улов распределялся по паям не полностью, а лишь половина улова. Другая половина шла тем, кому принадлежали неводы, вьюхи, поплавки-грузила, и эта половина им шла и в те дни, когда они не выходили на улов.

— Снасть-то дерется, ломается на морозе, старится, — объяснял Кузьма Севастьянович своему счетному писарю, чтобы ему не втемяшилось в голову, как и другим, что будто Кузьма и его совладельцы снаряжения для лова обижают простых артельщиков, у которых в артели, кроме рук, ничего.

Счетный писарь пока не задумывался над этим, стараясь, со скрупулезной точностью разделить улов, не обидев никого из береговых, не в пример своему предшественнику.

Тот тайно брал со всех и каждого «дивиденд» и все равно занимался обчетом. И береговые рыбаки с первых же дней оценили нового писарька и от широты души подпесили ему за честность хорошей, сарапуловской выделки, черной дубки тулупчик с серебристым воротником. Мав-

рикий, вспыхнув, отказался от подношения и пожаловался башлыку. А он, удивляясь честности Маврикия, сказал:

— Это, ваша строптивость, не взятка, а подношение от мира, и побрезговать душевным подношением — значит обидеть труждающегося человека. И я тебе за твою прямоту тоже стоящим подношением поклониться хочу. Седлом. «Каргызским», не обновленным... Видел, как ты разглядывал его. Твое оно. Стоишь. — Говоря так, Кузьма, кажется, радовался и сам, делая такой подарок. — Было бы седло, а конь найдется.

Стяжая уважение рыбаков с берега, счетный писарь подымался в глазах Кузьмы и остальных живших на острове. Им, получавшим львиную долю, важно было, чтобы положенное рыбакам отдавалось полностью, без обсчета и лучше даже с присчетом в их пользу. Небольшим, но присчетом, потому что присчет, как и поход на весах в пользу покупателя, приносит на полушку убыток и на сотни рублей привлекает потом доходы от покупателей.

VI

Не всегда выдавалось время подумать о тетке, о матери. Надо же было, к примеру, посмотреть, как гонят подо льдом бревно-норило и как оно тянет за собой веревку от невода, опущенного таким же манером под лед. И длина этому неводу до трехсот сажений. Загоняют под лед и верстовые невода.

Такой невод никаким рукам не под силу. Выюхой-воротом выбирали его, потая и в сильный мороз. Недешево стоит рыболовецкое снаряжение, зато и уловы случались такие, что и два десятка баб не управятся за день раскидать по сортам рыбу в кучи. Так она и ночует на льду под брезентами, под рогожами, а чебачья и другая мелочь и без укрытия хороша. Мало в ней цены. А кому надо, так и со снегом купит. Дома разберет и продаст в развес-развоз бедноте-голытьбе в новосельские деревни. Там и чебака за милую душу съедят.

А Маврикий любил эту маленькую родную рыбку. И Фиса, зная это, так ухитрялась готовить ему чебаков, что и мать — мастерица варить, жарить, парить, вялить, коптить рыбу — и та дивилась, пробуя дочериних чебаков.

— На чем ты только их жарить, Фиска?

— Сказала бы я тебе, коль бы ты мне подружкой была.

— А разве я у тебя не самая первая подруженька? Разве у меня от тебя было что спрятано?

— Так и я не таюсь! Только зачем про то говорить, что и так на виду, моя маманечка.

Анфиса припадает к матери, называет ее всеми самыми дорогими словами и благодарит не только за жизнь, которую она дала ей, но и за то счастье, которым она теперь живет.

— Если б не ты, маманечка, так разве бы я могла в меду купаться, в райском саду млеть, в стужу таять...

Мать гладила по складно выгнутой спине свою первенку, любо видеть в ней себя этой жаркой поры, и радовалась она вместе с дочерью, ни слова не говоря, о чем идет речь, утверждая правоту ее райского сада.

Чебаки горели на сковороде. И пусть себе... До них ли ей, когда сама мать не винит ее. Да и виновата ли она, когда два месяца тому назад видела во сне своего Прошку сраженным в бою, а потом, на другую ночь,— похороненным. Не просто же так снятся сны. Кто-то их посылает людям. И потом, столько прошло. Все уж, кто в живых остался, пришли домой. Не зарываться ей вместе с ним... Ей же всего ничего—двадцатый год...

— Фисулька, от чебаков-то глянь что осталось...

— И пушай их, маманечка... Я ему сливок мороженных сегодня наскоблю... Уж так-то он их с блинами ест и свою тетечку Катечку вспоминает. Я молюсь теперь и за нее, маманечка. Каждый вечер молюсь. И за него и за ее здоровье,—делится дочь самым сокровенным со своей матерью и неожиданно меняет направление разговора: — К поповнам мне, маманя, в село съездить. Фасон с ихних юбок срисовать... А то уж больно я, маманечка, долгополая. Неужто мои ноги хуже поповниных? За что их по щиколотки прятать надо?

От чебаков не остается и следа. Догорает масло на сковороде. Мать, пораздумав, обещает дочери поговорить с отцом.

— И так береговые на островных косятся. А тут еще бабкину старую веру блюдут. Укоротим, Завтра же укоротим. Со своей юбки начну, тогда Кузьма и не пикнет.

Звонко смеялись мать и дочь. Их смех доносится до дальней горницы, где сидит за книжкой младшая, На-

стенка. Досадно ей, что не таким оказался кудрявый подарок отца. Она думала, у нее будет, как тогда, свой казачок-служка-прислужка, а нет.

Тогда отец привез из степи от Шарыпа хорошего «каргызенка». Мытого. Стриженого. Маканного в купели сироту, Ивашкой нареченного. Так этот Ивашка полностью Настин был. Как хвост за ней. Велишь плясать — пляшет. Велишь петь — поет. Куда надо сбегать, что принести — как пуля. А этот и причесываться теперь не дается. Неужто его присушила Фиска — обгуленная овца? Да разве ей пара такой молоденький баранчик? Он и Насте-то только-только в самый раз. И для нее ему надо бы на годок постарше быть.

Обидно Настеньке, если в самом деле старшая сестра перехватила писарька. Ну, ничего-ничего. Придет случай — ослепнет. Есть уже чем слепить, когда ей пятнадцатый идет.

Настя смотрелась в большое настенное зеркало, изгибала длинную белую шею, и в зеркале охорашивалась молоденькая белая лебедушка.

Не уйдешь, золотой селезень. Не разглядел ты еще Настеньки... А как разглядишь ее и... И обескрылеешь на всю жизнь.

VII

Самые длинные декабрьские ночи укоротились святками. От двадцать пятого декабря — начала рождественских праздников — и до шестого января — крещения господня — две недели длятся зимние праздники. Праздновали кто как умел.

Смолокуровы не оставляли и дня пустым. То гости, то сами в гости. То столы для пожилых, то пляска для молодых, то сумерничанья с гаданьями, с колдовством, с приводом слепой сказительницы страшных былей, озорных небылей. А Новый год? Как можно не встретить его в кругу своих и не отведать тридцать три кушанья, пока он через снега не пройдет из города Читы через Новониколаевск и далее мимо Татарска. И как можно не испить хорошего, чистого первача, привезенного издалека толковыми винокурами. В топке горит, в брюхе гаснет.

Рождественская елка не принята в степной деревне. А у попа отца Георгия елка каждый год. Правда, елкой

здесь бывает береза, ветви которой обматываются ватой. Какая разница. Гуще навесь всякой всячины да разных разностей, и такая красота получается, что и не видать, какое дерево украшено.

Когда Маврикий вспомнил о своих елках — немедленно погнали лошадь в урман. За Татарск.

— Зачем нам березовые елки, — сказал Кузьма Смолокуров, — когда мы можем еловую ель изукрасить.

Настя, да и Анфиса прыгали до потолка.

Не хотелось задумываться деловому счетному писарю о том, как будет дальше. Живут же люди на Щучьем острове, и счастье не минует их. Почему же через три года, когда ему исполнится двадцать, когда у него будет все необходимое и, может быть, свой дом, почему ему не объявить тогда Фису своей женой? Лучше ее невозможно не только встретить, но и придумать в каком-нибудь стихотворном романе. В сказках нет фей волшебнее ее. Нет и добрее ее. И он не верит, не знает и не хочет знать, что у нее был какой-то Прошка. Как он мог быть, коли в ней не осталось от него и следа. Значит, его не было, хотя он и был.

Маврикий искал оправдания Фисе. Он всячески хотел смягчить то, что было. И смягчал. Находил множество доводов. Ветер, например, тоже целовал ее. И вода касалась ее, ну так что? Нельзя же сердиться на ветер, на воду или, того смешнее, на рубашку, которую она надевала. Стыдно даже думать об этом.

В эти дни чаще выдаются часы, когда Фиса и он остаются совершенно одни. Сегодня отец, мать и Настенька ушли к старшему из братьев Смолокуровых. Маврикию нужно было посидеть с подсчетами, а дом как-никак нельзя бросить на чужого человека. И Фиса осталась.

Больше всего Маврикий любил говорить ей о своей любви. Он делал это уже много раз, но, кажется, никогда не повторялся. Фиса удивлялась, откуда в нем столько слов. Вот и сегодня, обняв ее, он улетает с нею в жаркую страну, где не опадают листья деревьев и всегда что-нибудь да цветет. И цветы так прекрасны, что на свете еще не родилось такого сказочника, который мог бы пересказать их красоту.

— Но если бы, Фиса, и был такой... И если бы он один только раз увидел тебя, для него бы увяли все цветы земли.

— Нет, мой царевич, нет, я лесная поганка-обманка, сонная трава, болотная осока, и я так боюсь, моя лялечка, что ты очнешься-проснешься-разбудишься и расколдуешься,— шептала она Маврикию, заливаясь слезами.

Маврикию очень хотелось сказать ей, как нелепа ее боязнь, как невозможна его разлука с нею, как свято для него все, что составляет ее... И на язык уже пришли очень хорошие слова, но ему хотелось слушать и ее. У нее тоже были, наверно, наследственные, какие-то совсем другие, незнакомые дорогие кондовые переливы слов и узоры из них.

Невозможно было представить, чтобы в Лере и даже в Сонечке было столько света. Фиса излучала его всем своим существом. Она хотя и боялась его «пробуждения» и «расколдовывания», все же знала, что сейчас, в этот вечер, он молится на нее, была щедра на ласки, не жалея своих чар, не стыдясь первородности любви, которую познавала только теперь, любя его. И каждый взгляд, поворот головы, изгиб стана, движение рук были для него, и только для него.

Анфиса давно знала силу своей пляски, сводившей с ума и молодых и пожилых, засылавших к ней сватов на остров. И сегодня, в укороченной матерью юбке, в тонких, выменянных на рыбу чулках и в узконосеньких башмачках, она принялась выводить плясовой зачин так, что, кажется, заговорила стоявшая на полке, молчащая гармонь Кузьмы Севастьяновича, и запел чей-то голос:

Звезды сгасли, меркнет солнце,
Только ты мой свет в оконце.

Фисе немало перешло от матери. Мать работала когда-то на острове поденщицей и как-то проплясала «Подгорную» при молодом тогда еще Кузьме Смолокурове, помолвленном на дочери бакалейщика. Смолокуров едва не сошел с ума. Не потребовалось и второго танца, как свадьба-«самокрутка» назвала поденщицу-бесприданницу Стешку Степанидой Алексеевной Смолокуровой. Она тогда была в тех же годах, что теперь дочь.

«Из всех огней самый жаркий плясовой огонь»,— любила повторять мать дочери. И дочь, горя теперь этим огнем, опять благодарила мать, что та наградила ее умением гореть и зажигать других.

За окном трещал трескучий сорокапятиградусный мороз. Вокруг озябшего месяца два кольца и проступает третье. А здесь, в Фисиной хорошо натопленной горнице, жаркая страна, буйная трава, пахучие цветы, и все оттого, что Фиса так любит его. И он, уплывая куда-то по тихим и теплым волнам, так хотел крикнуть:

— Тетечка Катечка, ты не можешь не полюбить ее. Маврикий купался в им же придуманной сказке. Это умение придумывать себе счастье и верить в него и на этот раз скрашивало одиночество и позволяло видеть светлой непроглядную тьму.

Вторая глава

I

После разгрома Колчака и Деникина наступило хотя и зыбкое, но все же мирное время. Появилась возможность силы и средства, ранее пожирившиеся фронтами, перебросить на восстановление разрушенного хозяйства, и в первую очередь транспорта.

Григорий Савельевич Киршбаум, оставаясь в тройке по управлению Мильвенским государственным заводом, взял на себя труднейшую для того времени обязанность, сокращенно называемую заготсбыт. Это значило готовить то, чего почти не было: металл и топливо. Это значило также сбывать то, в чем теперь нуждались многие, но платить могли они только стремительно падающими деньгами, исчисляющимися теперь не рублями, не сотнями рублей и не тысячами, а миллионами. Миллионы рублей стоили сапоги, рубашка, брусок мыла... Поэтому коммерческому директору завода Киршбауму приходилось выискивать тысячи способов, чтобы, не нарушая государственные законы, продавать изделия и покупать металл — главное сырье завода.

Любой завод или паровозное депо нуждались буквально во всем, а безработная на три четверти рабочих Мильва готова была предложить любые, никогда не производившиеся на заводе изделия. Котлы для паровозов — пожалуйста. Костыли для железнодорожных путей — сделайте одолжение.

Мы вам на сто тысяч в довоенных ценах изделий, а вы на эту же сумму нам подсоберете и доставите металла. Вам хорошо, и нам неплохо.

Операции подобного рода позволяли хоть как-то дышать многим заводам, но не изменяли положения рабочих, получавших ничего не стоящие денежные знаки и очень скудные пайки. Неутомимый Григорий Савельевич, со времен подполья считавший, что не может быть положения, из которого нельзя найти выхода, добился разрешения на организованную заготовку зерна и мяса с оплатой за таковые изделиями, необходимыми для деревни.

Активу завода Киршбаум докладывал так:

— Завод не раз пробовал помогать деревне нашей губернии. И всегда это ни к чему не приводило, потому что деревне были нужны только лемехи для сох да зубья для деревянных борон. И зубья и лемехи требовали много металла, а стоили такие гроши. Производство серпов и кос нам наладить не удалось, да и зачем отбивать хлеб у заводов, натеревших на этих изделиях.

Тут Киршбаум показал несколько незнакомых неболших металлических изделий.

— Вот в этой штуkenции нет и фунта металла, а платят за нее пуд зерна. А вот эта шестереночка, отлитая из второсортного металла, весит два фунта, а стоит пять пудов первосортного зерна.

Слушающие зашумели, перебивая друг друга:

— Где это?

— Не может быть!

— В себе ли ты, Григорий Савельевич?

— Да мы этой ерунды несчетно можем дать. И за полцены. Зачем пять пудов, когда и два достаточно.

— И я так же думаю, дорогие товарищи. Государственный завод не может стать заводом-спекулянтом, но будет непростительным, если мы откажемся извлечь законные выгоды и этим не только улучшим наш хлебный паек, но и поможем урожаю этого года.

Заинтересовав слушателей, Киршбаум прочитал письмо из Сибири, подписанное «Некто из Мильвы». Этот неизвестный рассказывал, какую нужду в суших мелочах испытывают земледельцы плодородных сибирских степей.

«Здесь,— писал он,— не как у нас. Здесь давно уже не жнут серпом и не косят косой. Косилка, жнейка и даже сноповязалки, не говоря уж о конных механических граблях, работают в поле. Эти машины доставлялись сюда из Америки, так же как зингеровские машины.

Оттуда же привозились в Сибирь и запасные части, а теперь их нет, потому что нет торговли с Америкой. И если в машине сломалась даже простенькая шестеренка, машина перестает работать. Заводов здесь нет. И чтобы сделать очень простую шестерню, которую у нас в Мильве может отформовать и отлить литейщик-подросток, здешнему кузнецу требуется много дней, чтобы отковать, а потом выпилить ее вручную».

— «Некто из Мильвы»,— рассказывал далее Григорий Савельевич,— приложил листы с рисунками самых нужных запасных частей, вырезанными им из американских каталогов. Вот они.

Киришбаум разложил на столе рисунки, чтобы показать, как несложны в производстве эти запасные части и как мало требуют они металла.

— Конечно,— опять заговорил он,— было бы наивно с моей стороны занимать ваше внимание этим письмом. Но было бы непростительно не обратить на него внимания. И, пораздумав, я решил командировать в Сибирь двух толковых молодых техников, и вот результат.

Побывавшие в Сибири молодые люди принялись раскладывать образцы запасных частей для сельскохозяйственных машин и сказали, что из них нет ни одной, которая бы потребовала какого-то особого оборудования и специальных мастеров.

Актив похвалил своего коммерческого директора и порекомендовал не откладывая приступить к изготовлению для Сибири запасных частей силами безработных рабочих.

Представитель городского комитета РКСМ заявил, что комсомольцы обязательно поддержат это хорошее дело, а потом, подойдя к Киришбауму, попросил его показать письмо.

Письмо было напечатано на машинке с описками и огрехами. Слова уходили за пределы листа, расстояние между строк было разное. То вплотную строка к строке, то с большим пробелом между ними. Было видно, что письмо написано человеком, не умеющим печатать на машинке.

— Я знаю, кто написал это, Григорий Савельевич. Я услышал его «по голосу», а теперь узнаю по торопливому печатанию. Это Маврик Толлин.

Предположенное Сашей Денисовым было сушей правдой. Безгранично любя свой завод, думая о нем,

Толлин раздобывал уральские газеты, да и в центральных писалось о Мильвенском заводе. Из газет он узнал и о коммерческом директоре завода. Но до того как им было написано это письмо в Мильвенский завод, в его жизни произошли потрясения, о которых нам нужно знать. А для этого мы должны вернуться из середины апреля, когда было получено Киришбаумом письмо, в середину февраля, когда лопнула очередная сказка Толлина, в которой он жил.

II

Степанида Алексеевна, не допуская ранее, что городской писанный красавчик может полюбить любимую Анфису и жениться на ней, теперь дважды в день на утренней и вечерней молитве благодарила пресвятых угодников за счастье, ниспосланное Анфисе.

Анфиса и ее царевич не очень прятались от родителей. Сам хотя и делал вид, что не замечал ничего, но знал все и не осуждал такую любимую и такую ласковую дочь. Если даже и не бывать ей за ним замужем, то пусть хотя бы не упустит это скоротечное счастье.

Умея находить тайные лазы в человеческие души, Смолокуров делал все, чтобы привязать кудрявого писарька, не давая, однако, подумать, что будто он заинтересован в нем и дорожит им.

Чернобородый хитрец сказал как-то:

— Не изволит ли ваше богатство, товарищ Зашеин, глянуть на рыженького Огонька-«виноходца». Ах и конек, ну прямо как Горбунок, только пряменький. Чистый паровоз, только маленький. Ушами прядет, глазами ведет, копытцами трепака выколачивает. Конный заводчик пять мешков просил, на четырех сторговались. Ежли в случае чего не поглянется, Фисульке отдам для забавы конька Огонька.

Нетерпение Маврика было так велико, что ему хотелось выбежать в крытый смолокуровский двор, не дослушав паточные слова Кузьмы Севастьяновича. Накинув Фисину шубейку, он ринулся за двери. И обомлел. Тут же, у самого крыльца, стоял огненно-рыжий маленький конь.

Можно перевидеть в тысячах снов табуны коней, но едва ли можно увидеть такого. Добрые глаза. Шелковые губы. Длинные ресницы. Маленькие копытца. Челочка

на лбу подстрижена по линеечке. Муаровая шерсть. Грива ежиком, ершиком, щеточкой, даже слова не подбираешь. А хвост чуть не до пят коню. А голос, голос... Он будто искал и нашел наконец-то хозяина... Заржал тоненько-тонко, совсем по-жеребачьи... Заржал и нетерпеливо зашевелил ушами, покосился на Маврика и, давшись погладить, затанцевал на месте.

— Ущипните меня, Кузьма Севастьянович! Если я не во сне, то мою заработанную пшеницу можете считать своей. Я даже не знаю, как... И наверно, никогда не сумею отблагодарить вас за Огонька.

— Да будя, право, паря, будя разговоры разговаривать. Коли глянется — значит, твой.

Тут, как положено, Смолокуров отвязал коня, взял повод в полу шубы и из полы в полу передал повод Маврику. Как по-писаному, Фиса вынесла седло, хранившееся в прирубе под кроватью, с ним и войлок-потник, отороченный зубчатым красным сукном, под цвет подкладки ремней узды на переносице и нарядных открылков у глаз.

— Да ты что,— остановил Анфису отец,— никак и подруги хочешь затянуть у его седла. Так ведь и присушить парня недолго.

— Ничего, ничего,— весело и нервно проговорил счастливый хозяин коня.— Я уж давно присушенный ко всей вашей семье.

Легко вделась нога в стремя. Еще легче селось на невысокого конька. И уж совсем легко было сидеть в седле на резвом иноходце.

Сначала круг по острову, потом по льду на берег и в село мимо поповского дома — надо же показаться завистливым и хвастливым поповнам, каков конь и каков он в шубейке своей возлюбленной.

Конек Огонек так хорошо входил в его сказку, где будут жить Фиса, Маврикий и конь — начало хозяйства, двора. Какими будут этот двор и это хозяйство, пока еще вырисовывалось довольно смутно, во всяком случае; он сам доучит свою Фису хотя бы до пятого класса гимназии и доучится сам на учителя. Его и сейчас зовут. И он пробует учить грамоте рыбацких детей, и получается, нужно сказать, неплохо.

Почему он должен стать инженером и жить в Мильве или в Мотовилихе, а не здесь, в богатом краю, где он так нужен всем? От малых и до старых.

Хорошо замышлялась сказка, да плохо кончилась. Пришло письмо от человека, которого считали мертвым, а он оказался живым.

III

Прочитав письмо первой, Анфиса зарыдала на груди у матери.

— Мамонька-мамания, за что я такая несчастная? Ожил он, постылый.

— Кто?

— Проща!

— Это как же так,— заволновалась Степанида Алексеевна,— когда и я его в трех снах видела убитым. Матушка пресвятая троеручица,— обратилась она к иконе,— разве можно такие шутки шутить? Для чего, для кого ожил он, когда и в двоеданской молельне его заглазно отпела старица и в мирской церкви причетник за упокой в поминальник вписал. Как же это ты, пречистая?

Темный лик богородицы-троеручицы в посеребренной ризе кротко смотрел на мать и дочь, кажется, совсем не сочувствуя им. Вообще пойдя пойми эти лики, да и не до них теперь. Дочь и мать, запершись и обнявшись в Анфисиной горнице, плакали в два голоса.

А демобилизованный по плоскостопию солдат Прохор Курочкин шел тем временем от станции через озеро пешим порядком: ать-два-три. Шел и радовался, что он жив, что у него выискался изъян ног и ему не надо больше жить в разлуке со своей молоденькой бабенкой. Она хоть и не столь хороша супротив других тугих да налитых молодаяк, но жить можно и с такой. Что из того, что ноги тонки и шея длинна, как у лебедя, зато плясунья и песельница, и полдома за ней, если у Кузьмы сын не родится.

Шел солдат Прохор Курочкин: ать-два отбивал и считал себя самым счастливым изо всех. Ловко он без царапинки до самого Байкала прошел, а потом на осмотр послали. Изъян доктор усмотрел. И даже на полбутылки не попросил за такую выручку Прохора.

Шел солдат и думал о бане. Натопит ее Фиска. Напарится Прохор — и в снег. А потом опять потеть в баню.

Шел солдат Прохор Курочкин: ать-два — и не знал, что его не ждут, не радуются, что выжил он — забытый

муж, нелюбимый зять. Чужим-чужой теперь для него посветлевший смолокуровский дом, молчком усыновивший ангела во плоти.

Разнуздав и расседлав Огонька, поставив в отведенный для него закуток рубленой конюшни, счастливый, раздумянившийся наездник услышал стук в ворота.

— Кто там? — спросил Маврикий.

— Я!

— А ты кто?

— Никто. Дяденька Пыхто, вот я кто, — ответил за калиткой незнакомый голос.

— Ну, коли никто, так жди, пока будешь кем-нибудь.

Маврикий прошел в дом и сказал, что кто-то стучится в ворота и не называется. К воротам пошел сам Кузьма Севастьянович. Вскоре он вернулся не то что бледный, но не как всегда.

За ним вошел красноармеец со звездой на шлеме, в легкой французской шинели.

— Это ты, парень, не хотел пустить меня? — спросил вошедший Толлина.

— Я. А что?

— Ничто. Зеленый, знать, еще. Вот что.

Тут Маврикий увидел лицо снявшего шлем парня. Его глаза были так светлы, будто их не было. Будто одни белки без зрачков. Теперь никого ни о чем можно было уже не спрашивать. Маврикий ушел к себе в пристрой и только там понял, что сказка кончилась. Этот безглазый и безбровый и, кажется, без... Без чего-то еще, самого важного в человеке, пришел и своими подшитыми, большущими, с загнутыми носами старыми валенками растоптал все.

Ах, Фиса, как ты могла!

IV

Через приоткрытую дверь писарского пристроя доносился плач Фисы, и Маврикий не мог удержаться, чтобы не посмотреть на происходящее в кухне. И он увидел и услышал, как плакала обнятая сильными, непомерно длинными руками Прохора тоненькая, гибкая Фиса.

— Да что ты, право, Фиска, базланишь по мне, как по мертвому, я же живой... Живой... Гляди, вот я, — говорил, похлопывая ее одной рукой и проводя другой от

затылка и чуть не до икр. — Твой я, и всё, как было, так и есть.

— Прохор, — оговорила Степанида Алексеевна, — мы же тут. Мерику знай. Нам-то, наверно, тоже хоть «здорово живем» надо сказать и образам поклониться. Да разойми ты клешни-то. Еще вшей напустишь. С дороги ведь. Кинь одежонку-то в сенцы. А сам пока до бани тут побудь. Нас тиф, слава господу, миновал, так мы уж не желаем, чтобы, не ровен час... свят-свят... Тьфу-тьфу. К себе иди, Анфиса, — освобождала мать дочь от тягостной встречи. — Да прогладь и кофту и юбку.

Прохор недоуменно развел руками.

— Вот те на. Жена она мне или нет, маманечка? Откуда же тифу на мне взяться, когда я вторым классом ехал и на плюшевом лежаке спал? Зачем же я должен ждать?

Вошел Кузьма Севастьянович и сказал:

— Мы тебя, Прохор, дольше ждали. Так долго, что и жданы съели. Почему писем не слал?

— Как не слал? Слал. Да, видно, волость путал. Я уж тут узнал, что мы новой волости. Значит, не доходили письма. А когда баня-то? Пущай она затопляет ее. Часов-то еще совсем мало.

— Мало-немало, — строго заметил Смолокуров, — на полке теперь рогатые банные девки с голопузыми нечистиками в карты дуются. Неужто хочешь, чтобы они Фису на тот свет проиграли?

Прохор, почесав затылок, смирился. О чем-то задумался и спросил:

— А этот кто?

— Ученый булхактер. Из молодых, а вся артель честит его. В эти годы по батюшке величают. За половину часа управляется с тем, над чем ты — не в обиду будь сказано — с утра до вечера пыхтел и потом все равно пересчитывать приходилось.

— Значит, он теперь, тятенька, считать и писать будет?

— А что?

— Да ничто. Просто так. Мне хуже не будет — рыбу ловить или артельным весовщиком стать.

— Увидим, Прохор. Как лучше, так и сделаем. Стеша... — сказал Смолокуров, открыв дверь в горницу. — Ваня баней, а покормить-то мужика надо, как там никак, а он с дороги.

— Сейчас, Кузя, сейчас... Только дочь уложу. Не сотрясение ли в голове у нее? — заговорила Смолокурова, снова войдя в кухню.— В четырех снах она его убитым видела... И я в трех. А тут — и-на тебе. Как снег на голову. И крепкая голова тронется, когда мертвяки воскресают.

— Неужто и последнее не дошло с заказными марками, через часть посылал?

Смолокурова сделала вид, что не слышала вопроса, стала говорить так, будто Прохор виноват, что сны обманули мать с дочерью.

— Теперь-то уж, маманечка, нечего делать, коли я выжил. Не от меня же такие сны вам спились.

— Это верно, Проша,— спохватилась Степанида Алексеевна.— Садись давай. Оксти лоб-то да руки наперед вымой. Переобуйся в старые коты. Валенки-то на костер просятся,— спокойнее продолжала она игру в боязнь эпидемии тифа, которая, кстати говоря, шла на спад, а до этого не коснулась никого на Шучьем острове.

В этот вечер в доме рано погасили свет. Прохор остался ночевать в закутке за ситцевой занавеской. Невеселая была ночь. Хуже, чем выдавались ночи перед боем. Что случилось в смолукуровском доме? Неужели этот городской фертик мог полюбить его «тошщую», с большущими коровьими глазами, постную Фиску? Ни в жизни! Такие таких не любят. Даже не глядят на них, с синим прожильем на руках, с темными подпалинами под глазами и с плечами, покатыми до того, что скатывается с них коромысло. На таких женятся только от большой нужды бездомные, бескровные, бескоровные и безлошадные сироты, которым не из чего выбирать. Либо по миру идти, либо к тестю в кабалу и на усладу обиженной бабьими богатствами прихотливой дочери.

А если разобраться, так мог бы и Прохор найти себе жену, пускай не на пять пудов, а хоть бы на четыре с половиной, а в этой что? Из бани несет он, бывало, Фиску в одеяле, и рук она не оттянет... На таких не зряются и старики.

Прохор скоро уснул. Он не слышал, как теща заперла на задвижку горничную дверь и сказала, что она это делает потому, чтобы ему спросонья не пришло в голову, проведать больную.

Мать всегда остается матерью...

Степанида Алексеевна хорошо знала, что как только захрапит Кузьма, а затем затихнет Настенька, неслышной тенью скользнет через большую гостевую горницу Фиса и скроется за толстой дверью пристроя, расписанной райскими птицами, небесными цветами и золотыми звездами.

И это понятно. Когда же поговорить с ним, коли не в эту темную, как в страстную субботу, ночь.

— Солнышко мое,— опускаясь на колени и будто прося прощения или молясь на сидящего за столом Маврикия, спрашивала Фиса,— как дальше-то нам?..

Маврик поднял Фису. Усадил ее на широкую резную скамью и сказал, не кривя или почти не кривя душой, правду, которую лучше бы ей не слышать.

— Фиса, когда я не знал его, я и не думал о нем. Был какой-то Прохор, был — и не стало, будто не было. А теперь я увидел его. И увидел тебя с ним... Не сердись, Фиса... Я никогда не говорил тебе неправды... Я не могу обманывать тебя и себя надеждами. Когда я представил тебя и его в этом прирубе, то почувствовал, что ты уходишь из меня, а я из тебя. И мы стали снова двумя человеками самими по себе.

Ему хотелось сказать, что любить такого человека, как Прохор, или, хуже того, не любя быть его женой, хотя бы один миг,— это падение, после которого нельзя подняться даже до такой, как Муза Шишигина или Нелли Чоморова, которая корыстно любила Мерцаева, но все же не очертя голову, а продуманно-корыстно. Этого сказать Фисе было нельзя. И Маврикий прибег к смягченной правде.

— И если бы ты оставила его... если бы он ушел... или даже умер, я бы не сумел заставить себя стать одним человеком с тобой. Он сломал все.

— И то, что было? — всхлипнув, спросила Фиса.

— Не знаю... Наверно, этого растоптать невозможно... Ты не слушай меня, Фиса. Мне, наверно, тяжелее, чем тебе. Ты сильнее меня. А я, Фиса, с детства неполноценный, душевно слабый человек. Меня можно уговорить, усыпить, но ненадолго. Я обязательно проснусь и не буду благодарен человеку, подчинившему себе меня...

Фиса поднялась с лавки. Она обняла Маврикия и стала просить, чтобы он позволил ей остаться при нем.

Остаться, кем только он пожелает. Она обещала сказать Прохору, что, поверив снам, не может теперь подчиниться яви, что он как муж умер для нее. И отец и мать станут на ее сторону. Неперечислимое множество жарких слов толпилось в ее голове, но ее добрый, покорный царевич заледенил их все. Он сказал:

— Фиса, неужели тебе не жаль осквернять прошлое? Тогда мы никого не обманывали, а теперь?..

— Так хоть пожалей меня... Ведь не вся же я ушла из тебя... Ведь что-то мое осталось в тебе...

— Ты пожалей меня, Фиса. Я не хочу быть виноватым перед твоим мужем и перед твоим богом... И перед моей совестью...

Дверь неслышно открылась. Вошла мать. Она, взяв в свои тонкие, как у Фисы, руки голову Маврикия, поцеловала ее в темя задумчивым, тети Катиным поцелуем, а затем, ни слова не говоря, увела дочь.

Видимо, дверь была не так глуха, как это казалось.

Маврикия с Фисой разлучало только прошлое. Оскорбительная близость к длиннорукому, безглазому и тупому существу. Его не возмущало куда более обидное, чего он не разглядел и не понял.

Сейчас он бы не поверил, что Кузьма Смолокуров и сего приобрел, как в свое время «каргызенка» Ивашку, игрушку для младшей дочери, как покорного сироту Прошку Курочкина для старшей дочери.

Как забаву подарил богатей Смолокуров своей дочери совсем еще свежего городского выюнца для поддержания ее здоровья и самочувствия. А то уж бывало — Фиса заглядывалась совсем не на тех. На таких, кого не приручишь, не объездишь, не введешь рабом, как Прошку. Кто мог ославить его дочь и посмеяться над ее женской тоской.

Поверил ли бы Маврикий, что радушный, щедрый, широкий, будто бы простоватый Смолокуров представляет собою самый страшный тип кулака. Куда страшнее Сидора Петровича, у которого выпущены когти и не спрятано жало. Тогда как этот трогателен и поэтичен. С ним будто тоже где-то в какой-то книге или пьесе встречался Маврикий и еще тогда полюбил его.

Маврикию пока трудно поверить, что и Анфиса, дочь своего отца, тоже скрытая шука, не осознавшая еще себя собственницей всего живого и мертвого «обзаведения» ее дома.

VI

Баню до света истопила теща. До света, когда уже нечисть не играла на полке в карты, потому что пропели петухи. Прохор вымылся, переделся в новое. Солдатское оставил жариться на шестах над шипящими камнями каменки и пришел в дом.

В доме бабка-знахарка, спрыснув с уголька рабу божью Анфису, прочтав над ней семь молитв, три заклęcia и дав ей травяного настоя, строго-настрого запретила семь дней и семь ночей входить к ней кому-либо, кроме матери, и то с покрытой монастырской шалью головой, чтобы не спугнуть молитвы.

Старуха знала свое дело и понимала, как важно Фисе оттянуть встречу с Прохором. Понимала и молчала. За что-то платилось ей и мукой, и рыбой, и хорошими обносками со Степанидина плеча.

Утренний чай пили на кухне, за большим столом. Говорили мало. Больная же в доме. Маврикий и Прохор завели разговор о Дальневосточной республике. Прохор знал, что такая есть, и больше ничего. Кузьма заметил, что его любимцу трудно спрятать на своем лице презрение к Прохору. И Смолокуров, некогда подыскивавший зятя по тихоте и скромноте, видел теперь, что за его столом сидело смиренное, прирученное, свиноподобное животное, с судорожной радостью охмивающее разогретые блины с морожеными сливками, наскобленными совсем не для него.

— Маврикий-то Матвеевичу хоть оставь малость, — остановил Прохора Смолокуров и поставил миску со сливками на средину стола.

— А разве он в этой еде тоже кумекает?

— Кумекает, — процедил сквозь зубы Кузьма, — хоша и не так тороват, язви его, а понимает... Ясное море, черная ночь...

Крестясь и неслышно матерясь, Кузьма Севастьянович вышел из-за стола, думая, не отравить ли тихой отравой Прохора, чтобы он пролежал неделю-другую дома, а потом свалить все на тиф. Распарывать брюхо ему все равно не станут.

Пораздумав так, он решил про себя:

«Избавиться от него никогда не поздно. Церковь теперь не властвует над мужем и женой. Отделена... Надо же было ему, большеротому рылу, остаться в живых».

Прохор ел много, долго. Вычерпав сливки, он вылизал холодную глиняную миску. Потом спросил, нет ли «пельяшек», так он называл пельмени. Теща не захотела идти на мороз за пельменями, пообещала сварить ему сотню к обеду и дала пару фунтовых свежескопченных шурят. Съев их, Прохор довольно икнул и пошел показаться на острове родне и соседям.

А Кузьма уговорил Маврика сгонять на Огоньке к отцу Георгию за шафран-травой, настой на коей отбивает пригарный дух и шубную кислоту от самогона.

Тот и другой понимали, что урманский привозной самогон хорош и без шафрана, но тот и другой не хотели говорить, о чем нельзя было далее молчать.

Сытый Огонек с нетерпеливой радостью рвался под седло, а потом на улицу.

Усталыми, не знавшими сна глазами Фиса проводила дорогого седока и снова залилась слезами. Была у нее еще одна шаткая надежда, что все наладится, если ее женские предчувствия не обманут ее. Но предчувствия обманули в тот же день.

Попадья дала Маврику пакетик шафрана. Дала и сказала весело, что за это Смолокуров ей будет должен куль рыбы. А потом вышли поповны Валя и Катя. Они забросали гостя вопросами нужными и ненужными, лишь бы говорить. Отвечая на вопросы, Маврикий незаметно для себя обронил намерение переехать на берег.

Валя и Катя были рады этому и принялись подыскивать службу. Можно было пойти работать в отделение бывшего Союза сибирских маслodelьных артелей... Можно в волостной исполком... А можно и на ссыпной пункт... Там тоже есть знакомый-презнакомый... Неравнодушный к Кате... уполномоченный по продовольственной разверстке... двадцати пяти лет... брюнет, а с серыми глазами... У него есть две «губметлы», но нужна еще третья, но для нее пока нет начальника...

— Идите к ним, — предложила Катя. — Хотите, я поговорю. И Огонек ваш будет сыт.

Тогда Маврикий не думал, что разговор с Катей может что-то значить. Но не прошло и двух дней, как неравнодушный к Кате уполномоченный по подразверстке брюнет с серыми глазами прискакал на Щучий остров к Смолокуровым и сказал:

— Давайте знакомиться, товарищ Маврикий Зашеин. Меня зовут Олегом, фамилия моя Марченко. Мне ка-

жется, нам нужно где-то уединиться и поговорить по личному и тонкому делу.

Они уединились в пристрое. Не прошло и десяти минут, как Маврикий сказал: «Я согласен» — и тут же объявил о своем уходе Смолокурову. Смолокуров понимал, что решенное — не перерешишь. Настал час расчета. Подвели черту под зерном и рыбой.

Вычли за коня. Смолокуров так и не сказал, во что ему обошелся этот редкий иноходец. Когда-нибудь потом узнает Маврикий, счетного ли писаря видел в нем Смолокуров. А может быть, и теперь поймет, когда за Огонька будут насыщать ему настоящую цену. Немало ведь в богатых селах отцов, которые хотят своим сынкам купить такой быстроногий ветерок.

Очень плакала Настя. Она была единственной из всех, кому не надо прятать своих слез и чувств.

Фиса передала через мать ему письмо:

«Прощай, царевич! Для меня больше не будет солнца! И дни будут чернее ночей, а ночи страшнее могилы! Ты ушел от меня и унес бога! Если бы он был, разве бы он допустил это все. А я не ушла из тебя. И не уйду никогда. Всегда твоя и только твоя, днем и ночью, живая и мертвая, твоя Анфиса».

Долго сидел в кухне Кузьма Севастьянович Смолокуров. Думал. Решал. А надумавши и решивши, сказал зятю, забившемуся на полати:

— Слазь и послушай, Прохор, что я тебе скажу.

Прохор слез и принялся слушать. И Кузьма начал говорить уже проговоренное в голове не один раз:

— Умер ты, Прохор, для Анфисы. И для нас умер. Умер так, что никакими чудесами тебя нам не воскресить. По нынешним ревкомовским законам в таком разе говорят — прощай и забирай свое. Твоего тут мало. Совсем ничего. Голышом пришел. А таким я тебя отпускать не хочу. Как-никак бывший дочерин муж. Даю я тебе за эту бывшесть чебака двадцать возов. Зерна сто пудов. Карего мерина с санями и сбруей. Хватит?

— Коровку бы еще, тятенька, — припросил Прохор.

— Изволь, Прохор. Дам и коровку. И десяток овец дам, — подымал он голос. — И гусыню с гусаконькой дам... Только ты сегодня же, как свечереет, уйди от нас и тятеньку мою больше не зови и во сне. Иди же...

— Уйду, Кузьма Севастьянович, уйду, только черкану для памяти.

И Прохор написал на листке: «Чебаков двадцать возов. Зерна сто пуд. Карево мерины, с санями и збруей. Корову. Овец десеть. Гусыню с гусаком».

— Руку приложите, Кузьма Севастьянович, для памяти.

— Не веришь? Мне? — проревел Смолокуров так, что зазвенела на полке посуда. — Изволь, подпишу.

Он подписал бумагу и тут же выпнул Прохора за дверь. А выпнув Прохора за дверь, сказал на весь дом, чтобы слышали все:

— Вставай, Фисулька! Хватит хворать. Ловилась бы рыба, а уж доброго-то молодца мы выловим...

Третья глава

I

«Губметлой» в домах, подобных поповскому, называли небольшой отряд из трех-пяти человек, работавший по продовольственной разверстке.

Для ознакомления с предстоящей работой по вывозу зерна Маврикий поехал со своим будущим отрядом, вместе с Олегом Марченко.

Дорогой Олег рассказал, что кулак по фамилии Чичин из деревни Омшанихи, куда они едут, отказывается вывезти разверстанное на него сельским Советом зерно, а сам припрятал до тысячи пудов. Олег показал заявление из комитета бедноты деревни Омшанихи.

Свернув с широкой на узкую, малонаезженную дорогу, они вскоре увидели небольшую смешанную старожильско-переселенческую деревушку. Это было видно по домам. Пластанки и саманные домишки, позанесенные снегом, соседствовали с потемневшими от времени бревенчатыми домами, рубленными крестом, как у Смолокурова, или о пяти стенах с прирубами. В таких домах жили коренные сибиряки. Старожилы.

Дом Чичина, о котором писалось в заявлении комбеда, найти было нетрудно. Постучались — не ошиблись.

— Мы к вам, Лука Фомич, — объявили открывшему ворота благообразному пожилому мужику, похожему на знаменитого Николая-угодника, которого почти все иконописцы пишут на один лад: коренастым, лысым, бородатым мужиком лет сорока пяти.

— Милости прошу в дом. Самовар на столе. А в слу-

чае кому чего другого желательно, так в такой мороз и сам товарищ Ленин не осудит.

— Наверно, это так, — учтиво отвел разговор Марченко, — только мы не в гости. Где можно побеседовать? Вы без шапки, да и нам в тепле удобнее разговаривать.

— Тогда опять же дома не миновать...

Олег и Маврикий, оставив коней и троих верховых, прошли в дом Чичина. Он немногим разнился со смолокуровским домом. Те же крашенные и расписные двери, горы подушек на гостевой кровати, крашенные золотистой охрой полы, домотканые половики, лубочные картинки, сборище фотографических снимков в большой раме под стеклом... И все вплоть до жбана с квасом, разве только граммофон позатейливее да кот пострашнее. А так тот же набор посуды, мебели и всякой другой утвари.

Прошли в боковую пустую горницу, и Марченко сразу же приступил к делу:

— Когда, Фома Лукич, вывезете на ссыпной пункт разверстанное на вас зерно?

Чичин добродушно улыбнулся.

— Не велик труд разверстать, да где зерно достать? Я вывез что мог. Оставил на семена да себе на прокорм. Вот ключи. Можете все открыть, кругом обыскать. И взять остатнее, если рука подымется.

— Обыскивать вас, Лука Фомич, мы не будем. Зерна у вас дома осталось в обрез. Вы его зарыли в поле. Где?

— Боже милостивый и пресвятой, — перекрестился на иконы Чичин, — веришь ли ты клятве моей? Поручись за меня, господь.

— Лука Фомич, — перебил его Марченко, — не надо бога ставить в неловкое положение, и нас не надо за нос водить. Даю десять минут на размышление. В аккурат на ваших без десяти час. Если не вспомните, где зарыли хлеб, придется вам поговорить с комитетом бедноты. Тогда выясним, кто клеветник и кто обманщик. За то и за другое ревтрибунал судит по строгим законам революционного времени. В Москве, в Петрограде, наверно, вы слыхали, сколько выдают в день. Наверно, вы понимаете, что утаить в такое тяжелое время зерно от голодного — бесчестно и грешно, если вы на самом деле верующий, а не только умеющий креститься человек. Где хлеб? На часах без шести минут час.

— Да хоть бы без одной минуты. Вынь ливер, нацель его на мой висок... Или посади меня на цепь, чтобы выморозить из меня то, что ты хочешь и чего во мне нет. Хоть каленым железом кали — не выкалишь хлеба, которого я не зарывал.

— Тогда не будем ждать, когда пробьет час. Одевайтесь. Поедем для разговоров с комитетом бедноты.

В доме заголосила жена, невысокая моложавая и очень полная женщина. Затем послышался плач детей. Маврикий еле сдерживался, чтобы не вмешаться и не стать на защиту такого смелого, не боящегося говорить правду человека.

— Мы верхом, Лука Фомич, а как вы?.. Не вести же вас пешком?

— Как изволите, товарищ комиссар. Как прикажете, хоть на коленях поползу...

Дети заплакали еще громче. Видно было, что Марченко тоже волновался, но не показывал этого.

— Скажите работнику, чтобы он запряг лошадь.

— Это я сейчас, — послышался чей-то голос. — И пять перечесть не успеете.

По голосу было слышно, что тот, кому он принадлежит, не сочувствует своему хозяину.

Чичин надел позеленевшую от времени, когда-то черную овчинную шубу. Опоясался. Нахлобучил шапку и сказал:

— Ведите!

Жена и дети заголосили до невозможности громко. Они ринулись в сени за отцом и мужем. Когда Чичин садился в сани, Маврикий видел, как жена Чичина, стоя в дверях, на коленях молила:

— Не увозите его, не увозите... Выгребите из амбаров все подчистую, только не увозите...

Кричащие дети тянули к отцу руки, а самый младший лет шести, плача, успокаивал мать:

— Мамынька, не реви... Мамынька, не реви...

Отвернувшись, Маврик вытер слезы, и они тут же замерзли на рукавице.

Поскакали в комбед.

II

На комбеде, созванном в тесной пластанке, ничего не было доказано. Комбедовцы перемножали десятины на пуды урожая, брали самый малый съем, пересчитывали

вали снова, и получалось, что Чичин скрывает не менее пятиста пудов.

Чичин начисто отвергал доводы комбедовцев и требовал покарать их за облыжный донос.

Улик не было. Все твердили, что он зарыл хлеб, божились богом, клялись партийным билетом, а где, когда зарыт, хотя бы примерно в какой стороне, — никто не мог сказать. Немыслимо искать хлеб под толщей снежного покрова, на огромном пространстве омшанихинских земель, принадлежащих всем и никому.

Чичина отпустили. Он перекрестился на божницу без икон и, поклонившись комбеду и Марченко, прошепелявил:

— Господь с вами, богородица над вами, — и, смиренно поклонившись, вышел из пластанки.

Продотряд поскакал обратно, Чичин поехал к себе.

— Ну, как ты думаешь об этом праведнике? — спросил Маврикия Олег Марченко, когда они выбрались на широкую дорогу.

— Я думаю не об одном Чичине, — ответил Маврикий, — а вообще о Чичиных, на которых держится Россия. И ловят ли они рыбу или сеют хлеб — это все равно... Они кормят страну.

— Они?

— Они! И если бы не ихний хлеб, не ихнее мясо и рыба, я не знаю, как бы жили там, на Урале и за Уралом. А мы разоряем их... Разрушаем то, что наживалось, налаживалось и копилось еще дедами, — повторял Маврикий сказанное Смолокуровым. И его же словами он утверждал: — А что будет, когда одни не станут пахать и сеять, другие бросят ловить рыбу, а третьи не будут пасти скот? Что останется тогда? Комбеды? Но ведь они даже сами себя не могут прокормить...

Марченко слушал и молчал. А Маврикию нужно было излить душу и предупредить Марченко, что принуждения никогда ни к чему хорошему не приводят.

— Мы съедаем сами себя, — опять повторил он чужие слова. — Что станет, когда нечего будет разверстывать и вывозить? Чичин-то ведь не будет на следующий год сеять, а Смолокуров не захочет подновлять невода, потому что артель не желает отдавать долю, которую отдавали его отцу, деду и отдают всем, чьей снастью ловят рыбу.

Марченко по-прежнему молчал и, только вернувшись на сыпной пункт, где у него была своя комнатуха со столом и бумагами, сказал:

— Я думаю, что тебе в продотряде работать будет трудно. Советую тебе посекретарить у меня, а если понадобится — выполнять поручения, которые не будут вызывать слез.

Значит, он видел, как Маврикий утирал варежкой слезы. Ну и пусть!

— Да, наверно, так лучше. Я согласен. Только будут ли мне на этой должности давать корм Огоньку?

— Будут, — сказал Марченко. — Ты же в продотряде, а отряд конный. И тебе полагается лошадь. А у тебя она даже своя. Как же не кормить ее.

С этого дня Маврикий занимался бумагами, разбирал письма, заявления, донесения, а иногда выполнял поручения Марченко, ездил по волостям, проверял цифры выполнения подразверстки, отвозил указания, составлял акты. Дел хватало.

Начавшаяся дружба с Олегом Марченко не продолжилась. Марченко охладел к Маврикию, сохраняя его в продотряде только за грамотность. Остальные едва писали. Полезен Зашеин был и тем, что вечерами учил продотрядников письму, счету и чтению. Это ему удавалось очень хорошо. И его в общем-то любили в отряде, хотя и считали «чужачком». И Марченко тоже находил в Зашеине хорошие черты: прямоту, правдивость, умение хранить тайну и выполнять обещанное.

С приближением весны спадала работа по продовольственной разверстке. Поговаривали о замене разверстки продовольственным налогом. Выясняли возможности и объемы посевов. Убеждали посеять больше. Предлагали семенные ссуды. Созывали общие сходы. Маврикий оказался не у дел, и он подумывал об уходе из продотряда. Он пока еще не решил, куда лучше поступить. На мясопункт ли, где есть очень интересная работа помощника гуртоправа, или пойти на склад сельскохозяйственных орудий тоже помощником заведующего складом. Готовая квартира при складе. Конюшня. Но ни сена, ни овса здесь Огоньку давать не будут. Только мучной паск, и больше ничего. Зато на складе сельскохозяйственных орудий, где не было никаких орудий, почти не было и работы. Разве что отпустить раз в день залежавшиеся пеходовые запасные части.

Но заведующий складом до того хорош с Маврикием, что к такому и без пайка можно пойти помощником.

Бывая на складе почти каждый вечер, Маврикий открывал для себя совершенно новую дверь в сельское хозяйство Кулунды.

III

За многие годы знакомства с деревнями Прикамья и Урала Маврикий даже в голову не приходило, что есть или могут быть другие сельскохозяйственные машины, исключая разве молотилки и веялки, да и то не везде. В Омутихе до последних лет молотили цепом или ударяли пучком колосьев в короб. Так обычно вымолачивали семена для посева. Косили и жали только косой и серпом. Пахали деревянной сохой с железным лемехом. Боронили деревянной бороной с железными, а иногда и деревянными зубьями. Вот все сельскохозяйственные орудия, которые знал и хорошо помнил Маврикий.

Здесь же, в глухой и далекой Кулунде, с таким редким населением, с таким множеством неграмотных людей, никто не пахал сохой. Хороший двухколесный плуг, запряженный парой лошадей, был обычным для всех. Такой плуг не обязательно поддерживать за ручки. Если он хорошо отрегулирован, борозда ровна, лошадь привычна к пахоте, он может идти и сам. Его и называют иногда самоходным. Но были здесь плуги о двух и о трех лемехах. Такой плуг тянет и четверка волов, а пахарь восседает на стальном сиденье плуга.

Это было катанием, а не пахотой по сравнению с мильвенской «надсадой», когда приходилось не только идти за сохой, но и поддерживать ее на нужной глубине.

А косьба и жатва — тоже только сиди да перебирай вожжами. Острые режущие ножи, как увеличенные во сто крат движущиеся гребенки парикмахерской машинки для стрижки волос, широкой полосой сжинали колосья. А были здесь жатвенные машины, которые вяжут шпагатом колосья в снопы. Только знай собирай их на фугоны и отвози на молотильный ток. Здесь быть крестьянином вовсе не трудно и совсем не обязательно обладать бычьей силой. На то есть волю.

Старшая замужняя дочь отца Георгия говорила, что

се муж, агроном с высшим образованием, на опытном поле своими руками пашет, сеет и убирает научные урожаи. И это ничуть не трудно.

Любознательный с детства Маврикий, очарованный новыми машинами, узнал, что многие из них в этом году будут бездействовать, потому что не было запасных частей. И хозяин квартиры, где Маврикий снимал угол, и заведующий сельскохозяйственным складом рассказывали, показывали, из-за каких мелочей будут простаивать машины. И части, которых не было и которые видел Маврикий, до удивления просты. Но ведь проста и швейная игла, а попробуйте сделать ее.

Вот тут-то и возникла идея рассказать об этом коммерческому директору Мильвенского завода Григорию Савельевичу Кишбауму.

Если бы знал заведующий складом, кому обязан приездом техников из Мильвенского завода, кто был инициатором изготовления запасных частей, как бы, наверно, поднялся Маврикий в его глазах. Хорошо, когда тебя уважают и ценят. Запасные части, которые придут сюда благодаря ему, Маврикию, дадут больше хлеба, чем дал бы его Чичин, если бы у него в самом деле был хлеб и стараниями Марченко этот бы хлеб нашелся.

Хорошо сознавать себя нужным и полезным человеком, и совершенно не обязательно, чтобы люди знали, что ты о них заботишься. Всеволод Владимирович Тихомиров всегда заботился о людях и никогда не думал о своих доблестях. Ему, отдавшему всего себя людям, некогда, да и не нужно было думать о похвалах.

Делать доброе для своего народа можно при всякой власти.

IV

Весна в Кулунду чаще всего не приходит, а как бы вбсгает на всех парах и принимается торопливо очищать землю от снега, небо от облаков, озера ото льда.

Сегодня дует, завтра дует... Неделю, вторую пурга и снег метут и кружат белые хлопья, а потом, как подстреленная на смерть, рухнет на землю непогода ослабевшими снежинками, и потекло-затаяло, снимай валенки, надсвай сапоги, убирай сани, выкатывай телеги. . . . Так ой она пришла и в этом году. Разбирая бумаги

в комнатухе продотряда на ссыпном пункте, Маврикий и не предполагал, что сегодня, через час, начнется весна. Весна, которую невозможно забыть. С нее, кажется, начнется и ей будет обьязано все, что потом произойдет.

Радуюсь, что в комнатухе стало светло, Маврикий распечатал серый самодельный конверт, склеенный из оберточной бумаги. Письмо привез молодой парень, которому велено было дожидаться ответа.

Почерк показался знакомым. Он, кажется, не так давно читал написанное этими же жидкими голубыми чернилами, той же рукой и на таком же листе бумаги, вырванном из конторской книги.

Вникая в письмо, он обратил внимание на фамилию, которая показалась очень знакомой. Прочитав название деревни, он вспомнил все. Дом и двор, плачущую на пороге женщину, ее детей, смиренного Чичина, заседание комбеда и весь тот тяжелый день.

В письме сообщалось: «...а теперичь закопанный чичинский хлеб открылся сам, по причине его горения и растаивания большой проталины...»

Не дочитывая письмо, Маврикий кинулся искать Марченко. Не найдя его, он побежал к коновязи, отвязал Огонька и крикнул приехавшему парню из Омшанихи:

— Поехали.... Там разберемся...

Хорошая долгоногая лошадь еле успевала за Огоньком. Знакомая дорога всегда короче. Не прошло и часу, как свернули в Омшаниху.

— Где? — спросил Маврикий парня.

— Вон, парит, — показал он плетью на столб пара в степи на проталине.

Круто повернув с дороги, они поскакали туда. Там дежурил верховой из комбеда. Маврикий, разгорячившись, не сдержал лошадь, и она едва не провалилась в горячую яму.

— Что же вы, — спросил верхового Маврикий, — почему не выгребаете?..

— Как можно, за самовольство-то знаешь что бывает...

— Зови народ с лопатами, ведрами, живо!

Верховой умчался в Омшаниху.

— И ты тоже давай за ним... — сказал парню Маврикий. — Горит же, горит, горит! Неужели не видишь!

У ямы было жарко стоять. Маврикию никогда еще не приходилось видеть, как горит зерно. А горело оно, кажется, настоящим огнем, пахло прелью и дымом. «Ах, забыл приказать, чтобы привезли сюда Чичина».

Очень редко произносил Маврик те слова, от которых — как говорила тетя Катя — «чернел язык и загнивали зубы». На этот раз он не жалел ни зубов, ни языка. Он чувствовал, внутри у него горело и требовало возмездия. За жалость. За слезы. За святотатство. Он же верующий. За издевательство над любовью к человеку. За куски, не съеденные тысячами детей.

Огонек поворачивал голову, косил глазами, нервничая, топтался на одном месте, ему передавалось волнение его всегда доброго и ласкового друга.

Из деревни бежали и ехали в розвальнях и верхом. С лопатами, ведрами и дерюгами. Прискакавшие первыми принялись разбрасывать снег вокруг ямы, чтобы было куда выгребать зерно. Работали яро, споро, осата-нело. Счищали снег до стерни. Срезали и стерню. Затем принялись ворошить яму. Взметнулся клуб пара, около ямы стало еще горячее. Деревянными лопатами, ведрами с привязанными к ним веревками принялись вычерпывать зерно из середины ямы, где оно горело особенно жарко. Маврикий не мог быть только наблюдателем, оставив Огонька поодаль, скинув, как и все, шубу, он помогал выбирать горячее зерно.

— Он все свалил в одну кучу, насыпью... И просо, и пшеницу, и ярицу... И овес с ячменем тоже сюда, — говорил председатель комбеда, взмокнув и без шубы. — Ни себе, ни людям.

Разворошенное зерно горело тише. Вскоре пар еле струился. Председатель прыгнул в яму.

— Стой, робя. Непрелое пошло. Его на дерюги надо, а то и в мешки. Совсем еле теплое.

Пока да что, зерно решили свезти в чичипские сусеки, а потом опечатать амбар.

Актом было установлено, что зерна было зарыто в обсерянной аршином яме более тысячи ста пудов и что четыреста пудов «зерна разного и по большей части пшеничного сгорело или пришло в негодность для народного питания и пригодно лишь как сырье для технических надобностей».

Более тысячи ста пудов! Более тысячи ста месячных пайков! Если по пуду. А выдавали по двадцати

фунтов. Две тысячи двести пайков! Все дети Мильвы могли быть сытыми целый месяц.

Маврикий боялся, что сегодня он может не сдержать себя. Поэтому, приехав на чичинский двор, он оставил плетъ, привязав ее к стремяни. Сосчитав до сорока, как его учил когда-то Иван Макарович Бархатов, он пошел в дом.

Чичин лежал на лавке под образами. Затеplенная лампада подчеркивала тяжесть недуга и возможность его непоправимого исхода.

— Здравствуйте, Лука Фомич, — сказал Маврикий, войдя в горницу, не снимая папахи.

— Здравствуй, голубок. Никак опять по мою душу, — замогильным плаксивым скрипом прозвучали его слова.

— Нет, зачем же по душу. Я не смерть. Я за вами, а не за душой. Одевайтесь, Лука Фомич. Одевайтесь, — приказал Маврикий.

— А кто сказал, что это мое зерно? — слышался совсем не плаксивый, а озлобленный голос Чичина.

— Трибунал разберет чье. Если не ваше, значит, накажут меня за самовольный арест честного человека.

— А кто меня арестовал?

— Я!

— Не молод ли, птенец...

— Нет. Вырос, уже в самый раз. Ну, хватит же. — Не удержавшись, Маврикий возвысил голос. — Не испытывайте больше меня... Не ухудшайте свою участь... Одевайтесь...

— Дарьюшка, — позвал жену Чичин, — опять увозят. Вели Трофиму запрягать рыжую.

— Не надо, — остановил Маврик. — Вас доставят пешком.

— Такого закону нету! — совсем бодро крикнул Чичин.

— В трибунале заявите об этом. И я отвечу за все.

Было еще очень светло, когда вдоль деревенской улицы двое из добровольной милиции конвоировали Чичина. Он шел опустив голову, не смея поднять глаз на своих одноподдеревенцев, на окна знакомых домов. Все знали, за что его ведут с таким позором. Даже самые близкие к Чичину люди понимали, что нельзя гноить дар божий — хлеб. Нельзя, чтоб ни себе, ни людям. За это и на том свете не милуют.

Чичин то и дело спотыкался, падал, делая вид, что будто выбился из сил, но никто не верил и не сочувствовал ему. Это видел и Маврикий, наблюдавший со стороны. С его глаз сегодня спала завеса. Очень солнечен был этот первый день перелома на весну, и Маврикий очень много увидел заново... Так много, что, кажется, он в этот день снова появился на свет.

V

— Что произошло с тобой, Зашеин?

— Я сам не знаю, — отвечал он Олегу Марченко. — Будто мне переменили глаза, а с ними и мысли.

— Ты будешь на выездной сессии трибунала?

— Обязательно!

— И какое же наказание ты потребуешь?

— Расстрел, Олег, и только расстрел!

— Н-ну, Маврикий Матвеевич, вы что-то уж очень...

— Наверно. Сейчас я готов его сам... Не исключено, что на сессии опять заговорит во мне паршивая жалость... И я опять не буду себя уважать... Вообще-то я никогда не уважал себя. Любил себя. Восхищался собой, но не уважал.

Слушая Маврикия, Олег Марченко тоже видел его заново. Его поражала искренность. Если это правда, значит, он не оценил тогда его печальные, но искренние, идущие от чистоты сердца заблуждения.

От той же чистоты своего негодующего сердца товарищ Зашеин, как представитель продовольственного отряда, выступил на выездной сессии ревтрибунала с обвинением.

Сначала слушающие, особенно сидящие за столом, покрытым красным сукном, чувствуя некую неловкость, хотели остановить излагающего дело — он будто рассказывал рассказ с неюридическими и внеусадебными привесками, добавками, подробностями хотя и очень интересными, но не пригодными для протокольных, исчерпывающе точных строк. Но вскоре слушающие будто перенеслись в Омшаниху, где эпизод за эпизодом разворачивалась история, ставшая теперь «делом о скрывании и уничтожении хлебных излишков в деревне Омшаниха».

Будут или не будут выступать защищающие Чичина, приведет он или нет какие-то смягчающие вину обстоятельства, все равно сессия будет рассматривать дело

глазами этого молодого продотрядника, в крике души которого не может усомниться и самый скептически настроенный человек.

Дело Чичина разбиралось последним, чтобы все обсудить и выяснить всесторонне. Времени было достаточно. Но как-то нечего было выяснять, опровергать и даже смягчать. И сам Чичин, приготовивший жалобные слова, тоже понял, что ничего уже нельзя изменить. Он утаил более чем две тысячи месячных пайков детей. Этого нельзя опровергнуть. Поэтому им было сказано всего лишь несколько слов:

— Будьте милостивыми, судьи, у меня дети не выросли. Трое.

После положенных процедур сессия удалилась на совещание. Оно было недолгим. Видимо, не возникло разногласий. Решение читал председательствующий. Читал громко, отчетливо, с остановками в нужных местах и выделением главных слов.

Зная, что приговор будет строгим, Чичин все же был уверен, что его не приговорят к расстрелу, как не приговаривали никого в окрестных волостях, где тоже случалось всякое. Не такое простое дело — расстрелять человека. А этот сосунок из подразверсточного отряда петушился только для попуга.

Однако председательствующий, оглашая решение, прочитал:

— «Выездная сессия ревтрибунала считает правильным требование обвинителя Толлина приговорить подсудимого Чичина за злостную порчу зерна к высшей мере наказания — расстрелу».

Чичин, услышав эти слова, повалился назад — за скамью подсудимых. Этого не заметил председательствующий, продолжая чтение:

— «Но принимая во внимание тяжелое наследие царизма, темноту и невежество подсудимого, принимая также во внимание ходатайство сельского Совета и то, что старший сын Чичина — Алексей храбро сражался в рядах Красной Армии и отмечен в приказах командования, сессия нашла возможным приговорить заслуживающего расстрела подсудимого Чичина Луку Фомича к десяти годам принудительных работ...»

Чичин, открывший до этого левый глаз, теперь открыл оба. Прослушав обвинение до конца, он вскочил. Сел на скамью подсудимых, расправил бороду. Потом

встал и поклонился опустевшему столу, покрытому красным сукном.

— Благодарствую, — сказал он еле слышно.

Про себя же говорились другие слова:

«Хоть двадцать лет давайте... И месяца не пройдет, как мы вас всех перестреляем, перевешаем, живьем в землю загоним до последнего».

Четвертая глава

I

Свадьба Олега Марченко и Кати была тихой. После свадьбы Олег и Катя уехали в Славгород. Марченко не захотел жить в одном селе с тестем. Не бывать у него — значит обижать доброго старика. А ходить к нему в гости или, того хуже, жить в его большом доме — значит поддерживать связь с чуждым элементом, хотя отец Георгий — поп лояльный.

После отъезда Олега Маврикий не остался на сыпном пункте, где до нового урожая замирала работа. Осенью оживет ссыпной пункт. А что делать до осени? Наняться в работники? Это не так плохо. Будут хорошо кормить и его и Огонька, заплатят зерном. А зерно что золото — в цене не упадет. Работать не так уж трудно. Утром сел за косилку, а к вечеру хоть и не ахти какой, но косец. Ну а уж грести конными граблями совсем простое дело. Можно и Огонька в грабли запрягать. За это особая плата. Сеном. Зимой-то нужно лошади что-то есть.

Но повернулось так, что Маврикий покинул Груднино. В бывшем земском складе опять появились мельвенские техники. Они не знали в лицо Маврикия, но мог приехать и привести очередной вагон запасных частей и сам Григорий Савельевич Кишбаум или какой-то другой знакомый. И Маврикий поступил на новую работу в мясопункт. Мясопункт — родной брат ссыпункта, только там зерно, а тут скот.

Человек на коне при стаде стоит трех человек. Маврикия на мясопункте приняли очень хорошо. Заведовал мясопунктом знаменитый во всей округе кривой гуртоправ Пётр Сильвестрович Капустин. В старые годы скотопромышленники платили ему большие деньги за его умение дать безошибочную оценку скота. За куплен-

ный скот платили с головы, но покупали нередко гуртом. Одноглазому Капустину достаточно было и пяти-десяти минут, чтобы определить средний вес животного. Погрешность оказывалась так мала, что поражались и съевшие зубы скотопромышленники капустинской науке точных оценок.

Капустин очень был доволен своим новым служащим, пока еще без должности, но с совершенно ясными обязанностями. Он сказал:

— Мне, дружок, за двумя хозяйствами трудно следить одним глазом. Так я хочу позаимствовать на время у тебя второй. Для Пресного выпаса. Ничего я тебе говорить не буду. Поезжай. Поживи. Погляди. Будь сам себе комиссар. Через недельку свидимся.

Маврикий простился с добрыми квартирными хозяевами и заботливым конюхом Сеньшей, или Сеней. Этот двенадцатилетний мальчик, привязавшись к коню, приручил к себе его так, что тот исполнял многие его приказания: «Нагни голову», «Стой», «Иди к себе». Видно было, что Сене нелегко расставаться с Огоньком. Ради коня он хотел поехать с Маврикием на Пресный выпас. Но разве это возможно...

Пресный выпас поразил Маврикия своей тишиной. Чтобы обскákat пространства, где формировались, а до этого выпасались гурты скота для перегона в большие города, нужно было добрых три часа. Степь здесь почти без кустика. Небольшие, но непересыхающие пресные озера издавна привлекали сюда кочевников-скотоводов. Были они и теперь. Но это редкие аулы из пяти-семи юрт. Здесь почти не бывают мужики из русских деревень. Разве только добытчик-перекупщик появлялся здесь с плиточным чаем, с жевательным табаком, чтобы выдурить на них богатство этих мест — баранов, овчины, шерсть.

Прискакав сюда, Маврикий нашел главного пастуха и, вручив ему в качестве верительной грамоты от Петра Сильвестровича Капустина большой кирпич чая, стал дорогим гостем в юрте, а уже на другой день оказался совсем своим человеком.

У кочевников необыкновенное чутье на приезжих. Маврикий был раскушен в первые же сутки. Через главного пастуха к нему прониклись симпатиями и остальные. Его стали почему-то называть «малладой комиссар». И ему не потребовалось больших усилий, чтобы

узнать, где, как и что, узнать, в частности, как ведет себя начальник выпаса.

Начальник выпаса Александр Викторович Востряков жил в немецкой переселенческой деревне Адлеровке, самой близкой от выпаса, находящейся в двадцати верстах. Вострякова пастухи недолюбливали, называли бранными словами, которые они произносили по-русски почти без акцента, но боялись его. Боялись потому, что Востряков был другом Шарыпа Ногаева, у которого семь юрт, семь жен, семь стад и настоящий деревянный дом, где он принимал гостей, не привыкших к юрте. Шарып Ногаев был главной властью в степи, под ним ходило много родов. Потому что он был потомком какого-то древнего властителя, имя которого затерялось в веках.

Шарып и вел себя как властитель. С ним нельзя было спокойно спорить. И если он приказывал привести ему сотню упитанных баранов, живших до того, как попасть в разверстку, на хороших кормах,—ему приводили их. Взамен отдавались тощие овцы, еле протянувшие голодную зиму, еле дождавшиеся прошлогодней травы на первых проталинах.

Востряков наезжал в степной дом Ногаева, где бывало не одно разливанное море, но и угощали танцами «гурий», каких уже не увидишь нигде. За это маленькому некоронованному хану сходило с рук все. Но и хан не позволял уличать начальника выпаса, когда тот открыто и нагло недодавал пастухам заработанного ими. Пастухам ежемесячно полагались ткани, чай, мука, нитки, спички, табак, что-нибудь из утвари или из недостающего в степи, где трудно достать даже иголку. Именно поэтому и согласились те, кто победнее, стать пастухами Пресного выпаса. Подписывая договор отпечатком пальца или крестом, неграмотные пастухи все же точно знали, чего и сколько им причитается за месяц. Но они издревле привыкли к недодачам и обсчетам. И они бы, наверно, молчали, если б Востряков брал примерно десятую долю. Пусть! Аллах ему судья. Но жадный начальник не ограничивался и половиной присвоенного.

Не трудно представить, какое богатство составляла эта недоданная половина заработанного сотней пастухов, гонщиков, сторожей. Это пуды чая. Ящики табака. Мешки муки. Это тысячи аршин ткани, на которую

можно выменять все. Деревня поизносила запасы. А в казахских аулах дети ходили нагишом, зимой же надевали меховую одежду на голое тело.

Бесконечно доверяя «малладому комиссару», пастухи обнаруживали не такой уж малый запас русских слов для описания деятельности Вострякова. Пастухи знали о существовании ревтрибунала. И они могли бы уличить своего грабителя, если бы не боялись Шарыпа. Поэтому все их надежды были на нового приезжего с чистыми глазами.

Маврикий понимал, что Капустину нужно было доложить обо всем этом. Не для изучения же погоды послал он своего помощника. Маврикийу хотелось проверить слух о краже Шарыпом баранов из государственных гуртов. Установить это было совсем не трудно, потому что губпродкомовских баранов метили особым проколом уха. Необходимо только найти повод. И повод нашелся — поехали поискать лису с лисятами, чтобы поймать ее и додержать до осени. До хорошего меха.

Поскакали втроем.

II

Втроем — это два сына главного пастуха и Маврикий.

Мягко бежать по степи их коням. Степь как стол — ни бугорка, ни ямки. Хорошо пастись скоту в этом приволье. Отвыкая от человека, животные как бы возвращаются в свое далекое прошлое. Табуны жеребят, молодых коней, те вовсе редко видят своего двуногого властелина, и лишь когда приходит время влезать в хомут или становиться под седло, их разлучают с милой свободой и надевают узду.

Скот тут мелкопороден. Маленькие лошадки, крохотные коровки и овцы тоже невелики. Зато здесь, и особенно южнее, животные почти ничего не требуют. Чуть ли не круглый год они добывают себе корм сами, но этот корм достается нелегко. Многие гибнут. Немцы, поселившиеся неподалеку отсюда, называют такое скотоводство варварским. Но на это не обращают внимания коренные жители. Они знают, что если даже из двух баранов уцелеет один, то все равно второй останется даровым. Это прибыльнее немецкого скотоводства в Адлеровке, где из двух баранов почти всегда

выживают два, зато траты на них такие, как на десяток неприхотливых беспородных баранов.

У Шарыпа Ногаева много баранов... Ой как много, а он по спискам середняк. У него их числится два-три десятка. Зато у каждой из семи жен, особенно если есть у нее сын, баранов столько, что приходится нанять пастуха, чтобы он, выпасая свою считанную малость, приглядывал за ногаевским стадом и благодарил аллаха за то, что он будет сыт, одет и обут. Ногаевской жене не жаль отдать пастуху из приплода каждого седьмого ягненка. Пусть пастух славит щедрость Ногаевых.

У ногаевских овец не надо проверять их уши, чтобы опознать обмененных на Пресном выпасе. Их видно и на далекое расстояние. Они крупнее, осанистее и «домашнее».

Шарып Ногаев появился неизвестно откуда. Как будто негде прятаться там, где ни перелеска, ни камыша, а он сумел скрытно выследить всадников, рыскающих по степи подле его стад.

Не таким представлял Маврикий Шарыпа. Он думал, это казахский степной богатырь, коли в его жилах течет чуть ли не ханская кровь. А Шарып оказался карликом. Про таких говорят: «поперек шире». Толстый, куда ниже Маврикия, под ним еле видна лошадь. Он на ней как копыта на мыши.

— Селям, селям... Здравствуй, молодой комиссар, здравствуйте, молодые джигиты, — заговорил он, хорошо произнося русские слова, обращаясь к всадникам. — Как вам понравились бараны моего старшего сына?

— Хорошие, — ответил Маврикий и не утерпел: — Только почему-то разные, как будто они сбежались со всех волостей.

Шарып понял намек. Улыбнулся и заметил:

— Теперь все перемешалось. И люди, и бараны. Такое время. Такой цвет. Пестрый. Приглашаю ко мне.

— Нет, нет, — стал отказываться Маврикий. — Мы хотим выследить лису с лисятами.

— Будет лиса с лисятами. И вас приглашаю, — еле заметно повернул он голову к сыновьям главного пастуха, оставаясь стоять к ним хвостом шустрой казахской лошадки.

— Поехали, ребята, — пригласил Маврикий товарищей.

В бездорожной степи расстояние меряется самочувствием. Иногда и далекое оказывается близким, а иногда верста — дальний путь. Доскакали быстро. Заехали с главного фасада деревянного двухэтажного, крытого железом дома с крылечком посередине. За домом, как и рассказывали, в версте или более, сравнительно далеко друг от друга, веером расположились семь юрт семи жен, которые при всяком удобном случае Шарып называл «моя неделя», а каждая юрта в отдельности называлась по-русски — понедельник, вторник, среда, четверг... чтобы Шарыпу не спутать, какая из юрт сегодня будет обязана ему посещением.

III

На пороге дома Ногаева приехавших встретила русская пожилая женщина Агафья лет сорока или более. Она, перекинувшись с Шарыпом по-казахски, заговорила, нет, запела чистым рязанским говором. Поздоровавшись с гостями, она вынесла небольшую лагушку с холодным кумысом. Дом не юрта. В бурдюках здесь кумыс не подавался. Приезжавшие сюда нередко отказывались пить из этой кожаной посуды без душа.

Отличный кумыс поставляли сюда жены. Все пивавшие хвалили это питье Шарыпа. Досушие языки болтали, что будто бы Шарып добавляет ему градусы жидкостью совсем иного происхождения, запрещенной кораном.

Легкое опьянение почувствовал и наш «малладой комиссар», а равно и его товарищи. За кумысом последовало и другое угощение. Гостей пригласили за низкий стол, не такой, за которым сидят в юрте поджавши под себя ноги. Это был стол-компромисс с низкими скамьями, обитыми белым войлоком с вкатанными в него узорами из темной шерсти.

Сначала Агафья подала блинчики, начиненные крупно рубленным мясом, потом щурят, поджаренных на вертеле, и, наконец, то, что каждодневно едят здесь все — вареную баранину, и положила на стол ножи, похожие на финские кинжалы — финки. Шарып, угощая, каждый раз приговаривал:

— А теперь это, для знакомства, пожалуйста...

И наконец, был подан густой чай в пналах и бавру-

сак, или маленькие колобки из пресного теста, сваренные в бараньем сале.

Чай подавала уже не Агафья, а две девушки, почти девочки, в алых бархатных безрукавках, расшитых бисером, в очень тонких белых кофтах и шароварах в цвет безрукавкам, тоже сшитых не из столь плотной ткани.

Отхлебнув чай, Шарып снял со стены увеличенное подобие бубна и объявил:

— А теперь пусть насыщаются глаза и уши.

И он, взяв бубен, стал извлекать шустрыми пальцами ритмические звуки. Все они были на одной ноте, а между тем, сочетаясь, создавали танцевальную мелодию. И девушки начали танец. Сначала одна, потом другая. Танцевали преимущественно руки, плечи, шия и голова, а потом уж ноги. Они всего лишь делали шаг или несколько шагов в стороны.

Танец, исполнявшийся девушками, не имел ничего общего с теми, которые видел Маврикий. Внимательно следя за танцовщицами, он, не замечая, застыл в восхищении. Девушки, видя это, танцевали с большим вдохновением, и Шарып, зная, какое впечатление производит танец, не жалел рук. На каком-то из тактов вдруг изменился темп танца и его направление. Если до этого танцевало гибкое целомудрие, то сейчас девушки, повзрослев, рассказывали своими движениями, улыбками, блеском глаз, что в них заключено и другое, чего не предполагали видевшие их в первой части танца.

Когда танец был закончен, обе танцовщицы подбежали к Маврикию и поклонились ему, затем хозяину, не оказав никаких знаков внимания сыновьям главного пастуха.

Вошла Агафья и сообщила, что принесли лису и пятерых лисят.

Все как в сказке. Будто волшебник этот коротконогий степной гном, с широким лицом, изъеденным оспой.

— Лиса в мешке. Она в опейнике на цепи. Придешь — привяжешь цепь на кол. А лисята никуда не денутся от матери, — сказал, хитро улыбаясь, Шарып.

Этот жестокий подарок не нужен был Маврикию, но сыновья главного пастуха Кусайн и Ахмед стали шептать:

— Бери, бери, бери...

Заметя смущение Маврикия, Шарып сказал:

— Не нужно будет, отдай своим джигитам, молодой товарищ комиссар. — Потом перевел глаза на девушек и спросил: — Которая лучше? Говори, положу в другой мешок...

Лицо Маврикия зарделось алее безрукавок девушек. А они ничуть не смущались, будто было вполне нормальным, что одна из них может стать подарком, как лиса.

Неужели это правда, а не злая шутка? Неужели можно дарить людей?

Наскоро поблагодарив за обед и танцы, Маврикий выскочил на улицу.

Шарып вызвался проводить гостей до половины дороги. Ехали шагом. Рассказывая о нравах, Шарып, между прочим, сказал:

— Наш человек все сделает для хорошего человека. Лису — пожалуйста. Плясунью — бери. Пусть пляшет. Кусок мяса — половина тебе, половина мне — можно. Только наш человек не любит, когда у него из зубов вырывают весь кусок. Тогда плохо бывает... такому гостю. Очень плохо. Был — и нет его... — Сказав так, Шарып улыбнулся, и от этого лицо его стало еще шире, а прорези глаз тоньше нитки. — Люби нашего человека, как любит начальник выпаса Александр Викторович Востряков.

Яснее сказать было невозможно. Маврикий понял, в чем его подозревают, зачем ублажают и на что намекают. Кусаин и Ахмед тоже поняли, но не показали этого. Им хотелось как можно скорее приехать к себе и привязать к колу рыжую красавицу с пятью лисятами и вырыть для них нору.

IV

Петр Сильвестрович Капустин стал чаще бывать на Пресном выпасе. Его заметно беспокоило все, что здесь происходило. О Вострякове и его дружбе с Шарыпом он знал больше, чем рассказал ему о них Маврикий.

В предпоследний приезд Петр Сильвестрович доверительно сказал, что Востряков будет изъят и обыскан, и все, что конфискуют у него, додадут пастухам. А теперь выяснилось другое.

Другое состояло в том, что появившееся новое начальство из Омска задержало дело Вострякова. Новое начальство должно было объединить пункты по сбору разверстки — ссыпной зерновой, сенно-фуражный и мясопункт — в большую заготовительную контору. Капустин теперь становился подчиненным, ведающим только своим мясным пунктом, лишался права найма и увольнения.

— Меня очень удивило, — рассказывал Капустин, — что и этот князек Шарыпко Ногаев тоже берется под защиту. Шарыпко, видите ли, не угнетатель, а представитель угнетенного народа, и всякие притеснения Шарыпа Ногаева будут считаться оскорблением нации.

Капустин говорил о Шарыпе как о кровопийце своего народа. Как о хищном царьке царства в двадцать — двадцать пять верст окружностью. На страхе, невежестве, темноте, религии, на разжигании национальной нетерпимости ко всем не исповедующим ислам держится власть Шарыпа. Для него нет запретного, бесчестного, постыдного. Он подарил родную пятнадцатилетнюю дочь колчаковскому подпоручику за порку подозреваемых в неверности Шарыпу пастухов. Поручик потом передал дочь своему ординарцу, а тот при переброске эскадрона оставил ее отцу, и отец перевел свое детище в «приют».

«Приютом» назывались две комнаты в нижнем этаже дома Шарыпа, куда никто не имел права входить, кроме той самой пожилой женщины, которая правила домом. В «приюте» выращивались сироты или купленные, а то и похищенные красавицы, которых можно продать, сменять, подарить, дать во временное услужение.

— Как же возможно это в наши дни? — протестовал Маврикий. — Разве его нельзя наказать и сломать это все?..

— Пока невозможно, — говорит Капустин. — Никто не подтвердит обвинений. Ни жены, ни девушки, ни дочери, ни соседи. Действуют те же силы: страх, темнота, невежество и, конечно, плеть.

Петр Сильвестрович, видя, что его слова пугали юношу, сказал, успокаивая, что теперь Шарып сам страшится больше, чем страшит других.

— И если бы он не страшился тебя, дружище, то не дарил бы тебе лису с лисятами и не предлагал бы

тебе в услужение красавицу. Я, брат, все знаю, все слышу. Он видит в тебе человека из ЧК.

— Во мне? Из ЧК? — переспросил упавшим голосом Маврикий. — Как он глуп!

— Может быть... Только ты, дорогуша, не разубеждай его в этом, а наоборот. Ты получишь сегодня хорошее оружие. Главный пастух тоже получит для самообороны... А бараны, уведенные Шарыпом с Пресного выпаса, никуда не денутся. Пусть они нагуляют мясо, а осенью он их пригонит сам.

Капустин знал больше, чем говорил. Он знал какие-то тайны, которыми не имел права делиться, но все же сказал:

— Я надеялся, когда Вострякова... — подыскивал он слово, — переведут на другую работу, ты будешь исполнять его обязанности.

Маврикию очень льстила такая возможность. Ему очень хотелось быть начальником такого громадного выпаса. И он знал, что ему под силу такая работа, потому что с ним и за него все пастухи, которых он не обидит ничем, а даже постарается для них сделать еще больше, и за это сердечные люди, умеющие ценить даже улыбку, будут относиться еще лучше к Маврикию и не дадут пропасть ни одной корове, ни одному барану.

Вообще-то говоря, степь вовсе не так скучна. Живут же люди. Прожил же здесь половину своей жизни Петр Сильвестрович Капустин, женившись на родной сестре главного пастуха Манике, ставшей теперь Марией Ивановной.

Мог бы и он, Маврикий, построить в степи городской дом и тоже поселиться здесь. В соседней юрте есть девушка. Ее тоже зовут Манике. Она так быстро запоминает русские слова, что ее совершенно нетрудно обучить всему, что знает Маврикий. Она может стать такой же, как Мария Ивановна Капустина, как все русские женщины, только личико и глазки останутся теми же, какие рисует необыкновенный, удивительный художник Врубель...

Толлин, не очень веря в свою новую сказку, все же видел себя, хотя и смутно, Всеволодом Владимировичем Тихомировым — просветителем кулундинских степей. Он вооружит знаниями ставший таким близким незнакомый казахский народ.

Так хотелось поверить выдуманному, убедить себя в самом неожиданном... Но жизнь это жизнь, и она диктовала свое.

V

Приехавший в Груднино новый начальник именовался длинно и незапоминаемо — уполномоченный по уточнению возможностей слияния продовольственных пунктов в единую продовольственную заготовительную контору. Ему, уточняющему эти возможности, надлежало побывать и на Пресном выпасе. И когда приезд его был назначен, начальник выпаса Востряков сказал своему помощнику:

— Вот что, Зашеин, седлай своего недоноска и скачи к Ногаеву. Скажи, что завтра прибудет начальство. А нам, мол, дескать, его негде принять, так что объясни ему, что я прошу Шарыпа позволить принять товарища из Омска у него в доме. В долгу, мол, не останемся, и все такое...

Злым несся Маврикий к Ногаеву. Как всегда, его самочувствие передавалось коню. Нервничая, Маврикий, не замечая, дергал поводья. Огонек дважды споткнулся. Испугавшись какого-то зверька, рванув в сторону, он пошел боком, чуть не выбил Маврикия из седла.

И как он попал в услужение к этому преступному типу — Вострякову? Конечно, Петр Сильвестрович Капустин предполагал совсем другое, назначая его помощником на выпас. А теперь что же? Востряков сделал своего помощника денщиком, конным курьером, исполнителем своих спекулянтских поручений. Съезди туда и вручи лично важное письмо. Найди такого-то и передай ему эту маленькую посылочку с бездымным порохом для охоты. Петр Сильвестрович велел терпеть и запоминать, куда и зачем посылает его начальник выпаса. Наверно, он хочет накопить еще больше улик по нарушению по должности, чтобы скорей изгнать ненавистного Вострякова.

В молодом человеке, приближавшемся к восемнадцатилетию, все еще жил наивный мальчик Маврик, позволяющий нередко хитрым людям обманывать себя. Он не задумывался, какие поручения Вострякова ему приходилось выполнять.

Шарып уговорил Маврикия остаться у него.

— Смотри, где солнце, — предупреждал он. — А ночью в степи могут встретиться люди, которым нужен твой Огонек.

Пришлось остаться. В самом деле, скакать одному до полуночи, не так уж твердо зная дорогу на выпас, опасно. Днем есть какие-то приметы в степи. Хотя бы видишь направление. А ночью луна, идучи по небу неизвестно куда, может сбить с пути.

Для коня нашелся овес. Для всадника — кумыс и настоящий кислый хлеб, какого не пекут казахи. Вечером пришел один из многих сыновей Шарыпа с двумя легкими винчестерами и сказал:

— Пойдем дрофу бить. Завтра большой начальник придет.

Только в преysкурантах видел Маврикий винчестеры. Легкие, «прикладистые», нарядные пулевые ружья. И откуда только здесь, в степи, такие неожиданности?

— Тоже могу подарить, молодой комиссар, — слышится голос Шарыпа, видевшего, как очаровало ружье неподкупного Маврикия, которого нужно подкупить и тем самым обезопасить себя.

У Шарыпа есть проще способ избавиться от подозрительного парня. Степь спрячет тело. Покончить с ним не трудно. Трудно будет потом отвечать в ЧК. А ЧК обязательно вызовет и спросит Шарыпа. И обязательно найдет все. Тогда амба. Стенка. Каюк.

Настоящая большая охота на дроф южнее, но и здесь с хорошим ружьем не вернешься пустым. Лишь бы попасть. Дрофа взлетает с разбегу. Вот тут-то и целься.

— Вон, вон, вон... — указывает на бегущую птицу сын Шарыпа. — Бей!

Остановив Огонька, Маврикий, целясь, медленно ведет ствол за бегущей дрофой. Раздается выстрел. Дрофа взлетает.

— Теперь я, — крикнул сын Шарыпа, спешась, и, почти не целясь, убил взлетевшую дрофу. — Х-хы!

Поскакали за добычей. Там же показалась вторая. Снова первым стрелял Маврикий, и снова убил ее второй.

— Не надо как трясогузка хвостом, — наставлял Маврикия удачливый охотник. — Надо р-раз — и каюк.

Дроф нашли в ковыле сразу же и приторочили к седлам. Впервые Маврикий видел так близко пудовую

птицу дрофу. Издали она кажется немногим больше цесарки. А тут... Скольких обжор нужно посадить за стол, чтобы съесть такую громадину.

Третьей дрофы, которую хотелось второму сыну Шарыпа привезти матери, не оказалось. Вечерело, и дрофы, наверно, попрятались.

Довольный чужой удачей, Маврикий надеялся купить у Ногаева винчестер, и тогда можно будет реже думать о тете Кате, о Мильве, отдавая охоте все свободное время. И опять жизнь казалась радужнее, чем она была сегодня утром и днем. У всякого своя защита от бед и невзгод. Многих спасает фантазия. Напридумает себе человек чего нет и живет в несуществующем, верит в невозможное. И когда рушится придуманное им, он, погоревав, снова прибегает к помощи своего воображения, и оно снова защищает его от невзгод.

Однако не от всего могут защитить фантазия и воображение. От того, что произошло с Маврикием на второй день, не у кого было искать защиты.

VI

Страшный это был день...

С утра было все хорошо. Готовилась пышная встреча. Агафья и «воспитанницы» не выходили из кухни. Некоторым женам было особо поручено готовить национальные казахские кушанья.

Старший сын сидел на чердаке и смотрел в слуховое окно, не покажутся ли гости. Гости наконец показались, и он закричал, будто случился пожар.

Шарып вскочил на коня, и тот, боясь плети, как-то по-тараканьи побежал под тяжелой ношей. Поехал вслед за отцом и старший сын. Агафья выстроила разодетых «воспитанниц» и, для проверки, попросила спеть славословие гостям.

Вернувшийся из степи Маврикий все-таки добыл дрофу. И этим он как-то скрасил два вчерашних промаха. Отдав дрофу Агафье, он услышал топот и увидел верховых. Приближались ловко сидящие в седлах всадники. Не просто умеющие сидеть в седле, а обученные верховой езде кавалеристы. Ожидали двоих гостей, а прибывало семеро.

Интересно, что это за люди, каковы они. Маврикий стоял у дома и наблюдал, как приехавшие привязывали

на выстойку своих взмокших коней. Сейчас по всему было видно, что все они, как и Востряков, люди военные. Значит, таких теперь назначают на продовольственный фронт.

Впереди других рядом с Востряковым шел высокий, стройный, несомненно военный человек. Очень знакомая походка. Какая-то совсем не подходящая к лицу борода, которая, кажется, называется шотландской. И усы. Длинные, не гармонирующие с бородой. Маврикий, наверно, не стал бы так пристально вглядываться в лицо проходившего мимо него почти рядом, если бы не шелущающаяся белесыми чешуйками кожа на его лбу и щеках.

Узнав приезжего, Маврикий инстинктивно попятился за угол дома. Похолодел от испуга. Испуг был двойным. Сначала он испугался за себя, боясь быть узнанным. А потом испуг усложнился. Маврикий испугался, что в этом случае узнанный им Вахтеров мог сбежать или прикончить его. В таких случаях подобные типы действуют только так.

Маврикию хотелось скрыться, провалиться сквозь землю. И он ускакал бы не раздумывая, но его остановил Востряков:

— На выпасе никого... Дуй туда и начальствуй до моего возвращения.

— Слушаюсь,— поспешно и как никогда учтиво отозвался Маврикий. Затем не оглядываясь побежал к коповязи за Огоньком. И через две-три минуты ветер свистел в его ушах. Он мчался галопом. Чтобы не настигли. Не вернули. Ему нужно теперь хотя бы пять минут спокойного одиночества, и он решит, непременно решит, и правильно решит, как ему поступать дальше после такой встречи с бывшим учителем истории, сломавшим такую счастливую, такую светлую линию его жизни. И его ли только...

Никогда еще так не клокотало в нем озлобление. Оно, кажется, заполнило всего Толлина. Все его существо было занято единственной мыслью, одной заботой — не ушел бы зверь.

Внутри Толлина догорали остатки иллюзорного мира, начавшего рушиться еще в Мильве, когда стала очевидна ложь мятежников. Медленная и мучительная ломка продолжалась все это время. А теперь, после встречи с Вахтеровым рухнуло и сгорало все.

— Вы слышите, Владимир Ильич, больше нет того Маврикия Толлина, которого вы причисляли к барчам, господинчикам, плохо учившимся по плохим книжкам,— говорил громко, почти кричал Маврикий, говорил, словно веря, что восточный, дующий в спину ветер не даст пропасть его словам и перенесет их через Уральские горы в Москву, в Кремль.

Здесь можно снова улыбнуться и пожать плечами. Но что поделаешь? Мир состоит не из одних только очень серьезных людей. Для кого-то и ветер добрый передатчик.

Каким несказанно великолепным был этот день. Как хотелось кричать еще громче, чтобы слышали все. Как он благодарит жизнь за свое возвращение в мир, куда его восьмилетним мальчиком ввел Иван Макарович Бархатов.

Огонек чуть ли не обгонял ветер. Он знал самое короткое направление пути к Грудинину и бежал сам по себе.

В широкой степи не так часты встречи, однако при бездорожье люди передвигаются по одним и тем же путям-направлениям с погрешностями в несколько десятков сажен вправо или влево.

Впереди себя Маврикий увидел двух верховых. Он не хотел встречаться с ними. Не с ними именно, а вообще ему не нужны были никакие встречи, и он взял левее и поскакал в объезд озера, поросшего камышом, зная, что всадники проскачут коротким путем с другой стороны озера. Так и было. И очень хорошо, что было так, а не иначе. Потому что в одном из всадников Маврикий узнал Кузьму Севастьяновича Смолокурова, а в другом Чичина, кулака из Омшанихи.

Сначала это не показалось странным. Мало ли. Едут и едут к Шарыпу. И вся недолга. Он же знакомый Смолокурова. Когда-то дарил ему казачка Ивашку. А потом Маврикий задумался: ради чего такое сборище? Когда же в полуверсте проехали еще двое, из дальнего села Лапнино, куда гонял Маврикий с поручениями Вострякова, пришлось поставить все в связь и вспомнить тихий тюринский дом в Мильве, где враги собирались для невинных карточных игр, где бывали домашние концерты...

А что, если и теперь Вахтеров замышляет новое кровопролитие? Чичин... Смолокуров... Двое богатеев из

Лапнина. Разве не такие же, как они, подымались с оружием в руках на работников продовольственного фронта?

Думай, Маврикий. Взвешивай все. Не верь и благодушному Кузьме Севастьяновичу, так приласкавшему тебя. Зачем? Не просто же так. Не этот ли добрый человек выгнал Прошку, как ненужную опаскудившую собаку?

Беги скорее, милый конск Огонек. Маврикий должен встретиться с Петром Сильвестровичем Капустиным и рассказать ему все... Все, начиная с тюринского дома, ничего не утаивая. Теперь нечего и не от кого таить. Нужно говорить все и не бояться быть в ответе за то, в чем виновен. И он ответит. Он заплатит любой ценой, лишь бы живым был схвачен самый ненавистный, самый преступный человек, какого только можно представить.

Пятая глава

I

После встречи с Вахтеровым все настораживало Маврикия. В Адлеровке он увидел конный отряд в тридцать или немногим больше сабель. Отряд и отряд. Может быть, он находился здесь на учениях. Степь рядом. Есть где разгуляться кавалеристам. Но зачем, для чего они здесь? Не мятежники ли уж?..

В самую последнюю минуту перед встречей с Капустиным Маврикий побоялся открываться ему. Хороший. Справедливый. На правильных позициях. Это все верно. А так ли уж хорошо знает он Капустина? Конечно, нельзя подозревать каждого... Но если вспомнить Мильву... Какие были там солидные люди, а сколько раз они меняли свой цвет.

Нужно пойти на станцию. Там есть представитель ЧК, с ним нужно и говорить. И он пошел на станцию. На полдороге ему показалось, что представитель станционного ЧК не сможет самостоятельно решить сложного вопроса. Нужно ехать в Татарск. И только в Татарск. Но как? Необходима командировка. Он же не сам по себе. И наконец Маврикий находит причину. Ему, оказывается, нужны для работы очки. Разные глаза. А очки можно достать только в Татарске или даже в Омске.

— Поэтому,— попросил он Капустина,— вы мне дайте командировку и туда и сюда. А вдруг там нет...

И вот он в пути. Дорогой он раздумал заезжать в Татарск.

В Омске, большом губернском городе, его лучше поймут, и решится все сразу. Как ни горько, но говоря о Вахтерове, Маврикий должен будет рассказать и о себе, ничего не утаивая. Только правда и чистосердечное раскаяние очистят его совесть.

В Омской губернской чрезвычайной комиссии временно работал посланный из Москвы Василий Семенович Беляев. В прошлом формовщик из Нижнего Тагила, Василий Беляев еще в годы реакции показал себя находчивым и смелым подпольщиком. Здесь он по заданию ВЧК занимался оставленными в Сибири и засланными сюда агентами неких небезызвестных разведок и неразоружившимися врагами.

Ранним утром Маврикий явился в губчека и сказал, что приехал из Пресного выпаса по особо важному делу. Его сразу же направили к Беляеву.

В это утро Василий Семенович закончил последний разговор с Антонином Всесвятским, убежавшим в девятнадцатом году за рубеж и засланным оттуда в новой личности с группой белогвардейцев.

Войдя к Беляеву, Маврикий тотчас же начал, торопясь и заикаясь:

— Я работаю в Грудининском мясопункте. Вот мое командировочное удостоверение. Только я приехал сюда не за очками, а совсем по другому делу.

— Очень хорошо. Прошу садиться,— любезно пригласил Беляев.

— На Пресном выпасе, где я выполнял отдельные поручения моего начальника, я встретил скрывающегося преступника Вахтерова, о котором нельзя рассказать в двух словах, и я позволю попросить у вас разрешения, товарищ...

— Называйте меня Василием Семеновичем.

— Я прошу вас, Василий Семенович, разрешить рассказать мне с самого начала.

— Пожалуйста, пожалуйста...

— Только прошу вас, не подумайте, что я, рассказывая о преступлениях белогвардейца Вахтерова, хочу выгородить себя. Мне этого не нужно, и я тоже ничего не утаю и о себе.

— Я в этом совершенно уверен,— сказал Беляев.— Я с первого взгляда почувствовал, что имею дело с правдивым и смелым человеком.

Маврикий смутился и сказал:

— Насчет смелости вы ошибаетесь, Василий Семенович. У меня все еще вздрагивают коленки.

— А это нормально,— заметил совсем по-свойски Беляев.— ЧК же. А сколько о ней наплетено всякого. Послушаешь, что про чекистов болтают обыватели, так и сам себя в зеркале боишься.

Чуткий к юмору Маврикий оживился:

— У вас уральский выговор, Василий Семенович.

— Земляк земляка видит издали. Я тоже сразу, решил, что вы из наших мест, когда вы еще рта не раскрыли.

— Как же это так?

— Наши заводские ребята портянки чуть ли не до самого колена наматывают, и всегда край из сапога торчит. Вон он, милый.

Беляев указал на уголок портянки, торчащий из сапога Маврикия, и этим окончательно расположил его к себе.

— Простите. Я отвлек вас. Рассказывайте без всяких стеснений и церемоний.

— Благодарю вас, Василий Семенович. Тогда я начну с того, как у нас появился новый учитель истории...

Беляев кивнул головой, и Маврикий, почти не волнуясь, стал говорить:

— Этот тип появился на Мильвенском заводе, будто сойдя добрым другом юности с очень хороших страниц задушевной книги.

Маврикий говорил о Вахтерове всесторонне и обстоятельно, желая показать этим, что его увлеченность учителем истории вовсе не была легкомысленной, тем более что будущий главарь мятежа сумел обольстить и взрослых, опытных людей.

Когда рассказ подходил к мильвенскому мятежу, Василий Семенович дружески положил свою руку на руку Маврикия и сказал:

— Я боюсь, что не запомню всего. В соседней комнате никого. Может быть, лучше всего пройти туда и не торопясь написать об этом бандите все, что вам покажется необходимым. Как вы думаете?

— Я согласен.

— Тогда прошу в эту комнату. Здесь никого.

— Благодарю вас.

Оставшись один, Маврикий оглядел небольшую комнату. На стене над столом висел портрет Феликса Эдмундовича Дзержинского. Вглядываясь в его черты, Маврикий отчетливо припомнил, что видел его. Только не мог установить где. На другой стене был портрет Ленина. Тоже очень хороший портрет и очень похожий на Владимира Ильича, каким его видел Маврикий. Как странно, как невероятно странно, что он, Маврикий Толлин... Впрочем, сейчас не время думать о себе. Нужно собрать все силы, поднять все обиды и покончить с Вахтеровым.

Взяв лист бумаги, он не знал, как озаглавить, с чего начать. Подумав, он тщательно вывел: «ОБВИНЕНИЕ».

II

Написав такое заглавие, он нашел все остальное. О Вахтерове он говорил в третьем лице. Он говорил так, будто выступал с речью на сессии ревтрибунала, как тогда в Грудинине. Писалось легко. Слова сами приходили на перо. Словно ими была наполнена чернильница и в каждой капле чернил заключался страшный и жестокий, но справедливый яд мести.

Надеясь, что обвинение будет переписано набело, Маврикий не очень следил за стилистикой. Он рассказывал о покосах, о ночном выгоне коров, о длительной подготовке мятежа, о подрывной работе в деревне, о поджоге домов коммунистов, о натравливании населения на Советы. Теперь вспоминалось и то, что тогда не замечалось им. Но все это были мелочи по сравнению с самым тяжким. Маврикий писал:

«Он глумился над самым сокровенным. Притворяясь революционером, Вахтеров хотел прикрыть красным знаменем свою черную ложь, свои замыслы восстановления власти капиталистов и помещиков. Он, скрывая свою принадлежность к партии вралей, к партии аферистов и убийц, проповедовал то, что ненавидел, во что никогда не верил,— братство людей. Он продуманно назвал свору мятежников «революционной гвардией» и продуманно нацепил бандитам и обманутым им людям не какие-то, а красные повязки».

Как всегда, торопливость взяла в свои руки инициативу, и на пятой странице своего обвинения Маврикий писал все подряд: и про обманные деньги «мильвенки», и реквизиции за Камой под такие же, как и деньги, ничего не стоящие расписки. Зато, когда Маврикий писал о «стратегических камерах», тут и строки были ровны, и мысли строги.

«В самом названии «стратегические камеры временной изоляции» заключено все. И обман, и трусость. Обман и трусость — это его нутро, его способ действий».

Уже много исписано страниц. И Маврикию так хочется сказать о том, как надругался Вахтеров над ним, как он затуманил самое светлое, что было так дорого Толлину. Но как-то неудобно в большом обвинении, которое как бы идет от тысяч жителей Мильвы, говорить о себе. Кто он? Кто? Единичка среди тысяч людей. Одна жизнь в море смертей и жизней. И так ли уж много значат его переживания, обиды...

О себе он не будет писать в этом обвинении. Он должен быть благодарен за то, что ему предоставилась возможность обвинять. И он это делает не от себя, а от тех, кто сейчас стоит за ним там, в Мильве, кто лежит в ее земле, поплатясь за свою доверчивость.

Теперь остается сказать о встрече с Вахтеровым на Пресном выпасе. И, ничего не утверждая, предупредить о Чичине, Ногаеве, Смолокурове и о всех тех, которых видел там Маврикий. Конечно, Маврикий не может сказать наверняка, что это новый заговор, новая организация мятежа. Однако же он не может и утаить своих подозрений.

В комнату, где Маврикий начал переписывать свое обвинение, вошел Василий Семенович и сказал:

— Стоит ли? Переписка не всегда полезна. Конечно, она улучшает в смысле слога вылившееся на бумагу, но, улучшая слог, охлаждает жар слов.

Не столь радивый на всякого рода переписки, Маврикий был благодарен Василию Семеновичу.

— Конечно, конечно... Машинистка это сделает лучше. Лишнее всегда не поздно вычеркнуть.

— Это мы с вами сделаем до перепечатки.

Беляев взял листы и углубился в чтение.

Маврикий снова разглядывал портреты и снова думал о себе, о своей исковерканной жизни. Он думал о том, как хорошо, что ему предстоит признаться такому

вдумчивому и доброжелательному человеку. Вместе с тем ему так было жаль ронять себя в глазах Василия Семеновича.

Окончив чтение, Василий Семенович опять положил свою руку на руку Маврикия и сказал:

— Это очень здорово, друг мой. Принципиально, партийно.

— Правда, Василий Семенович?

— Ну а почему же не правда? Мы как-никак в ЧК, где не бросаются словами.

— Да, конечно,— тихо отозвался Маврикий, отвернувшись к окну.— Поэтому я сейчас расскажу о себе. Хотя мне и очень трудно разочаровать вас, Василий Семенович... Так трудно, что даже застревают слова.

— Ну а коли застревают, так нечего их насильно выдавливать оттуда и терзать себя.

— Нет, я должен... Я не имею права далее... Я прошу вас, выслушайте меня, Василий Семенович...

И Маврикий принялся, волнуясь и заикаясь, говорить о себе и наговаривать на себя. И чем больше рассказывал он, тем легче становилось ему.

Беляев с неослабевающим вниманием слушал его, смотрел ему в глаза. А в них испуг и радость. Беляев повидал за эти годы работы в ЧК множество глаз и умел читать по ним.

Когда Маврикий рассказал все, Беляев сказал:

— И очень хорошо, что все так счастливо кончилось.

— Кончилось? — переспросил Маврикий.

— Не началось же?

— И что же теперь будет мне?..

— А что должно быть? Может быть, ты не все рассказал?

— Нет, все...

— Тогда чего же ты хочешь?

— Наказания!

— Наказания? С удовольствием бы я это сделал для тебя, да нет основания... Впрочем, может быть, тебе пойдут навстречу в Мильве и накажут тебя. Только, я думаю, и там этого не сумеют сделать,— сказал Василий Семенович совсем дружески.— Не все ведь приходят к Советской власти по ковровой дорожке. Случается, что идут и длинными, трудными путями. Старое не так просто растает с нами.

Василий Семенович потрепал по плечу Маврикия и подал ему последний лист обвинения:

— Подпиши. Как-никак юридический документ. Да своей фамилией, а не дедовой...

Отправив Маврикия на вокзал, Василий Семенович вернулся к своим делам. Вызвав помощника, он сказал:

— Прочитайте это обвинение, написанное кровью пылкого сердца. Затем отдайте листы в перепечатку. Один экземпляр вручите Вахтерову. Ему будет что почитать напоследок... Второй экземпляр отправьте в Мильвенский городской комитет партии. Для сведения.

III

Теперь все смеялось, все улыбалось: дома, улицы, окна, двери и, конечно, солнце. Василий Семенович Беляев ничего не сказал особенного Маврикию, а между тем он будто подарил ему волшебный пароль и сделал для него открытыми все пути. И путь в Мильву. В милую Мильву, казавшуюся еще так недавно потерянной навсегда.

Не помня себя и не заметив, кажется, дороги из Омска в Грудиино, Маврикий встретил на станции мильвенского техника, которого знал по имени и фамилии, но с которым не был знаком. Он подошел к нему и заговорил первый:

— Здравствуйте, Сережа Бабушкин!

— Здравствуй, Маврикий Толлин! Значит, не зря говорили, что тебя видели в Грудинине.

— Не зря, значит...

Малознакомые люди из одного города, встретившись далеко от него, оказываются чуть ли не родными.

Сережа Бабушкин рассказал Маврикию о тетке, о матери, сестре. Все живы, здоровы. Было сказано, что Ильюша и Санчик ждут Маврикия с нетерпением. Оказывается, друг Маврикия — Виктор Гоголев, так звавшийся его за границу, одумался и вернулся с Дальнего Востока в Мильву. И не просто вернулся, а еще вступил в комсомол. И этому никто не удивляется.

Никто не удивляется и тому, что слизень по фамилии Сухарикиев тоже вернулся в Мильву и руководит хоровым кружком в клубе металлистов.

Так чего же, спрашивается, опасался он, Маврикий Толлин?

О Лере Тихомировой Сережа Бабушкин сообщил мельком и вскользь. Оказывается, у них снова бывает Воля Пламенев, и очень похоже, что он... Что он ее же-
лих.

И пусть. Ей уже пора.

Рассказать о Мильве Бабушкин мог бы еще и еще, но Маврикий очень спешил. Он еще не виделся с Огоньком. Земляки условились встретиться на складе запасных частей, куда и приехал Бабушкин, сопровождавший очередные вагоны из Мильвы. А Маврикий отправился к себе, где оставался конь под надзором Сени. Огонек, услышав голос Маврикия, заржал. А Сеня выпустил его из пригончика, и конь подбежал к хозяину.

Огонек терся мордой о плечо Маврикия. Ржал. Пританцовывал. И наконец, начал валяться с боку на бок.

И чем больше выражал радость Огонек, тем тяжелее было думать Маврикию, как поступить с конем перед отъездом. Стараясь уйти от этих мыслей, он пошел к Петру Сильвестровичу. Нужно же было узнать о Вахтерове.

Капустин сказал, что Вахтеров с выпаса не вернулся. И не вернулся никто из тех, кто в тот день приехал на сборище к Шарыпу Ногаеву.

Из разговора с Капустиным нетрудно было понять, что ему известно было о сборище у Ногаева за несколько дней. И по всему видно, что Маврикий не первый открыватель вахтеровского заговора.

Однако и Капустин не был первым, кто раскрыл замышляемое злодейство.

Петр Сильвестрович Капустин не знал, что грудининский священник отец Георгий, оскорбленный визитом к нему Вахтерова, первым заявил начальнику милиции о гнусном предложении. Оказывается, Вахтеров, твердо веря, что всякий поп — контра, пришел к отцу Георгию и без особых церемоний предложил ему войти в штаб межволостного заговора, а также назвать фамилии тех, на кого можно опереться. Ошарашенный священник обещал подумать и отправился в милицию.

Третьим, кто помог обнаружить злодеев, был главный пастух Пресного выпаса. Помог и бывший председатель комитета бедноты в Омшанихе раскрыть кулацкий заговор. Так собралось немало сведений о назревающих кровавых событиях.

Вахтерова и его сподвижников арестовали до приезда Толлина в Омск. Дом Шарыпа был окружен ночью тем самым конным отрядом, который видел Маврикий в Адлеровке. Об этом вдолге узнает Толлин. И не огорчится, а, наоборот, будет рад, что наступило такое время, когда невозможны заговоры, мятежи, волнения, потому что сам народ, большинство людей хватают врага за руку.

IV

В Грудинине Маврикия уже ничто не задерживало, кроме Огонька. Везти коня, когда такое затруднение с вагонами, — невозможно. Невозможно и отправиться на нем в Мильву. И даже если б Маврикий сумел преодолеть на нем такое расстояние... А что потом? Где он будет находиться? Чем его кормить в Мильве? А если будет где и будет чем — так не превращаться же в Якова Евсеевича Кумынина? Здесь конь — это ноги, а там — это обуза.

Это все верно. Но разве возможно оставить здесь такого верного друга? Даже с собакой трудно расставаться, а ведь это же лошадь. Конь. С такими умными глазами. С таким удивительным слухом. С такой способностью понимать слова, настроение... Но не оставаться же ради Огонька здесь, не лишать же себя Мильвы? Нужно же здраво смотреть на неизбежное. Трезво. Серьезно.

Сказав себе так, Маврикий решил Огонька продать. Потоскует конь, погрустит Маврикий, а потом успокоится.

Узнав о таком решении Маврикия, хозяйский мальчик Сеня осунулся на глазах. Он не представлял, как может не быть Огонька. А нужно было не только представить, но и увидеть, как его возьмут за повод и уведут со двора.

Пронюхав об отъезде Маврикия и о продаже Огонька, первым заявился Прошка Курочкин. Бывший муж Фисы.

— Здорово, писарек! — сказал он. — А я женился на настоящей. Одних годов со мной девах. И румянцу много. Шея даже красная. Любит. Из рук выпустить боится. Не то что та. Но и она тоже обкрутила вокруг своих костей одного, Царевичем величает. Из Ляпокурова он. Из конторских людей.

У Маврикия ревниво защемило сердце, чего-то было жаль, чего-то стыдно, но раскаиваться не хотелось.

Прохор рассказал, как он разделался с Кузькой Смолокуровым, то есть со своим тестем Кузьмой Севастьяновичем.

— Он мне за Фиску все отступное полностью выдал до рыбки, до горсти, до курицы. Только гусака зажил. Сдох у него гусак. А мне какое дело? Отдай. А он опять меня пинком. Ах так, думаю, я напряду тебе, язви тебя. И в волость. А в волости обсказал, как на Щучьем острове они, кулацкие хари, винтовки, пулеметы салом в ящиках да бочках заливали да в воде в камышах прятали. От меня тогда не таились они. Так я до последнего ящика, до последней бочки выискал и показал. Все добыли в камышах. А его в Омск вместе с Шарыпкой. Одной варовиной вязаны. Я их всех на чистую воду вытянул. А сам, наверно, теперь в партию запишусь. Мне что? Хуже не будет. Я и в партии могу состоять... Я ведь не то что ты — неизвестно кто. Хорошо, что ушел от него. А то бы тоже запутался... Так сколь ты, писарек, за Огонька хочешь?

— Мне ничего не нужно,— ответил Маврик, открывая калитку.— И вообще тебе лучше уйти отсюда.. Огонька я не продам.

Обескураженный и трусоватый Прохор вышел прежде за ворота, а за воротами сказал:

— Контра! И до тебя доберутся в Омске...

Несказанно радовался Сеня. Он уже готовился к тому, что кто-то купит рыженького конечка. Кто-то, но не Прошка Курочкин.

На мясопункте был получен полный расчет с неожиданными добавками пшеницей. Оказывается, в губпродкоме спохватились, что продовольственные работники почти ничего не получали за эти годы, решили уплатить им за прошлое. Натурой.

Маврикий получил порядочно зерна и с помощью Петра Сильвестровича Капустина превратил пшеницу в продукты, наиболее легко перевозимые, и вещи, которые понадобятся и Маврикию и его семье.

Нужно было не тянуть с Огоньком. Петр Сильвестрович предложил:

— Я куплю твоего Огонька для внука.— Он назвал цену втрое бóльшую, чем было отдано Смолокурову.

— Не стоит же он этого, Огонек, Петр Сильвестрович...

— Мне лучше знать, что стоит он. Я никогда не передавал лишнего.

Теперь у Маврикия оказался огромный пшеничный капитал. И он долго не мог уснуть, прикидывая, что еще можно выменять на базаре и увезти в Мильву. Можно было купить и охотничье двустольное легкое ружье. И велосипед. В Грудиного приезжали люди из далеких губерний выменивать на хлеб самые неожиданные вещи. Появлялись и велосипеды. Здесь они, в степном краю, что твой конь.

Неплохо, если Огонек оставит по себе память, став хорошим дуксовским велосипедом. Очень неплохо. Думая о велосипеде, о том, как он разберет его и упакует, Маврик услышал беспокойство в конюшне. А вдруг Прощка, которого следовало бояться, пробрался к Огоньку?

Маврикий вскочил, вылез через окно и подбежал к конюшне. Замер. Прислушался. Он услышал:

— Огонек, я тебя так люблю, Огонек. И ты любишь меня. Не сердись, Огонек, что у нас нет пшеницы и отцу не на что купить тебя. Когда б я был постарше, Огонек, я бы нанялся в работники к богатому мужику и получил бы задаток и выкупил бы тебя у твоего хорошего хозяина. Только твой хороший хозяин не знает, что капустинский внук уросливый парнишка и он будет мучить тебя. И мне будет так жалко тебя, мой миленький конечек Огонечек.

Невозможно сказать, кто больше страдал сейчас, — Сеньша ли, произносивший слова прощания с Огоньком, или Маврикий, слушающий Сеню.

Перед глазами предстал пермский пустырь за богадельней, странствующий балаган и Арлекин, которого обнимает за шею восьмилетний Маврикий и говорит трогательные слова прощания ласковому пони, которого продает уезжающий хозяин балагана.

Почти совсем не спал в эту ночь Маврикий. Уснувши поздно, встал не рано. Пришел уже Петр Сильвестрович.

Маврикий протер глаза. Наскоро надел гимнастерку. Потом подошел к Капустину.

— Я не могу, я не имею права, оказывается, продать мою лошадь.— Начав так, Маврикий взволнованно

рассказал Капустину, как он, восьмилетним мальчиком, любил маленького попи Арлекина и как этого Арлекина купил старик, торгующий вразвоз пареными грушами.

И Петр Сильвестрович сказал:

— В таком разе и я не имею права купить этого коня, которому суждено осчастливить стольких людей и.... меня.

Нетрудно представить, как, совершенно обезумев от радости, Сеня поочередно обнимал то Маврикия, то Огонька.

Не за одного Сеню радовался Капустин, но и за большое человеческое сердце, за его неистребимую потребность заботиться о людях, делать для них хорошее.

Едва ли Сеня был счастливее, получая коня, нежели Маврикий, отдавая его.

Было принесено и седло.

— Тоже дарю,— сказал Маврикий.— При свидетелях...

...На другой день из Грудинина уехал малопонятный молодой человек, оставивший по себе хорошую память.

Шестая глава

1

Екатерина Матвеевна встретила племянника в Перми. Пробыв там с ним несколько дней, экипировав его, подготовив к встрече с Мильвой, чтобы волнений и неожиданностей было как можно меньше, она, наконец, объявила:

— Теперь можно на пароход и вверх по матушке по Каме...

А наутро...

...наутро как назойливый призрак на камском берегу стояла Буланиха. Ее отчетливо различил Маврикий с палубы парохода и спросил:

— Тетя Катя, неужели жива Буланиха?

— Чему же ты удивляешься? Лошади долго живут.

— Да, конечно... Моему Огоньку только пять лет. Совсем молодая лошадь. Можно и свидеться... Можно специально съездить на встречу.

— Ты это обязательно сделаешь. Разве там у тебя один Огонек? Сколько там у тебя и других хороших и больших «огней».

— Да, тетя Катя. Я думаю, что Сибирь вырастила меня. Мне кажется, что там я прожил долго-долго. Лет двадцать... Так мне кажется, наверно, потому, что прожитое там время было каким-то очень густым.

Пароход причаливает к пристани. На берегу стоит Яков Евсеевич Кумынин. А рядом с ним, помахивая хвостом и слегка поскуливая, сидит второй призрак из детства, милая собака Мальчик. Наверно, не просто так появились здесь и Мальчик, и Буланиха, не говоря уже о Якове Евсеевиче. Наверно, Екатерине Матвеевне хотелось напомнить тот давний приезд из Перми, когда Маврикий так рвался в родную Мильву. Те же чувства владеют им и сейчас. Жизнь возвращает ему казавшееся потерянным.

Он не садится в коробок. Лошадь заметно стара. Как-то неучтиво к ее годам заставляя везти такого здоровенного... во всяком случае, не маленького парня. Достаточно того, что едет тетя Катя. Яков Евсеевич идет возле коробка пешком. Он теперь сознательный-сознательный во всех отношениях, и ему кажется, что был таким всегда. Эта забывчивость так очевидна для Маврикия. И он, не зная того, накапливает в себе, своей памяти речь, которую он произнесет спустя много и очень много лет.

Милый песик Мальчик, проживший эти трудные годы у Кумыниных, попрizaбыл Маврикия. Может быть, и нет, но ему приходилось делать вид, что, кроме Якова Евсеевича, у него никого не было и нет.

На перевале Мертвой горы, как в тот год, когда Маврикию было восемь лет, на этом же самом месте, этой же Буланихе Яков Евсеевич Кумынин так же говорит «тпру», и открывается панорама милой Мильвы и огромного, хотя и не столь большого, пруда, каким он казался в детстве.

Не все, но уже многие трубы дымят. Яков Евсеевич Кумынин, указывая кнутом на завод, как бы не Маврикию, а воображаемому собранию не говорит, а докладывает:

— После разгрома проклятой и ненавистой колчакщины мы, передовые рабочие Мильвенского завода, окромя возрождения старых цехов, запустили на три

смены новый цех запасных частей для сельскохозяйственных машин, предполагая изготавливать не в далеком, а в скором времени и самые машины...

— Вы в партии, Яков Евсеевич?

— Смешно довольно... А где мне быть, когда я... Ну, да ты сам знаешь, как я шел и как я пришел в свою партию.

Об этом спустя много лет, не называя фамилии Кумынина, в своей речи, посвященной великой дате, тоже скажет секретарь краевого комитета КПСС товарищ Толлин М. А. Но это когда еще будет. Для этого нужно столько прожить и пережить. Пока же будущий секретарь краевого комитета, даже не комсомолец, стоит на перевале горы и кричит:

— Здравствуй, Мильва... Родная Мильва!

Он кричит так громко, что Мальчик, вспоминая озорные годы своего и Маврикова детства, радостно лает с Мертвой горы на весь белый свет.

Под гору можно сесть в коробок. Ходок сам катится. Уклон пойдет до самого пруда. И Маврикий садится в коробок, надев свою новую синюю, длинную, почти кавалерийскую шинель, сшитую перед отъездом. Вообще он решил ходить в полувоенном. Не пиджак же надевать ему. Тогда потребуется рубашка с удавкой. Это будет слишком по-приказчиьи. У него хорошая гимнастерка. Умеренные галифе. Легкие хромовые сапоги. Настоящие, хорошего покроя, московские сапоги. Усевшись в коробке, он одну ногу в хромовом сапоге оставил за коробком. Не потому, что в коробке тесно. Дело в том, что Маврикий Андреевич еще не перестал быть немножечко хвастливым человечком. Это пройдет, а пока что есть, то есть.

Встреча с Мильвой радует его. А встреча с мильвенцами не то что пугает... Бояться нечего... Встреча с мильвенцами настораживает его.

Разумеется, сначала он увиделся с матерью. Она, подготовленная, видимо, теткой, ни о чем не спрашивала, только плакала, и целовала, да шептала: «Счастье ты мое», «Надежда ты моя». А сестрица Ириша сначала робела, а потом, как пришитая, стояла возле него. Еще бы. Единственный старший брат. В нем отчасти заключен и потерявшийся отец. Никто не говорил — погибший или сбежавший, а — потерявшийся, пропавший без вести. А вдруг явится? Являются же...

В первый же день приезда мать вынула из сундука фотографический аппарат фирмы «Ернеман» и положила его на стол со всеми принадлежностями, которые были давным-давно куплены Герасимом Петровичем. Тут было все: и потерявшие чувствительность пластинки, и бром-серебряная бумага, и пробирочки с проявителем и фиксажем-виражем. И красный матерчатый колпак на керосиновую лампу. Все, вплоть до ванночек.

Мать думала, что сын обрадуется аппарату. А он не обрадовался. Аппарат напомнил ему те годы, когда он так страстно хотел хотя бы подержать его в руках. Посмотреть, как закрывается затвор. Как уменьшается и увеличивается диафрагма, полюбоваться отражением на матовом стекле. А его лишили этой радости. Аппарат лежал в сундуке, стяжая не радость, а ненависть к себе.

Маврикий сказал матери:

— Отдай, продай, подари... Не хочется мне, мама, даже смотреть на него...

Аппарат снова оказался в сундуке. Ведь подрастает Ириночка. Может быть, пригодится ей.

Матери казалось, что выросший сын будет дальше от нее, а он стал ближе. Только очень странно было чувствовать, что у него усы.

Начались встречи. Как всегда, в жизни Маврикия случалось то, чего не хотелось. Попадались на глаза те, с кем можно бы и не видеться.

Встретился Модестик. Тот самый сын ветеринарного врача, который никуда, по совету папочки, до поры до времени не примыкал. А теперь примкнул. Вступил в комсомол. Потому что уже все ясно. Советская власть не только удержится, но и будет жить. Ее признают одна за другой державы. Как же не признать Модестику и его папе? И войн не предвидится. Интервенция провалилась. А состоя в комсомоле, легче поступить учиться. Хотя и не сын рабочего и не сын крестьянина, но член РКСМ. Одно другого стоит.

Модестик стоял на перекрестке, видимо, кого-то поджидая или просто так — не встретится ли кто? На Модестике была синяя сатиновая блуза без пояса. На голове — кепка. И вообще вид у Модестика был довольно пролетарский.

Завидев Маврикия, он крикнул:

— Здорово! Нашелся, значит. Я знал, что приедешь... Ничего, не робей. Конечно, жаль, что ты сбивался с пути.

В ответ на это Маврикий посмотрел на Модестика и, будто не узнавая или видя его впервые, прошел мимо.

Они разошлись, понимая, что больше встречаться им незначит. Маврикий не прошел и двух кварталов, как повстречался второй, ненавистнейший из ненавистнейших. Как будто кто-то нарочно подослал его на встречу. Это был Сухариков.

Он теперь, отрастив длинные волосы, еще больше походил на рано состарившуюся девку. Длинные волосы и рубаху на манер толстовки носил он потому, что принадлежал к людям искусства. Он руководил хором кружком в клубе металлистов.

Увидев Маврикия, Сухариков и в эту, третью встречу заметно перетрусил, а потом, после каких-то первых «нащупывающих слов», понял, что камня за пазухой Толлин против него не носит, стал лепетать нечто примиряющее:

— Что сделаешь, мы с тобой ошибались...

Сухариков вовсе не собирался этими словами взбесить Толлина.

— Мы? Когда ты говоришь «мы», то в это местоимение множественного числа не включай меня. Ты и я ошибались по-разному. Запомни это раз и навсегда. Ты и я — разные местоимения единственного числа. Иди. А то, не ровен час, от тебя опять будет пахнуть...

Сухариков быстренько свернул за угол, поняв, что ему лучше всего руководить хором кружком где-то в другом городе.

III

Предстояла встреча с Ильюшей Киршбаумом и Санчиком Денисовым. К ним Маврикий и шел. Они назначили встречу там, где на лужке был когда-то парход и где теперь стояла беседка, увитая плющом.

Маврикий очень боялся, что друзья начнут жалеть его или, хуже того, вызовутся в покровители, защитники. А ему не нужно никаких защит. Хватит, да и много ли знают они о нем?

Когда Маврикий пришел в беседку, они уже были там. Обнялись сразу трое. И первым заговорил Иль:

— Как бы мы ни начали разговор, Мавр, куда бы ни повернули его, все равно скажем не то, поэтому лучше сядем и помолчим и поглядим друг на друга.

И они принялись молчать и разглядывать один другого после такой долгой разлуки. Ильюша брил уже не только усы, но и бороду. У Санчика едва пробивался пушок на верхней губе. И тот и другой были в сапогах и в гимнастерках. Помолчав, Маврикий предложил:

— Говори, Иль. Я не обижусь.

— А мне нечем и не за что обидеть тебя, Мавр. Клянусь самым дорогим. И когда я думал о тебе, особенно в этом году, то я пришел к убеждению, что и я мог бы оказаться таким же обманутым, как и ты.

— И я мог бы,— сказал Санчик.

— Ребята! Вы щадите меня?

— Что ты, Мавр? Мы ищем у тебя прощения за то, что не разуверили тогда тебя... Но что мы могли, если более сильные люди разводили руками. Да зачем об этом... Об этом по крайней мере не надо говорить лет пять... Сейчас пойдем к нам. Тебя очень хотят видеть отец и мать.

— А Фанечка?

— Она неделю тому назад вышла замуж и уехала в Кронштадт.

— За...

— Ты угадал? За! За кого же еще?.. Какой она стала красивой. Про сестру так не говорят. Но есть же объективное измерение...

— А как Лера? Она еще не...

— Не вышла. Я видел ее, когда провожал Фаню. Лера несколько раз спрашивала, когда ты наконец приедешь. Она очень хочет видеть тебя.

— Спасибо, дорогой Иль. Я тоже очень хотел бы увидеть ее.

Разговаривая, молодые люди дошли до медведя. Он по-прежнему шел по своему гранитному постаменту и нес на себе якорь. Старинный четырехлапый якорь.

Знакомый чугунный зверь очень развеселил Маврикия.

— Вы знаете, ребята,— сказал он,— теперь наш

горбатый медведь никого и ничего не олицетворяет. Нужно со дна пруда достать старую корону и установить ее у него на спине вместо этого дурацкого якоря. К памятникам старины мы, ребята, должны относиться с уважением.

— Я согласен с тобой, Мавр. Как хорошо, что мы ее утопили тогда и она сохранилась. Ее никто не переплавил, не перековал.

И Санчику понравилась затея восстановить медведя в прежнем виде.

— Ведь ему больше чем двести лет. Только смыть надо краску и оставить его таким, как был.

Порешив с медведем, три друга шли дальше через плотину в Замильеве. Киришаумы жили в заводском доме. Григорий Савельевич был по-прежнему коммерческим директором завода. Анна Семеновна заведовала типографией, некогда принадлежавшей Халдееву, расширенной теперь до неузнаваемости.

Что-то скажет Григорий Савельевич? Впрочем, что бы ни сказал он, у него особые права. Он не чужой дядька. Маврик у него сживал и на коленях.

Киришаумы встретили Маврикия, как самого близкого и родного человека. Ни Григорий Савельевич, ни Анна Семеновна старательно не касались «острых углов».

Не касался их и Артемий Гаврилович Кулемин, приглашенный в этот воскресный день на обед к Киришаумам.

— Хоть бы вы что-то сказали обо мне,— попросил Маврикий Кулемина.

А он на это совсем просто сказал:

— Да мы с тобой не в бухгалтерии, чтобы дебиты-кредиты, активы-пассивы выводить. И не в гимназии, чтобы отметки ставить.

— Так что же, Артемий Гаврилович,— слегка иронизируя, спросил Маврикий,— я и должен жить не оцененный?

Кулемин на это ответил:

— Люди оценят. Твоя жизнь у всех на виду началась. На виду она и продолжится... Не бойся. Всякое лыко в своей строке будет. Самое главное, что ты жив. А еще главное, что начал понимать, откуда солнышко восходит и куда реки текут. А все остальное поймется и образует.

Постепенно наступала такая нужная, такая долгожданная ясность. Пусть не во всем, но во многом. Коварная мнительность все еще давала себя знать, но приехал Валерий Всеволодович и рассеял все окончательно. Он снова привез сюда на лето сына. Узнав о возвращении Маврикия, нашел его, появившись в доме Тюриных, отданном теперь детям. Теперь им заведовала мать Маврикия.

Вчера весь вечер Валерий Всеволодович думал о Толлине. Да и сегодня утром он был занят мыслями о его возвращении. Валерий Всеволодович всегда верил и говорил, что в человеке в конце концов побеждает разумное. И если человек честен, внутренне правдив, нравственно чист, если человек желает добра другим людям — он неизбежно придет к Ленину. К ленинскому учению. К коммунизму. И как бы ни заблуждался он, как бы он ни плутал и как бы ни ошибался, он станет на единственно верный путь научного коммунизма. И это относится не только к Маврикию и его сверстникам, но и к зрелым и даже пожилым людям. Например, к благороднейшему человеку, его отцу, к генералу Тихомирову. К открытому и превосходному человеку инженеру Гоголеву. И они вовсе не исключение. Таких можно назвать не так мало. И не в одной только среде интеллигенции, но и в других слоях населения, особенно на Западе.

Стройная и назидательная речь готовилась сказаться, да не сказалась при встрече с Маврикием. Все уместилось в одну фразу:

— Иначе и не могло быть, Барклай!

— Здравствуйте и простите меня, Валерий Всеволодович,— сказал Маврикий, бросившись навстречу Тихомирову.— Я вел себя так вызывающе и самоуверенно... И этим сделал вам больно.

— И в то же время ты спас мне жизнь. И не одному мне. Я ничего не склонен преуменьшать, приглушать в педагогических, тактических или каких-то других воспитательных целях. Я давно ждал случая лично поблагодарить тебя, Мавриссимо.

И он обнял Маврикия.

— Будучи дворянином по рождению, я всегда делал попытки стать джентльменом,— шутил Валерий

Всеволодович, вручая Маврикию продолговатый сверток.— Имею честь презентовать вам вот это нечто загадочное.

Вскоре «нечто загадочное» оказалось охотничьим ружьем. Ружье, ружейные принадлежности, патроны и собачий ошейник были уложены в компактный футляр.

— Вы знаете, Валерий Всеволодович, я так мечтал, я так хотел... Большое вам спасибо. Я так рад.

— А я вдвойне. И за тебя и за себя. Почему же вы, сударь, не появляетесь у нас? Наши дамы хотят вас видеть.

— Я непременно приду к вам, как только приду в себя.

— А что вам, Маврицио-Мавренти, мешает это сделать?

— Прошное, Валерий Всеволодович. Помните наш разговор на лодке, на пруду?.. И другие наши разговоры...

— Помню. Ну и что?

— Как что? Это же возмутительные, ужасные разговоры.

— Несомненно. Но если теперь ты так оцениваешь их, то стоит ли думать о них? Конечно,— сказал, раздумывая, Валерий Всеволодович,— чтобы двигаться дальше, человек время от времени должен оглядываться в прожитое. Но если человек будет смотреть только назад, как он пойдет вперед?.. А ведь тебе, де Толлино, как никому другому, нужно двигаться дальше и дальше,— уже совсем серьезно и, кажется, строго стал говорить Валерий Всеволодович.— Тебе немало дано, и от тебя люди вправе многого ожидать.

Лицо Маврикия преобразилось. Засветились глаза. Зазвенел голос.

— Милый и дорогой Валерий Всеволодович, вы нашли сегодня очень нужные мне слова, которые так долго я искал. Хотите стакан сметаны с сахарным песком? Не стесняйтесь, у нас ее много.

— С величайшим удовольствием,— ответил Валерий Всеволодович.— Я безумно люблю сметану с сахарным песком.

— И я...

Валерию Всеволодовичу стоило немалых усилий сохранить серьезное выражение лица.

Самым дорогим человеком для Маврикия стал теперь Валерий Всеволодович. На другой же день Толлин отправился к Тихомировым. Невольно вспомнился первый визит в этот дом.

Гостиная была все той же. И все было так же. Только бесконечно близкий Всеволод Владимирович уже не сидел за столом, а смотрел на вошедшего со стены, в резной темной раме, украшенной бессмертниками. Он не выглядел только портретом. Поэтому Маврикий неслышно сказал ему:

— Здравствуйте, Всеволод Владимирович.

Послышался голос Леры:

— Кажется, пришел наконец зазнавшийся Маврикий Андреевич...

На это последовал ответ:

— Зазнавшегося Маврикия Андреевича здесь нет. А покорный и всегда верный своей королеве паж носит ей на этот раз пеший визит...

— Долго же собирался паж... Столько дней он заставлял ждать ее величество,— говорила, входя, Лера, а войдя, она всплеснула руками.— Вырос! Наконец-то! А ну, станем спинами.

И они стали спинами друг к другу. Лера положила руку на головы ладонью вниз и обрадованно сказала:

— Выше! Честное слово, выше! Почти на сантиметр.

— И то хорошо. Лишь бы не ниже.

Они откровенно рассматривали друг друга. Для Маврикия Лера всегда была самой красивой, и он, всегда помня ее, как-то не допускал, что она может стать еще красивее. А она стала.

Вошла бабушка. Было спрошено и отвечено все необходимое. А потом бабушка сказала:

— Такой чудесный день...

Лера и Маврикий, не сговариваясь, вышли на улицу. Как только они очутились на широком тракте, обсаженном березами, ныне ставшем проспектом Коммунаров, Маврикий сказал:

— Лера, я всегда восхищался тобой и никогда не думал, что ты можешь быть красивее самой себя.

— Ах, как жаль, что ты сказал это мне. Теперь уже невозможно восхищаться вслух, говорить, каким

красавцем стал ты, потому что я буду походить на ту самую кукушку, которая хвалит некоего петуха...

Послышались голоса детей. Маврикий предложил отправиться за город. И они пошли через всю Мильву на виду у всех.

Того и другого знали на каждой улице. Языки, любящие опережать события, уже назвали их женихом и невестой. К этому находилось немало доводов из прошлого. В Мильве все у всех на глазах.

Молва была права только отчасти.

— Маврик,—ласково начала Лера,—родной мой, за время разлуки ты стал еще ближе всем нам, а для меня даже ближе моих братьев. Твое отношение ко мне так дорого, что я чувствую себя обязанной говорить тебе все. Скажи, Мавруша, ты представляешь меня твоей женой?

— Нет, Лера,—ответил он.

— Почему? Разве ты разлюбил меня?

— Нет, я не разлюблю тебя, наверно, никогда.

— Так почему же ты не представляешь, мой мальчик, меня твоей женой?

— Потому что я не представляю себя твоим мужем.

— Как же это?

— Не знаю, Лера. Ты такая уже... волшебная. А я еще почти что не брился.

— Бог мой! Да ты вовсе не моложе меня. Когда ты только успел перерасти меня?

— Ну зачем же ты так? Я могу поверить, Валерия. Со мной уже больше нельзя безнаказанно шутить.

— И со мной тоже, Мавруша. Мне ведь двадцать второй...

— Ты любишь Пламенева, Лера?

— Да, Маврикий.

— Когда ты выйдешь за него замуж?

— После того, как ты посоветуешь мне это сделать.

— Не надо смеяться надо мной, Лера. Я этого не заслужил.

— Тогда проверь, смеюсь ли я.

— А что, если я не посоветую?

— Так и будет. Ты просто недостаточно хорошо знаешь меня.

— Зато ты, Лера, очень хорошо знаешь меня. И знаешь, что я могу посоветовать тебе только лучшее для тебя.

Они незаметно дошли до памятника борцам за революцию. На этом месте белые жгли вырытых из братской могилы. Здесь их пепел. Здесь и пепел Сонечки Краснобаевой.

Маврикий поклонился памятнику.

— Ты знаешь, Лера, Сонечке Краснобаевой так хотелось, чтобы ты вышла замуж за Волю Пламенева...

— Я знаю об этом...

— Пусть ее желание сбудется. Она говорила, что Воля Пламенев будет очень хорошим и верным мужем. Я так же думаю, Валерия. Только ты не приглашай меня на свою свадьбу. Мне все-таки не будет сладко, когда вам будут кричать «горько-горько»...

VI

Три друга, Иль, Мавр и Александр, стали снова неразлучной тройкой. И особенно сблизились они после поступления Толлина на завод. Григорий Савельевич посоветовал Маврикию работать в цехе, имеющем к нему некоторое отношение. Маврикия определили на тяжелый пресс в цех запасных частей для уборочных машин. Сначала он постоял подручным, а вскоре его допустили к самостоятельной работе, которая хотя была и несложной, но требовала немало сноровки.

Недалеко то время, когда цех отпочкуется от старого завода и станет новым заводом уборочных машин.

В заводе возникли курсы, названные для краткости двумя буквами «ЭЭ», что значит — «экзамены экстерном». На курсы поступил и Маврикий. Хотя и не так легко после рабочего дня садиться за парту. Но...

— Надо же,—сказал Иль,—нам с тобой закончить среднее образование, а Санчику подготовиться к поступлению на рабфак.

И друзья начали учиться.

Близился день приема Маврикия в комсомол. Какая уйма переживаний, страхов и сомнений. Как он готовился, сколько перечитал! Знал чуть не наизусть весь устав. Волновались тетка, и мать, и уже подросток сестренка Ириша.

Ильюша Киршбаум хлопотал о торжественном приеме своего друга в зале заседаний Дворца молодежи. Ильюша доказывал, что прием в комсомол Толлина может стать поучительным событием для многих юношей и девушек.

Кроме этого, Ильюше хотелось на большом собрании выяснить все и очистить своего друга от всего наносного, от оскорбительных слухов и подленьких, похожих на правду кривотолков. Такие «правовверные», как Модестик, отсидевшиеся дома в грозные годы, бросали тень на Маврикия, завидуя ему. Завидуя потому, что другие, особенно девчонки, впадали в противоположную крайность, рассказывая о невероятных подвигах Толлина. Оказывается, Маврикий в глухой степи на быстроногом, чуть ли не на огнедышащем коне догнал бандита Вахтерова, набросил на него аркан и связанным доставил в город Омск.

И здесь хотелось внести ясность и все поставить на место.

— Ничего не нужно преувеличивать, но зачем же преуменьшать? — говорил Ильюша Киршбаум в городском комитете комсомола. — Какое волнующее впечатление произведет на всех, когда он будет рассказывать свою биографию, начиная со знакомства с подпольщиком Иваном Макаровичем Бархатовым. А потом, понимаете, избиение его в школе законоучителем за рассказ Льва Толстого. И если он что-то забудет рассказать, я и Санчик Денисов добавим это в прениях, — волновался Ильюша.

— Ты прав, Киш, его именно так и нужно принимать, — подтверждал секретарь городского комитета Кошечкин, участник молодежного подполья, скрывавшийся в Каменных Сотах. — Пусть он расскажет об Октябрьских днях в Петрограде, о том, как слышал Ленина...

— А до этого о том, как его ранили во время июльской демонстрации, — подогревал воображение членов комитета Кишбаум. — А потом, понимаете, бац! Появление в Мильве Вахтерова. Колебания... Симпатии к эсерам... О них, правда, нужно рассказать мягче, чтобы не бросать на него тень...

— Зачем же, Иль, мягче? — возразил Кошечкин. — Лучше потверже рассказать о его вихляниях, о том, как вступил в их бандитский отряд ОВС.

— Миша, он же не вступал. Зачем ты повторяешь чужую чепуху? Его же не приняли, как неспособного поднять винтовку,—восстанавливает Киршбаум истину.

— Но повязку-то он носил? Носил. С Вахтеровым встречался? Встречался,—спорит и волнуется Кошечкин, представляя, как это все будет.—И в то же самое время контакт с нашим подпольем, выполнение нашего поручения. Разве это не интересно для ребят, которые будут слушать? А потом взрыв стены камер. О взрыве могу рассказать я. Потому что мы с Иваном Макаровичем были тогда поблизости. И видели... А потом его бегство за Каму. Встреча с Сухариковым... Появление переодетым в Мильве... Как в кино!.. А не перенести ли нам прием Толлина,—неожиданно предлагает Кошечкин,—в рабочий клуб? Там можно тысяч до двух собрать ребят.

— А дадут? — сомневается Ильюша.

— Почему же не дадут? Это же политическое мероприятие, — говорит увлеченно Кошечкин. — Надо только рассказать обстоятельно Артемию Гавриловичу Кулемину о нашей идее. И точка.

Артемию Гавриловичу было рассказано более чем обстоятельно и представлено во всех красочных подробностях, вплоть до показа на экране документальных снимков.

Кулемин на это сказал:

— Прием в комсомол не может быть спектаклем, хотя бы и поучительным. Это первое. Затем второе. Принимаемый в комсомол Толлин по стечению обстоятельств, а не по каким-то другим причинам оказывался в изломе событий и, не предполагая того, становился, а чаще выглядел героем. Слава излишне, а иногда незаслуженно баловала его. И вместо того чтобы дать парню устояться, войти в нормальное русло жизни, вы хотите публично убеждать его, что он не как все, а особенный, выдающийся, знаменитый. Зачем?

— Но ведь он же на самом деле не как все, — осторожно попробовал возразить Кошечкин.

— В какой-то мере я согласен с тобой... Но зачем обращать на это внимание и портить хорошего и в общем-то не испорченного славой юношу. Короче говоря, он будет вступать в комсомол, как все рабочие ребята, у себя в цехе.

— Это указание, Артемий Гаврилович? — запальчиво спросил Ильюша.

— Это мнение городского комитета партии, комсомолец Киришбаум. Ясно?

— Ясно.

— И еще для большей ясности. Как вы думаете, легко ли будет Толлину рассказывать о крутых поворотах жизни, ворошить то, в чем он не был повинен? Снова сгущенно в течение часа-двух переживать и без того густые трудностями годы. Неужели вам не жаль терзать своего такого добросердечного товарища? Да и одного ли его? И вместо незабываемого праздничного дня в его жизни, который должен навсегда запечатлеться радостным днем, устраивать зрелище...

Далее убеждать Кошечкина и Киришбаума не понадобилось. Через несколько дней на цеховом собрании комсомольской ячейки Толлина при одном воздержавшемся было решено принять в ряды Российского коммунистического союза молодежи. День был волнующим, но счастливым и незабываемым, как и телеграмма из Москвы от Ивана Макаровича, которую прочитала тетя Катя:

— «Поздравляю тебя с первым днем твоей новой большой жизни».

И новая большая жизнь началась...

Эпилог

Позади большие и малые войны, ужасы разрухи, последствия мятежных шатаний и брожений. Прошло не столь много лет, как рухнули планы вторжений интервентов, иссякли надежды на внутренние распри. Коммунистическая партия одержала главную победу — победу в людских душах. И не было более силы, которая могла бы ослабить дух народа, вооруженного ленинским учением.

Ожили села и города. Повеселели люди. Близилась пора великих дерзаний и неслыханных доселе замыслов.

Изменилась и Мильва. Завод дымил всеми старыми и новыми трубами.

Не всех старых знакомых встретишь в Мильве. Павел Кулемин командует далеким военным округом. Он увез туда Женечку Денисову и детей. Екатерина Матвеевна перебралась к мужу в Москву, и наконец у нее

образовалась семья: она, Маврикий и Иван Макарович, посвятивший себя дипломатической деятельности в Народном комиссариате иностранных дел.

Артемий Гаврилович Кулемин переехал из Мильвы в Сибирь, став парторгом крупнейшей стройки.

Нет и доктора Комарова. Он в Перми заметный деятель в области здравоохранения и, кажется, по совместительству читает лекции на медицинском факультете университета.

Турчанино-Турчаковский, прожив года два за границей, вернулся в Россию. К Бархатову. И сейчас он работает в учреждении, ведающем приглашением иностранных специалистов. Приезжал в Мильву с комиссией. Обследовали завод, как говорил Африкан Тимофеевич Краснобаев, «на предмет реконструкции». Турчаковский необыкновенно распекал старые заводские распорядки. Кто скажет, от души ли говорил это раскаявшийся эмигрант?

Мать Маврикия Толлина, Любовь Матвеевна, снова вышла замуж. И сын одобряет ее. Она это сделала, отрезая всякие возможности встречи с Герасимом Петровичем, так жестоко бросившим ее и дочь, женившись теперь на другой. На владелице универсального магазина в Филадельфии.

Мужем Любви Матвеевны стал бывший учитель рисования Грачев Аркадий Васильевич. Он старше Любви Матвеевны на семь лет. Получилась дружная пара. Ириша любит отчима, и он в ней души не чает. Теперь Аркадий Васильевич, не бросая преподавать рисование, заявил о себе как о художнике. Наконец-то Любовь Матвеевна нашла свой надежный берег. Она не старается молодиться, потому что в ее годы старость еще щадит.

У нее счастливая осень. Приехал в Мильву сын. Ему удалось в этом году съездить в Сибирь. Сбылась давняя мечта. Он, побывав в дорогах для него местах, проехал в Томск, где учатся два его друга — Киршбаум и Денисов. Тот и другой останутся в этих краях.

Очарованный Сибирью, Ильяша сказал:

— Где же применять молодым людям свои молодые силы, где начинать свою жизнь, как не в этом краю, который еще весь в будущем.

Виденное Маврикием в Сибири хотелось назвать ранним утром... Пробуждением...

Еще не открыты богатые дары сибирской земли, еще нет и на чертежных досках грандиозных электрических станций, могучей промышленности, не известны на карте даже точки, где вырастут новые города, но все равно чувствуется, видится грандиозное будущее края.

Маврикий тоже еще не знал, как властно позовет его Сибирь и потом вся его жизнь общественного деятеля и партийного работника будет отдана ее великому пробуждению.

Каждый раз, приезжая к матери в Мильву, Маврикий бывал в семье Сонечки Краснобаевой, где подрастала ее двоюродная сестра Стася. Стася, оставшись сиротой, была взята в семью Краснобаевых. Похожая на Сонечку, она походила и на Леру Тихомирову. А может быть, она старалась походить на свою любимую учительницу, не догадываясь, что эта двойная схожесть вызывает очень сложные переживания Маврикия Толлина. Разумеется, Стасе и в голову не приходило, что это все скажется потом. Да и Маврикий пока не допускал, что Стася впоследствии станет Анастасией Ивановной Толлиной.

И когда это произойдет, то все, и в первую очередь Маврикий и Анастасия, скажут, что иначе и не могло быть, а теперь им даже неудобно появляться вместе. Студент Толлин и школьница Стася — никак не пара.

С каждым приездом в Мильву родных и знакомых становилось меньше. Одни уехали учиться, другие, заведя свою семью, тоже отправились искать счастья на новых местах. Рабочей Мильве, богатой золотыми руками, приходилось отдавать своих мастеров новым заводам.

Не стало и тех, кто ушел на Мертвую гору. Там на главной аллее обращает на себя внимание белый камень. На камне барельеф Всеволода Владимировича Тихомирова. Чуть подальше — чугунная плита. Под такими литыми плитами-надгробиями хоронили коренных мильвенских рабочих. Под такой плитой похоронен добрейший человек Терентий Николаевич Лосев. А напротив, через дорогу, покоятся супруги Матушкины, трогательно скончавшиеся в один день.

Воспоминания чередуются с мечтами о предстоящем. Оно кажется Маврикию не легким, но счастливым, не безоблачным, но не бездорожным. Теперь-то уж никогда, ни при каких обстоятельствах никто его не собьет с пути. Для молодого большевика Толлина ясно главное

направление восхождения партии, государства, страны. Коммунист ленинского призыва понимал, что предстоит реконструкция не только народного хозяйства, но и внутреннего мира людей, постепенно и неуклонно переходящих в мечту, оживаемую величием человека.

Пусть этот переход займет не два и не три десятилетия. Пусть на него не хватит жизни Маврикия Толлина. Пусть кто-то, устав или разочаровавшись, отстанет, или отойдет в сторону, или уйдет в себя. Пусть! От этого не изменятся законы развития общества, законы смены общественных укладов.

Историю, как и землю, не повернешь вспять...

ОГЛАВЛЕНИЕ

Книга первая

Часть первая . . .	7
Часть вторая . . .	100
Часть третья . . .	202
Часть четвертая . . .	270

Книга вторая

Часть первая . . .	314
Часть вторая . . .	371
Часть третья . . .	456
Часть четвертая . . .	523

Пермяк Е. А.
П27 Собрание сочинений в четырех томах. Том 2.
Свердловск, Средне-Уральское кн. изд-во, 1978.
608 с.

Во втором томе собрания сочинений публикуется историко-революционный роман «Горбатый медведь» в новой редакции, подготовленной автором для этого издания.

Сюжетным стержнем большого многопланового произведения является сложный процесс нравственного возмужания молодого человека, протекающий на фоне бурных исторических событий предреволюционных лет и трудной поры становления Советской власти на Урале.

Полная драматизма судьба Маврикия Толлина сплетается с судьбами других персонажей, которые представляют почти все слои общества того времени со свойственными им устремлениями, надеждами и тревогами.

70302—076
П—
М158(03)—78

Р2

ИБ № 489

Евгений Андреевич Пермяк
ГОРБАТЫЙ МЕДВЕДЬ

Редактор И. А. Круглик
Художник Д. Б. Шимилис
Художественный редактор Г. И. Кетов
Технический редактор Т. В. Меньщикова
Корректоры Л. А. Гупало, А. Н. Винокурова

Сдано в набор 24/V 1977 г. Подписано в печать 21/X 1977 г.
НС 34150. Бумага типографская № 1. Формат 84×108¹/₃₂. Уч.-изд.
л. 33,5. Усл. печ. л. 31,9. Тираж 150 000. Заказ 314. Цена 2 р. 50 к.
Средне-Уральское книжное издательство, Свердловск, Малышева, 24. Типография изд-ва «Уральский рабочий», Свердловск,
пр. Ленина, 49.

PLATE

